

Поздняя дорога

ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ

ЕВГЕНИЙ
КУТУЗОВ

Поздняя
дорога

СТ

ЕВГЕНИЙ
КУТУЗОВ

Поздняя
дорога

РОМАН



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1984

ГБК 84 P7
К 95

ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ

Х $\frac{4702010200-333}{083(02)-84}$ 75-84

© Издательство
«Советский писатель», 1934.

Начало

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Зима в тот первый военный год пришла в Верхнюю Тотьву необычно рано: уже в начале октября лег снег, а морозы по ночам доходили до двадцати градусов. Даже всезнающие старики не могли припомнить такого. Да такого и не бывало никогда, по крайней мере на памяти ныне живущих, и люди невольно связывали столь рано пришедшую зиму с войной, как будто и впрямь матушка-природа специально послала людям еще одно тяжелое испытание. Известно ведь, поговаривали старики, что горе — не радость, в одиночку по земле не бродит, не зря говорится, что пришла беда — раскрывай ворота. А тотвинская знаменитость (какая же русская деревня, какой же малый русский городок не имеет своей знаменитости!) — юродивая бабка Ньюша вещала на базаре, где была ее постоянная «резиденция», что это сам господь, осерчав на людей за великие и неискупные грехи ихние, послал неурочную зиму и большой мор. «На колени, на колени! — призывала она, взмахивая руками и закатывая глаза. — Просите, грешные, просите отпущения грехов ваших у господя нашего всевидящего! Молитесь, молитесь, да будут услышаны молитвы ваши. . . — и сама быстро-быстро крестилась скрюченными, посинев-

шими от холода пальцами; точно боялась не поспеть со всею молитвою, крестилась с каким-то неистовством, с упоением, как только и умеют юродивые, и причитала громко, в крик, ошалело выкатывала глаза и падала ниц, отбивала поклоны, окуная сморщенное лицо в снег; уверовав, должно быть, что ей, именно ей и никому другому, дано вымолить людям прощение и благословение всевышнего.

Может, это были минуты крайнего отчаяния, отчаяния горького и безысходного, какое испытывает человек в преддверии смерти, а может, то были минуты просветления, и любви, большой и бескорыстной любви, которую Нюша вынашивала в себе, как мать вынашивает ребенка.

Ходила Нюша в старом-престаром, изодранном сапожке, который носила, наверное, еще ее бабушка, подпоясывала его тряпичным кушаком на манер лубочного ямщика, в стоптанных, латаных-перелатаных пимах, на которых не было живого места, в сером шерстяном платке, сквозь дыры которого, точно жнивье из-под первого снега, торчали клочья седых жестких волос. Зато глаза ее смотрели неожиданно зорко и внимательно, смотрели с иронией и пониманием, словно она знала о людях больше того, что знали они сами о себе, и никогда не отводила глаз при разговоре, никогда не опускала их долу — опускали другие, не выдерживая пронзительного ее, проникающего взгляда.

Нюше уступали дорогу. Никто, как это нередко случалось прежде, не смел посмеяться над нею, просто насмешливо посмотреть в ее сторону. Даже мальчишки избегали встречаться с Нюшей, сторонились ее, хотя совсем недавно толпами сопровождали ее по улицам, дразнили «дурковатой», показывали языки. Страх и неуверенность обуяли людей, сделали их кроткими, беззащитными перед Нюшей, перед ее открытостью. А раньше мало кто — разве что древние старухи, уставшие от жизни, — принимал ее всерьез. И вдруг вспомнили все, что была она всегда добрая, отзывчивая на чужое горе, никому и никогда не причинила зла, не сказала грубого слова, хотя говорила только правду. Она казалась смешной, нелепой, правда ее раздражала людей, потому что никто не умел или не хотел выслушать ее и понять. Теперь вот Нюшу зазывали в гости, кормили, отдавая последний кусок хлеба, лишь бы не обидеть, не озлобить ее нечаянно против себя и близких своих, за-

добрить лишь бы и тем отвести прочь возможную беду, которую — в этом не сомневался уже никто — Нюша может накликать...

Война, которая шла далеко, но каждодневно давала о себе знать и здесь, в глубоком тылу; хоть и вызывала в людях страх — за себя, за детей, за свой дом, за мужиков, ушедших на фронт, за будущее, которого могло и не быть, — однако уверенность в том, что окончательная победа будет за нами, была сильнее этого страха.

Маленький таежный городок Верхняя Тотьва, возникший постепенно и как бы сам по себе из старообрядческого скита, жил до войны тихой, спокойной жизнью. Здесь все знали друг друга: кто чего стоит, от кого можно ждать добра и привета, а от кого — зла, все творилось по заведенному прадедами порядку, который редко нарушался, пришлых, то есть приезжих со стороны, было мало, да и те быстро привыкали к здешним обычаям — иначе нельзя, иначе лучше сразу бежать прочь, — подчинялись этим обычаям безропотно и делались уже своими. И вдруг городок этот, который редко на какой карте обозначен хотя бы точкой без названия, наполнился тысячами приезжих, чужих людей, вместив в свои дома по крайней мере втрое больше жителей, чем было их до войны. Казалось, нет ни одного теплого угла во всем городе, где бы не стояла кровать или не был сколочен дощатый топчан, а люди все ехали, все ехали — поодиночке, семьями, целыми эшелонами, — и всем находилось какое-никакое местечко, всем находилась крыша над головой, а на улицах, на базаре, в очередях за скудным карточным пайком, в школах и просто в домах — повсюду по-уральски окающий говор перемешивался с московским и ленинградским. Местные мальчишки всласть издевались над приезжими сверстниками, передразнивая их: «Карова, варона, малако...»

Город походил на огромный вокзал, где все временно, все непостоянно, оттого зябко и неудобно. Все жили одной-единственной надеждой, что вот завтра — не позднее, чем завтра, — город проснется и вдруг окажется, что вновь явилась прежняя мирная жизнь, тихая и размеренная благодать, пусть скучноватая на посторонний взгляд, пусть самая что ни на есть обыденная и однообразная в этой своей повседневной обыденности, зато без всяких неожиданностей, без постоянного страха и

неуверенности, но привычная, знакомая во всех мельчайших подробностях, ясная и потому особенно желанная. Ибо это, быть может, и есть самое главное в жизни,— чтобы всегда и во всем была ясность, чтобы завтрашний день был таким же завтрашним днем, каким он был и год, и десять лет назад. . .

Что говорить, местные жители поначалу не очень-то ласково и дружелюбно принимали эвакуированных. Косились, неохотно пускали на постой, боялись оставлять дом без хозяйского глаза, прятали в добротню сработанные, окованные сундуки все, что помещалось там,— как бы не уворовали квартиранты,— потому что давно известно, что в больших городах живут одни мазурики без роду, без племени, а за стол садились тайком и не в то время, когда привыкли, а в то, когда постояльцев в дому не было. «Чтой-то теперя будет, чтой-то будет! . . .— горевали старухи, эти извечные хранительницы обычаев и семейного благочестия.— Похоже, бабы, антихрист воинство свое антихристово призвал, чтоб веру нашу, значит, извести под самый корень. . .»

Над городом, над его заснеженными крышами сизой дымкой клубился мороз, оседая инеем на деревьях и проводах.

Непривычные к уральским холодам эвакуированные кутались во что попало (у большинства вообще не было никаких теплых вещей), а нужно ведь было как-то жить, работать, нужно было бороться за эту самую жизнь. И люди жили, работали, чтобы после когда-нибудь, спустя годы и годы, с удивлением и недоверием спросить себя: «Неужели это было на самом деле? Неужели это могло быть? . . .»

Было, все было.

Уже осенью пришел голод. Местные жители в основном кормились с огородов и тем, что давала тайга. В магазинах торговали самым необходимым. Но жили до времени безбедно. Земля родила хорошие урожаи, а тайга была богата и щедра. Однако теперь-то буханку хлеба, которую съедали вдвоем, приходилось делить на пятерых, на шестерых, и еще фронту отдай часть урожая. А взять-то где? . . .

В общем, зима грозилась быть затяжной и голодной. Это понимали все, и районные власти делали все возможное и даже невозможное, чтобы хоть как-то устроить эвакуированных, создать мало-мальские условия для жизни. По частным домам расселяли в принуди-

тельном порядке, вызывая тем ропот, неудовольствие хозяев, однако иного выхода не было. Правда, наскоро подлатали обветшавшие, в начале тридцатых годов наскоро же построенные бараки на окраине города, где раньше жили лесозаготовители, которые прижились в Верхней Тотьве и отстроили собственные дома, освободили одну из школ, потеснив другие. Бесплатно распределяли дрова. По колхозным сусекам наскребли сколько-то подмороженной картошки и тоже раздали безвозмездно. Однако все это было даже меньше, чем капля в море. Так, крохи.

И вот, когда город, казалось бы, больше не может принять ни одного человека — незаселенными осталось едва ли с десятков домов фронтовиков, — в Верхнюю Тотьву прибыл эшелон из Ленинграда. Эшелон не совсем обычный: с людьми и оборудованием для несуществующего пока завода № 29. То есть до этого был небольшой ремонтно-механический завод, где ремонтировали сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику для нужд Тотьвинского района, делали еще бороны, тележные оси, подковы, вилы и грабли, а также прочий немудрящий инвентарь. Теперь же РМЗ, как назывался завод сокращенно, предстояло стать оборонным предприятием, предстояло делать запасные части и отдельные узлы для каких-то новейших танков.

Директором оставался Василий Федорович Волков, человек в городе известный, всеми уважаемый, а главным инженером был назначен Антон Игнатьевич Шумилов, который в качестве начальника эшелона прибыл в Верхнюю Тотьву 8 октября 1941 года.

II

Василий Федорович был человек поживой, скромный и честный, он понимал, что его знаний и опыта слишком мало, чтобы руководить настоящим заводом, каким надлежало стать бывшему РМЗ, а теперь — заводу № 29, и своих сомнений на этот счет не скрывал от начальства, потому и подал заявление с просьбой перевести его на другую работу, раз уж нельзя уйти на фронт по причине преклонного возраста. Ему решительно было отказано, и он с тревожным нетерпением ждал приезда нового главного инженера (прежний ушел на фронт) — да не откуда-нибудь, из самого Ленинграда! Наверняка это

опытный руководитель, думал Волков, и побаивался встречи...

Ему позвонили, что эшелон на подходе, и он отправился на станцию.

С Шумиловым они встретились в комнате дежурного, и Волков удивился молодости главного инженера, а Шумилов, усмехнувшись, почему-то подумал про Волкова, что тот, несмотря на фамилию, скорее похож на счетовода, чем на директора завода. Был Василий Федорович тщедушный, какой-то маленький, и голос у него был тихий, неуверенный, а лицо болезненное.

— Давайте знакомиться,— проговорил Волков, протягивая теплую, мягкую руку, которая как бы потерялась в широкой и сильной руке Шумилова.— Василий Федорович. Милости, как говорится, просим.

— Шумилов.

— С благополучным прибытием.

— Вы, я вижу, оптимист!

— Простите, я не понял, что вы сказали?

— Я сказал спасибо за встречу,— снова усмехнувшись, ответил Шумилов.

— А что, какие-нибудь неприятности? — насторожился Волков.

— Неприятности?.. Безобразие, а не неприятности! Дежурный вот заявил, что нельзя разгружаться. Какое там к чертовой матери благополучное прибытие.— Шумилов, насупившись, взглянул на дежурного, и тот отвел глаза.

— В чем дело, Иван Захарович? — спросил Волков.

— Приказ, значит, такой вышел, чтобы эшелон в тупик...

— Какой еще тупик?! — вскинулся Шумилов.— Да вы понимаете...

— Наверное, на железной дороге существуют какие-то правила на этот счет,— мягко сказал Волков.— Вы не волнуйтесь, не горячитесь, я выясню все...

— Вы здесь с ума все посходили, что ли? Да пока вы будете выяснять, люди от холода и голода поумирают в этих проклятых теплушках!

— Мы прекрасно понимаем вас, товарищ Шумилов,— часто моргая, виновато проговорил Волков.— К сожалению, ни от меня, ни от Ивана Захаровича решение этого вопроса не зависит. Разберутся...

— А от кого зависит?

— Есть эвакукомиссия, которая занимается всеми

вопросами, связанными с устройством эвакуированных. Так что все образуется лучшим образом.

— Хороша комиссия, которая загоняет голодных, измученных людей в какой-то там тупик! Где она находится? Ведите меня туда.

— Комиссия при райсовете, ее возглавляет сам председатель исполкома.

— Ведите! — потребовал Шумилов.

— Там знают о прибытии эшелона...

— Мы идем или я иду один?!

— Хорошо, пойдете, — неохотно согласился Волков.

Всю дорогу, куда шли до исполкома, Шумилов чертыхался и на чем свет стоит крыл бюрократов и чиновников, которые «окопались в тылу» и знать ничего не хотят, а когда пришли, он буквально ворвался в кабинет председателя Бокаева, оттолкнув кого-то от двери, и с ходу, не поздоровавшись, не представившись, потребовал немедленно разгрузить эшелон, обеспечить людей баней и сегодня же разместить по квартирам хотя бы женщин с детьми. Волков молчал при этом, сознавая, что Шумилов прав на все сто процентов, однако не одобрял его излишне резкого тона. Вообще чувствовал себя Василий Федорович неловко, потому что именно он привел сюда Шумилова, а Бокаев, между прочим, приходился ему шурином.

— И еще, — заканчивая свою гневную речь, сказал Шумилов, — люди уже несколько дней не имели горячей пищи, прошу учесть.

— У вас все? — спросил Бокаев.

— Пока все.

— Тогда скажите мне, кто вы такой и почему устраиваете скандал?

— Это новый главный инженер, — поспешно объяснил Волков. — Прибыл из Ленинграда с эшелонами. Их ставят почему-то в тупик, вот Антон Игнатьевич и сердится.

— В таком случае могу вам доложить, товарищ...

— Шумилов моя фамилия.

— Могу доложить, товарищ Шумилов, что все необходимые меры принимаются. — Он с интересом разглядывал Шумилова. — Не стоит так горячиться. Мы тоже не сидим сложа руки.

— Как это не стоит, если люди в дороге полтора месяца, а в теплушках женщины и дети?!

— Полтора месяца? — удивленно переспросил Бокаев.

— Именно. Нас гоняли во всему Уралу, пока пригнали в эту вашу... как ее? — Он посмотрел на Волкова.

— Верхняя Тотьва.

— Теперь она и ваша, — сказал Бокаев.

— Надеюсь, ненадолго.

— Мы тоже на это очень надеемся. Детей в эшелоне много?

— Сорок шесть дошколят и еще больше школьников.

— Плохо. К сожалению, нас только позавчера предупредили, что эшелон ожидается сегодня, а жилья нет, все забито эвакуированными. Но ничего, ничего, все уладится. Постараемся женщин и детей разместить сегодня же. Используем зал ожидания на вокзале, заводской клуб. Да, Василий Федорович, в клубе хоть натопили, а то там крысы дохнут от холода?

— Протопили, — ответил Волков.

— А топчаны?

— Все сделано.

— Ну хорошо, раз так. Горячим питанием людей обеспечим. А как насчет вшей? — спросил Бокаев у Шумилова.

Тот махнул рукой.

— Всех через санпропускник. Понимаете теперь, почему загнали эшелон в тупик? Не хватало в городе еще какой-нибудь эпидемии.

— Понимаю, — сказал Шумилов. Признаться, его сбив с толку спокойный, деловой тон Бокаева.

— И вам советую пройти эту процедуру.

— Да у меня вроде бы нет, — смутился Шумилов.

— Береженого, говорят, бог бережет. — Бокаев улыбнулся. — Парторг ЦК прибыл с вами? Как его...

— Кирпичников Николай Николаевич, — подсказал Шумилов. — Он в эшелоне, с людьми.

— Давайте сразу решим вопрос с вашим жильем.

— Это потом. Главное — устроить людей.

— Все будут устроены, — успокоил Бокаев. — У парторга какая семья?

— Он и жена.

— Как думаешь, Василий Федорович, если к Михаиловым парторга с женой?

— Вполне, — согласился Волков.

— Так и запишем. А у вас, Антон Игнатьевич, какая семья?

— Я один.

— Что же так? — спросил Бокаев. — Или не успели жениться?

— Успел, — холодно ответил Шумилов. — Но сейчас я один.

Ему не хотелось вдаваться в подробности своей семейной жизни. Это была его боль. В конце мая жена с трехмесячной дочкой уехала к матери под Великие Луки, куда в июле или в августе должен был приехать и он. Двадцать шестого июня он получил телеграмму — жена сообщала, что они вместе — теща с ними — выезжают в Ленинград. С тех пор от них не было никаких известий, и Шумилов проклинал себя за то, что отпустил жену с дочкой...

— Извините, — сказал Бокаев.

— Ничего.

— Значит, вас мы поселим к Бурдуковым...

— Не обо мне речь, как вы не понимаете.

— Это к которым Бурдуковым? — поинтересовался Волков.

— А к Михаилу Ивановичу, — ответил Бокаев. — Сам он на фронте, а его хозяйка, Анна Тихоновна, замечательная женщина. Вам будет там хорошо. И за других не беспокойтесь, как-нибудь разместим.

— Я могу сказать об этом людям? — недоверчиво спросил Шумилов.

— Пока мы с вами воюем здесь, их уже успокоили, объяснили все, — улыбнулся Бокаев. — Так что устраивайтесь сами, Василий Федорович проводит вас на квартиру.

— Спасибо, я сам найду, только дайте мне адрес.

— Смотрите. Адрес, конечно, дадим. И ордер на вселение вам выпишут.

К вечеру того же дня все, прибывшие с эшелсом, прошли через санпропускник и были устроены с жильем. Женщины с детьми — по частным квартирам и баракам, остальные в зале ожидания вокзала и в заводском клубе, который приспособили под общежитие. Сложнее было с оборудованием. Дело в том, что на станции не было никаких подъемных механизмов, а завод к тому же не имел подъездных железнодорожных путей. Разное мелкое оборудование и небольшие станки перевезли на автомашинах, однако оставались несколько крупно-

габаритных тяжелых станков, два прессы и три паровых молота. Для разгрузки с платформ построили нечто вроде эстакады, облили на ночь водой и по льду спустили станки, прессы и молоты на землю, а вот как доставить на завод, было загадкой. Никакая автомашина такой груз увезти не могла. Просто не выдержала бы такого груза. Правда, от тупика, где стоял эшелон, до завода и было-то всего напрямую пятьсот—шестьсот метров (если по дороге, в объезд,— километра два), но как, каким образом одолеть эти метры?..

— Придется разбирать,— высказал предположение Волков.

— Этак мы до седьмого пришествия будем здесь ковыряться,— возразил Шумилов.— Нужен трактор и сани-волокуши.

— Трактор не пройдет,— вздохнул Волков.— Мешает будка стрелочника. Мы как-то прикидывали, ничего не получается.

— Слышал, Николай Николаевич,— усмехаясь, сказал Шумилов Кирпичникову,— опять стрелочник виноват. Ладно, посмотрим.— Он сам трижды прошел весь путь от тупика до завода, сам вымерял расстояние между будкой и опорой высоковольтной линии и убедился, что трактор в эту щель не проходит. Однако разбирать, да еще на улице, в мороз, станки и молоты было бы безумием. А потом собирать... Нет, этот вариант отпал. К тому же где взять хороших специалистов? Их раз-два и обчелся.

Шумилов зашел в будку. Там было тепло, уютно. Пожилая женщина сидела возле печки и вязала носки.

— Здравствуйте,— сказал Шумилов.

— День добрый,— ответила женщина. И посмотрела на него настороженно: не начальство ли пожаловало?

— Хорошо у вас, тепло.

— Не жалуюсь.

— А работа-то у вас какая?— спросил Шумилов.

— Известно, какая у стрелочника работа. Стрелки когда перевести, да чтоб в порядке все было...

— И часто приходится переводить?

— Не очень чтобы,— неуверенно ответила женщина.— Здесь тупик.

— Понятно,— сказал Шумилов и вышел.

Он принял решение— сломать будку. Однако начальник станции и слышать не хотел об этом, сколько

Шумилов ему ни доказывал, что будку немедленно, как только доставят на место оборудование, восстановят. (По правде говоря, он не имел в виду восстанавливать будку; хотел оставить проезд на будущее. Может быть, придется прокладывать подъездные пути к заводу, а это единственный вариант.)

— Хорошо, давайте свяжемся с вашим начальством. Оно где пребывает?

— В Свердловске.

— Вот и прекрасно. У вас, надеюсь, есть прямая связь?

Но и высшее железнодорожное начальство не согласилось с Шумиловым. Отослало еще к более высшему. Он понимал, что так или иначе вопрос этот разрешится положительно, потому что иного выхода из положения просто-напросто нет, однако понимал и то, что времени на решение потребуется уйма. Значит, действовать надо на свой страх и риск. Взять и сломать к чертовой матери эту будку. Подумаешь, будка! Да ее заново построить — раз дихнуть. И, кстати, на другом месте. Не все ли равно, где тетенька будет вязать носки своим внукам? А здесь прямой и короткий путь к заводу. Ведь нужно подумать и о завтрашнем дне, когда начнут прибывать строительные материалы, новое оборудование, а потом сырье для производства, полуфабрикаты. И как вывозить готовую продукцию? . .

Приняв решение, Шумилов никогда не отступал, если был убежден, что прав. Может быть, и стоило ему посоветоваться с Волковым — все же он директор, — с Кирпичниковым, поставить в известность местные власти, но тогда получилось бы, что он перекладывает ответственность на других, а вот этого Шумилов не хотел уж вовсе. И что, если его не поддержат? . .

Он сам выбрал шестерых крепких мужиков, приехавших вместе с ним из Ленинграда, которых хорошо знал и в которых был уверен, и объяснил, что требуется сделать. Поздно вечером привел их к будке. Телефона там не было — это Шумилов заметил еще днем, — и он послал одного рабочего сказать стрелочнице, что ее срочно вызывает дежурный. Стрелочница тотчас убежала, и Шумилов приказал:

— Приступайте, мужики. Главное — быстро содрать крышу, а там уже один черт.

Когда спустя полчаса стрелочница вернулась, крыша была уже раскурочена.

— Господи, что же это такое?! — испуганно закричала она. — Что вы делаете? Караул!

— Тихо, — спокойно сказал Шумилов. — Забирайте свое вязанье и что у вас там еще есть и ступайте на вокзал. Лучше, если вы не будете поднимать много шума.

Стрелочница попятилась, потом повернулась и, продолжая кричать «караул!», побежала к вокзалу. Вскоро она объявилась уже в сопровождении дежурного, а следом подоспели начальник станции и два милиционера.

— Прекратите немедленно это самоуправство! — потребовал начальник станции. — Под суд пойдете за это!

— Очень возможно, — спокойно сказал Шумилов, — но дело будет сделано. Продолжайте, мужики.

— Арестуйте его, — сказал начальник станции милиционерам.

— Попробуйте, — Шумилов вынул пистолет. — Если хотите, могу выставить охрану с винтовками. Эй, Семенов! — позвал он. — Иди сюда.

Из темноты на свет вынырнул мужчина с винтовкой: он охранял оборудование.

— Слушаю, Антон Игнатьевич.

— Стой здесь, — сказал Шумилов. — И никого к будке не подпускай. Станки и молота не украдут, они тяжелые.

— Гражданин, вы понимаете, что делаете? — спросил один из милиционеров. По-видимому, старший.

— Освобождаю проезд, — ответил Шумилов, — для доставки оборудования к месту назначения. Между прочим, оборудование военного завода, учтите.

— А кто вам дал разрешение? — спросил начальник станции.

— Здравый смысл плюс обстановка.

Милиционеры о чем-то поговорили между собой, и тот, что был помоложе, куда-то ушел.

— За такой здравый смысл... — сказал начальник станции.

— Слыхали, — откликнулся Шумилов.

— Приехали, понимаешь! Бандитизмом занимаетесь.

— Мы приехали работать для фронта, а вы палки в колеса ставите: Будку несчастную вам жалко! Да через три дня я вам новую построю.

— Новую не новую, а самоуправничать вам никто не позволит!

— А я и спрашивать не буду,— усмехнулся Шумилов.

Так они переговаривались некоторое время, понемногу успокаиваясь, а рабочие продолжали свое дело, и к тому моменту, когда на месте происшествия появились Волков, Бокаев и районный прокурор (Шумилов догадался, что их вызвал милиционер), будка наполовину была разобрана.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Волков.

— Да,— проговорил прокурор, качая головой,— факт беспрецедентный. Сейчас же прекратите это безобразие.

— Поздно,— сказал Шумилов.— Теперь легче построить новую, чем восстанавливать эту будку.

— И все-таки прикажите своим людям прекратить.

— Перекур, мужики! — крикнул Шумилов. И в это время рухнула задняя стена будки.— Вот видите... — Он развел руками.— Я арестован или свободен?

Прокурор повернулся и пошел прочь. Следом за ним удалились милиционеры и железнодорожное начальство.

— Ну и натворили вы, Антон Игнатьевич... — вздохнул Волков.— Это же подсудное дело, вам не простят такое.

— Во-первых, не простят именно мне, а не вам,— сказал Шумилов недовольно.— Во-вторых, это единственный разумный выход, неужели вам это не понятно? Чтобы разобрать и вновь собрать технику,— он взмахнул рукой, показывая в сторону, где стояло оборудование, накрытое брезентом,— потребуется не меньше месяца...

— А что, Василий Федорович,— сказал Бокаев,— ведь он прав. Прав по существу. Только нужно было посоветоваться, поставить в известность...

— А, семь бед — один ответ. Зато уже завтра можно начинать транспортировку.

В конце концов все обошлось благополучно, если не считать того, что у Шумилова состоялся весьма даже неприятный разговор с первым секретарем райкома партии Гераськиным, который, в отличие от Бокаева, был настроен далеко не благодушно.

— Плохо начинаете, товарищ Шумилов.

— Что делать.

— На ближайшем бюро рассмотрим этот вопиющий факт, получите строгое взыскание.

— Так я же еще на учете у вас не состою,— попытался Шумилов отшутиться.

— Ничего, поставим на учет. И на место вас поставим. Так и знайте.

— Ставить меня на место есть кому,— резко ответил Шумилов.— На заводе есть парторг ЦК, у него достаточно полномочий.

— С полномочиями мы разберемся как-нибудь без вас, а безобразничать и размахивать пистолетом вам не позволим! Кстати, откуда у вас оружие?

— Выдали.

Ему и в самом деле выдали пистолет перед отъездом из Ленинграда, когда назначили начальником эшелона.

— Немедленно сдайте.

— Сдам тому, кто мне его выдал. Или когда получу такой приказ от своего начальства.

— Ну хорошо,— сказал Гераськин,— мы еще с вами поговорим. Сегодня же встаньте на партийный учет. Партбилет с собой?

— Разумеется.

— Покажите.

Шумилов положил партбилет на стол. Гераськин взял его и долго изучал, словно бы надеялся найти в нем какой-то непорядок. Возвращая, повторил:

— Сегодня же встаньте на учет.

Свой выговор Шумилов все-таки получил, зато оборудование без помех и дальнейших происшествий было доставлено на завод, а будку, по согласованию с железнодорожниками, перенесли на другое место, и тотчас приступили к строительству подъездного пути.

— Герой, нечего сказать,— укорял Шумилова Кирпичников.— Прямо хоть сейчас на пьедестал.

— Пьедесталы будут, Николай Николаевич,— смеялся Шумилов,— были бы мы.

— Мне-то мог бы сказать!

— А зачем? Ведь ты согласился бы со мной, верно? Верно. Значит, вместо одного было бы два выговора.

— Ты уж постарайся в другой раз не партизанить.

— Обещать твердо не могу, но постараюсь.

А в городе между тем уже говорили о Шумилове, что мужик он ухватистый, напористый и смелый — самого Гераськина не испугался! — и что своих людей в обиду не даст, а ради пользы дела готов пойти на все.

То есть слава, которая впоследствии всю жизнь будет сопровождать Шумилова — худая ли, добрая, но слава, — родилась чуть ли не в тот же день, когда он был в Верхнюю Тотьву...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Как-то на улице, возвращаясь домой, Шумилов повстречался с Ньюшей. Он и не заметил бы ее, не обратил бы вовсе внимания, однако Ньюша так пристально и внимательно взглянула на него — не уступив дороги, — что он остановился невольно, подумав, что старушка хочет попросить его о чем-то. Случалось, что люди обращались к Шумиллову и прямо на улице: все быстро поняли, что сложные вопросы решает не директор завода, а именно он. И Шумилов тоже быстро привык к этому, несколько не заботясь о том, что такое положение вещей может быть оскорбительным для Волкова. Но правда и то, что Василий Федорович, если и обижался, вида не показывал. Он доверял Шумиллову и радовался, что прислали такого толкового, энергичного главного инженера.

— Ну, что тебе, бабуля? — спросил Шумилов, с интересом разглядывая Ньюшу. — Выкладывай скорее, стоять холодно. — Он поежился.

Ньюша улыбнулась вроде как снисходительно, поптичьи склонила голову набок, не спуская с Шумилова внимательных глаз, но тотчас лицо ее сделалось серьезным, почти торжественным, она вдруг ткнула в грудь Шумилова рукавичкой и вскрикнула:

— Веруешь в господу?

— Ну, ты даешь, бабуля! — рассмеялся Шумилов и вспомнил, что уже встречал эту старушку возле проходной. Похоже, она не в себе. — Верую, верую, успокойся. И в бога верую, и в нечистую силу тоже. У тебя все?

— Се человек, — изрекла Ньюша удовлетворенно.

— Все мы люди, все человеки.

— А ты не спеши, не спеши. Поспеешь на свои похорона-то, еще никто, слышь-ка, не запоздал. А тебе жить да жить, век твой долг и труден... — И взгляд ее, и речь были вполне осмысленными. Это удивило Шумилова, он был почти уверен, что она не в себе. — Ты вот

скажи мне, раз грамотный, а веруешь, из какой такой земли антихрист пришел и пошто людям жизни от него нету. . .

— В другой раз, бабуля. Некогда сегодня.

— Не знаешь, — вздохнула Нюша разочарованно. — Никто, однако, не знает, потому как про грехи свои люди забыли. Грешат, грешат, искушают господа нашего, а после. . . — Она взмахнула рукой, окинула Шумилова уже отсутствующим, неживым взглядом, как бы потеряв к нему всякий интерес, и пошла своей дорогой. Но, сделав несколько шагов, остановилась, повернулась к Шумилову лицом и молвила: — У каждого человека своя вера, а вовсе не верить нельзя, самый большой это грех. Веруй, и бог тебе судья. — И осенила его крестным знамением.

— Чертовщина какая-то! — вслух выругался Шумилов.

И тут к нему подошла Надя, дочка квартирной его хозяйки.

— Добрый день, Антон Игнатьевич. Интересно, о чем это вы так мило беседовали с Нюшей?

Она шла рядом, пытаясь приноровиться к широкому, размашистому шагу Шумилова. Он всегда ходил быстро, не обращая внимания на спутников, и жена частенько ворчала на него за это. Но ходить медленно, вразвалочку он просто не умел.

— Значит, ее зовут Нюша? А кто она такая?

— Как же, Антон Игнатьевич! Это наша тотввинская знаменитость, ее все знают. Неужели вы ничего о ней не слышали?

— Представьте себе, не слышал. Полоумная старуха, и башка у нее забита какими-то бреднями.

— Она совсем даже не старуха, — возразила Надя. — Ей не больше пятидесяти. Больная, говорят.

— А выглядит эта знаменитость лет на двести. Прямо выползень из позапрошлого века.

— Внешность обманчива, — сказала Надя и наклонила при этом голову, пряча глаза.

Шумилов сделал вид, что ничего не заметил, спросил:

— Чем же она занимается?

— И вам стало интересно? — почему-то обрадовалась Надя, и Шумилов отрешенно как-то подумал, что ей бы еще в ладоши хлопнуть. — Вот у меня ребята

спрашивают,— продолжала Надя,— почему сбывается то, что Ньюша говорила про войну...

— А сбывается?

— Многое.

— И что же такого важного говорила эта Ньюша?

— Заранее, например, предсказала, что скоро будет война. Все ходила по городу и какой-то свой сон толковала. Народ на базаре соберется вокруг нее, а она кричит, что земля под ногами горит, что антихрист близко. И приплясывала, знаете, как будто и на самом деле у нее под ногами горело. Смеялись, конечно, над ней, а когда война началась, бояться стали...

— И вы? — спросил Шумилов.

— И я,— призналась Надя, краснея.— Все говорят, что она умеет пророчествовать. Вещунья как будто она.

— Вздор все это, Надюша. Вздор и чепуха на постном масле,— сказал Шумилов, поморщившись.— Мало ли что темные люди болтают. А вам стыдно верить этой чепухе.

— Да я не верю, я просто ее боюсь, Антон Игнатьевич. Честное слово.

— Немножко все-таки и верите, по глазам вижу.

— Если только чуть-чуть... Вот насчет войны она правду говорила...

— А если бы не было войны? Тогда никто и не вспомнил бы про Ньюшу, верно?

— Но война-то есть.

— Люди помнят те предсказания, которые якобы сбываются,— проговорил Шумилов несколько нравоучительно,— а другие забывают, хотя несбывшихся гораздо больше. Прав я или не прав?

— Не знаю. Наверное, правы.

— Все очень просто, Надюша. Никакой мистики, никаких там божественных откровений и озарений, сплошной реализм. Уж вам-то, как пионервожатой, воспитательнице подрастающего поколения, нужно это усвоить раз и навсегда. Нет, Надюша, тайн. Есть непознанные истины.

— А Библия?

— А что Библия?

— Там тоже написано про войну,— сказала Надя торжествующе.

— Честно говоря, я не читал Библию и не видел ее в глаза.

— Хотите, дам? У нас есть.

— Увольте,— усмехнулся Шумилов.— Я и так уверен, что сочиняли эту книжку люди неглупые. Они отлично разбирались в человеческой психологии, знали наизубок историю. И не только знали, но умели анализировать, сопоставлять, умели делать выводы и извлекать, как говорится, уроки. Авторы Библии не пророчествовали, Надюша. Они прогнозировали, камуфлируя свои прогнозы в религиозное тряпье, как требовало время. Вот скажите мне: разве в Библии хоть слово сказано именно об этой войне?

— Не знаю,— смутилась Надя.

— В том-то и дело, что история человечества — сплошные войны, так что ваша Библия годится на все случаи жизни. Вы уверены, что эта Нюша больна? — вдруг спросил Шумилов.

— Так говорят.

— А по-моему, она не столько больна, сколько хитра и... мудра. Вот вы говорите, что она предсказывала, что скоро будет война.

— Правда, предсказывала, честное слово.

— Да я верю, Надюша, верю,— улыбнулся Шумилов, подумав, какая же она обидчивая. Суший ребенок, если разобратся.— Дело в том, что эту войну совсем не трудно было предсказать.

— Но другие-то не знали! — возразила Надя.

— Знали, чувствовали, но не хотели этому верить. Обманывали себя, надеялись на что-то. Людям свойственно надеяться на лучшее, а надежды человечества всегда и в первую очередь связаны с миром,— проговорил Шумилов, немножко удивляясь собственной пронизательности и логичности рассуждений.— Не случайно и ваше имя придумали — На-де-жда. Мир и женщина, мать.— это нерасторжимо и свято.

— Вы так говорите, Антон Игнатьевич... Выступили бы у нас в школе, рассказали бы ребятам про Ленинград.

— А вот этого не умею. Да и Ленинград я плохо знаю. Наверно, среди ленинградцев можно найти настоящего знатока. Однако холодновато сегодня, вы не находите? — Он потер уши.

— В Ленинграде тоже сильные морозы бывают?

— Редко,— ответил Шумилов и вздохнул.— У нас все больше слякоть. Без галош шагу не ступить, а валенки мало кто носит.

— То-то эвакуированные без пимов ходят, — сказала Надя. — Зябнут ноги в ботинках?

Она взглянула на его ноги, и Шумилов почувствовал, что пальцы, особенно большие, совсем окоченели, горели огнем. Ботинки были ему как раз впору, влезали только с одним носком, и он подумал даже, как бы не обморозить пальцы.

— Ничего, — бодро сказал он. — Как говорится, живы будем — не помрем. А зима когда-нибудь кончится, верно? Между прочим, по секрету: у меня, как у собаки, нормальная температура стопы ноль градусов по Цельсию.

— Вы все шутите, Антон Игнатьевич, а зима еще только началась. Знаете, какие у нас бывают холода? Сорок пять и даже пятьдесят.

— Переживем и это. Все переживем и... Как там у Некрасова? «И широкую, ровную грудью дорогу...»

— Ясную, — поправила Надя, улыбнувшись. — У нас в школе один мальчик ходил совсем с годыми пятками. Красные такие пятки... Господи, за что дети-то мучаются?

Шумилов насупил брови и промолчал, хотя и знал, что Надя ждет от него каких-то ободряющих, успокоительных слов. А что он может сказать ободряющего, чем может успокоить?.. Вот если бы он мог помочь. А помочь нечем. Да, да, черт возьми, ходят дети и с голыми пятками (если бы один мальчик!), и в легких пальтишках, многие вообще не имеют практически ничего, и он прекрасно знает об этом. А что дальше? Надя, это замечательно прекраснодушная и замечательно же наивная в своем прекраснодушии девочка, пожалуй, думает, что он, Шумилов, всемогущ и всесилен, как сам господь бог этой юродивой, что стоит ему захотеть, и у ее босоногого, вернее, голопятого пионера тотчас появятся... пимы, а у него нет ни-че-го, кроме больших обязанностей и долга, и он не имеет права говорить пустые, ненужные слова, которые никому не помогут и никого не согреют. Слова, думал Шумилов, отвлекаясь, способные согреть (или обмануть?) только очень сильно любящую женщину, потому что женщина, которая любит и жаждет быть любимой ответно, готова верить и словам, лишь бы слова эти были достаточно нежными, ласковыми... А вот вчера, нет, позавчера я видел — это Шумилов уже как бы говорил Наде, шагая рядом с нею молча и сосредоточенно, — как женщины уговаривали

свою подругу, получившую «похоронку» на мужа, как пытались утешить ее, успокоить, готовые принять ее горе на свои плечи, разделить его на всех, и было страшно смотреть на все это. . . Именно страшно, милая ты моя девочка, потому что женщина перестала вдруг стенать, в глазах ее, заплаканных, припухших от слез, явилась ненависть, такая дикая, злобная ненависть, и она закричала на подруг-утешительниц: «Уходите! Уходите прочь, чего лезете не в свое дело?! .» Разве не страшно? . . . Ведь подруги пришли к ней с доброй душой и всем сердцем хотели помочь ей в горе, облегчить ее страдания, а она. . . А ее нужно понять. Понять, и все. Горе пройдет, рано или поздно, но пройдет. Как проходит болезнь, как проходит ненастье. Забудется горе, потому что человек привыкает ко всему. Даже к смерти. В этом все дело. А вот утешить горе, поделить его на малые части нельзя, уж тут не помогут и самые искренние, и самые проникновенные слова. . .

— Не зря старики говорят, что горе нужно выплакать,— неожиданно для себя произнес Шумилов вслух.

— Что вы сказали?— переспросила Надя.

Он смутился:

— Так, ничего. Просто подумалось вслух. . .

А принимают утешения, ищут их на стороне люди слабые духом, безвольные люди, не умеющие по причине своей слабости и безволия побороть несчастье в одиночку, перешагнуть через него. Такие люди обманывают себя, обманом живут, хотя, наверно, и не подозревают об этом. Сильный не рассчитывает на помощь других. Сильный рассчитывает только на себя. . .

Сказал бы кто-нибудь Шумилову совсем недавно, что он будет рассуждать о таких вещах, забивать голову такими вещами, он бы рассмеялся. Он никогда не был склонен к абстрактным, отвлеченным рассуждениям о жизни и о человеке вообще. Он мыслил конкретно и относился с недоверием к людям, которые любили поговорить, например, о жизни на Луне или о полетах в межзвездное пространство. Часто и колко смеялся над женой, питавшей слабость к шекспировским героям, ибо всякие там короли, принцы и принцессы с их страстью и трагедиями были от него и от его забот столь же далеки, сколь далек двадцать пятый век. Нет, он никогда не согласится с тем, что будто бы мечтатели, эти прожектеры, творят будущее. Его творят те, кто не мечтает, а работает, делает конкретное, необходимое сегодня дело.

В этом смысл жизни, которого доискиваются досужие люди, не подозревая, что поиски эти — есть потеря всякого смысла...

— Ой, Антон Игнатьевич! — воскликнула Надя. — Ведь наши Тихвин взяли, чуть не забыла сказать. Ведь это близко от Ленинграда?..

— Очень близко.

— Вы не знали?

— Конечно, нет, — ответил Шумилов, хотя не только знал, но они с Кирпичниковым успели обсудить это сообщение и пришли к выводу, что теперь Ленинграду станет много легче, потому что от Волховстроя на восток откроется железнодорожное сообщение. Ему хотелось сделать Наде что-то приятное, и потому он сказал, что не знает.

— А Тихвин большой город? — спросила она.

— Обыкновенный районный центр. Как ваша Тотьва примерно. Только очень старый город. Можно сказать, древний.

— Красивый?

— Я не был там, — признался Шумилов.

Они как раз перешли мостик через канаву, который сам же Шумилов расчищал по утрам вместо физзарядки, свернули к калитке, и, открыв ее, он пропустил Надю вперед.

— Ну; вот мы и дома. А я продрог, б-р-р-р.

Навстречу им, сколько позволяла цепь, выбежал Рыжик, хозяйский пес. Он радостно скулил, вилял куцым хвостом и норовил лизнуть Шумилова в лицо.

— Вас любят животные, — сказала Надя. — Это хорошо.

— А люди?

Надя молча пожала плечами и пошла в дом. А Шумилов присел, чтобы приласкать Рыжика. Они и правда как-то быстро подружились.

II

В том же декабре, вскоре после сообщения о взятии Тихвина, с фронта пришло еще более радостное известие: наши войска перешли в наступление под Москвой. Об этом событии говорили повсюду, говорили все, и каждый, наверное, думал о том, что теперь-то до победного окончания войны осталось недолго, рукой подать. Еще одно усилие, еще одно успешное наступление...

— В последнее время люди как будто разучились смеяться, позабыли о простых житейских радостях, и вот на измученных, изможденных голодом и нечеловеческой усталостью лицах вновь появились улыбки, и забывались уже вчерашние заботы и невзгоды, казавшиеся неодолимыми, словно сама судьба, и всякое новое известие с фронта, хотя бы о взятии никому не ведомого населенного пункта, хотя бы о маленькой, с точки зрения командующих армиями, пустячной победе, воспринимали как очередной и, быть может, решающий шаг к победе. Ну кому же тогда, в декабре сорок первого, могла явиться в голову мысль, что война еще только начинается. Уж во всяком случае, такая кощунственная мысль не могла явиться в головы женщинам, принявшим на свои плечи груз, какой совсем недавно был бы непосилен и мужикам. Нет, не этим женщинам, чьи дети не мечтали о мороженом или апельсине в обертке из папиросной бумаги, а мечтали, даже в снах своих, о куске хлеба. . .

По городу распространился слух, что скоро — если не к Новому году, то к весне-то уж обязательно — эвакуированных будут отправлять по домам. Сначала москвичей, потом ленинградцев. И люди верили этим нелепым, в сущности, слухам. Верили, потому что хотели верить, потому что жили этой надеждой.

— Значит, скоро обратно в Ленинград, Антон Игнатьевич? — спрашивала Надя у Шумилова.

— Не думаю, что скоро.

— А все говорят. . .

— Говорят! — Он даже поморщился. — Люди тысячами говорят о счастье. Бывало, что объявлялись конкретные сроки наступления всеобщего благоденствия. А где оно? . . . — Он махнул рукой. — В тяжелые времена разумом людей руководит не здравый смысл, а мечты.

— Вы что же, думаете, что война кончится не скоро? — удивленно спросила Надя.

— Еще как не скоро! — вздохнул Шумилов.

— А у нас в школе дети повесили плакат: «Да здравствует Новый, тысяча девятьсот сорок второй год! Год окончательной победы над фашизмом!»

— Да? — рассеянно проговорил Шумилов. — Придет и победа, Надюша, хотя и не так скоро, как всем нам хотелось бы. А дети есть дети.

На заводе по случаю наступления наших войск под

Москвой был митинг. Какая-то женщина, в телогрейке, подпоясанной веревкой, в огромных кирзовых сапогах, сбросив с головы платок, взошла на импровизированную трибуну из ящиков, оглядела собравшихся, громко выкрикнула: «Товарищи!..» — и больше говорить не смогла, заплакала вдруг, прикрывая лицо овчинными рукавицами... Бывший тут же Гераськин обнял ее за плечи, помог спуститься с «трибуны», а потом, вернувшись на свое место, заговорил сам. Голос у него был громкий, хорошо поставленный, говорил он о вещах всем дорогих и понятных, говорил просто, доходчиво, и его внимательно слушали, несмотря на сильный мороз. Гераськин призывал отдать все силы на разгром врага, на разгром ненавистного фашизма, который бросил вызов всему человечеству, а в конце выступления предложил принять обязательство о пуске завода на полную мощность не к Первому мая, как было предусмотрено, а к первому апреля...

Это будет наш конкретный, реальный вклад в разгром врага, в дело победы, которая уже близка!

Ему дружно аплодировали. Обязательство приняли единогласно.

После митинга Гераськин захотел осмотреть завод и в общем остался доволен. Даже похвалил руководство за организованность и порядок. Однако тут же и упрекнул Кирпичникова за отсутствие наглядной агитации. Слово, обращенное к массам, к сердцам людей, сказал он, тоже оружие, и оружие сильное. Не надо забывать об этом.

В сущности, он был прав, наглядной агитации в самом деле было маловато, и Николай Николаевич принял упрек, пообещал немедленно исправить этот недостаток. Шумилова это вовсе не касалось, уж плакаты и лозунги никоим образом не входили в обязанности главного инженера, однако — черт его дернул — он не удержался, высказал свое мнение на этот счет:

— Лучшая агитация сегодня здесь, в тылу — кусок хлеба и миска горячих щей.

Гераськин взглянул на него с откровенным удивлением.

— Это опять вы?

— Почему «опять»?

— У вас, насколько я понимаю, на все случаи жизни есть свое, особое мнение... — Гераськин усмехнулся. — Вы что же, против наглядной агитации?

— Нет,— сказал Шумилов,— я не против наглядной агитации. Я за наглядную агитацию, только не нужно придавать слишком большое значение словам. А то это оружие может выстрелить в обратную сторону.— Он вспомнил о плакате, который вѣвесили в школе.

— Что именно вы имеете в виду, товарищ Шумилов? — строго спросил Гераськин.

— Да вот в школе, мне рассказывали, повесили плакат такого содержания: «Да-здравствует тысяча девять-сот сорок второй год, год окончательной победы...»

— Такой плакат,— перебил его Гераськин, обращаясь к Кирпичникову,— нужно повесить у проходной.— И снова повернулся к Шумилову.— Так что вам не нравится?

— Вы верите, что в сорок втором году мы одержим победу? Мне кажется, что до победы еще далеко. Какой же смысл вводить в заблуждение людей! И с какими глазами мы будем снимать этот плакат, если война в будущем году не кончится?..

— А вы, если я правильно вас понял, не верите?

— Я инженер и привык смотреть на вещи трезво, реалистически.

— Вы не просто инженер, вы главный инженер, руководитель! — резко возразил Гераськин.— Партия и народ многое вам доверили, и это доверие обязывает вас...

— Простите, я знаю свои обязанности и свой долг. Но еще никому не удавалось выиграть войну плакатами.

— Нечего сказать, хороши разговорчики! Вы что же, хотите посеять в народе панику, внушить неверие в наши силы?..

— Не говорите вздора,— отмахнулся Шумилов.— Людям надо говорить правду и не надо ничего внушать. Уже и без того навнушали. Работать надо, а не рассуждать.

— Работайте, товарищ Шумилов, работайте! Кто вам мешает?

— А вот лесокombинат пиломатериалы задерживает, у нас рабочие простаивают. Нажали бы на Борисова, как секретарь райкома, а то он скоро и чесаться перестанет.

— Когда и на кого нажимать, товарищ Шумилов, райком партии знает без вас. А ваше настроение мне не нравится, советуя хорошенько подумать.

— Я приехал сюда не оптимизм свой демонстрировать, а работать. И улыбаться, когда мне хочется плакать, я не собираюсь. Прошу извинить, я должен уйти, у меня срочные дела.— И Шумилов пошел прочь.

Гераськин посмотрел ему вслед.

— Хлюст какой выискался! — сказал он.— Он, видите ли, приехал работать, а мы тут!.. Не пришлось бы поставить о нем вопрос.

— Молод, горяч,— вступился Волков.— А дело свое знает и болеет за него.

— Остудим,— пообещал Гераськин со значением.— Почему не доложили насчет пиломатериалов?

— Я сам сегодня собирался поехать к Борисову.

— И с ним надо разобраться. Все никак не могут отвыкнуть от довоенных привычек и методов работы.

С этим Гераськин уехал.

А Волков после выговаривал Шумилову, советовал не лезть на рожон и вообще не разговаривать с секретарем райкома в таком тоне.

— Да что вам всем дался Гераськин? — вскипел Шумилов, понимая в общем-то, что Волков прав. Однако согласиться с этим, признать свою вину не хотел.— У нас с вами есть поважнее дела, чем всякие там политесы. Вот если завтра не прибудет цемент...

— Только что звонили из Свердловска,— сказал Волков.— Вагоны с цементом и кирпичом в пути.

— Где именно?

— Выясняют, я просил Ивана Захарыча. Да, он мне рассказал страшную вещь. Сегодня утром в десяти километрах от города нашли женщину и девочку лет трех-четырёх. То ли они замерзли, то ли их убили. Милиция занимается.

— Наши?

— Ничего не известно пока. Скорее всего, ходили в деревню менять одежду на еду. А зима еще вся впереди. Как жить-то будем, Антон Игнатьевич?..— Волков смотрел на Шумилова пристально, с каким-то обостренным вниманием и надеждой, точно он, Шумилов, знал ответы на все вопросы, какие задавала людям жизнь, точно он мог избавить кого-то от постоянного страха и неуверенности.

— Вчера ко мне заходил некто Краснов,— сказал Шумилов.— Вас не было на месте, вот он и пришел ко мне.

— Который это Краснов?

— Председатель колхоза. Назар Тимофеевич, кажется.

— Знаю, как же,— сказал Волков, усмехался.— Жук. Но хозяин крепкий, на всю область гремел. Что ему понадобилось?

— Просит помочь колхозу. Пронюхал, что у нас имеются неликвиды, предлагает натуральный обмен. Мы ему кое-что из неликвидов, металлические отходы, а он — картошку, горох.

— Я же говорю — жук! Этот своего нигде не упустит. Вы его, надеюсь, выставили?

— Я думаю, Василий Федорович, что в его предложении есть рациональное зерно,— проговорил Шумилов.— Все эти неликвиды лежат на складе мертвым грузом, место занимают...

— Бог с вами, Антон Игнатьевич! — Волков даже руками замахал, и в глазах его появился испуг.— Оборонное предприятие, а мы с вами торговлю затеем...

— Обмен,— поправил Шумилов.— Ну, рассудите сами: весь этот хлам, что лежит на складе...— Он прикусил губу, сообразив, что нельзя называть хламом то, что завод выпускал до войны. Это оскорбительно для Волкова. К счастью, тот не обратил внимания или сделал вид, что не обратил.— Все это вы производили,— продолжал Шумилов,— для нужд колхозов, верно? Вот мы и передадим колхозам. А продукты, которые получим в обмен, раздадим рабочим. Все-таки поддержка. Тут нет ничего противозаконного. Оформим документально, можно и через банк.

Волков пристально посмотрел на Шумилова, покачал головой.

— Странный вы человек,— сказал он.— Мало вам сегодняшней стычки с Гераськиным, так снова на рожон лезете.

— Люди с голоду пухнут,— поморщившись, возразил Шумилов,— а мы с вами о странностях характера рассуждаем.

— Хорошо, хорошо, не будем спорить, Антон Игнатьевич. Обратимся официально в райком, в наркомат, наконец. Получим разрешение, тогда пожалуйста, тогда ради бога.

— Да пока мы обращаемся, пока разберутся, зима кончится! Дорога ложка к обеду.

— И все же на себя решение этого вопроса я не возьму. Не хочу рисковать, Антон Игнатьевич, извините,

Нет у меня времени на риск. Было, но все давно уже вышло...

Кажется, он застыдился своего признания и вдруг заспешил куда-то, стал искать что-то в столе, громко и ненужно выдвигая ящики и задвигая их обратно. Шумилкову отчего-то неприятно было смотреть на эту суету, и он вышел из кабинета. Василий Федорович, проводив его долгим и каким-то тоскливым взглядом, тяжело опустился в старенькое, до лоска засиженное кресло и закрыл глаза. Он устал, у него страшно болела голова, прямо раскалывалась от боли в затылке, болели почки и болело сердце. Он чувствовал себя бездомной, старой собакой, которую всякий и во всякое время может побить, ничуть не беспокоясь о том, что она огрызнется, укусит обидчика, защищая свою честь, свое достоинство...

III

Шумилов относился к Василию Федоровичу с жалостью и состраданием. Нерешительный, несобранный, излишне мягкий и деликатный даже тогда, когда необходимо быть жестким, предельно требовательным, Волков хватался за несколько дел сразу, не умея довести до конца ни одного, шарахался из стороны в сторону, бросался в крайности и при этом боялся всех и вся; он без конца менял собственные свои распоряжения; и Шумилов, скоро привыкнув к этому, иногда отменял приказы Волкова, не поставив его в известность, а Василий Федорович не сердился за это на Шумилова, не настаивал на своем, но молчаливо соглашался. Вот это-то более всего, пожалуй, и бесило Шумилова. Он терпеть не мог людей, не умеющих постоять за себя. А понимать таких людей и вовсе уж не хотел. Тем более когда речь шла о руководителях. Такие люди существовали как бы за пределами его понимания и той жизни, в которой жил сам Шумилов. Вне ее. Правда, обстоятельства заставляли жить рядом с этими людьми, работать вместе, тянуть одну лямку, однако это ровным счетом ничего не меняло в отношении Шумилова к ним, и обычно он не жалел людей слабых, безвольных, не сострадал им, так что Василий Федорович был в этом смысле исключен. По крайней мере, говорил себе Шумилов, Волков честен, и у него хватает мужества не скрывать собственную слабость. Он не прячется за спины других и не

создает видимость дела, а главное, не мешает делать дело другим.

Из наркомата без конца шли депеши с одним-единственным требованием: темпы, темпы, темпы. Фронт не мог ждать, фронту нужно было вооружение, современное вооружение, в котором армия испытывала крайнюю нужду. И нужно не послезавтра, даже не завтра, а сегодня, сию минуту.

— Да они понимают хоть, в каких условиях мы работаем? — жаловался Волков, держась за больную, отяжелевшую от постоянного недосыпания голову. — Где это видно, Антон Игнатьевич, чтобы в такие сроки перестроить целый завод? Это же немислимо, невозможно. . . — Он горстями глотал таблетки от головной боли, однако это мало помогало.

— На войне как на войне, — говорил Шумилов и отворачивался, чтобы не видеть страдальческое лицо Волкова. Хотелось взять его за грудки, встряхнуть хорошенько, да возьмите вы себя в руки, черт побери, хотелось крикнуть Шумилову, а вместо этого он успокаивал: — Все наладится, просто все мы устали, нервы начинают сдавать. — И думал, что какие там нервы, когда нет человека, когда человек весь кончился, осталась только видимость его.

— Не надо, не надо меня успокаивать, Антон Игнатьевич. Я достаточно пожил на белом свете, кое-что видел, поверьте мне. В сложившихся условиях нужны исключительные — исключительные! — меры, чтобы пустить своевременно завод. А что мы с вами можем? Ничего. Вот это и есть правда, Антон Игнатьевич, которую вы так любите. — Он замолчал и дрожащими пальцами полез доставать из пакетика таблетку. Пальцы совсем не слушались его.

— Давайте я достану, — сказал Шумилов.

— Благодарю, доставайте уж сразу две. — Он вздохнул, проглотил таблетки и улыбнулся. — Смешная история произошла с моей супругой. Купила она меду на днях, да еще очень дешево. Целый трехлитровый бидон, представляете? . . . Похоже, таблетки на этот раз помогли ему. — И что вы думаете? Вместо меду ей продали какую-то бурду. Сверху немножко меду положено, а дальше бурда.

— Она что, не видела, когда переключивала? — рассеянно спросил Шумилов.

— В том-то и дело, что купила вместе с бидоном,— сказал Волков.— Но самое смешное, что мы оба, и супруга и я, не едим меда. Не нужен он был нам. Смешно, верно?

— Не очень.

— А-я, знаете, смеялся от души. Правда, часы все-таки жалко.

— Какие часы? — не понял Шумилов.

— Так ведь жена обменяла на мед старинные часы, которые достались мне от отца, а отцу от его отца. Серебряные, луковицей. А впрочем, что там часы, что там мед. Ерунда все это.— И вдруг спросил: — Вы рано женились, Антон Игнатьевич?

— Жениться всегда рано,— пошутил Шумилов.

— Это верно. Так ничего и не слышно о семье?

— Нет.

— Вы не переживайте, найдутся.

— Надеюсь.

Он подумал, что они действительно вряд ли справятся с заданием, то есть вряд ли им удастся наладить производство к Первому мая, не говоря уже о первом апреля. Это в самом деле невысказано, Василий Федорович прав, и нечего обманывать себя. Увы, слабые, неуверенные в себе люди часто, слишком даже часто бывают правы, и этому можно найти объяснение. Они много размышляют, анализируют, хотя бы и в поисках оправданий собственной бездеятельности, неорганизованности. Никто ведь не объявит во всеуслышание, что смотрите, дескать, на меня, любуйтесь: я — ничтожество, дурак. Нет, такого никто не скажет, напротив, всякий дурак непременно отыщет нечто такое, что и оправдает, и даже возвысит его в глазах окружающих. Вот именно: человек ищет оправданий для себя, подбирает подходящий к случаю грим, а натывается на истину...

Он почувствовал пытливым, изучающим взгляд Волкова, и ему вдруг сделалось стыдно, то есть он устыдился своих же мыслей и, устыдившись, сказал себе: нечего скуднить, надо работать, это главное и единственное, что можно сейчас сделать, и нет сейчас ничего невозможного, непосильного, а можно все, что нужно... А если все-таки не хватит сил или умения, пенять не на кого. Пенять должно только на себя, и это более чем справедливо, ибо не имеет никакого значения чья-то личная судьба, хотя бы и моя, когда речь идет о жизни и смерти миллионов людей, о жизни и смерти страны.

Вот это-то и надо понять. А Волков не умеет, ему недостает уверенности, недостает, черт возьми, хорошей злости. Растерялся он, растекся, как медуза, вынутая из воды, он не в силах собраться. И очень уж боится за свою жизнь. Да если бы он один... Сколько людей потеряли, буквально потеряли голову, когда началась эта страшная война. Были люди как люди, казались сильными, умными, вроде бы исправно делали свое дело, а случилось тяжкое испытание — и людей этих, всеми уважаемых, стало не узнать. Что же, что произошло с ними? Ведь не сделали они хуже, чем были прежде, не ubyло в них ни знаний, ни умения, ни опыта, а тем не менее оказались неспособными к делу. Все просто: изменилась обстановка, нарушился привычный ход событий, и мало уже вчерашнего опыта и вчерашних знаний, а перестроиться эти люди не могут.

Нечто подобное произошло и с Волковым. Его привычки, его жизненный опыт, а пожалуй что и образ мыслей, и характер пришли в резкое противоречие с действительностью, с требованиями сегодняшнего дня, и вряд ли он сумеет приспособиться к нынешним условиям, когда решения, подчас рискованные, нужно принимать немедленно. В обстоятельствах чрезвычайных руководитель не имеет права на сомнения и колебания, как не имеет права и на ошибки. Этого никто не простит. Впрочем, более всего на свете Василий Федорович и боится ошибиться, этот страх парализовал его волю, его, в общем-то, довольно трезвый ум, оттого он так неуверен в себе, и эта неуверенность сказывается на каждом шагу. Порой, глядя на него, Шумилов думает: и откуда он здесь взялся со своими нелепыми, трагикомическими замашками и привычками рефлектирующего интеллигента, как попал сюда, в этот богом забытый таежный уголок, и почему вдруг директор?.. Ну, ладно, директор какой-нибудь тихой конторы, где благообразные служащие в сатиновых нарукавниках щелкают костяшками счетов и переговариваются только шепотом. Но директор завода...

Нет, это не для Волкова. Тут нужен человек жесткий, волевой, не знающий, что такое страх, умеющий работать сам и заставить работать других. А он и приказывать-то не умеет. Он не приказывает, а просит, при этом выглядит каким-то виноватым, словно одалживается.

Однажды Шумилов видел, как Волков просил бригадира плотников задержаться на работе после смены, чтобы закончить опалубку под фундамент. Смотреть было стыдно, а слушать и вовсе. Волков своим мягким, тихим голосом объяснял — пытался объяснить — бригадир, что опалубку необходимо закончить сегодня, это очень, очень нужно, говорил он, а бригадир в ответ кричал, что он, дескать, не лошадь, что они и так двенадцать часов вкалывали почти без перекура и что пусть-ка он сам, то есть директор, остается после смены...

— Но я прошу вас, — промямлил Волков. — Это же не для меня нужно.

— Я не баба, чтобы меня просить! — отрезал бригадир. — Все, шабаш.

Шумилов, не выдержав, подошел к ним.

— Василий Федорович, вас из наркомата по прямому проводу, — сказал он.

— Бегу, бегу, — даже обрадовался Волков. — Разберитесь тут, Антон Игнатьевич.

Он ушел. Бригадир, запихнув топор под ремень, тоже собрался идти. Однако Шумилов остановил его.

— Ваша фамилия? — спросил он.

— А что такое? — насторожился тот.

— Я спрашиваю вашу фамилию.

— Ну, Казачок...

— Нуказачок или просто Казачок?

— Просто.

— Так вот, товарищ... просто Казачок. Вы сегодня закончите опалубку. Ясно?

— Нам что, еще двенадцать часов вкалывать?

— Не двенадцать, — сказал Шумилов и взглянул на часы. — В вашем распоряжении три часа и ни одной минуты больше. Но, если потребуется, будете вкалывать и двадцать четыре часа.

— Не имеете права.

— Еще как имею. И перестаньте валять дурака. Я не собираюсь играть с вами в бирюльки. Это приказ, и попробуйте его не выполнить. В двадцать два ноль-ноль сюда придут бетонщики, чтобы к этому времени все было готово. Вам понятно?

— Понятно, чего там... — Бригадир исподлобья смотрел на Шумилова, но смотрел совсем не злобно, а скорее с уважением. — Только... Бабы одни у меня в бригаде, хоть бы пару мужиков, товарищ главный инженер.

— Будут мужики, а женщин отпустите домой.

Он пошел прочь, дрожа от гнева на Волкова. Что за тряпка, что за рохля!.. С таким директором далеко не уедешь. Или наоборот, подумал он, усмехнувшись, уедешь так далеко, откуда и не вернешься никогда. Да не в том дело, за себя Шумилов не боялся, обидно за дело. Вот не окажись он случайно здесь, не вмешайся, и бригада спокойно разошлась бы по домам и не была бы готова сегодня опалубка. Значит, нечего было бы делать ночью бетонщикам, значит, на сутки позднее установили бы пресс, когда на счету каждый час, каждая минута.

В коридоре заводоуправления он встретил Волкова.

— Как там? — виновато спросил Василий Федорович.

— Все в порядке. В двадцать два начнут бетонировать.

— Спасибо, Антон Игнатьевич. — Волков отвел глаза. — Я понимаю, что надо, что иначе нельзя, а не могу... Устали люди, смотреть жалко. Вы домой?

— Нет, — сказал Шумилов. — Я останусь, нужно проследить за бетонщиками.

— Пожалуй, и я задержусь.

— Вы ступайте, ступайте, Василий Федорович. Я здесь сам управлюсь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Шумилов чувствовал иногда на себе взгляды женщин, от которых делалось ему неловко и стыдно, потому что во взглядах этих были молчаливый укор и осуждение, что вот он, молодой, здоровый мужик, живет спокойно в тылу, не рискует своей жизнью, а их мужья и сыновья там, на фронте... И хотя Шумилов не знал за собой никакой вины, а все-таки понимал этих обездоленных женщин, которые и на женщин-то мало походили. Их лица и руки огрубели от мороза и тяжелой работы, в глазах были постоянные тоска и боль, голоса их сделались хриплые, точно простуженные, и они не хуже мужиков научились ругаться матом. Изможденные от непосильной, все же женской работы и от голода, эти женщины вызвали жалость, сострадание, и никто не мог им помочь, никто не мог облегчить их судьбу. Шу-

милов старался как можно быстрее пройти мимо, старался не смотреть на них. Не зная за собой вины, он все-таки как бы и знал, что виноват. Ибо понимал, что гораздо справедливее ему быть на фронте, где-нибудь под Москвой, под Ленинградом, но в том-то и дело, что его не спрашивали об этом. Ему приказали быть здесь, и он выполняет приказ. Все просто и ясно, однако мысли эти, сами по себе правильные, здоровые мысли, не успокаивали его совесть, не уменьшали чувство стыда, не давали прямо и открыто смотреть в глаза женщинам. Видимо, к этому надо привыкнуть. А главное, чтобы привыкли другие.

Как-то он услышал за спиной:

— Ишь, боров какой расхаживает, да еще и в шляпе!

Пожалуй, во всем городе только он носил шляпу, потому и понял сразу, что слова эти сказаны именно в его адрес. Да хоть бы и не помянули шляпу, все равно он понял бы это.

Он остановился.

В неглубском котловане работали женщины. Шумилов совершенно точно мог бы сказать, какая из них назвала его боровом: она стояла у кромки котлована, опершись на лопату, и вызывающе смотрела на него.

Их взгляды встретились, и Шумилов опустил глаза.

— Уши-то не зябнут? — громко спросила женщина и рассмеялась.

— Зябнут, — признался он. И тоже улыбнулся.

— Здесь не то, что в вашем Ленинграде, и отморозить недолго. — Она сказала «отморозить» и опять засмеялась. — Будешь после ушами стучать, как ледышками. Пошто шапку-то не носишь?

— Нету шапки, — ответил Шумилов.

— Начальство, а шапки нету? — удивленно проговорила женщина. — Коли так, приходи ко мне, дам тебе шапку. Осталась от мужика, а самого-то все равно убили, пропадет шапка.

— Спасибо, обойдусь как-нибудь.

— А зачем как-нибудь? Приходи, я и пригрею, ежели у тебя охота есть. Я страсть какая горячая, обниму как...

— Замолчи ты, стерва проклятушая! — крикнула другая женщина, постарше. — Ну и дуры вы, бабы, ох и дуры! Да нешто он виноватый, что его на войну не берут. Всех-то не возьмешь, кто же руководить станет,

если все мужики на фронт уйдут? Что мы сами, без мужиков? Тьфу! — И она сплюнула в снег.

— Не об том бормочешь, Ивановна, — возразила первая. — Было б с кем погреться ночью темной, а руководить мы и сами с усами.

— Заткнулась бы, кобыла ты необъезженная! Сороковины справиться по мужику не поспела, а уже вон про что думаешь.

— Что ему сороковины, когда неизвестно, где в землю лег.

— Да ты ведь и при живом мужике с другими валандалась.

— Делов-то! Добра этого на всех хватит, а тебя, как видно, завидки берут, да? На тебя-то мужики и в темноте глядеть не могут, страшно потому.

— У-у, пакостница бесетыжая! Хоть человека постыдилась бы. Вы, товарищ главный инженер, не смотрите на нее, у нее язык с три версты, во рту не помещается, вот она и болтает невесть что.

— А не длиннее твоего. Подумаешь, какие все серьезные стали, уж и пошутить теперь нельзя. Помирать все-будем, что ли! А мне, может, пожить еще хочется. Назло всем. Правильно я говорю? — Она посмотрела на Шумилова своими смешливыми глазами. — Иль осерчал на меня?

— Ничего, ничего, — растерянно пробормотал Шумилов. — А жить надо, это верно. Для этого и стараемся.

— Ну что, съели?! — Она победно оглядела подруг. — А ты без шапки-то не ходи, правда уши отморозишь. Завтра принесу мужнину, чего ей зря валяться. А что наболтала разного, не бери в голову, пустое все.

— Ерунда, — сказал Шумилов, — хорошая шутка души греет.

Тут все как-то успокоились сразу, заулыбались и, вылезав из котлована, окружили Шумилова. Он достал портсигар, закурил сам и предложил женщинам, зная, что многие из них курят. Однако никто не решился взять папиросу. Он торопливо затынулся два-три раза и затоптал свою, подумав, что вот опять получилось неловко — с куревом трудно, а он бросил почти целую папиросу. Чтобы как-то загладить эту свою промашку, бодро спросил:

— Как, товарищи женщины, управимся к сроку?

— Раз надо, значит, управимся. Вот мужики наши что-то не очень с фрицем справляются.

— Тоже справятся. Неудачи наши временные.

— Поднажали бы, чтоб побыстрее.

— Это и от нас с вами зависит,— сказал Шумилов.— Чем скорее мы пустим завод и начнем выпускать оружие, тем скорее погонят фрицев. Трудно вам, я понимаю...

— Это-то ничего, товарищ главный инженер, мы привычные. В мирное время тоже после петухов не спали и сложа руки не сидели. Мужикам, поди, потруднее нашего на фронте.

И снова Шумилов почувствовал себя виноватым перед этими женщинами, и захотелось объяснить им, каким образом он вместо фронта оказался здесь, в Верхней Тотьве. Он несколько не сомневался, что его призовут в армию, и даже беспокоился, что жена с дочкой вернутся в Ленинград и не застанут его дома. Но военкомат почему-то не тревожил его, и тогда он сам пошел туда. Ему велели ждать, сказали, что вызовут, когда будет нужно. И он ждал, и в конце концов, уже в августе, когда немцы были совсем близко от Ленинграда, его назначили начальником эшелона, с которым часть заводского оборудования (сколько успели демонтировать) решено было вывезти на восток. Разумеется, он пытался оспорить это нелепое, на его взгляд, назначение, но его одернули, напомнили, что он — коммунист, и посоветовали поспешить с погрузкой. Существовала реальная опасность, что Ленинград вот-вот окажется отрезанным. (Так оно и вышло: через три дня после отправления эшелона немцы перерезали последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград с остальной страной.) Он всего на несколько минут успел забежать домой, в надежде, что есть весточка от жены. Ничего не было, и тогда Шумилов написал жене записку — на письмо не было времени — и положил ее на стол, придавив пепельницей. Теперь нужно было собрать вещи в дорогу, но этому помещал управхоз. Он пришел опечатать комнату.

— Все уезжают,— сказал управхоз, горестно вздохнув.— А я никуда не поеду. Не может быть, чтобы колыбель нашу отдали врагу.

— Разумеется, разумеется,— пробормотал Шумилов, рассеянно оглядывая комнату.— Но фронт рядом, а поэтому все, что еще можно, нужно вывезти из Ленинграда.

— Оно конечно, — неуверенно согласился управхоз. — В гражданскую войну тоже вывозили. А супруга ваша сюда вернется или как?

— Не знаю, — сказал Шумилов.

— А письмецо, гляжу, оставляете. . .

— На всякий случай.

— Вы не беспокойтесь, комната ваша в полном порядке будет.

— Что комната! — махнул Шумилов рукой.

— Да, война. . . А все-таки кончится она, тогда и про комнаты, и про все остальное вспомним. Я вот уже пятую войну переживаю: японская, германская, гражданская, финская. . .

В прихожей зазвонил телефон. Шумилов вышел, снял трубку. Ему сообщили, что эшелон готов к отправке, уже и локомотив подан. За ним, за Шумиловым то есть, послана машина. На сборы времени не было, и он, побросав в чемодан что подвернулось под руку, ушел из дому. Машина стояла у парадной.

Путь до Верхней Тотьвы оказался долгим и трудным. Несколько раз эшелон бомбили, были жертвы. Потом выяснилось, что, в общем-то, никто толком не знает, куда именно идет эшелон. Формировали его в спешке, лишь бы отправить из Ленинграда, лишь бы успеть, а теперь вот в связи с этой неразберихой возникли большие сложности. Приходилось с боем добывать паек для людей, на каждом разъезде приходилось ругаться с железнодорожниками, потому что эшелон не имел так называемого литера и его норовили загнать на запасные пути. Случалось, на каком-нибудь полустанке стояли по нескольку суток. Шумилов бомбардировал телеграммами свой наркомат, но, похоже, и в наркомате не знали, что делать с эшелонам, который оказался как бы лишним, неплановым. В конце концов указали станцию назначения — Омск, однако до Омска доехать не успели: получили новое указание — следовать в Первоуральск, но и в Первоуральск не попали, неделю простояли на товарной станции в Свердловске, пока наконец не поступило распоряжение следовать в Верхнюю Тотьву. Здесь же, в Свердловске, Шумилов узнал, что он назначен главным инженером завода № 29. Он снова пытался протестовать, ходил в военкомат, но там его даже не выслушали. Кто-то посоветовал ему обратиться к представителю ГКО, который будто бы находился в

Свердловске, но Шумилов его так и не разыскал. Да если бы и разыскал, вряд ли чего-нибудь добился.

— Успокойся, возьми себя в руки,— сказал Кирпичников.— Начальству виднее, где твое место.

— А где оно, это начальство? — вспыхнул тогда Шумилов.— Больше месяца гоняют по железной дороге и никому дела нет.

— Ладно тебе, не ворчи. Знаешь ведь, какое положение.

— Да что ты меня воспитываешь? Мне на фронт надо, а я вместо этого по стране катаюсь.

— Всем надо,— сказал Кирпичников,— но не всем можно.

Пожалуй, в тот раз Шумилов впервые и как-то вдруг, неожиданно осознал, что действительно нельзя всех отпустить на фронт, что кто-то должен работать на войну, на победу и здесь, в тылу. Правда, он все еще не соглашался, что это должен именно он, но смириться смирился, решив, что потом как-нибудь уладит этот вопрос.

Все это он мог бы рассказать женщинам, и они, безусловно, правильно поняли бы его, однако никто не ждал его объяснений, а тем более оправданий. И смотрели женщины на Шумилова и на других мужчин с укором вовсе не потому, что обвиняли их в чем-то. Просто боялись за своих мужей и сыновей и, может быть, немножечко завидовали тем женам, чьи мужья были вместе с ними...

Шумилов постоял еще недолго возле котлована, потом попрощался с женщинами и пошел к себе. Свернув за угол, где его не было видно никому, он зачерпнул в ладони снег и растер уши, которые перестали уже чувствовать холод. Надо купить шапку, подумал он, а то и в самом деле отморожу уши. Да и смешно, глупо даже, должно быть, я выгляжу в своей велюровой шляпе...

II

В первый же выходной Шумилов отправился на рынок, который находился в самом центре города, всего в каких-нибудь трех-четырёх кварталах от главной площади, где располагались и райком партии, и райисполком, и прочие учреждения. Именно на площади начина-

еще угадывать близость рынка: вдруг запахнет сеном, навозом и еще чем-то, что трудно определить, но запах этот несомненно рыночный. И тут же к прохожим подпевают спекулянты-перекупщики, от которых не так-то просто отвязаться. Их не минуешь, мимо них не пройдешь, они занимают дальние подступы к рынку, и у каждого свой участок, свои улицы и переулки. Чужаку, вздумавшему тоже пожить за счет наивных людей, делать здесь нечего: прогонят взащей, а то и поколотят. Странно, но Шумилов прошел свободно, к нему никто не приставал с вопросом: «Что продаешь?» Может быть, к этому времени его уже достаточно хорошо знали в городе, а может, на местных спекулянтов произвела впечатление шляпа.

А рынок удивил Шумилова. И озадачил тоже. Здесь было все, в том числе и мясо, как будто люди и не голодали, как будто и не ели картофельные очистки и бог знает что еще. Лошади хрустели сеном, жевали овес из мешков, подвешенных к оглоблям, истошно орали поросята, на возках чинно восседали здоровенные бородатые мужики в тулупах, дымя огромными «козьими ножками», безногий пьяный парень, сидя прямо на снегу, фальшивым голосом пел песню про партизана, который лежит под дубом, перед ним лежала фуражка — почему-то морская, — и многие бросали в нее монеты. И тут же продавали скудный карточный паек. Худая женщина, до того худая, что невозможно было определить ее возраст, продавала хлеб. Она держала полбуханки хлеба бережно, аккуратно, прижимая к груди, словно боялась, что у нее отнимут хлеб, и старалась не смотреть на него (это было очень заметно), как и бывает всегда, когда голодный человек видит еду, которую не может взять. Вместе с нею была девочка лет пяти-шести, она-то смотрела на хлеб в руках матери во все глаза и, наверное, мысленно отщипывала по крошечке.

Шумилов почувствовал, как защемило в груди. Он подошел к женщине, спросил:

— Сколько стоит?

— Сто пятьдесят рублей, — ответила женщина, крепче прижимая к груди хлеб. — Или полведра картошки.

Шумилов достал деньги, отсчитал пять красных тридцаток и протянул женщине.

— Купите картошки, — сказал он, — а хлеб не продавайте, съешьте сами.

— Что вы, что вы!.. — испуганно воскликнула женщина. — Я не возьму, так нельзя.

— Вы эвакуированные?

— Из Ленинграда мы.

— Я тоже из Ленинграда, — сказал Шумилов.

— Я знаю вас... — Женщина опустила глаза, застеснявшись. — Вы работали в Ленинграде на нашем заводе.

— Вот видите. Оставьте хлеб себе, у меня есть деньги, не беспокойтесь.

— Но вы же не можете всех накормить.

— К сожалению, не могу, — согласился Шумилов. Он взял хлеб, отломил кусок и протянул девочке.

— Ешь. Тебя как звать?

— Таня... — Она жадно глядела на хлеб, но взять не решалась.

— Бери и ешь, Таня. А это возьмите, не понесу же я по улице!

Женщина приняла хлеб, спрятала в сумку и тихо сказала:

— Спасибо вам, Антон Игнатьевич. Дай бог... — И заплакала.

Девочка ела, держа кусок двумя руками, Шумилов смотрел на нее, чувствуя, что и сам вот-вот заплачет, и вдруг подумал, что ведь, в сущности, он оскорбил человека, потому что его великодушие смахивает на подавние.

— Извините меня, — пробормотал он и быстро пошел прочь.

Он быстро, не торгуясь, купил шапку из овчины, хотел еще посмотреть зимнее пальто или полушубок — в демисезонном было холодно, — но оказалось, что у него мало денег на такую покупку, и он собрался уходить. Возле бокового входа на рынок, где народу было поменьше, он увидел женщину, которая, развернув узел, достала мужское зимнее пальто. Что-то толкнуло Шумилова к этой женщине, хотя он понимал, что все равно пальто ему не купить. Слишком уж дорогое это было пальто, из прекрасного темного-синего драпа, с черным каракулевым воротником и совершенно новое...

Однако еще раньше возле женщины очутился бойкий такой, суетливый мужичок. Он вынырнул откуда-то из-за угла, деловито ощупал ткань, помял ее и зачем-то подул на воротник.

Все же Шумилов, подойдя, поинтересовался:

— Вы продаете пальто?

— Продано, продано, проходи себе, не мешайся тут, — быстро затараторил мужичок.

— Почему продано? — удивилась женщина. — Продаю, гражданин, — сказала она Шумилову.

— А какой размер?

— По-моему, как раз ваш. Пятьдесят второй четвертый рост.

— Да, это мой размер, — вздохнул Шумилов.

— Если хотите, можете примерить. . .

Но тут мужичок изловчился, выхватил пальто из рук женщины и стал торопливо, оглядываясь, засовывать его в мешок, где уже были какие-то вещи.

— Да что вы делаете, гражданин?! — воскликнула женщина не столько испуганно, сколько удивленно. — Я вам ничего не продавала. Я не хочу вам продавать.

— Ладно кричать-то, быдто в лесу. Сказано, беру, и все тут. Пойдем-ка в сторонку, подальше от этого в шляпе, я деньги-то отдам.

— Вы пальто отдайте, не нужны мне ваши деньги. Что же это делается, право? . .

Шумилов положил руку мужику на плечо.

— Верните сейчас же! — сказал он.

— А тебе что? Иди, иди своей дорогой, куда шел. Я тебя не трогал, и ты меня не трожь.

— Верните пальто, — повторил Шумилов.

— Сам хошь заграбастать, да? Нажрал морду в тылу и пристаешь к беззащитным фронтовикам! Я знаю тебя, спекулянт проклятый, не думай! Людям горе, а ты окопался тута, обманываешь бедных женщин и несчастных сирот! . .

Шумилов растерялся даже от неожиданности и такого нахальства, а вокруг начала собираться толпа любопытных. Спектакль обещал быть интересным.

— Отдайте мое пальто, — потребовала женщина. — Я раздумала продавать.

— Так не пойдет, договор дороже денег. Вот, бери свою тыщу двести и беги скорее отседова, покуда такие, как этот. . . — Мужичок кивнул на Шумилова. — Он и половинны не даст.

— Да вы с ума сошли! — воскликнула женщина, отстраняя деньги. — За тысячу двести я не отдам.

— А сколько же тебе надо?

— Две тысячи... — неуверенно ответила она.

— Во как! — вскричал мужичок и огляделся, ища поддержки у зрителей. — Сперва просила тыщу двести, а теперь...

— Да я еще ничего не просила, я только достала...

— Ишь как посорачивает, а дай тебе две тыщи, так ты две с половиной захочешь! — Он хохотнул и стал насильно пихать деньги женщине в руку.

И тут появилась Нюша. Она появилась неожиданно, прошла сквозь толпу, ни на кого не обращая внимания, встала рядом с женщиной, которая продавала пальто, перекрестила ее, будто благословляя, после повернулась лицом к мужику — тот притих и стоял смиренно — и плюнула ему под ноги.

— Отдай, иродов сын, — сказала Нюша.

— Да я что, я ничего, она сама... — бормотал мужик, держа за свой туго набитый мешок. — Я купил, мы договорились, у кого хочешь спроси...

Нюша молча наклонилась, забрала у него мешок и, вынув пальто, вернула его женщине. Мужичок тотчас исчез, а толпа одобрительно загудела.

— Все соблазн, господи, все соблазн, — обращаясь к Шумилову, сказала Нюша. — Горе миру от соблазнов, но горе и тому, через кого соблазн приходит. Ввергнет господь в геенну огненную, аки...

— Все проповедуешь? — улыбнулся Шумилов. Он уже пришел в себя. — А непонятное что-то, бабуля. Шла бы ты лучше домой, не смущала бы людей напрасно.

— Зрю, что не веруешь, — с сожалением молвила Нюша. — Господь простит заблудшего и грехи его простит, а люди — они люди и есть. Не им судить, а судимыми быть. — И, повернувшись, пошла сквозь поредевшую толпу, бубня что-то себе под нос.

А женщина с пальто исчезла. Черт с ней, подумал Шумилов. ШАПКА теперь есть, и ладно, хоть уши не будут мерзнуть. Ну его к дьяволу, это пальто вместе с рынком. К тому же и денег все равно мало, и противно на душе, мерзко. Особенно противен был ему разговор с Нюшей. А в то же время Шумилов и понимал, что, не случись Нюши, мог быть скандал. Только и не хватало влипнуть в сомнительную историю, то-то было бы разговоров...

И вот тут он снова увидел давешнюю женщину. Она шла несколько впереди, боязливо оглядываясь по сторо-

нам. Шумилова словно подтолкнул кто-то, он надбавил шагу и догнал ее.

— А я потерял вас, — сказал он, поравнявшись с нею.

— Что вам от меня нужно? — Она отошла на край тротуара, как бы освобождая ему дорогу, а сама все оглядывалась.

— Поверьте, это нелепое, дурацкое недоразумение.

— Оставьте меня в покое.

— Смешно, честное слово. Неужели я в самом деле похож на спекулянта?

— Право, не знаю, на кого вы похожи, мне все равно.

— Хотите, я покажу документы? — Шумилов полез в карман. Почему-то ему было важно, чтобы женщина убедилась в его порядочности.

— Мне не нужны ваши документы, я верю вам.

— Спасибо.

— За что? — Она посмотрела на него с удивлением.

— Не по себе как-то, когда тебя принимают за бандита с большой дороги. Ведь вы эвакуированная, верно?

— И что дальше?

— Я тоже. — Шумилов смутился, подумав, что глупо называть себя эвакуированным. Вроде как женщина с ребенком. Или инвалид. — Я хотел сказать...

— Почему вы объясняете мне все это? — Она остановилась и пристально так, с интересом посмотрела на него. — Мне нет никакого дела, кто вы и что вы. Шли бы по своим делам, право.

— Сам не знаю, — ответил он. — Послушайте, — вдруг догадался он, — а вы не из Ленинграда?

— Ну, вы-то, разумеется, ленинградец! — насмешливо проговорила она. Похоже, она не верила ни одному его слову, и это обидело Шумилова, задело, что называется, за живое.

— Представьте себе! Приехал сюда с заводом.

— Если так... могу уверить вас, что вы не похожи на спекулянта. На бандита тоже. — У нее сбился платок на голове, открылось лицо, и Шумилов только теперь обратил внимание, что она молодая — лет двадцать пять ей, не больше. И лицо красивое, одухотворенное, подумал Шумилов.

— Спасибо, — невпопад буркнул он.

— Смешной вы, право, — сказала она, улыбаясь, и поправила платок. — Что за важность, поверю я вам или

не поверю? Ведь мы с вами наверняка больше никогда не встретимся.

— В этом-то городе?! Почти невероятно. Кстати, почему бы нам не познакомиться, раз уж так все получилось? Тем более, мы земляки. Или я не угадал?

— Угадали,— вздохнув, сказала она.— Меня зовут Елена Сергеевна.

— Шумилов,— сказал он.— Антон Игнатьевич.

— Шумилов?..— Она опять взглянула на него с недоверием.— Мне говорили, что на двадцать девятом заводе работает какой-то Шумилов, он тоже ленинградец...

— Это я.

— Ну, знаете ли!.. Это уж слишком. А впрочем, каких только чудес не бывает на свете. Вы действительно тот самый Шумилов?

— Увы, как говорится, и ах! Не похож?

— Глупости,— сказала она, пожимая плечами.— Да возьмите же ради бога у меня этот узел, мне тяжело и неудобно. Как только мужчины носят на себе такую тяжесть.

— А на себе легче, чем в руках,— пошутил Шумилов, принимая узел.

— А где вы живете в Ленинграде? — спросила Елена Сергеевна, и Шумилову показалось, что она проверяет его. Значит, подумал он, все еще не до конца верит.

— На Гороховой. Недалеко от Фонтанки, ближе к Садовой.— Он специально уточнял подробности, чтобы убедить ее в том, что он знает Ленинград.— А вы?

— На Гончарной.

— Не люблю этот район. Вообще не люблю вокзалы.

— Да, район не очень хороший, вы правы,— согласилась она.— Но сейчас... Не хотите выпить чашку чаю? — вдруг предложила Елена Сергеевна, предложила так просто и естественно, точно были они в Ленинграде, у себя дома, и точно было это мирное время.

— А что, с удовольствием! — сказал Шумилов.— Удобно это?

— Я же вас приглашаю. Пойдемте.

III

Она привела его в барак, в один из тех полуразвалившихся барачков, что были построены для лесозаго-

товителей. Они прошли длинным темным коридором, и Елена Сергеевна открыла дверь в комнату. Шумилову пришлось пригнуть голову, чтобы не стукнуться о притолоку. Комната была крохотная, метров десять всего, с одним подслеповатым окном, возле которого сидела седая старуха и штопала чулки. А рядом с ней сидел мальчик, на вид ему было года два. Ни старуха, ни мальчик не обратили внимания на вошедших.

— Это я,—громко сказала Елена Сергеевна.— Я привела покупателя, он хочет купить Вашу пальто. Вы слышите меня?

Старуха подняла на Шумилова глаза, долго и пристально вглядывалась в его лицо, потом закричала неожиданно:

— Ты все готова продать, тебе только волю дай!

— Пожалуй, я пойду,—растерянно пробормотал Шумилов.— Извините за беспокойство.

— Обождите,—остановила его Елена Сергеевна.— И, обращаясь к старухе, тихо сказала:— Не умирать же нам с голоду.

— А ты подумала, что будет носить Вася, когда вернется с войны? Он так любит это пальто... Продавай, мне что? Но знай, что я напишу Васе. Пусть он знает, что у него больше ничего нет. И пусть тебе будет хоть немножечко стыдно.

— Напишите, напишите,—проговорила Елена Сергеевна усталым, поникшим голосом.— А вы присаживайтесь, Антон Игнатьевич, ведь в ногах правды нет.— Она улыбнулась ему, однако улыбка ее была вымученная, ненастоящая. Похоже, ей хотелось плакать, а не улыбаться.

— А где есть правда?—подала голос старуха и вздохнула безнадежно.— Собирали по копейке, чтобы справиться Васе приличное пальто, а отдавать за гроши?.. Это его первое приличное пальто в жизни, он так радовался, так радовался!..

— Ну почему же за гроши?—возразила Елена Сергеевна.— И при чем тут правда?

— А сколько дает этот твой покупатель?—Старуха смотрела на Шумилова неприязненно.

— Столько, сколько оно стоит.

— А он представляет, сколько оно стоит по теперешним временам?

— Я думаю, что не меньше двух тысяч,—сказал Шумилов. Он жалел уже, что принял приглашение и

пришел сюда, а этот спектакль с пальто и вовсе был ни к чему. Ведь все равно он не может его купить.

— И это еще дешево,— подхватила старуха, откладывая чулки.— Очень дешево, молодой человек. Триста рублей буханка хлеба! А это хорошее и почти новое пальто с настоящим каракулевым воротником. Вы имели когда-нибудь такое пальто?

— Нет,— признался Шумилов.

— Я так и знала. Что делать, кто-то отдает вещи за гроши, а кто-то за гроши покупает. Одним горе, а другим... Вот что такое война, молодой человек! Вы почему не на фронте?

— Мама, какое ваше дело! — сказала Елена Сергеевна с укором.

— А что, разве нельзя спросить?

— К сожалению, не отпускают, — ответил Шумилов.

— Значит, вы нужный человек. Это и видно. Может, вы заодно купите и костюм? — вдруг предложила старуха, оживляясь.— Вам необходим хороший костюм, вы такой видный, представительный...— Она проворно вскочила, выдвинула из-под тоичана большую квадратную корзину, похожую на сундук, и достала оттуда костюм, аккуратно сложенный и пересыпанный нафталином. Костюм был действительно хороший, тоже, как и пальто, почти совсем новый, из темно-синего бостона на шелковой подкладке.— Вася надевал его всего два или три раза, когда они ходили в театр,— сказала старуха, показывая глазами на Елену Сергеевну.

— Костюм прекрасный, — согласился Шумилов, — но...

— Вы не сомневайтесь, это настоящий бостон.

— Я и не сомневаюсь...

— Тогда берите и не думайте.

— Сходите поставьте чайник,— сказала Елена Сергеевна.— Антон Игнатьевич у нас в гостях.

Старуха прошамкала что-то нечленораздельное и, шаркая шлепанцами, отправилась на кухню.

— Напрасно вы это затеяли, — сказал Шумилов.

— Глупости. И простите, бога ради, за этот... спектакль. Она не совсем здорова.

— Вы меня простите. И я пойду.

— Нет, вы попейте с нами чаю,— настойчиво сказала Елена Сергеевна.— Вам действительно нужен костюм? Нам ведь все равно продавать.

— Нужен — не то слово, — усмехнулся Шумилов. — На мне все, что у меня есть.

— Тогда берите и не обращайтесь на нее внимания. Она нарочно устроила скандал, чтобы набить цену.

— Я бы взял и пальто, и костюм... — Он развел руками.

— Понимаю, понимаю! — догадалась Елена Сергеевна. — У вас сейчас нет денег.

— Вот именно. У меня всего тысяча рублей.

— Что за беда! Отдадите потом. Нам и не нужны все деньги сразу. Истратим, а продавать больше нечего.

— Зачем же потом, — сказал Шумилов, — я могу отдать хоть завтра.

— Лучше потом.

Вернулась старуха с чайником, подозрительно посмотрела на Шумилова, на Елену Сергеевну, пробормотала что-то и поставила чайник на стол.

— Пожалуй, я куплю и костюм, — решившись, сказал Шумилов. — Сколько вы хотите за него?

— Мы продаем эти вещи только из-за большой нужды.

— Я понимаю.

— А что прикажете делать? Вот наш Мишенька, он очень больной, ему необходимо хорошее, полноценное питание. Так сказали доктора. А где его взять, полноценное питание? Вот и приходится продавать дорогие нам вещи.

Услыхав свое имя, мальчик повернул голову, но не сказал ничего, просто посмотрел на Шумилова, и глаза его при этом оставались безучастными.

— Мы не станем торговаться, — продолжала старуха. — Я вижу, что вы культурный, интеллигентный человек и не позволите себе обмануть двух одиноких, беззащитных женщин. Вы дадите нам за костюм тоже две тысячи рублей?

— Безусловно, — сказал Шумилов. Ему было на все наплевать, лишь бы поскорее уйти отсюда.

— После войны, когда мы вернемся в Ленинград...

— Антон Игнатьевич тоже ленинградец, — сказала Елена Сергеевна.

— Да что вы говорите? Неужели?.. — Старуха всплеснула руками. — Я сразу подумала об этом, как только увидела вас. Это очень, очень приятно...

— Мама, Антон Игнатьевич спешит, — прервала ее Елена Сергеевна.

— Да, да, конечно. Я сейчас заверну вам пальто и костюм.

— Не надо заворачивать пальто, я надену его.

— И правильно,— похвалила старуха.— Зачем мять хорошую вещь? Оно такое теплое! А воротник, вы только посмотрите, какой воротник! В этом пальто вы будете как у Христа за пазухой, вам не страшен теперь никакой мороз. И заходите к нам в гости, мы будем рады.

— Спасибо,— сказал Шумилов,— я обязательно зайду.

Елена Сергеевна вышла вместе с ним, ей нужно было вернуться на рынок, чтобы купить картошки.

— Это ваша свекровь? — поинтересовался Шумилов.

— Тетка моего мужа, она растила его. У него рано умерла мать.

— А что с вашим мальчиком?

— Ох, не спрашивайте, Антон Игнатьевич.

— Извините.

— Да что ж вам извиняться, право. Болен он, очень болен.

— Может, я могу чем-нибудь помочь?

— Не знаю, поможет ли ему кто-нибудь,— печально проговорила Елена Сергеевна.

— Я хорошо знаю главного врача районной больницы.

— Доктора Левина?

— Да.

— Это хороший врач, я слышала о нем еще в Ленинграде.

— Я поговорю с ним,— пообещал Шумилов.

— Не стоит вам беспокоиться, право. Мне неудобно...

— Пустяки,— сказал Шумилов.— А где вы работаете?

— На лесокombинате, на пилораме. Работа, правда, тяжелая, зато карточка рабочая и пропуск в столовую.

Шумилов бывал на пилораме и в общих чертах представлял, что это за работа. Мокрые бревна прямо из воды втягиваются по транспортеру вверх, собственно на пилораму, там их пилят на доски, и женщины вручную оттаскивают эти доски и горбыли на улицу, складывают в штабеля на лесовозные салазки. На пилораме только одна стена и крыша, холодно там так же, как на улице, да еще сквозняк продувает. К тому же сырость и страшный грохот.

Он взглянул на Елену Сергеевну. Была она маленькая, хрупкая. Как фарфоровая статуэтка, подумал Шумилов. И еще подумал, что вот о таких женщинах, наверное, и говорят: «В чем только душа держится».

— А у вас какая-нибудь специальность есть? — спросил он.

— Бухгалтер.

— Зайдите на днях ко мне, я постараюсь подыскать вам работу по специальности.

— А рабочая карточка? — Она подняла глаза. — Да и бухгалтеров в Тотье собралось столько, что на всех работы не хватит. Спасибо вам за заботу.

— И все же зайдите, — настаивал Шумилов. — Что-нибудь придумаем. А с пилорамы вам надо уходить, угробите себя.

— Не знаю, право. Неудобно обременять вас.

— Давайте оставим неудобства и прочее до лучших времен, — сказал он. — В общем, я жду вас. В заводоуправление вход без пропусков. С утра, часов до одиннадцати, я всегда на месте. Или позвоните. Коммутатор завода — два-ноль-три.

— Я подумаю, — сказала Елена Сергеевна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Анна Тихоновна с Надей ждали Шумилова к обеду, не сажались без него за стол, зная, что он не на работе. Ему сделалось неловко оттого, что его ждут, и он сказал хозяйке, что напрасно они это делают, тем более, еще сказал он, я и есть-то не очень хочу, заходил к Василию Федоровичу и перехватил там.

— Да и мы не шибко хотим, — ответила на это Анна Тихоновна. — Но все равно, раз время пришло и пока ши горячие...

Она загремела посудой, собирая на стол.

А вот Надя промолчала, и это показалось Шумилову удивительным, потому что обычно она обязательно возражала ему, даже если и повода особенного не было и если была она заведомо не права. А тут промолчала, хотя повод-то вроде и был, и Шумилов догадался, что Надя за что-то обижена на него. В ней вообще много ребяческого, по-детски наивного. Возможно, это от моло-

дости — ей было неполных двадцать, — а возможно, и оттого, что она все время с ребятами, и даже когда оказывалась в окружении взрослых людей, продолжала как бы жить со своими пионерами. Шумилов находил ее симпатичной, она ему нравилась, вот только дурацкая эта манера дуться на всякую мелочь. . .

— А что, сегодня нет никаких новостей с фронта? — спросил он нарочито бодрым голосом, делая вид, что не заметил Надиной обиды.

— Наши освободили Можайск, — подчеркнуто официально сообщила она.

— Разве можно молчать, когда такие хорошие новости! — сказал Шумилов укоризненно.

Надя пожала плечами.

— А как идут дела на японо-американском театре военных действий?

— В этом театре все по-прежнему. . .

Анна Тихоновна неодобрительно взглянула на дочку, однако промолчала. Она обижена всерьез, подумал Шумилов, но чем же, интересно знать, я мог ее обидеть? . . . Глупая, наивная девочка, она все еще живет в розовых сказках о принцах и принцессах, она все еще не может примириться с суровой, жесткой действительностью, полной противоречий.

— Иначе говоря, — сказал он, — япошки щиплют помаленьку американцев? Настырный, воинственный народ, эти япошки. Но и самоотверженный, верно?

Надя подняла глаза и, усмехнувшись, проговорила:

— А вам, кажется, доставляет удовольствие экзаменовывать меня. Тогда задавайте дополнительные вопросы. Вы еще насчет Африки не спрашивали. На будущей неделе мне нужно проводить политинформацию, так что я заодно и подготавлиюсь.

— Политинформация — это хорошо. Но вы сегодня какая-то. . . взрывоопасная, Надюша.

— Будьте осторожны.

— С вами всегда надо держать ухо востро, — пошутил Шумилов.

— Только со мной? — Она смотрела на него насмешливо, как если бы знала какую-то его тайну, которую он хотел бы сохранить.

— И что пристала к человеку ровно банный лист! — встряла в разговор Анна Тихоновна.

— По-моему, это Антон Игнатьевич пристал ко мне.

— Человек приморился, ему отдохнуть нужно, а ты...

— С чего бы это он приморился? — Надя скривила в гримасе губы. — Подумаешь, какая работа — на базар сходить. Некоторые торчат там целыми днями и не устают. А пальто, Антон Игнатьевич, вы купили шикарное. В таком пальто в нашем захолустье и на улицу выйти страшно. У нас все больше в армяках ходят да в фуфайках: Не боитесь, что снимут? На днях одну женщину раздели прямо возле ее дома.

— Совсем? — снова пошутил Шумилов, и понял тотчас, что шутка его неуместна и глупа.

— Не совсем, только шубу сняли. А может, и врут... — И вдруг спросила: — А эта женщина, у которой вы... купили пальто, она ваша землячка, разумеется?

Вот в чем дело, оказывается. Значит, Надя видела его вместе с Еленой Сергеевной, и ее женское самолюбие взбунтовалось. Что же это, защита своего права, права первого знакомства, или уже ревность?.. Выходит, она не такой наивный ребенок, как мне кажется. Похоже, у нее есть характер, а полудетские ее обиды — некая маска, под которой она укрывает обостренное чувство собственного достоинства? Однако не слишком ли сложно для ее-то возраста и провинциального воспитания?..

Шумилов, хлебая щи, с интересом наблюдал за Надей, и не то чтобы это было очень важно для него, вовсе нет, но любопытно. До этого дня он как-то не принимал ее всерьез, разговаривал с нею всегда в полшутливом тоне и, пожалуй, чуточку свысока, а сейчас понял, что так больше нельзя. Наверное и даже безусловно, Надя многого не знает в жизни, да и сама жизнь пока еще загадка для нее, тайна, как говорится, за семью печатями, однако она умеет чувствовать, а это, быть может, самое главное для женщины.

Надя сидела уткнувшись в тарелку.

Неужели в ней пробудилась ревность, продолжал думать Шумилов. Но чтобы ревновать, нужно любить. Ревность без любви — нонсенс, а любовь... Впрочем, кто их поймет, женщин. Вполне возможно, что они могут ревновать и просто так, из неприязни к другой женщине, из самолюбия. Именно: неосознанное стремление быть всегда и во всем первой, самой-самой. Соперничество ради соперничества, соперничество как таковое. У женщин чувство это сильно развито. И еще чувство

собственности, при этом каждая из них в каждой же видит всю конкурентку, которую нужно оттеснить, устранить, даже если самой мужчина, данный мужчина, и не интересен. Это и есть атавизм, подумал Шумилов, присущий только женщинам. Уж так они устроены, так организованы. Примат врожденного инстинкта самки над всем остальным.

— Знаете, а эта женщина действительно моя землячка,— сказал Шумилов и улыбнулся. Дескать, хотите верьте, хотите нет, а факт остается фактом.

Надя шевельнулась, будто бы хотела ответить что-то, но промолчала.

Анна Тихоцовна прислушивалась настороженно, со вниманием, хотя и плохо понимала, что происходит.

— Они живут в ужасных условиях...

— Кто они? — все-таки спросила Надя, не выдержала.

— Эта женщина. Ее зовут Елена Сергеевна.

— А мне все равно, как ее зовут.

— У нее свекровь, вернее, тетка мужа и маленький сын, совсем больной. Кожа и кости, смотреть страшно.— Он вспомнил глаза мальчика — пустые, безучастные ко всему на свете, в которых не было даже естественного детского любопытства к незнакомому человеку, словно бы смотрел мальчик из того, другого уже мира, и потому ничто, что делается в этом мире, не вызывало в нем интереса.— Ему необходимо хорошее питание, а они голодают...

— Господи, прости и помилуй,— молвила Анна Тихоцовна.— За что ребятишкам-то такое наказание?

Надя знала, что Шумилов говорит правду, и понимала, что по-хорошему должна извиниться перед ним за свою несдержанность, однако сделать этого не могла. Это было выше ее сил, потому что она любила Шумилова, и её оскорбляло его отношение к ней. Она не хотела быть девочкой, недостойной его внимания. Она хотела, чтобы он увидел в ней женщину...

А полюбила Надя сразу, как только увидела Шумилова. Может быть, даже сказала себе, что этого человека я люблю. Разумеется, он ничего не знал об этом, и не должен знать, его это просто не касается. Ее любовь — это ее тайна, и она навсегда останется с нею, только с нею. Именно такая любовь, думала Надя, и есть самая настоящая и самая жизнеспособная. Любовь без надежды на взаимность (тут она чуточку кривила

душой), любовь-мечта. Никто не оговорит, не опорочит и не отнимет эту любовь, потому что мечту нельзя отнять. Все можно отнять у человека, в том числе и жизнь, а вот мечту — нет.

Она вздыхала горько, а случалось, и плакала, закрывшись в своей девичьей комнате, разделенной с комнатой Шумилова дощатой перегородкой. Она прислушивалась к его шагам, как скрипит под его ногами пол, и без труда угадывала, где он находится. Вот подошел к окну, постоял. Наверное, задернул занавеску. А вот подошел к этажерке. Должно быть, выбирает книгу, чтобы почитать перед сном. Он всегда читает перед сном, а спит с открытой форточкой. Мать уже выговаривала ему за это, а он только смеется. У меня, отвечает, кровь горячая и вообще спать с открытой форточкой рекомендует доктор, это полезно для здоровья. У него на все есть ответ, и никогда не поймешь, шутит он или говорит всерьез. А вот он идет к кровати, раздевается. Здесь ей делалось стыдно, она краснела, закрывалась с головой и лежала так до тех пор, пока, по ее расчетам, Шумилов тоже не ложился в постель.

А вдруг, иногда думала Надя, он однажды придет к ней в комнату? Постучится тихонько, чтобы не услышала мать, а ей даже и вставать не надо, чтобы открыть дверь — только протянуть руку и откинуть крючок.

Думать об этом было вовсе уж стыдно, так стыдно, что сердце замирало (или замирало оно не от стыда?), однако Надя знала наверное, что, если когда-нибудь такое случится, если Шумилов действительно постучится когда-нибудь к ней, она не станет делать вид, что спит и не слышит ничего, но протянет руку и откинет крючок. . .

Но знала она и другое: никогда Шумилов не придет. Может быть, потому-то и позволяла себе думать об этом, что знала — этого не будет.

Анна Тихоновна все видела и все понимая. Господи, чего уж тут и не понять, когда дочка глаз не сводит с квартиранта, места себе не находит, если его поздно нет дома, прислушивается, не стукнет ли калитка, не залется ли радостно Рыжик, встречая Шумилова, не заскрипит ли крыльцо под его ногами. У нее лицо все светится, огнем горит прямо, когда он приходит домой. Зато если он вовсе не возвращается с работы, а остается ночевать на заводе, что бывает часто, Надя тогда сама не своя. . .

И хотела бы ничего не замечать Анна Тихоновна, сй

как хотела бы, да где там не заметишь, когда и слепой увидит.

А квартирант нет, не обращает внимания на дочку, а если и обращает — мужик же все-таки и молодой совсем, — вида не показывает, и за это Анна Тихоновна благодарна ему, тем более что работает она часто ночами и дочка с квартирантом остаются в доме вдвоем. Однако и обидно немножко Анне Тихоновне, что Шумилов как бы вовсе не замечает дочку. Ведь красивая же Надюха, ох до чего же она красивая! Ну что тебе на картинке. И коса-то у нее длинная, чуть не до самого пола, и глаза-то большие и заметные, как ясное небо голубые-голубые, и ресницы что надо, и брови разлетистые, а уж про фигуру-то и сказать нечего — идет по улице, так загляденье, век бы смотреть и не насмотреться на такую девку. Не зря местные парни иссыхались по ней, друг на дружку зверьем смотрели, возле дома драки устраивали, сколько раз отцу разгонять их приходилось. Конечно, рассуждает Анна Тихоновна, свои парни неровня Антону-то Игнатьевичу, совсем неровня, так ведь и Надюха это понимает, зато и не выбрала среди местных парней жениха себе, а дождалась же его...

Но больше не об этом думает Анна Тихоновна, глядя, как сохнет, изнывает дочка от любви. О Шумилове больше думает и об его семье. Дай-то бог, чтобы все хорошо и ладно у него получилось, чтобы нашлись жена и дочурка его маленькая. Пройдет любовь Надюхина, а уважение к человеку останется. Помучается, не без того, так ведь для того и жизнь дадена, а те мучения, которые от любви, не страшные мучения, от них у бабы сердце смягчает и на душе светится. А в жизни все идет своим чередом, по порядку, какой людьми же от веку положен...

Поговорить бы надо с дочкой, объяснить ей, что и как, да вот не умеет Анна Тихоновна вести такие разговоры, не получается у нее. А Надежда того и гляди натворит глупостей, стыда не оберешься после.

— Сама она бухгалтер по специальности, — сказал Шумилов, — а работает на пилораме. И помочь нечем.

— Для чего вы все это рассказываете? — все-таки спросила Надя, поднимая голову от тарелки.

— Мне показалось...

— Креститься надо, когда кажется. Или не умеете? Тогда попросите свою знакомую бабушку Нюшу, она научит. Вон как она заступалась за вас на базаре! — Тут

она не выдержала, резко отпихнула тарелку, выплеснувши на стол, вскочила и убежала к себе в комнату.

Шумилов чувствовал себя прескверно, ему и есть хотелось, хотя был он страшно голоден.

— И что такое случилось с девкой? — вздохнула Анна Тихоновна, провожая Надю жалостливым взглядом. — Ну, прямо не подступиться стало, ровно на хвост кто наступил. . .

— В школе, должно быть, неприятности, — высказал Шумилов предположение.

— А может, и в школе, правда ваша. Ребятишки-то нынче озоруют не дай бог. Отцов нету, а матерям-то где же с ними справиться, не слушаются совсем.

— Да, сложно все это, — проговорил Шумилов. — Спасибо, Анна Тихоновна, за щи, было очень вкусно. — Он встал. — А мне на завод пора. И так засиделся. — Он посмотрел на часы, как будто и в самом деле спешил. — О, уже седьмой час! . .

— К ночи-то на завод? — усомнилась хозяйка.

— Работа не ждет, — сказал Шумилов.

Эту ночь он ночевал в кабинете. Благо там были диван и постельное белье.

II

Ему сразу приглянулся этот дом. Добротный, обихоженный, украшенный резьбой, с петухом на коньке, он выглядел весело, жизнерадостно в сравнении с другими домами поселка, застроенного одноликовыми двухэтажными домами. Стоял дом на берегу речки с неожиданным названием Пряженка, как раз в излучине, точнее, на мысу, который речка огибала, и больше домов поблизости не было. Это тоже понравилось Шумилову, он любил уединение и тишину. В его ленинградской комнате было очень тихо, несмотря на то что жил он на шумной улице: окна смотрели во двор.

Отсюда и до завода было близко, пятнадцать — двадцать минут ходьбы.

Рыжик встретил его лаем, и на крыльцо вышла хозяйка. Шумилов спросил, нельзя ли снять комнату.

— А вы, извиняюсь, кто будете? — заинтересовалась хозяйка.

— Я из Ленинграда.

— Ага, эвакуу. . . эвакуу. . . — она никак не могла произнести «эвакуированный». Впрочем, тогда еще слово

это для большинства людей было диковинным, необычным словом.

— Да,— сказал Шумилов, подумав при этом, что все-таки он скорее мобилизованный, чем эвакуированный, хотя и не на фронт.

Вот тут как раз появилась Надя.

— Мама, как тебе не стыдно,— укоризненно сказала она.— Допрашиваешь человека, как будто здесь милиция.— И пригласила проходить в дом.— На Рыжика не обращайтесь внимания, он не кусается, только лает.

— А ты не встревай, когда тебя не спрашивают,— ответила ей хозяйка.

Надя вспыхнула, зарделась вся, и Шумилов подумал, что она красивая девушка. Пожалуй, в ней не было слишком заметной, броской красоты, какую умеют придать себе и не очень красивые, но опытные, искусственные женщины, знающие, что нравятся мужчинам, а было в ней что-то ласковое, доброе, что-то... домашнее. О таких женщинах, наверное, и говорят «уютная». Большущие голубые глаза, русые волосы, заплетенные в косу, которая переброшена через плечо на грудь, на щеках, как и положено провинциальным красавицам, подумал Шумилов, ямочки, зубы ровные, белые, губы сочные, яркие и чуть припухшие, а голос мягкий и как бы виноватый. Такие голоса бывают у людей спокойных и скромных.

Они прошли в дом, в кухню. Здесь было чисто, тепло и пахло какими-то травами. Шумилов огляделся и увидел пучки трав, развешанные под потолком.

— Вы насовсем али как в Тотьву-то к нам приехали? — спросила хозяйка.

— Мама!.. — опять укорила ее Надя.

— Вопрос законный,— сказал Шумилов,— Тем более, если нам придется жить под одной крышей. Я буду работать на двадцать девятом заводе, главным инженером. Пока, а там посмотрим.

— Это что же, начальник, раз главный? Да оно-то так и видно, мужчина вы приличный и самостоятельный, а только война, оно дело-то такое... Мало ли разных людей по свету теперь шастает, так что извиняюсь, ежели что зря спросила...

— Все правильно вы спросили,— сказал Шумилов.

— Вот я и говорю,— продолжала хозяйка,— что комнату-то сдать можно, почему не сдать хорошему че-

ловеку, только ведь нынче бумажка из райсовета нужна...

— Ордер,— подсказала Надя.

— У меня есть.— Шумилов достал ордер и почему-то отдал Наде.

— А сразу-то чего ж не сказали?— удивилась хозяйка.

— Да как-то в голову не пришло,— растерянно ответил он.

— Ты же его допрашивала, мама. Ему и сказать было некогда,— рассмеялась Надя.

Шумилов тоже улыбнулся, а хозяйка только рукой махнула.

— А вещи-то где же ваши?— спросила она, глядя на маленький шумиловский чемодан.— Никкак на дворе оставили?..

— Не беспокойтесь, все вещи при мне.

— Господи, да жить-то как будете с одним чемоданчиком!

— Проживем, бывает хуже,— сказал Шумилов и подмигнул Наде. А она отвернулась.

— Вы, стало быть, сам по себе, без семьи приехали?

— Сам по себе.

— Никкак холостой?..

— Женатый, но пока один,— ответил Шумилов сухо.

— А семья-то где же?

— Если можно, покажите комнату,— попросил Шумилов.

Ему совсем не хотелось вдаваться в подробности, он и вообще-то неохотно рассказывал о себе и не впускал в свою личную жизнь посторонних, даже друзей. Потому, должно быть, многие и считали его слишком самолюбивым и самоуверенным, а он считал, что личная жизнь — это именно личная жизнь и до нее нет никакого дела посторонним.

— Пойдемте, я покажу комнату,— пригласила Надя.

Ему понравилась комната. Чистенькая, уютная, с окном, которое смотрело на речку. А за речкой, на другом берегу, заснеженное поле и вдаль — лес. Простор и покой. Прямо как в доме отдыха, подумал Шумилов и вздохнул. Он не случайно подумал о доме отдыха. В доме отдыха, в Сиверской, они и познакомились с женой, и было это совсем недавно, каких-нибудь три года назад. Даже меньше, три года будет только летом. Да, они познакомились летом тридцать восьмого года.

Или тридцать седьмого?.. Нет, именно тридцать восьмого.

— Это комната брата,— сказала Надя.

— А брат где?

— На фронте.

— У вас сразу два фронтовика. Отец ведь тоже воюет?

— Да, они вместе и ушли,— ответила Надя.— Брата призвали, а отец пошел добровольно. Наш дедушка, папин отец, погиб в ту еще войну с немцами.

— Понятно,— сказал Шумилов.— А меня вот не отпускают на фронт. Я думаю, в конце концов отпустят.

— Всех нельзя отпустить,— рассудительно проговорила Надя.— Вам нравится комната?

— Прекрасная комната! И вид из окна...

— Весной наша Пряженка разольется, так другого берега и не видно будет.

— Да неужели? — удивился Шумилов.

— Правда, правда.

— И рыба в речке водится?

— Брат любил. У нас и лодка есть. А вы тоже рыбак?

— Увы,— ответил Шумилов.— У меня жена занималась рыбалкой.

— Честно? — теперь удивилась Надя.

— В магазине,— сказал Шумилов, и они оба рассмеялись.

Так вот он и поселился в доме Бурдуковых, и все, решительно все нравилось ему здесь. А главное, покой, который был так необходим: работать приходилось по четырнадцать, а то и по шестнадцать часов, и домой Шумилов приходил только ночевать. Впрочем, довольно часто он и ночевал на заводе, у себя в кабинете, особенно в первое время.

С хозяевами он как-то сразу подружился и вовсе не чувствовал себя постояльцем. Скорее, чувствовал себя членом семьи. Он отдавал Анне Тихоновне свои карточки и дополнительный паек, который почему-то называли «наркомовским», и она готовила всем вместе. Это было и удобно Шумилеву — не нужно заботиться о питании, однако и неудобно отчасти: когда приходилось ночевать на заводе, он оставался голодный. Обычно же днем он приходил на обед.

В целом, как говорил сам Шумилов, устроился он отлично, лучше просто некуда, и единственное, что сму-

шало его, тревожило — отношения с Надей. Он ведь не мальчик, не юноша даже и скоро понял, что Надя к нему равнодушна. И хотя ему всегда доставляло удовольствие знать, что он нравится женщинам, ее влюбленность не радовала его, и он держался так, словно ничего не замечает, словно она для него — девочка, хозяйская дочка, не более того. Да, впрочем, так оно и было на самом деле.

А Надя страдала. Шумилов видел это и знал, конечно, что стоит позвать ее, поманить, и она придет к нему, покорная, нежная и готовая ко всему. Она не станет от него ничего требовать взамен своей любви, но будет счастлива уже тем, что он с нею. Глупая ты девочка, думал Шумилов, ты еще слишком молода и неопытна, ты готова полюбить всякого, кто хоть в ничтожной степени отвечает твоему идеалу мужчины, созданному твоим же воображением, твоей фантазией, готова потому, что настала пора для любви... Шумилов знал: будь на его месте кто-то другой, Надя влюбилась бы в этого другого. Не ее вина, а беда, что любовь явилась к ней теперь, когда возможные женихи ушли на войну. А все-таки, если говорить честно, это немножко и обижало Шумилова, потому что получалось, что Надя влюбилась как бы и не в него, и тогда он приказывал себе не думать о Наде. Он отвлекал свои мысли, думая о других женщинах. Вернее, он думал о том, что есть другие женщины, раз уж без них никак нельзя, много женщин, у которых ни он, ни кто-то еще ничего не могут отнять и которые легко и даже с радостью примут короткое, обманчивое счастье и будут благодарны за него, ибо знают, что им-то уже никогда не улыбнется настоящее, полноценное счастье...

А мне, улыбнется ли когда-нибудь мне счастье, спрашивал он себя, и не мог ответить на этот вопрос. Мысли его неизменно возвращались к семье, он с нежностью вспоминал жену, дочку, которую боготворил, и ругал себя беспощадно за то, что позволил им уехать без него. Ведь не хотел, не хотел отпускать, но жена настояла на своем — она умела настоять на своем, — и теперь он во всем винил себя. Хорошо, если не случилось ничего страшного, если они просто потерялись где-то в этой неразберихе первых дней войны, а если...

Ему делалось страшно, по-настоящему страшно.

Он не забыл о своем обещании подыскать для Елены Сергеевны работу полегче, чем на пилораме, однако на заводе ничего подходящего не нашлось. А может, он и не очень хотел брать ее на завод. Неожиданно помогла жена Кирпичникова, Мария Ивановна. Как-то в разговоре Шумилов упомянул Елену Сергеевну, рассказал, как покупал у нее пальто, как был в гостях, и Мария Ивановна сказала, что у них в госпитале требуется бухгалтер и что она может поговорить с начальником. (Она работала в госпитале хирургом.) Правда, карточка будет «служащая», но зато бесплатное питание. А это уже много. Вот только Елена Сергеевна не давала о себе знать, и тогда Шумилов пошел сам. Тем более, нужно было отдать деньги.

Открыла ему старуха. Похоже, она была рада его приходу, и он подумал, что она беспокоилась за деньги.

— Проходите, проходите,— суетливо приглашала старуха.— Вы, значит, вернулись из командировки?

Он едва не сказал, что никуда не ездил, но вовремя догадался, что его командировку придумала Елена Сергеевна, чтобы успокоить старуху, и подтвердил:

— Вернулся.

— И слава богу, что вернулись. Всегда приятно возвращаться домой. Хотя какой у нас с вами теперь дом.— Она вздохнула безнадежно.— Удачно съездили?

— Вполне.

— Нынче трудно в дороге. Если бы вы знали, как мы ехали сюда... Врагу своему я бы не пожелала так ехать...

— Простите,— прервал ее Шумилов,— а Елена Сергеевна дома?

— Дома, дома, где же ей быть. Она в ночь работает. Сейчас на кухне, а потом пойдет к Мишеньке. Ах, вы, верно, не знаете, что наш Мишенька в больнице.

Шумилов знал об этом, сам же и просил доктора Левина помочь.

— В больнице ему будет лучше,— сказал он.

— Да, конечно,— согласилась старуха.— Там уход и трехразовое питание! Вы знаете, им даже молоко дают, я сама видела. По целому стакану молока на треть, подумать только! Не очень чтобы по полному стакану, но гораздо больше, чем по половине. Мы не в претензии, нет, мы понимаем, что персонал тоже имеет детей.

— Напрасно вы так думаете. В больнице, да еще у больных детей, не крадут.

— Теперь война, молодой человек,— извините, что я вас так называю,— все голодают, как же не взять немножко себе? Бог мой, это так естественно. Я не осуждаю людей, все хотят жить. Но могли бы нашему Мишеньке наливать молока капельку побольше, он такой слабый у нас. . . — Тут она прервала свой монолог и удивленно уставилась на Шумилова.— Почему вы не носите пальто?

Он хотел надеть и пальто, и костюм, но в последний момент решил, что вряд ли Елене Сергеевне будет приятно увидеть на нем пальто и костюм мужа.

— Я прямо с завода,— ответил он старухе.— Жалко носить на работу.

— И правильно! — подхватила она.— Хорошие вещи нужно беречь. Мой покойный муж — царство ему небесное — тридцать лет носил выходной костюм. Он был очень бережливый, не курил, не пил вина, зато мы смогли дать образование Васе. Он у нас инженер. А Елена. . .

Открылась дверь, вошла Елена Сергеевна с кастрюлькой в руках.

— Антон Игнатьевич? Здравствуйте.

— Добрый день.— Он поднялся.

— Вы давно ждете? — Она поставила кастрюльку на стол.

— Только что вошел.

— А из командировки когда вернулись?

— Вчера. Извините, но я уехал неожиданно и не успел вернуть долг. Вот, пожалуйста.— Он положил деньги рядом с кастрюлькой. Старуха тотчас схватила их и спрятала руки за спину. Елена Сергеевна покраснела.

— Ты посмотри, Елена, посмотри,— сказала старуха, по-прежнему держа руки за спиной,— как он бережет пальто! Не носит на работу. Вася тоже очень любил это пальто, он всегда говорил, что чувствует себя в нем, как дома. Люди, которые умеют беречь вещи, много добиваются в жизни. Вы замечали это? — обратилась она к Шумилу.

— Я пойду,— сказал он.— Прощу извинить за беспокойство.

— Куда же вы? — встрепенулась Елена Сергеевна.— Сейчас будем обедать. . . — И снова она покрасне-

ла и покосилась на кастрюльку, от которой исходил какой-то непонятный запах.

— Благодарю, я сыт.

— Погробовали бы нашей гречневой каши,— заговорила старуха.— Вы такой каши наверняка никогда не ели. Мы тоже раньше не ели, а теперь и этому рады...

— Перестаньте! — резко сказала Елена Сергеевна.

— А что тут такого? Ты все стыдишься, все медничаешь, а стыдиться теперь должны не те, кто голодает, а те, кто сытый. Знаете, чем она недовольна?..

— Пойду,— повторил Шумилов.

— Обождите минуточку, я с вами. В магазин надо. Когда шла с работы, еще не было хлеба.

— Ты недолго, Елена! А то вечно тебя не дождаться, а я должна пойти к Мишеньке.

— Я сама схожу, вы же вчера были у него.

— И что, что была? Я должна посмотреть, все ли ему скармливают за обедом. На тебя надеяться нельзя.

— О, господи!.. — тихо молвила Елена Сергеевна.

Шумилов вспомнил про сахар, который принес мальчику.

— Снесите ему,— сказал он и положил сахар на стол.

— Спасибо вам, большое спасибо! Вы такой добрый, такой интеллигентный молодой человек. Сразу скажешь, что ленинградец.— Видно было, что старухе очень хочется взять и сахар, однако она боялась выпустить из рук деньги.— Мишенька любит сахар. Даже больше, чем конфеты, поверите?.. Он вообще у нас странный ребенок, весь в Васю. Вася в детстве тоже был странный, а вырос такой умный, такой талантливый! Если бы не война, он далеко пошел бы.

— Я готова,— сказала Елена Сергеевна.

Когда вышли из барака на улицу, Шумилов зажмурился от яркого света. День был морозный, тихий, солнце стояло в зените, блестками рассыпаясь на девственно чистом снегу, дым из труб вертикально поднимался в ясное небо, чуть подернутое маревом. Пожалуй, подумал Шумилов, никогда прежде я не видел такого белого снега и такого ясного неба. В Ленинграде и снег и небо совсем другие. Вот разве что за городом... Однако за городом он бывал редко. А зимой и вовсе не бывал. Все собирался купить лыжи, чтобы выезжать по выходным в лес. Каждый год с приближением зимы обещал жене, что уж в этом-то году они обязательно

будут выезжать. Но так и не выполнил своего обещания, не успел, а теперь пытался понять, в самом ли деле он хотел этого, то есть купить лыжи и выезжать с женой за город, или всегда знал, что не будет ни лыж, ни прогулок по зимнему лесу... Скорее всего, знал. Выходит, сознательно обманывал жену? Не совсем, потому что если и обманывал, то не столько жену, сколько себя. А для жены он искренне стремился сделать что-то приятное, чтобы хоть как-то скрасить ее, в общем-то, скучную, однообразную жизнь с ним. Да вот не получалось никак, времени не хватало. Или он не умел разумно распределить его между домом и работой?..

Шумилов рано понял, что добиться чего-то существенного, реального в жизни можно только трудом, и работа была для него не просто привычкой, не просто необходимостью, но едва ли не смыслом жизни. Все остальное, считал он, не более чем декорация, некая данность, которую можно принимать, однако вовсе не обязательно. Если бы ему встретилась другая женщина, которая не смогла бы понять его, они не прожили бы вместе и года. Какое там года, недели не прожили бы. Жена поняла, и он воспринял это как должное, как нормальный ход событий. Впрочем, он и не думал об этом. Жена была рядом, всегда рядом, не докучала ему своими требованиями, не настаивала на каких-то своих правах, и это вполне устраивало Шумилова. Он шел по жизни напролом, и, казалось, никакая сила не остановит его. А в сущности, так оно и было...

— Прямо не верится, что где-то война и гибнут люди, — проговорила Елена Сергеевна. — Такая благодать вокруг...

— Да, хорошо, — сказал он. — Что с вашим сыном?

— Какая-то болезнь крови. Очень редкая болезнь, говорят. Скажите, Антон Игнатьевич, это вы устроили его в больницу? Странно как-то все получилось... Вдруг пришла врач...

— Не имеет значения, — ответил Шумилов. — Главное, что он в больнице.

— Спасибо вам. И простите, что неволью заставила вас лгать.

— То есть? — не понял он.

— Свекровь все спрашивала, почему вы долго не приходите, вот я и придумала, что вы в командировке. Она, разумеется, тут же поинтересовалась, откуда я знаю, что вы в командировке. — Елена Сергеевна пока-

чала головой.— Пришлось снова придумывать, что встретила знакомую, которая работает на вашем заводе.

— Ложь во спасение не страшная ложь,— сказал Шумилов.— А мы слишком часто врем без всякой нужды. Кстати, почему вы не пришли? Я нашел для вас работу в госпитале.

— Неловко, право, беспокоить вас. А в госпитале я уже была, мне сказали, что могут взять только санитаркой, а я страшно боюсь крови.

— Завтра же ступайте в госпиталь, разыщите Марию Ивановну Кирпичникову, она в курсе.

— Удобно ли это, Антон Игнатьевич?

— Вздор,— сказал Шумилов.— Вы обязаны поберечь себя для ребенка.

— Это верно,— согласилась Елена Сергеевна.— Я так устаю. К концу смены спину не разогнуть. А с Мишей совсем плохо. Я уж не говорю ничего свекрови, и врачей просила не говорить. Она сойдет с ума, если узнает правду.— В глазах ее было столько отчаяния, усталости, что Шумилову сделалось стыдно, как будто он был в чем-то виноват.— Меня вызывал на беседу профессор Дорохов, это крупнейший специалист и тоже ленинградец. Знаете, мы еще до войны пытались к нему попасть, но ничего не вышло.— Она горько улыбнулась.— А тут... Я подумала, что если бы не война, в Тотьме никто и никогда не увидел бы живого профессора. И мне стало страшно, право. Какой парадокс! Вы не задумывались?

Нет, Шумилов не задумывался. Однако понял сразу, что имеет в виду Елена Сергеевна. Глухая провинция, которой, быть может, судьбой было назначено долго еще оставаться глухой, пробуждалась от спячки, но пробуждалась-то самым противоестественным образом, благодаря войне. И уже одно только это сочетание — «благодаря войне» — было диким, поистине страшным...

Шумилов посмотрел вокруг.

Ребятишки как ни в чем не бывало катались с горки на санках, радовались своим детским радостям, и голоса их, звонкие и веселые, каким и должно, в общем-то, быть голосам детей, далеко разносились в сухом морозном воздухе. Они еще не понимают по-настоящему, думал Шумилов, что такое война, не понимают и не созна-

ют, хотя многие из них уже лишились своих отцов. Они поймут это, когда вернутся с войны победителями чужие отцы.

— Антон Игнатьевич, вы ведь просто постеснялись надеть к нам пальто? — спросила Елена Сергеевна.

— Постеснялся, — признался он.

— Я так и поняла. Какой вы, право... — Удивительно ей было подумать даже, что этот большой, сильный, уверенный в себе человек, к тому же занимающий особенное положение в городе, что этот человек может быть и стеснительным. Почему-то она была уверена, что такие люди, как Шумилов, непременно должны быть жесткими, бескомпромиссными, а по необходимости и жестокими, тем более теперь, когда идет война. Да и от людей она наслышалась о Шумилове всякого. — Побегу я, Антон Игнатьевич, — сказала она. — А то не хватит хлеба. Говорят, много поддельных карточек, поэтому хлеба и не хватает. Вы не слышали?

Он тоже слышал, что будто бы в областном центре арестована целая группа жуликов, каким-то образом им удавалось в течение трех месяцев получать карточки на несуществующий завод, которые они продавали за большие деньги. Но скорее всего, считал Шумилов, это именно слухи. Не безвредные, опасные даже, но все-таки слухи. Иначе он бы знал об этом совершенно точно: о подобных происшествиях руководителей ставят в известность.

Он так и сказал Елене Сергеевне:

— Мало ли, что болтают. А в госпиталь вы обязательно ходите, и не откладываете. Там нужен бухгалтер. Карточка «служащая», но бесплатное питание. Вас это должно устроить.

— Право, не знаю. Я говорила вам, что была в госпитале. Значит, теперь меня возьмут по знакомству?..

— Во-первых, нет ничего плохого в этом, — возразил Шумилов. — Это вполне естественно, потому что каждый руководитель хочет быть уверен в своих подчиненных. Во-вторых... Нет, именно во-первых: вы обязаны думать не о себе, а о сыне. И давайте не возвращаться к этой теме. Вас ждут.

— Хорошо, — вздохнула Елена Сергеевна. — Я схожу.

— Помните: Мария Ивановна Қирпичникова.

— А она кто?

— Врач, хирург.

Расставшись с Еленой Сергеевной, Шумилов хотел было идти домой обедать, но все-таки решил сначала зайти на завод. Нужно было взглянуть, как дела в кузнечно-прессовом цехе. Там начали монтаж оборудования, это очень ответственно и сложно, тем более цеха как такового еще и не было, а были одни стены, и монтажники, вопреки всем нормам и правилам, работали одновременно со строителями. Кстати, когда принималось такое решение, а иного выхода из положения просто-напросто не было, Шумилову пришлось буквально воевать и с директором, и с некоторыми другими заводскими специалистами. Во многом их возражения были справедливыми, основанными на многолетнем опыте. (сначала крыша — потом оборудование), однако обстановка требовала не только пересмотра каких-то норм и правил, но также порой и забвения прошлого, довоенного опыта. Да, это трудно, болезненно трудно, но если нет разумной альтернативы, почему же надо отказываться от решения, которое хоть и рискованно, чего Шумилов вовсе не отрицал, зато обещает выигрыш во времени по крайней мере месяц.

А риск состоял главным образом в том, что не были смонтированы мостовые краны — их-то до окончания строительства и нельзя монтировать, — и Шумилов предлагал устанавливать тяжелое оборудование с помощью лебедок. Он сам все рассчитал, проконсультировался с механиком, с монтажниками, выходило, что рискнуть можно. И он настоял на своем, пообещав Волкову, что всю ответственность берет на себя. В конце концов, он — главный инженер, такие вопросы в его компетенции. Поддержал его и Кирпичников. Волков, скрепя сердце, согласился, однако напомнил, что снимает с себя ответственность.

У входа в цех Шумилова встретили главный механик и бригадир монтажников. Похоже, им сообщили о появлении главного инженера. Беспроволочный телеграф работал исправно.

— Чем порадуете? — спросил Шумилов.

— Особо нечем радовать, Антон Игнатьевич, — пожал плечами механик. — Вчера еще четверых слесарей призвали, работать некому.

— Даже если всех призовут, мы обязаны будем в срок пустить завод.

— Это понятно, а все-таки похлопотали бы в военкомате насчет брони, хоть бы специалистов не забирали...

— А вы что скажете? — обратился Шумилов к бригадир.

— Обещали людей в помощь дать, а Михал Палыч баб прислал. Ну что я с ними?

— А где я тебе мужиков возьму? — сердито буркнул механик. — Рожу, что ли!.. Не умею.

— С бабами я ничего не сделаю.

— Не бабы, а женщины, — строго сказал Шумилов. Он понимал, что в принципе бригадир прав. Подготовка фундаментов под кузнечное оборудование дело сложное, ответственное. После, когда прессы и молота будут установлены, уже ничего не поправишь. А работа эта тяжелая и вместе с тем ювелирная, требует силы и большого опыта. Но специалистов нет, мужчин тоже нет. И тут прав механик. Заколдованный круг, из которого не видно выхода. А найти выход надо во что бы то ни стало. — Михал Палыч, зайди завтра ко мне прямо с утра, вместе подумаем, откуда можно снять людей на фундаменты.

— Эх, хотя бы парочку хороших слесарей-ремонтников, — проговорил бригадир.

— А парочку академиков не хотите? — спросил Шумилов.

— Что с них толку! — Бригадир махнул рукой и усмехнулся презрительно.

— Если найдем двух-трех просто здоровых мужиков, радуйтесь и этому. Пошли, посмотрим, как у вас идут дела.

Посреди пустого пока корпуса горел большой костер. Вокруг костра, тесно обступив его, стояли женщины, грелись. Они расступились, пропуская Шумилова. Он подошел поближе к огню и протянул озябшие руки.

— Прямо Ташкент! — весело сказал он. — Вот, всю жизнь мечтал побывать в Ташкенте, а оказывается, что и ехать никуда не надо.

— Лучше маленький Ташкент, чем большой мороз, — подмигнув женщинам, сказал бригадир.

— Ну а как у нас идут дела, как работается? — спросил Шумилов.

— Идут, контора пишет.

— Начальство вот жалуется, что работаете плохо...

— Это какое начальство жалуется?

— Он и он,— Шумилов показал на бригадира и механика.

— Пускай своих жен приводят, посмотрим, как они будут работать.

— Я пошутил, товарищи женщины, виноват! — Он поднял руки.— Никто на вас не жалуется и не имеет права жаловаться. В ноги вам мы обязаны поклониться за ваш труд.

— Без этого мы как-нибудь обойдемся, Антон Игнатьевич,— сказала женщина, стоявшая рядом с ним. Голос ему показался знакомым, он пригляделся и с трудом — лицо ее было укутано платком — узнал Румянцеву. До войны она работала на одном с ним заводе в отделе главного энергетика.

— Вы? — почему-то удивился он, пытаясь вспомнить, как ее зовут.

— Я, Антон Игнатьевич. Здравствуйте.

— Здравствуйте... Вера Петровна, не ошибся?

— У вас прекрасная память.

— Но как вы сюда попали?

— Как и все остальные.

— Это я понимаю. Но почему вы именно здесь? Ведь вы инженер.

— Ах, Антон Игнатьевич, какое это имеет сейчас значение,— сказала Румянцева и вздохнула.— Кто инженер, кто профессор... Вы вот насчет поклонов говорили, а не могли бы позаботиться, чтобы при заводе очаг открыли?

— Пойдите, разве у вас маленькие дети?

— У меня — нет,— ответила она.— У других маленькие дети.

— Ну что я могу сказать на это?.. Придется потерпеть. Откроем и очаг, все откроем, но пока такой возможности нет. А обманывать, кормить вас пустыми обещаниями я не хочу. Да ведь вы все равно не поверите, если я скажу, что завтра откроем очаг, столовую, ясли. Не поверите?

Женщины молчали.

— Кстати,— спросил Шумилов,— к лесокombинатовской столовой всех прикрепили?

— Это два километра туда и два обратно,— сказала

Румянцева.— И не очень-то нас там жалуют, чужие мы для них. Кормят тем, что останется от своих.

— Вот этот вопрос решим,— пообещал Шумилов.— А что касается собственной столовой и очага...— Он мог бы рассказать, мог бы объяснить, что это не зависит ни от него, ни от директора завода, потому что высшее начальство категорически запретило строить что-либо, кроме производственных объектов, до тех пор, пока не будет пущен завод. Однако, объяснив это, он тем самым как бы снимал с себя ответственность, как бы переадресовывал справедливые требования — даже не требования, просьбы — людей другим, а сам оставался в стороне. С меня; дескать, взятки гладки. Нет, этого Шумилов не хотел.— Будем думать,— сказал он.

Костер догорал. Никто не решался при главном инженерере подкинуть дров, хотя заготовленные обломки досок лежали рядом.

— Михал Палыч! — окликнул он механика.— А нельзя ли организовать доставку горячей пищи из лесокombинатовской столовой прямо сюда?

— Каким образом, Антон Игнатьевич?

— Придумать надо. Пошевелить извилинами. Кормят же на фронте бойцов в окопах, а здесь-то попроще, я думаю. Займитесь-ка вы этим вопросом.

— Почему я, Антон Игнатьевич?

— А почему нет? — в свою очередь спросил Шумилов.— На заводе пока нет специальной должности. Или вы считаете, что этим вопросом должен заниматься директор?

— Нет, я так не считаю. Но есть завком...

— Что там завком! С завкома я не спрошу, а с вас, Михал Палыч, еще как спрошу. Впрочем, дело ваше, можете действовать через завком, да хоть через самого господ бога, меня это не интересует. А горячие обеды будете впредь привозить сюда.

— Пока довезешь сюда, обеды будут холодные.

— Разогрейте, черт вас возьми в конце концов! — вспылил Шумилов.— Выделите двух-трех расторопных женщин, свяжитесь с госпиталем, у них наверняка есть термоса. В общем, думайте, думайте, для того нам с вами и головы дадены, чтобы мы иногда думали. Как, товарищи женщины, такой вариант, как временный выход из положения, вас устраивает?

— Конечно, это лучше, чем ходить за два километра в столовую,— ответила Румянцева.

— Вот вы и будете заниматься доставкой,— сказал ей главный механик.

— Нет,— сказал Шумилов,— вот она-то как раз и не будет. Для нее найдется другое дело. Вера Петровна,— обратился он к Румянцевой,— завтра зайдите ко мне.

— Вы собираетесь меня куда-то перевести?

— Потом, все потом.

Он резко повернулся и пошел к выходу, махнув главному механику, чтобы тот его не провожал. Он был удручен и разговором с женщинами, и тем, что не сдержался, повысил голос на Авдеева. Он прекрасный, знающий свое дело механик, а организовывать доставку горячих обедов, действительно, не входит в его обязанности. Да и времени у него на это нет: сейчас, когда начинается монтаж оборудования, главный механик, пожалуй, самый занятой на заводе человек. А на завком, на этого Сухорученкова, положиться нельзя. Пустое место. Человек-то он хороший, честный, но никакой инициативы. Добросовестный исполнитель, и все. Затычка, не более того. Маленькая затычка в большой дыре, усмехнулся он. Ему понравилось такое сравнение. Он любил афоризмы, и, когда удавалось — случайно, разумеется,— придумать самому удачный афоризм, бывал доволен.

А делать что-то надо. Надо решать. И не послезавтра, не завтра даже, но сегодня, сию минуту. Геронизм, энтузиазм, беззаветность и все такое прочее — это прекрасно, замечательно это, без энтузиазма и героизма вообще черта лысого удалось бы что-нибудь сделать, но есть же предел человеческим возможностям, нельзя эксплуатировать этот самый энтузиазм до бесконечности. Может быть, придет время, и этим голодным, изможденным непосильным трудом женщинам поставят памятник, они тысячу раз заслужили это, но вот ты, ты, Шумилов, что сделал ты, чтобы хоть немного облегчить их жизнь?.. А ничего, ровным счетом ни-че-го. Ага, не можешь, потому что не дано такой власти?.. Че-пу-ха! Вздор. По-настоящему ты и не пытался, ограничивался общими разговорами «на тему» и успокаивал себя, свою совесть тем, что эти вопросы не в твоей компетенции, что твоя прерогатива — техническое руководство, инженерное обеспечение производства, а быт... Замечательно красивое словечко — ком-пе-тен-ци-я! Наверняка придумано бюрократами, чтобы страшать им непосвященных. Ну-ка скажи, что не умею, не могу, не хочу, не

все дело... Не звучит, не ласкает собственного слуха. И всякому, даже дураку, понятно сразу, кто ты есть на самом деле. А тут — компетенция. С этим не поспоришь, против этого не попрешь. Солидно, весомо и вроде умило

Так, распаяя себя, Шумилов буквально ворвался в партком, чтобы выложить все Кирпичникову. А его на месте не было. Оказывается, он уехал в командировку в Свердловск, на какое-то совещание. Идти к Сухорученкову не хотелось, да и бесполезно это, понимал Шумилов. И тогда он решил поговорить с Волковым. Поговорить начистоту. Расшевелить его, заставить задуматься. Должен же человек проявить хоть минимум самостоятельности, нельзя же всю жизнь слепо выполнять указания начальства, все-таки он директор и облечен достаточно большой властью.

Волкова на заводе уже не было, и Шумилов, не раздумывая, отправился к нему домой.

II

Василий Федорович жил вдвоем с женой. Взрослые дети — сын и дочь — жили отдельно, в других городах. Прежде чем стать директором завода, он поработал и на лесокombинате, и в МТС, одно время был заместителем председателя исполкома, так что в Верхней Тотьме его хорошо знали.

Жили Волковы в собственном просторном доме. Скромно жили, без претензий и не таясь, и это imponировало окружающим. Как-никак, далеко не последний человек в городе, а держится просто, не кичится своим высоким положением, к нему запросто можно зайти и домой, одолжить денег, просто поболтать, а то и опохмелиться, если случилась крайняя нужда. Правда, в таком городке, как Верхняя Тотьва, иначе и нельзя — здесь все у всех на виду, каждый шаг твой известен соседям, и даже известно, что жена готовит на обед. Был у Волковых и огород, как почти у всех, держали сви и живность — поросенка, два десятка кур, — с осени заготавливали грибы, клюкву, кедровые шишки.

Наверняка такой образ жизни не устроил бы Шумилова, но Василия Федоровича он устраивал вполне, ничего другого он и не желал. Он хотел спокойной, тихой

жизни, и, в общем-то, именно так и жил. Должность директора РМЗ была не слишком-хлопотная. Но с началом войны все круто изменилось. Нарушился не просто личный покой, не просто привычный, размеренный уклад жизни, хотя и это важно, а нечто большее, и Волков понимал, что оказался не на своем месте, что ему не справиться с делом — для этого нет у него ни достаточно опыта, ни знаний, да и характер не тот, чтобы руководить большим заводом. Что уж там, если бы не Шумилов, с его энергией, с его волевым настроем, с самого начала ничего не получилось бы, то есть не сделали бы и того, что все-таки за это короткое время сделать смогли, успели. Шумилов умеет руководить, признавался себе Волков, умеет увлечь людей, заразить их своею убежденностью, уверенностью, а когда нужно — умеет и заставить, несмотря на то, что совсем еще молод.

Как-то Василий Федорович в разговоре намекнул Гераськину, что будет лучше для дела, если он сдаст директорский пост Шумилову, и попросил секретаря райкома поставить этот вопрос перед наркоматом. А сам он готов работать где угодно и кем угодно. Например, готов вернуться в МТС.

Однако Гераськин не согласился с ним. Он сказал, что Шумилов человек в Верхней Тотьве новый, скорее всего — временный, к тому же и слишком молод. Вот кончится война, говорил он, вернется Шумилов в свой Ленинград, и некому будет возглавить завод. Нам нужно растить и выдвигать собственные, местные кадры. Но это дело будущего. А сейчас главное — выполнить задание Родины, в установленные сроки пустить завод, так что работай, подытожил Гераськин, а кому быть директором, знают те, кто обязан знать.

Спорить Волков не решился, хотя, может быть, и понимал, что не то время теперь, совсем не то, когда допустимо проявлять местный патриотизм и тем более сводить личные счеты. Это более всего беспокоило честного Василия Федоровича. Гераськин недолюбливал Шумилова (как, впрочем, и Шумилов Гераськина), и об этом знали все, кто хотел знать. Он привык здесь, в провинции, быть полновластным хозяином, привык, что все его слушаются, все ему поддакивают, а вот Шумилов, в отличие от других, не боится вступить с Гераськиным в спор, и это далеко не всегда нравится секретарю райкома. Пока

обоюдная их неприязнь друг к другу не выплеснулась наружу и, слава богу, не вредит делу, но рано или поздно, думал Василий Федорович, они столкнутся, и неизвестно, кто из них окажется сильнее. За Шумиловым как-никак наркомат, он поставлен к большому делу и дело это знает, как никто другой, но... Вспыльчив очень, несдержан, склонен к рискованным решениям и почему-то с самого начала, чуть ли не со дня приезда в Тотьву, невзлюбил Гераськина...

Василий Федорович подшивал жене пимы, когда пришел Шумилов, и был в равной мере удивлен и обрадован его приходом. Тотчас запихал под лавку — он сидел в кухне — недоконченную работу, помыл руки и достал графин со спиртом. К тому времени все научились пить древесный спирт, и рассказы о слепоте, которую будто бы вызывает этот спирт, никого не пугали. На базаре спирт продавали почти в открытую, меняли у раненых на хлеб и сахар.

— Сейчас мы с вами по махонькой, Антон Игнатьевич, — потирая руки, приговаривал Волков, и столько было сладострастия, радости в его обычно бесцветных глазах, что Шумилов удивился. Он никак не мог подумать, что Василий Федорович любитель выпить. — Катенька, иди-ка ты сюда! — позвал Волков жену. — Вы ведь, кажется, не знакомы? — спросил он Шумилова.

— Нет.

Вошла хозяйка.

— Вот, Катя, это и есть Антон Игнатьевич, с которым ты давно хотела познакомиться.

— Очень приятно, что вы зашли к нам, — пропела она. Так показалось Шумилову, что она именно пропела. Голос у нее был мягкий, и говорила она, растягивая гласные. — Давно бы надо зайти, а то правда неудобно получается.

— Лучше поздно, чем никогда, — ответил на это Шумилов.

— Часок-то всегда можно найти, если есть желание.

— Виноват, исправлюсь.

— Катя, ты бы сообразила что-нибудь перекусить, — сказал Василий Федорович, показывая глазами на бутылку. — Антон Игнатьевич, наверное, и не обедал сегодня.

— Я сыт, — возразил Шумилов.

— Сыты не сыты, а раз пришли в гости, прошу за

стол, — пригласила хозяйка и повела рукой. — Я сейчас капустки достану, грибочков. Грибы у нас хорошие, Василий Федорович сам собирает и сам солит. Мне не доверяет.

— Катя, соловья баснями не кормят, — сказал Волков. — Ты давай, давай, потом жаловаться будешь. И картошечки поджарь.

Она вышла, и Шумилов тихонько поинтересовался, как ее отчество.

— Дурак старый! — хлопнул Волков себя по лбу. — Никаноровна. Екатерина Никаноровна. А отец ее был Никанор Никанорович. Они настоящие, коренные чалдоны. — Он рассмеялся. — Вообще чалдоны народ сильный, крепкий, но чужаков не любят. Сами по себе живут. Теперь-то уже не то, конечно. Побвыклись, трудно и разобрать, кто чалдон, а кто не чалдон.

В этот вечер Волков много пил, был очень возбужден, говорил длинно и бессвязно, рассказывал какие-то глупейшие истории, которые ему, должно быть, казались интересными и смешными, а то вдруг становился серьезным, задумчивым, и тогда особенно заметно было, как он немощен и болезнен. Худое, желтое лицо, обвисшие щеки, опущенные уголки губ, белесые, словно выщипанные, брови, редкие волосы, растущие только с правой стороны, отчего он и зачесывал их налево, прикрывая лысину. Он же совсем больной, думал Шумилов, глядя на него, ему не заводом руководить, а сидеть дома, возле ядреной, цветущей Екатерины Никаноровны, помогать ей по хозяйству.

Он дал Волкову выговориться, потом сказал:

— А я ведь к вам по делу, Василий Федорович.

— Я догадался. Без дела, просто так навестить старика вы не пришли бы, — сказал Волков неожиданно трезвым голосом. Похоже было, что он обижен, но держался молодцом, не показывал вида. — Давайте завтра о делах, а? . .

— На заводе не дадут поговорить как следует, — возразил Шумилов.

— Тоже резонно, — вздохнул Волков. — Ну что ж, о деле так о деле.

— Вы беседуйте, а я пойду, — поднимаясь из-за стола, проговорила Екатерина Никаноровна. — Надо курей накормить.

— Что-нибудь серьезное, Антон Игнатьевич? — встревоженно спросил Волков.

— Да как вам сказать... Был я в кузнечно-прессовом, прямо оттуда к вам...

— Несчастный случай?!

— Нет-нет, все в порядке, все идет своим чередом. Людей там не хватает, но это мелочи, утрясем. Вот женщины меня атаквали, думал, что разорвут на части.

— Опять жильё, дрова, детский сад, столовая? Столько переговорено на эту тему...

— А что с дровами? — спросил Шумилов. — Об этом никто не заикался.

— Видите, вам еще не все высказали. С доставкой дров бесконечные разговоры, — вздохнул Волков.

— Разве это проблема? Вокруг тайга, да и на лесокombинате задыхаются от отходов.

— А на чем возить?

— Не знаю, Василий Фёдорович, ну уж дровами-то смешно не обеспечить своих рабочих.

— Если бы только своих! Под эту марку и наши, местные обленились совсем. Требуют дрова с квартирантов, с эвакуированных. Чтобы, значит, их бесплатно отапливали. А мы с вами весь город отопить не можем, согласитесь.

— Пожалуй, — согласился Шумилов. — А с другой стороны, надо понять и людей, они справедливо хотят получить хоть какую-то компенсацию за неудобства, которые вынуждены терпеть. В конце концов, — сказал он, — этот вопрос можно утрясти как-то. Совместно с исполкомом, с руководством лесокombината. А вот столовая и очаг...

— Какой еще очаг? — встрепенулся Волков.

— Детский сад.

— Ах да, совсем забыл, что по-ленинградски детский сад называется очагом. Мы с вами бессильны, Антон Игнатьевич. Приказ начальства вы знаете не хуже меня, так что...

— А если взяться и подумать как следует?

— Тут, как говорится, думай не думай. — Волков развел руками. — Или у вас есть конкретные предложения?

Нет, у Шумилова не было никаких конкретных предложений, просто он собирался поговорить с Волковым, понудить его к каким-то действиям. То есть не было у него предложений, когда он шел сюда, а теперь были. Он подумал, что, если рискнуть, если не бояться последствий, выход все-таки можно найти, например...

— Давайте перебросим бригаду плотников на столовую и... детский сад. Они в несколько дней поставят два барака, экая хитрость. А потом уж волей-неволей доделаем.

— Да вы отдаете себе отчет, что предлагаете?! — Василий Федорович смотрел на Шумилова такими глазами, точно Шумилов сообщил ему о намерении поджечь завод. — Снять бригаду с производственных объектов?.. Да нам с вами за это головы снимают. Нет, на такое я не пойду. У меня одна голова.

— Останутся наши головы на наших плечах, никуда не денутся, — поморщившись, сказал Шумилов. — А столовую и очаг мы будем иметь. Сколько проблем сразу снимется!

— И не уговаривайте, — отмахнулся Волков. — Выпьете еще?

— Нет, не хочется. — Он прикрыл свою стопку ладонью.

— Как хотите, а я выпью еще. — Он выпил, похрустел капустой, которая действительно была отменная. — Вы спешите жить, дорогой Антон Игнатьевич. А зачем спешить?.. И горячиться не следует, спокойнее надо, спокойнее...

— Не могу я быть спокойным, поймите.

— Давайте разберемся. Вот вы говорите, что два барака поставят за несколько дней. Допустим. А сколько времени займет отделка, оборудование? Ведь у нас ничего нет, пока где-то достанем, пока установим... А через каких-нибудь три месяца все это мы получим законно, и тогда построим. Бросим людей столько, сколько потребуется...

— А эти три месяца?

— Ну что такое три месяца, Антон Игнатьевич! Не успеем оглянуться, и они пройдут.

— Мы с вами не успеем оглянуться, — сказал Шумилов. — У вас свой дом, нет маленьких детей, я вообще один, да и паек мы получаем лучше, чем другие.

— Вы меня упрекаете в чем-то?

— Ни в коем случае. Я обращаю ваше внимание на факты, Василий Федорович. Только на факты. Хотим мы с вами этого или не хотим, но мы с вами ответственны за судьбы женщин и детей, чьи мужья и отцы с оружием в руках защищают Родину... — Он понимал, что го-

ворит излишне напыщенно, велеречиво, можно бы и попроще, но именно так он сейчас чувствовал и думал.

— Вот-вот! — подхватил Волков. — Для того чтобы мужья и отцы как можно скорее вернулись домой, мы обязаны в установленные сроки пустить завод. А лучше, если раньше. — Пожалуй, менее всего Василий Федорович верил в это, и ему сделалось стыдно за свою неискрыенность. При всех своих недостатках он действительно был честен.

— Разве я предлагаю отложить пуск завода? Надо объяснить людям положение, и люди поймут. Я убежден, что мы можем без всякого ущерба для основных работ построить и столовую и очаг. Никто не откажется поработать лишних два-три часа.

Вошла хозяйка, неодобрительно посмотрела на мужчин и покачала головой.

— Неужели вам не хватает времени на работе? Хотя бы один вечер посидели спокойно.

— Обожди, Катя, — отмахнулся Волков и обратился к Шумиллову: — Доказать свою правоту, Антон Игнатьевич, вы сможете не раньше, чем будет пущен завод. А спросится за нарушение приказа теперь.

— Вы... боитесь? — спросил Шумилов.

Боялся ли Василий Федорович? И да и нет. Как всякий человек, он хотел покоя, хотел быть уверенным, насколько это возможно теперь, в завтрашнем дне и боялся потерять в жизни то, что обрел своим трудом. А потерять — раз плюнуть, время военное, и никто не станет вникать в его сложное положение, никто не станет разбираться, что, как и почему — не до того сейчас, — и вряд ли примут во внимание, что они с Шумиловым, а прежде всего именно он, руководствовались самыми благими, гуманными намерениями. Шумилов-то, наверное, и выйдет сухим из воды, даже наверняка выйдет, потому что он только главный инженер, а вот ему, Волкову, не выйти. Он-то получит сполна по законам военного времени, ибо директор и никто другой отвечает за все. И скидок ждать не приходится. Да все бы ничего, когда бы успели построить столовую и детский садик... Но в этом Василий Федорович сомневался. Риск в конце концов не оправдается, и жертва, которую он должен принести, согласившись с Шумиловым, окажется напрасной жертвой...

Нет, не за себя лично боялся он — он прожил свою жизнь, — боялся он за жену, а отчасти и за детей. Как

они станут жить с таким пятном в биографии, если случится самое страшное?.. А это вполне возможно. Василий Федорович всякого повидал на своем веку, и ничто его не удивило бы.

Шумилова в худшем случае отправят на фронт. В этом нет ничего страшного, тем более позорного. Даже наоборот. Тем более он и сам просится на фронт, так что получится, что как бы удовлетворят его просьбу и только...

Такие вот мысли раздирали Волкова, и он не знал, что делать, как поступить. Вопросов много, а ответа нет ни на один из них.

— Вы обвиняете меня в трусости, Антон Игнатьевич,— наконец проговорил он, поднимая от стола голову.— Да, мне страшно. Наверное, я действительно по природе своей трус.— Он глубоко вздохнул и с откровенным сожалением взглянул на пустой графин.— Скажите мне, только честно: если бы вы были на моем месте, вы все равно настаивали бы?

— Я бы просто принял решение.

— Я верю вам,— сказал Волков, и в голосе его слышалась тоска. Может быть, он страдал оттого, что не был столь решительным. Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Вид у него был очень усталый и болезненный.

— Вам плохо? — обеспокоенно спросил Шумилов.

— Все в порядке. Немножко сердце давит, но это пустяки, выпил лишнего.

— Вам надо отдохнуть.— Шумилов встал.— А я, пожалуй, пойду, засиделся.

— Не буду задерживать,— Василий Федорович кивнул.

И вот теперь только Шумилов вспомнил, что у Нади сегодня день рождения, и она просила его прийти пораньше домой.

III

Идти было не близко, через весь город. Пожалуй, километра три наберется. К тому же снегу в последние дни навалило порядочно, а убирать некому. Да и не принято в Тотье убирать снег, разве что на центральной площади перед райкомом и исполкомом расчищают.

Морозно было и очень тихо.

Шумилов думал о Василии Федоровиче.

Вот интересно: он в самом деле болен или притворяется? Есть такие люди, которые всю жизнь притворяются больными. Любят, чтобы их жалели, чтобы к ним снисходили. Нет, все-таки Волков не из этой породы. Да и на кой хрен ему притворяться, какая в этом корысть? Скорее всего, он действительно болен, и болен душой, потому что его честность и порядочность как бы вступили в противоборство с нерешительностью и почти патологической трусостью. Именно: он искренне хочет, чтобы все было довольно, чтобы всем было хорошо, а обстоятельства требуют от него решений однозначных, которые не могут удовлетворить всех. Нужен выбор, а на это Василий Федорович просто не способен. Ибо выбор потому и выбор, что подразумевает одно решение из двух или даже из многих возможных, и это решение не обязательно лучшее в глазах начальства. Тут уже мало честности, тут необходимы принципиальность и умение отстаивать свою точку зрения, а если надо — пойти на риск. . .

А холодно, ужасно холодно, прямо до костей пробирает. Напрасно я не одел зимнее пальто. Но еще более напрасно просидел целый вечер у Волкова. Толку никакого, а теперь вот топай по морозу. Хоть бы фонари повесили, что ли, не видно, куда ступать, полные ботики снегу набрал. Впрочем, кому нужны фонари в Тотьве! В провинции люди привыкли рано ложиться спать. По ленинградским меркам время еще «детское», а здесь редко какое окно светится. Подумав о «детском» времени, Шумилов вспомнил жену и дочку и в который уже раз мысленно обругал управдома: явился некстати, из-за него Шумилов как следует не собрался, все впопыхах, потому и забыл фотокарточку жены и дочки. Приготовил же, чтобы взять, из альбома вынул, да так и оставил на столе. На фотокарточке дочка выглядела старше своего возраста, у нее был осмысленный и даже внимательный, как уверяла жена, взгляд, словно она рассматривала нечто занимавшее ее; хотя в таком возрасте — дочке было три месяца — дети вообще не видят, Шумилов где-то читал об этом. А жена сердилась и обижено говорила, что Светочка все-все видит. Ты посмотри, посмотри, Шумилов, она тянется за погремушкой! . . Женщины, женщины, как охотно они принимают желаемое за действительное. Просто-напросто погремушка брэнчала, раскачиваясь на резинке, натянутой над кроватью, и дочка, конечно же, тянулась на звук. А впро-

чем, кто может со стопроцентной уверенностью сказать, когда именно, в каком возрасте человек начинает видеть и понимать? . .

Все предположения, сплошные предположения.

Вот я предполагаю, к примеру, что плотники согласятся поработать лишнее, чтобы поспеть и там и тут, а они возьмут и пошлют меня на три буквы, и, в сущности, будут правы, потому что они тоже люди и есть предел их силам, а я, выходит, хочу, — не Волков, а именно я! — чтобы и волки были сыты и овцы целы. . . А так не бывает, дорогой ты мой Антон Игнатьевич. Не бывает, и все тут.

А почему, собственно, не бывает? Если надо, очень надо, будет.

На станции прогудел паровоз. Значит, одиннадцать, двадцать три ноль-ноль. Поезд на Свердловск отправляется в девять по Москве. К этому двойному времени Шумилов привык не сразу. Однажды получил нагоняй от начальства. Ему передали, что в девять, то есть в двадцать один, ему будут звонить из наркомата, однако никто не позвонил, хотя он прождал лишних сорок минут, и тогда Шумилов со спокойной совестью ушел домой, а после, на другой день, выяснилось, что все-таки звонили, но в девять по московскому времени, то есть по-местному в одиннадцать.

Шумилов прибавил шагу. Он знал, что его ждут, несмотря на поздний час. Анна Тихоновна сообразила что-нибудь вкусенькое к ужину, достала из подпола настойку из морошки, а Надя сидит сейчас на кухне у стола, укутавшись в оренбургский платок (Шумилов никак не может понять, почему платок называется оренбургским, если вязала его Анна Тихоновна) и читает толстую книгу. Толстого или Достоевского. Она, как вообще все женщины, любит толстые книги, романы. Наверное, слово «роман» в женском сознании накрепко связано с любовью. У всех женщин, вовсе независимо от образования, воспитания и ума, есть что-то общее. . . Впрочем, Надя скорее всего лишь делает вид, что читает, а сама внимательно и настороженно прислушивается: не заскрипит ли под ногами Шумилова снег? Ночью, да еще в такой сильный мороз, далеко слышно. Слишком уж она впечатлительная, слишком много в ней восторженности, невзрослой непосредственности. Обычно это свойственно либо душевнобольным, либо очень ис-

кренним, очень добрым людям. А может, я и ошибаюсь. Может, все это мне только кажется. . .

Шумилов толкнул калитку, и замороженные петли визгливо пропели. Из будки высунулся Рыжик, твякнул разок для приличия, чтобы не подумали, будто он спит, вместо того чтобы сторожить, и убрался назад, в тепло.

Шумидов долго обивал голиком снег с ботинок.

Надя стояла, прислонившись спиной к печке. На плечах у нее действительно был накинут платок. А вот книги на столе не было, стол был празднично накрыт.

— Добрый вечер, Надюша! — входя, сказал Шумилов. — Тепло у нас, как у Христа за пазухой. А на дворе — б-р-р-р! . . . — Он поежился, и получилось у него натурально. — Градусов сорок девять. — Он знал, что было тридцать пять градусов, как знал и то, что Надя непременно поправит его.

— Тридцать пять, — проговорила она. — Это у вас все пятьдесят. — Она смотрела на него с откровенным презрением.

— А где же Анна Тихоновна? Пора бы и выпить за новорожденную. . .

— Мне показалось, что вы уже хорошо выпили, — поморщилась Надя.

— Так вышло, Надюша, — сказал он. — Зашел по делу к Василию Федоровичу, а там задержался, никак не отпускали.

— А я подумала, что вы были у своей землячки. . .

— И у нее был, но днем. Относил долг. — Он и сам не знал, для чего объясняет это Наде.

— Меня это не интересует, — резко сказала она.

— А где же все-таки Анна Тихоновна, почему ее не видно?

— На работу вызвали, сменщица заболела. Так что выпивать, если вы еще в состоянии, придется нам вдвоем. — Она с вызовом смотрела на него, в глазах ее танлась усмешка, и Шумилов подумал, что она все-все прекрасно понимает и что не такая уж она беззащитная и наивная, как ему кажется. А возможно, она просто дразнит меня, но дразнит не потому, что преследует какую-то цель, а интереса, любопытства ради, как это делала бы любая другая женщина, осознающая свою большую власть над мужчиной. Прямо-таки классический, хрестоматийный способ самоутверждения. Ну

что ж, игра есть игра, и он готов принять ее правила, коль скоро это доставляет Наде удовольствие. Пусть себе думает, если ей хочется и нужно, что она сильнее его. Он согласен на такую уступку.

Он взял бутылку, разлил настойку по рюмкам и сказал:

— За вас и за ваше прекрасное будущее, Надюша!

Он выпил душистую, чуть терпкую настойку, а Надя едва пригубила. Потом он пошел в комнату и принес флакон духов, который каким-то чудом раздобыла секретарша по его просьбе.

— К сожалению, ничего лучшего достать не сумел, — поставив флакон на стол, сказал Шумилов виновато.

— Духи?! — воскликнула она. — Настоящие духи! А я-то, дуручка, подумала... Спасибо, Антон Игнатьевич, огромное спасибо. — Она подошла к нему, приподнялась на цыпочки и чмокнула его в щеку. И тотчас смущенно отвернулась.

— Это так, — сказал Шумилов, — а достойный вас подарок остается за мной. Вот кончится война...

— Не надо, Антон Игнатьевич, — тихо молвила она. — Не надо, прошу вас... Все говорят: вот кончится война. А когда она кончится?

— Ну...

— Сегодня наша учительница немецкого языка получила на мужа похоронку. Он тоже преподавал у нас в школе, я у него училась. Очень добрый был. Эльза Францевна тоже добрая. А ее почему-то всегда недолюбливали. Я тоже. Особенно, когда началась война. Она ведь немка по национальности. Многие получают похоронки, но тут... — Надя поежилась и плотнее укуталась в платок. — Муж немки погиб в войне против немцев...

— Эта война не против немцев, — сказал Шумилов. — Эта война с фашизмом, Надюша.

— Я понимаю: А Эльзе Францевне ребята записки хулиганские подбрасывают, не слушаются ее. Понимаете, как ей-то трудно!

— Нужно объяснить ребятам, растолковать, что и она, и вообще немцы сами по себе такие же люди, как все, что Гитлер и его компания — это не весь немецкий народ...

— Ничего они не хотят понимать, — вздохнула Надя.

— Да, сложно все, чертовски сложно. Взрослые

люди не все понимают, а это дети. Ну что ж, Надюша, поздно уже, а я устал, извините. Пойду-ка я спать.

А Надя долго еще ходила по дому, Шумилов слышал ее, и было, было у него желание встать, открыть дверь, взять Надю за руку и привести молча в свою комнату. Он знал, что она не станет возражать, не станет сопротивляться, а молча же последует за ним. Пожалуй, она и ждет этого, потому и не ложится. Стоп, сказал он себе, не заводись, не подливай масла в огонь. Спать, спать. Думай о чем-нибудь другом. Или считай. До ста, до тысячи, покуда не уснешь.

В ту ночь ему приснилась жена, что случилось довольно редко.

Была она простоволосая, в очень коротеньком и ярком — красные крупные горошины на белом фоне — платье, какого Шумилов не видел у нее. Она убежала от него. Отбежит немного, остановится, закинет голову назад, так что волосы достают до земли, и смеется громко, призывно, воздевая руки к солнцу. Он тоже останавливался и любовался ею. Так они долго бегали по полю, круг за кругом, покуда она не запуталась ногами в высокой траве, и тут Шумилов догнал ее, схватил и поднял — она была до странности легкая; невесомая — высоко, на вытянутых руках. Она вскрикнула испуганно и стала колотить его, в грудь босыми ногами. Ему должно было быть больно, она колотила, изо всех сил, однако он совсем не чувствовал боли, ему было смешно, и он смеялся и кружил ее, кружил, а потом они вместе упали в траву и никак не могли отдышаться. После они бродили по полю, взявшись за руки, и собирали ромашки. Жена гадала: «Любит — не любит, любит — не любит», и вышло, что они оба любят друг друга...

Шумилов действительно любил жену. Может быть, не так, как любят в кино и в книгах, не самозабвенно, не до самоотречения, не очень нежно, но сильно, искренне, сколько позволяла его далеко не сентиментальная натура. Пожалуй, со стороны могло даже показаться, что он равнодушен к жене — теща именно это и думала, — но они-то знали, и жена, и Шумилов, что просто иначе любить он не умеет. Каждый любит и не любит по-своему, и это хорошо, что по-своему, потому что было бы скучно, тоскливо было бы жить на свете, когда бы и любили все одинаково, и ненавидели...

Весь следующий день Шумилов провел, как говорится, в бегах, он только с утра буквально на минутку заглянул к себе в кабинет. (ничего не поделаешь, приходится быть и прорабом, и снабженцем, а подчас и надсмотрщиком, как шутил он сам) и начисто забыл, что велел Румянцевой зайти к нему. Вспомнил, когда увидел ее в коридоре уже в конце дня. Она стояла у окна и курила самокрутку, стряхивая пепел в ладонь. На ней было добротное зимнее пальто, белые фетровые боты, а на подоконнике лежала муфта, и весь ее облик, очень ленинградский, довоенный, подумал Шумилов мимоходом, совсем не вязался с самокруткой. Видимо, она тоже почувствовала это, смутилась, поискала глазами, куда бы деть окурки, и тут Шумилов неожиданно пришел ей на помощь.

— Дайте курнуть, Вера Петровна. Что-то самосаду захотелось.— И протянул руку.

— Это махорка, — сказала она.

— Все равно.— Он взял окурки, затянулся и надолго закашлялся. Откашлявшись, спросил: — Вы разве курили раньше?

— Не курила. И даже терпеть не могла, когда от мужа пахло табаком. Вы просили зайти. . .

— Да-да. Извините, что заставил ждать. Забегался, какой-то сумасшедший день. То одно, то другое.— Он махнул рукой и открыл дверь в кабинет.— Проходите, Вера Петровна, присаживайтесь. Можете раздеться, давайте ваше пальто.

— Не стоит, Антон Игнатьевич. Ой, я ведь муфту забыла!

Он вышел в коридор и принес муфту. Потом разделся сам, достал из кармана папиросы и положил на стол.

— Курите.

— Спасибо, я редко курю.

— Как вы устроились? — спросил Шумилов.

— На частной квартире, нам повезло. Хозяева очень милые люди, и моим сорванцам не скучно. У хозяев четверо своих.

— А у вас?

— Двое, школьники уже.

Это она сказала специально, догадался Шумилов. Чтобы я не думал, будто она хлопочет насчет очага и для себя. Но я не забыл, что она говорила об этом вчера. Или есть еще какая-то причина?..

— Ладно,— вздохнув, сказал он.— Вам, Вера Петровна, придется перейти на другую работу.

— Антон Игнатьевич, я прошу вас: оставьте меня на прежнем месте.

— Не уговаривайте. Копать землю я поставлю кого угодно, а вы инженер. Нам нужны специалисты...

— Когда пустим завод, я сама попрошусь, чтобы меня перевели. А сейчас все равно работы по специальности нет.

— Кто это вам сказал, что нет? Оборудование надо устанавливать, краны монтировать, подстанцию кончаем строить, а вы — нет работы по специальности! — И тут, вспомнив Елену Сергеевну и как она беспокоилась о том, что на другой работе у нее не будет рабочей карточки, Шумилов догадался, почему Румянцева не хочет переходить и почему она упомянула, что у нее двое ребят-школьников. Конечно же, все дело в этой рабочей карточке. И все-таки спросил: — Вы из-за карточки хотите остаться землекопом?

Она посмотрела ему в глаза и призналась, что да, из-за карточки тоже, и он не знал, что возразить на это. Аргумент серьезный, от него не отмахнешься, потому что жить-то надо и надо кормить детей. Уж кто-кто, а Шумилов хорошо знал, что такое хотеть есть. Он рано остался без родителей — отец погиб на фронте в пятнадцатом, а мать умерла от тифа в двадцатом году, — некоторое время жил у тетки, сестры отца, однако не выдержал бесконечных упреков и побоев, а били его не только тетка и ее вечно пьяный муж, но били и старшие их дети, и сбежал. Беспризорничал, попрошайничал, потом и воровал потихоньку, покуда в Петрограде не попал в облаву. Словом, вкус голода был ему знаком.

— Я понимаю вас, Вера Петровна,— сказал он.— Очень хорошо понимаю. Давайте подумаем вместе: что получится, если все мы возьмем в руки лопаты? Знаете, что?.. Получится одна большая яма. Это — шутка. Думаете, я не хотел бы сейчас быть в другом месте? Или Кирпичников, или директор?.. — Он присел рядом с Румянцевой. — Скажите мне честно, как бы вы поступили на моем месте?

— Совсем-совсем честно?

— А разве существует честность, которая не совсем?

— Я бы перевела вас в приказном порядке,— сказала Румянцева.— Если бы была такая необходимость.

— Да вы, оказывается, дипломат! — усмехнулся Шумилов.— Вам бы в наркоминделе работать, Вера Петровна.

— Вы спросили — я ответила.

— И кто же из нас будет устанавливать меру необходимости?

— Очевидно, в данном случае вы.

— То-то и оно! — воскликнул Шумилов и поднял палец.— Я решаю, а вы остаетесь при своем мнении. Удобная, во всех отношениях выгодная позиция.

— Почему же, Антон Игнатьевич? Я ведь тоже вас хорошо понимаю. Как вы решите, так, значит, и нужно. Вот только...

— Что еще?

— Женщины мои подумают, что я сбежала от них, что вы по блату переводите меня на легкую работу... Я бригадир у них.

— Ну, легкой работы не ждите! А женщины поймут, правильно поймут. Авдеев уже не справляется.— Он имел в виду главного механика.— Будем организовывать службу энергетика, вы ее и возглавите. Пока при главном механике, а потом посмотрим. Возможно, выделим в самостоятельную службу.

— Я не справлюсь, Антон Игнатьевич! Какой из меня начальник.

— Справитесь, еще как справитесь,— убежденно сказал Шумилов.— Я тоже не был до войны главным инженером...

— Вы — другое дело,— возразила Румянцева.

— Это почему?

— Мужчина, во-первых:..

— Договаривайте, договаривайте. Раз было во-первых, должно быть и во-вторых.

— О вас и до войны говорили, что вы будете директором завода,— сказала Румянцева, отводя в сторону глаза.

— Вот даже как? — удивился Шумилов. Впрочем, удивление его было не совсем искренним, чуточку наигранным, потому что он знал об этих разговорах, и — чего уж там — было ему приятно.— И кто же это говорил, если не секрет?

— Все,— ответила Румянцева.

— Все — это равносильно никто. Ладно, мы отвлеклись. Будем считать, что вопрос решен, и я рад, Вера Петровна, что мы поняли друг друга. Детали утрясете с Авдеевым, мужик он деловой, вы сработаетесь. Если вопросов нет...

Румянцева поднялась, но не уходила. Смущенно теребила муфту, явно хотела спросить о чем-то, однако не решалась.

— Вы хотели что-то сказать? — помог ей Шумилов.

— Неудобно...

— Ну что за церемонии, Вера Петровна. Мы знаем друг друга не первый день. Я слушаю.

— В общем... Женщины просили узнать...

— Насчет очага? — догадался он. — Что-нибудь придумаем, так и передайте.

— Нет, — сказала она. — Просили узнать, как ваша семья, Антон Игнатьевич.

Это было настолько неожиданно, что Шумилов растерялся даже. Неожиданным был и сам по себе интерес посторонних, незнакомых ему людей к его личным, семейным делам, их участие, а главное, ведь он не особенно-то распространялся о своей семье, очень немногие были в курсе случившегося...

— Спасибо, — сказал он искренне. — Спасибо, Вера Петровна. К сожалению, пока ничего не известно.

— Вы только не отчаивайтесь, Антон Игнатьевич. Найдутся они, вот увидите, что найдутся.

— Надеюсь.

Да, тогда он еще надеялся, понимая, что не так-то просто отыскать среди миллионов эвакуированных и беженцев, оказавшихся в разных концах огромной страны, одну женщину с маленьким ребенком. Совсем не просто, если даже они успели выехать. А если остались там, на оккупированной территории?.. Об этом не хотелось думать, страшно было думать об этом, и Шумилов успокаивал себя, убеждал, что все-таки они успели, однако мысли эти, которые должны были бы успокоить его, вселить уверенность, ничуть не успокаивали. Уж он-то знал свою жену, ее безалаберность, неприспособленность к реальной жизни, ее удивительное неумение решать элементарные житейские вопросы. Она теряется в самых обычных условиях, а в данном случае нужно было проявить настойчивость, упорство, то есть нужны были качества, какими она не обладала. Если в действительности есть люди «не от мира сего», то к ним безу-

словно можно отнести и жену Шумилова, хотя, как это ни странно, выросла она в провинции. Правда, родители ее не провинциалы по происхождению: оба они были учителями, но еще в молодости, по прихоти или по призыванию, во имя каких-то своих идеалов, уехали они из Петербурга в село. А она, окончив школу, приехала уже в Ленинград поступать в институт. Не просто в институт, но в театральный, потому что бредила театром. Отсюда ее неприспособленность, растерянность, ибо жила в каком-то своем, придуманном ею мире, в мире теней, как говорил Шумилов. В институт она не поступила, но в театр попала — устроилась работать сначала кассиром, а после в ней пробудился талант к моделированию, что ли, она окончила какие-то курсы — Шумилов не знал, какие именно, все это было еще до их женитьбы, а его мало интересовало то, что было до него, — и стала работать костюмершей. Он никогда не принимал всерьез ее увлечения театром, иронизировал, случалось, зло и несправедливо высмеивал больших, прекрасных актеров, говорил, что «паясничать и юродствовать на сцене простительно после работы», и жена поначалу обижалась очень, плакала, пыталась доказывать ему, как он не прав, что он обкрадывает себя, исключив из своей жизни искусство, однако поняла скоро, что спорить с ним на эту тему бесполезно — он такой человек, у него другая жизнь, другие интересы, и они, в общем-то, мирно сосуществовали, даже любили друг друга, хотя трудно, пожалуй, было бы найти вторую такую пару, вторую такую семью, где бы увлечения и профессиональные интересы мужа и жены были столь различны. А может, это и хорошо, иногда думал Шумилов, потому что они не утомляли друг друга бесконечными разговорами на одну и ту же тему, но как бы вынужденно находили нейтральные темы, то есть их жизнь не была слишком однообразной, у каждого было свое дело, а дома они оставались просто мужем и женой, мужчиной и женщиной. . .

Все, хватит, приказал себе Шумилов. Хватит распускать сопли, надо работать. Работать надо. Вот: разыскать этого, как его? . . Бригадир плотников. Ага, вспомнил он, Казачок. Именно к нему решил обратиться Шумилов. Люди — и тут не бывает исключений — почему-то любят, когда, несмотря на конфликты и ссоры, к ним обращаются с просьбами. Это возвышает людей в

собственных глазах. Возможно, что и в глазах окружающих тоже.

Он не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал, что нужно в несколько дней поставить два барака — для столовой и детского сада, — при этом, сказал он, работа здесь, на производственных объектах, не должна пострадать.

— Придется нажать, мужики. Это не приказ, а просьба. Не можете, значит, не можете. Никто вас не заставит. Подумайте.

— А что думать, — пожал плечами бригадир, — раз надо. Сделаем, товарищ главный инженер. Чтоб только материал был, и место укажите.

— Материалом обеспечим, — пообещал Шумилов.

— Ну и делов нема.

— Спасибо, товарищи.

— Что спасибо! Пусть бабы спасибуют, для их ребятишек детский сад. — Бригадир подмигнул своим мужикам, и те загоготали весело.

II

А Василий Федорович заболел. И заболел, похоже, всерьез, хотя, по правде говоря, Шумилов и подумал, когда узнал о болезни Волкова, что он просто-напросто сказался больным, чтобы не мешать ему, Шумилову, строить столовую и детский сад, и в то же время не быть причастным к этому делу. Страховка на тот случай, если возникнут неприятности. То есть неприятности будут, сомневаться не приходилось, вопрос лишь в том, какие именно. Могут пожурить, могут вклеить выговор, могут, сообразуясь с условиями военного времени. . . Впрочем, могут и похвалить за инициативу, за находчивость. Начальство, оно всё может. Как ему, начальству, поглянется.

Нет, не зря, совсем даже не зря Волков задал Шумилову вопрос насчет того, как бы поступил он, Шумилов, на его месте. Пожалуйста, дорогой вы мой Антон Игнатьевич, вот вам мое место, вот вам директорские права, действуйте, стройте ради бога, проявляйте свою принципиальность, свою инициативу, руки у вас, как говорится, развязаны. . .

Ход не очень корректный, зато беспроигрышный, верный ход. К тому же — это в том случае, если оргвыводов не последует, — его всегда можно взять обрат-

и о. Ведь не мешал же, не противился, не сообщил начальству, а промолчал. Молчание же, как известно, удобно выдать за согласие.

Так рассуждал Шумилов — или примерно так — и был искренне рад, что на этот раз ошибся. То есть радости мало, коль скоро человек заболел, а все же, все же...

О людях хочется думать хорошо.

Конечно, стоило бы поговорить с Кирпичниковым, посоветоваться с ним, заручиться, если уж на то пошло, его весомой поддержкой, а что Кирпичников поддержит, Шумилов ничуть не сомневался. Но именно поэтому он и отверг саму мысль о разговоре с парторгом. Ибо получится, что как раз он, Шумилов, ищет лазейку для своего оправдания, пытается переложить ответственность за самоуправство — пусть часть ответственности — на других, готовит запасные позиции для отступления. Ну как же, как же! Идея его, он не спорит, однако он не превышал своих полномочий, не принимал единоличных решений, а принес идею парторгу ЦК, пришел к нему за советом, и только с его благословения...

После Шумилов поймет, что все его психологические изыскания, в сущности, были наивными, наивными в своей основе, наивными уже потому, что Кирпичников все прекрасно знал, а просто не хотел мешать, не хотел вмешиваться, полагая, что будет лучше, если Шумилов проявит полную самостоятельность. А что касается возможных последствий, Кирпичников был готов взять на себя вину тоже. Это легко, ибо по должности своей он обязан знать все, что делается на заводе. Главное же — он был на стороне Шумилова и считал, что сумеет доказать кому угодно, что его действия были вызваны необходимостью.

Неожиданно позвонил сам Василий Федорович и попросил Шумилова зайти к нему.

Выглядел он ужасно. Бледный, какой-то изможденный, издерганный, с впалыми щеками, с лихорадочным, нездоровым блеском в глазах. Шумилов напугался даже, увидав его таким, и задал глупейший вопрос:

— Что у вас болит?

— Ничего у меня не болит. Душа разве что не на месте. Хотя... — Он усмехнулся, и Шумилову показалось, что рот у него будто бы перекошен. — Хотя кто знает, где у души место? Видите, в философию ударился, а это верный признак близкой старости. Никогда не

философствуйте, Антон Игнатьевич. Прошлый раз мы чего-то недоговорили с вами, а я, знаете ли, люблю, когда между людьми нет никаких недоговоренностей. От этого все недоразумения. Вы согласны?

— Наверно, — сказал Шумилов. — И все-таки давайте отложим деловые разговоры на потом.

— Вы за меня не беспокойтесь, не надо, — проговорил Василий Федорович. — Болезнь моя не смертельная, так что. . . — Он снова усмехнулся, и усмешка его была какая-то странная, словно, говоря одно, он был убежден в совершенно обратном. Впрочем, вполне возможно, что так оно и было на самом деле. Ко всему прочему, Волков был крайне мнителен. — Я знаю, Антон Игнатьевич, — продолжал он, — что вы не очень-то охотно прислушиваетесь к советам со стороны. . .

— Почему же? . .

— Сейчас, одну минутку. Это ваше право. Насколько я успел узнать и понять вас, вы человек сильный, умеете подчинить себе обстоятельства, а не подчиняться им. Все это imponирует мне, поверьте. И все-таки, Антон Игнатьевич, я настоятельно советую вам, если хотите — прошу: будьте вы осторожнее, терпеливее и терпимее, не надо лезть на рожон и пороть горячку! Выдержки побольше, Антон Игнатьевич, выдержки. Не сердитесь на старика. . .

— Бросьте, Василий Федорович. Наоборот, спасибо за совет.

— Только вы не возьмете в толк, к чему я все это говорю?

— Да нет, я знаю, что мне иногда не хватает выдержки. Таким уж уродился.

— Это верно, характер не запрешь в сейф, — согласился Волков. — И все же. . . уймите гордыню, помпритесь вы с Гераськиным. Зачем вам портить с ним отношения?

— Скучный, неинтересный человек этот ваш Гераськин, — сказал Шумилов и поморщился.

— Ну что ж, что скучный, — возразил на это Волков. — Скучных людей больше, чем плохих. А недостатки есть у всех, Антон Игнатьевич. И у вас они есть.

— Интересно, какие же?

— Вы, например, власть любите. Уж простите. . .

— А Гераськин любит?

— И он любит, — вздохнул Волков. — Власть — это такое дело, она как манок для селезня. Дело не в том,

кто любит власть, а кто не любит. Вопрос в том, какую цель преследует человек, который рвется к власти или уже обладает ею. Грести-то можно и от себя, и под себя! Не каждому по плечу власть, ох не каждому... На иного посмотришь, как будто в костюме с чужого плеча, а иной что тебе капитан на капитанском мостике, приятно смотреть.— Волков устало откинулся на подушку и закрыл глаза.— Вот вы, Антон Игнатьевич, человек трезвый, прямой, компромиссов признавать не желаете. Это ваше дело. Но жизнь, как вы хотите, не лесоповал, тут топором махать нельзя, да и опасно. Быстренько за руку схватят и стремление ваше сотворить благо обернут против вас.

— Ну и черт с ней, с опасностью! Главное, лишь бы дело делать не мешали.

— Так не бывает,— проговорил Василий Федорович, отрывая голову от подушки.— Будут, да еще как будут мешать! А как же вы хотели?.. Вы тут, понимаете, явились авторитет себе зарабатывать, славу добывать, а другие что же, по-вашему, бездельники? Нет уж, с топориком-то поосторожнее...

— Какую славу, о чем вы говорите? — удивленно спросил Шумилов.

— Это я так, к слову пришлось. Люди, которым вы не по нутру, которых затеняете своим кипением и с которыми не хотите считаться, всякое могут подумать и всякое сказать.— Он пристально взглянул на Шумилова, точно проверяя, все ли понял Шумилов, так ли понял, как нужно было понять.

У него были основания говорить об этом. Уж он-то, старожил Верхней Тотвы, прекрасно знал, что далеко не всем (не только Гераськину) Шумилов пришелся здесь не по душе, что многие его не любят. Кто-то не любит за прямоту и бескомпромиссность, кто-то за то, что и в самом деле он затеняет людей, заслоняет собой, даже если и не специально делает это, а кое-кто просто гобанвается его, понимая, что Шумилов, идя к цели, не пощадит и ближнего своего, ибо для него присловье «цель оправдывает средства» вполне конкретно.

— У вас сегодня минорное настроение,— сказал Шумилов. Ему было неприятно, противно было выслушивать всю эту чепуху.— Как будто дела сдаете, опытом делитесь.

— Что ж, всему свой час, а дела свои все мы рано

или поздно сдадим. Сне, как говорится, от нас не зависит.

— Вздор это, Василий Федорович. Все вздор. Отдыхайте спокойно и не думайте ни о чем.

— Знаете, я всю жизнь боялся высоты. Да и теперь боюсь. Даже больше, чем прежде. И странная же это штука, боязнь высоты, ей-богу! Вот страшно, колени трясутся, а заглянуть вниз хочется. Вы не боитесь высоты?

— Как-то не думал об этом, — сказал Шумилов, пожимая плечами.

— Значит, не боитесь. Если бы боялись, непременно бы думали. — Он вздохнул с облегчением, и лицо его вдруг сделалось не столь уж болезненным, изможденным, и в глазах потух прежний лихорадочный блеск, словно ему на самом деле стало лучше. — Устал я, Антон Игнатьевич. Очень устал, а вроде бы рановато. Укатали сивку, м-да. . . Вы ступайте, ступайте, я ведь вижу, что вам не сидится на месте. И подумайте о том, что я вам тут наговорил. Только подумайте, от этого у вас ничего не убудет. Кто знает, может, какая-то малость и окажется полезной.

— Обещаю подумать, — поднимаясь, сказал Шумилов. — А вы поправляйтесь. И не надо хандрить.

Екатерина Никаноровна поджидала Шумилова на кухне. Глаза у нее были припухшие. Плакала, должно быть.

Она вышла проводить гостя на крыльцо.

— Плох Василий Федорович, — молвила она. — Все ершится, а сам еле дышит. . .

— Ну что вы, все будет хорошо, — успокоил ее Шумилов.

— Где уж там, Антон Игнатьевич. Я-то знаю его. Вот и не болит у него ничего, а это и есть самое страшное, когда человек больной, а ничего не болит. Лучше бы болело.

— Я переговорю с главврачом.

— Что говорить, морока одна. Все равно они ничего не понимают.

— А это вы напрасно, Екатерина Никаноровна. Главный врач очень опытный, знающий. Я попрошу, чтобы он сам посмотрел Василия Федоровича.

— Спасибо на добром слове, бог даст, будет по-вашему.

Шумилов поговорил с доктором Левиным насчет Вол-

кова, а заодно и насчет сына Елены Сергеевны, и Левин охотно согласился посмотреть Василия Федоровича, побещал, что сделает это в ближайшие дни, а что касается мальчика...

— Это ваши родственники?

— Нет,— ответил Шумилов несколько смущенно.— Знакомые, земляки...

— По Ленинграду знакомые? — спросил Левин.

— Здесь познакомились.

— Понятно, понятно... Что я могу вам сказать? Отправим мальчика в Свердловск, в специальную клинику. Это, разумеется, трудно, но я уже договорился с коллегами, его возьмут. Я могу на вас положиться? Знаете ли, не хотелось бы...

— Конечно, доктор.

— Редчайший клинический случай. У мальчика лейкопение, к тому же дисфункция... Ах да, вам это не очень понятно. Недоразвит мозжечок, он обречен. Увы.

— А это отчего?

— Если бы я знал, то был бы Нобелевским лауреатом,— виновато улыбнулся Левин.— К сожалению... — Он развел руками.— Надеюсь на вашу скромность. Ну-с, а этого... товарища Волкова я навещу. Пожалуй, завтра же и навещу. Вы позвоните мне после обеда.

Шумилов позвонил, и Левин уверил его, что с Василием Федоровичем нет ничего страшного, то есть состояние его не вызывает каких-либо опасений. Депрессия, сильное переутомление плюс, разумеется, нездоровая мнительность, вялость характера (он именно так и сказал: «вялость характера»), отсутствие четких, ясных психологических установок. Словом, типичный случай психической неуравновешенности, что связано, кстати, с переутомлением. Покой, покой и еще раз покой, и все будет в высшей степени хорошо, закончил Левин. И нужно, конечно, взять себя в руки. Это лучшее средство от подобных недугов.

Признаться, Шумилов далеко не все понял из того, что наговорил ему Левин, в особенности насчет психологических установок, но главное — то, что Волков болен не опасно,— все-таки понял. Другое дело сын Елены Сергеевны. Как она и старуха, как они переживут, если случится самое страшное... А это, судя по всему, случится, Левин не стал бы такое говорить, когда бы не был совершенно убежден...

Шумилов никогда не был охотником до чужих тайн,

он терпеть не мог, когда посторонние люди вмешиваются в семейные дела, хотя бы из самых лучших побуждений, любое вмешательство, считал он, ничего, кроме дополнительных осложнений, не дает, а теперь вот сам сделался обладателем не просто чужой тайны, но тайны страшной и потому чувствовал себя прескверно. Оказывается, знать нечто важное, знать то, чего не знают окружающие и даже те, кого это непосредственно касается, очень тяжело. Так и подмывает поделиться с кем-нибудь этим ненужным знанием...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Плотники во главе с бригадиром Казачком принялись ставить бараки под столовую и детский сад, а Шумилов, пользуясь болезнью Василия Федоровича и своим положением исполняющего обязанности директора, вернулся к предложению председателя колхоза «Большевик» Краснова насчет обмена довоенных неликвидов на продукты. Он понимал, что это сложнее, чем поставить два барака, и для начала распорядился провести инвентаризацию, что само по себе было делом не простым — не хватало людей.

Всякого добра, крайне необходимого колхозам и во все теперь бесполезного для завода, нашлось порядочно. Были тут и бороны, и лемеха; и какие-то предплужники; о которых Шумилов и не слышал никогда, и тележные оси, и еще бог знает что. Целое богатство, подумал он, ознакомившись с актом инвентаризации.

Как раз когда он знакомился с актом, зашел Кирпичников.

— Очередная директива? — осведомился он.

— Нет, но документ любопытный, посмотри. — Шумилов протянул акт парторгу.

Кирпичников пробежал акт глазами и положил на стол.

— Что скажешь? — спросил Шумилов.

— Ничего пока не скажу. Знаю, что ты задумал...

— В чем же дело?

— А добро-то это не наше, и никто не давал нам права им распоряжаться. Так вот, Антон Игнатьевич. Такие получаются пироги.

— Лучше пусть пропадает? — Шумилов почему-то был убежден, что Кирпичников без лишних слов поддержит его, и теперь испытывал чувство досады, раздражения. — Ни себе, ни людям. . .

— Добро пропадать не должно. Только оформить нужно как положено, мы не частная лавочка, а государственное предприятие. Анархия, знаешь, дело вредное и опасное.

— А может, вредно и опасно ничего не делать, когда сделать можно? . . .

— Послушай, Антон Игнатьевич, ты же не мальчик, а городишь черт знает что! Существует порядок, нарушать который никому не позволено. И у нас с тобой на этот счет никаких привилегий нет.

— Есть привилегии, — сказал Шумилов. — Забота о людях. Ты посмотри, чем кормят в лесокombинатовской столовке: сплошная хряпа. Утром щи из хряпы, в обед щи из хряпы. . . А мы за этот металлолом можем получить продукты.

— Во-первых, не надо, творя беззаконие, прикрываться заботой о людях, — спокойно проговорил Кирпичников. — Это, в конце концов, неэтично и безнравственно. . .

— Ты что, собрался читать мне лекцию о марксистской этике и коммунистической нравственности?

— Попридержи язык, Антон Игнатьевич. И учись слушать и слышать других, а не только себя. Не строй себе памятник, подожди, когда это сделают другие. Если заслужишь такую честь. Во-вторых, — продолжал он так же спокойно, — для тебя это металлолом, а для других нужные вещи, принадлежащие, повторяю, государству.

— Бюрократ ты, Николай Николаевич, вот ты кто. Такой же, как и Волков.

— Возможно, что мы с Волковым и бюрократы. Но если то, что ты считаешь бюрократизмом, охраняет интересы государства, общества, тех самых людей, между прочим, о которых ты якобы заботишься, я готов жить с этой кличкой. А ты побереги свои эмоции, они тебе еще пригодятся.

— Ну да, — усмехнулся Шумилов, — умный в гору не пойдет.

— И правильно сделает. Ты вот обменяешь что-то колхозу «Большевик» на картошку или на что-нибудь

еще, а откуда тебе знать — может, это что-то нужнее колхозу «Путь Ильича»?.. Не думал? Напрасно.

Тут Шумилов понял, что Кирпичников знает не только о самой идее, но также и о том, что на заводе побывал Краснов. Черт всевидящий, подумал он беззлобно и даже с уважением. Молчал, делал вид, до последнего момента молчал, а сам, похоже, обкатывал идею, прикидывал, что и как...

— А что ты предлагаешь?

— Завод в довоенном своем виде был местного, так сказать, значения. Подчинялся, следовательно, опять же местным властям, и вряд ли в Москве вообще знали о существовании этого завода...

— Логично,— пробормотал Шумилов, не догадываясь еще, к чему клонит Кирпичников.

— Думаю, что местные власти тоже кровно заинтересованы, чтобы богатство это не пропало напрасно...

Николай Николаевич внимательно и настороженно взглянул на Шумилова. Поймет или не поймет? Разумеется, поймет, но как воспримет, вот в чем вопрос. Не складываются у него нормальные, деловые отношения с тем же Гераськиным. Ну, допустим, Гераськин не мыслитель и не нарком иностранных дел, это правда. Однако и сколько-нибудь серьезных причин для вражды между ними, то есть между Гераськиным и Шумиловым, тоже нет, а две-три мелкие стычки нельзя принимать всерьез. Да ведь и не во всем и далеко не всегда прав Шумилов. Амбициозен чересчур, самолюбив, прет напролом там, где можно и нужно проявить терпение, спокойствие, оттого, пожалуй, и трудно срабатывается с людьми, которые по разным причинам не принимают его стиля.

Это-то Кирпичников знал хорошо, не однажды его вызывали в партком еще до войны (Николай Николаевич последние три года был заместителем секретаря парткома), беседовали с ним, увещевали, и на время Шумилов затихал, не кидался на людей, как-то соразмерял свои требования — справедливые, в общем, требования, ничего не скажешь,— с реальными возможностями подчиненных, но проходила неделя-другая и все начиналось сызнова. Приходили люди, жаловались, что с Шумиловым невозможно работать, что он бывает слишком резок и груб, а он в свою очередь доказывал, что жалуются на него лодыри, бездельники, и в этом тоже был по-своему прав. И все-таки был момент, когда

стоял вопрос о снятии Шумилова с должности начальника цеха.

Долго разбирались, обсуждали, но решили оставить его на месте. Как бы там ни было, а работать он умел, был отличным специалистом, цех, которым он руководил, несмотря на частые конфликты между ним и некоторыми подчиненными, числился одним из лучших на заводе. В ходе разбирательства открылась немаловажная деталь: конфликтовал Шумилов, как правило, со своими ближайшими помощниками, то есть тоже с руководителями цеха, а вот рабочие и мастера стояли за него горой. Однако, когда уже перед самой войной возникла идея назначить Шумилова начальником производства, Кирпичников решительно выступил против этого. Нет, нет, он не считал, что Шумилов в принципе не достоин выдвижения на столь высокую должность. Он считал, что пока рано, не созрел пока Шумилов для того, чтобы стать одним из руководителей завода, многотысячного коллектива. Кое-кто и еще более резко высказался при обсуждении, но все же Шумилова назначили начальником производства, и, как выяснилось, не ошиблись. Были, конечно, и жалобы, и недовольства, однако стало как-то очевиднее, что жалобы эти вызваны не столько несносностью шумиловского характера, сколько его требовательностью.

Правда, Кирпичников по-прежнему был убежден, что с назначением поспешили, не без оснований думал, что это может повредить самому Шумилову, который и без того особенной скромностью не отличался, но все это было до войны. Война же многое изменила, возникла нужда именно в руководителях сильных, жестких, уверенных в себе, готовых во имя дела на любые жертвы и самые крайние меры, и Кирпичников прекрасно понимал это. Потому-то, когда решался вопрос о демонтировании основного оборудования, об эвакуации его и людей на восток, Кирпичников же и предложил назначить ответственным Шумилова. Уж что-то, а организовать людей, заставить их работать, увлечь — он умел.

Надо сказать, что Николай Николаевич не подозревал, что ему придется работать вместе с Шумиловым, быть в одной упряжке. Это случилось как-то само собой, и уже в Свердловске стало известно, что он назначен парторгом ЦК, а Шумилов главным инженером. Жалел ли он теперь, что назвал фамилию Шумилова?.. Трудно сказать. В условиях, когда действительно нуж-

ны сильная рука и поистине железная, негибкая воля, Шумилов безусловно был на месте, даже не совсем на месте, понимал Кирпичников, по крайней мере, рядом с Волковым. Он как раз тот человек, который умеет и любит работать и жить в условиях необычных, сложных, требующих решений скорых, вполне самостоятельных и смелых. Однако и дров наломать он может тоже немало, ему просто необходима узда. А попробуй-ка взнудать его, попробуй одернуть, если он убежден, что всегда прав, что путь, избранный им,— самый короткий путь к успеху.

Увы, на свои силы Кирпичников не очень надеялся, а Василий Федорович и вовсе быстро оказался под влиянием Шумилова. Порой трудно разобраться, кто же на самом-то деле директор завода. Вот уже и люди поговаривают о том, что настоящий директор именно Шумилов, к нему обращаются с разными просьбами охотнее, чем к Волкову, тем самым еще больше подрывая авторитет Василия Федоровича, но и людей можно понять: они знают, что главный инженер решает вопросы тотчас, немедленно — если нельзя помочь человеку, нельзя выполнить его просьбу, откажет без волокиты и ссылок на кого-то или на что-то, а если есть хоть малейшая возможность помочь, поможет. Тут вне конкуренции не только Волков или завком, но и сам Кирпичников.

И чем лучше, глубже узнает он Шумилова, тем более удивляется, каким образом в одном человеке уживаются столь противоположные, а нередко и взаимоисключающие вроде бы черты характера, как грубость, нетерпимость, несдержанность, самовлюбленность и — совесть, заботливость о людях, полнейшее небрежение к собственному благополучию и... скромность во всем, что касается личной жизни. Таким знает Кирпичников Шумилова, очень разным, и потому никак не может определиться окончательно в отношениях с ним. Он понимает, что живой человек — не книжный герой, в живом человеке наберется всего — и хорошего и плохого, — однако же не с избытком и того и другого, вот в чем дело. Должна же быть какая-то мера! Нельзя ведь наполнить одну посудину чистой водой и грязной так, чтобы и чистой и грязной было с краями. А у Шумилова именно всего с краями. И даже сверх того...

— Ты что, предлагаешь мне пойти на поклон к Гераськину? — спросил Шумилов, усмехаясь. — Я правильно тебя понял?

— На поклон — нет, — ответил Кирпичников. — А идти надо. Ты пойми, пойми наконец: у нас общие интересы, общие задачи. . .

— Не надо громких слов, слышал. И сам понимаю это. А идти не могу, хоть ты убей меня. Вообще не могу с ним разговаривать спокойно.

— Эх тебя понесло! — Кирпичников покачал головой и, прищурившись, уставился на Шумилова. — Удельным князьком побыть захотелось? Не получится, Русь нынче не та. Да и время тоже не то, чтобы личные счета сводить.

— Для очага я уже переросток, так что воспитывать меня поздно. Все равно не поддамся.

— Воспитывать никогда не поздно, — сказал Кирпичников. — И вообще хватит ерунду городить. Гераськин не сам по себе, он представляет партию, он ее полпред, и хочется тебе или не хочется, а считаться с этим фактом придется.

— Согласен, но только по партийной линии, — возразил Шумилов. — У меня есть свое начальство, я работаю на заводе. Между прочим, это не какая-нибудь артель напрасный труд. . .

— И что дальше?

— А дальше. . . — Шумилов задумался, не зная, что ответить. — Вот что! — вдруг встрепенулся он. — У тебя свое начальство, у меня — свое. Поэтому, кстати, и существует определенный порядок в мире. . .

— Стоп, стоп! — перебил его Кирпичников. — Какое же место ты отводишь партийной дисциплине? Тут какой-то пробел в твоих рассуждениях.

— А что партийная дисциплина? — Все-таки Шумилов растерялся немножко. — Я выполняю свои обязанности коммуниста. . .

— В данном случае ты как раз и обязан обратиться в партийные органы за советом, а не принимать решение единолично. Это не тот случай, пойми.

— Договорились, — чему-то вдруг обрадовавшись, воскликнул Шумилов. — Поскольку моего непосредственного начальства нет, оно болает, а более высокое далеко, и, если я войду с ним в переписку, значит, мы на черт знает какое время затянем решение простого вопроса. . . Ты усекай, усекай, Николай Николаевич. Я, как член партии, обращаюсь к тебе за советом и поддержкой. Зачем же я полезу через голову? Это. . .

неэтично, так не принято. А ты уж думай, куда и к кому идти тебе. Хочешь, ступай к Гераськину, хочешь — еще куда-то, меня это не волнует. Хотя... В общем, твое дело, Николай Николаевич.

— Что-то я не совсем тебя понимаю.

— Все просто, как морковь: обнаружив на складе неликвиды, я, как руководитель, принимаю решение ликвидировать их: а — чтобы не занимали место, которое необходимо для нужд производства; б — чтобы весь этот сельхозинвентарь не валялся, не ржавел, а служил делу; в — чтобы поддержать хоть чем-то рабочих, коль скоро колхозы предлагают в обмен продукты питания. Но, повторяю, как член партии, я иду за советом к тебе. У меня все.

— Ишь как ловко ты все вывернул! Хитер, ничего не скажешь. Ну что ж, будем считать, что ты пришел ко мне за советом... — Кирпичников встал.

— И каков же совет, комиссар?

— Мне трэба подумать.

— Значит, пойдешь? — укоризненно проговорил Шумилов.

— Это мое дело, — ответил Кирпичников, и в его голосе появилась незнакомая жесткость, решительность.

Нет, не мог Шумилов предположить, что Николай Николаевич проявит такую осторожность, струсит, если называть вещи своими именами. Теперь наверняка все погибнет. На корню погибнет отличная идея. И как он пронюхал?.. Впрочем, тут нечего гадать: Волков рассказал. Не рассказал даже, а доложил скорее, он побивается Кирпичникова, и это понятно: для него должность парторга ЦК внове, прежде он и не слышал никогда о такой должности.

Зол был Шумилов, а все-таки, успокоившись немного, укорял себя за то, что, хотя бы и в мыслях только, назвал Николая Николаевича трусом. Верно, он осторожен, очертя голову в драку не полезет, но не трус, нет. Шумилов хорошо помнит, как он выступил против его кандидатуры, когда назначали начальником производства. То есть Шумилов при этом не присутствовал и мог бы не узнать об этом, однако Николай Николаевич сам рассказал ему. Просто подошел и сказал, что был против. Трус, человек с мелкой, корыстной душонкой не сделал бы этого. Что же с ним случилось вдруг? Или он прав в чем-то?..

Кирпичников пошел-таки в райком. Гераськин выслушал его с интересом и похвалил за разумную инициативу. Он тут же пригласил Бокаева и распорядился сделать прикидку, какому колхозу и что именно необходимо в первую очередь.

— Офсрмите решеннем исполкома и возьмите под свой личный контроль. Да, предупредите председателей, что не получают ни единого гвоздя, пока не выполнят план госпоставок. Пусть почистят свои закрома. Знаю я ихнего брата,— обратился он уже к Кирпичникову.— Все плачут, плачут, а копни поглубже — у каждого кое-что припрятано. Особенно председатель колхоза «Большевик» Краснов...

— Это он первый и предложил,— сказал Кирпичников.

— Ну вот, пожалуйста! Слышишь, Николай Петрович? Раньше всех пронюхал. Как у него с госпоставками?

— Все сдал с перевыполнением,— ответил Бокаев.

— Как здоровье Василия Федоровича?

— Поправляется понемножку.

Шумилов был удивлен, узнав о результатах визита Кирпичникова в райком. Ну что ж, подумал он, хорошо то, что хорошо кончается, а там посмотрим. Как говорится, поживем — увидим...

А уже на другой день его начали осаждать председатели колхозов, хотя никаких официальных решений принято не было и никто не объявлял о предстоящем распределении неликвидов. Ему буквально не давали проходу, вылавливали в коридорах заводоуправления и даже на улице. Уговаривали, занскивали, обещали чуть ли не золотые горы, и никто не хотел слушать, когда он объяснял, что не занимается этим вопросом, что обращаться нужно в райнсполком, там выдадут наряд, а потом уж можно приходить на завод, но опять не к нему, а в отдел снабжения и сбыта. Что говорить, предлагали и взятки — хоть натурой, хоть наличными,— и одного такого председателя он едва не отправил в милицию.

— Позвоню сейчас начальнику райотдела,— пригрозил он, взявшись за телефонную трубку.— Будет вам тогда и натуре, и наличные, и белка со свистком.

— А я что? Я ничего, товарищ Шумилов, я это так,

поскутковал малость. . . — Он пятался к двери, испуганно глядя на Шумилова.

— Зарубите себе на носу и другим передайте, что здесь взяток не берут.

— Какие такие взятки, господь с вами! Если там молочка малость ребятишкам либо хозяйке муки на оладьи. . .

— У меня нет ни ребятишек, ни хозяйки, — сказал Шумилов, отходя. В общем-то, он понимал, что председатель не для себя старается. — Шапку не забудьте, а то уши отморозите.

— Что уши! . . . — махнув рукой, безнадежно проговорил председатель. — Посевная на носу, а ни пахать, ни бороновать нечем. Уполномоченные понаедут, после их амбары-то и подметать не надо, все как есть выгребут. А как подмогнуть, тут никаких концов не найдешь. Эх, товарищ Шумилов! . . .

— Да не могу я, не имею права, поймите вы меня.

— Неужто не укрыл самую малость?

— Не укрыл.

— Ну, дела-а. . . этак-то разве можно?

— А вы что ж, укрываете, значит?

— Много нет, а чуть завсегда, — признался председатель.

— Не бойтесь, что выдам?

— А чего мне бояться? Я ничего такого не говорил, а пойдика ты найди укрытое, шиш с маслом! — Председатель ухмыльнулся в бороду, нахлобучил шапку и, поклонившись, ушел.

Вечером, возвращаясь домой, Шумилов увидел во дворе жеребца, запряженного в розвальни. Он ничего не понимал в лошадях, да и видел прежде только тяжеловозов, которых до войны немало было в Ленинграде, но тут сразу понял, что жеребец отличный, и невольно залюбовался им.

— Красавец! — вслух сказал он и протянул руку, чтобы потрепать гриву.

— Осторожно, кусит, — раздался за спиной голос.

Шумилов повернулся. Перед ним стоял Краснов.

— Второго такого по всей области не найдешь, — похвастался он и, приблизившись, погладил жеребца. — Туманушка ты мой. . . — проговорил ласково.

— Назар Тимофеевич, если не ошибаюсь? — спросил Шумилов.

— Он самый и есть. В конях-то, гляжу, разбираешься...

— Да нет, просто вижу, что красавец.

— Красавец, то верно. Злой только больно. Вот поверишь ли, товарищ Шумилов, кроме как меня никого к себе не допускает. Намедни конюх выгулять хотел, так Туман разбушевался, что тебе зверь дикий, ей-богу правда. А с виду-то и не подумаешь, что выбракованный.

— Как это выбракованный?

— Стало быть, непригодный к службе в Красной Армии,— объяснил Краснов, улыбаясь.— Кони, товарищ Шумилов, они ровно люди. Со стороны глянешь, оно вроде и человек по всем статьям — ноги-руки есть, голова на плечах крепко сидит, а внутрих где-то хворь затаилась, часа вроде своего ждет, чтоб показать себя... А как вы живете-можете? Завод, слышь-ко, говорят, скоро громадный постронте, вот дела-то, едрит твою мать.

— Работаем, Назар Тимофеевич.

— Оно верно, нынче все для фронта, все для победы. Мы тоже работаем, бойцов наших геройских кормить надо сытно, чтоб они немчуру проклятую лупили как следует быть. А я вот по делам в район приехал, дай, думаю, навещу товарища Шумилова, поговорить хочется, что оно и как. Ты-то человек образованный, а мы народишко темный. Не прогонишь? — Он исподлобья, испытующе смотрел на Шумилова, и Шумилов понимал прекрасно, что приехал Краснов отнюдь не поговорить, скорее всего тоже станет просить чего побольше и лучше для своего колхоза, мужик он, похоже, и в самом деле хитрющий.

— Пошли в дом, раз навестить приехали,— сказал он.

На кухне вкусно пахло мясом. Анна Тихоновна хлопотала возле плиты, лицо у нее было раскрасневшееся и довольное. И то верно: мясо готовить — не щи постные варить.

— Не худо вы устроились, товарищ Шумилов, не худо,— пряча в прищуренных глазах улыбку, сказал Краснов.— Мы тут с хозяйкой вашей побеседовали малость...

— Не жалуюсь,— ответил Шумилов.

— А ты, товарищ Шумилов, что-то подозрительно все смотришь на меня... Аль подумал что нехорошее?

— Почему же.

— Мы с хозяйкой потолковали об том, об сем, получается, что вроде как сродственники с ней. . .

— Верно, верно, Антон Игнатьевич,— подхватила Анна Тихоновна.— Теща Назара Тимофеевича и моя свекровь, царствие ей небесное, троюродные сестры были. Надо ж вот как! . .

— Поздравляю,— сказал Шумилов, догадываясь, что спектакль этот организовал Краснов специально для него, а на самом деле все это вздор, чепуха на постном масле все это.

— Пожалуйте к столу,— с поклоном пригласила Анна Тихоновна.

На обед она подала гороховый суп со свиной жаркое. На середину стола поставила бутылку самогону. Шумилову даже стыдно сделалось, когда он увидел такое изобилие. Он вспомнил Елену Сергеевну, жадные глаза старухи, равнодушный, неживой взгляд мальчика (как-то он там, в Свердловске?), женщин у костра и Румянцеву, которая за рабочую карточку готова ковырять ломом промерзшую землю, вместо того чтобы работать в заводууправлении. . . Никому из них нынче и во сне не приснится такое застолье. Может быть, он и отказался бы от угощения, сославшись на то, что уже пообедал, сыт, однако Анна Тихоновна светилась вся, довольная тем, что приготовила вкусный обед, а глаза Краснова испускали столько благодущия и невинности, что Шумилов не посмел отказаться, побоявшись обидеть хозяйку. Да и гостя тоже. Он сел к столу, сказав себе, что после обязательно сделает выговор Краснову. Впрочем, сомнения его и недовольство нисколько не мешали аппетиту, он давно не ел так вкусно, а самогон оказался крепкий.

— Соли-то хватает ли, Антон Игнатьевич? — спросила Анна Тихоновна.— Боялась пересолить, да как бы недосолю не вышло. . .

Он понял, что она ждет от него похвалы.

— Всего хватает, все замечательно вкусно. А где же Надя?

— В школе, у них там совет какой-то.

— Педсовет, что ли?

— Он самый.

— А вы что же не садитесь с нами?

— Я после, после. Рыжику пойду снесу и коня заодно пригляжу. Попонкой-то накрыли его, Назар Тимофеевич? Неровен час, застынет.

— Накрыл,— ответил Краснов.— И обратился к Шумилову: — Охотой не балуетесь случаем?

— Не приходилось.

— У нас охота богатая. Приехал бы как, товарищ Шумилов. Ружьишко найдется, можно и медведя поднять, у нас их тьма-тьмушая. Я вот на прошлой неделе секача уложил пудов на восемь. И скажи ты мне, откуда кабаны взялись? Раньше-то их не бывало в нашей местности. Люди болтают, что от войны в тыл подались, как и волки. Может ли такое быть, как мыслишь, товарищ Шумилов?

— Понятия не имею.

— Волки, оно ясно, те далеко могут бегать, ихнее дело такое, бегать-то. А чтоб кабаны...— Он с сомнением покачал головой и подлил Шумилову самогону.— Ты едал ли когда кабаные мясо?

— Нет, не приходилось.

— И как оно?

— Вкусное,— сказал Шумилов.— Так мы что же, кабана едим?

— А ты думал! Свининки-то я и сам ого сколько не пробовал. Где ее взять, свининку. Все на фронт, себе чтобы — ни-ни! Так ведь оно и правильно. Что пожирнее да посытнее, то бойцам, сами-то и на горохе перебьемся. Опять же картошка своя у каждого, охота, рыбалка,— кто не лентяй, с голоду не помрет, не-ет...

— А я подумал, что это свинина.

— Свинина, товарищ Шумилов, она понежнее будет, помягче. А ежели, к примеру, поросеночек молочный!..— Он почмокал губами.— Ты приезжай к нам в деревню, не пожалеешь.

— Как-нибудь заеду.

— Что там как-нибудь! Взял и приехал. А то позво-ни, я сам за тобой приеду на Тумане. Прокачу, эх, едрена мать!.. Люблю быстро ездить. А ты небось никогда и не ездил на лошадке? Удовольствие это большое, прямо как в сказке.

— Догадываюсь, — отозвался Шумилов.

От хорошей еды и выпивки он разомлел, прошел и стыд, какой он испытывал, когда садился к столу, настроение благодушное, и он подумал даже, что и правда неплохо было бы съездить в деревню хотя бы на денек, отдохнуть, отвлечься, и еще о том подумал, что совсем прекрасно взять с собой Елену Сергеевну. То есть не взять, конечно, а пригласить...

И тут он вдруг вспомнил, что однажды все-таки ездил на лошади, и ездил с женой, и это было именно зимой. Они только что поженились и поехали к родителям жены. В Великих Луках их встречал на лошади отец жены.

— Ты ответь мне, товарищ Шумилов, на такой тяжелый вопрос,— потревожил его Краснов.— Как оно могло получиться в жизни, что нам никак не совладать с фашистом этим проклятым? В чем тут загвоздка приключилась?

— Совладаем, не беспокойтесь,— машинально ответил Шумилов, думая совсем о другом.

Странное дело: картина его поездки в деревню с Еленой Сергеевной, как он это себе представлял, была значительно ярче, насыщеннее и, пожалуй, реальнее, чем воспоминание о бывшей в действительности поездке с женой...

— Само собой, что совладаем,— проговорил Краснов.— А все ж таки почему допустили, что фашист чуть тебе не пол-России отхлупал? Я вот думаю, что силища-то у нас огромная скоплена, драться за свою землю русский мужик всегда умел и живота не щадил, а поди ж ты! — он уронил на стол кулак, скрипнул зубами.— Растолкуй ты мне, дураку темному, в чем тут причина?..

— Вопрос сложный, Назар Тимофеевич...

— Ежели б простой, я б и не спрашивал тебя.

— Причин много и разных, что сложилось такое трудное положение. Армия у них отмобилизована, они ведь давно готовились к войне...

— Мы, стало быть, не готовились?

— Тоже готовились,— сказал Шумилов.— Но на все нужно время и средства. На Германию почти вся Европа работала, а нам мешали, палки в колеса вставляли.

— Что там та Европа! — презрительно проговорил Краснов, взмахивая кулаком.— Россия-то наша, поди, побольше десяти Европ будет.

— Если бы дело было в размерах,— печально улыбнулся Шумилов.— Все гораздо сложнее.

— Так я про то и спрашиваю, товарищ Шумилов: в чем дело-то? Как же так вышло, что на немца вся Европа работает? Куда они там смотрели и что видели? Оно ведь как ни крути, как ни верти, едрена мать, а им же самим от этого не слаще, буржуям проклятым. А без ихних за-

водов да фабрик, я так располагаю, никакому фрицу и на версту в Россию не взойти. Рылом не вышел фриц. А получается, однако... — Он вздохнул и поднял глаза.

Что мог Шумилов ответить? Он и сам задавался похожими вопросами и не находил сколько-нибудь удовлетворительного ответа.

Ну, недостаточно развитая оборонная промышленность — это понятно. А почему?.. Ну, фактор неожиданности — тоже понятно. А почему?.. Этим «почему» не было счёту. Да и не искать причины сейчас надо, подумал Шумилов, а побеждать... .

— Молчишь, товарищ Шумилов, — укоризненно сказал Краснов. — Молчи, молчи, я понимаю и приставать не буду. А ко мне приезжай, посмотришь, как люди живут в настоящей деревне. Думаю, не бывал никогда. А фриц что ж, фрица поганого мы раздавим к едреной бабушке. Русского нашего мужика только разозли — оно хоть бы и в работе, хоть бы и в драке. — Он вдруг резко встал и заспешил. — Пора и честь знать, запозднил я у вас. Благодарствуем, Анна Тихоновна, за угощеньице, а тебе, товарищ Шумилов, спасибо наше на добром слове.

— Куда же вы на ночь-то глядя? — обеспокоилась Анна Тихоновна. — Заночевали бы, места хватит. И коня есть куда поставить.

— Спасибо, хозяйюшка, поеду, однако. Ночью-то оно и привольнее еще.

— А ну как волки?

— Мой Туман волков не боится, — усмехнулся Краснов. — Они его боятся. Да и не тягаться им с Туманом. А к тебе, товарищ Шумилов, загляну как-нибудь на днях.

— Милости прошу. А что, дело есть?

— Что об том толковать. Делу время, потехе час. Про дела разговоры ведут на работе.

— Зачем же вам лишний раз гоняться в город, — сказал Шумилов. — Давайте, что у вас?

— Обойдется, — отмахнулся Краснов. — После свидимся. А может, и ни к чему это. Люди говорили, что ты в йсполком всех гонишь, так оно и правильно... .

Хитрец, ну и хитрец, подумал Шумилов. Он достал из кармана записную книжку, черкнул несколько слов, вырвал листок и, передавая его Краснову, сказал:

— Найдете Анищенку, это начальник отдела снабжения и сбыта... .

— Знаем такого, еще б не знать!

— Отдайте ему эту записку. Только не зарывайтесь, будьте скромнее. И сделайте это как можно быстрее. — Он понимал прекрасно, что Краснов обвел его, вокруг пальца обвел, но отказаться не смог. И потому, что идея принадлежала именно ему, Краснову, и потому еще, что он проявил достойную истинного хозяина расторопность. Да ведь и не просил он вроде ничего, и не обещал отплатить, как обещали другие. Тут была как бы честная хитрость, игра с соблюдением всех правил приличия.

— Ну, спасибо тебе, товарищ Шумилов Антон Игнатьевич. От всего колхозу спасибо, век не забуду.

— Не надо только этого,— поморщился Шумилов.

— Чего ж не надо? — удивился Краснов. — Добро помниться должно, а зло пущай забывается. Бывайте и вы здоровы, хозяйюшка. И к нам тоже милости просим.

Шумилов вместе с Красновым вышел на двор, отворил ворота. Туман с места взял хорошей, наметистой рысью, из будки выскочил Рыжик и громко, неистово залаял. А до того сидел тихо, видно, страшно было.

Шумилов постоял немного, выкурил папиросу, приласкал Рыжика и вернулся в дом. Анна Тихоновна убирала со стола и смотрела на Шумилова настороженно, с тревогой. Он собирался пожурить ее, хотел сказать, чтобы больше никогда не принимала таких гостей без него и уж тем более не брала ничего, но как-то постеснялся, решил, что скажет в другой раз. . .

И жаль ему было Анну Тихоновну.

Не знал Шумилов, что Краснов оставил окорок, который висел теперь в кладовке, укрытый мешковиной. Укрыла же его Анна Тихоновна по совету того же Краснова. . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

А зима мало-помалу убывала.

Солнце все чаще проклевывалось сквозь мутное морозное марево, снег сделался тяжелым, липким, и, хотя по ночам ударяли морозы, а иногда, точно опомнившись вдруг и наверстывая упущенное, задували метели, в воздухе пахло скорой весной. К людям возвращалась

утраченная уверенность в своих силах, и вместе с этой уверенностью являлись надежды на близкие перемены к лучшему. Прошлые горести и невзгоды, уступив место надеждам, уже не казались роковыми, преодолимыми. Каждый понимал, что впереди еще много горя и невзгод, много трудностей, которые окажутся, быть может, не менее, а даже более страшными, чем те, которые пережили, однако думать сейчас об этом никому не хотелось. Сейчас, когда на носу весна...

Но были и реальные, осязаемые причины для оптимизма и светлых надежд. Понемногу все же устраивался быт людей. Начали строить несколько новых бараков для жилья, райисполком выделил на окраине участки для огородов, отвели землю для заводского подсобного хозяйства, обещали обеспечить семенным картофелем, капустной рассадой. Открылись своя столовая и детский сад. Планировалось также открытие школы ФЗО. Шумилов носился с идеей организации рыболовецкой бригады, но эта идея была трудноосуществима: как ни странно, однако в районе до войны не было ни одного рыболовецкого хозяйства — хотя Верхняя Тотьва стоит на реке, а вокруг несчетное количество озер, богатых, говорят, рыбой, — так что негде было достать необходимые снасти. Все же идею свою Шумилов не оставлял, надеялся со временем раздобыть и сети, и все прочее.

Словом, жизнь приезжих обретала какие-то оседлые очертания, люди за зиму свыклись с мыслью, что им предстоит жить здесь долго, не месяцы, как надеялись раньше, но годы, а свыкшись, освоенвшись с этой мыслью, спокойнее и увереннее смотрели в завтрашний день. Уж так устроен человек — рядом с радостью, пусть самой крохотной, и большое горе кажется переходящим. Повеселели лица людей, ожили, засветились потухшие глаза, распрямились спины, и женщины стали похожими на женщин, а это верный признак, что и на этот раз побеждает жизнь.

Однако с фронта по-прежнему приходили неутешительные известия, задыхался блокадный Ленинград, и все же не было ни у кого уже прежних сомнений, которые истязали многих осенью и зимой, о которых не говорили вслух, но и отмахнуться от которых не могли. Бог знает, откуда явилась людям такая уверенность в преддверии весны сорок второго года, когда армиям нашим приходилось не менее трудно, чем в первые дни войны, но уверенность эта, что враг надломлен, была, была,

До планового пуска завода оставались считанные дни. А пока никто не решился бы с чистой совестью утверждать, что сроки эти будут выдержаны. Не хватало рабочих рук, не хватало материалов, не хватало электроэнергии. Не хватало всего. Даже пиломатериалов, хотя под боком был лесокombинат. Шумилов ежедневно ругался с его директором Борисовым, но у того были свои планы, на лесокombинате также не хватало людей, и электроэнергии, и сырья, то есть собственно леса, потому что, в свою очередь, в леспромхозе не хватало...

Шумилов в последнее время почти не бывал дома. Спал урывками, когда это удавалось, в своем кабинете. Издергался весь, устал страшно, как не уставал никогда прежде, сделался раздражительный, резкий и вовсе уж нетерпимый. Он всюду попевал, и не было, кажется, такой мелочи, которой бы он не знал, в которую бы не вник. Не потому, нет, что он никому не доверял и за все хватался сам (хотя и это отчасти верно), а потому, что доверить было просто некому. Инженеров, специалистов — раз-два и обчелся. В эти предпусковые недели он словно забыл обо всем на свете, что не было связано непосредственно с работой, и когда его отвлекали посторонними разговорами — да ведь и не совсем чтобы посторонними, ибо все было накрепко затянуто в один узел, — он прямо-таки бесился. Так вот и случилась у него неожиданная стычка с Кирпичниковым, который как-то сказал, что надо бы подумать насчет строительства и оборудования пионерского лагеря.

— Мы тут с Сухорученковым присмотрели красивое местечко, — сказал он. — На берегу реки, и всего-то четыре километра от города.

Шумилов удивленно взглянул на Кирпичникова:

— Какой еще к чертовой матери лагерь? Иди ты!..

— Пионерский лагерь. Для ребят, для школьников.

— Ты что, смеешься? — вскипел Шумилов. — Посмотри на улицу, там станки стоят, ржавеют! Стекол нет, в котельной конь не валялся, неизвестно, кто уголь будет поставлять, вопросов тьма, а ты с каким-то там лагерем лезешь!..

— Оттого, что ты орешь, станки на место не встанут и стекло не появится. Кстати, стекло не первостепенная задача, летом можно и без стекол обойтись!..

— Летом! Да если мы не выйдем сейчас стекло, пока холода стоят, летом нам никто его и не даст. Вот так же

и скажут, что можно без них, раз тепло на дворе. А за летом последуют осень и зима. Да и дожить еще надо до этого твоего лета.

— Никак ты помирать собрался? Учти, в этом деле я тебе не помощник.

— В том-то и беда, что помощников нету! — сказал Шумилов раздраженно. — Учителей хоть отбавляй, а помощников — куку с маком.

— Что-то не нравится мне твое настроение, — проговорил Кирпичников, приглядываясь к Шумилову. — Расслабился ты, Антон Игнатьевич, подраспустился малость. В руки пора бы взять себя.

— А рук на себя не хватает.

— Брось ты актерствовать, ей-богу. Не на сцене же. И запомни: рычать на людей никто не позволит.

— Вот теперь все ясно, — усмехнулся Шумилов и прищурился: — Воспитывать пришел?

— Вообще-то, я пришел поговорить о делах, но, если будет нужно — будем и воспитывать. Подумай. — Кирпичников встал и вышел из кабинета.

Он был прав, с Шумиловым действительно творилось что-то неладное, он словно бы жил в ожидании каких-то важных событий, которые вот-вот должны произойти, при этом не зная, что это за события, принесут ли они радость, облегчение либо наоборот. . . Однако один день сменялся другим, проходили недели, но ничего необычного, из ряда вон выходящего не происходило, и ожидание становилось просто нестерпимым, болезненным. Шумилов не находил себе места, сделался непривычно суетлив, подозрителен даже, что уж вовсе не было похоже на него. По ночам, когда удавалось прилечь на часок-другой, его мучили кошмары, какие-то странные видения, ему не хватало воздуха, хотя он всегда спал с открытой форточкой, и он вставал с большой головой, разбитый и вялый. Состояние было изнуряющим, и он понимал, что виной всему — дикая усталость, перенапряжение, что организму необходим элементарный отдых, необходима передышка, иначе можно окончательно сорваться и, чего доброго, залечь в постель.

Вот нахамил Николаю Николаевичу, идиот. Форменный, законченный идиот, больше сказать нечего. И какого дьявола, если разобраться, разошелся? . . Разумеется, сейчас, именно сейчас, не до пионерского лагеря. Так ведь никто и не требует, чтобы лагерем этим занимался он лично. Для этого есть другие люди. И разго-

вор, кажется, об этом был еще раньше, и Шумилов обещал Кирпичникову и Сухорученкову, что поедет вместе с ними посмотреть место, где намечалось строительство лагеря. Николай Николаевич не стал тревожить, они съездили без него, понимая, что ему некогда, а он... Да будь я на месте Кирпичникова, подумал Шумилов покаянно, послал бы меня ко всем чертям и даже еще дальше...

А всего и сказать-то нужно было, что молодцы вы с Сухорученковым, спасибо вам.

Он снял трубку и попросил соединить с парткомом.

— Да,— ответил Кирпичников.

— Извини меня, идиота. Нервы все. А лагерь — это замечательно. Надо форсировать это дело, чтобы успеть к концу учебного года.

— После поговорим, Антон Игнатьевич. А нервы есть у всех.— И Кирпичников положил трубку.

Значит, сильно обиделся, раз говорил в таком тоне. Обычно он себе этого не позволяет. Обычно он мягок и умеет терпеливо слушать. Интеллигент новой формации, вышедший из рядов пролетариата. Сдержан, безгранично честен, обязателен, ладит с людьми. Его уважают и, пожалуй, любят. Тут в самый раз добавить, усмехнулся Шумилов, что не пьет, не курит, морально устойчив...

Сдают, сдают нервишки, совсем не ко времени сдают. Становлюсь похожим на Василия Федоровича, начинаю бояться собственной тени, оттого и мучают ночные кошмары. А может, так оно и должно быть? Ведь именно собственная тень знает то, чего не знают другие. Кстати, поправится когда-нибудь Волков или нет? Что-то болезнь его смахивает на симуляцию, на желание уйти в сторону, отсидеться, выждать...

Вошла секретарша.

— Антон Игнатьевич, там женщина, дочь вашей квартирной хозяйки.

— Надя? — удивился Шумилов. — А в чем дело, случилось что-нибудь?

— Не знаю,— пожала плечами секретарша.— Говорить, что-то важное и срочное.

— Зовите.

Секретарша открыла дверь, пригласила Надю, а сама вышла.

— Что случилось, Надюша? — спросил Шумилов встревоженно.

— Вам тут письмо пришло, официальное, а-вы который уже день не приходите домой,— проговорила Надя виновато.— Вот я и подумала, что надо отнести на работу...— Она положила на стол конверт.— Я пойду, Антон Игнатьевич, извините.— А сама исподтишка оглядывала кабинет — ей было интересно. Возле стены, направо от двери, стоял старый кожаный диван, и она догадалась, что на нем он и спит.

— Да-да, конечно...— рассеянно пробормотал Шумилов, пытаясь вскрыть конверт. Он почти наверное уже знал, что это очередной ответ на его запросы о семье и что ответ этот, в отличие от предыдущих, будет обнадеживающим. Никогда прежде он не слышал стука своего сердца, никогда не чувствовал его, а тут — услышал и сказал себе: «Спокойно, Антон, спокойно...»

Он не ошибся: в официальной бумаге сообщалось, что его жена в настоящее время проживает в городе Ярославле на улице такой-то, в доме номер такой-то...

Он поднял глаза. Нади в кабинете не было.

Он перечитал бумагу еще и еще раз, и что-то настрожило его, словно была в этой бумаге какая-то недомолвка, словно сказано в ней было не все, что нужно было сказать.

Он положил ответ на стол, уперся в него глазами и стал думать. Итак, «ваша жена, Шумилова Анатолия Федоровна, в настоящее время проживает...»

Да, именно такое странное для женщины имя было у его жены — Анатолия. Взбрело в голову её родителям назвать девочку мужским именем. Им что угодно могло взбрести. Оба они, в особенности отец, жили в каком-то нереальном, придуманном мире и, кажется, всерьез считали, что на них возложено (кем, интересно знать?) некое высшее предназначение. Этакие мессии... Они рассуждали о Достоевском, о Толстом, вообще о русской литературе и театре, а в это время могла быть не накормлена скотина (тоже непонятная Шумилову странность: они держали корову, поросенка и кур), не топлен дом, могло просто не быть дров. Есть что-то общее между родителями жены и этой тотвинской юрдивой Ньюшей. И вся-то разница — в образовании. Потому, очевидно, и Анатолия смотрела на мир, как на театральную сцену, где все вроде бы «по правде», но самой правды, реальной жизни нет и в помине.

А Шумилов не знал, как ее называть. Анатолия — нелепо и слишком вычурно, официально. Толя... Совсем

глупо. И он придумал называть ее Антошкой. Сначала она обижалась, потом привыкла, ей даже нравилось быть Антошкой. Ей нравилось все необычное, она и Шумилова называла только по фамилии: «Шумилов, ты любишь меня?..», «Шумилов, почему ты сегодня такой надутый?..», «Шумилов, когда мы поедем к Черному морю?..».

И вдруг он понял, что именно насторожило его в письме: там написано, что в Ярославле проживает «ваша жена», но не «ваша семья». Впрочем, вздор это. Естественно, что сообщили о жене, а дочка — она при матери, к тому же крошка она еще, года нет, только в марте будет год. Что же о ней сообщать, она как бы и не член семьи...

Он вызвал секретаршу, хотел попросить, чтобы она немедленно дала в Ярославль телеграмму, но, когда секретарша явилась, что-то остановило его. Возможно, нехорошее предчувствие, от которого он все-таки не смог отделаться до конца, а возможно, суеверный страх, боязнь спугнуть счастье...

— Слушаю вас, Антон Игнатьевич.

— Что же я хотел? Ах да, срочного ничего нет, а то мне необходимо уйти?

— Нет. Только Белых ждет.— Она имела в виду помощника директора по режиму и кадрам.

— Что ему?

— Не знаю, молчит.

— Скажите, чтобы зашел после обеда.

Он сам отправил жене телеграмму-«молнию».

Надя, когда Шумилов объявился дома (собрался в баню, нужно было взять чистое белье и сменить хотя бы рубашку), поинтересовалась, что это было за официальное письмо, не насчет ли семьи, и он ответил, что насчет семьи, но ничего утешительного по-прежнему, сказал он, не сообщили. Бог его знает, зачем он соврал, ведь уж что-то, а суеверным он никогда не был. Об этом и подумать-то было бы странно...

Однако и свой обратный адрес он указал в телеграмме заводской.

II

«Здравствуй, Шумилов!

Господи, ты отыскался, а я уже сама не знаю, что думала. Вот получила твою телеграмму и, знаешь, не

поверила сначала, что это от тебя телеграмма, так все в ней непохоже на твой стиль. Неужели за эти несколько месяцев ты так сильно переменялся, Шумилов? Подумать только, нашел возможным переслать телеграфом столько много нежностей и поцелуев. Ты ли это, Шумилов? Все равно, спасибо тебе, милый, милый ты мой Шумилов. И за эти неожиданные нежности спасибо, и за тысячу поцелуев, а самое главное за то тебе спасибо, что ты отыскался, что жив-здоров и тем успокоил мое сердце. А я думала, что ты на фронте, воюешь, и вдруг эта телеграмма... Как ты оказался там, почему не на фронте, что делаешь в этой Верхней Тотьве и где она находится?.. Видишь, сколько у меня накопилось к тебе вопросов, а ответа нет ни одного. А ты, конечно, не мог написать письмо, тебе, конечно, все некогда. Или забывать стал свою Антошку-картошку? Не сердись, это я люблю. Сейчас, Шумилов, ты страшно удивишься и, наверное, подосадуешь: я работаю в театре, меня приняли в труппу. Правда, ведущих ролей пока не дают, но со временем все будет, вот увидишь, Шумилов. Москва тоже не сразу строилась, а ты никогда в меня не верил, ты всегда верил только в себя. Хорошо ли это, Шумилов?..»

Тут она была права: он действительно не верил, что у нее есть талант. Не верил, и все. А хоть бы и верил! Он не любил театр, не считал артистов людьми серьезными, а увлечение жены театром и вовсе вызывало в нем чувство, близкое к презрению. Ну, правда, они как-то договорились, как-то нашли общий язык и редко в последнее время возвращались к этому вопросу, однако, когда родилась дочка, Шумилов стал настаивать, чтобы жена ушла с работы, хотя бы на год-два, покуда дочка немного подрастет, но жена сразу разгадала его маневр: он хотел отлучить ее от театра. (Так оно и было в действительности.) Она заявила, что с работы не уйдет, что мама согласна приехать в Ленинград и жить с ними, и тогда Шумилов в раздражении высказался в том смысле, что пусть жена, если на то пошло, сделает выбор: либо этот ее проклятый театр, провалился бы он в тартарары, либо он и, разумеется, дочка, то есть семья, потому что передоверить воспитание дочери теще он не собирается. Жена странно так, словно не понимая, о чем он говорит, посмотрела на него и сказала, что уже сделала выбор и менять, по крайней мере добровольно, ничего не хочет и не будет, а вот если он, Шумилов... Что

же ты выбрала, удивленно спросил он, и она ответила на это, что выбрала его, дочку, маму и... театр, что она вполне довольна своим выбором, даже счастлива («Пусть не совсем, но ведь полного, без пятнышка, счастья и не бывает, как ты думаешь, Шумилов? Иначе зачем и к чему стремились бы люди, верно?..»), но если что-то не устраивает его, что-то кажется ему ненужным, лишним или если, наоборот, чего-то не хватает, она помочь ничем не может, так что выбор сделать должен он... Слова жены, говоря по правде, обескуражили, обезоружили Шумилова, ибо в словах ее была логика, чего он никак не ожидал, а потому и не был готов продолжать спор. Нечего ему было возразить жене. Оставалось или хлопнуть дверью — этого он не сделал бы никогда, — или оставить за женою право на... самоопределение, хотя жить вместе с тещей ему вовсе не улыбалось. Был и третий достойный выход из положения — сделать вид, что обижен, оскорблен, замкнуться и молчать до тех пор, пока жена сама не сделает шаг к примирению и пойдет на уступки. Этот третий выход Шумилов и избрал. Но тут он сильно ошибся: жена и не подумала делать какие-то уступки, потому что понимала, что, сделав одну уступку, тотчас придется делать и вторую, и третью...

Кто знает, как бы все сложилось в дальнейшем, когда бы не война. Во всяком случае, ничего хорошего совместная жизнь с тещей, да еще в одной комнате, не сулила. Едва дочке исполнилось три месяца, жена с нею уехала к матери на лето, а теперь...

«... Не знаю, как там мама, она не захотела ехать с нами, а у них немцы. Прямо подумать страшно. Пишут и рассказывают такие ужасы, что волосы дыбом встают. Господи, сколько я сама пережила за это время, если бы ты только знал, Шумилов! Писать об этом я не могу, не могу... Когда встретимся... я все тебе расскажу, если хватит сил, а пока прости. Целую тебя, целую!..»

Это письмо, надо сказать, еще больше встревожило Шумилова. Каким-то странным показалось оно, а главное, почему жена ни слова не написала о дочке?.. Что-то тут не так, что-то явно не так. И эти благодарности за нежности и поцелуи, которых, конечно же, не было и не могло быть в его телеграмме. Он просто и ясно написал: «Жду подробностей письмом. Антон». Точнее не Антон, а Шумилов. И сообщил свой заводской адрес. Почему-то именно заводской...

Он хотел было показать письмо Кирпичникову, посоветоваться с ним, надеясь, может быть, втайне, что Николай Николаевич успокоит его, рассеет сомнения, однако не решился. Побоялся, пожалуй, показаться смешным. Он написал жене большое письмо и ждал ответа, который должен объяснить все. Конечно, самое лучшее — съездить в Ярославль, забрать жену и дочку, привезти сюда, но об этом пока нечего было и думать. Никто его не отпустит, тем более Волков по-прежнему сидел дома: будто бы врачи не разрешали выходить на работу, чему Шумилов не очень-то верил и даже думал, что сделано это по благу, по знакомству.

А тут еще выяснилось вдруг, что часть технической документации на оборудование осталась в Ленинграде, в спешке прозевали, теперь приходилось полагаться на интуицию и опыт монтажников, слесарей-ремонтников, а опыта, как правило, у них не было, и хорошо еще, что был Авдеев и была Румянцева, на которых можно было вполне положиться, но что они могли вдвоем!.. Нет ничего удивительного, что каждый день случались как-нибудь мелкие неприятности — то монтеры запутались в электросхеме, то анкерные болты оказались не того размера, то вовсе не было болтов... А однажды испортился мостовой кран в кузнечно-прессовом цехе, испортился, как на грех, во время испытаний. Смонтировали, опробовали, вроде все было нормально, а когда стали испытывать на грузоподъемность, кран взял и остановился. Отключилось что-то. Многотонный груз повис в воздухе между небом и землей, и снять его не было никакой возможности. Для того чтобы снять, нужно строить леса, а это время, время. И как потом опустить груз с лесов? Тоже задача. Пришлось приостановить работы в цехе, потому что груз повис как раз посреди пролета и это было опасно. Двое суток искали неисправности, и все это время ни сам Шумилов, ни главный механик, ни Румянцева не уходили из цеха. При этом электрики доказывали, что неисправность в механической части, а слесаря в свою очередь, что это наверняка короткое замыкание где-то. Шумилов особенно не вмешивался, доверяя Авдееву и Румянцевой, но без конца торопил их. Самое неприятное, что на этот кран тоже не было никакой документации, а кран не отечественный, заграничный, так что разобраться было не просто.

Об этом происшествии тотчас стало известно в райкоме, приезжал Гераськин, постоял, посмотрел,

спросил Шумилова, надолго ли остановился кран, на что Шумилов довольно резко ответил, что «как только найдут причину неисправности и ликвидируют ее, так сразу кран пустят». . . Гераськин взглянул на него недобро, но ничего больше не сказал, уехал. А ночью вдруг позвонили из наркомата, тоже заинтересовались, что произошло, и Шумилов пообещал, что в ближайшие часы неисправность будет устранена. А когда он вернулся в цех, Авдеев и Румянцева спорили. Главный механик доказывал, что надо строить леса и демонтировать кран. Он считал, что причина остановки в неправильном монтаже. Румянцева же так не считала. То есть она была согласна, что где-то что-то сделано неправильно, однако надеялась еще отыскать причину и ликвидировать ее, не прибегая к крайним средствам. Шумилов тоже так думал, но все же спросил:

— Вера Петровна, вы убеждены, что справимся?

— Во всяком случае,— сказала она,— надеюсь.

— А время? Не провозимся напрасно?

— Но демонтировать, Антон Игнатьевич, это катастрофа.

— Да, это катастрофа,— согласился Шумилов.— И все же. . . Если к шести утра мы не установим причину, будем кран демонтировать.

Было около четырех. Авдеев пожал плечами, а Румянцева сама полезла вверх. Шумилов смотрел, как ловко она взбирается по абсолютно вертикальной лестнице, и почему-то думал, что, должно быть, Вера Петровна боится высоты. (После он спросит ее об этом и она признается, что боится.) Делать здесь было нечего, только смущать людей своим присутствием, и Шумилов ушел к себе.

Ему позвонили без пяти шесть: кран работал.

Он вернулся в цех, приказал всем идти отдыхать и, когда рабочие разошлись, остались только Авдеев и Румянцева, Шумилов задал вопрос, который двое суток волновал всех:

— Что там было?

— Пустяки,— ответила Румянцева и отвела в сторону глаза.— Контакт плохой. Пока везли, пока кран на открытом воздухе находился, вот контакты и. . .

— Ясно,— сказал Шумилов, усмехнувшись,— всегда виноват контакт. У вас, у электриков, контакт как на железной дороге стрелочник.— Он прекрасно понимал, что дело вовсе не в контакте, такую-то мелочь та же

Румянцева давно бы обнаружила и исправила, дело в чем-то более серьезном, однако не показал вида, что понимает это. Скорее всего, подумал он, нагугтали что-нибудь по незнанию или нерадивости, а Румянцева не хочет подставлять своих подчиненных, жалеет их, защищает. Пусть, решил Шумилов. В конце концов, она права. Люди измотаны, а от ошибок никто не застрахован...

— Помните, Антон Игнатьевич, до войны точно такой же случай был в сборочном,— сказала Вера Петровна.— Тогда неделю кран простоял.

Нет, он не помнил такого случая. Более того, его и не было наверняка, Шумилов несколько не сомневался в этом.

— Ну что ж, механики-электрики,— проговорил он чуть насмешливо,— подготовьте проект приказа, объявим благодарность всем, кто принимал участие в поисках... плохого контакта. Ничего не имеете против? А вам, Вера Петровна, особая благодарность.

— Может, не надо, Антон Игнатьевич? — усомнилась она и покраснела.— Все-таки был брак в работе...

— Смотрите, это на ваше усмотрение. А вы, надеюсь, больше не сердитесь, что я перевел вас из землекопов?

— Не сержусь,— ответила она.

— Вот и замечательно. Ступайте тоже отдыхать.

III

Разумеется, при желании можно было без труда найти виновника или виновников и этой аварии, и других происшествий, найти и наказать примерно по всей строгости военного времени, на чем, кстати, и настаивал Белых, однако Шумилов — и в этом его поддерживал Кирпичников — не жаждал наказания виновных во что бы то ни стало, понимая, что даже в спокойное мирное время подобные издержки неизбежны, потому-то пусковой период и бывает самым сложным. Ошибаются и гениальные головы, а тут приходилось работать с людьми, которые — по крайней мере, многие из них — никогда прежде не имели дела с таким оборудованием. К тому же люди буквально выбились из сил, делают вдвое, втрое больше возможного, поощрять нужно, а не наказывать.

— Памятники надо ставить нашим людям,— сказал

Шумилов,— а вы о наказаниях толкуете! В каких условиях они живут и работают. . .

— Если вы позволите, Антон Игнатьевич. . .

— Позволяю, позволяю, что еще у вас?

— Считаю своим долгом напомнить вам, что дисциплина есть основа основ и либерализм по отношению к нарушителям дисциплины и виновникам подобных аварий крайне опасен и недопустим.

Шумилов усмехнулся. Его сместила и раздражала манера Белых строить фразы. Он словно обкатывал их предварительно, подгоняя одну к другой, отчего речь его была какой-то неживой, излишне спокойной, книжной, она усыпляла, может быть, а порой невозможно было добраться до смысла, понять, о чем Белых говорит.

— В условиях военного времени и важности производства,— продолжал Белых,— мы обязаны. . .

— Свои обязанности я прекрасно знаю,— резко сказал Шумилов.— Учить меня не надо. Напоминать тоже. Случайности на производстве, товарищ Белых, так же неизбежны, как и в жизни. У вас все?

— Я совершенно согласен с вами, Антон Игнатьевич, на тот предмет, что случайности неизбежны, но наша задача. . .

— Что вы хотите?

— Я хочу гарантий, что это именно случайность, а не преднамеренные действия определенных лиц, направленные на то, чтобы сорвать своевременный пуск завода.

— Вздор вы несете! Не ищите злой умысел там, где его нет.

— Дай бог, дай бог,— проговорил Белых.— И тем не менее я настаиваю на проведении тщательного расследования причин этой аварии.

— Не хотите ли вы организовать при заводе собственную прокуратуру? Вынужден огорчить вас: по штатному расписанию не положено.

— Прошу прощения, Антон Игнатьевич, но я хочу так, как считаю нужным и как повелевает мне мой долг.

— Разумеется, вы исполняете свой долг, только так и никак иначе я понимаю ваше похвальное рвение. . .

— Благодарю.

— Не стоит благодарности. Но в данном случае никаких расследований я не разрешаю проводить. Вопрос исчерпан. Авария ликвидирована, давайте займемся делами.

— Как прикажете,— сказал Белых.— У меня к вам еще один небольшой вопрос.

— Слушаю.

Белых раскрыл свою папку, с которой никогда не расставался, заглянул в бумаги.

— Вот, нашел. Вы назначили Румянцеву... Веру Петровну заместителем главного механика...

— И что вас смущает? Она прекрасный инженер, я давно ее знаю.

— О, я не сомневаюсь в ее деловых и профессиональных качествах, хотя, насколько мне известно, авария с краном произошла по вине электриков, но сейчас не в этом дело...

— В чем же, в чем?! — По правде говоря, Шумилову хотелось выставить этого чиновника—из кабинета, выгнать к чертовой матери, чтобы не бубнил здесь, но сделать этого он не мог.

— Во-первых, у нас нет такой должности, во-вторых, вопросы, связанные с назначением главных специалистов и их заместителей, если они будут введены в штатное расписание,— тут Белых ухмыльнулся,— мы должны согласовывать с главком.— Все это он произнес на одном дыхании, без пауз. Видимо, опасался, что Шумилов не даст ему договорить до конца. Захлопнув папку, он застегнул ее, взял под мышку и уставился на Шумилова.

— Все вопросы, которые требуют согласования, я согласую.

— Но до тех пор, пока вопрос с назначением Румянцева не согласован, назначение является незаконным. Нам неоткуда взять для нее зарплату.

— Хорошо, я подумаю. Вы свободны.

Черт бы его побрал, этого крючкотвора. Ведь, в сущности, он прав, вот в чем дело. Формально прав. И знает об этом, как знает и о том, что, не будучи директором, Шумилов вообще не имеет права делать назначения. Белых мог напомнить и это, что было вполне в его натуре, но почему-то не напомнил. Случайно?.. Вряд ли, он не тот человек, который случайно что-то забывает или случайно что-то вспоминает. У него все тщательно взвешено, отрепетировано, все разложено по полочкам, всякая бумажка, хотя бы и самая пустая, никчемная, знает свое место. Так почему же не напомнил?.. А ведь можно напомнить и не говоря об этом вслух, догадался Шумилов. Пожалуй, это еще более может ранить само-

любие, и наверняка Белых, зная самолюбивый характер Шумилова, предусмотрел такой вариант. И добился своего, добился. Ну в самом-то деле, кто я такой?.. Этого не смей, этого нельзя, это не имеешь права!.. Сегодня какой-то там Белых постыдно ткнул носом в штатное расписание, а завтра, глядишь, ткнет еще куда-нибудь.

Да разве в этом дело. Завод, в сущности, готов к пуску, остались мелочи, ерунда, и мне больше нечего здесь делать, в этой Верхней Тотье. Не могу, когда на меня с ухмылкой смотрят бабы, мне нечего им сказать в свое оправдание, а на необходимость и прочие высокие материи им, пожалуй что, и наплевать. Они видят то, что видят. В данном случае видят здорового молодого мужика, который командует ими, вместо того чтобы убивать врагов. И почему, собственно, есть необходимость держать в тылу именно меня, а не мужа той же Румянцевой либо Елены Сергеевны?.. Кто установил, что я нужнее здесь, а они — на фронте?.. Воля случая, только и всего. Стечение обстоятельств. Просто никто не задумывался об этом.

Он, что называется, «завел» себя, и в таком возбужденном, разгоряченном состоянии отправился к Кирпичникову с намерением сказать ему, что твердо решил уйти на фронт.

Николай Николаевич внимательно и спокойно выслушал его речь.

— Красочно и почти убедительно,— проговорил он, когда Шумилов выдохся, исчерпал все доводы. — Прямо артист. Заслушаться можно, ей-богу.

— Пойми ты, мне стыдно. Стыдно!

— Я понимаю все, кроме глупости и фанфаронства. А ты сейчас несешь не просто глупость, а чушь собачью. Вот так.

— Стремление пойти на фронт чушь?

— Брось ты разбрасываться словами,— поморщился Кирпичников.— Не в этом дело, сам знаешь. Случайность, стечение обстоятельств! Это тебе так кажется, а тот, кому положено, думал, прежде чем принять решение. Или ты считаешь, что, кроме тебя, никто не думает? Думают, уверяю тебя. А что касается твоей неприязни к Белых, Антон Игнатьевич... Тут я могу сказать одно: мало ли кого я не люблю. Тебе на нем не жениться, а ему за тебя не замуж выходить. Он делает свое дело,

которое ему поручено. А ты все хочешь сам, сам!.. Что там, ты у нас и за наркома готов решать. Ему, видите ли, виднее, кого отправить на фронт, кого оставить в тылу...

— Гнилая философия,— отпарировал Шумилов.— Одного такого философа я видел в Ленинграде. Он доказывал военкому, что принесет гораздо больше пользы именно в тылу...

— Спасибо за откровенность,— сказал Кирпичников.— Только, ради бога, не думай, что один ты готов пролить кровь за Родину, что один ты у нас храбрый. Я понимаю, что думать так приятно, самолюбие щекочет, в собственных глазах вырастаешь. Есть люди, которым очень уж нравится, чтобы их уговаривали, упрашивали, тогда они проникаются уверенностью, что незаменимы. А как же, если уговаривают!..— Кирпичников встал из-за стола и направился к двери. Взявшись уже за ручку, он повернулся и язвительно спросил: — С такими ты не встречался?

— Вот с такими я не встречался! — Шумилов тоже вскочил.

— А жаль. Эти люди по-своему любопытны.— Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

— И черт с тобой, зануда! — крикнул Шумилов ему вслед. А после сам же и мучился, укорял себя за несдержанность и грубость, понимая, что оскорбил Кирпичникова. Пусть нечаянно (он знал, что Николая Николаевича не взяли на фронт по болезни), но — оскорбил. Впрочем, на другой день он и думать забыл об этой стычке. Не вспоминал и Кирпичников, хотя в первый момент действительно очень обиделся.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

В начале марта вышел на работу Василий Федорович. Он посвежел за время болезни, с лица исчезла прежняя бледность, был гораздо спокойнее, несуетливее, шутил даже, однако в глазах его была настороженность, тревога, как будто бы он предчувствовал какую-то беду, как будто бы знал, что беда эта скоро случится,

но ничего не мог изменить и, понимая свое бессилие, страдал.

Шумилов подробно доложил ему о положении дел и между прочим сообщил, что ходят упорные слухи о том, что на завод собирается приехать чуть ли не заместитель наркома некто Ермаков. Якобы он сейчас находится где-то здесь, на Урале, и — опять же, если верить слухам, — снял с работы двух директоров. . .

— Дождались, — вздохнув, проговорил Василий Федорович. — Начнутся жалобы. . . — Он более всего боялся именно жалоб.

— Какие жалобы, Василий Федорович?

— Ах, Антон Игнатьевич, — взмахнул Волков рукой, — когда приезжает начальство, люди всегда жалуются. Вроде закон такой. — Он усмехнулся горько.

— Я лично не вижу для жалоб оснований.

— Вы не видите, а другие видят. Ладно, что это мы с вами все об этом. Поживем, как говорится, увидим.

Ермаков не приехал, а прилетел на зеленом «У-2», который сел прямо в поле за городом. Это был первый самолет, появившийся в Верхней Тотьве, и местные жители толпами ходили смотреть на этакую диковину. Поговаривали, что Ермаков в генеральском звании (он недавно был назначен заместителем наркома), однако ходил в цивильном: каракулевая серая шапка, коричневое кожаное пальто с меховым воротником, белые фетровые бурки, которые громко и протяжно скрипели. Походка уверенная, быстрая, шаг твердый, размашистый, так что сопровождающие едва поспевали за ним. Он глядел прямо перед собой, не обращая внимания на окружающих и на происходящее вокруг, руки держал в карманах, вопросы задавал коротко, резко и требовал столь же кратких, точных ответов. Если кто-то начинал путаться и длинно объяснять, что именно имеет в виду, он обрывал и больше этого человека ни о чем не спрашивал.

Никто не жаловался Ермакову, хотя сам он много интересовался, как люди живут, как им работает. Возможно, его просто боялись — он действительно производил впечатление человека крутого, беспощадного и недоступного. Шумилов же с откровенным любопытством наблюдал за ним, не испытывая никакой боязни. Он понимал, что появление заместителя наркома не может быть случайным и не сулит ничего хорошего, и все же ощущал даже как бы радость, удовлетворение. Зна-

чит, думал он, их заводу придают большое значение, раз прилетел заместитель наркома. А это уже хорошо, потому что можно рассчитывать на помощь со стороны наркомата, в которой завод сильно нуждался. А вообще Ермаков ему понравился. Таким и должен быть настоящий руководитель большого масштаба: уверенным в себе, бескомпромиссным, знающим свое дело, умеющим двумя-тремя фразами выразить мысль и, конечно, чуждым всякой сентиментальности. Сентиментальность, равно как и безволне, многословие, профессиональная безграмотность, враждебна делу. Тут нет выбора.

Василий Федорович держался в присутствии Ермакова совсем уж скованно и, пожалуй, был растерян, подавлен более обычного. То ли он действительно чувствовал, что судьба его предрешена, то ли просто Ермаков подавлял его своим видом и своей высокой должностью. Но, по правде говоря, тот как бы и не скрывал своего нерасположения к Волкову. Спрашивая о чем-нибудь, не всегда дожидался ответа. Небрежно так взмахивал рукой, для чего ему приходилось вынимать руку из кармана (это, похоже, злило его), и шел дальше. Впрочем, это относилось не только к Волкову, но ко всем, кто сопровождал его. Разве что с рабочими он разговаривал сдержанно и был терпелив, выслушивая пространные ответы.

Он пробыл на заводе два дня и ни разу ни о чем не спросил Шумилова. Он вроде и вовсе не замечал его, хотя Шумилов был все время рядом.

— Что вы теперь скажете, Антон Игнатьевич? — улучив момент, спросил Волков. Они чуть поотстали от Ермакова, который о чем-то говорил с Гераськиным, и Василий Федорович, воспользовавшись этим, попытался достать из флакончика таблетку.

— Все нормально, — ответил Шумилов.

— Вы так считаете? — Волков наконец достал таблетку и бросил ее в рот.

Тут их окликнул Ермаков.

— Где вы там, начальники? А, таблетки глотаем! — Он поморщился. — Что это за сооружение? — Он показывал рукой на детский сад.

Василий Федорович побледнел и взглянул укоризненно на Шумилова.

— Видите ли, на заводе очень много женщин, особенно из числа эвакуированных. . .

— Я жду не рассказов, а ответа,— сказал Ермаков жестко.

— Детский сад.— Волков опустил глаза.

— Покажите.— И пошел вперед.

— Вот и все,— вздохнул Волков, обращаясь к Шумилову.— Я знал, что будет, знал...

— Что вы там шепчетесь? — не оборачиваясь, недовольно проговорил Ермаков.

В детском саду пробыли с полчаса. Ермаков даже захотел посмотреть, что готовят ребятам на обед, поговорил с заведующей, а когда вышли, неожиданно похвалил:

— Прекрасный детский сад. Вот игрушек мало. А книжки есть?.. — И, не дожидаясь, пока ему ответят на этот вопрос, вдруг повернулся резко.— Кто вам позволил заниматься строительством столовой и детского садика?

— Как я уже говорил... — начал Василий Федорович.

— Мне ваши разговоры не нужны. Мне нужен ясный ответ: кто разрешил? На заводе бардак, пуск под угрозой...

Шумилов не выдержал, выступил вперед, чуть отстранив Василия Федоровича.

— Разрешите мне? — сказал он.

— Что вам разрешить?

— Василий Федорович долго болел, и я без него распорядился о строительстве столовой и детского сада. Он был не в курсе.

— А вы кто такой? — Ермаков буквально вцепился глазами в Шумилова.

Шумилов вспыхнул. Это не ускользнуло от внимания Ермакова, и он усмехнулся.

— Это главный инженер товарищ Шумилов Антон Игнатьевич,— поспешил объяснить Волков.

— Знаю, что это товарищ Шумилов и что он пока еще главный инженер...

— Зачем же тогда спрашиваете, кто я такой? — сказал Шумилов. И почувствовал, как кто-то дернул его за рукав. Он обернулся, рядом стоял Кирпичников.

Ермаков с интересом взглянул на него.

— Значит, это вы тут самоуправничаете? — спросил он, прищуриваясь.— Ломаете, строите, торгуете, прикрываете виновников аварий...

— Значит, я.

— А почему вы так спокойно говорите об этом?

— Не вижу оснований для беспокойства.

— То есть? — Ермаков вздернул правую бровь.

— Ничего страшного не произошло. Строительство столовой и детского сада было необходимо, авария была пустяковой...

— У вас все пустяки! Может, и война пустяки?..

— Этого я не говорил.

— Еще бы вы сказали это! Парторг здесь?

— Здесь, — отозвался Кирпичников.

— Вы знали обо всем этом?

— Знал.

— И что же?

— Считаю, что товарищ Шумилов поступил правильно.

— А вы как считаете? — обратился Ермаков к Волкову.

— Мне трудно так сразу дать ответ. С одной стороны...

— Все. У меня больше нет к вам вопросов. Все свободно. В семнадцать ноль-ноль явитесь ко мне. Вы, — он показал на Волкова, — вы, — сказал Кирпичникову и, подумав, добавил: — И вы тоже. — И недобро, но с явным, даже каким-то подчеркнутым интересом посмотрел на Шумилова.

Василий Федорович, когда они остались вдвоем, сказал Шумилову:

— Вещички, Антон Игнатьевич, будем собирать, а?

— Какие вещички, о чем вы?

— Ложку, кружку, пару нательного белья...

— Перестаньте вы, Василий Федорович. Вздор все это. Так мы скоро будем пугаться собственной тени.

— Да неужели вы не понимаете, что для нас с вами...

— Чего вам бояться? Вы были больны, это факт. К тому же, Ермаков умен и не так прост, как вам кажется.

— Что вам его ум?

— Умные люди дальновидны обычно, — сказал Шумилов. — Впрочем, дело сделано, а это главное. Дальше фронта не пошлют, а это не позорно — взять в руки винтовку.

— А штрафной батальон?

— Почему сразу и штрафной? Мы с вами не преступники, наша совесть чиста.

— Антон Игнатьевич!..— Волков сокрушенно покачал головой.— Если бы такое понятие, как совесть, принималось во внимание. Разве с нас спрашивают за чистую или нечистую совесть?..

— Да что вы, в самом деле, все на других оглядываетесь! Вы сами себя спросите. Это бывает важнее.

— Нет, вы неисправимы, Антон Игнатьевич. Вам можно позавидовать только, но брать с вас пример, извините... И как вы с ним говорили? Это же самоубийство!

— Надеюсь выжить. А самоубийц вообще терпеть не могу. Как и трусов.— Вот это сказал зря, потому что Волков опять побледнел и у него задрожала верхняя губа.

— Да, я трус. Но себя не переделаешь. А вам следует бояться больше, чем мне. Я свое прожил, Антон Игнатьевич. А вы молоды, у вас все впереди, и поэтому вам есть что терять.

— Простите,— сказал Шумилов искренне.— Я не хотел вас обидеть.

— Пустое, не во мне дело,— отмахнулся Василий Федорович.

Шумилов тут вспомнил взгляд Ермакова и подумал почему-то о том, что в глазах его не было гнева, но была улыбка, которую он просто прятал. И еще, пожалуй, удивление. Да, именно удивление.

— Может быть, пойдемте к нам, вместе пообедаем,— предложил Волков.

— Благодарю, я хочу сходить домой переодеться.— Он решил надеть костюм, купленный у Елены Сергеевны. Уж если на голгофу, подумал он, усмехнувшись, то хотя бы в приличном виде.

II

Они были втроем в кабинете директора, ждали Кирпичникова, который предупредил по телефону, что задержится на несколько минут. Ермаков при этом не возмущался, не высказал своего недовольства, и это показалось странным Шумилову.

Он чувствовал на себе изучающий, пристальный взгляд Ермакова, но головы не поднимал, пусть смотрит, пусть изучает, мне-то что, думал он. Ему принимать решение, вот он и думает, вот и изучает. Это ведь со стороны только кажется, что сильные, властные люди

легко и без всяких там колебаний принимают ответственные, важные решения. На самом деле они мучаются и сомневаются больше, может быть, других, потому что и сознают свою власть, свое особое положение, и понимают, что им ошибаться нельзя, а окружающие ждут от них именно ошибок. Как же, если ошибаются такие люди, что же спрашивать с нас, с людей маленьких...

— Очень удобно, ничего не скажешь.

— Что вы там улыбаетесь, Шумилов? — спросил Ермаков.

— Да так, анекдот один вспомнил.

— Хорошо вам живется, раз анекдоты вспоминаете, когда впору плакать.

— Жизнь сама по себе вещь хорошая, — сказал Шумилов.

— Вы никак еще и философ! — усмехнулся Ермаков.

— Наоборот.

И тут вошел Кирпичников. Он извинился за опоздание и сказал, потирая озябшие руки:

— Оттепель-то какая, а?.. Весна, товарищи. И на душе веселее.

— Не застрять бы из-за этой оттепели здесь, в вашей Тотье, — обеспокоенно проговорил Ермаков. — Мы на лыжах.

— Взлетите, — подал голос Волков. — В поле холоднее и наст крепкий.

— Ваши слова... Приступим к делу. — Ермаков оглядел всех. — Мы достаточно полюбовались друг другом, пора кое-что прояснить. Вопрос ко всем: вы понимаете, какие задачи перед вами поставлены? — Он снова оглядел всех поочередно. — Молчите, значит понимаете. Это хорошо. Немцы сегодня имеют подавляющее преимущество в технике, особенно в танках. На вас возложена задача обеспечить танковый завод запасными частями и комплектующими изделиями. Работа, успешная работа этого завода во многом зависит от вас, а вы... Пристроились в тылу, приютились, работаете кое-как. Плохо работаете даже по меркам мирного времени! Главный инженер, вы, кажется, хотите что-то сказать?

— Нет, я слушаю.

— Тогда у меня вопрос к вам: где и кем вы работали до войны?

— В Ленинграде, начальником производства, — ответил Шумилов и назвал завод.

— Марка солидная. Сколько вам лет?

— Тридцать.

— Мальчик еще, — улыбнулся Ермаков, хотя и самому было едва ли сорок. — Но ничего, этот недостаток со временем пройдет.

— Благодарю, — сказал Шумилов.

— А вы, кажется, не в ладах с юмором...

— Не до юмора как-то.

— Напрасно. Объясните мне, как вы могли решиться на самовольное строительство? Почему не расследовали аварии на компрессорной станции и с краном?

— Отвечать в порядке заданных вопросов?

— Как хотите. Только по делу и коротко.

— Решиться — означает принять решение, — сказал Шумилов, — а руководить — это значит принимать решения.

— Логично, — кивнул Ермаков. — Но в пределах данной вам власти.

— Я не считаю, что превысил власть. Впрочем, если так считают другие, готов отвечать. — Он посмотрел прямо в глаза Ермакову.

— Допустим, ваш ответ я принимаю. А как с авариями?

— Об аварии на компрессорной станции я вообще слышу впервые. Там не было никакой аварии.

— А что же там было?

— Не выдержал фундамент, перепутали марку цемента.

— Кто перепутал?

— Поставщик, — ответил Шумилов. — В сопроводительных документах значилась одна марка, а цемент оказался совсем другой марки. К сожалению, проверять мы не имеем возможности. Мы не химики.

Ермаков что-то записал у себя в блокноте.

— По крану?

— А что по крану? — Шумилов пожал плечами. — Сборка, монтаж дело сложное, люди неопытные, время ограничено. И в мирных условиях, когда такое оборудование собирают и монтируют месяцами, почти неизбежны накладки. Кран в разобранном виде слишком долго находился на открытом воздухе; так что...

— Виновных нет, я правильно понял? — прищурившись, спросил Ермаков.

— Почему же нет, есть, — сказал Шумилов. — Я в первую очередь.

— Самокритика — это хорошо. А правда ли, что вы собирались поощрить тех, кто занимался краном?

— Люди работали не жалея ни сил, ни времени, они заслужили.

— Почему же не поощрили?

— У рабочих есть непосредственное начальство, а главного механика и инженера-энергетика я не поощрил потому, что накладка все-таки была. Они не должны были этого допускать. В принципе не должны,— добавил он.

— Что ты будешь делать! — рассмеялся Ермаков и развел руки. — Прямо образцово-показательный завод и еще более образцово-показательное руководство! А почему не доложили, что поставщик заслал не ту марку цемента? Кстати, откуда вы получаете цемент?

— Если мы по каждому поводу станем писать докладные в наркомат, боюсь, что и нам и вам будет некогда заниматься делом. Поставщики у нас разные. Эту партию мы получили по переадресовке.

— Именно?

— Эти три вагона бродили по железной дороге бог знает сколько. Побывали за тыщу верст отсюда. С завода, судя по всему, цемент был отгружен чуть ли не до войны, так что нет ничего удивительного, что документы перепутали.

— Скажите, Шумилов, директор цементного завода не ваш родственник?

— Не родственник, это точно. А вот с какого завода цемент, никто не знает.

— Узнаем,— сказал Ермаков и, резко повернувшись к Волкову, спросил его: — Как вы оцениваете положение на заводе?

— Видите ли, товарищ заместитель наркома, положение, которое сложилось на данный период времени в результате...

— Короче!

— Я не готов к ответу.

— Василий Федорович долго болел, вам уже докладывали об этом,— проговорил Кирпичников. — Он всего три дня тому назад вышел на работу.

— Вы, главный инженер!

— Крайне тяжелое положение,— сказал Шумилов.

— Америку открыл!

— Я ответил на вопрос.

— А почему крайне тяжелое?

— Разрешите мне? — опять вмешался Кирпичников. Пожалуй, он чувствовал себя свободнее всех, ибо не был непосредственно подчинен наркомату.

— Ну-ну, послушаем парторга, — поощрил Ермаков и усмехнулся иронически.

— Прежде всего, была очень суровая зима, а мы не были подготовлены к этому. Как вам должно быть известно, нас таскали полтора месяца по стране. Катастрофически плохо с рабочей силой, большинство — женщины, не имеющие квалификации. Не хватает материалов, транспортных средств и механизмов. Мы построили три цеха, и все котлованы вырыты руками женщин. Подчеркиваю, зимой, когда морозы доходили до пятидесяти градусов. При всем при том я не считаю положение безвыходным.

— Вот именно, материалов и рабочей силы не хватает, а вы развели строительство! Подпольное строительство!

— Мы уже говорили, что это не наша блажь, а необходимость, — возразил Кирпичников.

— Ладно, ладно, спелись тут. Я спрашиваю, всех спрашиваю, товарищи: намерены ли вы выполнить решение и приступить к производству в установленные сроки? Слушаю директора.

— Мы обязаны выполнить это решение, — проговорил Василий Федорович неуверенно.

— Так выполните или нет?

— Выполним.

— Главный инженер?

— При одном условии.

— Вот как? Что это за условие?

— Если нам будет оказана помощь. Реальная, конкретная помощь. Не на словах, которых мы слышали много, а на деле. — Шумилов вдруг почувствовал облегчение, как если бы освободился от непосильной ноши. Он вздохнул и полез в карман за папиросами. — Разрешите?

— Травитесь сколько влезет, — съязвил Ермаков. И снова повернулся к Волкову. — Товарищ директор, мне непонятно, почему вы терпите у себя главного инженера, который не разделяет вашей точки зрения и который настроен явно пессимистически? Пишите рапорт, и я сейчас же, своей властью, отстраню его от должности. И на фронт, Рядовым! Вы этого добиваетесь?

— Не надо пугать меня фронтом, товарищ заместитель наркома,— спокойно сказал Шумилов.— Кстати, я подавал уже три рапорта с просьбой отпустить меня на фронт. А рядовым или командиром полка — не имеет значения.

— Ишь, расхрабрился! Тоже мне, герой нашего времени. — Ермаков достал из кармана какие-то бумаги, положил на стол. — Вот ваши рапорта, я их читал. Но не надо бравировать этим, Шумилов. Не надо! Командиром полка все равно не будете.

— Я уже сказал, что мне безразлично, кем я буду. Я прошу на фронт, и все.

— Товарищ Шумилов прав,— вдруг проговорил Волков.

— В чем он прав?

— Нам не справиться, если не помогут. — Он вздохнул. Видимо, нелегко далось ему признание.

— Так вы что же, хотели ввести меня в заблуждение? Пытались скрыть истинное положение дел? Но тогда вы, вы заслуживаете освобождения от должности! Какого черта вы морочите мне голову, когда и дураку ясно, что вам не уложиться в сроки! Мямлите, ходите кругом да около, вместо того чтобы прямо и честно сказать!.. Ступайте, я позову вас, когда понадобится.— Ермаков вскочил и заходил по кабинету. Остановился против Шумилова, оглядел его с интересом, спросил: — А что с вами прикажете делать?

— На фронт отправить.

— Ну, хватит болтать, здесь не балаган! «Отпустите, отправьте!..» Отправить бы вас туда, где Макар телят не пас. Молчите, я уже понял, что вы за словом в карман не полезете. Если отпустить вас, то почему бы не отпустить и всех остальных, кто рвется на фронт?.. Давайте все дружно, с песнями... А чем воевать будем, Шумилов? Дубьем? И не пыжьтесь, я не девица. Заявляю вам категорически: вы приступите к производству точно в установленный срок. Что с вами, лично с вами, будет после этого, меня не интересует. Надорветесь, получите разрыв сердца... А завод будет работать! И вы за это отвечаете головой. И вы, Шумилов, и вы, товарищ парторг! А теперь я готов выслушать ваши претензии и просьбы. Но особо не зарывайтесь, много дать не можем: — Он сел.

— Мы ставили вопрос о переводе завода на снабжение по первой категории,— сказал Кирпичников.

— Знаю. Вопрос решается. Дальше.

— Рабочие, инженерные кадры. Завод построим, а кто встанет к станкам?

— Обучайте женщин. Специалистов несколько человек дадим.

— Нужно организовать при заводе ФЗО, — сказал Шумилов. — Тогда мы привлечем подростков из деревень. Да и здесь найдутся.

— Организуйте, кто вам запрещает?

— А помещение, а кадры?

— Опять стройка? — усмехнулся Ермаков.

— Да, стройка. И не только эта. Разрешите построить хотя бы два-три дома. Многие живут в кошмарных условиях.

— Справитесь?

— Надо справиться, — проговорил Кирпичников.

— Ладно, давайте ваши конкретные предложения. Завтра утром я вылетаю, подготовьте все. Что касается техники и строительных материалов, кое-чем поможем. За самовольное строительство непроектированных объектов Шумилову объявляю выговор. На первый раз устный. А вообще молодцы, товарищи. Побольше самостоятельности, но не самоуправства! Это касается прежде всего вас. — Он сурово взглянул на Шумилова. — Еще вопросы?

— Сразу все в голову не придет, — сказал Кирпичников. — К утру подготовим.

— Один вопрос, — сказал Шумилов.

— Да?

— Штатное расписание надо пересмотреть...

— Это вы об этой женщине — как ее? — хлопчете?

— Румянцева. О ней тоже, она опытный специалист...

— Решайте эти вопросы сами. Мы пойдем всегда навстречу. Надеюсь, не раздуете штаты. Позовите Волкова.

Василий Федорович, войдя в кабинет, не сел, а остановился возле двери. Вид у него был подавленный, совершенно убитый вид.

— Вот что, Василий Федорович, — обратился к нему Ермаков. — Вы просили перевести вас на другую работу. Это так?

— Да.

— Я удовлетворяю вашу просьбу. Сдайте дела Шумилову. Если хотите и, разумеется, если не против Шу-

милов, можете остаться на заводе. Пока будете исполнять обязанности главного инженера, а потом что-нибудь подыщем.

— Нет, лучше мне уйти, — ответил Волков.

— Смотрите. Я переговорю с районным руководством насчет работы для вас. Но все-таки подумайте, вы хорошо знаете завод...

— Это был другой завод.

— Тогда свободны.

Когда Волков вышел, Ермаков сказал Шумилкову:

— Главного инженера подберем. Действуйте, разворачивайтесь. И заберите эти свои рапорты. Настоятельно советую вам, Шумилов, найти общий язык с местными властями; иначе будет трудно. Я понимаю вас, но начальство не выбирают. Оно выбирает, усвойте это на будущее.

Шумилов на это промолчал.

— Упрямый, — покачав головой, сказал Ермаков. — Парторг, надо бы заняться его воспитанием.

— Попробуем, — улыбнулся Кирпичников.

Рано утром на следующий день Ермаков улетел. Местные жители, кто был свободен и жил поближе, собрались в поле посмотреть, как поднимется самолет. Набирая высоту, он прошел совсем низко над крышами, едва не задевая трубы, наводя ужас на старух и собак. Ну, а мальчишкам что — им радость, веселье. И то сказать, мало кто из жителей Верхней Тотьвы видел настоящий самолет.

III

Это нокаут, тяжелейший нокаут для Василия Федоровича, думал Шумилов. Вряд ли он оправится после него. Ничего не меняет тот факт, что он действительно просился на другую работу, что понимал свое бессилие и неловкость положения, в каком оказался, занимая директорский пост. Не только ничего не меняет, но усугубляет душевную травму, потому что гораздо легче пережить, когда тебя просто снимают с работы, чем снимают с оговорками на собственное вроде бы желание. Вы просили, мы пошли вам навстречу... А если он и просил в надежде, что оставят? Допустим, это не так. Допустим, он искренне хотел, чтобы его перевели на более легкую работу, не перевели же, а отстранили, списали, в

сущности, за ненадобностью. Каково ему теперь! Не последний человек в Верхней Тотьве, его здесь знает каждая собака, и вдруг... А ведь он не виноват, что на него надели мундир не по росту. Наверное, можно было сделать это как-то иначе, не ущемляя старика, не унижая его достоинство. В его положении лучше всего уйти бы на фронт или уехать. Однако на фронт не возьмут: староват и болен к тому же, а уехать тоже не просто: корни глубоко пущены. Дом, хозяйство, родня... Вот разве Бокаев поможет ему. И самое скверное, самое неприятное в этой истории с Василием Федоровичем то, что он, Шумилов, оказался как бы причастным к случившемуся, как бы и на нем лежит часть вины. Ну да, мог ведь своими сомнениями поделиться с Ермаковым, сказать, что так нельзя, нужно иначе...

Впрочем, вряд ли Ермаков стал бы слушать его. Ясно же, что он прилетел с твердым намерением отстранить. Но кого?.. Жалобы, конечно, были, но, скорее всего, на него же, на Шумилова. А это значит... Впрочем, может, и ничего это не значит. А Волкова жаль, по-человечески жаль.

Он был близок к истине в своих рассуждениях. Примерно так же рассуждал и Волков, с той лишь разницей, что во всем винил себя, винил за то, что был недостаточно настойчив, когда просился на другую работу, что вообще ограничился разговорами с Гераськиным и Бокаевым, а Ермаков об этом узнал уже от них. (Тут он ошибался: доложил Ермакову Белых.) Теперь нужно что-то решать, и он был в растерянности. На заводе, конечно, он не останется ни в каком качестве, это ясно. Принять МТС, как советует Бокаев? Если бы все сложилось не так резко, он пошел бы в МТС с удовольствием, а сейчас, когда весь город и весь район знают, что его выгнали с завода...

— Выбрось из головы эти глупости, — увещевал его Бокаев. — Человек ты уважаемый, тебя любят, знают.

— Поеду к Федору, — сказал Василий Федорович. Он имел в виду сына, который жил в Нижнем Тагиле. — Осмотрюсь там, что и как, может и останусь.

— А Катя?

— Она согласится.

— А дом?

— Что дом, когда... — Он махнул рукой. — Видно будет, Дом никуда не денется.

И уехал. Тихо как-то, незаметно исчез, даже не попрощавшись ни с кем. А Шумилов и вовсе узнал об его отъезде через несколько дней. Правда, накануне отъезда Василий Федорович навестил Шумилова, принес немножко спирту, они выпили, поговорили, и Волков, точно угадав сомнения бывшего своего подчиненного, успокоил его, сказав, что все правильно, так и быть должно.

— Вы не думайте, Антон Игнатъевич, и не мучайтесь. Я рад за вас, честное слово. Но и боюсь. Очень даже легко вы можете сорваться. Если позволите, один совет. . .

Шумилов кивнул.

— Остерегайтесь Белых, нехороший он человек. На счет Гераськина говорить не стану. Но в отношении к нему вы не во всем правы. А, что там мусолить, вы все гораздо лучше меня понимаете. Да и поддержка у вас сильная — Николай Николаевич. Он не даст вас в обиду, нет. А заместителю наркома вы понравившись, я это сразу заметил. Он кричал на вас, а сам смотрел как-то. . . Душевно смотрел. Умный человек, это вы очень верно заметили.

И вдруг, поистине словно гром с ясного неба, по городу поползли слухи, что Василий Федорович застрелился. В гостинице в Свердловске. Будто бы сын плохо его встретил, был недоволен приездом (после выяснилось, что у Волкова были натянутые отношения и с сыном, и в особенности со снохой, так что все могло быть), и Василий Федорович тотчас уехал обратно из Нижнего Тагила, но задержался в Свердловске, и там случилось это.

Шумилову сказал об этом Кирпичников.

— Да ты с ума сошел! Вздор, наверное, болтовня бабья.

— Увы, правда.

— Ты-то от кого узнал?

— В райкоме сказали. Есть официальное уведомление. Завтра привезут тело, хоронить будут здесь.

— Но как же это произошло? . .

У Шумилова в голове не укладывалось, что такое вообще могло произойти. Невозможно это, чтобы нормальный человек в здравом уме лишил себя жизни из-за того, что его сняли с работы. Да черт-те с ней, с работой. Была бы шея, хомут всегда найдется. Но случилось, что невозможное возможно.

Ну, правда, для него работа была всей жизнью, престиж опять же, болезненное самолюбие... Впрочем, Волков не был болезненно самолюбив. Не был. Что же тогда?.. Нормальные люди просто-напросто не имеют права на самоубийство. Это слабость. А если наоборот, если в умении уйти, когда ты сам считаешь это нужным, необходимым, если в этом проявляется сила духа?.. Именно сила, непонятная, неразгаданная, но все-таки сила?.. Хватило бы у меня мужества, спросил себя Шумилов, уйти так, как ушел Волков?.. Не знаю. Скорее всего нет, но не потому, что я боюсь боли или верю в тот свет — о чем писал, кажется, Достоевский, да, именно Достоевский, больше некому, — а по какой-то иной причине...

Он взглянул вопросительно на Кирпичникова, и Николай Николаевич пожал плечами.

— Не знаю подробностей, — сказал он.

— Может, пьяный? Он в последнее время прикладывался.

— Вроде нет.

Что же заставило его прибегнуть к этому крайнему средству, к которому редко прибегают даже те, кто заведомо обречен? Ибо надежда вопреки всему сохранить жизнь до самого последнего мгновения не покидает и того, кто всходит на эшафот. Именно, именно: эта надежда живет в человеке до последнего его вздоха, она умирает вместе с человеком, а может, и позже. Сначала умирает сам человек, а уже потом умирает надежда. Иначе слишком многое не поддавалось бы пониманию и объяснению. Иначе самоубийца было бы во сто крат, в тысячу раз больше. Боль и страх перед потусторонними силами вряд ли сегодня кого-то остановили бы. Люди изобрели достаточно средств, которые убивают болезненно, а в воскрешение на том свете мало кто верит.

Василий Федорович расстался с надеждой прежде, чем поднял пистолет. Но тогда должна, должна быть причина, которая сильнее самого сильного человеческого страха, которая сильнее смерти и жажды жизни.

— Понистине, кто ищет, тот найдет... — проговорил Шумилов устало.

— Думаешь, он искал смерти? — удивленно спросил Кирпичников.

— Он искал легких путей.

— Не понимаю...

— Иногда легче умереть, чем продолжать жить. Других объяснений я не вижу.

Вот, оказывается, как все просто: Волков истощился, израсходовал запас жизненных сил, какие отпущены были ему от рождения. Наступил момент, когда мысль о смерти, как о единственном исходе, разумном исходе, как об избавлении, подавила полностью его сознание и волю. Врачи называют это состоянием аффекта. Кажется, даже убийц (но не самоубийц!) чуть ли не оправдывают, если они убили в состоянии аффекта. Правда, это относится к тем, кто убивает других людей, не себя, но если возможно других, почему же невозможно себя?..

Довел, довел себя до точки. Не смог уйти раньше. А если бы очень этого хотел, ушел бы. Выходит, все-таки надеялся на что-то? Но на что, на что он мог надеяться со своим безводем, со своей растерянностью!

— Что ты бормочешь? — спросил Кирпичников.

— Размышляю. Надо было ему положить на стол заявление, когда прилетел Ермаков, теперь был бы жив.

— Просто все у тебя. Ты положил бы?

— Да, — не задумываясь, ответил Шумилов. — Не хочу, чтобы меня попросили отодвинуться, освободить место. Я это сделаю сам, когда пойму, что мое время истекло.

— Не поймешь, — убежденно сказал Кирпичников. — В том-то и дело, что не поймешь.

— Обязательно пойму!

— Нравится мне твоя уверенность, — проговорил Кирпичников, покачивая головой. — Смотрю на тебя и думаю, что красиво ты прошагаешь по жизни, но если споткнешься...

— Встану и пойду дальше.

— Может быть, и встанешь и пойдешь...

И подумал: «Откуда в нем эта убежденность, эта сила?» Ну, знал он и раньше, что Шумилов не из робкого десятка, что умеет постоять за себя, за свои убеждения, но все-таки... Он словно бетонная монолитная стена, его ничем не прошибешь, не свалишь, не заставишь податься в сторонку, он будет стоять на своем чего бы это ему ни стоило. Его можно сломать, разрушить, хотя и это нелегко, но сдвинуть с места нельзя. И поэтому ему будет — всегда будет — очень трудно. И тем, кто рядом с ним. Потому что с ним можно быть только заодно...

Народу на похоронах было мало.

Шумилов не подходил близко к могиле, чувствуя какую-то свою вину перед покойным, а теперь еще и перед его женой. Он постоял в стороне и незаметно ушел с кладбища, хотя Екатерина Никанорова очень просила быть на поминках.

Не мог он пойти туда.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

А вскоре вернулся домой муж Анны Тихоновны. Он был тяжело ранен, ему оторвало правую руку, однако он не писал об этом, чтобы, как объяснил сам, «не наводить тоску раньше времени». О своем приезде он также не предупредил и чуть не до смерти напугал жену своим неожиданным появлением.

Она стирала на кухне, не слышала за делом, как он вошел в дом, а на радостный лай Рыжика не обратила внимания. Или тоже не расслышала.

Михаил Иванович поставил на лавку вещевой мешок и спокойно, точно вернулся с работы, проговорил:

— Мать, а мать, чего же мужика не встречаешь?

Она повернулась в испуге, подумала, что ей померещилось, выпрямилась над лоханкой, взмахнула руками, роняя пену, и запричитала:

— Соколик ты мой родимый, да откуда ты взялся, уж и не думала и не чаяла...

— Да будет тебе,— остановил ее Михаил Иванович.— Раскудахталась, ровно покойник в дому.

— Господи, прости и сохрани,— испуганно выговорила Анна Тихоновна и перекрестилась, обтерев руки фартуком.— Думала, что и не свидимся больше...

— Я живучий, мать. Меня за здорово живешь на тот свет не спровадишь.— Он обнял одной рукой жену и почувствовал, как дрожит она, бьется вся, точно птица в силках. Он говорил вроде ласковые слова, успокаивая ее, а ласково не получалось, потому что отвык от жены, хоть и не очень долгой была разлука. Прежде они никогда не разлучались.

— Живой...— улыбаясь сквозь слезы, приговаривала Анна Тихоновна и все глядела на мужа, не веря глазам своим и счастьем, какое неожиданно-негаданно пришло в дом.

— Живой, а то как же,— сказал он. Должно быть, и ему в самый раз было бы заплакать от радости, однако он не мог уронить своего мужского достоинства.

— Скидывайся, не в гости, чай, приехал. Давай я подмогну.

— Я сам.— Тут Михаил Иванович заметил пальто Шумилова, висевшее на вешалке возле двери, насупил брови, спросил: — А это чья же одежда, мать?

— А постоялец у нас, отец,— ответила Анна Тихоновна.

— Какой такой постоялец, откуда взялся?

— Так ведь нынче у всех постояльцы. Наш-то сам из Ленинграда. Тут их много, из Ленинграда-то. Завод, считай, новый построили, двадцать девятый называется. Наш постоялец, отец,— она перешла на шепот, — директором там работает.

— Ну-у?! — недоверчиво сказал Михаил Иванович.— Неужто прямо директором?

— Директором, директором. Сначала-то был Василий Федорович, помнишь ли? . .

— Помню, как же не помнить.

— Помер он, царство ему небесное.— Она отчего-то не хотела сказать, что Волков застрелился.— А наш был у него вроде как помощником. А теперь вот директором. Человек он, отец, ой какой хороший! Добрый такой, весь из себя простой, не подумаешь, что большой начальник. И дровишек завезет, и паек приносит. . .

— Раз директор, почему дровишек не завезти. Не сам, чай, рубит и грузит.

— Это-то да,— согласилась Анна Тихоновна,— а колет сам. И двор зимой от снега очищал, когда дома. Так-то он мало дома, все работает день и ночь.

— Ну, ежели разве что. . .— Михаил Иванович потрогал пальто.— Материя хорошая,— одобрительно сказал он.— Пашка часто пишет?— спросил он о сыне.

— Да с неделю как было письмо.

— Жив, стало быть. И слава богу.

Он сбросил шинель, повесил рядом с шумиловским пальто и теперь осматривался основательно, с пристрастием, как бы проверяя, не изменилось ли что за время его отсутствия. Все было на своих, исконных местах, и это успокоило Михаила Ивановича.

— Поесть собратъ?— спросила Анна Тихоновна. Странно ей было: вот вернулся мужик с войны, а она не знает, как держать себя с ним, что говорить, точно за

несколько месяцев, покуда не было его дома, сделался он чужим. Собрала бы на стол, и все, чего спрашивать-то...

— Ну, как вы тут в тылу живете-можете? Не голодно?

— Не очень чтобы, отец. Картошка своя, капуста тоже. Грибы еще остались. Другие куда как голоднее живут, особенно приезжие. Им-то худо, ой худо! А мы ничего, живем помаленьку.

— Это хорошо, раз так. А Надежда на работе, что ли?

— Знамо дело что на работе, где ж ей и быть.

— Это я к слову, мать. А ты вот про руку не спрашиваешь, молчишь. Инвалид я теперь, не мужик вовсе...

На лице его появилась улыбка, от которой Анне Тихоновне сделалось нехорошо, страшно даже сделалось ей. И в глазах мужа она заметила что-то чужое, холодное, чего никогда прежде она не замечала.

— Соберу что поесть,— молвила она, вздыхая украдкой.

— Погоди с едой,— отмахнулся Михаил Иванович.— Новый завод, говоришь, строят?

— Да считай уж и построили. Только не понять, все вместе — и старый и новый. А Рыжик, отец, узнал ли тебя?

— Узнал, узнал.

— Он Антона-то Игнатьевича сильно полюбил.

— Постояльца, что ли?

— Ну.

— Раз, говоришь, хороший человек, а хорошего человека каждый полюбит. Животина, она лучше людей понимает, кто хороший, а кто худой. Пойду-ка я посмотрю, что на дворе делается.

— Сходи, сходи, покуда я с обедом управлюсь.

И тут вбежала Надя. Ребятишки видели Михаила Ивановича, когда он шел со станции — дорога одна, мимо школы,— и она, узнав об этом, бросила все, домой заспешила.

— Папка! — кипулась она на шею отцу.

— Покажись, покажись, невеста. Ну, совсем взрослая сделалась, не признал бы на улице.— Он неловко приласкал ее одной рукой.— Мать, подай-ка сидор.

Долго возился с вещмешком, развязывая зубами тесемку, но помочь не позволил. Развязал все-таки, по-

рылся и вытащил подарки, которые выменял в Свердловске на паек. Анне Тихоновне платок атласный в ярких пунцовых розах по черному-черному полю, с кистями, а Наде старинный черепаховый гребень с инкрустацией. Жаль было отдавать за него полбуханки хлеба, да очень уж приглянулся он Михаилу Ивановичу, не смог устоять (волосы у Нади роскошные, к ним и гребень красивый нужен, подумал он), а и торговаться тоже не посмел, совестно было торговаться со старушкой, не от сладкой жизни ведь гребень на хлеб меняла.

— Нравится? — спросил дочку.

— Еще как, папка! — засияла она, вставляя гребень в волосы. — Дорогой, наверное?

— Не дороже нас с тобой, дочка. А когда же посто-ялец-то ваш приходит? Познакомиться бы надо, чтобы как у людей.

— Поздно, — ответила Надя.

— А ты бы сбегала, поторопила его, раз такое дело.

— Неудобно. . .

— А чего неудобного-то? — встряла Анна Тихоно-вна. — Слетай в магазин, по телефону скажи Антону Иг-натьевичу, что отец приехал.

Отказать Шумилов не посмел, пообещал, что придет пораньше. К его приходу стол был накрыт по-празднич-ному, даже скатерть льняную Анна Тихоновна постели-ла, которой пользовалась в особо торжественных случа-ях. И то правда — большего торжества и не приду-маешь.

Когда Шумилов пришел, все сидели уже за столом. Хозяин, как и положено, во главе. Он поднялся навстре-чу Шумилову.

— Ну, здравствуй, что ль, Антон Игнатьич. Вернул-ся вот. . . — и протянул руку.

— С возвращением, — сказал Шумилов.

— Давай к столу.

— Я на минутку, вы уж извините. Дела.

— А-а, всех делов не переделаешь. Какие сегодня не сделалась, доделаются завтра. Дела-то, они не волки, в лес не убегут, — проговорил Михаил Иванович.

Шумилов помыл руки и сел к столу.

— Со знакомством, Игнатьич! — Михаил Иванович поднял стопку. — Не серчаешь, что так тебя зову?

— Ради бога. Но выпьем сначала за ваше возвра-щение.

— Спасибо тебе, Игнатьич.

Потом и за победу выпили, и погибших помянули, как принято в русском доме, за жен и матерей тоже, которым ох как нелегко достается эта война, потому что ждать — едва ли не самое тяжкое испытание, обсудили дела фронтовые и дела местные, и Михаил Иванович, удивляясь, что так быстро почти новый завод построили, говорил, что посмотреть бы интересно. Шумилов пообещал показать завод, — хоть завтра, сказал он.

— Это как же ты покажешь, Игнатъич, — с хитрецей спросил хозяин, — ежели пропуску у меня нет, а завод твой военный, раз с номером? ..

— Как-нибудь устроим, — улыбнулся Шумилов.

— Тебе, конечно дело, виднее. Только вот я сам себе думаю: политрук у нас был в роте, гра-амотный, скажу тебе, мужик, как зачнет про политику, мать честная! .. Крепко он, Игнатъич, на бдительность напирал, потому как бдительность в военном деле и во всяком ином также, когда война особенно, самое, выходит, главное. Без бдительности, стало быть, никуда. Вот оно как.

— Прав был ваш политрук.

— А как же ты на завод меня поведешь? — Михаил Иванович прищурился, в упор глядя на Шумилова.

— У нас больших секретов нет. А то приходите к нам работать, Михаил Иванович, — нашелся он.

— Насчет этого подумать надо. — Михаил Иванович насупился, задышал часто. — Сам видишь, какой из меня нынче работник. .. — Он взял левой рукой пустой ружав и потряс им.

И тут Шумилов почувствовал неловкость, даже стыд, какой обычно испытывают здоровые люди рядом с больными, увечными, как будто и его вина была в том, что Михаил Иванович — и не только он — потерял на фронте руку.

— Ничего, — сказал он, — подыщем подходящую работу.

— Спасибо на добром слове, — может, и приду. Пообвыкнись малость вот. А ты из Ленинграда из самого приехал к нам?

— Из Ленинграда, не отпустили на фронт, сюда послали.

— А что ж, начальству виднее, где кому быть, — проговорил Михаил Иванович. — Из винтовки стрелять кого хошь научить можно, а заводом командовать. .. — Он

уважительно покачал головой.— Вот мать рассказывает, что помогаешь ты им тут сильно...

— Вздор,— сказал Шумилов. Ему было неприятно слушать это.

— Вздор не вздор, это как посмотреть. Дровишки возишь, паек свой отдаешь...

— Отец! — Надя укоризненно взглянула на Михаила Ивановича и вспыхнула.

— А ты сиди, сиди, ежели тебя не спрашивают. Молода еще, нечего вступать, когда взрослые люди беседуют.

Анна Тихоновна тем временем стала собирать к чаю. Однако Михаил Иванович, заметив ее приготовления, сказал, что не мешало бы еще выпить маленько...

— Папка, а на фронте очень страшно? — спросила Надя, отвлекая мысли отца.

Он понимающе усмехнулся, подмигнул Шумилову, дескать, хитрит девка, и ответил, что на фронте оно как на фронте и есть. Стреляют, бывает, что и убивают, это кому не повезет, война на то и война, на войне всегда кого-нибудь убивают, не без того, говорил он, но, в общем, ничего такого особенного, быстро можно привыкнуть, ежели поймешь, что пуля там либо осколок, которые тебе назначены, заранее об том не предупреждают, а от смерти своей все равно не схоронишься...

— Зимой вот холодно, это да. А когда дождь идет — мокро. Грязюка в окопах, портянки негде сушить. А смерть... — Он вздохнул и пожал плечами. — Смерти бояться не надо, чего там. Все умирают в свой час. Кто позднее, кто пораньше, это уж как судьба кому выпала. Я вот вернулся, хоть увечный, а живой же. А другие у себя на печи помирают. — Говорил он спокойно, рассудительно, удивляя этой рассудительностью Шумилова. — Вот к примеру сказать, старшина у нас был. Хороший парень, не скажу. Веселый, добрый, на гармонии играл справно. Сильно он смерти боялся, уж так боялся!.. Хотел живой остаться, чтоб к жене молодой вернуться, любил ее крепко. Убило его, да. Осколком шальным убило. Тихо так было тогда, как бы и сейчас. Один всего снаряд и разорвался-то, словно бы кто стекло разбил, очень даже похоже. Тр-р-рах — и все тут, и нет старшины. Привалился в окопе к стенке земляной, рот ему скривило, и глаза большущие сделались. Подняли мы его, помощь первую, стало быть, оказать хотели, а он и кончился уже. Так, улыбаючись, и кон-

чился. Не судьба, выходит дело, была ему живым остаться. Э, что там говорить! Давай, Игнатьич, помянем хорошего человека, жалко мне его, мать честная.

— Нечего пить-то, отец,— сказала Анна Тихоновна.— Выпили все, что было.

— Вот те раз, нечего! — Михаил Иванович огляделся удивленно.— Как же это, мать? . .

— Не мирное время, отец, в магазин не сбегашь,— сказала Надя. И приложила палец к губам, показывая Шумилову, чтобы он молчал.

— Так-то оно так, а помянуть бы старшину надо. Хор-роший был человек. А у тебя, Игнатьич, ничего не найдется?

Надя отрицательно покачала головой, и Шумилов ответил, что у него нету ничего, хотя, по правде говоря, было у него немного спирту и он сам с удовольствием выпил бы еще стопку-другую.

— Мать честная, какой же ты есть директор, ежели выпить у тебя нету! — огорчился Михаил Иванович.

— Антон Игнатьевич у нас не пьет,— опять вступила в разговор Надя.

— Про это ты не рассказывай сказки. Курица и та пьет. Ну что ж, однако. Нет так и нет, спать, выходит, пора укладываться.

— Чаю поьем еще,— сказала Анна Тихоновна, с благодарностью взглянув на Шумилова.— Шанег вот я напекла, свеженькие.

— Пошла ты, мать, со своим чаем,— отмахнулся Михаил Иванович сердито.— Кишки твоим чаем только мыть. А то поищи, а? У тебя раньше завсегда было припрятано. . .

— То раньше.

— Вишь как оно, Игнатьич. Все кверху тормашками нынче полетело.

— Это не самое главное,— сказал Шумилов.

— По отдельности оно все получается вроде не главное, а собьется в кучку, тут и наша вся с тобой жизнь. Ладно, мать.— Он поднялся.— Спать так спать, утро вечера мудренее, говорят.

II

Когда улеглись все и затих дом, начал допытываться Михаил Иванович, какие отношения у Нади с Шумиловым. Почудилось ему, что странно как-то, с большим

интересом и вниманием смотрит она на квартиранта и слушает его. Глаза-то так и горят, так и горят. И розовая вся делается, не иначе к сердцу он ей пришелся...

— Придумываешь ты, отец,— всполошилась Анна Тихоновна.— С пьяных-то глаз и не такое почудится.

— Не глазами я пил, мать. А может, и почудилось, дай-то бог. Только...

— Подумай-ка сам, отец. Антон Игнатьевич человек семейный, положительный, разве ж он позволит что-нибудь?

— Любовь, она и бывает у серьезных да положительных людей,— возразил Михаил Иванович.— У пустых не любовь, тьфу. А Надежда его так и ест, так и ест глазами своими...

— Говорю тебе, семья у него. Жена и дочка махонькая. Очень он за них переживает, только виду не подает. А я-то все вижу.

— Где же семья-то его?

— В том-то и дело, что потерялись они. Он отправил их к ейной матери, после и сам туда собирался, а тут как раз война и случилась. Теперь там немцы. Ну, до любви ли ему?

— Вот оно, стало быть, как получается...— задумчиво проговорил Михаил Иванович.— А я-то думал... Выходит, и его война стороной не обошла, не минула. Дела-а, однако. Ты спи, мать, спи. Я выйду на двор покурю.

— Хватит тебе смолить, отец.

— Ладно, сам знаю.

Анна Тихоновна вздохнула и затихла. Редко Михаил Иванович бывал резким с нею, но уж если в голосе его появились жесткие нотки, если он произнес это «сам знаю», лучше было с ним не спорить.

Он вышел на крыльцо и присел на ступеньку. Тотчас из будки вылез Рыжик, потянулся сладко, зевнул, повил хвостом, показывая, что не спит, бодрствует, и снова убрался в будку. А Михаилу Ивановичу было о чем подумать, поразмышлять в тишине. Беспокоило его собственное будущее. Ведь как ни крути, как ни успокаивай себя тем, что живой остался и домой вернулся, а инвалид все же, калека, не мужик, а полмужика. Мужик — это работник, кормилец для семьи, а из него какой же работник, когда правой — главной! — руки нету. Он плотник

и столяр хороший, мастер на все руки, а теперь ни топора, ни рубанка не взять. Раньше дома ставил, любая работа была ему по плечу. Полгорода, может, живет в домах, которые им ставлены. А по окрестным деревням и не счесть будет. Нынче, выходит, прощаться надо с любимым ремеслом, в сторожа, а то в банщики подаваться, вот оно как. . .

Ну, это-то ладно еще, как-никак, а образуется всё. Раз жить надо — значит, и станет жить. И на судьбу пенять не приходится, у каждого своя судьба, какая уж ни есть. А рука. . . Можно и без руки прожить. Жаль только, что правую оторвало, пусть бы левую, мать честная.

Эх, да что там работа, не об том думать нужно, не об том. О работе-то и о житье-бытье думано-передумано, куда в госпитале валялся. И насмотрелся на таких калек, в сравнении с которыми его беда не горе. А ничего, держались мужики, не скулили и судьбу не охавали. Крепок русский мужик, нет против него никакой силы, ежели упрется он. . .

Нелегкие мысли одолевали Михаила Ивановича. И о себе думал, куда же денешься, ведь с а м — не просто один, сам по себе, а голова всему в дому и за всех в ответе. И за все тоже — хоть за хорошее, а хоть бы и за худое. Как Пашка там, на фронте? Вернется? Повезет ли им так, что оба они живые будут? Большое надо везенье, очень большое. . . И уж лучше бы, ежели судьба выпала одному из них полечь на войне, думал Михаил Иванович, лучше бы мне. Пашка молодой, жить ему надо. Вот и Надежду взять. Неладно у нее, ох, неладно. Зря мать успокаивает, за версту же видать, что не в себе девка. В самую, значит, бабью пору вошла, вызрела, соком налилась, ровно ягода таежная на солнечной полянке, а женихов-то, кто бы утихомирил плоть ее бурлящую, и нету, в окопах женихи, жизни свои молодые кладут. Эх-ха, сколько же девок нецелованных да нетисканых останется, сколько же детишек не народится никогда на свет белый! . . . Вот она, война. Много годов минет, много воды утечет, а она все аукаться будет. . .

Скрипнула дверь за спиной, но Михаил Иванович не обернулся, остался сидеть как сидел, погруженный в свои невеселые мысли. Он думал, что Анна Тихоновна за ним пришла, не спится ей, старой. А это был Шумилов.

Он молча присел рядом.

— Ишь, небо какое,— сказал Михаил Иванович.— Что тебе материя на сарафан, так и усыпано. Сколько же этих звезд на небе, Игнатьич?

— Бесконечное множество,— ответил Шумилов.

— Как же это понимать?

— Ну... нет им числа, Михаил Иванович.

— Не понимаю я что-то. Всякой вещи свое число есть. А может, Игнатьич, люди сосчитать не умеют? Числа, стало быть, такого не придумали.

— Может,— согласился Шумилов.— Закурите папиросу? — Он протянул раскрытый портсигар.

— Не-е, ну их, папиросы эти. Пахучие, а толку чуть. Я уж махорочки, она позадиристее будет.

Посидели молча.

— А ты, значит, из Ленинграда приехал,— опять заговорил Михаил Иванович.— Далеко, однако. Да оно теперь и все-то не близко. Я вот, считай, всю страну туда-обратно проехал, бо-ольшая, скажу тебе, у нас страна! И раньше ведь знал, что большая, только где там понять, какая она на самом-то деле, не-е... Это, получается, как и звезды на небе, а, Игнатьич?..— вдруг встрепенулся он.— Большая и все, громадная, аж уму непостижимо. А все одно вроде и тесно. Вот как это получается, можешь ты мне растолковать?

— По-моему, всем места хватает.

— Хватает-то хватает, а и тесно тоже. Жить тесно людям, вот оно дело какое.

— Временно это, Михаил Иванович. Кончится война, разъедутся все по своим домам...

— Не про то я тебе толкую, Игнатьич. Вообще тесно, толкаются люди, мешают друг дружке. А простору-то вон сколько, живи себе и не мешайся другим. Тогда и тебе мешаться не станут. А хоть бы и дома взять. Их, домов-то, Игнатьич, с гулькин нос осталось, уж я нагляделся, пока воевал...— Он повернулся к Шумилову, пристально взгляделся в его лицо. Но ничего не разглядел, темно было.

— Новые дома построим.

— Верно говоришь, построим. Сколько раз Россию жгли-разоряли, а все одно жива она, голубушка наша. Да и дом построить не штука, сам плотник, знаю. А жизнь новую построим?

— Построим,— сказал Шумилов. Что-то не мог он

уловить мысль Михаила Ивановича, хотя догадывался, чувствовал, что разговор тот затеял неспроста.

— Не-ет, Игнатьич, ты мне не фцнти. Это оно только говорится просто, что новую жизнь построим, а ее не построишь. Потому как она одна, жизнь-то. Навсегда одна. Другой, как хошь, не будет. Ну, про тех, кто смертью храбрых... Вечная память им и пусть земля им пухом. А ежели кто живой останется, вот как бы мы стобой, но жизнь наперекосяк пойдет, не в ту, в какую надо, сторону, тогда как?.. Война, Игнатьич, ой сколько всего перемелет-поломает!.. А кой-чему и научит тоже, вот оно какое дело.

— Не знаю, Михаил Иванович, что вам сказать. Если о личной жизни, так у каждого, как говорится, своя судьба. А вообще... Вы дольше меня на свете живете, больше знаете...

— Кабы больше знал, был бы начальником вместо тебя, к примеру. А то и поболе. Тебя, Игнатьич, учили, к твоему уму еще другой ум прибавляли. А меня никто не учил. Разве батька чересседельником...

— Тому, о чем вы спрашиваете, в институтах не учат, — сказал Шумилов. — Этому жизнь учит.

— То-то и оно! — Михаил Иванович вздохнул и принялся сворачивать новую сигарку. — Вот глупость какая, — сказал он, усмехаясь. — Знаешь, чего на фронте не хватало, да и после, в госпитале?

— Махорки? — догадался Шумилов.

— Махорка была, не-е. Бумажки на завертку. И на другие дела тоже, извини-прости. А про жизнь я тебе так скажу, Игнатьич. Вот когда бы можно было прожить одну жизнь, научиться всему как следует быть, а после начать сызнова, вторую, значит, жизнь. Это было бы другое дело. А то тыкаемся, тыкаемся, ровно кутята слепые, а когда вроде узнаем, что оно и как на самом-то деле, помирать пора. Получается, что зря учились, зря науку жизненную постигали, потому как ни к чему она вроде бы. Ведь с собой на тот свет не возьмешь.

— Знание не бывает лишним, — сказал Шумилов. — Детям нашим, внукам нашим-знание и опыт останутся. Так и рождается народное, общественное сознание, традиции...

— Э-э, Игнатьич! — Михаил Иванович покачал головой. — Дети-то и внуки головы поскладают. Да и отцы многие. Про то я тебе и толкую. Вот хоть бы и я. Вер-

нулся, инвалид, а вернулся. Вернется ли Пашка, сын мой?.. А ежели не вернется, кому нужен будет мой опыт, про который ты говоришь? Сгинет вместе со мной. Вот оно что война, а не то, что дома и заводы там порушат, это-то наживное. Ступай-ка ты в дом, замерз, гляжу. Да и подыматься тебе рано.

— Ничего, я привык мало спать. А завтра могу подольше поспать.

— Нельзя. Хороший хозяин, Игнатьич, завсегда раньше своих работников подымается, а ты тоже хозяин. Подумай-ка вот, отчего это петуху голос даден, а курица, она только квохтать умеет? Чтоб кукарекать мог, потому как он есть хозяин. Он и просыпается раньше курей, понял? Проснется, почистится и их пробуждает. Опять же зернышко какое найдет, снова кукарекает, курей к себе сзывает, пушай, думает, поклюют. Никогда сам первый не склюет, не-ет. Потому куры и слушаются петуха. Куда петух, туда и они, так от веку заведено. И так до скончания века будет. — И вдруг спросил: — Бабу-то свою любишь ли?

— Люблю, — сказал Шумилов.

— Это хорошо, когда любишь. Бабу свою надо любить. Баба, она всю жизнь для мужика и для детишек старается, для того и на свете живет. А ты, Игнатьич, беспокойный есть человек. И жизнь у тебя беспокойная. Прости меня, дурака, что не в свое дело лезу, а только жинке твоей не позавидуешь, не-ет...

— Почему же? — удивился Шумилов.

— А тяжело ей с тобой, потому и не позавидуешь.

— Она не жалуется, — улыбнулся Шумилов.

— Сама небось тебя выбрала, чего ж ей теперь жалиться. Это мы с тобой думаем, что мы баб себе выбираем, а на самом-то деле они нас. Вообще бабы меньше мужиков жалуются, ей-богу правда. Она кто у тебя?

— Так, в театре работает, — уклончиво ответил Шумилов.

— Ну, раз в театре, красивая, стало быть, — сказал Михаил Иванович с уважением. — А не бсызно, что бросит тебя? Красивые бабы, они такне. А нынче всякое бывает.

— Не бросит.

Шумилов подумал, что давно нет ответа от жены, — пожалуй, надо будет дать ей еще телеграмму, поторопить с ответом, что-то тревожно на душе, беспокойно.

— Умный ты, образованный, в начальство большое вышел, хоть и молодой еще, а вот счастья, Игнатьич, тебе не будет,— проговорил Михаил Иванович грустно, с сожалением.— Сам намучаешься, других поизведешь, может, много чего понастроишь-понаделаешь, а жизнь твоя все равно кувырком пойдет. Уж как хошь думай, а так оно и будет, Игнатьич. Ну, ступай, ступай, а я посижу малость. И не бери, за-ради бога, в голову, что я тебе тут наболтал лишнего всякого. Спяну, должно. Поговорить захотелось.

Шумилов, пожелав Михаилу Ивановичу спокойной ночи, ушел спать. Выждав немного, вернулся в дом и Михаил Иванович. Анна Тихоновна ждала его, не уснула.

— Про что это вы там разговаривали с Антоном Игнатьевичем? — настороженно спросила она.

— Про все, мать, и ни про что. Про жизнь. А человек он хороший, это ты верно сказала. Потому и жалко Надежду, сгубит ее любовь эта.

— Господи, опять ты про любовь! Нету между ними никакой любви, отец.

— Между ними, оно, может, и нет, а у Надежды к нему есть. Не слепой я, мать. Подвihnься к стенке, я с краю лягу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Письмо от жены пришло наконец, но было это очень странное письмо, оно нисколько не успокоило Шумилова, а вызвало еще большую тревогу.

«...Ты знаешь, Шумилов, мне дают роль Офелии, а я боюсь, что не справлюсь с этой ролью. Нужно было перечитать всего Шекспира, чтобы как следует войти в роль. Нигде не достать. Ты бы не мог выслать мне собрание сочинений Шекспира? Да, а ты не находишь, что я совсем не похожа на Офелию? Она была такая хрупкая, тоненькая, такая красивая и большая умница, а у меня беспрерывно болит голова. И по секрету скажу тебе, Шумилов, что я сильно растолстела, ни одно платье не надеть. Ты бы меня не узнал теперь, такая я стала толстая и дурнушка. А голова болит особенно по ночам, но я боюсь встать и принять лекарство, ведь Све-

точка так чутко спит, она слышит каждый шорох, даже как мыши скребутся под полом, а ты должен помнить, что возле нашей кровати паркет скрипит невозможно. Сколько раз я тебя просила, Шумилов, чтобы ты почи-нил паркет, неужели это так трудно, а ты все машешь рукой, тебе наплевать на дом, только и знаешь свою работу. Мне надоела твоя работа, я хочу чтобы ты был артистом, тогда мы с тобой сыграли бы Офелию и принца Гамлета. Как ты думаешь, Гамлет любил Офелию или нет?.. Мне иногда кажется, что любил, а иногда кажется, что не любил. Но ведь это и есть настоящая любовь, верно, когда кажется, потому что какая же любовь, если ничего не кажется? Ты как хочешь, а я откажусь от этой роли: очень большая ответственность, и потом у меня короткие волосы, они никак не хотят отрастать, а где же ты сейчас достанешь хороший парик, ведь у Офелии были длинные, замечательные волосы. Правда, у нее тоже болела голова, но я не знаю, только днем у нее болела голова или ночью тоже. У Шекспира про это не сказано, а наш режиссер говорит, что это не имеет значения. Как же не имеет значения, если голова болит совсем по-разному! И тебе не сыграть принца Гамлета, ты не такой, как Гамлет, ты совсем-совсем другой, Шумилов. Вот если бы тебе отдали роль Полония, но тогда некому будет играть тень отца Гамлета...»

Прочитав письмо первый раз, Шумилов ничего не понял, оно показалось ему странным и только. Он прочитал еще и еще раз, и тогда до него дошел уже не странный, а страшный смысл — вернее, бессмыслица — этого письма. Она же больна, подумал он. Это же бред, нормальный человек не мог бы написать ничего подобного! И все театр, будь он трижды проклят вместе с этим Шекспиром! Да-а, она просто-напросто помешалась на театре, а если ей еще дали роль... Вот почему она не писала о дочке в первом своем письме, догадался он. Только догадаться об этом нужно было сразу. И почему короткие волосы? Острижены, что ли?.. И головные боли...

Но что же делать?

Он решил показать письмо Марии Ивановне, жене Кирпичникова. Все же она врач. Но не все письмо, а только часть, потому что были там и такие подробности, которые нельзя читать посторонним.

Мария Ивановна была обескуражена.

— Не знаю, Антон Игнатьевич, что и сказать вам. Я ведь не психиатр... — Тут она спохватилась, что сказала лишнее, быстро взглянула на Шумилова — понял или не понял? — И спросила: — Это первое письмо от нее?

— Второе.

— И ты молчал?! — воскликнул Кирпичников.

— Понимаешь, Николай Николаевич, мне еще и то письмо показалось странным, поэтому и молчал.

— Ехать вам нужно, Антон Игнатьевич, — проговорила Мария Ивановна. — И как можно быстрее.

— Значит, вы считаете...

— Я всего только хирург. И вообще уважающий себя врач не будет ставить диагноз заочно, на основании письма. Но что-то там не так.

— Все театр, — сказал он.

— Да нет, думаю, что не в театре дело. Знаете что? Покажите это письмо Левину. Покажите, не стесняйтесь! — посоветовала Мария Ивановна.

Доктор Левин был предельно краток.

— Она, говорите, в Ярославле? Это очень хорошо, голубчик. В Ярославле сейчас живет профессор Харченко, крупнейший специалист. Я напишу ему, он с удовольствием проконсультирует вашу супругу. Разущите его сами, я, к сожалению, не знаю адреса. Но это ерунда. Кланяйтесь ему от меня. И поезжайте немедленно, голубчик, не откладывайте.

Воистину наивный народ эти профессора и вообще знаменитости. Живут даже в такое время словно на другой планете. Поезжайте немедленно!.. Как будто я могу взять и поехать когда угодно и куда угодно. Как будто я распоряжаюсь своим временем или как будто оно есть у меня, мое время. Его нет. А обращаться к начальству с просьбой разрешить поездку — бессмысленно и, пожалуй, безнравственно, подумал Шумилов. Это означает поставить людей в идиотское положение. Нельзя не отпустить, раз такая ситуация, но нельзя и отпустить. Тем более все еще не прибыл новый главный инженер, который уже назначен, однако задерживается. Видимо, сдает дела на прежнем месте. В конце концов, это мое личное несчастье, а ставить интересы дела в зависимость от личного благополучия не только безнравственно, но преступно. Так сказал себе Шумилов и попросил Левина, чтобы он никому не рассказывал об их встрече.

— Я вас прекрасно понимаю, — закивал головой Левин. — Но записочку все же возьмите на всякий случай. Я тут черкнул несколько слов, профессор Харченко поймет и сделает все возможное. Мы с ним знакомы много лет.

Шумилов поблагодарил и взял записку. Взял скорее для того, чтобы не обидеть человека, чем с надеждой воспользоваться ею. Да ведь он и не собирался тотчас ехать в Ярославль, понимая, что это абсолютно невозможно. По крайней мере, прежде, чем пустят завод. И было для него полнейшей неожиданностью, когда через два дня вдруг позвонил Ермаков и, ничего не спросив о делах, даже не поздоровавшись, буквально накинулся на Шумилова.

— Какого чёрта ведешь себя как мальчишка?! — кричал он в трубку. — Это плохое кино, Шумилов!..

— Простите, я не понимаю, в чем дело?

— Он не понимает! Новиков прибыл? — Он имел в виду нового главного инженера, который должен был приехать со дня на день.

— Еще нет, — ответил Шумилов, лихорадочно соображая, что же такое могло случиться. Ермаков по пустякам звонить не стал бы.

— Хоршо, я выясню, где он застрял. А вы... Мальчишка! Как только объявится Новиков, немедленно выезжай к жене, ясно?

Откуда он знает, подумал Шумилов, как будто сейчас было важно именно это, то есть знать, кто сообщил Ермакову...

— Оттуда позвони мне. Если меня не будет на месте, подробно проинформируй моего помощника, он в курсе. Ты слышишь меня, Шумилов?

— Слышу.

— И чтобы без всяких там комплексов, понял? Мне не нужна ваша совестливость. Мне нужен полноценный работник, руководитель. Да, выпиши командировку, а то заберут еще, как дезертира.

— Я думаю, — сказал Шумилов, — сейчас мне уезжать нельзя.

— А ты уж позволь, пожалуйста, мне за тебя подумать, — сказал Ермаков и рассмеялся. — Плохой ты руководитель, если боишься оставить производство на несколько дней, вот так. Теперь докладывай, как дела. Только коротко, у меня нет времени.

- Все нормально.
- Как с паросиловым цехом?
- Днями пустим.
- Вопросов нет?
- Нет.

— Тогда действуй. И не забудь доложить, когда будешь выезжать. И передай привет своему парторгу, как его?..

- Кирпичников.
- Вот, вот.

После Шумилов попенял (вместо приветов) Кирпичникову, что тот сообщил Ермакову о болезни его жены. Он понял, что сделал это именно Николай Николаевич, больше просто некому.

— Ну, кто тебя просил? — сказал Шумилов с укоризной. — Неудобно прямо.

— Неудобно делать сам знаешь что, — ответил Кирпичников.

— Конечно, вам нужно съездить туда, — поддержала его и Мария Ивановна. — На месте все толком разузнаете...

— Самое время ездить, — со вздохом сказал Шумилов.

— Раз надо, — проговорила Мария Ивановна.

— Всем надо. Да не все могут.

— Ладно, хватит об этом, — сказал Кирпичников. — Что вы там с Красновым опять придумали?

— Ничего особенного. Договорился, он дает пятнадцать человек на земляные работы. Правда, бабы одни...

— Это ты напрасно. Опять твои фантазии!

— Какие фантазии? — удивился Шумилов. — Кто будет рыть траншею под трубопровод — мы с тобой?

— Все это так, — сказал Кирпичников, — но пора бы уже стать реалистом. Бабы тебе нароют! Да и кто нам позволит привлекать посторонних. Ты подумал об этом?

— Уже Белых пожаловался? — Шумилов еще накануне распорядился, чтобы Белых связался с Красновым и утряс все вопросы. Однако тот неожиданно воспротивился, говорил о секретности производства, о бдительности, на что Шумилов возразил, что это его, Белых, забота, и тогда Белых заявил, что подаст официальную докладную, но посторонних на завод не допустит.

— Не пожаловался, а поставил в известность, — сказал Кирпичников. — И правильно сделал.

— Ну, если и ты так считаешь, — согласился Шумилов, — тогда сдаюсь.

Спустя три дня приехал наконец новый главный инженер. На первый взгляд он показался Шумилову спокойным, деловитым. Лет ему было около пятидесяти, работал он до этого как раз на танковом заводе, так что производство знал хорошо, и это тоже порадовало Шумилова. Впрочем, они толком и не познакомились, некогда было: Шумилов наскоро ввел Новикова в курс дела и на другой день, доложив помощнику Ермакова, выехал в Свердловск.

А там его ждал сюрприз: едва он спрыгнул на перрон, как по радио объявили, что «пассажира Шумилова Антона Игнатьевича, прибывшего поездом Верхняя Тотьва — Свердловск, просят срочно зайти к военному коменданту. . .» Он даже не сразу как-то осознал, что пройти к военному коменданту просят именно его, и если бы объявление не повторили, то вряд ли и пошел бы. А когда понял, что все-таки приглашают его, не на шутку встревожился, подумал, что произошло нечто из ряда вон выходящее, что случилось какое-то ЧП, иначе зачем бы его разыскивали на вокзале. . .

У военного коменданта его дожидался старший лейтенант.

— Вы товарищ Шумилов?

— Я, в чем дело?

— Старший лейтенант Сивов, — представился тот. — Приказано доставить вас на аэродром.

— Какой аэродром?

— В Москву летит самолет. Вас доставят в Ярославль.

Тут Шумилов догадался, что все это организовал Ермаков, поэтому и велел позвонить перед отъездом. . .

— Извините, товарищ Шумилов, — поднимаясь, сказал комендант, — но для порядочка предъявите документы.

— Пожалуйста, пожалуйста. — Он показал командировочное предписание и удостоверение личности.

— Благодарю, — возвращая документы, проговорил комендант. — И еще раз прошу извинить. Время военное, сами понимаете.

— Конечно, я должен был сам это сделать.

Через два часа Шумилов вылетел из Свердловска на военном самолете. С ним вместе летели пятеро команди-

ров. Он плохо разбирался в званиях и знаках отличия, однако понял, что это — большое начальство, и всю дорогу, то есть все время полета, сидел молча, уткнувшись носом в иллюминатор. Впрочем, ничего не видел, кроме облаков.

II

Шумилов с трудом разыскал дом, где жила жена, и это оказался не дом вовсе, а бывший монастырь. Здесь было устроено нечто вроде общежития для эвакуированных, в каждой келье жили по несколько человек. Соседкой жены, например, была женщина с тремя детьми. К счастью, она работала в ночную смену, и Шумилов застал ее дома. От нее он и узнал, что жену два дня назад увезли в больницу.

— Приехали сами, никто не вызывал, — рассказывала она, при этом отворачивая лицо, — забрали и увезли. Она не хотела ехать, плакала сильно...

Шумилов понял, что с женой совсем худо.

— А вы не знаете, в какой она больнице? — спросил он.

— Как же, как же! Вот, оставили адрес. — Женщина подала ему листок.

— Благодарю, — сказал он. — А дочка с ней, что ли?

— Дочка? .. — Женщина удивленно, даже с каким-то испугом посмотрела на Шумилова, и было в ее глазах нечто такое, отчего у него сжалось сердце и ладони сделались мокрые. — Чья дочка? — спросила женщина.

— Моя... Наша... — пробормотал он, уже понимая, что дочки нет.

— Я не знаю. Анатолия Федоровна жила здесь одна... Правда, рассказывала что-то про дочку. Светочка, да?

— Да-да! — воскликнул Шумилов. В нем пробудилась надежда.

— Но ее не было, нет. Мы думали... — Женщина опять испуганно взглянула на Шумилова. — Я со своими ребятшками раньше нее вселилась сюда, она потом уже, и сразу была одна. Вот ее кровать, вот тумбочка.

Но Шумилов не слушал, он вышел из кельи, а на улице остановил какую-то старушку и расспросил, как понасть в больницу. Старушка подробно объяснила, как

туда добраться, и при этом тоже, как и соседка жены, посмотрела на него с явным испугом.

Все верно — это была психиатрическая больница.

К жене Шумилова не пустили. Дежурный врач сказал, что она в тяжелом состоянии и все равно не узнает его. У нее бред, она называет себя Офелией. Сейчас ей сделали инъекцию, она спит. И вообще для свиданий с родственниками отведено специальное время, так что...

— Насколько я знаю, вашей супругой интересовался сам профессор Харченко. Завтра он должен быть.

— Что с ней, вы это можете сказать?

— Я не лечащий врач. По-моему, последствия черепно-мозговой травмы. Ранение, кажется. Завтра вам все расскажут.

— Понятно, — сказал Шумилов. — И все же я хотел бы ее увидеть.

— Это невозможно.

— Где главный врач?

— Дома. Время позднее.

— Ах да. — Он как-то забыл, что уже вечер.

Вдруг откуда-то из-за дверей, из больничного чрева, раздался пронзительный, ужасающий вопль. Послышался топот. Мимо Шумилова и врача, прихрамывая, пробежал мужчина, он плакал и закрывал лицо руками.

— Простите, — сказал врач, разводя руками. — Психиатрия.

— Понимаю. — Шумилов побрел к выходу.

— Минутку, я открою. — Врач открыл дверь, выпустил Шумилова, и дверь тотчас снова захлопнулась.

Он вернулся в бывший монастырь. В тумбочке, принадлежащей жене, среди бумаг, исписанных непонятными каракулями, он отыскал свою телеграмму и свое письмо, а также справку из госпиталя, из которой узнал, что жена была ранена в голову при бомбежке поезда. Теперь хоть появилась ясность, что с нею. Кое-что, но очень небольшое рассказала соседка. Оказывается, за женой давно замечали некоторые странности, но как-то не придавали им значения, мало ли. У всех, говорила соседка, есть странности, столько все пережили, как же им не быть.

— Что за странности? — допытывался Шумилов, как будто это имело какое-то значение.

— Ну... все о каких-то гастролях говорила, что ей дали главную роль в театре, а то встанет посреди комнаты, подбоченится и спрашивает, как ей идет этот на-

ряд, а сама в том же, в чем и всегда. Но вела себя тихо, к ребятишкам хорошо относилась, жалела их, ласкала. Мои прямо души в ней не чают. А тут приехали и забрали. Вот еще: она все писала что-то. Сядет и пишет, пишет... Я как-то случайно заглянула, а она пишет уже по писаному. Удивилась, правда, но промолчала...

— А вы не знаете, где она работала?

— На заводе, мы вместе и работаем. Вы не волнуйтесь, она поправится,— проговорила соседка сочувственно.— Такая милая, такая симпатичная женщина... А дочке-то сколько?

— Дочке?..— рассеянно переспросил Шумилов.— Дочке год.

— Такая кроха?! Нет, не знаю. Она одна была. Поселилась сразу одна.

— А тут нет никого, кто бы ее раньше знал? Может, вместе кто-нибудь приехал?

— По-моему, нет. Мы тут почти все из одной местности, а ваша жена после поселилась. Она из госпиталя вышла. Но вы спрашивайте. Только нет, она ни с кем не дружила, все сама и сама.

Шумилов понял, что расспрашивать бесполезно. Он забрал бумаги жены и поехал на вокзал. Ночевать ему было негде. Можно было позвонить Ермакову, он наверняка на месте, они там в наркомате по ночам работают, однако Шумилов не стал звонить. Да и откуда позвонишь! И неловко беспокоить человека, он и так много сделал. Наверняка постарался он же, чтобы жену взяли в больницу и чтобы ее посмотрел профессор Харченко. Так что записка от доктора Левина и не потребовалась.

Он вполне уже осознавал, что именно случилось с женой, но где дочка, что с нею?.. Неужели?.. Нет, этой мысли он не мог даже допустить. Все что угодно, только не это. Только не это. Может быть, жена оставила дочку у своей матери? С нее станется. И мать могла уговорить. Эта мысль, вполне правдоподобная, несколько успокоила Шумилова. Что там, теперь он был почти уверен, что так оно и есть. Жена собралась уезжать, а мать стала доказывать, что ребенка лучше оставить в деревне, тут спокойнее, к тому же молоко свежее и вообще...

Шумилов настолько уверовал в это, что совсем успокоился и подумал, что так и в самом деле лучше. Если бы дочка была с женой, могло бы случиться страшное, а

у бабушки... Но ведь там немцы! Оккупированная территория...

Что же будет?

А может, и обойдется все, продолжал успокаивать себя Шумилов. Что немцам какая-то старуха с маленьким ребенком, зачем она им. Не член партии, не еврейка, простая сельская учительница, жена учителя. А меня в деревне никто не знает, рассуждал Шумилов...

И всё же где-то в самых потаенных глубинах его души жили сомнения. Конечно, от жены с ее взбалмошностью и бредовыми фантазиями ожидать можно всего, однако немцы так быстро оказались в том районе, что она не могла не понимать, что они оккупируют и эту деревню, а оставлять дочку хоть и с бабушкой, но при немцах вряд ли решилась бы и она.

Получался заколдованный круг, из которого не находилось разумного и все объясняющего выхода, и Шумилов приказал себе не думать об этом. Пока не думать. Сначала нужно все выяснить. А так можно сломаться, сойти с ума.

На вокзале не то что присесть, не было местечка, чтобы прислониться к стенке, к тому же было душно, смрадно даже и очень грязно. Шумилов вышел на улицу. Хотелось есть. Он за весь день ничего не съел, если не считать двух шанежек, которые пихнула ему Анна Тихоновна. Но это было утром, еще до Свердловска. Хорошо, что запасся папиросами. Теперь он беспрерывно курил, и казалось, курево утоляет голод.

Чем-то он привлёк внимание милиционера, который дежурил возле вокзала, и тот долго наблюдал за ним. Потом куда-то удалился, и тотчас к Шумилову подошли двое в гражданской одежде и попросили пройти с ними.

— Куда и зачем? — удивился он.

— Там узнаете.

— Я хочу это знать сейчас. — Он сделал шаг в сторону, чтобы уйти от этих двоих, но его схватили за руки.

— Это еще что за новости? — возмутился он и попытался высвободить руки. Это ему не удалось.

— Спокойно, гражданин! Не дергайтесь. И без разговоров. Милиция.

— Замечательно! — сказал он и рассмеялся, вспомнив вдруг, как Ермаков предупреждал, чтобы он выписал командировку. — Но почему вы взяли мой портфель?

— Никуда не денется ваш портфель. А вы не помните, что в нем?

— Ну, знаете! — вскипел он и снова попытался высвободить руки. И снова ничего не вышло. — У меня там бомба замедленного действия и кое-какие чертежи. — Он понимал, что ведет себя глупо, по-мальчишески, но контролировать свое поведение уже не мог. Слишком он был издерган и взвинчен, чтобы быть спокойным и рассудительным.

Его привели в милицию. За столом в тесном, насквозь прокуренном помещении сидел лейтенант.

— Это безобразия!.. — громко сказал Шумилов.

— Разберемся, гражданин, спокойно.

Лейтенант внимательно просмотрел документы Шумилова, укоризненно взглянул на тех двоих, которые его задержали, и сказал:

— Извините, товарищ Шумилов. Тут такое дело... Личность ваша похожа на... человека, которого мы разыскиваем. — Он вернул документы, — Так что, товарищ Шумилов...

— Пустяки, — сказал он. — Я тоже повел себя не совсем корректно. Чертовски устал. Не найдется у вас свободной... камеры, а то я с ног валюсь.

— Камеры нет, — улыбнулся дежурный, — да и не понравится вам в камере. А топчан найдется. Прошу. — Он встал и, открыв дверь в другую комнату, пропустил туда Шумилова.

Он устроился здесь на обитом черным дерматином топчане, нашлись даже подушка и одеяло. Он уснул тотчас, едва прилег. А утром, когда проснулся, увидел за письменным столом капитана.

— Отдохнули?

— Огромное спасибо и тысяча извинений. Я, кажется, занял ваш кабинет? Глупо все получилось. — Он сложил одеяло. — Это куда?

— Уберут, не беспокойтесь. — Капитан встал и протянул руку: — Еремин.

— Шумилов.

— С вами-то я немножко знаком. Правда, засно. Как же это вы без ночлега остались?

— Не до того было. — Он вспомнил, что должен позвонить Ермакову, и подумал, что лучшего случая, может быть, не представится. — Как говорится, пусти свинью за стол... Мне нужно связаться с заместителем наркома, не поможете?

— Сделаем.

Ермакова на месте не было. Помощник сказал, что Шумиллову нужно обратиться в промышленный отдел обкома партии, ему помогут с жильем, с питанием и вообще окажут всю необходимую помощь. Но главное — Ермаков просил не задерживаться и как можно скорее возвращаться на завод.

— Порядок? — осведомился Еремин.

— Спасибо, все в порядке. — Просьбу Ермакова не задерживаться он понял однозначно: немедленно возвращаться в Верхнюю Тотьву. Да в этом и не было ничего неожиданного или необычного: главный инженер человек совершенно новый на заводе. — Вы не могли бы мне помочь с билетом на Свердловск? — спросил он. — Как с поездами-то? Я сюда прилетел...

— Поезда более-менее двигаются. Билет устроим. Вам когда?

— Ночные есть?

— А вы что, уже сегодня хотите уехать?

— Да. Начальство просит немедленно возвращаться, а когда просит начальство... — Он усмехнулся и взялся за портфель.

— У нас так не бывает, — остановил его Еремин. — Сейчас принесут чаек, а потом доставим вас по назначению. Вам в обком?

— Да вроде без надобности, — сказал Шумиллов неуверенно. — Разве что доложить и отметить командировку? А вообще-то в больницу. — И рассказал Еремину о своем несчастье.

— Жена поправится, — сказал Еремин, — у нас хорошие доктора. А дочка потерялась, наверное, во время бомбежки. Это часто бывает.

И в самом деле, подумал Шумиллов, почему я не учел и такой возможности? Скорее всего, дочка именно потерялась. Жена была ранена, ее подобрала санитары (он так и подумал — «санитары»), а дочку другие люди. Надо, значит, искать. Она где-нибудь в детском доме.

Странно, но в тот момент ему не явилась в голову элементарная мысль, что никто не знает фамилии дочки, чья она, а сама она об этом не скажет. Она, в сущности, никто, просто ребенок, оставшийся без родителей, один из многих-многих тысяч...

К тому времени, когда Шумилов приехал в больницу (он все же заглянул в обком, где ему сказали, что гостиница заказана, так что, если он не уедет сегодня, ночлег обеспечен, а за талонами на питание просили зайти позднее), профессор Харченко уже осмотрел жену. Он оказался подвижным, несколько суетливым и рассеянным старичком, каким Шумилов отчего-то и представлял его. Седая борода клинышком, маленькое, как бы сжатое временем лицо, но глаза живые, пронзительные. От его взгляда некуда было деться. Он сидел напротив Шумилова в кабинете заведующего отделением и барабанил холеными пальцами по столешнице. Оба долго молчали. Шумилов боялся спрашивать, а профессор не знал, какой тон взять в разговоре с этим странным человеком. Да, да, именно странным, потому что уж очень много шума вокруг его безнадежно больной жены. Профессору лично звонили из обкома, просили ее посмотреть, сделать все возможное, а в больнице он узнал, что и сюда ее доставили опять же по распоряжению высокого начальства. Кто же он есть, этот молодой человек?..

— Простите,— наконец заговорил профессор,— я не расслышал вашего имени-отчества?..

— Антон Игнатьевич.

— Ага, теперь запомню. Прекрасное сочетание, должен вам доложить, молодой человек. Знаете ли, родители часто забывают о том, что когда-то их дети станут взрослыми и что их будут именовать по имени-отчеству. Вот и живут на свете Генрихи Евлампиевичи!..— Он хохотнул и стрельнул своими острыми глазками в Шумилова.

— Чуть не забыл, профессор. Вам записка.

— От кого? — насторожился Харченко, подумав, что еще объявилось высокое начальство.

— От доктора Левина.— Шумилов протянул записку. Можно было бы теперь и не отдавать, раз все устроилось, однако он подумал, что в записке, быть может, говорится не только о его жене.

Харченко быстро пробежал записку глазами.

— Где он, как живет?

— В Верхней Тотьве, это на Урале. Работает главным врачом.

— Прекрасный клиницист, должен вам доложить. В вашей, как вы сказали?..

— Верхняя Тотьва,— улыбнулся Шумилов.— Но я тоже приезжий.

— Вот как? Откуда?

— Мы с доктором Левиним земляки.

— Ах, вы даже ленинградец! — почему-то удивился Харченко. И вдруг изрек: — А я не Иисус Христос. Да, не Иисус, молодой человек. Вот вы кто?

— То есть?..

— Генерал, нарком, председатель чего-нибудь...

— Я инженер,— усмехнулся Шумилов и не сказал, что директор завода.

— Допустим. Допустим, что вы просто инженер. Я, знаете ли, все могу допустить, мне уже можно. Возраст позволяет. Вы все знаете в этом своем... инженерном деле?

— Профессор, у меня очень мало времени, я сегодня же должен выехать обратно,— сказал Шумилов.— Не надо играть со мной в прятки.

— Ну, голубчик вы мой, из этого возраста, когда играют в прятки... — Он опять стрельнул глазами.— Что вы хотите от меня услышать? — Он перестал барабанить пальцами и привстал, навалившись выпирающим брюшком на край стола.

— Правду.

— Все хотят знать правду,— усмехнулся Харченко,— однако при этом каждый надеется, что правда эта окажется приятнее действительности. И вы надеетесь, хотя я вижу, что человек вы мужественный и сильный. Не спорьте со мной, спорьте со своими подчиненными! Но, позвольте вас спросить, какая же это правда, если она украшена новогодними гирляндами?.. А?..

— Я ни на что не надеюсь,— сказал Шумилов.— Я хочу знать правду и все.— Его начинала раздражать манера профессора вести разговор.

— А вот и напрасно не надеетесь, напрасно, голубчик. Надежда — величайшая сила! Вы не задумывались об этом? Напрасно.

— Я задумывался.

— Вот как? Очень интересно. И к какому же выводу вы пришли?

— Самообман, самообольщение,— ответил Шумилов достаточно резко.— И, если я правильно вас понимаю, положение моей жены тяжелое?

Харченко отвел глаза и снова начал барабанить пальцами.

— Перестаньте вы стучать! — вдруг взорвался Шумилов.

— М-да, с вами играть в эти, в прятки, не надо, — проговорил профессор и сел, сложив руки на животе. — Положение тяжелое, тяжелее не бывает. Вы это хотели знать?

— Ее можно забрать из больницы?

— Ни в коем случае. В настоящее время она нетранспортабельна. И куда вы ее заберете, в эту вашу... Тутьву?

— В Свердловск, например. Все-таки ближе.

— Не знаю, не знаю, голубчик. Пока — нет. Дальше посмотрим. Должен также заметить вам, молодой человек, что для вашей супруги абсолютно безразлично, будете вы близко от нее или далеко. Очевидно, я покажусь вам циником, что, к великому сожалению, среди медиков не редкость, но в данном случае, голубчик... Опять запамятовал ваше имя-отчество...

— Не имеет значения, — сказал Шумилов.

— Ладно, не имеет так не имеет. Ваша супруга... Она, знаете ли, пребывает в некоем ирреальном, созданном ее больным воображением мире, м-да. Действительность для нее уже не существует, и в этом — поверьте моему опыту — ее счастье.

— Какое же это счастье, профессор? — Он подумал, что от рассуждений этого знаменитого профессора и впрямь пахнет цинизмом.

— Ее счастье в незнании, дорогой Антон Игнатьевич, — сказал Харченко, и тут Шумилов подумал, что он актерствует. — Да-да, именно в незнании. Она не подозревает о том, что больна. Ей спокойно, хорошо. Я распорядился, чтобы ей принесли куклу... — Он осекся и взглянул на Шумилова виновато.

— Я все понял, профессор. Мне можно ее увидеть?

— Можно, нельзя — это все за пределами необходимости и никакой приятности вам не доставит. Однако это ваше право, и, если вы настаиваете, я не против.

В палату Шумилов не входил. Он постоял только у дверного проема (собственно дверей не было), наблюдая, как жена играет с куклой. Она укладывала куклу спать, напевая колыбельную («Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни...»), напевая, как показалось Шумилову, вполне осмысленно. И он не выдержал, оклик-

нул, позвал жену, сначала тихо, шепотом почти сказал «Антошка!..», потом громко, почти в крик, однако жена не отреагировала, не повернулась даже на голос, продолжая убаюкивать куклу, и вдруг сердце пронзила внезапная острая боль, точно кольнули шилом, Шумилов пошатнулся, понимая, что сейчас упадет, и стал искать глазами, за что бы хватиться, придержаться, и вот тут-то жена на мгновение оторвалась от куклы, намертво вцепилась бессмысленным, чужим взглядом в Шумилова и закричала что-то нечленораздельное (крик этот был похож на вчерашний, который Шумилов слышал за дверями), прикрывая своим телом куклу. Шумилова прошиб пот. А может, он вспотел не от страха, хотя крик был именно страшный, но от боли в сердце, которая, сделавшись не такой острой, колющей, все же не отпускала совсем, отзываясь в кончиках пальцев...

Кто-то взял его под руку, кто-то сказал «пойдемте», потом этот же кто-то давал ему мензурку с валерьянкой, но все было как в тумане, Шумилов не различал ни лиц, ни голосов, он просто слышал голоса, которые были не женские и не мужские, голоса вообще, он даже не почувствовал, когда ему делали укол. Он пришел в себя через полчаса в кабинете, где они разговаривали с профессором Харченко.

Теперь он лежал на диване, на котором раньше сидел. Рядом, на стуле, сидела медсестра.

Во рту было сухо, чуть кружилась голова, ноги казались ватными, чужими, но боль отпустила.

— Извините, — сказал он, плохо владея языком. И тоже сел.

Сестра налила из графина воды и подала Шумилову. Он жадно, стуча зубами о край стакана, выпил теплую невкусную воду.

— Не болит?

— Уже нет. — И попытался встать, однако ноги не слушались, они были как бы сами по себе. — А, черт!.. — ругнулся он.

— Вы сидите, сидите, — сказала сестра. — Это скорей пройдет.

Он хотел спросить, что с ним произошло, но догадался, что лучше не спрашивать, все равно она ничего не скажет. Похоже, в этой больнице стараются ничего и никому не говорить, даже врачи. А сестрам, подумал он, наверняка запрещено.

— У вас был сердечный приступ, — сказала она. —

Вы пока не вставайте, я позову профессора,— и вышла, сочувственно улыбнувшись ему.

Профессор вскорости явился в сопровождении другой женщины.

— Таким вот образом, голубчик,— проговорил Харченко, заметно нажимая на «голубчик». — Это заведующая отделением и лечащий врач вашей супруги. Прошу любить и жаловать.

— Здравствуйте,— она подала мягкую, теплую руку.— Ирина Васильевна. Пастухова.

— Вы побеседуйте, а мне пора,— заспешил Харченко.— У меня консультация в госпитале. Желая здравствовать! — Он по-птичьему склонил голову, подхватил свой раздутый старый портфель и вышел, не протянув Шумилову руки.

— Дмитрий Сергеевич вам уже все рассказал?.. — не то спросила, не то сказала Ирина Васильевна.— Мне, собственно, добавить нечего. Это большая, огромная удача, что Дмитрий Сергеевич здесь.— В глазах ее светились восторг, почитание.— Он крупнейший специалист. Я училась по его учебнику.

— Это действительно здорово,— усмехнулся Шумилов.— Он помог чем-нибудь моей жене?

— К сожалению, вашей жене... — Она отвернулась.

— Извините меня,— сказал Шумилов искренне,— не хотел никого обидеть. И спасибо вам за заботу.

— Это вам спасибо. Если бы не вы и не ваша жена, мы вряд ли заполучили бы Дмитрия Сергеевича на консультацию. А так он посмотрел еще троих тяжелобольных. И позволил обращаться к нему в дальнейшем. А вашу жену он будет наблюдать постоянно.

— Тем троим он помог? — спросил Шумилов.

— Да,— сказала она, опуская глаза.— Назначил лечение. Мы бы, наверное, не справились.

Они договорились, что Ирина Васильевна будет регулярно сообщать Шумилову о состоянии жены, а как только это будет возможно, ее переведут в Свердловск. Конечно, если он настаивает на этом. Он спросил, не нужно ли что-нибудь от него,— лекарства, может быть?..

— Вы не беспокойтесь, ваша жена получает все необходимое.

— А как с питанием?

— Питание, сами понимаете, неважное. Но ей хвата-

ет. Она почти ничего не ест. Ей кажется... — Тут Ирина Васильевна засмушалась чего-то.

— Я знаю, ей кажется, что она очень растолстела?

— Да,— вздохнула Пастухова.— Ей бы что-нибудь... калорийное, вкусное.

— Я могу прислать кое-что. Как это сделать?

— В общем-то, можно прямо на больницу,— сказала она.— Но... мне как-то стыдно говорить об этом... может быть, знакомым, а они будут приносить сюда?

— У меня нет в Ярославле знакомых. Жена оказалась здесь случайно. Кстати, Ирина Васильевна, а каким образом она попала к вам?

— По-моему, позвонили главному врачу. То ли из облздрава, то ли из обкома партии. Я точно не знаю. А посылки, если вы доверяете, присылайте на мой адрес.

— Вас это не затруднит?

— Нет, что вы,— сказала Ирина Васильевна.— А сюда... Я боюсь, что вашей жене мало что достанется. Люди ведь разные, а жизнь тяжелая.

— Я понимаю.

— Вот мой домашний адрес.— Она записала адрес и протянула Шумилкову.— Хорошо бы прислать ей приличное белье, чулки, халат... У вас дома, наверное, сохранились ее вещи?

— Разумеется,— сказал Шумилов.— Я немедленно все вышлю.

В тот же вечер он выехал из Ярославля.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Конечно же, вся Верхняя Тотьва знала о том, что случилось, с женой Шумилова и зачем он ездил в Ярославль. На него смотрели с сочувствием, он был окружен как бы повышенным вниманием людей, и это, по правде сказать, было малоприятно. Но тут уж ничего не поделаешь, понимал Шумилов, а выяснять, кто распустил слухи, было бы и вовсе глупо и бессмысленно. Достаточно того, что велись разговоры по телефону, не зря же, в самом-то деле, на коммутаторе висел плакат: «Не болтай по телефону — болтун находка для шпиона!»

Все это грустно и смешно, но все это и есть жизнь.

Тотчас по возвращении в Тотьву Шумилов пошел к

Кирпичниковым и попросил Марию Ивановну купить на рынке — самому было неловко — халат, чулки и все остальное. То есть белье. И тут вот выяснилось, что он не знает ни размера чулок, какие носила жена, ни размера лифчика. Вообще ничего не знает.

— Туфли какой размер она носит? — спросила Мария Ивановна с укоризной.

— По-моему, тридцать шестой. Или тридцать седьмой?..

— Хорош муж, нечего сказать.— Мария Ивановна покачала головой.— Ладно, с чулками разберемся. Теперь халат. Она высокая?

— До подбородка мне.

— Полная, худенькая?

— Вообще средняя, но сейчас сильно похудела.

— Блондинка, брюнетка? Какого цвета глаза?

— А это зачем?

— Нужно же подобрать халат, чтобы был ей к лицу! — удивленно сказала на это Мария Ивановна.— Что вы за народ, мужчины. Любите красивых, а сами...

— Русая она,— сказал Шумилов.— А глаза серые.

— Значит, размер сорок восемь, рост третий. По цвету подберем. А вот...— Она вдруг покраснела, и тогда подал реплику Кирпичников:

— Вы как дети, честное слово! Вот ходят вокруг да около. Какие груди у твоей жены? — спросил он Шумилова.

— Коля, перестань,— сказала Мария Ивановна и посмотрела на него осуждающе. И даже головой покачала.— Как только тебе...

— Он же дурак, он же ничего не понял,— возразил Кирпичников.— У тебя спрашивают, какой размер этого... лифчика, в общем, носит твоя жена.

Тут Шумилов расхохотался невольно.

— Понятия не имею,— сказал он, пожимая плечами.

— Хватит вам,— проговорила Мария Ивановна, тоже улыбаясь.— Как-нибудь разберусь.

— Никогда и в голову не приходило...— пробормотал Шумилов.— Она сама все покупала...

— Чудак человек,— сказал Николай Николаевич.— Прожил полжизни, а может, и больше, и не знает, что лифчики бывают разных размеров...

— Да пропади они пропадом! — вспылил Шумилов. Ему было не до шуток, он устал. Устал душой, его одолевала тяжелые мысли о жене и дочери, он все чаще

ловил себя на том, что думает о жене в прошедшем времени, и эта дикая, страшная несуразность, что вот она жива и никто не говорил ему, что может умереть, а он уже думает о ней, как об умершей, лишала его покоя...

Надя жалела его. И, как всякая любящая женщина, больше других понимала. Или думала, что понимает. Очень ей хотелось облегчить его страдания, отвлечь как-то от тяжелых мыслей, однако сделать этого она не умела, и все получалось наоборот. Она занимала Шумилова — когда он бывал дома — рассказами о школьных делах, о ребятах, уверенная, что так ему легче будет переживать несчастье, не подозревая, что своими рассказами только тревожит живую, кровоточащую рану. Он терпеливо выслушивал Надю, поддакивал именно тогда, когда нужно было поддакивать (это он умел — слушать вполуха, но слышать при этом все), хотя мысли его были далеко-далеко, и больше всего ему хотелось встать и уйти. Он не делал этого единственно потому, чтобы не обидеть Надю, понимая, что старается она из самых лучших и даже возвышенных побуждений.

Ни она, ни Анна Тихоновна, ни Михаил Иванович — никто не спрашивал его ни о чем, когда он вернулся, и вот за это он был благодарен им.

Как-то он колол дрова на дворе. Он любил колоть дрова, а пилить и складывать в поленищу терпеть не мог, поэтому дрова привозили уже распиленные, а складывала в поленищу Надя.

Он устал немного и присел на чурбан перекурить. Некоторое время наблюдал за Надей, как она аккуратно, полешку к полешку, словно возводит стену, складывает дрова, потом позвал:

— Посидите, Надюша, отдохните. Успеется, работа ведь не волк. — И усмехнулся горько, потому что не любил эту «мудрость».

Надя поискала глазами, куда бы сесть. Он встал, уступая ей место, а для себя принес другой чурбан.

— Антон Игнатьевич, дайте и мне папиросу, — вдруг попросила Надя.

— Зачем?

— Хочу попробовать.

— Совсем не обязательно, — сказал он неодобрительно и затоптал свой окурок. — Курящая женщина... — И поморщился.

— А у нас в школе многие женщины курят, особенно эвакуированные. Говорят, табак нервы успокаивает.

— Вздор, еще один самообман. Да и зачем вам-то нервы успокаивать, Надюша?

— Но вы-то курите.

— Я — мужик. Мужику вроде положено. Хотя тоже ничего хорошего. А что это давно не видно Николая Антоновича? — спросил он.

Это был учитель физики и математики, который время от времени заходил к Наде вроде как по делам, а в действительности придет, посидит молча и уходит. Слепой бы увидел, что он влюблен. Парень ничего себе, симпатичный даже, только сырой какой-то, болезненный, и вид у него отчего-то всегда виноватый. Впрочем, он в самом деле был нездоров, поэтому и на фронт не взяли.

Надя не ответила.

— А как ваши пионеры? — спросил тогда Шумилов, чтобы замаять неловкость. — Собрали деньги на танк?

— Собрали.

— Теперь на что будете собирать?

— Теперь?.. — Надя пристально так, внимательно посмотрела на Шумилова, и было в этом ее взгляде что-то новое, чего прежде он не замечал, и он понял, что она просто повзрослела, что это уже не девочка, но женщина, и говорить с нею надо всерьез.

— Извините, — сказал он.

Она кивнула.

— Сегодня о Пушкине разговор зашел. Один мальчик из четвертого класса спрашивает... — Она чему-то улыбнулась, а Шумилов в это время подумал, что нужно будет послать что-нибудь и для самой Ирины Васильевны, хотя бы пару банок тушенки, что ли. Ведь тоже, наверное, впроголодь живет. — Вам неинтересно слушать, Антон Игнатьевич? — улыбка погасла на губах Нади.

— Интересно, — откликнулся он. — И я очень внимательно слушаю.

— Непохоже.

— Не обращайтесь внимания, это кажется, что я не слушаю. Так что же спросил у вас мальчик?

— Ваня — мальчишка зовут Ваня Чернов — спросил, почему надо любить Пушкина, если он был богатый и у него были крепостные крестьяне. Как вам это нравится?.. И еще ведь обосновал свой вопрос: почему же, говорит, других помещиков мы не любим, а его любим?

— А что, Пушкин действительно был помещиком и имел крепостных?

— Имел, имел, Антон Игнатьевич. Как будто вы этого не знаете!

— Честное слово, не знал. Не думал. Если честно, я и Пушкина мало знаю. Так, кое-что читал.

— Вы это серьезно? — неподдельно изумилась Надя.

— Вполне. Я вообще к литературе отношусь без должной симпатии и совсем без почтения. Удивлены?..

— Очень.

— Мне кажется, Надя, что жизнь, реальная, окружающая нас с вами действительность, интереснее и мудрее самой гениальной литературы. Но это к слову. Возможно, в этом я и не прав. Что же вы ответили умному Ване?

— А что бы ответили вы, Антон Игнатьевич?

— У меня о Пушкине не спрашивают, — рассмеялся Шумилов. — У меня спрашивают о других вещах.

— И о каких же?

— О разных, Надюша. Например, где взять хлеба, чтобы накормить голодных. Вот даже где достать дрова, хотя вокруг тайга. А насчет Пушкина... Ей-богу, ничем помочь не могу.

— А по-моему, вы просто смеетесь надо мной, Антон Игнатьевич, — с обидой проговорила Надя. — Просто не хотите отвечать на мой вопрос; вот и все. А сами отговариваетесь.

— А вы упорно хотите, чтобы я ответил и попал впросак? Хорошо, извольте. Я бы сказал этому мальчику, что Пушкин — гений, гордость России. А гений... — Он на минутку задумался. — Да, гений потому и гений, что его нельзя понять. И нельзя объяснить, что в нем хорошо, а что плохо. Он сам по себе, вне обычных представлений о добре и зле. Во, гений — неподсуден! То есть его нельзя судить по тем законам и меркам, по которым мы судим простых смертных.

— А говорили, что не любите литературу и не знаете Пушкина.

— Не знаю и не люблю. Но это разные вещи. Мое незнание, Надя, не делает того же Пушкина хуже, менее гениальным. Скорее, оно делает хуже меня. Такой ответ вас устраивает?

— Меня, пожалуй, — сказала она задумчиво. — А Ваню Чернова... Надо сложить дрова, скоро будет темно. — И она поднялась.

— Давайте сложим,— тоже поднимаясь, проговорил Шумилов.— А этому Ване в следующий раз скажите, что, когда любят, не спрашивают ни себя, ни других, за что именно любят. Просто, скажите, любят, и все. Или уж не любят. Кому как повезет.

— Тут вы правы,— сказала Надя. Она бросила полено, которое собиралась положить в поленницу, повернулась резко и ушла в дом.

М-да, подумал Шумилов, провожая ее взглядом. Кажется, пора съезжать с квартиры, дело, похоже, зашло слишком далеко. Так продолжаться не может и не должно. Глупая девочка, она еще не научилась бороться с собой, не научилась скрывать свои чувства от постороннего глаза, и это причиняет ей и будет дальше причинять душевную боль. Она вся открытая, вся на виду... А может, так и надо? Ведь это прекрасно — любить. Но почему меня, зачем меня?.. Я не имею права оставаться с нею рядом, это аморально, безнравственно.

Он сам с каким-то тупым остервенением стал укладывать поленья и не заметил, как появился на дворе Михаил Иванович. Вдвоем они управились быстро. И сели покурить. Михаил Иванович все примеривался, прицеливался все, как бы половчее и похитрее начать разговор, ради чего он, собственно, и вышел помочь Шумилову. Все он видел в окно, все понял, а когда Надежда вообще ушла из дому (Шумилов не обратил внимания, занятый работой), понял, что сколько ни откладывай неприятный разговор, а его не избежать. Начать бы только...

— Вот думаю, Игнатьич,— начал он издаലെка,— мужики гибнут на войне — это-то ладно, это сам бог велел, потому как от бога же и заведено, чтоб мужик дом свой, бабу свою и детишек защищал. А война, она война и есть. Тут, чтоб не убивали, никак нельзя. Ты-то что мыслишь?

— Все правильно, Михаил Иванович. За исключением самой войны.

— Это другой разговор, я не об том. Я про что?.. Про то, что бабы наши и деташки за что, за какие такие грехи горе мыкают? Дети без отцов — худо, Игнатьич, сильно худо. А бабу взять? Что она без мужика? И не баба вроде получается, а незнамо что, работница в своем же дому. В прежние времена, как хошь, воевали по справедливости: сойдутся мужики, порубят-поколют друг дружку и расойдутся по домам...

Шумилов плохо понимал, куда клонит Михаил Иванович, то есть совсем не понимал этого, однако догадывался, что разговор он затеял неспроста. И путается в своих же мыслях тоже не просто так. Волнуется сильно, никак не может высказать то, что его беспокоит.

— Гляжу я на тебя, Игнатьич, ох и сильный же ты мужик! Столько бог дал тебе силы, что и на пятерых достало бы. А покою нет тебе. Мучаешься больно ты, а от мучений вся сила уходит неизвестно куда. А жизнь, Игнатьич, она своего требует, и от нее никуда не схоронишься, не-ет.

И тогда Шумилов понял все. Неприятно ему сделалось, однако и обидеться он не мог: родительская забота — святое дело.

— Не надо,— сказал он.— Я вас понимаю, Михаил Иванович, не надо больше ничего говорить.

— А спросить можно?

— Спросить можно.

— Жинка-то красивая у тебя?

— Красивая, Михаил Иванович.

— Это ясное дело, что красивая. Чтоб такой-то мужик на некрасивой женился!.. Горе-то какое, господи. Ну, обойдется все, Игнатьич, поверь ты мне, что обойдется.

— Надеюсь,— сказал Шумилов.— Ваша дочка тоже очень красивая.

— Это верно, что тоже красивая, а вот счастья бог не дал.

— У нее все впереди, Михаил Иванович. А людей хороших на свете много.

— Тебя послушать, так люди все хорошие,— горько усмехнулся Михаил Иванович. И в голосе его послышалась тоска.— Да кабы так-то было! Ты прости меня, Игнатьич, а только сердце наше с матерью совсем изболелось... Как погляжу на Надежду, боязно делается...

— Перееду я от вас,— сказал Шумилов.— Так будет лучше.

— Как сам знаешь, Игнатьич. Может, оно и вправду так-то лучше. Только христом-богом прошу тебя, чтоб Надежда про наш с тобой разговор не прознала. Пушай промеж нас и останется, мужики же мы, Игнатьич, язви его в душу! А нас уж не забывай, заходи когда, мы завсегда рады будем!

По правде сказать, Шумилов думал, что Анна Тихоновна станет уговаривать его остаться, не переезжать, однако на этот раз он ошибся. Скорее всего, они с Михаилом Ивановичем все обговорили. Промолчала и Надя, ничем не выдала себя, своих чувств, как будто и она была готова именно к этому. А вот Михаил Иванович, изобразив очень натурально удивление, спросил:

— Чего это ты надумал, Игнатьич? Разве места мало? Живи себе, сколько надо.

— Пожил,— сказал, натянуто улыбаясь, Шумилов,— пора и честь знать.

— А куда ж ты переезжать-то собрался?

— Заканчиваем один дом, туда и переберусь.

Строили два двухэтажных бревенчатых дома, и первый был практически готов.

— Что ж, уже и скоро?

— Через недельку.

— А я-то думал на рыбалку тебя позвать,— разочарованно проговорил Михаил Иванович.

— Сходим, не за тридевять земель уезжаю,— сказал Шумилов.

— А то погодил бы? Куда спешить-то! Поспеешь на тот свет...

— Антон Игнатьевич по принципу: долгие проводы — лишние слезы,— вставила Надя и отвернулась.

Михаил Иванович и Анна Тихоновна переглянулись тревожно.

— Вот именно, Надюша,— он позволил себе опять назвать ее так.— Привык я к вам. Не знаю даже, как буду без вас жить.

— Проживете! — усмехнулась она.— Вы проживете, вы умеете.

Анна Тихоновна выронила чашку, и чашка, глухо стукнувшись, распалась на куски.

— Вот руки-крюки,— опечалилась она.

— Ничего, мать, посуда к счастью бьется,— успокоил ее Михаил Иванович.

— Тогда надо специально бить,— сказала Надя.— Все счастья ищут, головы ломают, как добыть его, а тут все просто...— Она передернула плечами и вышла из кухни.

— Вот оно как,— молвила Анна Тихоновна.— Жили, жили...

— Забыл совсем! — востепенулся Шумилов. — Мне же к Николаю Николаевичу нужно, просил зайти. Я, наверное, заночую у него, не ждите, — и ушел. И в самом деле ночевал у Кирпичникова, благо Мария Ивановна в этот день была на дежурстве.

А спустя неделю он переехал. Сделал это утром, когда Надя была на работе. Боялся все-таки, что не выдержит она в последний момент, наговорит дерзостей, скрывая подлинные чувства, и они, чего доброго, расстанутся в ссоре. Так чаще всего и бывает в подобных ситуациях, а Шумилов вовсе не хотел ссориться с Надей. Самое лучшее и правильное, подумал он, пока им вообще не встречаться, пусть она придет в себя, успокоится, обретет способность трезво смотреть на вещи. Он почему-то был убежден, что это произойдет скоро. Вряд ли Надя любит его по-настоящему, всерьез, вряд ли. Не любовь это еще, а просто влюбленность. В таком-то возрасте женщины очень легко влюбляются, но столь же легко и забывают о своей будто бы любви. Им хочется любить, в этом все дело. А настоящее, большое чувство зреет исподволь, постепенно зреет оно и незаметно, отчего любовь и кажется неожиданной. Бывает, говорят, и любовь с первого взгляда, которая действительно налетает неожиданно, как ливень в ясный, солнечный день, однако Шумилов не верил в такую любовь.

Он сам удивлялся своей рассудительности, и было ему смешно даже, что вообще думает об этом, рассуждает о любви, ведь никогда прежде он не задумывался над такими проблемами, они как бы и не касались его, он жил в ином мире, где властвует не любовь, не чувства, но дело, конкретное, зримое дело, а тут... Все это оттого, что он давно не был близок с женщиной, решил Шумилов. То есть всего-навсего голая физиология, прикрытая от сраму кисейным словоблудием. Ну, Наде-то простиительно витать в розовых облаках с ее восторженностью и естественной потребностью любить, а ему — нет, ему непростиительно. И поэтому лучше держаться подальше от соблазна.

Ему досталась комната в квартире на втором этаже. Его соседями были Кирпичниковы, до этого они тоже жили в частном доме, только у их хозяев большая семья, так что всем было тесно и неудобно. Шумилов радовался, что они будут вместе, а Мария Ивановна притворно ворчала, что теперь квартира превратится в заводоуправление:

— Начнете тут совещания и всякие планерки проводить.

— Что вы, Мария Ивановна,— не менее притворно возражал Шумилов.— Дома ни слова о делах. Будем играть в шахматы и в подкидного дурачка.

— Да знаю, знаю я вас,— а сама думала, что, может, теперь Николай Николаевич будет больше находиться дома, раз и директор тут же.

— Клянемся,— сказал Кирпичников.

— Ты уж помолчал бы со своими пустыми клятвами. Вдвоем когда, и то голова гудит от твоих разговоров. Только и знаешь, что о работе.— И неожиданно, улыбаясь Шумилову, сказала: — Пухначева все справляется о вас и приветы передает.

— Пухначева? — искренне удивился Шумилов.— Не знаю такой.

— Ну-ну! — Мария Ивановна шутливо погрозила ему пальцем.

— Честное слово, впервые слышу. Да еще и фамилия какая-то странная:

— А Елена Сергеевна?

— Елена Сергеевна? . . . — Он и вправду не догадался, что речь идет о ней, потому что то ли забыл, то ли и вовсе не знал ее фамилии. Они не виделись с тех пор, как он относил ей деньги.— Как она поживает?

— Не лучше ли эти вопросы задать ей?

— Да ведь мы едва знакомы,— сказал Шумилов.— На базаре познакомились, я у нее пальто покупал.— Почему-то он посчитал нужным объяснить.

— А мне казалось, что вы близко знакомы,— удивилась Мария Ивановна.— Я думала, еще по Ленинграду.

— Увы. Кланяйтесь ей.

— Очень милая интеллигентная женщина. И большая скромница. Мы всё совершенно случайно узнали, что у нее тяжело болен ребенок. Она никогда не жалуется. Надо будет пригласить ее в гости. Вы не против, Антон Игнатьевич?

— А почему я должен быть против ваших гостей?

— Мало ли? — проговорила Мария Ивановна.

— Маша, а может, ты нас покормишь? — спросил Николай Николаевич.

— Сейчас, сейчас, мальчики! — И было видно по ее радостному, сияющему лицу, как она довольна, что наконец-то стала хозяйкой, а не квартиранткой.

После обеда она убежала в госпиталь проведать ра-

пенного, которого оперировала накануне, и мужчины остались одни. Тут Кирпичников и сообщил Шумилову, что на совещании в райкоме шел разговор о лесосплаве. Их завод, как все другие учреждения Тотвы, должен выделить в помощь лесозаготовителям людей и две автомашины.

— А больше ничего выделить не надо? — саркастически усмехнулся Шумилов.

— Ну что ты сразу в бутылку лезешь! Раз надо, значит, надо. Пока большая вода. ...

— Я понимаю, что вода и все такое прочее, — повысил голос Шумилов. — Но у нас-то свои дела! Да и где я возьму людей? Рожу, что ли? Так не умею, не научился.

— Не паясничай, — сказал Кирпичников. — И не распадайся, не на базаре.

— А ты меня не одергивай, я не мальчик.

— Если надо, одерну.

— Урок политграмоты хочешь провести? — усмехнулся Шумилов. — Ну, ну, давай. Заодно и за Советскую власть поагитируй. ...

— Опять ты паясничаешь, — поморщился Кирпичников. — Спаси в тебе, Антон. ... Не забывай все-таки, что ты не только директор, но и член партии. Прежде всего — член партии.

— Так ты заговорил. ... — хмыкнул Шумилов. — Не ожидал. Думал, мы в одной упряжке.

— Именно в одной. Ты что, ожидал, что я буду поддакивать тебе, говорить только приятности? Ошибаешься, этого не будет.

— Да плевать мне на приятности! — вскричал Шумилов. Он разгорячился уже не на шутку. — Я не девочка.

— Ты барышня, — сказал Кирпичников. — Капризная барышня ты, Антон. Этого не хочу, этого не буду. ... Будешь, все будешь, если необходимо. Пуп земли, понимаешь, нашелся! Между прочим. ... А, что там говорить с тобой, — он взмахнул рукой и отвернулся демонстративно к окну.

— А ты говори, говори. Режь правду-матку в глаза, чего там! Глядишь, и перевоспитаешь Шумилова, сделаешь из него пай-мальчика.

— Перестань! — повысил голос Кирпичников. — Земля, Антон, она круглая. Полюса у нее имеются, а вот пупа нет! Нету пупа. По крайней мере, ни ты, ни я в пупы не годимся. Народ — он тебе и пуп и пуповина.

Шумилов вдруг расхохотался громко.

— А из тебя, Николай Николаевич, мог бы получиться философ, — сквозь смех сказал он. — Такие обобщения! От лесосплава до общечеловеческих проблем. Аж дух захватывает, честное слово.

— А не пошел бы ты, Шумилов, к черту?

— Могу и туда, если сей муж не занимается воспитанием и нравоченнями.

Доспорить им помешала Мария Ивановна, вернувшаяся из госпиталя. Она сразу поняла, что они немножко повздорили.

— Провели первое заседание? — ехидно спросила она. — Так вот, мальчики: уходя, буду вас запираť каждого в своей комнате.

— А мы перестукиваться будем, — пошутил Шумилов.

— Не получится, Антон Игнатьевич, — рассмеялась Мария Ивановна. — Здесь стены деревянные. Да, привет от вас передала. И принесла вам ответный.

— Благодарю.

— Себя благодарите, я что.

III

Шумилов понимал, что весенний сплав — дело нескольких дней, и за эти дни нужно сплавить по реке весь лес, заготовленный в зиму. Действительно, спадет вода, сплав станет невозможным и лесокombинат останется без сырья. Все это так, но самолюбие, однако, не позволяло Шумилову просто взять и подчиниться. Если бы еще не было этого глупейшего, дурацкого спора с Кирпичниковым. И какого черта я ввязался, ругал себя Шумилов. Теперь выкручивайся. Надо выделить и людей, и машины, но надо также и не показать, что Кирпичников убедил меня в чем-то. А может, подумал он, и нет особенной нужды в помощи лесозаготовителям? Привыкли на чужой спине в рай ездить, вот и взывают, а ты крутись как хочешь, изворачивайся, как минога на сковороде, а они спокойненько, без излишних усилий и напряжения сплавят лес и отрапортуют, что все в порядке, что вон какие мы молодцы. . .

Он позвонил Гераськину и высказал ему свои сомнения, присовокупив к этому, что не худо бы снять рабочих с лесозаготовок и прислать на завод. Так и будем жить, сказал он, мы — лес рубить и сплавливать, а лесозаготовители на заводе работать.

— У вас все? — спросил Гераськин. — Позвольте, товарищ Шумилов, нам судить, есть или нет необходимость в оказании помощи на сплаве. Вы видите и знаете, что делается на вашем заводе, а мы здесь видим и знаем немного побольше вашего.

— Прекрасно! — перебил его Шумилов. — Судить будете вы, а людей посылать на сплав должен я!.. Ничего не скажешь, железная логика! Завтра, глядишь, на лесоповале прорыв образуется..

— Если будет нужно, — сухо сказал Гераськин, — пошлете людей и на лесоповал.

— Но у меня военный завод, а не артель напрасный труд. Нашу продукцию ждет фронт.

— Фронт ждет и лес, и хлеб, и многое другое.

— Нет у меня свободных людей, нет!

— Их нет ни у кого, товарищ Шумилов. Значит, надо найти из числа тех, кто менее других занят на производстве. Вода ждать не будет, пока мы с вами занимаемся выяснением. И если у вас все, прошу извинить, у меня люди. — И Гераськин отключился.

Щелчок по носу довольно чувствительный, усмехнулся Шумилов. В сущности, возразить нечего. Вода — это стихия, воде не прикажешь держаться на нужном уровне до тех пор, пока не закончится сплав. Но где, в самом деле, взять свободных людей?..

Вошел Кирпичников.

— Все воюешь, Аника-воин? Я тебе идею принес, пляши.

— Идей у меня своих полная башка, только идеи на биржу завтра не пошлешь.

— С Гераськиным говорил? — догадался Кирпичников. — Любишь ты гусей дразнить. Давай-ка лучше подумаем, откуда можно снять двадцать человек.

— Я могу двадцать раз снять и надеть штаны, — буркнул Шумилов. — Могу их даже через голову надеть, если понадобится. А вот двадцать человек мне снять неоткуда, и ты сам это прекрасно знаешь.

— А если взять людей в заводууправлении? — предложил Кирпичников.

— Голова! — воскликнул Шумилов и вскочил даже. — Нет, ты — голова! Вот нас уже двое. Потом главный инженер, Белых, Сухорученков, военпред..

— Насчет военпреда не спеши, он тебе не подчинен.

— А ты на что, комиссар? Обратись к его гражданской совести, к партийной сознательности.. — Они рас-

смеялись оба, и обонм стало легче, точно сбросили с плеч непосильный груз.— Решили, комиссар? Давай вместе покумекаем, кого можно послать на этот сплав.

— Давай покумекаем, генерал,— усмехнулся Кирпичников.

— А может, я и есть генерал! — сказал Шумилов.— Были же раньше гражданские генералы.

— Захотелось в действительные тайные советники?

— Не отказался бы,— не то в шутку, не то всерьез ответил Шумилов — Смотри, как звучит: директор завода действительный тайный советник... А?..

Они составили список, Кирпичников ушел, а Шумилов вызвал Белых.

— Вот,— протянув ему список, сказал Шумилов.— Завтра эти люди должны быть на бирже лесокombината. Сбор в семь утра у проходной. Обеспечьте стопроцентную явку и две автомашины.

— Удобно ли это, Антон Игнатьевич? — высказал сомнение Белых.

— Что удобно ли?

— Я смотрю, в списке руководящий состав, главные специалисты, чтобы не восприняли это как... вызов, демонстрацию...

— Кто это воспримет? Вы, надеюсь, нет?

— Насборот, Антон Игнатьевич, я с удовольствием поработаю, но другие могут подумать...

— Другие тоже с удовольствием поработают,— сказал Шумилов.

Наутро заводская бригада во главе с Шумиловым явилась на биржу. Однако они были не первыми. Здесь уже собрались работники районных учреждений. И сам Гераськин, и Бокаев, и военком, и прокурор, и начальник милиции, словом, все районное начальство.

— Что-то новенькое,— сказал Шумилов Кирпичникову.— Да с такой силищей можно за один день на сто верст в округе всю тайгу вырубить. А уж сплавить и сложить в штабеля — плевое дело!..

Они направились к Гераськину, который стоял в окружении начальства.

— Опаздываете, товарищи,— сухо поздоровавшись, попенял им Гераськин.— Долго спите, а мы вас ждем. Нашли людей? — обратился он к Шумилову.

И тот не знал, что ответить, и подумал, что получил еще один щелчок по носу. Значит, Николай Николаевич знал, что на биржу явится все районное начальство, по-

этому и предложил послать управленцев?.. Знал и ничего не сказал. Вроде бы не похоже это на него. После он спросил у Кирпичникова об этом, оказалось, что Николай Николаевич и сам был не меньше Шумилова удивлен, когда увидел на бирже и Гераськина, и Бокаева, и других руководителей района.

Гераськин что-то сказал Бокаеву, тот кивнул и подошел к машине. Легко взобрался в открытый кузов, огляделся и поднял руку.

— Прошу внимания, товарищи! — крикнул он.

Все затихли и теснее обступили грузовик.

— По решению районного комитета партии, — заговорил Бокаев, — сегодня проводится коммунистический субботник...

Люди захлопали, и Бокаев вновь поднял руку, призывая к тишине.

— Вы знаете, товарищи, с какими трудностями столкнулся лесокombинат в прошлом году из-за нехватки древесины. Это было в прошлом, еще мирном году. Нынешний год особенный, и мы не имеем права допустить, чтобы лесокombинат простаивал. Наш с вами патриотический долг, товарищи, помочь лесокombинату! Предлагается отработать две полные смены на сплаве в фонд обороны Родины! Это будет наш с вами вклад в дело победы над фашизмом! — И снова раздались аплодисменты, а когда аплодисменты стихли, Бокаев провозгласил: — Все силы, товарищи, на разгром врага! Да здравствует славная победоносная Красная Армия! Да здравствует великий советский народ и его авангард — ленинская партия большевиков! Ура, товарищи!.. — И он легко спрыгнул с грузовика.

Работал Шумилов с наслаждением, какого давно не испытывал именно на работе. А выбрал он едва ли не самое трудное место. Из воды бревна попадали на подъемник — «бревнотаску» — и поднимались вверх, где их складывали в штабеля, а часть сразу вывозили к пилораме. Подъемников было несколько, и у каждого, не мешая друг другу, могли работать только двое. Нужно было короткими баграми оттаскивать поднятые бревна в сторону от подъемника, чтобы не образовалось затора. Работа эта требовала сноровки, привычки и немалой физической силы. Вот сюда и захотел встать Шумилов. Начальник биржи засомневался, однако Шумилов настаивал, у него явилось настроение поработать именно

тяжело. Рабочий, в пару к которому встал Шумилов, сказал:

— Шел бы ты, паря, на укладку либо погрузку. Там все какую лишнюю минутку передохнуть можно.

— Ничего,— отозвался бодро Шумилов.

— Гляди, паря.

Цепи подъемника ползли кверху, вот уже показалось первое бревно, мокрое, скользкое, а за ним второе, третье, пятое...

Пот заливал лицо, но вытереть его было некогда. Тяжеленные, набухшие водой бревна лезли одно за другим, без всякого интервала, а чуть замешкайся — немедленно образуется затор. Придется останавливать подъемник. Гудела голова, гудели руки, ноги, гудело все тело, требуя отдыха, а бревна все ползли и ползли, и не было видно ни конца ни края...

Шумилову казалось, что время движется к обеду, когда подъемник вдруг остановился. Затих грохот, издаваемый цепями.

Он разогнулся и рукавом вытер с лица пот.

— Перекур с дремотой,— сказал напарник.— Закуривай, у кого хлеб есть.— И подмигнул Шумилову:— А ты, паря, ничего, молодцом. Здесь редко кто выдерживает.

— И так каждый день?

— А то! Сорок пять минут работаем, пятнадцать перекуриваем.

— Это что же, мы отработали только сорок пять минут?

— А ты думал?

— Часа два-три...

— Даешь, паря! — рассмеялся напарник.— За два-то часа с тебя пять шкур слезет, а про сало и говорить нечего.

Шумилов присел и достал портсигар.

— Курите,— предложил он напарнику.

— Ого! — сказал тот уважительно, увидав папиросы. И взял одну, осторожно так взял, вроде с опаской.— Ты сам-то где работаешь?

— На двадцать девятом.

— А кем?

— Так,— сказал Шумилов, улыбаясь.

— Работать ты, гляжу, умеешь, на начальство не похож в работе-то. А папиросы толстые куришь, да и начальник биржи с тобой вежливо разговаривал...

— Папиросами меня тоже угостили,— соврал Шумилов. Отчего-то ему не хотелось признаваться, кто он.— А начальник ваш, должно быть, просто вежливый, воспитанный человек.

— Ну, сказанул, паря! Да у него мат на мате ездит верхом и матом погоняет. Так завернёт, что черти корчатся. А ты говоришь — вежливый... Как твоя фамилия?

Шумилов не успел ответить. Снова загремели цепи подъемника, зашевелились рабочие, и он тоже взялся за багор.

В этот день он едва добрался до дома и завалился спать, даже не поужинав. Мария Ивановна звала выпить чаю, он отказался. На второй день было уже полегче, появилась кое-какая сноровка, а физической силы ему хватало. В обеденный перерыв, чтобы избежать распросов напарника, Шумилов пошел побродить по бирже. Все ему здесь было интересно, никогда прежде он не бывал на лесобиржах и никогда прежде не видел сразу столько спиленного леса. Горы леса.

— Неужели за год все это вы перерабатываете? — удивленно спросил он у начальника биржи, который ходил вместе с ним.— Тут ведь миллионы!..

— Три раза по столько,— с гордостью ответил начальник биржи.

— Такими темпами вы годика за три-четыре всю тайгу вырубите,— сказал Шумилов.

— Что вы, Антон Игнатьевич! Тайга, она бо-ольшая. И нам, и нашим внукам рубить не перерубить. От Тотьвы аж до самого Ледовитого океана сплошная тайга...

— Из большого маленькое сделать не трудно.

— А это как сказать. Тяжелая работа. Вы на лесоповале не бывали?

— Не приходилось.

— Не дай-то бог. Зимой по самый пуп в снегу вальщики работают, а весной да летом мошкА жрет. На заводе-то у вас полегче будет, вы уж не обижайтесь, Антон Игнатьевич.

— Какая там обида! — улыбнулся Шумилов.— Я сам убедился, что у вас за работенка.

— Как говорится, не бей лежачего.

— Вот именно,— снова улыбнулся Шумилов, вспомнив, в каком состоянии вчера добрался до дома...

На другой день в районной газете «Зауральский рабочий» появился большой репортаж, в котором подро-

но описывалось, как был организован субботник, как по инициативе райкома на него вышли все районные руководители и как хорошо; дружно трудились на лесобирже. Было в газете и два снимка: Бокаев выступает с речью перед участниками субботника на первом снимке, а на втором — две женщины закатывают бревно на штабель.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Неожиданно снова объявился Назар Тимофеевич Краснов, председатель колхоза «Большевик». И пришел он не на завод, а прямо к Шумилу домой.

— Не ждал? — спросил, широко улыбаясь. — А я вот он такой, люблю, понимаешь, чтобы неожиданно. Не прогонишь?

— Входите, — пригласил Шумилов. Нельзя сказать, что он обрадовался этому визиту, но и не выгонять же, в самом деле, человека.

— Показывай, товарищ Шумилов, свои новые хоромы. — И без того крупный — под два метра ростом и, как говорится, косая сажень в плечах, Назар Тимофеевич в мохнатой шапке и в высоких болотных сапогах, броднях, казался прямо великаном даже рядом с Шумиловым. — Небогатые хоромы у тебя, не-е, — сказал удивленно. — Высокое начальство в гости, однако, не позовешь.

— Скромно жить — долго жить, — отшутился Шумилов, гадая, зачем бы мог пожаловать Краснов.

— Ха! — рассмеялся тот могучим смехом. — Ежели скромно, так зачем долго жить-то? Меблишка казенная?

— Казенная.

— Выходит, в казенном доме живешь? — Он прищурился хитро. — Свой надо иметь, товарищ Шумилов.

— Все в свое время.

— Это верно ты сказал, что все в свое время. Гадаешь небось, для какой надобности я заявился к тебе?

— Не гадаю.

— А чего ж так-то?

— Сами скажете.

— Ишь как повернул дело! Умно. А только все равно гадаешь, по глазам видать. Да ведь и я на твоём месте тоже гадал бы. И на своём каждый раз гадаю,

когда придет кто в колхоз. Известное дело, нынче просто так в гости не ходят: или носят, или просят.— Он опять рассмеялся.— А я просить не буду, не-ет. И руки у меня пустые, сам видишь. Угощать станешь, тоже откажусь. Вот и гадай...— Он пытливо вглядывался в лицо Шумилова из-под густых разросшихся бровей, и Шумилов чувствовал себя неловко под этим взглядом.

— А почему бы нам действительно не перекусить, Назар Тимофеевич? И по маленькой у меня найдется.— Он полез в тумбочку, где хранились его небогатые запасы «на всякий случай»: пара банок свиной тушенки американского производства, сгущенное молоко, бутылка спирта, полбуханки хлеба. Вообще-то они жили коммуной, то есть Шумилов столовался вместе с Кирпичниковыми. На этом настояла Мария Ивановна.

— Никак нельзя,— отказался Назар Тимофеевич.— Со всей бы нашей душой посидел с тобой, товарищ Шумилов...

— Не называйте меня так официально.

— Насчет названия извини, оно как получится, так и назовется. А к столу не могу. Я ж на минутку забежал, поглядеть, как устроился в казенном-то дому. На совещании в исполкоме был,— дай, думаю, забегу. Вот фокусники сидят в районе: война, понимаешь, едрена мать, а они по три совещания на неделе устраивают.

— Тем более, в самый раз перекусить,— сказал Шумилов.

— Видишь ты, какое дело... На Тумане я, а он чего-то стал запаха этого не переносить.— Краснов постучал пальцем по бутылке.— Как услышит запах, ну, зверь зверем делается. Ей-богу, не вру, вот те крест.

— Он что же, обнюхивает вас?

— Зачем обнюхивает, нет,— с серьезным видом ответил Краснов.— Он издаля слышит, вот какое дело. Не нравится ему, видишь, спиртной дух, едрена мать. Хоть ты что!..

— Артист у вас Туман,— сказал Шумилов, посмеиваясь. Разумеется, он не поверил ни одному слову Краснова.— В цирк бы его.

— Не получится: он у меня самостоятельный и с норовом большим. А голых баб, которые в цирке, вовсе терпеть не может. Там все голышом, верно?.. Ладно уж, не мучайся, есть у меня к тебе дельце...— Тут он сделал паузу, не спуская с Шумилова своих колючих

глаз.— Первое — это на рыбалку хочу тебя позвать, жор нынче у-ух какой!

— Какая, к черту, рыбалка! — отмахнулся Шумилов.— И без рыбалки скоро попадешь... — он едва не сказал: «в сумасшедший дом».

— То-то и оно, что без рыбалки попадешь, а через рыбалку все наоборот, потому как отдохнешь, сил наберешься новых для пользы общего дела.

— Нет, не могу, Назар Тимофеевич. Спасибо за приглашение, как-нибудь в другой раз.

— А ты через не могу,— настаивал Краснов.— Денек-то каждый человек, однако, передыхнуть имеет право. Э-эх, на зорьке-то, да выйти на бережок, да ушицы отведать прямо с костра, чтобы с дымком, с настоящим духом лесным! Едрена мать, да это ж... — Он сладострастно почмокал губами и даже закрыл глаза.— Это тебе не американское мясо, от которого нутро наружу воротит. Я тебе так скажу: жить человек должен во всякое время, хошь и война идет, а все равно жить надо. Люди же мы, а?..

— Разве я не живу?

— Ты работаешь,— сказал Краснов.— Все только про одни дела думаешь, а голова тоже отдыхать должна, усталая-то голова думает плохо. Вот, знаешь, у меня дед был. Сам никогда никакого покою не знал и другим не давал. Просто в лютость входил, ежели кого без работы увидит. А сам-то все стучит топором, стучит, все работу какую-нибудь ищет, нет чтобы посидеть, сигарку на спокойе выкурить, даром что много за восемьдесят было. У тебя закурить-то можно?

— Курите, курите,— Шумилов протянул папиросы.

— Не-е, я свой, поядреней.— Он достал кисет и свернул «козью ножку».— Вот я и говорю,— продолжал он, закурив,— что дед-то мой так и помер с топором в руках. А после него столько делов недоделанных осталось, что и теперь делают. Я к тому, что, сколько ни делай, всех делов не переделаешь, все одно останутся. Собирайся-ка, и поехали. Завтра к обеду обратно доставлю, не сомневайся.

— Нет, Назар Тимофеевич. Давайте договоримся, что в следующий раз...

— А ежели следующего раза не будет?

— Да что мы с вами, умирать собрались?

— Умирать — не умирать, а все под богом и начальством ходим.

В это время вошел Кирпичников.

— У тебя гости, извини. Я потом.

— Заходи-заходи. Знакомься, это Назар Тимофеевич Краснов, председатель колхоза «Большевик»...

— Знакомые мы уже,— сказал Краснов, протягивая Кирпичникову руку.— Видались в райкоме, и не раз. Зову вот товарища Шумилова на рыбалку, а он ни в какую не желает. Заодно бы и хозяйство-наше посмотрел, оно полезно знать, как живет и трудится колхозник нынче. А может, и вы с нами? — предложил он.— Оно и веселее будет, и пользительнее.

— К сожалению, сегодня уезжаю в Свердловск. С Гераскиным вместе едем, на совещание в обком,— сказал он Шумилону.— А ты съезди с Назаром Тимофеевичем, почему бы и нет? Я бы с удовольствием поехал. Ничего тут за один день не случится.

— Ты что, всерьез? — удивился Шумилов, начиная колебаться. Поездка-то была заманчивая, чего уж там. А он сильно устал, даже спать стал плохо, хотя никогда прежде на сон не жаловался. Теперь же нет-нет и попросит у Марии Ивановны снотворного.

— Конечно, серьезно,— ответил Кирпичников.— Ты же совсем зеленый, посмотри на себя.

— Это я понимаю, это называется партийная власть, едрена мать! — воскликнул Краснов обрадованно.— Сбирайся, товарищ Шумилов.

— А, была не была! — Шумилов махнул рукой.— Поехали, раз такое дело.

Он позвонил главному инженеру, предупредил, что завтра его не будет, и сказал, где искать, если срочно понадобится. Взял в запас папиросы, хотел прихватить с собой и спирт, и тушенку, но Краснов остановил.

— А этого не надо, не обижай,— сказал он.— У нас все свое найдется.

Тумаң, запряженный в красивую (похоже, в старинную, барскую) двуколку, стоял у крыльца. Узнав хозяина, он высоко вскинул голову и заржал, кося глазом на Шумилова. Назар Тимофеевич потрепал его длинную гриву, сунул в пасть кусок хлеба.

— Залезай, Антон Игнатьевич, поехали, стало быть.

На выезде из города, где собственно улица с дощатыми тротуарами незаметно становилась дорогой, а вместо уютных, добротных домов, рубленных на века, потянулись унылые серые бараки, Шумилов вдруг увидел Елену Сергеевну. Она шла по обочине, и он не

узнал бы ее, да и лица не разглядел бы, если бы она не повернулась, услышав за спиной дребезжание коляски и цокот копыт.

— Остановитесь,— попросил Шумилов.

Краснов натянул вожжи, Туман, запрокинув голову и ощерившись, остановился.

— Я мигом.— Шумилов прыгнул на дорогу и пошел навстречу Елене Сергеевне, они все-таки успели обогнать ее немного.— Здравствуйте,— сказал он.

— Антон Игнатьевич? — удивилась она.— Куда это вы на лошади? Прямо как Чапаев на тачанке, право,— и улыбнулась непринужденно, открыто. Пожалуй что и радостно.

— Да вот, уговорили на рыбалку съездить. Это председатель колхоза Назар Тимофеевич Краснов.

— Хорошее дело,— сказала Елена Сергеевна.— А я домой с работы...

— Поедьте с нами! — неожиданно предложил Шумилов.

— Что вы, право... — Она смутилась, однако в голове ее не было твердой уверенности, и это заметил Шумилов.

— Свежей рыбки привезете. Кстати, как сын?

— Все так же,— она печально вздохнула.— Спасибо за приглашение, Антон Игнатьевич, но все это так неожиданно...

— Вот и прекрасно! Ну, поехали!

— Прямо не знаю, что и делать... Хочется, конечно...

— А что вас удерживает?

— Вообще-то, ничего, но как-то... — Она виновато смотрела на Шумилова.

— Пойдемте.— Он взял ее под локоть, подвел к коляске.— Назар Тимофеевич, познакомьтесь — это Елена Сергеевна, моя землячка. Она едет с нами.

— Душевно рад,— сказал Краснов, с интересом разглядывая Елену Сергеевну.— Милости просим.

— Антон Игнатьевич, вы прямо как... Ведь я не давала согласия.

— И я не давал, а вот еду.

— У нас так,— проговорил Краснов.

— Хорошо,— решительно сказала Елена Сергеевна.— Я еду. Только мне на пять минут нужно забежать домой. Когда мы вернемся?

— Завтра к обеду.

— Это точно?

— А точнее не бывает,— ответил Краснов.

Елена Сергеевна действительно вернулась не более чем через пять минут. Молча забралась в коляску, отклавшись от помощи, и Шумилов, оглянувшись (когда уже поехали), возле одного из барачков увидал ее тетку, которая из-под руки смотрела на них. Должно быть, не отпускала, подумал он, устроила сцену...

— Не обращайтесь внимания,— тихо проговорила Елена Сергеевна.— Надоело все, право.

II

Ночевали в доме Назара Тимофеевича.

Шумилов почему-то думал, что у него какой-нибудь особенный шикарный дом, а это был скромный, ничем не выделяющийся среди других, обычный деревенский дом, в четыре окна по фасаду. Двор огорожен высоким глухим забором, опять же как все прочие дворы. В доме — идеальная, едва ли не стерильная чистота, полы выскоблены до сверкающей белизны, в красном углу, над большим столом, тлела лампадка.

— Мать перед смертью наказывала не убирать,— перехватив взгляд Шумилова, пояснил Краснов.— Образа́-то я убрал, а лампадка пусть себе горит. Хозяюшка, где ты? — позвал он.

В сенях забренчало что-то, и в дом вошла хозяйка — красивая, статная женщина.

— Валентина Ивановна,— чуть наклонив голову, представилась она.— Милости просим, гости дорогие. Присаживайтесь, я скоро управлюсь.

— Чернуху подоила? — спросил Краснов.

— Подоила, подоила. Молочка парного не хотите ли отведать?

— С удовольствием,— покраснев, сказала Елена Сергеевна.— Давно не пила парного молока.

Хозяйка снова вышла в сени и принесла полную кринку пенящегося еще молока.

— А я никогда не пил парного молока,— сказал Шумилов.

Елена Сергеевна поискала глазами посуду, из чего можно было бы пить.

— А прямо из кринки,— сказал Краснов.— Так-то оно вкуснее.

— Пейте первый, Антон Игнатьевич,— предложила Елена Сергеевна.

Он сделал два-три глотка. Молоко было теплое, какое-то приторное, и Шумилов поставил кринку на стол.

— Что же мало пили? — спросила хозяйка.

— Не люблю молока.— Он в самом деле не любил.

— Зря,— сказал Краснов.— Это дело хорошее и для здоровья полезительное. Ну, раз не пьешь, пойдем покурим на дворе, откуда женщины тут управятся. У них свои дела, а у нас свои.

Он показывал свое хозяйство — хлев, абмар, огород, — свел и в баню, которая стояла на краю огорода, и Шумилов с интересом разглядывал все, он впервые был в уральской деревне, а она оказалась совсем не такой, как деревня, где жили его тесть с тещей. Ему показалось, что здесь как-то добротнее все, прочнее, по-хозяйски аккуратнее, и он сказал об этом Назару Тимофеевичу.

— Оно понятное дело. Далеко от столиц и больших городов, всегда жили своим, а раньше и вовсе глушь кругом, тайга, так что строились крепко и ладно, корни глубоко пускали. Опять же мужики в города на заработки не уходили — некуда. Свое хозяйство, стало быть, укрепляли,— объяснил Краснов.— Женщина эта, Елена Сергеевна, кто она? — спросил наконец он. И Шумилов рассказал, как познакомился с нею и о том, что у нее тяжело больной сын, что муж на фронте, а живет она с матерью мужа, которая глаз с нее не спускает.

— С самой зимы не видел ее,— сказал он,— и надо же такая встреча сегодня.— Это он сказал специально, чтобы Назар Тимофеевич не подумал чего.

— Бывает,— согласился тот.— Жизнь — штука мудреная, у ней свои повороты. Работает-то она на твоём заводе?

— Нет. Сначала работала на лесокомбинате, а теперь в госпитале.

— Доктор, выходит?

— Бухгалтер.

— Вот, едрена мать! Мне ж счетовод во как нужен. Согласится, ежели позову, как думаешь, Антон Игнатьевич?

— Это у нее надо спросить.

— У нас оно и воздух чистый, здоровый, и питание получше, чем в городе, молочко опять же для сынишки. . .

— Сын ее в больнице, в Свердловске.

— Не век там будет,— сказал Краснов.— Вообще, я тебе скажу, у нас спокойнее. Уговорю. Как хошь, а уговорю. Я это умею, а она, видать, женщина умная, должна бы понимать, что к чему.

— Попробуйте,— пожал плечами Шумилов.

Хозяйка окликнула их, позвала к столу. В сенях помыли руки и прошли в дом. Стол был накрыт в горнице, и чего только не было на этом распрекрасном столе! И огурцы, и капуста, и груздочки соленые, от которых расходился лесной дух, и самогон, разумеется, был, а посреди стола на огромной сковороде шипела яичница с салом. Рядом в миске дымилась картошка. Елена Сергеевна, словно она-то и была хозяйка, стояла возле стола раскрасневшаяся, довольная, и как-то особенно нежно, с благодарностью смотрела на Шумилова.

— Прямо султанская роскошь! — сказал он.

— Чем богаты,— молвила Валентина Ивановна.

Шумилова усадили рядом с Еленой Сергеевной.

— Спасибо вам, Антон Игнатьевич, за этот праздник,— шепнула она.

За столом говорили о разном, но больше, естественно, о войне. Выпивали мало, скорее для ритуала, да и засиживаться Назар Тимофеевич особенно не позволил: подниматься надо было до солнца, чтобы поспеть на зорьку.

Елену Сергеевну спать положили в горнице, вместе с хозяйкой, а Шумилов с Назаром Тимофеевичем устроились на полатах. Но прежде чем улеглись, мужчины вышли на двор покурить. Ночь была темная, какая-то даже густая, и оттого звезды казались неестественно, диковинно яркими и большими, почти как на юге. С околицы доносилось пение в сопровождении гармошки, громко визжали девки, время от времени подавали голоса собаки. Пахло парным молоком, навозом и еще чем-то тонким, пронзительным, незнакомым Шумилову. В хлеву вздыхала корова, во сне сладко похрюкивал поросенок. Все было внове для Шумилова, все необычно и, пожалуй, даже романтично. Он с наслаждением вдыхал деревенские запахи и запах тайги, которая была совсем рядом, начиналась сразу за поскотниной, и слушал фальшивое пение, и визг девок, пронзительный и высокий, но вовсе не пугливый, а радостный, и мир воспринимался как нечто незыблемое, воистину вечное и навсегда прекрасное, точно не было ни войны, ни крови,

точно не было человеческой трагедии, тоже вместившейся в этот мир. . .

— Хорошо у вас,— шумно выдохнув, проговорил Шумилов.

Он подумал, что нет, наверное, ничего лучше на свете, чем жить вот так просто, жить на земле и у земли, делать простое же, обыкновенное дело, чувствовать себя не гостем, а хозяином и этой земли, и тайги, и неба, и звезд — всего, что окружает человека. . . Он усмехнулся этим мыслям, потому что твердо знал: не смог бы и трех дней прожить в деревне, потянуло бы в город, в мир привычных отношений, которые определяют всю его жизнь, в мир пусть излишне суетливый и далеко не спокойный, но без которого немислимо само его существование. . .

— Слышь, Антон Игнатьевич, землицей-то как пахнет, а? . . — проговорил Краснов, точно угадывая его мысли.— Вся сила в ней, в землице. Из нее выходим, в нее и уходим. Всех примет, всех ублажит. . . А урожай нынче богатый должен быть, снегу много было, напиталась землица, соков жизненных набралась. Земля, она все равно что и баба: ежели в сок вошла, так и рождает хорошо. И старики вот говорят, что урожая надо ждать.

— Старики все знают,— не умея скрыть иронию, откликнулся Шумилов. Он не верил никаким приметам и предсказаниям.

— Все не все, а много знают,— сказал Краснов, насупившись.— Долго живут, ко всему приглядываются да на ус мотают. Вот и знают. Тут ничего хитрого нет. Там зарубка, там отметина, так и складывается одно к одному. Я всегда спрашиваю у стариков, когда пахать, а когда сеять. И не бывало, чтобы они ошиблись. В позапрошлом годе агронома нам прислали ученого, так он все по учебнику норовил. А где, спрашиваю, учебник тот составляли? . . Ага, в Москве! Выходит, что на всю Россию-матушку один учебник? Как же это? . . У каждого поля, Антон Игнатьевич, свой учебник. Там взгорок, там ложбинка. Там посуше, там посырее. Где солнышка побольше перепадет, а где и поменьше. . . Каждый свое дело должен знать, а ежели кто с налету, толку не жди, нет. С жинкой у тебя, слышал, худо? — вдруг спросил он.

— Неважно.

— Ты прости, ежели невпопад что спрашиваю.

— Ничего,— сказал Шумилов.— Ранило ее во время бомбежки, в голову ранило, теперь в больнице.

Днями он как раз получил письмо от Ирины Васильевны, очень неутешительное письмо. «Болезнь прогрессирует», — писала она (он тогда еще подумал, читая письмо, что какое-то нелепое словосочетание «болезнь прогрессирует»). Жена почти ничего не ест, ей грозит истощение; хорошо бы навестить ее, но об этом не может быть и речи.

— Да, едрена мать, — проговорил Краснов. — Горе, оно как собака привязчивая — все по пятам ходит. А эта твоя знакомая, видать, хорошая женщина, душевная и красивая, ничего не скажешь. Не-е, уговорю я ее к нам переехать. Чего ей в этом городе мыкаться? Пускай у нас поживет, да и мне нужен помощник верный. Сам-то я насчет грамотишки не очень, — он усмехнулся. — Знаешь, какой я грамотей? Читаю по складам, да и то ежели крупно написано, а писать... — он махнул рукой. — Расписываться только и умею, вот как оно, Антон Игнатьевич.

Шумилова удивило это.

— Не может быть, — не поверил он.

— Может, все может, едрена мать. А Валентина, хозяйка моя, учительницей работает в школе, образованная. Ничего, живем... Елена-то Сергеевна, однако, любит тебя, Антон Игнатьевич. И крепко любит.

— Вздор это, Назар Тимофеевич.

— Не-е, не вздор, оно же сразу видать. Женщины, я тебе скажу, хоть бы и умные, не умеют свою любовь-то прятать. Она на тебя так глядит, Антон Игнатьевич, что плакать от жалости хочется.

— Вы вроде как сватаете меня, — рассмеялся Шумилов.

— Сват из меня никакой, да и ты не жених, — сказал Краснов. — Это я к слову. А тебя не сватать надо, слышь-ка, тебя братя надо.

— Как же это?

— Просто. Ну, да я не об том поговорить с тобой хотел, Антон Игнатьевич. Ты человек образованный, начальник большой...

— Какой там большой...

— Большой, — повторил Краснов. — Разъясни мне, как я элемент отсталый и необразованный... Не перебивай, послушай! Вот сдал колхоз что положено, все поставки, значит. Потом в зиму снова сдавали, сверх плана. Надо, так надо. Мы понимаем, что для фронта это. Ты знаешь, зачем я в Тотье-то был сегодня? Не

знаешь. А крыли меня, по всем статьям крыли. Приехал уполномоченный и требует, чтобы еще сдавали хлеб там, горох и все такое. Да где ж я возьму, едрена мать?! Ну, оставили малость, само собой, а то как же?.. На семена и вообще чуть для себя, для своих людей. Так нет: отдай все подчистую. Опять же не подумай, что мы против, чтобы фронту помогать, не-а. Мы — за. Только как же оно получается?.. Возьми для примера соседний колхоз — «Ударный труд» называется. Они ж много меньше нашего сдали государству, а ведь и пашни у них, и сенокосов гораздо поболее нашего. Его, то есть председателя-то «Ударного труда», не ругают, потому как ему сдавать больше нечего, все выгреб да еле-еле госпоставки выполнил, а меня — в мать-перемать! Мы, считай, чуть не вдвое поставки перевыполнили, а вроде как отстаемые получаемся, несознательные. А что работали сознательно, что урожай вдвое получили против всех колхозов района, это, выходит, не в счет вовсе?.. Непонятно мне здесь что-то, Антон Игнатьевич. Видишь ты, какое дело отсюда получается: на кой ляд стараться, ежели все равно ни себе пользы, ни чести от других...

— Не знаю, Назар Тимофеевич, — сказал Шумилов. — Я ведь не разбираюсь в сельском хозяйстве.

— Крутишь, Антон Игнатьевич. Тут разбираться нечего. Хоть бы завод возьми. Может такое быть, чтобы твой завод сделал поболее другого, а тебя стали бы ругать, что плохо работаешь?

— Тут много разных факторов. Надо знать конкретную обстановку, какова обеспеченность производства сырьем, материалами, где какое оборудование...

— Оно, может, и так, — вздохнул Краснов, поднимаясь. — Бывает, что и на своем огороде две грядки по-разному рожают...

— Вот именно, — подхватил Шумилов.

— Именно да не именно. Ежели одну грядку обиходишь, а мимо другой пройдешь, не поглядев, тогда и именно. Ладно, Антон Игнатьевич, пошли-ка спать, поздно уже.

III

Краснов еще до света растолкал Шумилова; предупредив, чтобы тот с печи слезал тихонько. После, в сенях уже, объяснил, что женщин на рыбалку брать нельзя, у

них глаз такой особенный — сглазят, и не жди тогда улова. Шумилов попытался протестовать, говорил, что пригласили же Елену Сергеевну на рыбалку, а теперь вот бросают дома, на что Краснов сказал:

— Я в гости звал, а рыбалка не бабье дело. Да не волнуйся ты: покуда она проспится, мы дома будем с рыбкой.

Огородом, по тропке, натоптанной между грядок, они спустились к поскотине, пересекли ее и пошли берегом ручья. Рыбачить Назар Тимофеевич нацелился на старице — это километрах в трех от деревни. Когда-то здесь было русло реки Тотьвы, но река в незапамятные еще времена нашла себе новое, более удобное русло, и теперь старица лишь весной, в паводок, соединялась с рекой тем самым ручьем, берегом которого шли Краснов и Шумилов. Сейчас вода уже спала, и ручей обмелел, а местами и вовсе пересох. Назар Тимофеевич объяснил, что сюда по большой воде рыба идет на нерест.

Когда пришли на место, он стал раскладывать костерок.

— Посидим чуток, еще рановато, поплавок все одно не разглядишь в воде.

Над тайгой, наливаясь блеклым розоватым светом, занималась заря. Холодно было и сыро.

— Мальчишкой я в этом месте щуку на восемь фунтов вытащил, — рассказывал Назар Тимофеевич, раздувая огонь. — Давно это было.

— А сколько вам? — спросил Шумилов.

— Полста в прошлом году стукнуло. А щука здоровая была, чистая стерва. Зубищи!.. — Над костром поднялся высокий сноп искр, и по влажным, слежавшимся веткам быстро-быстро, точно наперегонки, побежали юркие, суетливые язычки пламени. — Ох и намучился с ней, окаянной. Силищи-то у ней знаешь сколько?.. Матерая щука и мужика в воду стащить может, ей-богу правда! А я тогда что был? Мальчишка, чинарик. Спасибо, мужики поблизости случились, подмогли. Вот с тех пор все сюда и хожу рыбачить. Только больше таких-то щук не попадалось, не-ет. А все надеюсь, вот она какая человеческая натура. А ты что же, вообще не рыбачил никогда?

— Нет, — признался Шумилов.

— А для меня рыбалка, едрена мать, пуще всего на свете удовольствие. Не часто, однако, выбираюсь теперь. Попервости, когда мы поженились с Клавдией..

Ты не удивляйся, я женатый второй раз, Клавдия-то померла годов десять назад. Сильное она недовольство выражала насчет рыбалки, ворчала все. Правда, и рыбу не ела, не любила. Болезнь, похоже, у нее такая была... — Он помешал палкой в костре, и снова над костром поднялся высокий искрящийся столб. — А ты рыбку любишь, Антон Игнатьевич?

— Я все люблю.

— Так и надо, — похвалил Назар Тимофеевич. — А места у нас привлекательные, красивые. Только комарья и мошки летом пропасть. Спасу прямо нет. Тайга, что ты скажешь. — Он поднялся и пристально поглядел на воду. — Пора, однако.

Они спустились к воде. Плес разлился широко, волюно, как с верхом наполненная тарелка, того и гляди вода выплеснется из берегов. Клубился, медленно расползаясь, туман. Солнце показалось одним краем над тайгой, и все вокруг преобразилось вдруг, ожило, повеселело, и затрещали на разные голоса пробудившиеся птицы...

Шумилов мучился с червем, никак не получалось у него насадить червя на крючок. Кое-как совладав с ним — зацепил поперек, — он закинул лесу, подумав, что пусть бы совсем не было клева, чтобы не возиться еще с червями. И все-таки неотступно и напряженно следил за пробочным поплавком, который лежал на поверхности зеркально-гладкой воды, словно нарисованный. Да и вода, застывшая в полной неподвижности, тоже казалась неживой, нарисованной.

Неторопливо вздымалось красное солнце, пробуждая жизнь. В камышах, у противоположного берега старицы, призывно крикнула утка. И тотчас ей откликнулась другая, еще, еще.

— Не клюет? — тихо спросил Назар Тимофеевич. Он расположился в нескольких шагах от Шумилова.

— Нет.

— Потерпи, сейчас начнет.

И вот поплавок чуть шевельнулся, вздрогнул едва-едва. Шумилов и не заметил бы этого, если б не побежали от поплавка круги по воде. И снова замер. Спустя какое-то мгновение еще шевельнулся и опять замер. Шумилов напрягся весь в ожидании... И прозевал все же, как поплавок ушел в глубину. Только что был — и нет его. Шумилов вскочил и дернул удочку, почувствовав рукой сопротивление. Удилище согнулось, Шумилов

потянул его на себя и вверх. Над водой взметнулось серебристое тело крупной рыбы, у Шумилова от азарта перехватило дыхание, он дернул удилище еще сильнее, и рыба сорвалась, плюхнулась обратно в воду и тотчас исчезла в глубине.

Он смотрел на остатки червя, ему не верилось, что только что, сию вот минуту на крючке была рыба, а теперь ее нет. Он торопливо стал насаживать другого червя и больно уколол палец, потому что насаживал вслепую, вглядываясь в воду, как будто надеялся еще поймать ту же самую рыбу, которая сорвалась.

— Первый блин завсегда комом,— успокоил его Назар Тимофеевич.

Следующая поклевка была удачнее: рыба, правда, сорвалась тоже, но над берегом и упала на землю. Шумилов схватил ее, красноперую, золотистую, с большими выпученными глазами, слыша отчетливо, как от волнения и радости стучит сердце.

— Ну вот, и с первым уловом тебя, Антон Игнатьевич! — поздравил Краснов.— Хороший окунь, теперь только держись, не зевай.

И правда: клев был отменный, даже Шумилов, несколько наловчившись, умудрился натаскать десятка полтора приличных окуней, чебаков, плотвы. А Назар Тимофеевич и вовсе был с отличным уловом: не говоря о разной мелочи, он взял трех лещей и крупного, граммов на восемьсот, язя. Кончился же клев неожиданно. Только что дергала рыба, хватала жадно наживку, едва крючок опускался в воду, и вдруг словно бы отрезало. Тихо стало, точно враз вымерло все...

— Айда ушицы сообразим, Антон Игнатьевич,— позвал Назар Тимофеевич.

— Я еще немного... — не поворачивая головы, сказал Шумилов. Он просто не мог оторвать глаз от поплавка, поплавок гипнотизировал его. Он давно хотел курить, но не закуривал, боясь шевельнуться лишний раз или, того хуже, пропустить поклевку.

— Заело, едрена мать? — рассмеялся Назар Тимофеевич.— Это дело такое, заядлое. Сматывайся, однако, Антон Игнатьевич, толку все одно больше не будет, теперь до вечерней зорьки. Тут так: либо клюет, либо не клюет. Задницей ничего не высидишь, сколько ни сиди, уж я-то знаю.

Он снова развел костер, почистил рыбу и повесил

котелок над огнем. Скоро от котелка пошел ароматный дух.

— Вкусно пахнет,— потянув носом воздух, сказал Шумилов.

— Отведаешь, тогда скажешь.

— Грибов здесь тоже, наверно, много?

— Есть, а как же. И грибов есть, и ягода. Тайга, она богатая.

— Пожалуй, можно кое-что и на зиму запасти для заводской столовой,— помечтал Шумилов.

— Можно, почему нельзя? Только здесь-то не очень запасов наделаешь. Надо на Гнилые озера подаваться, в тайгу самую. Там всего тьма-тьмущая. А карасей в озерах — ведрами черпай.

— Далеко это?

— Верст семьдесят будет,— подумав, ответил Назар Тимофеевич.— У тебя ж машины есть, чего тебе. А дорога ничего, проехать можно. Однако твои городские женщины, Антон Игнатьевич, навряд ли запасов наделают. Да и места глухие там, дикие. Ты бы вот подмог нам насчет ремонта техники нашей, ну еще чем сможешь... Людишек, к примеру, на уборочную подбрось, а уж я организую наших баб, они и грибов засушат-насолят, и ягод собирают. Только соль сам доставай, с солью нынче худо, сам знаешь. Вообще, можно бы такой договор нам заключить, чтобы помогать друг дружке...

— А и хитер же ты, Назар Тимофеевич,— покачал головой Шумилов.— Признайся, для этого и на рыбалку заманил?

— Хитрость-то невелика. Не я, так кто другой подъехал бы с этим делом. Ну, давай ушицы похлебаем, простынет, вкус пропадет.

— Я передам Сухорученкову,— сказал Шумилов.— С ним договаривайтесь.

— Это Федор Серафимович который, председатель завкома вашего?

— Да.

— Что он, Антон Игнатьевич, у него никаких полномочий нету...

— Дадим полномочия.

— Ну, ежели разве что так...

А уха была замечательная, какой Шумилов в жизни не пробовал, а Краснов, глядя, как он жадно, со вкусом хлебает, еще и подхваливал:

— Дымок чуешь? Чтоб дымком пахло — это самое главное дело в ухе. Без дыма уха не уха, суп получается. То бабы в дому варят, а на воздухе другое.

Котелок быстро опорожнили, и фляжку, которую Назар Тимофеевич прихватил с собой, тоже. Так что обратная дорога показалась Шумилову и вовсе легкой прогулкой.

Елена Сергеевна была на ногах, когда они вернулись в деревню. Она поднялась вместе с хозяйкой, помогала ей готовить пойло, кормила поросенка и даже, как с гордостью почти детской сообщила, она, доить корову. И нисколько не обиделась, что ее не взяли на рыбалку. Шумиллов, наблюдая за нею, удивлялся себе, как это он раньше не заметил в Елене Сергеевне столько откровенной восторженности, непосредственности, умения радоваться самым малым пустякам, не замечал добрых ее, источающих тепло глаз. А пожалуй, глаза ее были и красивые, хотя трудно, если возможно вообще, объяснить, что такое красивые глаза. Или красивая женщина. Вот парадокс, думал он: уродство объяснить можно, а красоту — нет. . .

Едва сели за стол, чтобы перекусить на дорогу, как прибежала какая-то девка. Была она вся растрепанная и чем-то явно встревожена. Увидав в доме гостей, растерялась.

— Что тебе, Марья? — строго спросил Краснов.

— Передать велели. . .

— Погоди.

Он вышел из-за стола, в сенях поговорил о чем-то с посыльной и, вернувшись, объявил, что его вызывают срочно в правление — снова уполномоченный заявился, так что пусть уж дорогие гости простят его, сказал он, но в город отвезти он их не сможет.

Прощавшись, Назар Тимофеевич ушел, сильно хлопнув дверью.

— Извелся мужик, — вздохнула хозяйка. — А вы кушайте, кушайте. Вот я еще молочка принесу. . .

Спустя полчаса под окнами остановилась телега, в которую был впряжен старый, поседевший мерин. Правил им древний старик.

Весь улов был уже уложен в корзинку и прикрыт мокрой тряпичей. Елене Сергеевне хозяйка нацедила трехлитровый бидон молока, а в последний момент поставила в телегу другую корзинку, тоже прикрытую тряпичей.

— Это гостинец вам,— с поклоном сказала она.— Не побрезгуйте. А рыбу-то сразу, как приедете, почистите, я не успела. А корзинки и посудину пришлите обратно с дедом Иваном...

Елена Сергеевна отказывалась от гостинцев, стыдно ей было принимать такие подарки, но Шумилов шепнул ей, что надо взять, а то хозяева посчитают это за обиду.

— Корзиночку-то на руки возьмите, чтоб яички не побились дорогой, оборони господи,— посоветовала хозяйка. И, чуть отступя, снова поклонилась.

— Спасибо,— краснея, поблагодарила Елена Сергеевна.— Но право, мне очень неудобно...

— Что там, пустое,— махнула рукой Валентина Ивановна.— Езжайте с богом, да навещайте нас, мы всегда рады гостям. А ты осторожнее, Иван Прокопьевич,— наказала она вознице.— Не спеши очень-то, поспеешь.

— На тот-то свет все поспеем,— отозвался возница.— А ну, пошла, милая!..— Он взмахнул кнутом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I

Торжественный вечер, посвященный Первому мая, проходил в клубе лесокомбината. Короткий доклад сделал Кирпичников, а после был праздничный концерт с участием артистов из Свердловска. Открылся концерт отрывком из спектакля «На дне».

Шумилов никогда бы не остался на концерт, не до концертов ему было, когда не хватало суток, чтобы сделать самое необходимое, но вдруг вспомнил, что до войны смотрел «На дне» вместе с женой, и решил задержаться. Впрочем, тогда они еще не были женаты, только познакомились, и Анатолия затащила его в театр, где на гастролях были москвичи, к тому же, уверяла она, Сатина играет «гениальный Кожевников, стыдно не сходить». В общем-то, Шумилову было безразлично, кто играет Сатина, однако спектаклем в тот раз он остался доволен. А возможно, не столько спектаклем, сколько тем, что рядом сидела Анатолия...

Не пожалел он и теперь, что остался. Даже его, равнодушного к театру, что-то задело. А публика была буквально потрясена — в зале собралось немало знатоков и подлинных ценителей из числа эвакуированных, виде-

ших на сцене великих актеров. Когда задернулся бедненький лоскутный занавес, все встали и долго аплодировали, хотя и было-то показано всего две сцены. Аплодировал и Шумилов.

В перерыве народ повалил на улицу. Под клуб был пересборудован обычный барак, так что ни фойе, ни вентиляциии не было и в помине. Шумилов вышел одним из последних, он не любил толкотни, давки и, бывая в кино — тоже не часто, — всегда переживал, когда зал опустеет, чтобы выйти свободно.

У выхода его остановил Борисов, директор лесокombината.

— Кажется, все на уровне? — сказал он. — Николай Николаевич сделал хороший доклад, без лишних слов. Все как надо.

— На то он и комиссар, чтобы делать хорошие доклады. Да, послушай, каким образом ты заманил сюда артистов?

— А что? — насторожился Борисов. — Мне говорили, что это хорошие артисты. Один даже из Москвы.

— Они что, на гастролях здесь?

— К праздникам по области разослали, вот и к нам прислали. Слушай, может, потом заглянем ко мне? — предложил Борисов. — Отметим маленько...

— Посмотрим, — сказал Шумилов. — В принципе я не против. Увидимся еще.

На улице, в сторонке, стояла Елена Сергеевна. Была она в стареньком, сильно поношенном демисезонном пальто, из-под которого выглядывало нарядное вечернее платье, и в туфлях-лодочках на высоком каблуке. Значит, не все променяла на еду, подумал Шумилов. Женщина есть женщина. Почему-то раньше он не обратил внимания, что и другие женщины были принаряжены.

Он подошел к ней.

— И вы здесь? — сказал он и понял, что удивление его неприлично. Ну в самом деле, почему бы ей и не быть здесь. — Здравствуйте, Елена Сергеевна.

— Здравствуйте, Антон Игнатьевич. Дали приглашительный билет, а я так рада, если бы вы знали!.. И еще «На дне» с Кожевниковым, это же настоящий праздник! Я ведь заядлая театралка, — призналась она, отчего-то смущаясь.

— А я нет, — сказал Шумилов. — Остался только потому... Постоите, как вы называли артиста?

— Кожевников, а что?

— Он не москвич?

— Москвич,— сказала Елена Сергеевна.— Наверное, в Свердловске в эвакуации. Надо же, такое везение. Никогда бы не подумала, право, что в Верхней Тотьве, во время войны, увижу самого Кожевникова. А вы почему спросили о нем?

— Да понимаете... Однажды жена затащила меня в театр, мы смотрели именно «На дне», и тогда тоже играл этот Кожевников.

— Вот это совпадение, Антон Игнатьевич! А ваша жена...— Елена Сергеевна замолчала и опустила глаза. Шумилов понял, что и она знает о случившемся с его женой.

— Пройдемтесь? — позвал он, беря ее под руку.

— Давайте пройдемтесь.

Они свернули за угол клуба и тут увидели артистов, троих. Среди них был и Кожевников.

— Вот он,— тихо сказала Елена Сергеевна.

— Хотите познакомиться? — неожиданно предложил Шумилов.

— Что вы, Антон Игнатьевич?! — она испуганно отшатнулась.

— Бросьте вы, ей-богу. Подумаешь, артист. Вы знаете, как его зовут?

— Павел... Павел Петрович, только я...

— Вздор,— сказал Шумилов решительно. И потянул Елену Сергеевну за собой.

Артисты уже обратили на них внимание, смотрели с любопытством и улыбались.

— Здравствуйте, товарищи,— громко, уверенно сказал Шумилов, подходя к ним. Он поочередно всем трем протянул руку.— Моя фамилия Шумилов, я директор двадцать девятого завода...

— Очень приятно,— сказал один из артистов, который и оказался Кожевниковым.

— Вот пришли поблагодарить вас за прекрасный вечер. А заодно и познакомиться. Кто из вас Кожевников Павел Петрович?..

— Антон Игнатьевич!.. — вспыхнув, проговорила Елена Сергеевна.— Вы же разговариваете с Кожевниковым...

— Прошу прощения, не знал.

— Ничего,— сказал Кожевников, улыбаясь Елене Сергеевне. Его товарищи, пробормотав что-то, ушли.— Я слушаю вас, товарищ... Шумилов?

— А что меня слушать, спасибо вам.— Он достал папиросы, предложил Кожевникову.

— С удовольствием закурю хорошую папиросу,— не отказался тот.

— Вы сегодня играли просто удивительно,— тихо сказала Елена Сергеевна.— Я видела вас в роли Сатина и до войны, но сегодня... Вы извините нас.

— Бог с вами, я рад,— он чуть склонил голову.

— Павел Петрович, вы не откажетесь вместе с нами отметить праздник? — предложил Шумилов.— Всего несколько человек, вот мы с Еленой Сергеевной, директор местного лесокомбината, мой парторг. Он как раз делал доклад...

— Не отказался бы,— ответил Кожевников,— но... Во-первых, мы сегодня же уезжаем, нас ждут в другом месте. Во-вторых, я ведь не один, нас восемь человек.

— Восемь так восемь, всех примем.

— Увы, увы. Давайте как-нибудь в другой раз, а?..

— Другого раза может и не быть,— сказал Шумилов.

— А я гляжу, вы пессимист!

— Скорее, реалист,— сказал Шумилов.

— Значит, жестокий реалист. Однако прошу прощения, мне пора,— и Кожевников, церемонно поклонившись, ушел.

— Кажется, я сделал что-то не так...— пробормотал Шумилов.— По-моему, он обиделся? Или мне показалось?

— Он заслуженный артист республики, орденоносец,— сказала Елена Сергеевна.

— Ну, хотел пригласить в гости, Борисов звал. Что же в этом плохого?

— Наверное, ничего плохого в этом нет. Просто... Вы такой непосредственный, искренний, не все это понимают.

— А вы? — спросил Шумилов.— Вы понимаете?

— Тоже не сразу поняла,— призналась Елена Сергеевна.

— А сразу решили, что я обыкновенный хам? — рассмеялся натужно он.

— Не надо, Антон Игнатьевич. Право, не надо так говорить. Вы же знаете, как я отношусь к вам.

— Интересно, узнает этот заслуженный артист меня или нет, если мы встретимся лет этак через двадцать?

— А вы его?

— Я — да, — сказал Шумилов. — У меня память отличная.

— А у артистов профессиональная память на лица. Нам не пора?

На клубное крыльцо вышла старушка с колокольчиком, однако звонить не стала, просто объявила, чтобы зрители возвращались в зал, будет продолжение концерта, сказала она.

— Вы идите, Антон Игнатьевич, а мне что-то не хочется. Душно в зале, голова разболелась. — Елена Сергеевна покусывала губу.

— Я тоже пойду домой, — сказал Шумилов. Он чувствовал себя прескверно после случившегося, и ему тоже не хотелось возвращаться в зрительный зал.

— Но вам, наверное, положено быть там?

— Ничего. Торжественная часть кончилась.

— А доклад делал муж Марии Ивановны? — спросила Елена Сергеевна.

— Он самый.

— Симпатичный мужчина, — сказала она. — Мария Ивановна тоже приятная женщина.

— Очень.

— Проходите, проходите в зал, не то запру двери и не пушу тогда, — поторопила их старушка с колокольчиком.

— Запирайте, бабуся, — махнул Шумилов рукой.

— Что же так-то, али концерт не пришелся?

— Пришелся, бабуся, просто времени нет.

— Это тогда другое дело, раз время нету, — с пониманием проговорила она и скрылась, закрыв за собой дверь.

Шумилов и Елена Сергеевна остались возле клуба вдвоем.

А клуб, как и лесокombинат, находился на отшибе, километрах в двух от города. Никакого транспорта, разумеется, не было — большинство рабочих лесокombината жили здесь же, в барачном поселке, — и они пошли пешком. Молчали оба, чувствуя какую-то неловкость, скованность. И оттого, что они увидели, и оттого, наверное, что впервые были по-настоящему вдвоем и, в общем-то, никуда не спешили. Так вот, не сказавши ни слова, они дошли до развилки, где им нужно было расставаться. Шумилов почти пришел, его дом был рядом, а Елене Сергеевне нужно было пройти через весь город. Проводить же ее Шумилов никогда бы не догадался, да

она, пожалуй, и не позволила бы этого. Все-таки он слишком известный в Тотье человек, а люди могут бог знает что подумать.

— Ну вот,— молвила она.— Ведь вам направо?

— А что, если я приглашу вас на чашку чаю? — неожиданно сказал он.

— Что вы, Антон Игнатьевич. Вы шутите, право...

— Почему же? Я вполне серьезно. Посидим все вместе...

— Кто — все? — спросила она.

— Вы, я, Мария Ивановна, Николай Николаевич. Мы соседи, живем в одной квартире.

— Я знаю.

— У меня есть хороший, настоящий чай и американская сгущенка! — улыбнулся Шумилов. — А вот шампанского нет.

Она тоже улыбнулась и пристально посмотрела на него.

— Нет, Антон Игнатьевич. Это неудобно,— сказала Елена Сергеевна, однако не очень уверенно, и он заметил это.

— Неудобства люди создают сами, а потом ссылаются на них. Что же тут неудобного, если знакомые люди, земляки сядут за стол и выпьют чаю?

— Но что люди скажут...

— Люди? — Шумилов оглянулся и развел руки. — Жаль, что никого нет, а то я бы спросил у них, что они скажут.

— Я имею в виду Марию Ивановну и ее мужа.

— А они скажут: какой молодец Шумилов, что привел в гости Елену Сергеевну. Тем более Мария Ивановна сама грозилась пригласить вас и даже спрашивала у меня разрешения!

— Не знаю, Антон Игнатьевич. Право, не знаю... Мне хочется, конечно, так надоело все... У вас все неожиданно, вдруг. Знаете, как мне попало за поездку в деревню?

— Вы жалеете об этом?

— Совсем нет,— она покачала головой и снова пристально, с какой-то болезненной тоской взглянула на Шумилова. Когда бы он был повнимательнее, то заметил бы в этом ее проницательном взгляде и большое желание пойти с ним, пойти куда угодно, хоть на край света, но еще и страх. Она боролась с собой, со своим желанием, и борьба эта не была легкой. Однако жела-

ние оказалось сильнее рассудка.— Хорошо, Антон Игнатьевич,— вздохнув безнадежно, проговорила Елена Сергеевна.— Пойдемте к вам.

II

В квартире никого не было, Мария Ивановна почему-то не пришла с работы, а сам Кирпичников остался в клубе до конца вечера.

— Перекусим пока,— бодро сказал Шумилов. Теперь, когда они пришли к нему, он почувствовал себя скованно.— Я что-то проголодался.

Он открыл банку с тушенкой и толсто, по-довоенному, нарезал хлеб.

— Вы напрасно это,— сказала Елена Сергеевна.— Я не голодна.

— Давайте так: сегодня вы у меня в гостях,— и придирчиво оглядел стол, проверяя, все ли поставил.— Вы не станете возражать, если мы по капельке выпьем?

— С удовольствием выпью, Антон Игнатьевич.

— Вот и прекрасно.

Тут хлопнула дверь, и Шумилов определил по шагам, что пришел Николай Николаевич.

— Сейчас я его приведу,— сказал он.

Однако Николай Николаевич отказался, сославшись на усталость и головную боль.

— Ты извини, я лучше отдохну. А у тебя кто?

— Елена Сергеевна.

— Я так и подумал, что ты с ней ушел. А что же до конца не досидели?

— Да как-то...

— Тебя Борисов искал.

— Черт с ним. А где Мария Ивановна?

— Она сегодня дежурит.

— Жаль. А может, зайдешь, посидим...

— Нет,— сказал Кирпичников.— Честное слово, устал как собака.

Шумилов вернулся к себе и сообщил, что Николай Николаевич плохо себя чувствует, а Мария Ивановна, оказывается, на дежурстве.

— Вы знали это? — спросила Елена Сергеевна.

— Нет, клянусь вам...

— Я верю,— сказала она.— И потом...— Она

опустила глаза.— Я ведь знала, Антон Игнатьевич. Видите, какая я нехорошая. . .

Он промолчал. Разбавил спирт и разлил в стаканы.

— За вас.

— Спасибо.— Она сделала маленький глоток и закашлялась. Откашлявшись, проговорила: — Невкусный какой. Как вы пьете?

— Зажмурился глаза,— пошутил он.

Елена Сергеевна отломала кусочек хлеба и положила на него немножко тушенки. Шумилов взял большой кусок, густо намазал его и протянул ей.

— Ешьте! — повелительно сказал он.

— Право, я не хочу, Антон Игнатьевич.

— Ешьте и не разговаривайте, терпеть не могу церемоний. Вы же не ребенок, взрослый человек.

— Да мне и не откусить, как вы намазали. . .

— А вы рот шире открывайте.

Она вдруг рассмеялась, взяла стакан и, действительно зажмурившись, выпила спирт.

— Давно бы так,— поощрил он.

— Какой вы, право. . .

— Какой?

— Сама не знаю. Сильный, наверное. Это хорошо, когда мужчина сильный. Раньше я как-то не думала об этом. Жила и жила. А теперь поняла.— Кажется, она опьянела немного. На лице проступил яркий румянец, глаза блестели.— Теперь все мы многое поняли и после войны уже не сможем жить так, как жили до войны. Все будет по-другому. . .

— Пожалуй,— согласился Шумилов и потянулся за папиросами.— Вы разрешите?

— Курите, курите, Антон Игнатьевич, я люблю, когда пахнет дымом.

Он закурил и собрался налить еще. Елена Сергеевна прикрыла свой стакан ладонью.

— Немножко,— сказал он.

— Нет, нет, мне хватит, я ведь не пью, право. А вы себе наливайте, вы же мужчина, вам можно.

Он тоже не стал больше пить.

Они сидели и мечтали о будущем, как кончится война, как все будет хорошо и прекрасно в новой, послевоенной жизни, потому что люди научатся ценить обыкновенную мирную жизнь, спокойный сон, кусок хлеба, научатся уважать друг друга. . .

— А ведь тут есть о чем подумать,— сказал Шуми-

лсв. — Я иногда ловлю себя на мысли, что как-то не так мы жили...

— Почему не так? — спросила Елена Сергеевна.

— Не всегда умели ценить простую, спокойную жизнь.

— Это верно, Антон Игнатьевич. Когда хорошо жить, многого не замечаешь, не придаешь значения...

— Вот именно.

— Эгоизм, — сказала Елена Сергеевна. Но сказала так, точно не была уверена в этом.

— Да нет, — возразил он. — Не в эгоизме дело. Наверно, так уж мы устроены, что быстро привыкаем к хорошему. А привычная радость уже и не радость вроде...

— А вы знаете, я обратила внимание, что люди как-то сблизилась...

— Естественно, — сказал Шумилов. — Общепланетное дело всегда сближает. Люди сплотились для борьбы...

— Вы правы. Ведь хотя бы взять ленинградцев, которые сейчас там. Это же подвиг. Да и здесь тоже.

— Еще какой! — подхватил Шумилов. — Я думаю даже, что этому подвигу нет аналогов в истории человечества. Мы многому научимся в этой войне; очень многому...

— Разве война может научить чему-то?

— Может, — вздохнул Шумилов. — Печально, но факт. Давайте выпьем за скорую победу и за наш с вами Ленинград.

— Тогда и за ленинградцев, которые там, — сказала она и взяла стакан. — Я совсем забыла поблагодарить вас, Антон Игнатьевич. Вы так много сделали для нас...

— Вздор. Как сынишка?

— Ему лучше.

— Слава богу. А как вам работается в госпитале?

— Не сравнить с лесокombинатом.

— А ведь вас кое-кто хочет переманить...

— Я знаю.

— Вот как? И когда же этот гусь Назар Тимофеевич успел сделать вам... официальное предложение?

— Заезжал на днях. Позавчера, кажется.

— Вы согласились?

— Пока не знаю, — ответила Елена Сергеевна. — Предложение, конечно, заманчивое, нам было бы гораз-

до легче в деревне... Может быть, разрешили бы и сына взять домой...

— Так в чем же дело? — спросил Шумилов.

— Тоже не знаю, — улыбнулась она, и эта ее улыбка была какая-то не по-взрослому доверчивая, открытая. — Я никогда не жила в деревне, страшно как-то, право...

— Вот-вот, — рассмеялся он, — это как раз иллюстрация к нашему разговору о природе женской натуры.

— Вы о чем, Антон Игнатьевич?

— Но как же! Сомнения, колебания. Ваше решение вы обставляете такими заграждениями, что потом и сами выбраться не можете.

— Надо же подумать.

— Надо действовать, — веско сказал Шумилов. — Вам хуже не будет у Краснова?

— Хуже вроде бы уже некуда.

— Вот и все.

— Действительно, все очень просто, — неуверенно проговорила Елена Сергеевна. — Хуже не будет... Да нет, лучше будет. Помните, когда вы пришли к нам отдать деньги, а я была на кухне в это время?..

Он кивнул.

— Знаете, что я варила в тот день?

— Нет.

— Гречневую кашу. Вот мы с вами сидим, разговариваем, вкусно едим и даже выпиваем, а мне... стыдно. Гречневая каша была из картофельных очисток. — У нее на глазах появились слезы. — Раньше мы варили картошку в мундирах, чтобы экономнее. Соседка научила чистить сырую картошку, очистки промывать, сушить... — Она закусил губу. — Потом их нужно отварить и смолоть. Получается гречневая каша. Я думала, надо вас пригласить к столу, а как это сделать?.. Что это я, право?

Шумилов встал, взял ее руку и поцеловал.

— Извините, — сказал он.

— За что?

— За все. И за это, — он взмахнул рукой над столом.

— Дело не в этом, Антон Игнатьевич. Даже смешно, если бы еще и вы голодали. Я не умею устраиваться и... не хочу. Здесь, в Тотье, свои, много знакомых, а что мы будем делать в деревне?

— Но это не навсегда,— сказал он.— Вы все же подумайте.

— Я подумаю,— пообещала она.— А теперь мне пора. Поздно уже, Антон Игнатьевич. И свекровь беспокоится.

— Половина одиннадцатого, побудьте еще немного, я провожу вас.

— Немного ничего не даст, право...— Она посмотрела на него нежно и кивнула: — Лучше я пойду, у нас еще будет время поговорить.

Шумилов подошел к ней, взял ее руки.

— Лена...— сказал тихо.

— Ну, что?..— Она с ласковой укоризной смотрела на него, и он не выдержал этого взгляда, отпустил ее руки и отошел к окну.

Хотелось курить, однако он почему-то боялся повернуться и взять со стола папиросу. Ему было стыдно, и он клял себя за минутную слабость, понимая, что все, все, что произошло сейчас, не нужно.

— Не сердитесь на меня,— говорила она за спиной.— Я не могу. Может быть, когда-нибудь... Нет, не сегодня. Это так неожиданно, я сама не знаю, что со мной творится... Скажите что-нибудь, не молчите!

— Все правильно,— сказал он.

— Вы не сердитесь?

Он не успел ответить — погас свет.

— Что это? — воскликнула испуганно Елена Сергеевна.

— Наверное, перегорела лампочка.

— Нет, вон и в доме напротив тоже свет погас. Что-то случилось.

— Мало ли,— сказал Шумилов.— Сейчас исправят.

В прихожей зазвонил телефон (у них был один телефон на двоих с Кирпичниковым). Шумилов хотел выйти, ответить, однако его опередил Николай Николаевич. Разговаривал он очень недолго, потом постучался в дверь.

— Входи! — крикнул Шумилов.

— Извините,— входя, сказал Кирпичников.— Авария на заводе. Звонила диспетчер.

— Что там? — встревоженно спросил Шумилов.

— Точно не знаю.

— Черт бы их побрал! Надо идти. Елена Сергеевна, вы останетесь здесь. Я не смогу вас проводить.

— Нет, нет! Я доберусь, не беспокойтесь.

— Может, вызвать машину? — сказал Кирпичников.
— Да, вызови, пусть отвезут Елену Сергеевну домой. А я побегу. Ты тут встреть машину, посади ее.
— Не надо обо мне беспокоиться, — воспротивилась Елена Сергеевна.
— Давайте без дискуссий. Николай Николаевич вас сам доведет.

III

Через пятнадцать минут Шумилов был на заводе. Едва открыв дверь в диспетчерскую, он строго спросил:

— В чем дело? Докладывайте.

— Я не знаю... — поднимаясь, сказала диспетчер. — Мне сообщили, что погас свет...

— Где погас? Кто сообщил? Что произошло? Кстати, здесь горит свет...

— Аварийный, от аккумуляторов.

— Значит, полная темнота. Главного инженера вызвали?

— Его нет, товарищ директор. Он в командировке.

— Ах да. Румянцеву, Авдеева?

— За ними послано.

— А кто сейчас нужнее на заводе: директор или энергетик?

— У них нет телефонов.

— Телефонов нет! Да садитесь вы, что стоите.

Шумилов, засунув руки в карманы, ходил по диспетчерской. Остановился, ощупал себя и чертыхнулся:

— Опять папиросы забыл! У вас нет закурить? Да, откуда же.

Приоткрылась дверь, в диспетчерскую осторожно вошел Авдеев. У него был растерянный вид.

— Ну что, подняли с постели?

— Я еще не спал, Антон Игнатьевич.

— Не спал, а проспал. Где Румянцева?

— Она на территории, выясняет причины.

— А вы почему здесь?

— Жду ваших указаний.

— А может быть, я должен ждать ваших объяснений? — зло сказал Шумилов.

— Разрешите идти? — спросил Авдеев.

— Не идти, а бежать надо! Пойдите, у вас нет папиросы?

Авдеев протянул ему пачку «Норда» и отступил к двери.

В диспетчерской было тихо. Так тихо, что даже клоунило в сон. Чуть слышно потрескивал какой-то прибор. Припахивало паленым.

— Чем это у вас пахнет? — спросил Шумилов.

— Картошку пекла, — смущенно ответила диспетчер.

Вошел Кирпичников. Шумилов молча взглянул на него, и тот, тоже молча, кивнул.

И в это время один за другим раздались три выстрела. Все как по команде переглянулись, и Авдеев, который не успел еще уйти, буквально выскочил из диспетчерской. Следом за ним тихонько вышел и Кирпичников. Шумилов подошел к окну. Территория завода была погружена в крошечную темноту, но все же можно было разглядеть — скорее, не разглядеть; а угадать — бегущих куда-то людей.

— Начальника охраны! — приказал Шумилов.

— Сюда? — спросила диспетчер.

— Сюда, к телефону, только быстро!

Начальника охраны на месте не оказалось, и Шумилов ринулся было к двери, чтобы пойти и выяснить все, но тут появился Белых. У него был подтянутый, решительный вид, вид человека, который пришел командовать, поэтому, увидав Шумилова, он несколько растерялся. Однако тотчас взял себя в руки.

— Разрешите? — спросил он.

— Входите, чего уж там, — сказал Шумилов. — Что у вас?

— Можно докладывать?

— Не можно, а нужно. — Этот, конечно, все знает, с неприязнью подумал Шумилов, хотя и понимал: в данный момент хорошо, что есть Белых, который все знает. А вот не мог все же побороть своей неприязни к нему. — Кто стрелял?

— Все в порядке, Антон Игнатьевич. Охраннику что-то почудилось в потемках.

— Разберитесь и накажите. А что со светом, не выяснили?

— Не только со светом, — ответил Белых. — Прекратилась вообще подача электроэнергии...

— Да вы понимаете, что это значит?! — вскричал Шумилов. — Где Румянцева, в конце концов?..

— Она разбирается на месте аварии. Разрешите, и я подключусь?

— Сама разберется, занимайтесь своими делами, — сказал Шумилов. — Не надо ей мешать.

— Слушаюсь. — И Белых вышел.

— Вы посылали за ним? — спросил Шумилов диспетчера.

— Да.

— А зачем?

— У нас инструкция. Вот. — Она ткнула пальцем в стол.

Шумилов наклонился и прочитал короткую инструкцию, в которой было расписано, кого, как и в каких случаях немедленно вызывать на завод. Подписана она была Белых; а утверждена Волковым.

— Хорошо, — сказал Шумилов. — Когда погас свет?

— В двадцать два пятьдесят, товарищ директор.

Он взглянул на часы, было двадцать три сорок. И вдруг зазвонил городской телефон. Шумилов встрепетнулся. Диспетчер сняла трубку и протянула ему.

— Это вас.

Звонил Гераськин.

— Что у вас случилось? — спросил он сонным, хриловатым голосом.

— Нет электроэнергии. Сейчас разбираемся.

— А почему стрельба?

— Недоразумение, — поморщился Шумилов.

— Хорошенькое недоразумение! — сказал Гераськин, и Шумилов подумал, что он прав.

Выстрелы наверняка слышны были во всем городе.

— Держите меня в курсе. И побыстрее разбирайтесь. — Он отключился.

— Вы сообщили секретарю райкома? — спросил Шумилов у диспетчера.

— Нет, — сказала она. — По инструкции это не положено. А нужно было сообщить, да?.. — Ей сделалось страшно оттого, что она нарушила что-то, не выполнила. А с кем разговаривал Шумилов, она не знала.

— Вы поступили правильно, — сказал он.

Свет вспыхнул неожиданно. Шумилов зажмурился и посмотрел на часы — ноль часов десять минут. Значит, подумал он, ничего страшного.

— Я у себя. — И он вышел из диспетчерской, прошел к себе в кабинет. Нужно было докладывать Гераськину, и он неохотно взял трубку.

Его соединили тотчас.

— Я уже в курсе,— холодно сказал Гераськин.— Виновных под суд, не миндальничайте там.

Его резануло это «виновных под суд», и он почувствовал нарастающую тревогу. Выходит, что авария не пустячная?.. Но в чем же дело, что могло случиться?.. И почему никто не докладывает?! Черт знает, что такое! Гераськин в курсе, ему доложили (разумеется, сделал это Белых, он всюду поспевает первым, особенно если как-нибудь неприятности), а я сижу и ничего не знаю...

Шумилов потянулся за телефонной трубкой, и в это время в коридоре послышались голоса. В дверь постучали.

— Входите! — нетерпеливо крикнул он.

Вошли Румянцева и Авдеев.

— Ну? .. — Шумилов приподнялся.

— Короткое, — устало сказала Румянцева. — Разрешите, я присяду, Антон Игнатьевич?

Теперь он обратил внимание, что лицо ее было грязное, руки тоже.

— Разумеется, — сказал он. — Где короткое, отчего?

— В том-то и дело... — Она взмахнула рукой. — Дайте, пожалуйста, закурить.

Шумилов сунулся в карман, папирос не было. Пачку, которую оставил ему Авдеев, он позабыл в диспетчерской.

— Я захватил, — догадываясь, что он ищет папиросы, сказал Авдеев.

Когда он давал Румянцевой прикурить, руки у него дрожали. Это не ускользнуло от внимания Шумилова, и вновь пробудилось ощущение тревоги, какой-то беды...

Затянувшись пару раз, Румянцева погасила папиросу и подняла на Шумилова глаза.

— Там мальчишка, .. — проговорила она каким-то сиплым, чужим голосом. — Он... Нет, не могу. — Она уронила голову на стол и зарыдала.

— Мальчишку убило в трансформаторной, — сказал Авдеев.

Шумилов понял это раньше. Он искал глазами графин с водой, но графина не было на месте. Он схватил телефонную трубку и закричал, чтобы немедленно принесли воды.

— Спасибо, не надо, — поднимая голову, сказала Румянцева. — Это нервы. Там я все сделала.

— Как это случилось?

— Не знаю. Монтер отлучился куда-то, а мальчишка, наверное, полез в трансформаторную.

— А дверь? — спросил Шумилов. — Дверь была открыта, что ли?

Румянцева пожала плечами.

— Замок открыт, — сказал Авдеев, — а ключа не нашли. Да что замок, его можно гвоздем открыть.

— Вы понимаете, чем это пахнет?! — Шумилов почувствовал, что у него тоже дрожат руки.

— Это ужасно... Если бы вы знали, как все это ужасно, — заговорила Румянцева. — Ему четырнадцать лет, такой хороший мальчишка. Я знаю его мать...

Сейчас будет истерика, подумал Шумилов. Надо ее успокоить. Она была там, и только она видела все и знает.

Вошла женщина, молча поставила на стол графин с водой и так же молча удалилась.

— Выпейте, — сказал Шумилов, наливая воду в стакан. Румянцева выпила полный стакан, стуча зубами. — И возьмите себя в руки.

— Да, да... — пробормотала она. — Уже взяла.

— Мальчика отправили?

— Белых занимается, — ответил Авдеев.

— Ясно. — Ничего ему не было ясно, и он метался по кабинету, не зная, что делать. И это более всего выводило его из себя. — Так. Монтера под суд. Всех под суд!

И тут неслышно появился Кирпичников. Прошел к столу и присел сбоку на стул.

— Спокойно, — сказал Шумилову. — Как же это, товарищи дорогие? Ведь это ваше хозяйство, вам придется и отвечать...

Румянцева и Авдеев молчали.

— К утру чтобы у меня на столе была докладная и акт, — сказал Шумилов. — Все, идите.

И они остались вдвоем, Кирпичников и Шумилов.

— Что скажешь, комиссар?

— А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?

— Если бы знать. Впрочем, знаю, что полетят головы.

— Что наши головы, Антон. Мальчонку жалко. — Он встал. — Пойдем-ка домой, отдохнем хоть немножко.

— Какой, к черту, отдых! — отмахнулся Шумилов.

— Давай, давай. — Кирпичников обнял его за плечи. — Как говорится, утро вечера...

— Тебе Гераськин не звонил?

— Звонил.

— И что?

— Да ничего, — пожал Кирпичников плечами. — И какого черта он полез туда?

— Ты про мальчишку?

— Про кого же еще. Белых ко мне заходил. Он считает, что авария произошла не случайно.

— А-а, пошел он!.. — Шумилов выругался.

— Не спеши с выводами, — сказал Кирпичников. — Где был монтер? Почему дверь оказалась открытой?

— Неизвестно, была дверь открыта или нет.

— Во всяком случае, замок открыт, а ключа у мальчишки не было. Для кого оставили открытой дверь, а?..

— Это ты так думаешь?

— Я — нет, — сказал Кирпичников. — Другие могут подумать и будут правы. Мальчишка пробегал мимо, увидал, что будка настезь, и решил посмотреть, что же там, за дверью с костями и черепом. Логично?

Шумилов схватился за телефон.

— Ты куда?

— Монтера надо вызвать.

— Он в больнице, — сказал Кирпичников. — Похоже, нервный шок. Или отравление. И давай пойдём-ка спать, Антон. Все равно сейчас тебе делать здесь нечего.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Вернувшись домой, они разошлись по своим комнатам, и Шумилов, выждав недолго, когда, по его расчетам, Кирпичников уже лег спать, собрался тихонько уйти. Он не знал, что именно будет делать на заводе, но сидеть дома не мог. А заснуть вряд ли удастся.

Однако Кирпичников тоже не ложился. Едва Шумилов вышел в коридор, как приоткрылась дверь в комнату Кирпичниковых и Николай Николаевич сказал:

— Не дури и не паникуй. Делать все равно там нечего. Иди ко мне, я заварил чайку.

Они сидели, пили чай, говорили о разных пустяках, как будто ничего не случилось, но обоим было беспокойно. Кирпичников вдруг стал рассказывать, как работал начальником политотдела в МТС, куда его посылали на укрепление, как там же познакомился с Марией Ивановной, которая работала помощницей у местного фельдшера, и как она предупредила, что его, то есть Кирпичникова, собираются убить.

— Я жил один в старом барском доме. На первом

этаже была контора МТС, а на втором жил я, — рассказывал Николай Николаевич. — Решили меня прикончить, а дом поджечь, чтобы на пожар все и свалить. Марня случайно узнала об этом и сказала мне. Фельдшер оказался из бывших...

— Из каких бывших?

— Из господ офицеров. В молодости изучал немного медицину, вот и пристроился фельдшером.

— Насолил ты, похоже, здорово там, — посмеиваясь, сказал Шумилов. Он догадался, что Николай Николаевич вовсе неспроста затеял этот разговор, обыкновенно он неохотно и мало рассказывает о себе. — А что дальше было?

— Арестовали троих. А фельдшер этот скрылся.

— И теперь объявился в Тотье! — Шумилов смеялся.

— Дурак, — сказал Кирпичников.

— Возможно. Все мы дураки, кто меньше, кто больше. Смотри что принять за образец. Только я не верю, что кто-то специально вредительством занимается. Не верю. Это бессмысленно. Слушай, может, и твоей Марии показалось?.. Я знаю, что кулаки — враги, что убивали, но тебя-то за что? Насколько я понимаю, ты ничего ни у кого не отнимал, коров и лошадей со двора не уводил...

— Ну и еще раз дурак. Они не меня собирались убить, не Кирпичникова лично, а представителя власти. На директора МТС тоже покушались, на улице, ночью, но у того овчарка была с хорошего бычка... Налить еще чаю?

— Хватит, — отказался Шумилов.

— Так вот насчет бессмысленности и безрассудства. Всякое преступление, если оно совершается не профессиональным преступником и не ради куска хлеба, идет от злобности, можно сказать, что и от бессилия...

— А если на идейной почве?

— Тем более! А злобность и здравый смысл несовместимы. Ты не веришь, потому что для тебя это невозможно, противоречит твоим убеждениям, а убийца, враг, он руководствуется иными убеждениями...

— Но при чем тут злобность?

— Хотя бы при том, что, вопреки его убеждениям, ты что-то делаешь, строишь, живешь, наконец. Бессилие и рождает злобность.

— Постой. Ведь я не иду убивать, поджигать и так далее, хотя мои убеждения противоречат чьим-то!

— Во-первых, твои убеждения как раз и не позволяют тебе стать убийцей или поджигателем, во-вторых, если у тебя в руках сила, власть, правда, наконец, зачем же тебе делаться преступником? — возразил Кирпичников. — Тем не менее... — Он пристально взглянул Шумилу в лицо. — Разве у тебя не возникает желания одним махом взять и покончить со всякой мразью?

— Ты не можешь просто сказать, к чему затеял эту философскую беседу?

— Просто — дважды два четыре. Да и то человечество не сразу догадалось об этом. Думаю, что эту... философскую тему и тебе и мне придется продолжить в другом месте, так ты, уж прошу тебя, Антон, не лезь в бутылку с узким горлышком. Послушай, пораскинь мозгами...

— А с широким горлышком можно?

— С широким — можно. — Кирпичников улыбнулся. — Честно говоря, мне тоже все это не нравится. Торжественное собрание, праздник, через неделю окончательный пуск завода...

— Не вижу связи; — сказал Шумилов. — Несчастный случай...

— Со смертельным исходом, — уточнил Кирпичников. — К тому же, Антон, за несчастный случай вряд ли сойдет эта авария.

— Эх тебя Белых настропалил! Да ему за каждым углом шпион чудится, а ты-то!..

— Да при чем тут Белых! — взорвался Кирпичников. — Ему за каждым углом шпион чудится, а ты в каждом его слове скрытый смысл ищешь. Не любишь — не люби, но будь справедлив. Пойми наконец, это его работа. И на меня не наускаивай. Я не думаю, не хочу думать, что тут есть какой-то злой умысел. Но... Как хочешь, а исключить этого тоже не имею права. Мы должны быть готовыми ко всему, Антон. И я тебя очень прошу...

— Не лезть в бутылку с узким горлышком, — усмехнулся Шумилов.

— Держать себя в руках. Слишком много у тебя недоразумений с тем же Гераськиным.

— У нас с тобой тоже бывают недоразумения. Ну и что из того?.. Не они определяют наши отношения. Если хочешь, смысл нашей работы и жизни.

— Мы с тобой знакомы давно.

— И потом... — Шумилов вскинул голову. — В чем я не прав?

— По существу ты, вероятно, редко бываешь не прав,— ответил Кирпичников.— Хотя бываешь, бываешь, не пыжься. А вот по форме...

— Я не посол в республике Верхняя Тотьва! — рассмехался Шумилов.— Это послы обязаны соблюдать этикет...

— Протокол,— сказал Кирпичников и поморщился. Ему не понравилась шутка Шумилова. Вообще многое не нравилось, и он знал, что надо бы сказать и насчет Елены Сергеевны тоже, потому что, как ни крути, а не дело это, что женатый мужчина, директор завода, приводит к себе в дом замужнюю женщину, однако сказать не мог. Буквально не поворачивался язык, хотя сам-то Николай Николаевич был совершенно уверен, что делать этого нельзя, что это аморально, безнравственно, тем более аморально и безнравственно потому, что жена Шумилова тяжело больна, а муж Елены Сергеевны на фронте. А еще эта поездка к Краснову, о которой все знают... И дернул же его черт сказать тогда Шумилову, чтобы ехал. Нет, не понимает этого Николай Николаевич, и он хотел сразу же, когда узнал, что Шумилов брал с собой в деревню Елену Сергеевну, поговорить с ним, предупредить его хотел по-дружески, однако этому неожиданно воспротивилась жена. Именно жена. Не лезь, сказала она, в чужую жизнь, оставь в покое людей, они сами разберутся. И он послушал ее. А ведь понимал, что, поощряя такое поведение Шумилова, пусть невольно, оказывает ему недобрую услугу...

— Что загрустил, комиссар? — спросил Шумилов.— Не бери в голову больше, чем это необходимо, и все будет в полном порядке.— Он встал и потянулся.— Не вздремнуть ли нам минуток этак шестьсот, а? Что-то мы слишком сгущаем краски. На самом деле все гораздо проще.

Говоря это, он понимал, что на самом деле все очень, очень серьезно.

II

Румянцева и Авдеев ждали Шумилова в приемной. Он пригласил их в кабинет.

— Ну, что у вас нового, господа начальники?

— Вот акт, вот наша докладная.— Авдеев положил бумаги на стол и чуть отступил назад.

— Садитесь, в ногах правды нет, — сказал Шумилов. Он пробежал глазами акт, в котором, в сущности, не было ничего нового, и стал внимательно читать докладную, из которой явствовало, что дежурный электромонтер Чернов отлучился домой проведать тяжело больную жену, и в это время...

— Что с его женой, выяснили?

— Лежит, — сказала Румянцева. — Совсем плоха.

— Она что, одна дома?

— С детьми. У них трое детей.

— Еще не легче! Матери этого мальчика сообщили?..

— Да, Антон Игнатьевич, — ответила Румянцева. — Я сама была у нее.

— Какая-нибудь помощь нужна?

— Сейчас ей не до этого.

— Держите меня в курсе. Сколько времени отсутствовал монтер?

— Полчаса.

— А где был напарник, спал в кузнице?

— Он работал один, — потупив глаза, сказала Румянцева. — Его напарник тоже заболел.

— Почему не вызвали другого монтера? Вы что, не знаете, что по одному дежурить не положено?

— Это мое упущение, Антон Игнатьевич.

— Понятно, что не мое! — сказал Шумилов.

В самом деле все складывается... удачно, усмехнулся он. Один заболел, ему не вызвали замену, другой ушел к больной жене, оставив открытой дверь. А хоть бы и не оставил. Кто-то, воспользовавшись такой возможностью, открыл замок, но тут объявился этот мальчишка, спугнул... А что, если не спугнул? Что, если его затащили в трансформаторную?..

— С дверью выяснили? — спросил он.

— Пока нет, Чернов в больнице.

А в сущности, чепуха все эти рассуждения. Просто монтер забыл закрыть дверь. Что-то делал в трансформаторной, а уходя, забыл. Но если забыл, значит, спешил очень? Вряд ли в спокойной, обыденной обстановке монтер забудет закрыть трансформаторную...

— А вы почему молчите? — обратился он к Авдееву. — Научите, с кого спрашивать теперь? Как мы с вами будем смотреть в глаза матери?..

— Очевидно, — сказал Авдеев, — спрашивать нужно о меня.

— Это вам очевидно. А мне вот совсем даже не оче-

видно. Пойдите, пойдите!!.— востепенулся Шумилов.— Где постоянное рабочее место дежурного монтера? Он что, один на весь завод?

— Нет. Монтеры есть в каждом цехе. Чернов обслуживает территорию и трансформаторную.

— Где он должен постоянно находиться?

— В паросиловом, — сказала Румянцева.

— Так... Допустим, он был на месте и трансформаторная была закрыта на замок. Мог кто-то проникнуть туда?

— Вполне, Антон Игнатьевич.

— Следовательно...— Шумилов вскочил. Разумеется, тут нет никакой логической связи. Разве что монтер скорее исправил бы замыкание. И только. Именно, именно. Он снова сел.

— Я считаю, — проговорил Авдеев, — что отсутствие Чернова на рабочем месте и несчастный случай не связаны между собой.

— Да?.. А если все-таки дверь была открыта?

— Этого не может быть.

— Чернов очень исполнительный, аккуратный человек, — сказала Румянцева.

— Исполнительней и аккуратней некуда! Хорошо, докажете, только с фактами в руках, а не вообще, что тут нет связи. Впрочем, не надо ничего доказывать, все равно не сможете. Да я и не сомневаюсь, что это случайное совпадение. Другие могут усомниться, Михаил Павлович. Други-е!.. Ладно, эти другие пусть и ломают головы, а у нас с вами есть свои заботы. Значит, таким образом... Румянцеву, вас, Вера Петровна, я отстраняю от должности. Пока временно, там посмотрим. Пойдете работать мастером. Нет, в заводоуправление.

— Антон Игнатьевич!

— Все, с вами вопрос решен. Теперь ты, Михаил Павлович. Что прикажешь делать с тобой?

— Я виноват и приму любое наказание как заслуженное, — сказал Авдеев.

— Ага, повинились и разошлись, да?.. А кто работать будет? Виноваты все. Я в том числе. Получите строгий выговор. Еще попрошу Кирличникова, чтобы на парткоме тебя как следует взгребли.

— Понятно. А кому Вера Петровна сдаст дела?

— У тебя есть подходящая кандидатура?

— Нет.

— И у меня нет,— развел Шумилов руками.— Спрашиваешь, как будто есть выбор. Пусть пока выполняет прежние свои обязанности. А монтера под суд. Всех троих следовало бы отдать... Свободны.

— Антон Игнатьевич,— глядя ему в глаза, проговорила Румянцева,— отдайте лучше меня под суд, не надо Чернова!

— А вы не беспокойтесь, для вас тоже не все потеряно.

— Но ведь это, это...

— Хотите сказать, что жестоко?

Румянцева кивнула.

— Наверное, жестоко. Однако он совершил преступление.

— Какое же это преступление, Антон Игнатьевич. Нарушение трудовой дисциплины.

— Самовольный уход с работы нарушением трудовой дисциплины назывался в мирное время, дорогая Вера Петровна,— сказал Шумилов.— А сейчас идет война, не забывайте об этом. Людей отдают под суд за опоздание на несколько минут, а он, ваш подзащитный, оставил место работы! И дай-то бог, если оставил, не подозревая о последствиях.— Он мог бы ещё сказать, что, принимая такое решение, спасает саму Румянцеву, которая вроде бы и вообще ни в чем не виновата (где ей было взять другого монтера на замену заболевшего?), а в то же время как бы виновата во всем. Но не сказал этого.— И давайте закончим дискуссию.

Оставшись один, он еще раз, уже внимательно, прочел все бумаги. Фамилия Чернова что-то напомнила ему, но что именно, он вспомнить не мог. То ли просто где-то слышал эту фамилию, то ли встречался с человеком с такой фамилией. Да дело и не в этом. Дело в том, что не хотелось ему доводить до суда, но как выйти из положения, как избежать суда, он пока не знал...

Пришел Белых.

— Разрешите доложить, Антон Игнатьевич?

— Что-нибудь новое? — насторожился Шумилов.

— Я не в курсе, что известно вам. Я тут опросил нескольких людей, нужно их показания приобщить к делу. Прокуратура обязательно потребует от нас...

— А кто вам сказал, что дело о несчастном случае будет передано в прокуратуру?

— К сожалению, Антон Игнатьевич, этого печального факта нам не избежать,— возразил Белых и даже

вздыхнул, как бы действительно сожалел.— Налицо, так сказать, тяжкое преступление, чему способствовало грубейшее нарушение техники безопасности и режима, в результате чего был убит. . .

— Не убит, а погиб, — сказал Шумилов. — Это большая разница.

— Но в результате. . .

— Собственной неосторожности и любопытства. Почему, кстати, трансформаторная закрывается на всякий замок? Выясните, в чем дело. С остальным я уже разобрался и принял решение.

— Нельзя ли узнать. . .

— Узнаете, все узнают, — сказал Шумилов. — Теперь у меня вопрос к вам. Тут у меня лежит приказ о назначении Тарасова мастером. Он согласен?

— Видите ли, Антон Игнатьевич. . . — Белых потянулся рукой за приказом.

— Да или нет? — повторил Шумилов.

— Он не согласен, однако производственная необходимость требует принятия. . .

— А я вот сомневаюсь, что этого требует производственная необходимость. Мастера мы найдем. Женщину поставим. А где вы возьмете такого кузнеца, как Тарасов? . .

— Но ему дана бронь как мастеру.

— Это я сам утрясу.

— Хорошо, Антон Игнатьевич, будем подыскивать мастера.

— У вас все?

— Один вопрос, — сказал Белых. — Я считаю необходимым закрыть вход в заводоуправление с улицы и сделать с территории завода, так как объект оборонного значения, а доступ в заводоуправление в настоящее время свободный. Или нужно организовывать дополнительный пост.

— А я при чем? — спросил Шумилов. — Уж ради бога решите такой вопрос без меня. Необходимо закрыть — закройте. Надо организовать дополнительный пост — организуйте.

— Но у меня нет людей для организации поста.

— Тогда закройте! — раздражаясь, сказал Шумилов.

— Но придется ломать стену.

— Ломайте, черт вас возьми! Ломать — не стрелить.

— Значит, вы санкционируете?

Шумилов откинулся на спинку кресла и долго, пристально вглядывался в лицо Белых. Тот был спокоен и бесстрастен. Ни в глазах его, ни на лице нельзя было прочесть ничего. Он был всегда одинаков, всегда ровен, если не сказать равнодушен, и было даже не понять, когда он радуется, а когда гневается. Впрочем, думал Шумилов, в таких людях и радость и гнев как-то очень мирно, очень удобно — в полном согласии между собой — уживаются, потому что такие люди радуются, когда кому-то плохо, и гnevаются, когда — хорошо...

— Послушайте, — спросил он, — вы где работали раньше?

— Здесь же, то есть на этом заводе, вместе с Василием Федоровичем.

— Кем?

— Начальником отдела кадров, — с достоинством ответил Белых.

— А до этого?

— На разных должностях.

— Понятно, — сказал Шумилов. — Вы местный?

— Нет, меня прислали в Верхнюю Тотьву на работу, когда организовался районный центр.

— И откуда же вас прислали, если не секрет?

— Из области, я находился там на оборонно-массовой работе. А что, Антон Игнатьевич? Был какой-нибудь запрос насчет меня?.. — Вот теперь, кажется, в нем проявилась встревоженность.

— Нет, просто мне интересно.

— Если хотите, я распоряжусь, чтобы вам принесли мое личное дело, — с обидой в голосе проговорил Белых.

— Не надо, Иван Семенович, — сказал Шумилов. Пожалуй, он впервые назвал его по имени-отчеству.

Отпустив Белых, он пригласил секретаршу.

— Лидия Александровна, вот вам бумаги, заготовьте приказ. Авдееву строгий выговор, Румянцеву... Ей тоже строгий выговор. И сделайте оговорку: при повторении подобного она будет освобождена от занимаемой должности. Записали?

— Да, Антон Игнатьевич. Спасибо вам.

— А это за что?

— Вера Петровна очень хороший человек...

— Вот не знал, что вы по совместительству в адвокатуре работаете! Запомните, Лидия Александровна: мне нужны не хорошие люди, а хорошие работники. Дальше. Дежурного электромонтера... Материалы на

него передать в прокуратуру. Остальное как обычно. Довести до сведения и прочее. И вы меня очень обяжете, если прекратите свою адвокатскую деятельность.

— Извините, Антон Игнатьевич.— Она ничем не выдала своей обиды, молча закрыла блокнот, взяла со стола документы и все так же молча вышла из кабинета. — А Шумилов был сердит. Он и вообще-то не любил страшно, когда ему досаждают советами или когда просят за кого-то, а тут мало того, что Кирпичников всю ночь выдавал советы, эта Румянцева со своей жалостью влезла, так еще и секретарша высказывает свое мнение насчет того, как он должен или как не должен поступить! Она хоть и не советовала ничего напрямую, однако же высказала одобрение его действиям, значит, так думала, так рассчитывала и, значит, стала бы обсуждать, а то и осуждать его, когда бы он не изменил своего решения. Как будто бы можно найти такое решение, которое устроило бы всех, которым все остались бы довольны. Да в том-то и дело, что это невозможно. Невозможно в принципе. Любое решение по любому поводу кого-то удовлетворяет, а кого-то нет. Всегда кто-то скажет, что вот, дескать, у нас хороший директор, заботится о людях, добрый и все такое прочее, а кто-то напротив, кто-то скажет, что директор чуть ли не сволочь. Руководитель постоянно пребывает между двух огней: угодишь одному — не угодишь другому, поэтому, принимая решение, нельзя думать о том, как бы кому-то угодить. Решение должно быть по возможности справедливым, но справедливым не в отношении какого-то конкретного человека или группы людей, а в отношении общей пользы, в отношении дела...

Его размышления прервал телефонный звонок. Звонил Гераськин.

— Выяснили причины аварии и гибели подростка?

— Выясняем, — ответил Шумилов. — Но в принципе все ясно. Видимо, он из любопытства залез в трансформаторную, захотелось посмотреть, потрогать...

— Возможно, — сказал Гераськин. — А этот, монтер?..

— Монтера придется отдать под суд. Правда, у него тяжело больна жена...

— Это не оправдание. В общем, разбирайтесь. И учтите: время военное, вопросы соблюдения трудовой дисциплины и бдительности стоят очень остро. Партия уделяет этим вопросам огромное внимание, так что имейте в виду и не миндальничайте.

Ну вот еще один советчик. Если разобраться, то он прав, конечно. Ну тогда бы, товарищ Гераськин, взял и сказал прямо: поступай, Шумилов, так-то и так. Но это получилось бы, что он подменяет меня, а он этого не хочет, да и не должен, конечно. Все я должен решить. Но как?.. Перегнул я палку — виноват, не проявил должной гибкости, должного понимания, очерствел душой, администрирую, вместо того чтобы глубоко вникнуть, и тут уж не помогут ссылки ни на военное время, ни на остро стоящие вопросы!.. Недогнул — опять плохо, расслабился, значит, не проявил твердости, решительности, забыл, понимаешь ли, что ты есть руководитель, единоначальник, пошел на поводу у других, вместо того чтобы со всею решительностью и строгостью спросить с виновных. Нехорошо это, Шумилов, ах как плохо, когда руководитель поддается соблазну угодить всем, показать себя таким либералом, завоевывает дешевый авторитет...

Прямо как в сказке, усмехнулся Шумилов: направо пойдешь — левую ногу потеряешь, налево пойдешь — правую ногу потеряешь, а прямо пойдешь — обе ноги потеряешь...

Одно и остается — назад.

Нет, Шумилов не боялся ошибиться, однако сомнения оставались. Действительно ли есть необходимость отдавать под суд этого монтера? Не худший ли это вариант?.. Брось камень в воду, пойдут круги. Так, может быть, и здесь: отдай под суд этого сукиного сына, вполне возможно, что потянут и других. Ведь если допустить (а кое-кто уже допустил), что монтер не случайно ушел навестить больную жену, то почему бы не допустить и другое? Например, что его напарник тоже не случайно заболел, а Румянцева — или кто-то еще — не случайно не вызвала подмену заболевшему монтеру. Да собственно говоря, так ли уж случайно Румянцева, которая отнюдь не случайно допустила грубейшее нарушение правил техники безопасности и своих должностных обязанностей, оказалась именно на этой должности?..

Ему сделалось смешно. Да и не смешно ли это, ведь получается, что и он, Шумилов, как бы причастен к происшествию. Чуть ли даже не сподвижник?.. Нет, тут какое-то другое слово... Ага, со-участник. Разумеется, соучастник. Сподвижник — здесь не годится. А что, все

логично, все укладывается в схему. Правда, есть еще здравый смысл, но он не имеет значения, ибо логика именно тем и отличается от здравого смысла, что допускает любую чушь, любую несообразность как цель, лишь бы отыскалась хоть малейшая зацепка для связи одного факта с другим. А в данном случае факты увязываются легко и просто...

Вздор это, чертовщина какая-то, сказал себе Шумилов. Так-то можно обвинить кого угодно и в чем угодно, но не идиоты же сидят вокруг, не подлецы, которые только и думают, как бы сотворить гадость ближнему. К тому же нормальные люди руководствуются в жизни скорее здравым смыслом, чем логикой. Любой непредвзятый и мало-мальски образованный человек сразу поймет, что никакого злого умысла не было и быть не могло. Просто несчастный случай. Вот мальчишка... И понес же его черт в эту будку!

Он позвонил Румянцевой, спросил:

— Что с монтером, откачали?

— Кажется, Антон Игнатьевич. Все-таки это был шок.

— Пусть напишет объяснительную. А этот... мальчик, он здешний?

— Нет, эвакуированный.

— Вы там как-нибудь с его матерью поговорите, успокойте ее... — Он и сам понимал, что успокоить мать невозможно, однако нужно же что-то делать, а это хотя бы видимость действия.

— Хорошо, Антон Игнатьевич.

— И с похоронами надо как-то...

— Все сделаем, — сказала Румянцева. — А вы шли бы отдыхать.

Он сказал секретарше, чтобы его не тревожили телефонными звонками, разве что позвонят из наркомата или, не дай бог, случится что-то невероятное, и ушел.

А по дороге повстречал Нюшу. Он уже привык время от времени встречать ее, давно не удивлялся ее виду, ее неожиданным и глуповатым вопросам и разговорам, он даже раскланивался с нею, как со своей знакомой, так что не удивился и на этот раз, когда Нюша остановила его.

— Погоди-ка, человек, — сказала она.

Шумилов остановился, досадуя на Нюшу. Бог знает почему, однако он все же не верил, будто она «не в себе». Ему Нюша казалась вполне разумной, здравомыслящей, и он не мог взять в толк, для чего она при-

творяется. А что она именно притворяется, в этом Шумилов не сомневался. Наверное, так ей удобно жить.

Она приблизилась к нему, шаркая ногами, и, склонив по своему обыкновению голову на плечо, воззрилась на Шумилова снизу вверх. И вдруг произнесла скороговоркой, не переводя дыхания:

— Давно сказать тебе хочу, да все к слову не выпадало, теперь пришел час, а ты слушай, слушай, человек, внимай: кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее, ибо вечен человек. . . А всякая тварь земная, травинка всякая. . . — Она остановила поток слов, чтобы передохнуть, и Шумилов, воспользовавшись паузой, спросил со снисходительной улыбкой:

— И как все это понимать?

— А всяк по-своему понимает. И ты пойми, ибо верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Спаси тебя господь, спаси и сохрани. — Нюша окрестила живот Шумилова и пошла прочь, волоча больные ноги.

Бабка-то себе на уме, подумал он, провожая ее взглядом, и наверняка уже знает, что случилось на заводе. Ничего не скажешь, бесперебойно работает сарафанное радио, усмехнулся он.

III

А поспать Шумилову не удалось, пришла Надя. Это было столь неожиданно, что он растерялся.

— Я на минутку, Антон Игнатьевич, — сказала она. — Была рядом с вашим домом, захотелось посмотреть, как вы живете. . . — Она с интересом оглядывала комнату.

— Вполне прилично, Надюша. А если учесть, что идет война, можно считать, что живу прекрасно.

— А не скучно одному-то?

— Да я не бываю практически один, — ответил он. — Все на людях.

— Это верно, вам скучать некогда. — А сама все оглядывала комнату, будто искала что-то и не могла найти. — Знаете, у вас уютно. . .

— Бог с ним, с уютом, Надюша. Лучше скажите, как Анна Тихоновна, как Михаил Иванович? Все собираюсь заглянуть, да времени нет.

— Зашли бы, родители будут рады. А так ничего, здоровы все...

Какая-то скованная была Надя, обратил внимание Шумилов. Да он и сам чувствовал себя неловко. Говорить, в сущности, не о чем, и он предложил:

— Хотите чаю?

— Чаю? — переспросила она. — А хочу! — сказала решительно и даже как бы с вызовом. — Устала я, Антон Игнатьевич. И надоело все.

Он опустил в чайник кипятивильник.

— Ну, ну! — И шутливо погрозил пальцем. — Выше голову, вам еще рановато уставать. Вот кончится война...

— Все только и твердят: кончится война, кончится война...

— Да что с вами? — встревоженно спросил Шумилов.

— Так, вообще, — вздохнула Надя. — И что будет, когда кончится война?.. Сыты будем, да? А дальше? У вас прохладно. — Она поежилась. — Не солнечная сторона?

Шумилов понимал, что она пришла по какому-то делу. Скорее всего, по важному делу, но не знает, как приступить к разговору, поэтому говорит о пустяках. Пусть успокоится, подумал он. Пусть придет в себя. Не надо ее торопить.

— Не солнечная, — улыбнулся он. — Я не люблю, когда в окна светит солнце.

— Интересно. Все любят, а вы не любите. У вас усталый вид.

— Я все время хочу спать, — признался он. — У меня есть голубая мечта: завалиться и проспять суток трое или даже четверо. Потом встать, поесть хорошо и снова завалиться. Видите, какие мизерные стали наши мечты. А ведь забудется все, и появятся совсем другие мечты.

— Разве такое можно забыть?

— Забыть можно все, — сказал Шумилов хмуро. — Все можно забыть.

— Неужели все-все? — Надя испытующе смотрела на него. И он не выдержал этого взгляда.

— Ага, чайник вскипел! — воскликнул он с нарочитой радостью. — Кушать, как говорится на театре, подано. — И он поставил чайник на стол.

— Вы бы подложили что-нибудь под чайник-то, испортите стол.

— Ничего. На свете есть вещи поважнее столов.

Он достал стаканы, хлеб, маргарин и тут только вспомнил, что у него нет сахара, кончился.

— Со сгущенкой будете, Надюша?

— Мне все равно, лишь бы горячий. Зябко что-то. Лето на дворе, а я мерзну.

— Бывает, — сказал Шумилов. — Я простудился один раз в жизни, и это случилось летом, в июле месяце. Вы положили мало сгущенки, кладите еще.

— Не люблю, когда очень сладко. — Надя взяла стакан двумя руками, сделала два-три глотка и поставила стакан на место. — Помните, я рассказывала про мальчика, который спрашивал насчет Пушкина? Ну, почему мы должны его любить...

— Помню. По-моему, у этого мальчика задатки гения. Ведь, кажется, только гении позволяли себе плохо относиться к гениям?

Надя не приняла его шутливого тона.

— Его фамилия Чернов, — сказала она и пристально посмотрела на Шумилова.

Вот откуда мне знакома фамилия монтера, подумал он. Теперь все ясно. Он потянулся за папиросами, но, вспомнив, что Надя не любит табачного дыма, закуривать не стал.

— Вы курите, — сказала она. — Мне ничего.

— Перетерпится. Значит, и вы уже знаете?..

— Господи, Антон Игнатьевич, вся Тотьва знает.

— Разумеется, — проговорил он. Ему в самый раз было бы закурить. — И что еще знает вся Тотьва?

— Вы хотите, чтобы я сказала?

— Говорите, Надюша, не стесняйтесь. Это интересно.

— А почему вы с торжественного вечера ушли раньше? — Она смутилась и потупила глаза.

— Сдаюсь! — сказал Шумилов. — Ваша осведомленность, Надюша, выше всяких похвал. Я просто обезоружен. Очевидно, вы знаете и о том, с кем я ушел?..

— Вы меня неправильно поняли, Антон Игнатьевич! — Лицо ее покрылось пунцовыми пятнами, она чуть ли не плакала.

— Я все правильно понял.

— Я говорю то, что говорит вся Тотьва...

— А вот этого как раз и не надо, Надюша. Не надо повторять то, что говорит вся Тотьва. Вы же умная, самостоятельная девушка. Я-то думаю, чего это ко мне

опять сегодня привязалась Нюша! — Он покачал головой. — Но у нее хоть свои слова находятся.

— Простите, Антон Игнатьевич, я не хотела...

— Не в этом дело. Странно просто. И неприятно, Надюша. Живешь, словно в бане, честное слово. Извините.

— Трудно так жить?

— Ко всему привыкаешь, — вздохнул он. — Но иногда... Я все же закурю.

— Курите, я же сказала вам. — Она дождалась, пока Шумилов прикурил, и продолжала: — У Чернова трое детей, Антон Игнатьевич. Двое еще младше Вани.

— Вот как?

— А у жены, говорят, туберкулез. Она давно болеет. Умрет, наверное. Что с ним сделают? ..

— С кем?

— С Иваном Филипповичем.

— Это монтер, что ли?

— Ну да.

— Это будет решать суд, — сказал Шумилов.

— Все-таки суд... А без суда разве нельзя?

— Вы что же, считаете, что ему надо дать орден? — Он уже почти и не сдерживался, устал, ему надоело весь день думать и говорить об одном и том же.

— Но разве он преступник какой-нибудь! — воскликнула Надя.

— Не знаю, — сказал Шумилов. — Это решит суд, преступник он или нет. Мы, Надюша, не в бирюльки играем. Фашизм — это не шуточки, и каждый из нас обязан хотя бы просто добросовестно выполнять свой долг. Чернов не выполнил и будет отвечать за это. Это закон военного времени. Согласен, суровый закон. Но справедливый. Тем более его проступок, если это проступок, повлек... Погиб мальчишка, почти ребенок, Надюша. И не только в этом дело. А вы... — Ему хотелось сказать ей, что он и сам не уверен, надо ли отдавать Чернова под суд, однако что-то удерживало его, и он промолчал.

— А как же его семья, Антон Игнатьевич?

— Об этом он должен был подумать сам.

— А вы думать не хотите?

— Скажем так: не должен. У меня не детский сад и не школа...

— Ничего, я не обижаюсь, — сказала Надя.

— Спасибо и на этом.

— И все-таки подумайте, Антон Игнатьевич, я очень, очень прошу вас! Ну ради его детей, ради больной жены — вы же должны понимать... — тут же она сообразила, что сказала лишнее, и виновато взглянула на Шумилова. — Ради справедливости, наконец!

— С такими понятиями, Надюша, как справедливость и гуманность, надо обращаться осторожно. Почему вы считаете, что не наказать Чернова — справедливо и гуманно, а наказать — не справедливо?.. Если бы на его месте был бы кто-то другой, то есть не отец вашего гениального Вани, тогда что? Тогда справедливо было бы отдать человека под суд?..

— Не знаю, Антон Игнатьевич, — ответила Надя потерянно. — Наверное, пришел бы кто-то другой, чтобы просить вас за него.

— Вы просто необъективны. Нам всегда кажется, что несправедливости совершаются именно по отношению к нашим близким. Дальше этого мы не видим, не желаем видеть. А как же — начальник, значит, враг подчиненным!.. — Шумилов был раздражен почти до крайности и не мог скрыть этого.

— Но я ничего такого не говорила, — возразила Надя.

— Это само собой разумеется, об этом и не говорят, об этом думают. Признайтесь: ваши пионеры тоже ведь убеждены, что вы несправедливы, когда наказываете их?

— Я стараюсь не наказывать.

— Я тоже стараюсь, но не всегда это возможно и нужно.

— Наверное, и я бываю несправедлива, — согласилась Надя.

— Вот не надо! — Шумилов даже руками замаяхал. — Сейчас вы готовы согласиться на все, лишь бы я согласился с вами. Это некорректный прием. Хотя бы потому некорректный, что не я вас прошу о чем-то, а вы. Не я вас обвиняю, а вы меня.

— Я вас ни в чем не обвиняю, Антон Игнатьевич! — воскликнула Надя. — Я только прошу...

— Просите изменить принятое решение, следовательно считаете его несправедливым, жестоким, негуманным и прочее. Так?.. Проще говоря, обвиняете меня в несправедливости, в негуманности, в жестокости.

— Нет. Я знаю, что вы правы. Но если можно, Антон Игнатьевич! Ведь даже преступников жалеют...

— А кто пожалеет мать погибшего мальчишки? Кто пожалеет вдов и сирот, чьи мужья и отцы погибают на фронте, в том числе и за детей Чернова? Вы? Я?.. Им не будет легче от нашей с вами жалости, вот Чернову будет, если пожалеют его.

— Но при чем тут вдовы и сироты?

— А при том, что, кроме гибели мальчишки, завод полтора часа по вине вашего подзащитного был без электроэнергии! А печи разогревались и того дольше. Это что, по-вашему?.. Это потерянная для фронта продукция. Пусть мелочь, пусть ерунда, но на фронте за каждой мелочью стоят человеческие жизни, Надюша! Мы не сделаем какой-то пустяк, а из-за этого пустяка чей-то отец уже никогда не вернется домой. . .

— Не надо больше ничего говорить, я поняла вас.

— Лучше, если бы вы поняли это раньше, — сказал Шумилов с сожалением. — И давайте договоримся раз и навсегда: вы воспитывайте детей, а я, пока мне доверяют, буду руководить заводом. Хорошо?.. Не надо нам лезть в дела друг друга, Надюша. Не надо. А с вашим Черновым разберутся те, кому положено. Так будет справедливо. Должен вам сказать, что отвечать придется не только ему. Другим тоже.

— И вам?

— И мне.

— За себя боитесь?

— Всем людям свойственно чувство самосохранения.

— А я-то думала... — Она закрыла руками лицо и выбежала из комнаты.

Глупая девчонка, подумал Шумилов. Глупая и добрая. Он подошел к окну. Надя бежала по дорожке по направлению к школе. Он проводил ее взглядом и покачал головой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

I

Утром, придя на работу, Шумилов распорядился разыскать Чернова и еще раз внимательно перечитал все документы, а также приказ по заводу, который был уже отпечатан. Оставалось лишь подписать. Но, значит, бы-

ли у Шумилова какие-то сомнения, коль скоро он захотел поговорить с Черновым, хотя бы увидеть его, прежде чем приказ обретет законную силу. . .

— Ну, дорогой товарищ, что прикажете с вами делать? — раздраженно сказал Шумилов, неприязненно оглядывая Чернова, который, войдя в кабинет, остановился возле двери, чуть отступив в сторону. Был он тщедушный, болезненный на вид, держался робко и не поднимал глаз. И вот эта его болезненность, какая-то незащищенность еще более раздражала Шумилова.

— Вам виднее, товарищ директор. . .

— Хорошее дело! Пакостить будете вы, а думать за вас должен товарищ директор. Нет, так у нас не пойдет. Каждый обязан отвечать за себя и за свои поступки. Да подойдите вы поближе, что торчите у дверей!

Чернов неуверенно, с опаской, словно боялся, что его ударят, приблизился к столу.

— Отвечайте, я жду.

— Так ведь. . . откуда же я знал, товарищ директор, что все так получится?

— А кабы знал, соломки бы подстелил, что ли?

— Соломка что, я ж понимаю, что дело серьезное. . .

— Хорошо еще, что хоть это понимаете, — усмехнулся Шумилов. — И сядьте вы, не торчите перед глазами, как столб.

— Благодарствуем, я постою.

— Ну стойте, если нравится стоять. Вы почему не в армии, у вас бронь?

— Не, по болезни не взяли. Я-то просился, у военкома самолучно был, — нельзя, говорят.

— А что с вами такое?

— С сердцем вроде что-то да еще какие-то хвори нашли, — спокойно ответил Чернов. — Известное дело, доктора завсегда, если захотят, болезни отыщут.

— Болит сердце? — спросил Шумилов. Его удивляло спокойствие Чернова.

— А когда как, товарищ директор. Чтобы всегда болело, такого нет, врать не стану. — Он вдруг поднял глаза и тихо сказал: — Стыдно мне, простите. . .

— Вот на суде и объясните, что вам стыдно и что вы больше никогда не будете так поступать. — Наивность Чернова выводила из себя Шумилова, он понимал, что эта наивность может погубить не только самого Чернова, но и других. Он совсем не умеет защищаться и, по-

хоже, готов признаться даже в том, в чем не виноват. Это свойство людей открытых, честных, которые и в окружающих полагают такую же открытость и такую же честность. Мир для них столь же прост, сколь просто они к нему относятся.— Что молчите, Чернов? — спросил Шумилов.

— Да вот вы про суд что-то сказали, товарищ директор...

— Ну?

— Какой это суд?

— Обыкновенный. Впрочем, нет. Вас, наверное, будет судить военный трибунал.

— Меня? — искренне удивился Чернов.

— Вас, вас!

— За что же? Да разве ж я специально?.. Дети малые, жинка... — Он замялся.

— Что с женой?

— Помирает она, — вздохнул Чернов. — Не-е, под суд мне никак нельзя, товарищ директор. — Он говорил об этом так, словно его уговаривали пойти под суд, а он стыдился того, что вынужден отказываться.

Шумилов смотрел на него, и в нем пробуждалась жалость. Ну в самом деле, можно ли заподозрить этого человека...

— Вы трансформаторную закрывали на замок? — спросил он.

— Вот не помню, товарищ директор, — признался Чернов. — Вылетело из головы вовсе. Должен бы закрыть, а не помню. Меня уже Вера Петровна допрашивала...

— Надо вспомнить, Чернов. Это очень важно.

— Я постараюсь. Вроде как... — Он сморщил лоб, напрягая память. — Ключ-то в кармане был... Так-то, когда внутри работаем, ключ в замке торчит...

А ведь верно, подумал Шумилов. Логично.

— Но как вы решились уйти? Вы знали, что бывает за самовольный уход с работы?

— Да ведь... Худо жинке, товарищ директор. Совсем уж худо. А дети малые, на них какая надежда?.. — Он поднял глаза и преданно посмотрел на Шумилова. — На минутку, подумал, сбегаю, может, что нужно ей...

— Дорого обошлась эта ваша минутка, — сказал Шумилов. — Почему вы не доложили, что ваш напарник не вышел на работу?

— Так не знаю почему. Заболел, стало быть, раз не

вышел. Или еще что. Не впервой это. Бывало, что и я не выходил.

— И никогда никому не докладывали?

— Номерок-то если не висит на доске, оно и видно, кто не вышел на смену, — просто объяснил Чернов. — Табелъщица отмечает.

Черт возьми, мысленно воскликнул Шумилов, как, действительно, все просто. Табелъщица! Это ее обязанность, для того и существует табелъщица, размышлял Шумилов, удивляясь, что никому раньше эта мысль не пришла в голову. А может, пришла?.. Может, Румянцева и Авдеев не захотели подставлять табелъщицу под удар?.. Но если не доложила табелъщица, значит, все-таки случайность. Одна из тех случайностей, которые всегда были, есть и будут. Правда, это не снимает ни с кого ответственности за случившееся, но многое объясняет. Не мог же кто-то предвидеть, что напарник Чернова не выйдет на работу, заболит, что табелъщица не доложит об этом своему начальству, что Чернов уйдет с рабочего места, чтобы навестить больную жену, что мальчишке захочется заглянуть в трансформаторную?.. Если допустить такую возможность, тогда нужно допустить (признать!), что это гениально продуманная акция, в которой Чернову была отведена роль козла отпущения.

Все это, разумеется, чепуха, вздор, но факт остается фактом, что Чернов покинул рабочее место именно в тот вечер, когда не было напарника, и вот этот-то факт не опровергнуть, к нему обязательно привяжутся, подумал Шумилов, если захотят привязаться...

— Скажите, Чернов, — спросил он, — только честно — это очень важно для вас, — позавчера, например, или еще когда-нибудь вы не уходили проведать жену?

— Было, товарищ директор, виноватый я...

— Виноватый! — вскричал Шумилов. — Бить вас некому. А может, вы уходили и тогда, когда работали без напарника?

— Один разок, честное слово!

— Один разок!.. Взгреть бы вас один разок. Что с вами теперь делать прикажете?

— Вам виднее. — Чернов пожал плечами.

И в это время зазвонил телефон, Шумилов снял трубку.

— Антон Игнатьевич? — спросила Румянцева.

— Да, я, слушаю вас, Вера Петровна.

— Чернов у вас?

— А в чем дело?

— Только что мне передали, что его жена скончалась.

— Еще не легче! — сказал Шумилов и положил трубку.

На фронт, надо проситься на фронт, зло думал он. Хватит с меня этих головоломок. Так недолго сойти с ума. Что делать?.. Ведь действительно нельзя отдавать подсуд этого дурака, трое детей...

— Вы объяснительную написали?

— Написал, как велели.

— Напишите другую. И запомните: вы дома не были. Вас никто не видел, когда вы уходили?

— Кажись, не видел.

— Не были дома, ясно?

— А где я был?

— Откуда я знаю! Пробки меняли, лампочки... Далеко были, в другом конце завода. И дверь закрывали на замок. Ступайте. — Сказать, что его жена умерла, Шумилов не смог.

Когда Чернов ушел, он отыскал в бумагах его объяснительную и, не читая, порвал ее.

Понимал ли Шумилов, на что идет? Безусловно, понимал. Однако понимал он и другое: правда в данном случае ничего исправить не могла, а зло, причиненное по недомыслию и халатности Черновым, табельщицей (гнать в чернорабочие!) и другими, неизмеримо меньше, чем зло, которое случится, если откроется вся правда. Да, это почти невероятно, это парадокс, ибо правда самоценна сама по себе, и все же в этом нет противоречия, потому что законы и логика военного времени отличаются от законов и логики обычной жизни.

Да, это справедливо и необходимо. Да, еще какой-нибудь час назад Шумилов был убежден, что справедливость требует суда, и суда строгого, над Черновым. Сейчас многое изменилось. Трое лишних сирот — слишком большая плата за принципиальность, а такие понятия, как человечность и сострадание, никто не отменял. Их невозможно отменить. И, быть может, сегодня они нужнее, чем когда бы то ни было.

Именно так, сказал себе Шумилов. Именно так.

Он вызвал Авдеева и Румянцеву.

— Действительно жена Чернова умерла?

— К сожалению, Антон Игнатьевич, — ответила Румянцева. — Вы ему не говорили?

— Не смог, — признался Шумилов. — Черт его знает, становлюсь каким-то сентиментальным.

— Разве это плохо?

— Давайте к делу. Докладную необходимо переписать заново, — сказал Шумилов. — И акт тоже. А Чернов напишет новую объяснительную. Впрочем, ему теперь не до объяснительных... Вот завязали узелок, не распутать. Насколько я понимаю, вы хотели выгородить табельщицу, Вера Петровна?

Румянцева молчала.

— Выгораживайте, если вам так хочется. Это меня не интересует. Кстати, кто она?

— Ах, девочка, — ответила Румянцева, вздохнув. — Пятнадцать лет.

— А я решил ее в чернорабочие. В общем, господотоварищи, вот ваши бумажки, я их не читал, не видел. И ничего не знаю. Представьте мне докладную, акт о несчастном случае и ваши выводы. Оказывается, Чернов в это время менял где-то пробки. Надо разыскать людей, которые видели его.

Авдеев с Румянцевой переглянулись.

— Вам что-нибудь неясно? Или вы вместе с Черновым хотите пойти под суд? И эту пятнадцатилетнюю табельщицу прихватить за компанию?

— А если узнают...

— Никому от этого хуже не станет, — сказал Шумилов.

— А вам?

— Идите и делайте, что вам велено.

— Я так не могу, — сказал Авдеев.

— Будьте мужчиной, черт бы вас побрал! И вообще, откуда вы взяли, что Чернов уходил с рабочего места?

— Он сам написал в объяснительной...

— Где она, эта объяснительная? Дайте мне ее! — Шумилов протянул руку. — Я, например, ее не видел.

— Пойдемте, Михаил Павлович, — трогая Авдеева за руку, тихо проговорила Румянцева. — А вам, Антон Игнатьевич... — Она была бледная, и в глазах ее застыли слезы.

— Знаю, зачтется, — нарочито усмехнулся Шумилов.

— Зачем вы так, Антон Игнатьевич!

— Идите, у нас нет времени на пустые разговоры.

Спустя три дня к Шумилову явился следователь из местной прокуратуры.

— Овчинников,— представился он.

— Присаживайтесь,— пригласил Шумилов.— Я вас внимательно слушаю.

— Но без особенного желания, не так ли?— он улыбнулся, и Шумилов обратил внимание, что у него приятное открытое лицо.

— Если бы мы поменялись ролями, у вас было бы большое желание беседовать со мной?

— Наверное, нет.

— Видите. Впрочем, каждый из нас на своем месте и каждый выполняет свой долг,— сказал Шумилов.— Итак...

— Насчет долга вы очень верно заметили. Жаль, что не все понимают это. А живете вы небогато.— Следователь оглядел кабинет.

Шумилов усмехнулся. Он любил простоту во всем и терпеть не мог лишних, необязательных вещей. Он и дома готов был выбросить все, что казалось ему лишним, что стояло или лежало без дела, и они частенько спорили с женой на эту тему. Жена наоборот, она любила всякие там безделушки и украшения...

— Если я правильно понимаю, вы пришли не для того, чтобы познакомиться со мной и с моим служебным кабинетом?

— Как вам сказать... Обстановка, окружающая человека, может многое поведать о самом человеке,— ответил Овчинников.— Аэпонять вас, Антон Игнатьевич,— значит выполнить половину возложенной на меня миссии. А пришел я к вам, чтобы уточнить кое-что в отношении недавней аварии.

— Интересно, с какой это стати прокуратура занимается этим происшествием? Расследование, как и положено, мы провели, меры приняты, виновные наказаны в полном соответствии с личной виной каждого. Что еще? Несчастный случай, стечение обстоятельств. К сожалению, на производстве бывают несчастные случаи и потяжелее. Кстати, раз уж вы лицо официальное и, очевидно, будете задавать мне вопросы, касающиеся именно производства, а оно у нас военное,— он с усмешкой посмотрел на следователя,— мне бы хотелось взглянуть на ваши документы.

Овчинников молча достал служебное удостоверение и протянул Шумиллову.

— Теперь мы можем говорить откровенно, — возвращая удостоверение, сказал Шумиллов. — Чтобы сразу расставить точки над *i*, повторяю: виновные наказаны в административном порядке, а кое-кто будет, видимо, наказан и по партийной линии.

— Да, все это нам известно, Антон Игнатьевич. Но дело в том...

— Неужели кто-то пожаловался на строгость наказания? — притворно удивился Шумиллов.

— Я понимаю, что вас не обрадовал мой визит... — сказал Овчинников, — но все же мне бы хотелось, чтобы мы с вами были откровенны друг перед другом.

Шумиллов очень пристально взгляделся в его лицо, и ему показалось, что Овчинников намекает на что-то...

— Давайте попробуем.

— Дело в том, что в прокуратуру поступил сигнал, и мне поручено проверить его.

— От кого?

— А почему вы не спросили «какой сигнал»?

Шумиллов чуть смутился, поняв, что сделал промах.

— Но это не имеет значения, — с нажимом проговорил Овчинников. — Я не могу вам сказать, от кого поступил сигнал.

— Я понимаю, — сказал Шумиллов. — Служебная тайна, так? Задавайте вопросы, обещаю вам откровенно ответить на любой.

— Спасибо за доверие, Антон Игнатьевич. Только отвечая, все же не спешите. Скажите, действительно ли акт, объяснительная Чернова и другие документы передавались по вашему указанию?

— Это не один вопрос, — сказал Шумиллов. Он прекрасно понимал, что просто все отрицать не имеет смысла. Хотя бы потому, что слишком много людей знают правду. Значит, нужно найти ту золотую середину (полуправду, если быть честным), которая позволит избежать дальнейшего расследования и суда, но в то же время не будет совсем уж откровенной ложью. В общем-то, он был готов к этому, и потому ответил даже быстрее, чем можно было предположить. — Да, акт переписывали по моему указанию. И докладную тоже.

— Почему?

— Видите ли, акт составляли в спешке, прямо ночью — я же и приказал, — и допустили... скажем так: необъективность. А точнее говоря, неточность, которая могла вызвать самые неприятные толки.

— А именно?

— И в акте, и в докладной главного механика и его заместителя по энергетике было написано, что дежурный монтер Чернов самовольно покинул рабочее место...

— Это важный момент, — сказал Овчинников. — Что же произошло на самом деле?

— На самом деле его действительно не было на том месте, где всегда должен находиться хотя бы один дежурный монтер, — ответил Шумилов. — Но дело все в том, что в ту ночь Чернов вообще был один, его напарник неожиданно заболел.

— Почему же он ушел с рабочего места?

— Рабочее место дежурного монтера — весь завод, — сказал Шумилов. — На грузовом дворе, знаете, где железнодорожная ветка проходит?..

— Это со стороны станции?

— Да, да. Там перегорела лампочка у ворот, и вахтер, естественно, вызвал монтера.

— А сам вахтер вернуть лампочку не мог?

— Разумеется, мог, если бы имел ее. Каждая лампочка на строжайшем учете.

— Как фамилия этого вахтера?

— Ей-богу, не помню, — развел Шумилов руками. — Это нетрудно узнать. Но вообще-то с ним беседовали.

— Понятно. А домбй монтер не мог уйти?

— Что я вам могу на это сказать?.. Все может быть. Он выглядит очень честным, я бы сказал, даже наивным человеком. Вряд ли он стал бы врать.

— А кто-то другой мог бы уйти, если бы захотел?

— Вот вы о чем! — догадался Шумилов. — Знаете, я как-то об этом не задумывался. У меня есть помощник по режиму, Белых...

— Знаю, — сказал Овчинников. — Этот момент надо проверить, Антон Игнатьевич. Оборонное предприятие, сами понимаете...

— Сегодня же разберусь.

— Разберитесь. А свою объяснительную Чернов не переписывал?

— Зачем?

— Сначала написал, что уходил домой, а потом кто-то научил его не признаваться в этом...

— Нет, не думаю, — сказал Шумилов. — Да и не до того ему. У него умерла жена.

— Печально, — сказал Овчинников. — Ее, кажется, уже похоронили?

— Точно не знаю.

— А погибшего подростка?

— Вчера. На мать смотреть невозможно. Такое несчастье. Не от нее жалоба?

— Не от нее, Антон Игнатьевич, — усмехнулся Овчинников. — Вы были на похоронах?

— Разумеется. И парторг был. Он выступил. Но разве словами тут поможешь?

— Это верно. А как могло случиться, что табельщица не доложила о невыходе на работу второго монтера?

Он уже во всем разобрался, понял Шумилов. Знает все до мелочей. Выходит, визит ко мне пустая формальность?.. Или пытается поймать на противоречиях?.. Не похоже, да и явно, очень уж явно намекал на что-то, словно предостерегал, советовал быть осторожным...

— Забыла, говорит, — сказал он, вздохнув. — Дело, конечно, не в забывчивости, просто не придала значения. Кто-то не проинструктировал, не проверил, а вообще-то девчонка, что с нее взять! — Он взмахнул рукой. — Пятнадцать лет, ребенок, в сущности. В куклы бы ей играть, а она во взрослые игры играет.

— Это верно, — тоже вздохнул Овчинников. — А все же учет и контроль, Антон Игнатьевич, на заводе организован из рук вон.

— Тут я могу только поднять руки. — И Шумилов действительно поднял руки. — Придется кое с кого спросить, и спросить строго. Ну, а главная вина, разумеется, ложится на меня. Думаю, что и меня не погладят по головке. Что ж, наперед наука.

— Извините, но я вынужден буду сделать представление, — сказал Овчинников.

— Какие извинения, все правильно! — Шумилов окончательно понял, что следовательно все сведет к недостаточному контролю, а это означает, что самого страшного не произойдет.

— Я ведь уже два дня на заводе, — проговорил Овчинников. — А пропуска у меня нет, обратите внимание. Показываю свое удостоверение, даже не раскрывая его, и прохожу. Но с таким же успехом я бы мог пока-

зять пропуск на лесокombинат или хлебные карточки, лишь бы они были в твердых красных корочках.

— Черт бы их побрал! А ведь меня ни за что без пропуска не пустят.

— Вас знают, поэтому и не пустят.

— Возможно, — пробормотал Шумилов. — Хорошо, я разберусь с этим вопросом. Сегодня же разберусь.

— Только прошу вас, Антон Игнатьевич, не взыскивайте с вахтера. Я наблюдал, как проходят другие. Почти никто из руководства завода не предъявляет пропуск. Вероятно, и меня принимают за начальство.

— Вполне, — улыбнулся Шумилов. — Внешность у вас... начальственная.

— За пропускной режим ведь Белых отвечает?

— Он, он.

— А как он вообще-то работник?

— Сами видите.

— Да, это его упущение. И упущение серьезное.

Шумилов ничем не выдал, что понял намек.

— А, работнички! — сказал он презрительно. — В мирное время я бы знал, что с такими делать: выгнал бы к чертовой матери и все. А сейчас... некуда выгнать. Ну, лишат брони, отправят на фронт, так ведь на фронте они такого натворят!.. Здесь хоть кровь по их вине не льется...

— Интересно.

— Что интересно?

— Мысль интересная. Однако пора и честь знать. — Овчинников поднялся. Встал и Шумилов.

— И как ваше мнение? — спросил он.

— К сожалению, Антон Игнатьевич, мое начальство будет интересоваться не моим мнением, а результатами проверки.

— И каковы же результаты, если не секрет?

Овчинников снова сел.

— Первоначальный вариант акта не сохранился?

— Даже не знаю, — ответил Шумилов. — Думаю, что нет. Если хранить каждую ненужную бумажку...

— Да, конечно. К тому же вы говорите, что акт был составлен неграмотно?

— Дальше некуда! — подхватил Шумилов. — Не официальный документ, а какая-то небывальщина. Романы им сочинять, а не акты составлять.

— Авдеев и Румянцева составляли?

— Да.

— Мне необходимо с ними побеседовать, Антон Игнатьевич. Скажем, завтра в десять утра. Это возможно?

— Хоть сейчас.— Шумилов потянулся к телефону.

— Завтра в десять,— с нажимом повторил Овчинников.— И еще мне понадобится вахтер с грузового двора. Вы распорядитесь, пожалуйста. Кажется, пока все.— Уже открывая дверь, чтобы выйти, он повернулся и тихо сказал: — Может, все-таки не уничтожили... черновики документов, Антон Игнатьевич? Вы на всякий случай проверьте, было бы кстати, если бы они отыскались...— и он быстро вышел из кабинета.

Ясно, Овчинников дал возможность — подсказал! — сочинить заново «черновики» акта и докладной, которые будто бы случайно найдутся среди бумаг. Ясно также, что эти «черновики» должны отличаться от теперешнего варианта. Но не очень сильно, не по существу, а только по форме. Значит, нужно убедить в этом Авдеева и Румянцеву. А если они не согласятся?.. Согласятся, это в их интересах. Прежде всего в их. Тут вроде бы все складывается хорошо. А вдруг, неожиданно подумал Шумилов, вся эта задушевная беседа только провокация? Что, если этот Овчинников провоцировал меня?.. Этак ловко подъехал; разговорил, а сам... Нет-нет, такого не может быть. Он не похож на провокатора, у него честные, искренние глаза и открытое лицо. Интересно, почему он хромотает, на фронте, что ли, был?.. Ведь он мог не откладывать встречу с Авдеевым, с Румянцевой, с этим вахтером, наконец. Мог встретиться с ними до меня, а мог вызвать их в кабинет прямо сейчас и устроить нечто вроде очной ставки. И потом явно же дал понять, что сигнал хоть и анонимный, но автор его — Белых. Зачем бы он это делал, когда бы хотел довести дело до суда?.. Что-то не связывается тут.

Он вызвал секретаршу.

— Лидия Александровна, вы не помните, где у нас черновики этого акта и докладной? Ну, по аварии...

Догадывается или не догадается? Подыграет или не захочет?

— Не помню, Антон Игнатьевич, надо поискать,— сказала она.

— Потом поищите, это, в общем-то, не к спеху и не обязательно. Через полчаса ко мне Авдеева и Румянцеву, а сейчас — Белых.

Белых явился мгновенно, словно ждал этого вызова. А может, и в самом деле ждал, зная о визите следователя. Был он спокоен, уверен в себе, и не было в нем, обратил внимание Шумилов, обычной угодливости.

Сукин ты сын, подумал Шумилов. Какой же ты сукин сын! Дать бы тебе по морде, от всей, как говорится, души. Жаль, что нельзя. Очень даже жаль. Иногда это полезно и необходимо. Иногда мужчины должны именно так выяснять свои отношения.

— Что у нас творится на проходной? — спросил он.

— Мне не докладывали, если позволите, я сию минуту выясню, что там произошло... — Белых шагнул к столу и протянул руку к телефону.

— Потом выясните. И заодно выясните, сколько дырок в заборе. Боюсь, что много. Дайте-ка ваш пропуск.

— Пропуск?.. — Он порылся в карманах. — Знаете, оставил, очевидно, в кабинете. А в чем дело, Антон Игнатьевич?

— Ступайте и принесите пропуск, — сухо проговорил Шумилов.

— Вспомнил, он у меня в другом френче. Пуговица оторвалась, я оставил дома, чтобы жена пришила.

— А у меня почему-то пропуск всегда при мне, — сказал Шумилов и, вынув пропуск из кармана, положил на стол. — Всегда в том пиджаке, в котором я иду на завод. Вы поняли?

— Виноват, Антон Игнатьевич.

— Вы обязаны контролировать установленный на заводе режим, а вместо этого сами его нарушаете. И грубо нарушаете, товарищ Белых! Глядя на вас, нарушают и другие, и я за это буду спрашивать невзирая на лица и самым строжайшим образом. Сейчас же поставьте в дверях заводууправления вахтера и не выпускать никого — слышите, никого! — без пропуска.

— Но ведь пока вход в заводууправление с улицы...

— Но ведь люди бывают в течение дня на территории! Вам ясно?

— Так точно.

— Вот и выполняйте. Всех, у кого не окажется пропусков, ко мне. Все получают взыскания, и вы первый. Можете подготовить приказ: за халатное отношение к своим обязанностям и нарушение пропускного режима объявляю вам выговор. У меня все.

До чего же красивая была весна в Верхней Тотьве! Пышная, многоцветная, изобильная на дожди и солнце, щедрая ко всему живому, точно бы природа в доброту своей расплачивалась с людьми за жестокую зиму. Едва сошел снег, вспухли чуть ли не в один день и раскрылись почки; потянулись кверху, спеша утолить голод, озимые; повеселела, принаряжаясь в молодую зелень, угрюмая тайга. И даже речка Пряженка, обычно тихая и послушная, разлилась в пойме как море, и можно было прямо в городе наблюдать небывалый нерест рыбы.

Такая буйная весна обещала сытый год.

А пока ели свежую лебеду, крапиву. Мальчишки делали набеги на болота, разоряли птичьи гнезда, вызывая неудовольствие стариков. Где там, разве остановишь голодных мальчишек, когда вот они, только не ленись, вкусные утиные яйца. Хороша была и рыбалка. Не было крючков, но тотчас объявились умельцы — делали сами и продавали за шальные деньги. На лески шел конский волос, который тоже продавался и обменивался, потому что не каждый отваживался выдергивать волос из хвостов лошадей. И слава богу, что на Руси не принято было укорачивать, обрезать лошадям хвосты. Ну, а самих лошадей возле исполкома, возле райкома и на рынке хватало. Только не зевай, когда отвернется или отойдет хозяин.

Копали за городом целину под огороды (семенной картошки удалось достать немного, распределяли ее строго, а сажали лишь «горбушки»), обрабатывали земли заводского подсобного хозяйства. Все уже примирились с тем, что надо как-то обустраиваться надолго и думать о дне завтрашнем, о будущей зиме.

Завод выпускал продукцию, поговаривали, что он будет филиалом танкостроительного, но пока все оставалось по-прежнему. Наркомат затребовал списки особо отличившихся для представления к правительственным наградам. Шумилову по секрету сообщили, что он тоже представлен к ордену. А в нем с пуском завода и прежде всего после аварии надломилось что-то, он снова затосковал, временами впадал в мрачную меланхолию,

теперь ему как бы не хватало дела, и он опять написал рапорт с просьбой отпустить его на фронт. А тут еще от врача из Ярославля пришло письмо, в котором Ирина Васильевна писала, что его жене стало хуже, она отказывается от пищи, почти не бывает в сознании, хорошо бы ему приехать, навестить жену, потому что всякое может случиться. . .

Про аварию вроде бы все забыли и думать, дело, насколько знал Шумилов, прекратили, и за это, понимал, нужно было благодарить Овчинникова.

И вдруг Кирпичников сказал, что на очередном бюро райкома будут разбирать персональное дело Шумилова.

— Пусть разбирают, — отмахнулся Шумилов. Ему было все равно.

— Ты не очень-то хорохорься, — сказал Кирпичников. — Все гораздо сложнее, чем тебе кажется.

— Даже так? — удивился Шумилов.

А за несколько дней до бюро его вызвал Гераськин. Встретил он Шумилова подчеркнуто приветливо, даже радушно, вышел навстречу из-за стола с протянутой рукой.

— Я тут подумал, Антон Игнатьевич, — сказал, беря Шумилова под локоть, — что мы уже порядочно знаем друг друга, а ни разу не поговорили по душам. Странно получается, не правда ли?

— Значит, не было необходимости.

— Необходимость-то и была, и есть, а вот времени. . . — Гераськин развел руками. — Полнейший зарез. Я иногда телом чувствую, как время раздирает меня на куски. Вы, кажется, курящий?

— Курящий.

— Тогда я открою окно.

— Я не собираюсь курить, — сказал Шумилов.

— Курите, отчего же. Я дыму не боюсь. Сам пятнадцать лет курил, бросил. Побаливает мотор. — Он постукал себя в грудь. — Эх, дайте-ка и мне папиросу, задымлю с вами. — Затянувшись два-три раза, Гераськин глухо-закашлялся, потушил едва начатую папиросу и виновато проговорил: — Только добро испортил. Как дела в литейке?

Там долго не могли наладить бесперебойное литье «башмаков».

— В порядке, — ответил Шумилов. Он понимал, что все это лишь вступление, преамбула к разговору, что

разговор будет вовсе не о производственных делах, поэтому и не пытался угадать, куда клонит Гераськин. Сам скажет, раз позвал.

— Вы догадываетесь, зачем я пригласил вас? — спросил Гераськин.

— Поговорить по душам?

— И это тоже. Но прежде должен поставить вас в известность, что райком решил заслушать вас на заседании бюро.

— Я знаю. Это в связи с той аварией?

— Об этом тоже надо поговорить. Но дело не только в этом, Антон Игнатьевич. Как бы это объяснить вам... — Гераськин сделал вид, что задумался, подыскивая наиболее подходящие, наиболее безобидные и не оскорбительные слова. — Понимаете, к нам в райком, а также и в другие органы, поступают неприятные сигналы, и мы должны как-то реагировать... Сигналы такого свойства, что не хотелось бы и говорить, но никуда, к сожалению, не денешься... Я вот и решил до бюро лично переговорить с вами. Возможно, слухи неоправданные, преувеличенные, как часто бывает...

— Опять эти таинственные сигналы! — воскликнул Шумилов. — В чем там еще дело? Надеюсь, я никого не ограбил, не убил?...

— Не надо горячиться, Антон Игнатьевич. — Гераськин порылся в бумагах на столе, вроде как собрался показать одну из них Шумилову, но тут же и передумал, отодвинул бумаги в сторону. — А, — сказал он, — лучше на словах. Сигнализируют, что будто бы вы сожительствуете с женщиной, муж которой находится на фронте. Антон Игнатьевич, скажите мне, что это неправда!

Шумилов вскочил.

— Послушайте, кому какое дело до моей личной жизни? — вскричал он. — Кто, кто заглядывал ко мне в постель или в постель этой женщины?! Что это вообще за формулировка — «сожительствуете»?

— Ну, это не мне вам объяснять, — спокойно проговорил Гераськин. Он знал, конечно, что в разговоре с Шумиловым, если хочешь вывести его из себя, лучше всего придерживаться спокойного, «задушевного» тона. — На рыбалку к Краснову вы что, в самом деле брали эту женщину с собой?...

— Если вы имеете в виду Елену Сергеевну Пухначеву, — сказал Шумилов, — то да, брал. Точнее, она ездила

вместе со мной. Она не вещь, чтобы ее брать в карман, например.

— Видите. Кстати, Антон Игнатьевич, как здоровье вашей жены?

— Благодарю, здоровье моей жены улучшается.— Он не хотел говорить правду. Да ведь и вопрос был задан не для того, чтобы получить ответ, любой ответ, но для того, чтобы напомнить Шумилову, что и он не свободен.

— Нехорошо у нас получается... Нехорошо, Антон Игнатьевич! У гражданки Пухначевой муж на фронте, Родину защищает, у вас жена в больнице, а вы с этой... Признаться, я не очень верил этому...

— Верили,— сказал Шумилов.— Очень даже верили, потому что хотели верить. Не надо устраивать театр, я не мальчик, а вы как-никак секретарь райкома партии. Так что...

— Именно, что вы не мальчик,— уже сухо сказал Гераськин.— А партия всегда придавала и придает большое значение моральному облику своих членов. Краснов бывал у вас в гостях?

— Вы это знаете и без меня,— ответил Шумилов,— раз знаете, что я был у Краснова на рыбалке и возил туда замужнюю женщину, муж которой защищает Родину. Вы вообще поразительно много знаете обо мне, и это делает вам честь.

Гераськин пристально так, а пожалуй что и с сожалением (Шумилов, конечно, не заметил этого) посмотрел на него.

— Не советовал бы вам иронизировать, Антон Игнатьевич,— сказал он.— Время неподходящее.

— Благодарю за совет, при удобном случае я непременно воспользуюсь им.

— Похоже, вы не очень настроены на откровенный разговор, а жаль.

— Да о какой откровенности вы говорите?— удивленно воскликнул Шумилов.— У вас же на меня куча материалов собрана!.. Ну, что там еще? Давайте, не стесняйтесь, чем больше, тем лучше.— Он протянул руку к бумагам, и Гераськин инстинктивно отодвинул бумаги подалше.

Шумилов рассмеялся громко.

— Вы что,— сказал он,— решили, что я схвачу эти бумажки и стану их жевать?

— А вы очень уж самоуверенны, — проговорил Гераськин, краснея. — На вашем месте я бы хорошенько подумал. Мне кажется, вы не совсем понимаете...

— Никогда не считал самоуверенность пороком, — перебил его Шумилов. — А насчет места... К счастью, каждый из нас находится на своем месте.

— Может быть, и к счастью, не знаю, — сказал Гераськин. — В этом еще надо разобраться. А вы не скажете, Антон Игнатьевич, что привозил Краснов, когда приезжал к вам в гости?

— Во-первых, он не в гости приезжал, во-вторых, об этом лучше у Краснова и спросить.

— Спросим, обязательно спросим, не беспокойтесь. Но хотелось услышать это от вас.

— А я и не беспокоюсь, — сказал Шумилов. — Не вижу причин для беспокойства. Хотя понимаю, что вы подобрали прекрасный букет. Сожительство с женой фронтовика, моральное разложение, авария на заводе, небескорыстная дружба с Красновым... Наверняка там, — он показал на стопку бумаги, — найдется еще кое-что, верно? Трудно было подбирать?.. — Он усмехнулся.

— Вы забыли, что Верхняя Тотьва — не Ленинград...

— Чего-чего, а этого никогда не забывал.

— Здесь, Антон Игнатьевич, каждый шаг человека на виду у всех. А вы сразу повели себя так, будто сделали большое одолжение, приехав сюда.

— Я сюда не приезжал, — резко сказал Шумилов. — Меня сюда прислали. Дело делать прислали.

— Мы все делаем дело, — возразил Гераськин, — а вы считаете, что кроме вас никто не работает.

— Да откуда вы знаете, что я считаю?! В постель заглянуть еще как-то можно, я допускаю, но в чужую голову, простите, нельзя.

— Давайте все же попробуем спокойно проанализировать положение вещей, Антон Игнатьевич. Не буду вас уверять, что мне безразлично, как вы относитесь лично ко мне. И не скрою, что вы не вызываете у меня большой симпатии...

— Это заметно.

— Выслушайте меня, Антон Игнатьевич, — спокойно сказал Гераськин. — Но сейчас наши с вами личные отношения не имеют значения. Потом, когда-нибудь, если понадобится, мы с вами разберемся...

— Увольте! — сказал Шумилов.

— Что касается аварии, — продолжал Гераськин, словно и не заметил иронии Шумилова, — то здесь вашей личной вины нет...

— Спасибо и на этом.

— А вот ваше поведение... Вы мужчина, и я женщина. Давайте и поговорим как мужчина с женщиной. Как со стороны выглядят ваши отношения с этой женщиной?.. У нее муж на фронте, у вас больная жена. Люди что думают?..

— Это очень важно?

— Важно, Антон Игнатьевич. Очень важно, — сказал Гераськин. — Вы — член партии, руководитель, с вас спрос особый. А вы этого не учитываете. Люди что говорят? Мол, раз Шумилов начальство, ему все можно...

— А говорят? — с сомнением спросил Шумилов.

— Говорят, Антон Игнатьевич.

— Это скверно.

— Для того я вас и пригласил, чтобы обсудить положение. А вы не настроены обсуждать. Что ж, дело ваше. Как говорится, насильно мил не будешь, верно?.. — Гераськин улыбнулся и встал. — Мы в рабочем порядке обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что выносить на бюро не стоит. Пользы никакой, а разговоры пойдут.

— Почему же? — сказал Шумилов. — Виноват — наказывайте. Я не бегу от ответственности. — Он тоже встал.

— Зачем же вам с выговором идти на фронт?

— На фронт? — переспросил Шумилов удивленно.

— Да, ваша просьба удовлетворена. Счастливо вам, — Антон Игнатьевич. И приезжайте к нам после войны.

II

Ну что ж, товарищ Шумилов, вот и завершилось ваше пребывание в славном граде Верхняя Тотьва, заполнена еще одна графа в вашей анкете. Когда-нибудь, если останусь жив, напишу в автобиографии: «С осени 1941 до весны 1942 года работал в городе Верхняя Тотьва, на Урале, был главным инженером и директором оборонного завода. Оттуда ушел на фронт...»

А городок-то и в самом деле славный, думал он. Уютный такой, тихий и спокойный, и даже война мало что изменила здесь. По крайней мере, внешне. Есть какая-то прелесть и в этих дощатых тротуарах, по которым приятно ходить (по асфальту приятно только ез-

диль), и в этих отгороженных высокими глухими заборами домиках, которые любовно ставили для себя и для своих потомков, скорее для потомков, чем для себя, потому что одна человеческая жизнь ничто в сравнении с долгой жизнью на века срубленного дома. Если внимательно присмотреться, у каждого дома свое лицо, свой характер, хотя и кажется, что все дома похожи друг на друга. А вот один глядится на улицу большими, как бы распахнутыми в мир окнами, он гостеприимен, этот дом, в нем наверняка всегда обитали большие, многодетные семьи, а рядом стоит маленькая крепость с окнами-бойницами, которые на ночь закрывают крепкими ставнями, и не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: этот дом-крепость строил хозяин, не любивший людей, живший скрытно, потаенно, а в сущности, усмехнулся Шумилов, похоронивший себя заживо...

Нет, что ни говори, а славный это городишко, очень даже славный.

Не был Шумилов поэтом ни в душе, ни в реальной жизни, он был далек от всякой там лирики и смотрел на мир глазами инженера, словно выглядывал, что в этом мире можно еще перекроить, переделать, перепланировать, а вот и на него что-то накатило вдруг, такая тоска взяла за горло, что хоть слезу пускай. С чего бы это? Ну что для него эта Верхняя Тотьва, и что для него люди, живущие здесь?.. Всего-то строчка в будущей автобиографии. Да, но строчка, которую не зачеркнешь, не выбросишь из памяти, ибо вместо этой строчки образуется пустота, ничто... Все-таки прав был Аристотель: природа не терпит пустоты.

Шумилов и не заметил, как оказался возле барака, где жила Елена Сергеевна. Он окунулся в прохладный сумрак длинного коридора, нашел нужную дверь, постучался.

Открыла старуха.

— Это вы? — удивилась она.

— Здравствуйте, — сказал он. — Можно повидать Елену Сергеевну?

— Ее нет дома.

— Она на работе?

— Нет, она уехала.

— Уехала? Куда?..

— Молодой человек, — отчужденно сказала старуха, — я всегда думала, что вы культурный, интеллигентный человек, и мне очень жаль, что я ошиблась, Оставьте

нас, прошу вас! Ну зачем, зачем вы ходите к нам? Что вам нужно?

— Извините,— сказал Шумилов.— Передайте Елене Сергеевне поклон и скажите, что я ушел на фронт...

— И вы на фронт? — встрепелась старуха и пристально посмотрела на него.— Я желаю вам... Простите нас, но жизнь такая трудная! Я передам Елене, что вы заходили попрощаться, это очень мило с вашей стороны. А она уехала в Свердловск, повезла сына в больницу. Это не вы устроили?

— Нет,— сказал Шумилов.

— Там его вылечат, там сейчас знаменитые доктора. А когда она вернется, мы, возможно, переедем в деревню...

— И правильно.

— Вы так считаете?

— Конечно.

— Я тоже думаю, что нам надо переехать,— вздохнула старуха, и Шумилов понял, что она имела в виду и его, то есть уже теперь не его самого, а слухи, сплетни, которые наверняка поползут по Тотье.

— Вы разрешите,— сказал он,— я оставляю свой ленинградский адрес? Мало ли что...

— О господи! — воскликнула старуха.— Вы еще надеетесь вернуться домой!.. А я нет. У меня не осталось никаких надежд. Хорошо, я передам Елене ваш ленинградский адрес, почему бы и не передать?.. Вы молоды, а жизнь сложная и большая, пусть будет как будет, я никому и никогда не желала зла...

А среди ночи Шумилова разбудил телефонный звонок. Звонил Ермаков.

— Ну что, Шумилов?.. — сказал он. — Молодо — зелено. Ведешь себя, как будто один на свете живешь! Или как будто на курорте сидишь. Что молчишь?

— Слушаю вас,— сказал Шумилов.

— Меня он слушает! Раньше надо было слушать. Без бабы, понимаешь, прожить не мог! А другие как?.. Бабы-то как без мужиков, а?

— Простите, но это мое личное дело.

— Нет, Шумилов, это далеко не твое личное дело. Запомни всю жизнь, если хочешь командовать другими... А ты хочешь, знаю, что хочешь! Так вот запомни: у тебя нет твоих личных дел. Стоило тебя, конечно... Ладно, нравишься ты мне чем-то, да и заступников у тебя много. Уже сообщили, что просьба твоя удовлетворена?

— Сообщили.

— Похоже, брат, что ты в самом деле не можешь без войны.— Ермаков рассмеялся.— Черт с тобой, иди воюй. Хотя нож острый отпускать тебя...

— Спасибо, — сказал Шумилов.

— Это потом. Вот встретимся на том свете, тогда и поблагодаришь. Дела сдай главному инженеру, в области зайди к представителю ГКО, он ждет. Принято решение об организации фронтовых мастерских по ремонту боевой техники, понял?

— Да.

— Молодец, что такой понятливый. А свое спасибо скажи своему парторгу. Это мужик, Шумилов! У меня все. Бывай здоров.

Шумилов аккуратно повесил трубку и забарабанил в дверь к Кирпичниковым.

— Не ломай дверь, — откликнулся Николай Николаевич. — Входи, мы не спим.

Они и в самом деле не спали. Кирпичников читал газету, а Мария Ивановна штопала носки. Семейная идиллия, подумал Шумилов даже с какой-то неожиданной завистью.

— Что скажешь хорошенького? — спросил Николай Николаевич, снимая очки.

— Пришел сказать спасибо.

— Не понял?

— Так велел Ермаков. Это он сейчас звонил.

— Ну и?..

— Вопрос решен. Ухожу на фронт. Какие-то мастерские организуются.

— Поздравляю, — сказал Кирпичников.

— Понимаешь, какие-то сомнения меня гложут...

— Тебя — сомнения? — Кирпичников усмехнулся. — У тебя же не бывает сомнений.

— Брось. С одной стороны — иду на фронт, а с другой... словно отступаю.

— Ты ведь был у Гераськина?

— Не верю я ему, — сказал Шумилов. — Мягко стелет...

— Надо верить людям. Ну, не нравите вы друг другу, раздражаете друг друга, а дело-то почему должно страдать! Люди смотрят и думают: чего это секретарь райкома и директор завода не поделили?.. А насчет отступления... Я ведь тоже думал об этом. Хорошо: выста-

вят тебя на бюро, объявят строгий выговор, снимут с работы, кому это нужно?

— Есть за что? — спросил Шумилов настороженно.

— Как тебе сказать? Кто-то должен ответить за то, что случилось. Война есть война. Решили, значит, что ломать тебе жизнь не имеет смысла. В конце концов, твоей личной вины нет...

Вот здесь бы задуматься Шумилову, что слова Кирпичникова очень уж похожи на то, что говорил Гераскин, задуматься бы ему и над тем, почему Ермаков посоветовал сказать спасибо парторгу, однако он слишком был занят собой, своими мыслями...

— Получается, что я испугался взыскания, — сказал он.

— И бежишь на фронт, — усмехнулся Кирпичников. — Ты хотел на фронт? Вот и иди, раз отпускают. А здесь как-нибудь разберутся без тебя.

— Ты думаешь, во всем этом нет никакой... хитрости?

— А какая же тут может быть хитрость? Считай, что тебе простили твои прегрешения.

— Отпустили грехи...

— Грехи у нас общие, Антон, — сказал Кирпичников. — Воюй спокойно и поскорее возвращайся с победой. Это сейчас главное. А остальное... После войны, Антон, остальное обсудим.

III

Шумилов прощался. Прощался с заводом, с городом, с теми немногими людьми, которых знал и ценил, которые сделались для него близкими за эти несколько месяцев жизни. Прощался с прошлой своей жизнью, не подозревая, не догадываясь о том, что жизнь его только-только начинается, что будет в его жизни всего много, но строчка в автобиографии, связанная с безвестным таежным городком Верхняя Тотьва, навсегда останется главной строкой...

В день отъезда он зашел проститься на прежнюю свою квартиру, с Михаилом Ивановичем, с Анной Тихоновной, с Надей.

— А я уж подумал было, Игнатъич, что не пожалуешь нас-то, — с обидой в голосе сказал Михаил Иванович. — Все жду, все гадаю: зайдешь али не зайдешь? Зашел, однако, спасибо тебе, Игнатъич. И прости заради бога, что подумалось нехорошо.

— Да как я мог не зайти, что вы, Михаил Иванович! — сказал Шумилов.

— Так-то оно так, а все же... Ты вот что, ты посиди тут, побеседуйте с Надеждой, а я вмиг обернусь. Одна нога там...

— Не надо, Михаил Иванович. Я на минутку, проститься только.

— Минутка и получится. А прощаться надо по-нашему, по-русски. Сиди, я сейчас. — И он ушел.

Надя молча смотрела на Шумилова.

— Что же вы молчите, Надюша? Сказали бы что-нибудь.

— А что бы вы хотели от меня услышать, Антон Игнатьевич?

— Не знаю даже. Так, вообще.

— Вообще желаю вам всего самого лучшего и чтобы вы с победой вернулись в свой Ленинград.

И вдруг Шумилову стало жалко Надю, себя тоже немножко жалко, и этого тихого, уютного дома на берегу речки Пряженки, и этих милых людей, когда-то приютивших его, и он подумал, что не следовало ему приходить сюда...

— А Анна Тихоновна...

— Мама на дежурстве, — сказала Надя.

— Жаль, что не повидал ее. — Он встал.

— Вы не хотите дождаться отца?

— Лучше не надо, Надюша. Лучше я пойду. Да и времени у меня совсем мало.

— Это я знаю, у вас всегда не хватает времени.

— Что делать. — Он попытался улыбнуться. — Приезжайте после войны в Ленинград, Надюша. В самом деле, приезжайте.

— Вы приглашаете в гости или... так, вообще?

— Приглашаю. — Он достал записную книжку и, чиркнув адрес, вырвал листок. — Вот. Это в центре города.

— Спасибо, — сказала Надя. — А вы не бойтесь, что я возьму и приеду?..

— Буду только рад.

Надя пожала плечами и взяла листок с адресом со стола.

— Ну... Не поминайте лихом, Надюша.

— Не буду, — тихо молвила она. — И спасибо вам, Антон Игнатьевич, за Чернова. Теперь идите, идите, а то сейчас вернется отец.

Он повернулся и вышел.

Во дворе к нему бросился Рыжик, узнал. Шумилов приласкал его, потрепал за ушами.

— Будь здоров, псина. И не обижай хозяев, они у тебя хорошие. Просто замечательные у тебя хозяева.

К поезду Шумилова никто не провожал. Кирпичниковы собрались пойти, но он не разрешил. Зачем?.. Не зря говорят, что долгие проводы — лишние слезы. Или не так?.. Все равно. Да и слезы здесь ни при чем. Просто не хотелось никаких провожаний, — не женщина. Простились дома, обнялись с Николаем Николаевичем, похлопали друг друга по спине...

А когда поезд тронулся, Шумилону показалось, что возле штaketника, отделяющего перрон от привокзальной площади, стоит Надя. Он прижался к стеклу, пытаясь рассмотреть, в самом ли деле это Надя, однако ничего не увидел. Должно быть, обознался, подумал Шумилов.

За окном промелькнули заводские корпуса и почти тотчас началась тайга.

Антони Павлович Шумилов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Шумилова знают все. То есть знают и те, кто не знаком с ним лично, кто даже не видел его никогда, потому что не знать Шумилова просто невозможно.

О нем говорят, спорят, о нем рассказывают анекдоты, что само по себе верный признак известности, а в некотором смысле и популярности, хотя его популярность и не имеет ничего общего с популярностью эстрадного певца, модного поэта или там художника, живописующего круги на воде. Шумилов, как говорится, «деловой человек», и популярность его особого свойства. Про него много пишут, так что вполне набралось бы два-три увесистых тома, возьми кто-нибудь на себя труд собрать все написанное вместе. Пожалуй, было бы небезынтересно издать эти тома, кое-что могло бы оказаться и полезным. Тут надо сказать, что сам Шумилов не жалуется газетчиков и прочих теле- и радиоинтервьюеров, скорее наоборот, по возможности избегает встречаться с ними, перепоручая, если уж некуда вообще деваться, разговоры с журналистской братней своим помощникам. Общественная, печатная слава ничуть не волнует его, не тешит самолюбие, хотя в принципе показаться он не прочь и делать это умеет как никто другой из его коллег. Однако ему всегда смешно, если он все же появ-

ляется, скажем, на экранах телевизоров, ибо ведь, считает Шумилов, люди не для того упираются в телевизор носами, чтобы им рассказывали, какой завод работает хорошо, а какой еще лучше. Газетных же статей и очерков о себе он и вовсе не читает, и отнюдь не его вина, что столь «яркие» описания его внешности, как «серые с лукавинкой глаза, которые буравят собеседника насквозь», как «седая и пышная, похожая на львиную гриву, шевелюра» или как «выразительное и одухотворенное крупное лицо, словно высеченное из гранитной глыбы искуснейшим мастером», сделались расхожими и кощуют из одной статьи в другую, наводя ужас на людей. Насчет ужаса он придумал сам и однажды на каком-то совещании сказал об этом громко, вызвав одобрительный смех своих подчиненных.

А впрочем, если не брать во внимание всякие там «львиные гривы» и «гранитные глыбы», портрет Шумилова, созданный коллективными усилиями журналистов, довольно близок к реальному. У него действительно и глаза серые, и волосы совершенно седые, и лицо выразительное, заметное лицо, о котором не скажешь, что оно невзрачное. Есть, есть в лице Шумилова нечто такое, что останавливает ваш взгляд, бросается в глаза, и, увидав Шумилова хотя бы только раз, хотя бы только мельком, случайно в сутолоке городского транспорта либо на улице в текучей толпе, вы никогда не забудете его лицо, и, повстречавшись когда-то еще, пусть и через несколько лет и пусть так же мимолетно, вы непременно отметите, что видели этого человека раньше. При всем при том это не маска, не тщательно отрепетированная манера казаться, но совершенно естественное, обычное его состояние.

Шумилов вообще заметен по всем, как говорится, статьям и статям. Есть в нем что-то исконно мужицкое, унаследованное от предков, добывавших хлеб насущный в поте лица, тяжелым физическим трудом.

Он высок, плечист (наверное, о таких именно людях и говаривали прежде, что «у него кося сажень в плечах») и жилист, свое большое, ставшее с годами чуточку грузным тело носит легко и прямо, не сутулится, не вбирает голову в плечи, однако некрасиво размахивает при ходьбе руками, словно балансирует ими, и избавиться от этой привычки так и не сумел. Он несуетлив, но резок, порывист в движениях, никогда заранее не угадаешь, свернет ли он через два шага налево или на-

право, а то и вовсе проследует прямо, хотя бы и на красный свет, поэтому ходить с ним рядом очень тяжело, чувствуешь себя каким-то его придатком, хвостом. Для Шумилова как бы и не существует никаких запретов, никаких ограничений. Он знает себе цену, высокую цену, а человечество, между прочим, делит на две части: на тех, кто делает жизнь, и на тех, кто мешает делать. Уточнять, к какой из этих частей Шумилов относит себя, излишне...

В последние годы лицо его сделалось немножко одутловатое, нездоровое, под глазами повисли мешки, появилось множество глубоких морщин, которые раздражают его во время бритья. А бреется Шумилов по старинке, — безопасной бритвой, не признавая «малой механизации» (жужжат эти электробритвы под ухом, как пенсионерки возле парадной), отчего и является по утрам шоферу весь в наклейках из бумажных салфеток, а то и просто из газетных клочков.

Очков Шумилов не носит (лишь иногда надевает для чтения бумаг, которые вызывают его недоумение или непонимание), не носит также ни шляпы, ни шапки, во все времена года ходит с непокрытой головой, что, возможно, и подстегнуло газетчиков сравнить его прическу с «львиной гривой». Ворот рубашки у него всегда распахнут — галстук он не признает, они мешают ему дышать, стесняют движения, — и, если случается необходимость повязать галстук, он испытывает неудобства и даже теряет свою обычную уверенность, непринужденность. Возможно, это что-то болезненное, нездоровое, потому что Шумилов не любит и шарфов и носит их только приличия ради: набросит на плечи, чтобы видно было, что шарф есть, а грудь все равно нараспашку, открытая. Но никогда не простужается, совсем не боится сквозняков, хотя о нем и не скажешь «здоров как бык» — перенес три инфаркта, один из которых тяжелый, еле выкарабкался.

Все это сугубо личное, не имеющее отношения к его работе, так что и рассказывать об этом вроде бы необязательно, однако и манера поведения Шумилова, и манера одеваться доходят порой до странности и поэтому вызывают пересуды окружающих. То ли он актерствует, как считают некоторые — что, в общем-то, не связуется с его слишком прямым характером, — то ли манеры эти настолько въелись в плоть его, что он перестал замечать многие нелепости в своем поведении. Вот, например, он

терпеть не может, когда его ближайшие помощники являются на работу без галстуков или — вовсе не дай бог — плохо выбритыми. Сначала, когда он пришел директором на этот завод, кое-кто (возможно, без всякой задней мысли, произвольно) пытался подражать ему в одежде, однако Шумилов быстро и навсегда пресек это, сказав однажды на совещании, что руководитель должен быть не только требовательным, хорошо знающим свое дело профессионалом, но и всегда прилично, опрятно одетым. У себя дома, кому это нравится, можете ходить в пижамах, в плавках, хотя бы и вовсе нагишом, сказал он, можете спать в колпаках и в щедринских (почему именно в щедринских, он не пояснял) ночных рубашках, однако здесь, на производстве, никакой вольницы и ни в чем я не потерплю. Тогда еще Шумилова мало знали, и кто-то с места заметил, что сам-то он без галстука, на что он спокойно ответил: я знаю одного большого начальника, который до сих пор носит гимнастерку, галифе и хромовые сапоги со скрипом, говорит портфель, документы и квартал, однако это не означает, что и я должен вырядиться в галифе, которые, кстати, у меня остались с войны.

Пожалуй, не все и не сразу поняли, что именно Шумилов имел в виду, говоря так, но со временем поняли: он не любил, когда ему подражают.

Впрочем, иногда экстравагантность Шумилова, непредсказуемость его поведения выходила и ему боком. Вот был случай, который потом долго обсуждался среди административно-хозяйственного люда. Шумилов присутствовал на большом и весьма представительном собрании по поводу какого-то торжества. Собрание вел руководитель очень высокого ранга, а в зале были люди заслуженные, именитые, едва ли не каждый из них был на персональной черной «Волге». На этом собрании Шумилов должен был выступить с речью, и он подготовил речь, но, поскольку здесь все были либо начальниками, либо знаменитостями, к трибуне приглашали по алфавиту, и, таким образом, до Шумилова выступило человек десять, и все говорили, в общем-то, об одном и том же, как это и бывает обычно на торжествах. Тогда Шумилов послал в президиум записку с просьбой отменить его выступление, и он видел, что записку его прочли, но тотчас и предоставили ему слово. Он поднялся, растерянно оглядел зал, скучающие лица очень уставших и очень занятых людей и сказал, что от выступле-

ния отказывается, ибо ничего нового не может добавить к выступлениям других товарищей. И еще сказал, что посылал в президиум записку, но записка, очевидно, затерялась где-то. И добавил: вы же знаете, как четко работает Министерство связи...

С этим и сел под одобрительный гуд и смех всего зала.

Когда собрание объявили закрытым, Шумилов одним из первых вышел из зала, благо сидел возле двери, а дома по радио услышал свою фамилию среди выступивших на собрании. Он посмеялся над такой оперативностью, а назавтра ему было сделано серьезное внушение насчет его бестактного поведения.

— Партизанщина какая-то! Пора кончать эти замашки.

— Но я же передал записку,— возразил он.— И вы ее получили.

— Это не имеет значения. Или вы не согласны с тем, о чем говорили люди?..

— Напротив,— сказал Шумилов.— Вот если бы я был не согласен, тогда обязательно выступил бы.

— В общем, подумайте.

— Хорошо, я подумаю.

Рассказывают и вовсе уж смешную историю, более похожую на анекдот, чем на правду. Впрочем, от Шумилова всего можно ожидать.

Однажды секретарь райкома заметил ему:

— Антон Игнатьевич, что у вас делается возле пивного ларька по утрам? Прямо столпотворение какое-то, особенно по понедельникам.

— У какого ларька?

— Который рядом с вашей проходной. Примите меры, это безобразие.

— А что я могу? — сказал Шумилов, пожимая плечами.— Мы ставили вопрос, чтобы ларек убрали.

— Это не решение, — сказал секретарь райкома.

— Пост, что ли, ставить у ларька? Или мне самому там дежурить?

— Надо укреплять дисциплину, Антон Игнатьевич.

На следующий день Шумилов подъехал рано утром к пивному ларьку, дождался, когда придет продавщица, и спросил у нее:

— Как торговля, идет?

— А вам-то что?..

— Да так. Сколько литров пива в вашей емкости?

— Ну, четыреста...

— Держите сто восемьдесят рублей, а пиво слейте,— сказал Шумилов.

— Как это слить? — испуганно воскликнула продавщица.

— Просто: слить и все. Я покупаю у вас все пиво.

— Да ты что, дядечка, с ума спятил?! Где ж это видано, чтобы добро выливать!..

К тому времени уже начали собираться мужички, жаждающие опохмелиться. Правда, «своих» Шумилов не видел. Похоже, не решались подходить при директоре.

— Берите деньги и закрывайте лавочку! — сказал Шумилов. — Можете не сливать, если жалко. Потом продадите и заработаете на этой комбинации.

— Да кто ты такой, чтобы командовать тут? — возмущалась продавщица.

— Коля, дуй к начальнику охраны, пусть немедленно выделит охранника, — велел Шумилов шоферу. Деньги он все-таки сунул продавщице.

Охранника, правда, ставить не пришлось, продавщица бросила деньги Шумилову, закрыла ларек и умчалась докладывать о происшествии своему начальству. Шумилов получил выговор с несколькими эпитетами, однако ларек убрали, поставили на его месте газетный киоск, и Шумилов, приезжая утром на завод, именно в этом киоске покупает свежие газеты. Уж так у него заведено: после обхода цехов он полчаса просматривает газеты, и в эти полчаса никто не тревожит его. На заводе говорят: «Директор проводит политинформацию среди себя».

II

Никто и никогда не знает, где именно, в каком цехе объявится утром Шумилов, хотя попытки вычислить его маршрут, найти какие-то закономерности в ежедневных утренних обходах конечно же предпринимались, для чего составлялись сложнейшие таблицы и строились всевозможные графики, применялась новейшая вычислительная техника, заключались пари, однако разгадать систему Шумилова так и не сумели. Возможно, системы как таковой и не было вовсе, и Шумилов, подъезжая к заводу, еще и сам не знал, в какой именно цех напра-

вится сегодня, тем не менее заглянуть в его записную книжку хотя бы одним глазком мечтали все без исключения начальники цехов, ибо доподлинно было известно, что директор обязательно заглядывает в нее, прежде чем идти в какой-то цех. А это значит, что свои утренние обходы он все-таки планировал. . .

Поначалу казалось все простым и ясным: коль скоро директор сегодня побывал, к примеру, в механосборочном и сталелитейном, рассуждали заводские мудрецы, следовательно назавтра он уже там не появится, так что начальники этих цехов, во всяком случае, могут чувствовать себя спокойно. Известно, что неожиданное появление начальства, да еще с самого утра, всегда сопряжено с какими-нибудь неприятностями — всего не предусмотреть, всего никогда не сделаешь, что-то в суете повседневных забот упустишь, что-то оставишь на потом, на что-то (не без того) махнешь рукой, а Шумилов все заметит, на все обратит внимание, от его взгляда ничто не укроется. . .

Мудрецы ошиблись в своих построениях. Визит Шумилова в цех сегодня отнюдь не означал, что он не повторится и завтра, а может быть, и послезавтра. Ну что ж, начальники цехов тоже, как говорится, не льком шиты, тоже прошли огни и воды, повидали на своем веку разных директоров, поэтому обратились не к поискам логики в поведении Шумилова, но к причинам, так сказать, внутреннего свойства. То есть если директор два и три дня кряду появляется в одном и том же цехе, значит и причину его частого появления надо искать здесь. Однако и этот подход к решению задачи особенного успеха не имел, хотя и было это решение ближе к истине. Можно было подумать, что никакой системы вообще не существует, просто ходит директор по заводу, а вернее — ездит, потому что обойти завод и за три дня невозможно, спрашивает о чем-то, ругается, а вот зачем ходит, зачем спрашивает, одному ему известно. Разве еще господу богу. Ругает — это понятно. И привычно. И даже как-то неуютно бывает после весь день, если Шумилов, побывав в цехе, не поругал начальника. Черт его знает, что он увидел такого, раз молчит, и что у него на уме, а хуже того — в записной книжке.

Обмениваясь впечатлениями, начальники цехов сходились на том, что явление это временное. Перебесится новый директор, покажет свое усердие и на том успокоится. Станет приезжать на завод, как и прежний дирек-

тор, к девяти, когда начинает работу заводоуправление, а не в семь тридцать, как теперь. И в цеха будет заглядывать от случая к случаю, по нужде, так что все уладится, утрясется, войдет в привычное русло. А пока, делать нечего, приходилось и начальникам цехов, и еще кое-кому из руководства являться на работу пораньше, хотя бы за пять минут до приезда Шумилова, но лучше за полчаса, чтобы сориентироваться. Мало ли что может произойти за ночь. Нет, Шумилов никого не заставлял, никого не обязывал приходить раньше него. Тем более он не любит, когда его окружает свита, ибо считает, что всякая толпа, хотя и толпа руководящая, отвлекает внимание людей от дела. Но однажды, вскоре после его назначения директором, в кузнечном цехе произошел несчастный случай. Шумилову сообщил об этом вахтер, когда открывал ворота. Ничего страшного не было: всего-то подкрановому отдало контейнером с отходами ступню, однако на месте не оказалось ни начальника цеха, ни его заместителя, ни даже начальника участка, и это удивило Шумилова. Правда, ничего особенного он не сказал начальнику цеха, повстречав его на территории по пути в заводоуправление, просто остановил машину, открыл дверцу и, поманив его пальцем, как бы мимоходом, между прочим сообщил, что ночью произошел несчастный случай и что, дескать, нужно бы разобраться. А спустя два дня на декадном совещании, уже под занавес, высказался:

— Еще одно маленькое замечание, товарищи. Кое-кто из сидящих здесь полагает, что приходить на работу позже директора и узнавать цеховые новости от него явление нормальное. Возможно, это и так, хотя лично я сильно сомневаюсь в этом. А что, если рабочие решат, что они также должны приходить на работу позже вас?.. Вот смотрю я на ваши седые и лысые головы и думаю: многие из вас служили в армии, были на фронте... Кто ответит на такой вопрос: имеет ли право командир спать, когда его солдаты ведут бой? В определенном смысле мы с вами тоже ведем бой. Не за месячный или квартальный план, как вы думаете, а за огромную программу жизни. И это не менее ответственно, чем стрелять, хотя и менее опасно для нашей с вами жизни.

Никто ему не ответил, никто не возразил, но языки-то у многих чесались сказать, что завод работает круглые сутки и что это не означает, будто они, начальники цехов, должны поселиться на заводе. И не потому этого

никто не сказал, что боялись, вовсе нет. Просто к тому времени все уже знали, что именно ответит Шумилов. А ответил бы он в том смысле, что если надо будет поселиться, значит и поселимся, а кому такая перспектива, вполне возможная перспектива, не нравится... И обвел бы, прищурившись, всех поочередно глазами.

Побрызжали, как водится, посетовали на судьбу, славащую им за неизвестные прегрешения такого директора, тут же сочинили парочку анекдотов про то, как директорская жена по ночам в заборную дырку к нему лазает, а он живет в термообрубном цехе, самом грязном и шумном, и как он, приехав в санаторий на лечение, забылся и приказал главному врачу собрать декадное совещание, на котором должны присутствовать и сменные мастера, но — смирились, приняли, как говорится, к сведенью. Да и как не примешь, как не смиришься... Совестно все же, когда директор раньше тебя приезжает на работу.

Кто его знает, этого Шумилова. Может, для начала он и добивался-то всего-навсего, чтобы начальники цехов пораньше на работу являлись?.. Приучал их к тому, что в любой день и час нужно быть готовыми ответить на любой же вопрос?.. Как бы там ни было на самом деле, но очень скоро его визиты в цеха, казавшиеся недавно бесцельными и случайными (все, что не поддается нашему пониманию, мы склонны относить на счет случайности), сделались необходимыми, и прежде всего именно для начальников цехов, которые ждали Шумилова и ревновали к своим коллегам-товарищам, у которых он бывал чаще. Ибо каждый теперь знал, что с каким бы вопросом, с какой бы запутанной проблемой ни столкнулся, придет Шумилов и поможет разобраться, а если что-то зависит от него — решит здесь же, на месте, не откладывая в долгий ящик и не перепоручая своим помощникам. Не в том, разумеется, дело, что он не доверял своим помощникам или их опыту и знаниям, не считался с их мнением, нет. Просто так было удобнее для всех и лучше для общей пользы. А волокиты и лишней писанины Шумилов не любил. Да к тому же ведь и ближайшие его помощники — заместитель по производству, начальник ОТК, главные специалисты — всегда были рядом с ним, так что их профессиональная гордость ничуть не ущемлялась.

Особенное беспокойство Шумилова вызывал прокатный цех. На прокатчиков жаловались со всех сторон, в

том числе и с других заводов, что они катают не то, что нужно, а то, что выгодно им для выполнения своего плана. А после либо в кузнице расковывают квадрат двести на триста, тянут из него квадрат сто, либо из круга сто пять вытачивают фитюльки диаметром чуть ли не в тридцать миллиметров, гонят в стружку металл, загружают бессмысленной работой станки, да еще и деньги за эту работу приходится платить людям. Зато, если заглянуть в отчетность, получалось, что именно прокатный цех едва ли не самый лучший на заводе, так что начальнику его, Блинкину, а заодно и главному металлургу хоть коллективный прижизненный памятник устанавливай.

— Объясни мне, дорогой мой, как это ты умудряешься ходить в передовых, если на тебя все жалуются? .. — как-то спросил Шумилов у Блинкина, беря его под руку. — Просвети ты меня, дурака. Хоть убей, не могу понять этой механики. Давай посмотрим, что у нас с тобой получается. Ты программу выполняешь и даже перевыполняешь, прогрессивку совковой лопатой гребешь, а в той же кузнице и в механических цехах волками воют: нет металла! Куда же он девается, этот твой сверхплановый стахановский прокат? .. Все вроде бы рассчитано, собственные нужды завода учтены. ..

Хитрил, разумеется, Шумилов. Все он прекрасно понимал. Да и дело-то простое: план дается в тоннах, и хотя тонны эти должны бы по идее получаться из строго определенных размеров проката (сортаментов), в действительности получались они не совсем так. Спрос на прокат был гораздо больше, чем производственные мощности цеха, проката повсюду не хватало, и держатели фондов брали все, что им предлагали, лишь бы не остаться вообще ни с чем. Вот и «химичили», гнали тонны, давали вал, не заботясь о действительных нуждах других.

— Ну! .. — подтолкнул Шумилов Блинкина. — Я жду объяснений.

— Стараемся хорошо работать, — пожал Блинкин плечами. — А куда девается наш прокат и почему его не хватает, я не знаю. Вообще, жалуются больше по привычке, известное дело. Я тоже часто жалуясь на всякий случай.

— Может, я в самом деле чего-то не понимаю? — сказал Шумилов. — Зайдем-ка в кузницу.

Там на двухтонном молоте как раз тянули из квадрата двести на триста квадрат сто.

— Зачем? — поинтересовался Шумилов у мастера.

— На цапфы для мартена, — пояснил мастер.

— А что, потоньше проката не нашли?

— Не дает Блинкин, — ответил мастер.

— А ты что скажешь? — спросил Шумилов у Блинкина.

— Вот так сразу я не готов... Нужно выяснить, в чем там дело. Я выясню и доложу, Антон Игнатьевич.

— Похоже, что ты и впрямь меня за дурачка принимаешь...

— Что вы, Антон Игнатьевич! Это какое-то недоразумение.

— Именно недоразумение! — сказал Шумилов. — Если не хуже. Из механических стружку вывозить не успевают. На трех машинах везут стружку, которая есть результат... недоразумения, а потом на ручной тележке всю готовую продукцию. Голову тебе за такое недоразумение нужно снять.

— Вам легко говорить, а у меня оборудование изношенное, специалистов не хватает, план такой, что хоть караул кричи, а все только и требуют: давай-давай!

— И дашь, — сказал Шумилов. — Дашь, Блинкин. Отныне — запомни это! — спрашивать буду с тебя не вал, а номенклатуру. Хватит с меня твоей «липы». Будешь катать не то, что хочешь, а то, что нужно. Понял?

— А с валом как же? — удивился Блинкин.

— А все так же.

— Но мы же завалимся, Антон Игнатьевич! — чуть ли не взмолился Блинкин.

— Это твоя забота. Только под вал тебе будет расписана вся номенклатура, и никаких отступлений я не допущу. Никаких, Блинкин! Я вижу, что ты все понял. Это хорошо.

А в конце дня к Шумилову зашел секретарь парткома Горелов. Присел в сторонке (отчего-то он никогда не садился к столу), закурил и, пуская дым аккуратными колечками, вдруг сказал:

— Антон Игнатьевич, вы человек на заводе новый, а Блинкин толковый, опытный руководитель, показатели по его цеху...

— Меня не толкут его показатели, — перебил Шумилов. — Мне прокат нужен, а не показатели. Из них и паршивого болта не сделаешь.

— Но если он будет катать мелкие сортаменты, то никогда не выполнит план по валу. Вы же сами понимаете это. А невыполнение плана прокатным цехом повлечет невыполнение в целом по заводу.

— Надо думать, искать выход из положения, доказывать там! — Шумилов ткнул пальцем в потолок. — Словом, работать головами. А делать план таким способом, каким это делает Блинкин, да и не только Блинкин, я не позволю.

— Значит, вы считаете, что лучше вообще не выполнять план? — проговорил Горелов.

— Вообще не считаю, но, если нет другой альтернативы, пусть будет невыполнение по валу, чем переливать из пустого в порожнее; да еще и премии получать за такую работу.

— Для директора завода ваши рассуждения более чем странны, Антон Игнатьевич.

— Ничего подобного. Нам никто не давал права извлекать выгоду из трудностей, которые испытывает наше народное хозяйство. Фонды сверх программы выделяют не от хорошей жизни и не потому, что в Госплане и в Госнабе сидят дураки, а потому что не хватает проката. В надежде на нашу совесть и на то, что мы — в частности, мы — поднатужимся, соберемся и дадим хотя бы чуточку больше, чем обязаны. А мы занимаемся обманом, устраиваем себе легкую жизнь за счет других. Такое мое мнение, Василий Захарович, и я от него не отступаю ни под каким благовидным предлогом.

— А вам не кажется, что вы превышаете свои права?

— Нет, не кажется. Доводить производственную программу до цехов, исходя из общезаводской программы, — вполне соответствует функциям директора.

— Но вы же сами и ставите под угрозу общезаводскую программу! — сказал Горелов.

— За это мне и отвечать. Если надо, с меня спросят.

— Спросить можем и мы, Антон Игнатьевич.

— Позвольте узнать, кто это «мы»?

— Партийный комитет, например.

— Прекрасно! — воскликнул Шумилов. — Очень даже полезно поставить этот вопрос на парткоме. Обязательно нужно говорить о методах нашей работы. И о морали, и о совести, и об ответственности руководителя не только за показатели, но и за ту цену, которую мы

платим, подгоняя показатели под красивые цифры. Это Блинкин вам пожаловался на меня?

— Нет, не Блинкин.

— Я так и знал. Блинкин не дурак, чтобы жаловаться. У него хватит ума, чтобы не портить свою «передовую» биографию. И план он будет выполнять, можете не сомневаться. Кстати, Василий Захарович, я бы был вам признателен, если бы вы не вмешивались в мои дела.

— Но до сегодняшнего дня я думал, что дела у парткома и у дирекции общие. . .

— У нас с вами общая цель, а обязанности и конкретные дела все-таки несколько разные,— возразил Шумилов.— Иначе на кой черт держать нас двоих? Хватило бы и кого-то одного: либо вас, либо меня. Воспитывайте, нацеливайте людей, помогайте словом и делом, проверяйте, как я работаю, только спасибо скажу и поклонюсь низко. А что касается сугубо производственных вопросов и непосредственно организации производства, тут прошу прощения. Единоначалия пока никто не отменил, и в этих делах я сам генерал. Таким вот образом.— Он встал, глыбой возвышаясь над столом, и Горелову тоже ничего не оставалось, как встать.

— Ваша позиция мне в целом ясна,— сказал он,— но согласиться с такой позицией я не могу.

— А мне нравится моя позиция. Давайте вернемся к нашим барашкам. Можно производить нечто никому не нужное и при этом даже перевыполнять план, благо мы до сих пор многие вещи взвешиваем, вместо того чтобы считать. А можно и нужно производить не просто нечто, а действительно необходимое. . .

— И не выполнять план? — усмехнулся Горелов.

— Обязательно выполнять.

— Но вы ставите Блинкина в такие условия. . .

— Да что там Блинкин! — поморщился Шумилов.— Блинкин есть, Блинкина нет. Как и мы с вами. Не в Блинкине дело, пора учиться работать, а не пыль в глаза пускать. Научимся — выживем и докажем всему миру, что умеем не только воевать. . . — Тут как раз звякнул телефон, и Шумилов, извинившись, взял трубку.

Это была секретарша.

— Антон Игнатьевич, ваша супруга звонит. . .

— Но я же сказал, чтобы не соединяли!

— Она чем-то очень взволнована, Антон Игнатьевич,

— Ничего страшного. Поволнуется и успокоится. Скажите, что меня нет на месте, что у меня совещание. Ну, придумайте что-нибудь.

— По-моему, что-то случилось, Антон Игнатьевич. У нее такой голос...

— Вот еще не хватало! — поморщился Шумилов. — Соедините.

— Антон, это ты?.. Ты не сердись, пожалуйста... — У жены в самом деле был очень взволнованный голос, и говорила она почему-то шепотом.

— Громче, — сказал он, подумав, что жена опять что-то придумала. — Тебя плохо слышно.

— Знаешь, Антон, я сейчас поняла, что люблю тебя...

— Это прекрасно, но зачем же звонить на работу! Вечером поговорим. — И он положил трубку.

А Горелов тем временем ушел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Войну Шумилов закончил начальником армейских ремонтных мастерских. Он надеялся сразу и демобилизоваться, однако его непустили. На базе мастерских решено было организовать завод по ремонту транспортной техники, и Шумилова назначили начальником этого завода. Четыре года вся страна работала только на армию, объяснили ему, теперь армия должна помочь народному хозяйству. Правда, генерал — непосредственный начальник Шумилова — пообещал в скором времени отпустить его, раз уж он не расположен к службе в армии, а пока придется все-таки послужить, сказал генерал. И еще посоветовал вызвать семью, квартирой обеспечат.

— У меня нет семьи, — сказал на это Шумилов. — А вот квартира в Ленинграде есть.

— Ясно. Передайте моему адъютанту, чтобы через военкомат бронировали вашу квартиру. В отпуск, наверно, хотите съездить?..

В отпуск не в отпуск, а съездить в Ярославль, навестить большую жену, которая по-прежнему находилась в больнице (правда, судя по редким письмам Ирины Васильевны, ее жизни уже ничто не угрожало), он бы, разумеется, не отказался. Но и понимал, что это

вряд ли возможно. Не до отпусков теперь. А что, если... Что, если смотаться в Великие Луки, вдруг подумал Шумилов. Это совсем близко, за три-четыре дня можно обернуться... Чем черт не шутит, может, что-то удастся разузнать о дочке и о теще... Да и не исключено, что жена по глупости оставила дочку там. Тогда — по глупости, а сейчас это было бы счастьем...

— Товарищ генерал, разрешите съездить в Великие Луки. За трое суток я обернусь.

— Что у вас в Великих Луках за дела? Зазноба? — улыбнулся генерал.

— Теща там жила. Возможно, у нее осталась дочка.

— Ваша дочка?

— Так точно.

— Поезжайте. В трое суток вам не уложиться... Даю пять. По возвращении доложите о результатах поездки. И не забудьте сказать моему адъютанту в отношении квартиры в Ленинграде. Он знает, как это делается.

Шумилов хорошо понимал, что ни на какой обычный транспорт рассчитывать нечего, поэтому, как только приехал в Великие Луки, сразу обратился за помощью к военному коменданту. Тот долго выпытывал, что и как, куда-то звонил, о чем-то справлялся, в конце концов машину, правда, дал, однако и предупредил, что деревня, где жила теща Шумилова, сожжена, так что вряд ли он что-нибудь найдет...

Шумилов все же нашел. Нашел на пепелище две землянки, в которых общиной жили несколько оставшихся в живых человек, и от них узнал, что действительно летом сорок первого года к местной учительнице приезжала из Ленинграда ее дочка с грудным ребенком, совсем мало и побыла, как началась война. Будто бы звала с собой мать, когда собралась обратно, но учительница не поехала, осталась, а в первую же зиму, когда все они прятались от немцев на болотах, померла. Там многие померли, жили-то в холоде и в сырости. А после немцы нашли их и пригнали в деревню, а потом и деревню сожгли...

В общем, все было ясно, примерно так и предполагал Шумилов, однако спросил, не помнит ли кто-нибудь, дочка учительницы уехала одна или с ребенком?..

— С ребятенком, с ребятенком, а как же! — убежденно ответил седой старик.

— Вы точно помните?

— Так само собой, что точно. Как же не помнить, ежели я самолично отвозил их в Великие Луки на станцию. А вы кто ж такой будете? — поинтересовался он. — Вроде не припомню. . .

— Зять Варвары Петровны, — сказал Шумилов.

— Учительши? — удивился старик. — Ну-у дела-а! . . Оно конешно, дочка-то ейная была замужняя. . . Живая-здоровая она?

— Живая, — ответил Шумилов. Вдаваться в подробности он не хотел. Да и какой в этом смысл. Он оглядел землянку, истощенных, оборванных людей, которые смотрели на него с откровенным любопытством, и сердце его сжалось от тоски, какой он не испытывал ни разу за всю войну, хотя повидал немало. — Как же вы тут живете? — спросил он.

— Да живем, — проговорил старик. — Теперь-то что, теперь не страшно. А с голоду земляца помереть не даст, она добрая, наша земляца. Покурить не найдется, товарищ командир?

И тут Шумилов сообразил, что люди эти наверняка голодные. Он выбежал из землянки, схватил в машине вещмешок и тотчас вернулся обратно. Он не стал складывать продукты на длинный дощатый стол, а просто развязал мешок и вывалил все, что там было. В том числе и четыре пачки папирос.

— Это вам, — сказал он.

— А сам-то с чем остался? — спросил старик.

— У меня еще есть.

Бабы и ребятишки голодными, жадными глазами смотрели на это богатство. Шумилов не выдержал и отвернулся.

— Ты оставил бы себе чего. . . — проговорил старик. — Папироски, оно, конешно, очень даже хорошо, только ведь и тебе курить надо. Я возьму одну пачку? . .

— Все, все берите, — сказал Шумилов. Он махнул рукой и выбежал прочь, позабыв про вещевой мешок. Нет, никогда не был он сентиментальным, но сейчас чувствовал, что вот-вот заплачет. — Поехали, и побыстрее! — велел он шоферу, залезая в машину.

— Зря съездили? — полюбопытствовал шофер.

— Нет, не зря, — резко ответил Шумилов. — Совсем не зря.

— Никак отыскали? — Он недоверчиво покосился на Шумилова. — А капитан-то говорил, что не отыскать будет. . .

— А я отыскал,— повторил Шумилов.— Ты давай жми, жми, у меня нет времени.

— Во дела так дела! — удивленно проговорил шофер.— А чего же с собой не забрали? Места хватило бы.

— Потом заберу. Ты на дорогу смотри, а не болтай.

— А чего на нее смотреть? Смотри не смотри, лучше не станет, уж какая есть,— философски заметил шофер.— Лишь бы на мину не наскочить. А то было тут...— Он снова покосился на Шумилова и замолчал, поняв, что тот его все равно не слушает.

В ту же ночь с попутным воинским эшелоном Шумилов выехал обратно. Генералу о результатах поездки докладывать не стал. А в Ярославль написал, что пока не может приехать к жене — временно оставили служить в армии, получить же отпуск невозможно. Сообщил свой адрес, и вскорости Ирина Васильевна прислала письмо, в котором писала, что жена его чувствует себя неплохо, по нескольку дней бывает в сознании, в такие периоды с ней можно разговаривать, но, к сожалению, про случившееся с нею ничего не помнит... Правда, сам Шумилов из писем жены, которые иногда получал, не смог бы сделать вывода, что ей стало заметно лучше. Письма по-прежнему были сумбурные, чаще всего — «театральные», так что далеко не всегда удавалось понять, что именно жена хочет сказать, однако на то ведь и доктора, успокаивал себя Шумилов, чтобы замечать, когда их пациентам бывает хуже, а когда лучше. Во всяком случае, у него появилась надежда, что жена когда-нибудь поправится — пусть и не совсем, но хотя бы настолько, чтобы ее разрешили взять из больницы, — и тогда вспомнит, как она ехала из Великих Лук в Ленинград, что с нею произошло дорогой и куда делась дочка.

А большего, пожалуй, он не ждал. Что уж там, особой нежности к жене он и прежде не испытывал, хотя по-своему и любил, а за четыре военных года и вовсе отвык от нее, порой как-то даже забывал, что это именно его жена. Но была еще дочка, и ее-то Шумилов забыть не мог, и еще был долг мужчины перед женщиной. А долг он понимал как нечто святое.

Можно, наверное, пожертвовать любовью. Можно и doubly, когда это необходимо, пожертвовать жизнью. Нельзя не исполнить свой долг, ибо человек является в этот мир единственно затем, чтобы исполнить свой долг, и более ничего. Остальное, убежден Шумилов, декора-

ции, парадные одежды и только. Может быть, в сказке про голого короля дело вовсе не в том, что король оказался голым, а в том, что люди вдруг увидели, что король тоже человек, то есть всего-навсего человек...

Впрочем, о сказках Шумилов думал меньше всего. Он был реалистом и знал, чего хочет.

II

А хотел он работать. Казалось бы, уж этому-то никто не мешает, напротив, все требуют хорошей работы, однако Шумилов не испытывал чувства удовлетворения, хотя характер его — прямой, властный — вроде бы вполне соответствовал должности. Но не тут-то было. Четкий армейский порядок претил ему, навел скуку. Он жаждал действия, самостоятельности, а вместо этого должен был выполнять то, что приказывали, причем выполнять безусловно, безоговорочно, даже когда речь шла о каких-то технических решениях. Армия есть армия, там все регламентировано, все расписано, и очень скоро Шумилов ощутил себя... не винтиком, нет, — все же начальник завода! — но неким механизмом, который кто-то включает, когда это нужно, и выключает, когда это положено по инструкции. Еще в более зависимом положении были его непосредственные подчиненные, и он искренне жалел их, понимая, впрочем, что иначе нельзя. Хотя кто знает?.. Возможно, что его подчиненные были все-таки в лучшем положении, потому что они занимались конкретным делом, пусть только выполняли приказы, но что-то делали при этом, а он лишь передавал чужие приказы и наблюдал за их выполнением. Именно — наблюдал, а как раз роль наблюдателя более всего и тяготила его. Конечно, он мог бы взять на себя часть работы своих подчиненных, и это принесло бы ему хоть какое-то удовлетворение, чувство собственной необходимости, однако Шумилову мало было этого. Слишком просто все и легко. А его натура требовала дела большого, сложного, такого дела, которое было бы непосильно никому другому.

Разумеется, он никогда бы не подумал даже, что занят никчемным, зряшным — в принципе никчемным и зряшным — делом, но на его, вернее, на этом месте может столь же успешно справляться с работой любой грамотный инженер. Лишь бы не был совсем уж полной размазней. А положение начальника завода и звание

подполковника (Шумилову присвоили это звание, как только утвердили в должности) не тешило его самолюбия. По правде говоря, он вообще не любил носить военную форму, а уставную отдачу чести старшему по званию считал чуть ли не унижительной процедурой, потому что младшие приветствовали не его, Шумилова, а его погоны с двумя просветами. Так же, впрочем, как и он приветствовал других, у кого либо на одну звезду больше, либо вовсе на погонах нет просветов.

Он даже сказал об этом своему начальнику, генералу, который вызвал его для беседы, когда Шумилов подал рапорт с просьбой о демобилизации.

Генерал с интересом взглянул на него, усмехнулся и покачал головой.

— Вы что же, против армейских порядков и дисциплины?

— Никак нет, товарищ генерал.

— В чем же тогда дело?

— Просто я не вписываюсь в эти порядки.

— Знаете, подполковник, есть такая армейская притяжка: не умеешь — научат, не хочешь — заставят...

— Меня, кажется, заставлять не надо, — сказал Шумилов.

— Вы сами себя заставляете, так? ..

Шумилов промолчал на это, только пожал плечами.

— Да вы не обижайтесь... Антон Игнатьевич, верно? .. В чем-то я понимаю вас, Антон Игнатьевич. Но честно говоря, мне почему-то казалось, что вы самый подходящий для армии человек. Есть у вас так необходимая в армии дисциплинированность, и вот... — Генерал развел руками. — Конечно, армия — это самоограничение...

— Это меня не пугает, — перебил Шумилов и, увидев, как брови генерала поползли кверху, спохватился: — Извините, товарищ генерал.

— Ничего, мы же с вами просто беседуем. Что же вас пугает?

— Разрешите откровенно? — спросил Шумилов.

— Только откровенно!

— Мне хочется самостоятельной работы, чтобы за меня не думали другие, чтобы я мог принимать решения...

— Простите, но кто же вам не дает думать? Кто лишает вас права принимать решения?

— За меня думают полковники из вашего управления, товарищ генерал. Они же и решения мне диктуют. А я в свою очередь довожу эти решения до своих подчиненных. Скучно это, товарищ генерал.

— Значит, полковники из моего управления? — Он рассмеялся. — Лихо, очень лихо, подполковник. Но дело-то важное, будете и вы полковником, переместитесь в управление...

— Все равно кто-то будет думать за меня.

— Генералы.

— А до генерала мне не дорасти, — сказал Шумилов.

— Почему же?

— Не получится.

— Ну, а если бы твердо знали, что... дорастете, — проговорил генерал, — остались бы в армии?

— Возможно, — ответил Шумилов.

— Ваша прямота заслуживает одобрения, Антон Игнатьевич. Жаль, что я не могу вам обещать генеральского звания. Но если бы знал, что стану маршалом, — пообещал бы, честное слово! — Он снова рассмеялся. — А если серьезно... Допустим, вашу просьбу о демобилизации удовлетворят и завтра вы будете гражданским человеком. Скажите, кем вы рассчитываете стать?

— Не имеет значения. Я инженер...

— Сейчас вы даже не просто инженер, а инженер-подполковник. Со временем получите звание полковника. А на гражданке? Не думаю, что вам предложат должность директора завода. Таковую же должность, какую вы занимаете теперь...

— Что-нибудь предложат, — сказал Шумилов. — Люди, тем более опытные инженеры, нужны.

— Верно, нужны, — согласился генерал. — А знаете, сколько сейчас демобилизованных подполковников?.. И многие из них тоже имеют и образование и опыт. И всех нужно трудоустроить, для всех подобрать должности, соответствующие их положению в армии. Люди прошли войну и вправе рассчитывать на это.

— Я не рассчитываю на поблажки.

— А я не говорил о поблажках. Я говорил о праве человека, который своей кровью завоевал мир, на заслуженное им место в этом мире, — резко сказал генерал и встал. — Рапорт ваш будет рассмотрен в порядке, установленном в армии. Думаю, вашу просьбу удовлетворят.

— Разрешите идти?

— Идите. Да, и учтите, подполковник, что на гражданке у вас тоже будет начальство, всегда будет. И знаете почему?.. С вашим характером и там вам трудно будет дослужиться до генерала. А отпускать вас жалко. Не пойму даже, в чем тут дело. Хотя... — Генерал пристально, с каким-то особенным вниманием посмотрел на Шумилова. — В вас есть что-то такое, что располагает людей, вы должны нравиться женщинам... Или я не прав?

— Не знаю, — ответил Шумилов. — Об этом лучше справиться у женщин.

— Вот! — воскликнул генерал. — Нет, не хотел бы я быть вашим подчиненным, Антон Игнатьевич. Да и женщины, мне кажется, не могут быть с вами счастливыми. Прошу прощения за такую откровенность, но уж очень хотелось вам это сказать, не сердитесь на старика.

— Каждый человек имеет право на собственное мнение... — Шумилов осекся.

— Что же вы, договаривайте! Ведь вы хотели сказать, что каждый имеет право на собственное мнение независимо от звания и занимаемого положения? — Генерал усмехнулся, и Шумилов понял, что лгать, изворачиваться не имеет смысла. По правде говоря, его удивила такая пронизательность генерала, почему-то он не предполагал этого.

— Да, — сказал он, — я хотел сказать именно это.

— Вспомните меня, Антон Игнатьевич, если все-таки станете большим начальником. Вспомните и повторите свои мысли насчет права каждого на собственное мнение вслух. И непременно скажите это подчиненным!

Признаться, вот здесь Шумилову сделалось стыдно и он искренне пожалел, что наговорил лишнего. Тем более, все, что он тут говорил и что мог бы сказать еще, не было для этого пожилого, умного человека ни откровенным, ни новостью.

— Извините... Александр Иванович, — сказал он.

— Бог с вами, Антон Игнатьевич. За откровенность не извиняются. Это не проступок даже по армейским законам. Желаю вам... Хотел пожелать вам всего хорошего, но... Живите так, как считаете нужным. Возможно, вы и правы. Наверное, правы. — И генерал протянул Шумилову руку.

Спустя месяц пришел приказ о демобилизации, и Шумилов, не мешкая, выехал в Ярославль.

Жену он застал в довольно приличном состоянии и даже растерялся немного, настолько она выглядела здоровой. И речь ее была связной, и вопросы вполне естественные, логичные, а радость такой искренней, неподдельной, что Шумилов и сам готов был засыпать жену вопросами. Он и засыпал бы, пожалуй, обманувшись внешним видом жены и ее естественностью, когда бы Ирина Васильевна не предупредила его, чтобы он поменьше спрашивал, а главное, сказала она, не надо говорить о здоровье...

Свидание их состоялось в ординаторской, Ирина Васильевна была тут же.

— Знаешь, Шумилов, тебе к лицу военная форма, — внимательно рассматривая погоны, говорила жена. — А вот эти две полоски что означают?

— Просветы, — ответил Шумилов, подумав, что лучше бы ему было снять погоны.

— Просветы? — переспросила она. — Как интересно. Погоны светлые, полоски темные, а называются просветы. А у тебя какой чин?

— Подполковник. Инженер-подполковник.

— Это большой чин?

— Средний, — сказал он.

— Значит, есть больше и есть меньше?

— Разумеется.

— Да, всегда бывает что-то меньше, а что-то больше. — Она поднесла палец к губам, задумалась и неожиданно произнесла: — Муха меньше собаки, собака меньше лошади... Ты такой стройный, Шумилов, такой молодой в форме... Ты смог бы сыграть... — Она опять задумалась, подбирая для него подходящую роль, потом вздохнула с сожалением и покачала головой. — Как жаль, что ты не актер. Да ведь ты и театр не любишь, я знаю. Меня любишь, а театр нет. Как же это, Шумилов?.. Надо любить не просто человека, а все, что есть в человеке. Красивое любить легко, все любят красивых. А я стала некрасивая, верно?.. — Она пытливо смотрела на него, и он невольно опустил глаза.

— Не говори вздора, — сказал он.

— Ты теперь разлюбишь меня, Шумилов. Но это все равно. Все равно. Если ты дал мне кусок хлеба и если я съела его, ты же не можешь отнять этот кусок обратно...

Шумилову вдруг сделалось страшно, он понял, что первое впечатление обмануло его, жена явно начинала заговариваться, но в то же время в ее рассуждениях был определенный смысл, была логика, которую совсем не просто опровергнуть, и это противоречие особенно пугало. Почему-то он вспомнил тотъвинскую Нюшу, ее бредовые разговоры, в которых также была своя логика, и в какое-то мгновение ему даже захотелось встать и уйти...

И он не знал, что отвечать жене. Молчать же было неудобно.

— Мы когда поедem домой? — спросила жена. — Ты учти, Шумилов, мне нужно собраться, я не хочу оставлять здесь ничего. Меня и так обворовали. Я тебе говорила, что меня обворовали?

Вот тут вмешалась Ирина Васильевна.

— Скоро поедете, Анатолия Федоровна, — сказала она. — Вот посмотрит вас профессор, и можно будет ехать. — И она приложила к губам палец, показывая Шумилову, чтобы он молчал.

— Мне надоел этот ваш профессор, — удивительно спокойным, ровным голосом проговорила жена. — Я не могу на него смотреть. Он такой несимпатичный! Знаешь, Шумилов, у него никакой дикции, он шепелявит, словно вынул вставные зубы, и прозрачные уши. Совсем-совсем прозрачные! Это ужасно, когда у мужчины прозрачные уши. Представь себе, он этого не понимает, уверяет меня, что прозрачные уши даже оригинально! — И, повернувшись к Ирине Васильевне, она спросила: — Вы не находите, что он вообще... немножко странный?

— Ну что вы, Анатолия Федоровна. Просто к нему нужно привыкнуть.

— Я так и знала, что он вам нравится. Вы женщина, а никак не хотите понять, что мужчина без дикции и с прозрачными ушами не может нравиться!.. Когда он выходит на сцену, даже с галерки сквозь его уши видно все, что делается за его спиной. Все вы здесь странные какие-то, ты не верь им, Шумилов. Никому не верь, слышишь?.. Они все заодно. Вот, пожалуйста, придумали, что у меня какая-то необыкновенная болезнь, а у меня только болит голова. Здесь болит, потрогай... — Она взяла руку Шумилова и погладила его свой затылок. — Они не верят, а я знаю, что там живет... Тс-с-с!.. Его имя нельзя произносить вслух, он страшно не любит

этого... Тебе я потом скажу, когда он уснет... Только ты не говори им... Покажи-ка свои уши.— Она потрогала его ухо.— Я всегда знала, что у тебя очень красивые уши. Жаль, что ты не любишь театр... Вот! — вскрикнула она.— Смотри! — И, закрыв руками лицо, она попятилась в угол.

Ирина Васильевна открыла дверь в коридор и позвала сестру. Та немедленно возникла в ординаторской, точно ждала за дверью. В руке у нее был шприц.

Шумилов отвернулся, он не мог смотреть, когда делают уколы. Терпеть терпел, боли не боялся, а вот смотреть не мог.

Жена затихла. Сестра обняла ее и увела в палату.

— Любая даже самая незначительная нагрузка и... — проговорила Ирина Васильевна, покусывая губу.— А тут такое на нее свалилось, что не всякий и здоровый человек выдержит.— Она виновато улыбнулась.— Но в общем ей лучше, гораздо лучше. Теперь хоть мы спокойны за ее жизнь...

— Я все понимаю,— сказал Шумилов.— А этот профессор, как его? Он здесь?

— Дмитрий Сергеевич Харченко? Нет, он уехал в Ленинград. Она имеет в виду нашего главного врача. Он не профессор, но очень хороший врач. Вам необходимо с ним побеседовать. Если хотите, мы можем прямо сейчас пройти к нему, он на месте. О жене не беспокойтесь, она спит.

— И долго будет спать? — Он хотел спросить, что за укол сделали жене, но как-то не решился.

Ирина Васильевна молча кивнула.

Разумеется, у главного врача были самые обыкновенные уши, а вот дикция, обратил внимание Шумилов, действительно хромала. Не то чтобы он шепелявил, нет, просто голос глухой, негромкий, да еще говорил он как бы сам с собой, как бы размышлял вслух, не замечая словно бы собеседника, хотя при этом глазами прощупывал его, изучал, но делал это, глядя все-таки не прямо на собеседника, а в сторону, мимо. Впечатление, подумал Шумилов, получается не из приятных, так что жена в чем-то права.

— Насколько я знаю, вы в курсе,— без предисловий и околичностей заговорил он.— Ничего утешительного я добавить, к сожалению, не могу. Вы в отпуске или совсем?

Шумилов мог бы поклясться, что главный врач очень

внимательно наблюдает за ним, оценивает его, Шумилова, психическое здоровье.

— Совсем,— сказал он.

— Забрать жену приехали?

Конечно, Шумилов хотел взять жену из больницы. Об этом можно было и не спрашивать, однако теперь, повидавшись с женой, он засомневался, подумав, что забирать ее сейчас же вряд ли имеет смысл. Кто знает, что там, в Ленинграде, с его комнатой, и вообще было бы лучше сначала устроиться, обосноваться, а после уже брать больную жену. Ирине Васильевне он именно так бы и ответил, а вот ответить так главному врачу не смог, потому что был уверен, что тот и не ждет другого ответа, что он знает все наперед, и что-то взбунтовалось в Шумилове, ему сделалось неприятно оттого, что этот человек, несимпатичный в общем-то и, похоже, очень уж самоуверенный, как бы читает его мысли...

— Да,— сказал он.

Главный врач усмехнулся чему-то.

— Мы не имеем права выписать вашу супругу в таком состоянии. Она должна находиться в клинике.

— Это значит, что я...

— Совершенно верно.

— Но я живу не здесь, а в Ленинграде...

— Мы знаем это. Надо договориться с какой-нибудь ленинградской клиникой, и мы переведем ее туда. Возможность имеете такую?

— Очевидно,— сказал Шумилов. Сказал, видимо, излишне резко, потому что главврач снова понимающе усмехнулся.

— Договаривайтесь, они знают, как делается в таких случаях.— И вдруг спросил: — К нам надолго?

— Собственно...— Шумилов растерялся немного.— Я захал узнать, как тут... Я еще не был дома, только демобилизовался.

— Вот видите,— проговорил главврач.— Куда же вам сейчас везти больную жену! Поезжайте спокойно, устраивайтесь, договаривайтесь с клиникой, а ваша жена в хороших руках. Ирина Васильевна прекрасный врач, у них отличный контакт, так что...

— Я хотел бы еще повидать жену,— сказал Шумилов.— Возможно, она расскажет что-то о дочке. Я был в Великих Луках, к сожалению, толком ничего выяснить не удалось. Ее мать умерла, но точно известно, что жена уехала оттуда вместе с дочкой.— Потом, вспоминая

этот разговор, он удивлялся, почему вдруг разговорился.

— Судя по тому, что нам удалось выяснить, ваша дочка или потерялась во время бомбежки поезда, когда жена получила ранение, или... Надо искать. А спрашивать у жены не рекомендую. Как ваше мнение, Ирина Васильевна?

— Это так,— сказала она.— Малейшее упоминание о дочери, Антон Игнатьевич... Как бы это вам объяснить...

— Не надо объяснять, я понимаю.

— Кто-то же ехал вместе с ними, кто-то обязательно что-то знает,— продолжал главврач.— Война, конечно, неразбериха, но надежды терять нельзя. Вполне возможно, во всяком случае не исключено, что со временем ваша супруга сама заговорит об этом. Только будьте осторожны! Не торопите ее, не подталкивайте. Вмешательство извне ничего не даст. Тут нужно терпение, терпение и еще раз терпение. Да, в отношении ленинградской клиники. Хорошо, если бы вам удалось устроить жену в институт Бехтерева.

— Постараюсь,— сказал Шумилов.— А когда я еще могу повидать ее?

Главврач переглянулся с Ириной Васильевной, та пожала плечами.

— Нельзя? — догадался Шумилов.

— У нее приступ, а это надолго. Обычно он длится от двух до трех недель, потом несколько дней она приходит... в себя. Все это время она будет спать.— И тут главврач впервые посмотрел прямо в глаза Шумилову, просто — посмотрел и все, и тотчас отвел глаза в сторону, но этот его обыкновенный человеческий взгляд, в котором было и понимание и сочувствие, этот взгляд сказал Шумилову гораздо больше, чем если бы ему от первой до последней строчки зачитали историю болезни жены.

— Спасибо, доктор.— Шумилов встал. По совести говоря, сейчас ему было чуточку стыдно за свои недавние мысли о главвраче, и он догадался, что эта манера разговаривать и разглядывать собеседника всего лишь профессиональная маска.

— Да не за что.— Главврач вздохнул. Он снял очки, и Шумилов вдруг понял, что очки-то он носит скорее всего для солидности, потому что был он совсем молодой.

Шумилов возвращался в Ленинград. На станции Бологое (он ехал из Ярославля через Москву) поезд штурмовала огромная толпа. В основном это были женщины с детьми, и вот какой-то бравоый матрос, вспрыгнув на головы людей, с криком «Полундра, кореша!» пополз по головам — толпа была плотная, расступиться люди не могли — к вагону. Да еще воялок за собой объемистый чемодан. Он так и нырнул прямо с голов в тамбур, и его подхватили на руки другие два матроса, ехавшие вместе с Шумиловым от Москвы.

— Ну, кореш, даешь! — восторженно сказали они, и все засмеялись громко.

— Знай наших! — похвалился тот, что полз по головам, и небрежно так отряхнул коленки.

Проводник, хилый, немощный старичок, отвоевавший свое, должно быть, еще в первую мировую войну, пристыдил матроса:

— И где ж совесть-то твоя, сынок!

— А ты помолчи, батя, — сказал матрос. — Совесть, она... — Он потрепал проводника по плечу. — Умри ты сегодня, а я завтра. Вот тебе и вся совесть.

Шумилов, он тоже был в тамбуре, вышел покурить, не выдержал:

— Извинитесь сейчас же! — Его трясло от негодования. — А то я вас выброшу отсюда, как щенка.

— Ась?.. — приложив к уху ладонь, сказал матрос, даже не глядя на Шумилова. — Кто-то что-то прочирикал, или мне показалось?.. — Усмехаясь, он подмигнул тем двоим матросам, которые приняли его в тамбуре.

Те заулыбались.

— А ну встаньте как положено и предъявите проездные документы! — вовсе уж вскипел Шумилов. — Устав забыли?

— Я на твой Устав с пятого этажа поносом!.. А заодно и на тебя, подполковник, понял?! — Он приблизился к Шумилову и задышал в лицо ему перегаром.

— Вы пьяный негодяй! — Шумилов схватил матроса за грудки и потянул к себе. — Забирай свой чемодан и вон отсюда!..

— Ты на кого руку поднимаешь, на кого руку поднимаешь?! — завопил тот. — Я моряк Черноморского

флота, я кровь за Родину проливал, а ты, мать твою...

— Мразь ты поганая, а не моряк,— сказал Шумилов.— Отец,— обратился он к проводнику, открой-ка с этой стороны дверь, я выброшу его вон.

— Кореша, что же вы смотрите, наших бьют! — крикнул матрос, и два других матроса угрожающе направились на Шумилова.

Кто знает, чем бы все это кончилось, но тут отодвинулась дверь с переходной площадки и в тамбур вошел патруль: капитан и с ним три солдата с автоматами.

Матрос как-то сразу затих, заерзал глазами, пытается отступить в угол.

— Капитан, проверьте у него документы,— сказал Шумилов.

— Предъявите все документы,— потребовал капитан.

Вдруг «черноморец» метнулся к открытой двери, однако Шумилов, словно именно этого и ожидал, успел схватить его за воротник бушлата. Никаких документов у него не оказалось. Шумилову очень хотелось хотя бы на прощанье врезать ему по морде, и он бы врезал, не сдержался, но внимание его привлек чемодан, стоявший в тамбуре.

— А чемодан? — удивился он.

— Какой чемодан? — спросил капитан.

— Вот этот чемодан, это его.— И Шумилов пнул чемодан ногой.

— Это не мой, я ничего не знаю...— забубнил «черноморец».

— Ну ты, вояка! — зло сказал один из матросов.— Мы все свидетели, товарищ капитан: он влез сюда с этим чемоданом.

Шумилов ушел в вагон. А чуть позже, когда поезд уже набирал ход, его разыскали те два матроса.

— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? — сказал один из них, прикладывая руку к бескозырке. Второй стоял по стойке «мирно».

Шумилов взглянул на них и махнул рукой.

— Идите, ребята,— сказал он.— Все в порядке.

— Извините, товарищ подполковник...

— Ничего, бывает. Я ведь и сам принял его за настоящего моряка...

— А может, товарищ подполковник, по маленькой? У нас имеется.

— Спасибо, ребята,— улыбнулся Шумилов.— Лучше угостите проводника.

Так вот началась для него мирная жизнь.

А дом, где он жил до войны, откуда уехал на Урал, совсем не изменился. Это был все тот же старый, обшарпанный дом из числа ленинградских домов, которые не охраняются государством, но охраняются памятью людей.

В комнате было сумрачно, серо, пахло пылью и плесенью. На оттоманке стоял раскрытый чемодан, как Шумилов и оставил его в день отъезда. Удивительно даже, подумал он, что никто не побывал за эти годы в комнате, все стояло и лежало на прежних местах, в том числе и записка жене лежала на столе, придавленная пепельницей, как будто он только что, вчера или позавчера, ушел отсюда. Он взял записку и, не читая, скомкал ее. С прошлым покончено, надо начинать новую жизнь, надо заставить себя выбросить прошлое из головы, забыть его, говорил себе Шумилов и понимал, что с прошлым так легко не расстаются, потому что это ведь не просто ушедшее в небытие время, но часть жизни. Может быть, лучшая ее часть. Нет, прошлое не бывает обузой, не должно...

Да и новой жизни не бывает. Она всегда продолжение прежней, и это только говорится «начать новую жизнь», а начало всегда одно. Как, впрочем, и конец тоже один.

Он стоял посреди комнаты, держа в руке скомканную записку, стоял словно новосел, впервые переступивший порог будущего своего жилища, и все было ему одинаково знакомым здесь и незнакомым, все одинаково привычным и чужим...

Кто знает, возможно, и не нужно было спешить с демобилизацией. Все-таки поотвык он от обычной жизни, от обычных житейских забот, которые преследуют людей, тяготят их, как тяготит всякая назойливая обязанность, но без которых тем не менее жизнь была бы, наверное, слишком уж пресной и скучной...

— Ну вот, мы и прибыли,— сказал Шумилов вслух.

— Все в порядке? — спросил управхоз, который пришел вместе с Шумиловым, чтобы законно, как он выразился, вскрыть опечатанную комнату. Это был все тот же управхоз, который провожал Шумилова в сорок первом.

— Абсолютно,— сказал Шумилов.

— В некоторых квартирах все порастащили. Особенно мебель, на дрова.— Он вздохнул.— У вас-то соседка всю блокаду прожила, приглядывала. И я иногда заходил.

— Какая соседка? — спросил Шумилов.

— Клавдия Павловна.

— Жива?

— Жива, жива,— заулыбался управхоз.— Только вот сейчас захворала, в больнице.

— Что с ней? — Шумилов отчего-то испугался.

— Обычная история, ослабела. Но она ничего, она выздоровеет. А вы в чинах, я смотрю, вернулись, с орденами.— Насчет орденов он немножко преувеличивал: у Шумилова был единственный орден Красной Звезды и три медали.— Стало быть, отвоевались. А ваша супруга где же, в эвакуации еще? . .

— В эвакуации,— ответил Шумилов.

— Приедет, раз вы вернулись. А документы на прописку уж поскорее сдайте, нынче строгости большие. Да и карточки без прописки не получите.

— Хорошо, сдам.— И неожиданно предложил: — Давайте-ка мы с вами выпьем за встречу, а? У меня есть водочка.

— Да ведь оно за встречу и неплохо бы,— сказал управхоз,— только время-то рабочее, а я на службе. . .— Однако в голосе его не было убежденности, и Шумилов, взяв его за плечи, усадил к столу.

Он отогнул пыльную скатерть и выставил на стол бутылку водки и банку тушенки. Достал из буфета чайные чашки и вилки.

— Американская? — спросил управхоз, уважительно глядя на тушенку.

— Да,— подтвердил Шумилов.

— Говорят, хорошая штука. . .

Шумилов выставил вторую банку.

— Это возьмете с собой,— сказал он.

— Бог с вами! — замахал руками управхоз.

— Все, вопрос исчерпан.— Он ловко вскрыл тушенку, разлил по чашкам водку.— Ну. . .

— С благополучным прибытием вас,— поднимаясь, сказал управхоз. Он маленькими глотками выпил водку, подцепил на вилку крохотный кусочек тушенки и стал прощаться.

— Еще по одной,— предложил Шумилов, берясь за бутылку.

— Ни в коем случае, — решительно отказался управхоз. — Благодарю вас, мне и этого много. — Он попятился к двери.

Шумилов взял нераскрытую банку тушенки и сунул управхозу в руки.

Оставшись один, он побродил по комнате, не зная, куда деть себя, подошел к окну и открыл форточку.

Итак, Шумилов, с чего же мы начнем? Или все-таки продолжим? Ладно, потом разберемся. Сейчас не это главное. То есть сейчас не время заниматься доморощенной философией. И уж совсем не к чему пестовать в себе жалость. Это чувство слабых людей. Жалость, а также все, что неизбежно рождает она в человеке, влечет за собой расслабленность, неуверенность, хаотичность поступков, а человек, уверен Шумилов, всегда и несмотря ни на что, ни на какие передраги и неприятности, должен быть собранным, уверенным в себе, только тогда он способен делать большое дело, способен творить.

Окна шумиловской комнаты выходят в темный двор-колодец. Сюда никогда не заглядывает солнце, зато и тихо в комнате. Не слышно ни машин, ни трамваев. Разве что ночью, когда все засыпают. Шумилову нравилась эта сумрачная тишина, а вот жена все мечтала поменять эту комнату на другую, солнечную, потому что и сама любила солнце, и дочке, доказывала она, солнце совершенно необходимо. Наверное, необходимо. Даже наверняка, соглашался он, однако ничего не предпринимал для обмена. Он вообще старался меньше думать о быте, быт для него не существовал сам по себе, но был как бы приложением к жизни, которая шла своим чередом, вне дома, и это обижало жену, а он не понимал или не хотел понимать ее обиды, ее упреков, потому что не мог и представить себе мужчину, мужика, для которого прежде всего — дом, семья и связанные с этим заботы, а после уже — дело. То есть он и представлял таких мужиков, и знал их, даже вместе с ними работал, и знал также, что их поощряют окружающие, хвалят, завидуют их семейному счастью, но в том-то и дело, в том-то и дело, что Шумилов не считал их настоящими мужчинами, достойными называться мужиками.

А впрочем, сейчас это не имело решительно никакого значения. Для Шумилова не имело...

И все-таки к лучшему; что они не поменяли до войны комнату. Ведь та, другая комната, если бы они сменя-

лись, могла бы оказаться в доме, которого уже нет. Эта мысль, неожиданно явившаяся в голову, поразила Шумилова своей реальной наготой. Она была почти мистической, эта мысль, потому что они не сменялись и нет никакой другой комнаты, и все же как бы реальной, потому что это могло случиться. Чертовщина какая-то, сказал Шумилов, подошел к столу, налил в чашку немного водки и выпил. Так можно сойти с ума. Не зря говорят, что все гениальные мыслители были сумасшедшие. Если взяться за создание некоего воображаемого мира, в который поместить воображаемых людей с воображаемыми же качествами, а потом эту созданную воображением абстракцию наложить на реальный мир, где живут обычные люди и занимаются обычными делами... А что же тогда получится? — подумал Шумилов, и ему сделалось сначала страшно, так страшно, что он оглянулся на дверь, но тотчас стало смешно, и он громко рассмеялся.

Ничего себе! Воображаемая жизнь, воображаемая работа, воображаемая война...

Вот в чем дело, вдруг догадался он: его жена как раз и живет воображаемой жизнью. Это и есть ее болезнь, а все остальные объяснения, хотя бы и полатыни, ни черта не стоят. И нынешняя ее жизнь началась еще до того, как она получила ранение. Конечно же, до того, просто много раньше. Эта ее неистребимая любовь к театру, полное отсутствие самокритичности, излишняя даже для женщины чувствительность, эмоциональность, эти ее вспышки истерии, которые сам Шумилов прежде относил на счет слабости характера и вовсе не думал о том, что это истерия... А ранение и потеря ребенка лишь усугубили, ускорили то, что рано или поздно должно было произойти. Значит, и лечение может быть только одно — не мешать ей жить в том, воображаемом мире. Не это ли имел в виду врач, когда говорил, что жену нельзя расспрашивать ни о чем?.. Ну да, разумеется, он имел в виду именно это; просто не сказал — не решился сказать — прямо, что ее опасно возвращать в действительность...

Как всегда, когда Шумилов находил разумный, аргументированный ответ на какой-то мучивший его вопрос, он успокоился немного. По крайней мере, появилась определенность, а вместе с нею и уверенность, что он сумеет найти выход из положения. Должен найти.

Он бродил по комнате, перебирал, переставлял с места на место какие-то вещи, не замечая, какие именно, и так на глаза ему попался семейный альбом, и он машинально стал листать его. В альбоме было очень много фотокарточек жены — странно, что ее так часто фотографировали, а Шумилов и не знал этого, — каких-то полужнакомых родственников и давно забытых друзей (сам Шумилов фотографироваться не любил), масса поздравительных открыток, которые тоже почему-то хранились в альбоме. Отрешенно разглядывая фотокарточки, он наткнулся на пожелтевшую уже групповую фотокарточку, на которой с удивлением узнал себя, и тогда вспомнил, а скорее догадался, что это их курс после защиты дипломов. Володька Яковлев, Павловский, Андрей, Андрюха Родионов, Маша... Как же ее фамилия?.. Первая красавица на курсе, усмехнулся Шумилов. Так считалось. Однако он так вовсе не считал.

А что, если навестить кого-нибудь?..

Он полистал записную книжку, у него было несколько адресов однокурсников, с кем он поддерживал отношения и после окончания института, и торопливо, словно в этой спешке была хоть какая-то необходимость, стал одеваться.

II

Прежде всего, соображал Шумилов, сбегаю по лестнице, к Андрюхе Родионову. Уж он-то знает все и про всех, он всегда знал все последние новости, был «в курсе», и вокруг него кипела жизнь. Неунывающий, веселый, оптимист и заводила, был он, что называется, душой курса. Он никогда не бывал хмурым, любил застолье, озорные песни, а вот учился плохо и диплом ему писали коллективно. Перед войной он работал в какой-то захудалой конторе на третьестепенной должности, но и там, как слышал Шумилов, всем был нужен.

— Вам кого, товарищ военный? — настороженно спросила женщина, открывая дверь.

— Андрея... Андрея Григорьевича, — радуясь, что не забыл отчества, ответил Шумилов.

— А их никого нет, — сказала женщина, с любопытством его рассматривая. — Сам он погиб, так соседи говорят, а жена не вернулась из эвакуации.

— Погиб?.. — переспросил Шумилов. Ему почему-то

И в голову не приходило, что Андрияха может погибнуть.— А это точно?

— Товарищ военный, кто сейчас знает что-нибудь точно! Извините,— и она закрыла дверь.

Пожалуй, только теперь со всею очевидностью Шумилов осознал, что война ведь могла оставить его и без друзей. То, что жив он, ничего не значит. Ровным счетом ничего.

Тогда к Володьке Яковлеву. Это совсем рядом. И уж там-то обязательно кто-нибудь есть. Если не сам Володька, если, не дай бог, и с ним что-то случилось, кто-нибудь из его многочисленной петербургской семьи. Это старинная семья со своими незабываемыми традициями, привычками, со своими даже не семейными, а родовыми устоями. В таких семьях все родные и близкие, не сразу и разберешься, кто кому приходится племянником, двоюродной сестрой или троюродной бабушкой; они не распадаются, не мельчают, но все вместе переживают любые невзгоды и потрясения, бережно и любовно хранят свое гнездо, которое дает тепло и уют новым и новым поколениям. Наверное, думал Шумилов, в этих семьях легче переживаются утраты, потому что членов семейного клана как бы и не убывает никогда, на смену умершему является другой... К тому же Володька, сколько помнил Шумилов, был болен — кажется, порок сердца, — и его вряд ли взяли на фронт. Конечно, была блокада, люди не только погибали, но и просто умирали, однако о таком думать вовсе уж не хотелось.

Огромная, действительно парадная дверь, просторный вестибюль, отделанный изразцами, широкая лестница с витражами на площадках, в которых дробилось солнце, окрашивая стены в разноцветные тона, затейливые чугунные перила (теперь нет таких умельцев, говорил Володька), медная дощечка, оставшаяся с давних дореволюционных времен...

И, разумеется, старинный же звонок. Позеленевшая — тоже медная — цепочка и фарфоровая ручка.

— Простите, Яковлевы здесь живут? — спросил Шумилов старика, едва приоткрывшего дверь.

— А где же им жить? — удивился старик и шире открыл дверь.— Даже когда нас с вами не будет на свете, молодой человек, Яковлевы по-прежнему будут жить здесь и нигде больше! — Эти слова старик произнес с гордостью.— Вам, собственно, кто нужен из Яковлевых?

— Володя. Владимир... — Вот его отчество Шумилов забыл.

— Володя? .. — испуганно, как показалось Шумилову, переспросил старик. — А зачем он вам?

— Ну... хотел повидаться, мы давно не виделись.

— Да, да, понятно. Но Володи нет. Он погиб. Смертью храбрых.

— Как погиб?! — воскликнул Шумилов. — Ведь у него большое сердце.

— Было большое сердце, — поправил старик. — А откуда вы знаете об этом? И проходите, проходите, бога ради. Извините, что сразу не пригласил, но время, сами понимаете...

— Не стоит, спасибо, — сказал Шумилов. — Мы дружили с Володей и учились вместе в институте.

— Вот как? Я что-то не припоминаю вас...

— У Володи было много друзей.

— Это верно, у него было очень много друзей, — вздохнул старик. — А вы бывали у нас до войны?

— Бывал.

— А теперь его больше нет. Вы проходите, пожалуйста, мы всегда рады Володиным друзьям.

— В другой раз, — сказал Шумилов. — Обязательно зайду.

— Я понимаю вас. Что вам сказать? Володя записался добровольцем в народное ополчение. Кто тогда проверял здоровье? Война. — Он виновато развел руками, как будто извинялся за то, что была война и что никто не проверял здоровье ополченцев. — Он погиб под Лугой осенью сорок первого года. Мы получили официальное сообщение, что погиб Володя смертью храбрых. Вот зайдете, я покажу вам это сообщение. Если вы помните, он был очень смелый мальчик.

— Да, — выдохнул Шумилов. — Извините за беспокойство, до свиданья.

— Мы вас ждем, — сказал старик. И уж вдогонку: — Кто же вы?

— Антон Шумилов.

— Антон Шумилов, Антон Шумилов... — бормотал старик, стоя на площадке.

Шумилов сбежал по лестнице и, остановившись возле парадной, лихорадочно перебирал в памяти тех, к кому бы он мог поехать. Теперь ему было просто необходимо найти кого-нибудь из бывших своих однокурсников, найти во что бы то ни стало, и он решил ехать к Павловско-

му, хотя Пашка — Павел Викторович, разумеется: он еще в институте, на последнем курсе, любил, чтобы его так называли, — никогда, в общем-то, не был его другом. Но сейчас это не имело значения.

Открыла дверь женщина, и он сразу узнал Машу. Она постарела, исчез прежний лоск, глаза усталые, но все же это была именно Маша, ее невозможно не узнать. Она внимательно смотрела на Шумилова, но не узнавала его. Видимо, мешала форма.

— Мне нужен Павел Викторович, — сказал Шумилов серьезно, хотя ему хотелось рассмеяться. Нашел, нашел-таки знакомую живую душу.

— Проходите, — сказала Маша, отступая чуть в сторону.

— Павел Викторович дома?

— Дома.

И тут из глубин квартиры раздался голос самого Павловского:

— Машенька, кто к нам пришел?

— Это к тебе, — ответила она громко, а сама все присматривалась к Шумилову, будто бы уже и вспомнив что-то, но не доверяя своей догадке.

— Я сейчас, одну минутку! — крикнул Павловский. — Я только приведу себя в порядок. . .

Шумилов и Маша стояли друг против друга, и она почему-то смотрела куда-то в сторону, а ему по-прежнему было смешно, однако он сохранял серьезность.

— Зови, Машенька; я готов, — сказал Павловский.

И Маша пригласила:

— Прошу сюда.

Шумилов вошел в комнату. Павловский, обложенный подушками, полусидел на оттоманке, ноги его были прикрыты одеялом. На нем была фланелевая пижамная куртка и галстук. Он всегда носил галстуки, нехотя вспомнил Шумилов, даже если на нем бывали помятые, вытянутые на коленках брюки. Галстук — обязательная принадлежность мужского туалета, немножко высокопарно поучал он других. А прежде всего, разумеется, поучал Шумилова, то есть Антона. . .

— Здравствуйте, я вас слушаю, — пристально глядя в лицо Шумилова, сказал он.

Шумилов молчал. Он не знал, что делать. Он понял, что Павловский лежит потому, что не может встать, не может подняться.

— Я слушаю вас,— повторил он. И, взглянув удивленно на Машу, спросил:— Машенька, кто это?

— А это Антон Шумилов пожаловал к нам,— спокойно ответила она.

— Антон?!— воскликнул Павловский и словно бы попытался встать, опираясь на локти, но тут же отвалился на подушки.— Откуда ты взялся, Антон?

— Да вот...

— А я сразу не узнала тебя,— заговорила Маша.— Смотрю, что-то знакомое вроде, а понять ничего не могу. Форма смутила, а так-то ты почти не изменился.

— Ты тоже.

— Брось,— сказала она.

— Подумать надо, Антон!— проговорил Павловский.— А я вот...— Его насторожило появление Шумилова. Он думал, не пришел ли Шумилов, чтобы посочувствовать, выразить свое дружеское участие и тому подобное. Это ведь так легко и даже, наверно, приятно — демонстрировать свою чуткость, когда ты сам здоров. Да и не стоит ничего. Забежал, пожалел, выразил, сказал несколько успокоительных, приличествующих моменту слов, которые в действительности пусты и никого не могут успокоить, и тут же забыл об этом. Правда, Антон не из тех людей, которые любят жалеть, успокаивать, однако война сильно всех изменила, так что... А Павловский не хотел жалости, не нужна ему ничья жалость.

— Весь перед вами,— нарочито бодро произнес Шумилов.

— Видим, видим. И каким же ветром тебя занесло к нам?

— Попутным, братцы. Вернулся вот, вокруг никого, тоска зеленая, решил навестить старых друзей. Так и забрел к вам. Не прогоните?

— Что ты говоришь, Антон!— укорила его Маша.

— Это хорошо, что не забываешь старых друзей,— сказал Павловский.— Вернулся давно?

— Сегодня.

— Вот как?..

— Утречком.

— И кого-нибудь уже видел?

— Нет.

— Совсем, демобилизовался?

— Совсем,— ответил Шумилов.— Как это поется? «Мы мирные люди...»

— А тебе идет военная форма,— сказала Маша,— Прямо хоть портрет героя с тебя пиши.

— Маша права,— поддержал ее Павловский. И попросил ее: — Ты бы чайку сообразила.

— Я сейчас.

Она вышла на кухню, а Павловский поинтересовался:

— Работаешь или еще нет? — Все-таки он до конца не верил, что Шумилов только сегодня приехал и что зашел просто навестить их. С тех пор, как он вернулся с войны с парализованными ногами (осколочное ранение в позвоночник), каждый мужчина, приходящий в дом — случалось это нечасто,— вызывал в нем приступы ревности и подозрительности. Иногда приступы эти заканчивались скандалами, а после он просил у Маши прощения.

— Да ведь я честно сегодня приехал,— повторил Шумилов.— Заходил к Андрюхе, помнишь? .. И к Володе Яковлеву. Их нет.

— Я знаю,— проговорил Павловский.— Володя погиб осенью сорок первого, мы с ним вместе были. А ты кого видел у них?

— Старик какой-то симпатичный.

— Это его дядя. А ты где воевал?

— Да я, можно сказать, и не воевал,— ответил Шумилов.— Командовал ремонтными мастерскими.

— Не ранен?

— Нет, пронесло.

— Ты всегда был везучий,— проговорил Павловский.

В это время, словно выручая Шумилова, Маша принесла чайник, поставила на стол и полезла в буфет за посудой.

— Ничего не надо,— сказал Шумилов, поднимаясь.— Поздновато уже чай гонять, и устал я зверски.

— Ну что ты, Антон, нельзя же так. Я быстро все сделаю, посиди.— Маша смотрела на него какими-то горестными, потухшими глазами, и, странное дело, сейчас Шумилов жалел не столько Павловского, сколько ее.

— В самом деле, Антон. Выпил бы чайку. Покрепче-то ничего у нас нет,— сказал Павловский, но сказал как-то неуверенно, дежурно.

— Спасибо, братцы, в другой раз. А сегодня — пас, не сердитесь.

— Смотри. Только не исчезай, заглядывай.

— И вы заходите,— пригласил Шумилов.

— А действительно, Машенька, почему бы нам не навестить Антона?! — оживился Павловский.— Сидим дома, никуда не ходим... У нас есть адрес? По-моему, должен быть.

— Я дам адрес.

— Погоди, я хочу вспомнить сам. Ты никуда не переезжал?

— Нет.

— Машенька, ты не помнишь, где моя записная книжка?

— Синяя?

— Да при чем тут синяя, когда нужна коричневая! — раздраженно сказал Павловский.— Вечно ты что-нибудь путаешь.

— Кажется, она лежит в книжном шкафу.

— Кажется или лежит?

— Сейчас посмотрю.

— И проверь, записан ли адрес Антона.

— Хорошо.— Маша подошла к книжному шкафу, достала потрепанную записную книжку, полистала ее.— Записан,— сказала она и тяжело вздохнула. На Шумилова она не смотрела, и он понял, что ей стыдно.

— Положи книжку на место, а то засунешь куда-нибудь, потом не найдешь,— проворчал Павловский.— Да, а там записано, как звать его жену? Ты извини, Антон, я забыл.

— Это не имеет значения,— хмуро сказал Шумилов. Его по-настоящему тяготил этот визит.

На душе было чертовски скверно, когда он вышел от Павловских, словно он нечаянно, вовсе не желая этого, проник в чужую тайну, которую тщательно оберегали от посторонних, а вот явился он, и тайна перестала быть тайной... Дело не только в несчастье самого Павловского. В конце концов, его несчастье— это и несчастье Маши. Может, ей даже труднее, чем ему. У нее такие грустные, такие печальные глаза и такой усталый вид. А раньше она была веселая, из ее глаз струилось жизнелюбие...

А каким был Павловский, Шумилов представлял смутно. Пожалуй, он выделялся подчеркнутой аккуратностью, педантизмом, что всеми воспринималось естественным продолжением его таланта. Да, Павловский несомненно был талантлив. По крайней мере, ни у кого это не вызывало сомнений. Ему пророчили большое буду-

щее. А вот где и кем он успел поработать до войны, после института, Шумилов не помнил, а скорее, просто не знал. Они не поддерживали тесных отношений и встречались после института не более двух-трех раз. Кажется, Павловский ревновал Машу к Шумилову. Но уж это-то совершенно напрасно.

III

Спустя два дня Шумилов встретил Машу возле своего дома. Не совсем возле, но поблизости. Она могла бы сказать, что оказалась здесь случайно или по каким-то делам, вообще могла бы сказать все что угодно, и Шумилов поверил бы любым объяснениям, потому что ему и в голову не пришло подумать, что встреча эта не случайная, однако Маша не стала лгать.

— Здравствуй, Антон,— сказала она.— А я тебя жду. К тебе можно в гости? Я уже заходила, соседка сообщила, что ты вернулся один. А где же...

— Пойдем,— перебил он. Ему не хотелось вопросов о семье.

— Ах, Антон, Антон...— проговорила Маша и покачала головой.— Я сразу поняла, когда ты был у нас, что у тебя не все в порядке дома. Что с семьей?

— Не надо об этом,— холодно сказал он.— Я сейчас один. Пока один, а что будет завтра — не знаю.

Они пришли в его неустроенную и все еще пропыленную комнату. Маша присела на оттоманку и огляделась, а он подумал с тоской, что сейчас она начнет плакаться, начнет жаловаться на Павловского и на свою неудавшуюся, исковерканную жизнь, как будто много найдется женщин, которые, не кривя душой, могли бы сказать, что их жизнь вполне удалась. Выслушивать жалобы Шумилову не хотелось, но говорить что-то было нужно, не сидеть же молча, уставившись друг на друга, и он начал рассказывать, что ему предлагают должность главного инженера завода — интересный, между прочим, завод, — так что эта проблема решилась, теперь надо уладить с пропиской, на это уйдет несколько дней.

Маша слушала его рассеянно, как ему показалось, без всякого интереса, и он подумал, что все это ей ни к чему, у нее своих забот и проблем выше головы, и он почувствовал некоторое неудобство от того, что пустил-ся в разговоры о себе.

— И что же ты замолчал? — спросила Маша и усмехнулась, усмехнулась одними губами, а глаза ее так и остались печальными. — Все-то ты выдумываешь, Антон, — сказала она. — Только не получается у тебя, ты ведь никогда не умел врать.

— А зачем мне врать?

— Не знаю, но зачем-то нужно, раз врешь. Ты почему один?

Он насупился и запыхтел. Возможно, сейчас, в этом большом городе, который был его городом, Шумилов как никогда остро ощущал свое одиночество и Маша оказалась самым близким человеком, но все-таки не настолько близким, чтобы исповедоваться ей, что-то удерживало его, он не хотел, не мог сказать правду.

— Мало ли по каким причинам люди остаются одни, — уклончиво ответил он.

— И ты... доволен своим положением?

Она по-своему поняла его ответ. Скорее всего, подумал он, решила, что мы разошлись. То есть что жена не дождалась меня с войны. Ну да, естественно, ведь это самый распространенный вариант. И сказал:

— Довольство — понятие растяжимое. От довольства слишком короткий путь до собственных похорон, а это скучное занятие — пить водку на собственных похоронах. Лучше уж на чужих, если это необходимо.

— Все остришь.

— Смех продлевает жизнь, а я собираюсь жить очень долго. Мне цыганка нагадала долгую жизнь.

— Твои остроты совсем не смешные. От них в самом деле пахнет похоронами.

— Неужели? Вот не думал.

— Хватит тебе, Антон, — сказала Маша и, показалось Шумилову, поморщилась. — Я слышала, что ты эвакуировался с заводом, а являешься...

Интересно знать, от кого она могла это слышать, подумал он.

— Был, — сказал он, — был эвакуирован. А потом взяли в армию. В тылу тоже брали.

— И не ранен...

— Ни единой царапины.

— Да, ты везучий, — сказала она словами Павловского. Он догадался, что у них был разговор о нем.

— А почему не счастливый?

— Счастливым ты никогда не будешь, Антон. Такие, как ты, не бывают счастливыми.

— Любопытно.

— Я вижу, что тебе неприятно говорить на эту тему, но хочу тебя спросить... Твоя жена жива?

— Жива,— сказал Шумилов.— Жива. Что еще?

— Извини.

— Ничего.

— Но почему в таком случае ты не женишься снова?

Так и есть: она решила, что жена не дождалась его, ушла. Пусть думает, он не станет ее разубеждать. Пусть думает что хочет, это ее дело. И все же ее неумеренное любопытство, ее стремление во что бы то ни стало вызнать правду, выцарапать эту правду из него раздражало Шумилова, хотя он и признавал, что в этом нет ничего дурного.

— Во-первых,— с издевкой сказал он,— некогда было жениться. Во-вторых, не на ком.

— Не прибедняйся, Антон.— Похоже, она не заметила издевки.— Не тебе говорить.

— А что, может, у тебя есть на примете свободная симпатичная вдовушка?

— И что вас, мужиков, тянет на вдовушек!

— Очень просто: вдовушки всегда приходили на помощь одиноким брошенным мужикам. Благодетельницы наши, скорая помощь.

— Это пошло, Антон. Тебе не идет пошлость.

— Вздор,— сказал он.— Пошло не пошло... Чепуха на постном масле. Мне не двадцать лет, чтобы бегать за девочками с крепенькими икрами, а старых дев терпеть не могу. Значит, что-то у них не так, что-то у них не то, если не вышли своевременно замуж, если до меня на них никто не позарился. Разве не логично?.. Вот разве что замужние...— Он тотчас и пожалел, что сказал об этом.

— А что замужние? — быстро спросила Маша.

— За них бьют по морде, и правильно делают.

— И ты боишься? — Маша открыла сумочку, которая лежала у нее на коленях, и стала рыться в ней, делая вид, что ищет что-то. В действительности она просто прятала глаза.

— Не очень чтобы,— сказал он.— Я достаточно получал по морде, привык.

— И все из-за женщин?

— Да при чем тут женщины! Давай о чем-нибудь другом поговорим.

— Домой пора. — Она вздохнула. — А ты раньше был другим, Антон. Совсем другим. . .

— Ну, раньше все мы были другими. Даже ты.

— Это верно, раньше мы были другими. . . Признайся, Антон, что ты подумал обо мне?

— Даже не знаю, — сказал он. — Как-то не успел. И почему я вообще должен что-то о тебе подумать?

— Да так. Тяжело мне. Если бы ты только знал, как тяжело! . . . Иногда хочется взять и покончить одним разом со всем. Я бы и покончила, честное слово, духу не хватает. Трусиха я. А жить. . .

Глаза ее наполнились слезами, и Шумилов поежил-ся невольно, ему сделалось не по себе, страшно сделалось, потому что ведь и нет ничего страшнее на свете тоски обойденной радостью женщины, лишенной счастья. Не того призрачного, вынашиваемого в мечтах счастья, о котором никто и не знает, что оно такое есть, но лишенной самого простого, обыкновенного бабьего счастья, какое не замечают, не ценят, когда оно есть, и без которого жизнь превращается в сплошную муку, в пустое прозябание. . .

— Павел несносен, — тихо говорила Маша. — Я понимаю его, не думай. Я все-все понимаю и знаю, что не права. . . Но это же какой-то кошмар, кошмар. . .

— Ты героиня, Маша, — сказал Шумилов.

— Баба я, баба! И больше ничего. И не хочу быть никем, кроме бабы. Это ваше, мужицкое дело быть героями, совершать подвиги, а наше дело. . . — Она уронила голову на руки и заплакала.

Шумилов подошел к ней, однако не знал, что сказать, чем успокоить ее.

Маша достала из сумочки платок, промокнула глаза и решительно встала.

— Извини меня, Антон. Что-то раскисла я совсем, а мне нельзя. Павлик там рвет и мечет, я ведь прямо с работы зашла к тебе. Он знает, когда я должна прийти. . .

— А как же. . . — заикнулся Шумилов и осекся.

— У него невероятное чутье на время, — сказала Маша. — Ты заходи к нам, Антон. Я прошу тебя.

— Приду, — пообещал он.

— Все еще обойдется, вот увидишь, — уходя, проговорила она, и он так и не понял, кого она успокаивала: себя или его.

Шумилов не делал проблемы из своей работы и никуда не обращался с просьбой о трудоустройстве, хотя наверняка, если бы обратился, ему подобрали бы подходящую должность, соответствующую его знаниям и опыту. Он считал это излишним. Решил начать все сначала, начать самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи или протекции. Возможно, ему даже нравилось положение человека, который, однажды сделав карьеру, вернулся к тому, с чего уже начинал. Но не просто вернулся, а с тем, чтобы повторить восхождение, ибо он несколько не сомневался, что так и будет.

Он вычитал объявление, что требуется опытный инженер-технолог на должность начальника техбюро завода, и пошел устраиваться. По правде сказать, главный инженер, а после и директор завода удивились, познакомившись с Шумиловым и с его документами.

— А почему вы не хотите вернуться на свой завод?

— Это мое личное дело, — ответил Шумилов. — Я вам нужен — оформляйте. Нет — всего хорошего. — Не мог же он сказать, что вернуться на свой завод, где работал до войны и откуда уехал на Урал, ему не позволяет самолюбие. Да, он прекрасно понимал, что начинать все заново будет нелегко, тем более начинать с должности начальника техбюро какого-то там машиностроительного заводика, на котором в действительности не производят никаких машин, а делают кое-какой инструмент, метизы, словом, самые простейшие вещи, однако это его не пугало. Его вообще не пугали никакие личные трудности и осложнения. Можно сказать, что он любил всякие трудности, а в особенности любил себя, побеждающим эти трудности. Работать Шумилов умел, этого у него не отнимешь. Он буквально набрасывался на дело, как набрасывается на хлеб голодный человек, а знаний у него хватало, чтобы без напряжения справляться с нехитрыми, в общем-то, обязанностями начальника техбюро.

Так он думал.

— Ну, хорошо, — откладывая документы, сказал директор. — Это действительно ваше личное дело. Мы вас возьмем, нам нужны хорошие специалисты, а идут к нам не очень охотно... Завод небольшой, старенький, про-

дукция обычная, никаких там... — Он развел руками. — Вас устраивает такая перспектива? Я бы даже сказал, отсутствие перспективы?..

— Я пришел устраиваться на работу, а не на перспективное место, — ответил Шумилов.

— С вами не просто разговаривать. А вы надолго к нам? Только честно.

— Не понял? — Шумилов вскинул брови.

— У вас такой послужной список... Долго ли вы собираетесь у нас работать?

— На честные вопросы я честно и отвечаю: не знаю.

— Это уже хорошо, оформляйтесь и приступайте.

Так вот Шумилов стал начальником техбюро (правда, на заводе неофициально его называли главным технологом, но какой уж там главный технолог, когда в подчинении у него было четыре человека, да и те не имели ни специального образования, ни квалификации), которое, впрочем, занималось чем угодно, только не вопросами технологии. А работы между тем хватало. Шумилову достаточно было беглого знакомства с производством, чтобы понять, насколько оно примитивно. К примеру, завод выпускал большое количество различных заклепок и маломерных болтов, потребность в этих простейших изделиях была огромная — восстанавливалось, приводилось в порядок буквально все: дома, электростанции, паровозы, вагоны, автомашины и так далее, — а их вытачивали на токарных станках, загружая подчас зряшной работой оборудование и людей. В то же время в кузнице простаивали два винтовых прессы, на которых те же заклепки и мелкие болты можно штамповать, и для этой работы не нужны высококвалифицированные специалисты — поставь любого мальчишку, и он через неделю будет выдавать продукцию. Ну, правда, прессы эти были старенькие, порядком изношенные, с ременными приводами, однако послужить они еще могли, тем более рассчитывать на новое оборудование не приходилось. Чуть ли не вручную ковались разные скобы, крюки. Или вот костыли, которыми рельсы крепятся к шпалам. Для ремонта трамвайных путей их требовалось тысячи тысяч, а как их делали!.. Сначала тянули квадрат по размеру головки, рубили, подсекали головку, а потом оттягивали конец. Работа нудная, малопроизводительная, костыли получались какие-то корявые, с большими допусками, а между тем в той же кузнице в захлавленном углу, где скопились отходы и уже никому не нуж-

ные поковки черт-те знает за сколько лет, стояла полуразобранная горизонтально-ковочная машина, прекрасно приспособленная для высадки этих самых головок костьюлей. Никто, правда, не знал, откуда и когда машина появилась здесь (скорее всего, сняли в сорок первом году на каком-то пригородном либо окраинном заводе, привезли сюда, да так и не установили), никто также не имел понятия, для чего она предназначена, то есть что на ней можно делать, но разве это имело значение!.. Есть оборудование, его надо использовать, а в техбюро переписывали какие-то никчемные бумажки, оформляли заказы и составляли технологические карты (хорошо еще, что вообще-то составляли) как бог на душу положит. А то и вовсе смешно: идет технолог в цех, показывает мастеру чертеж и спрашивает, как будут делать какой-нибудь крюк. Ну, мастер повертит чертеж, припомнит, как делал нечто подобное сто лет назад, когда он сам работал у молота или у станка, объяснит технологу, а тот (вернее, та, потому что все четверо подчиненных Шумилова были женщины) вернется в контору и составляет технологическую карту. Никому и в голову из них не придет подумать, а нельзя ли сделать иначе, нельзя ли не вытачивать на станке, но штамповать, нельзя ли использовать то оборудование, которое стоит без всякой пользы?..

Так привыкли, и Шумилов понимал, что привычку эту ломать будет нелегко. Да и в чем, если разобраться, он мог бы обвинить своих подчиненных, когда лишь одна из них, старший технолог Кудрина, имела высшее образование — «забытое высшее», как говорила она сама: когда-то, задолго до войны, закончила институт текстильной промышленности. Остальных оформили в техбюро потому, что считалось и, увы, считается, будто бы технологом может работать каждый, умел бы читать чертежи и отличал бы березу от... железа. Именно от железа.

Впрочем, надо сказать, что та же Кудрина в качестве технолога работала давно, успела набраться опыта, по крайней мере знала производство, и Шумилов для начала решил поговорить с нею.

— Ирина Андреевна, вы понимаете, что так работать, как мы с вами работаем, нельзя? — Он нарочно сказал «как мы с вами», тем самым как бы принимая вину за плохую работу и на себя. — Кустарщина, артель какая-то, а не производство.

— Что вы предлагаете? — спросила Кудрина, пожимая плечами.

— Для начала мы должны добиться, чтобы, скажем, эти чертовы заклепки перевели на штамповку. Мы же технологи, Ирина Андреевна. Безобразие, что их вытачивают! Есть два винтовых прессы...

— Они же не работают, Антон Игнатьевич. Да и кому это нужно?

— То есть как это кому?.. Всем.

— А-а... — Кудрина устало взмахнула рукой. — Пустое это. Как было, так и останется.

— Хорошо, — сказал Шумилов. — Разработайте технологию на штамповку заклепок пока двух-трех размеров. Оформите все как положено. Я сам пойду к главному инженеру.

— Где их будут штамповать?

— На прессах.

— Они не работают, я уже говорила.

— А вот это не наша с вами забота, — сказал Шумилов. — Это забота механика, пусть он думает. Дальше. Вы знакомы вообще со штамповкой?

— Очень плохо.

— Побывайте на других заводах, Ирина Андреевна, познакомьтесь. Узнайте, где есть горизонтально-ковочные машины, тоже познакомьтесь. По-моему, есть на Ижорском, на Пролетарском...

— А когда мне бывать на других заводах?

— Завтра, послезавтра.

— Вы что, отпускаете меня с работы? — удивленно спросила Кудрина.

— Скорее наоборот: я посылаю вас работать.

Поговорил Шумилов и с главным механиком насчет ремонта прессов и ковочной машины. Но механик вовсе уж был настроен скептически, только что руками не замахал на Шумилова. Оба прессы, сказал он, надо списывать в металлолом, они никуда не годные, развалюхи, а ковочная машина вообще неизвестно откуда взялась, и устанавливать ее никто не собирается. Мне дай бог справиться с ремонтом работающего оборудования, говорил механик, людей нет, запчастей нет, оборудование все старое, дореволюционных времен, а вы еще с этими прессами...

— Я выдам производственнымникам технологию с соответствующими нормами, — сказал Шумилов, — и вам все равно придется раскочиваться.

— Ну, это не вам решать,— усмехнулся механик.— Вы, кажется, уже нарешали, что из директоров угодили в начальники техбюро...

— Ничего,— проговорил Шумилов, багровея,— я снова угрожу в директора, а вот куда угодите вы?! И прошу учесть: если еще раз вы позволите что-нибудь подобное...

— Может быть, дадите в морду?

— Нет, рук пачкать не стану,— сказал Шумилов.— И подумайте насчет ремонта прессов и установки ковочной машины, я ведь не отступлюсь.

С этим они и разошлись.

А на другой день Шумилова вызвал главный инженер. Это был старый уже, уставший от работы и вообще от жизни человек, и мечтал он о какой-нибудь тихой, спокойной должности.

— Садитесь,— пригласил он.— И расскажите, что там у вас произошло с Сомовым?

— Ничего особенного,— ответил Шумилов.

— Ну а все-таки?

— Разговор был о ремонте винтовых прессов и установке горизонтально-ковочной машины.

— Разве ремонт оборудования входит в круг ваших обязанностей?

— В круг моих обязанностей входит внедрение если и не самой современной и прогрессивной технологии производства, то хотя бы элементарной,— сказал Шумилов.— Эти два пресса и эта машина...

— Минутку, Антон Игнатьевич,— остановил его главный инженер.— Занимайтесь, пожалуйста, внедрением прогрессивной технологии, мы вам только спасибо скажем. Но при этом исходите из того, что мы имеем в наличии, так сказать. Не витайте в облаках.— Он взял пустую трубку и стал сосать ее.

— По-моему, это несерьезный разговор, Алексей Павлович. Мы с вами инженеры, и оба понимаем, что так дальше работать нельзя. Если хотите, это преступление.

— Понимаю, понимаю... До вашего прихода на завод мы работали, а вот пришли вы, и оказалось...

— Дело не во мне. Пришел бы кто-то другой, какая разница. Проставляет оборудование, которое может принести пользу, а мы по старинке — кувалдой, кувалдой. Какая же это работа! С такой работой мы завтра окажемся в прошлом веке.

— Вы человек прямой, горячий, вам море кажется по колено,— заговорил главный инженер, вынимая изо рта трубку.— А надо быть реалистом, трезво смотреть на вещи.

— Я привык работать, а не смотреть.

— Подождите, Антон Игнатьевич, послушайте меня. Сомов прав: пресса, о которых вы толкуете, подлежат списанию...

— Извините, Алексей Павлович, но говорить сейчас, в такое время о списании вполне пригодного оборудования... Я осмотрел оба пресса и с полной ответственностью заверяю вас, что необходим минимальный ремонт. Даже не ремонт, их просто нужно привести в порядок. А что касается ковочной машины, она вообще в прекрасном состоянии, ее нужно собрать и смонтировать. Место в кузнице есть.

— Да не по силам нам все это, не по силам,— уставшим голосом произнес главный инженер. Он выдвинул ящик стола, достал коробку с табаком и стал набивать трубку.— Вот, все бросаю курить... виновато сказал он.— Ни запчастей у нас нет, ни рабочих рук, вообще... Вам кажется, что все это легко и просто, а по сути, вы предлагаете перестройку производства. Одно потянет за собой другое, потом третье и так далее. А возможности наши ограничены, никто и ничего нам не даст, Антон Игнатьевич. А вот спросить — спросят. План увеличат, но где гарантия, что если мы даже... приведем в порядок эти пресса, которым скоро сто лет, они будут работать? Давайте вместе обдумаем все спокойно, без горячки, что можно — сделаем, а замахиваться на невозможное лучше не надо.

— По принципу: тише едешь — дальше будешь? — усмехнулся Шумилов.

— Что ж, и этот принцип не всегда так плох, как вам кажется. Я распоряжусь, чтобы Сомов провел инвентаризацию оборудования, проверил, какое оборудование и почему простаивает, что можно сделать своими силами, чего нельзя. Потом обсудим результаты и примем соответствующее решение. А вы все-таки занимайтесь своими непосредственными обязанностями, Антон Игнатьевич.

— Видимо, мы с вами по-разному понимаем обязанности инженера и коммуниста,— поднимаясь, сказал Шумилов.— Очень жаль.

— В таком случае вы, может быть, займете мое

место? — Главный инженер тоже встал и показал на свое кресло. — Пожалуйста, я с удовольствием уступлю.

— И займу, если прикажут занять, — спокойно проговорил Шумилов. — И никаких угрызений совести испытывать при этом не буду.

— Не сомневаюсь. Но пока вы подчиняетесь мне, а не я вам.

— Я это помню.

— Куда вы отправили Кудрину, в какую еще местную командировку?

— Она знакомится с технологическими службами других заводов.

— Вы что же, всерьез задумали превратить наш завод в Ижорский или в Кировский?

— Это вряд ли удастся, но кое-что мы можем позаимствовать и на Ижорском, и на Кировском, — сказал Шумилов. — И не только там. Хочу предупредить вас, Алексей Павлович, чтобы потом не было лишних разговоров, что я вынужден буду обратиться в партийное бюро.

— Это ваше дело и ваше неотъемлемое право. Возможно, такое обращение даже принесет свою пользу.

II

Шумилов понимал, что во многом главный инженер прав. Ибо реальные возможности далеко отстают от желаемого, а перестраивать производство, да еще когда не хватает буквально всего, за что ни хватись, дело не простое. В конце концов, и от него никто ничего особенного не требует. Можно спокойно работать, как работали и вчера, и пять лет назад... Ну и что из того, что техбюро превращено в какую-то канцелярию по размножению никому не нужных бумажек, а он сам лишь наблюдает за подчиненными, за их будто бы деятельностью, которая в действительности не только пользы не приносит, но скорее приносит вред, и вред, если вдуматься, ощутимый: непроизводительно работает оборудование, нерационально используется труд квалифицированных рабочих, металл — дефицитный металл — гонят в стружку, занижаются нормы выработки, в результате завод выпускает намного меньше, чем может и должен, так необходимой продукции... В самом деле, что из того! Зарплата ему капает, претензий со стороны начальства никаких. Как говорится, солдат спит, а служба

идет. Что еще надо этому Шумиллову?.. Зачем, за какой такой надобностью он всюду сует свой нос, сует даже в дела, которые его никак не касаются? Теперь вот и Кудрина загорелась. Насмотрелась на приличных заводах, как там работают, и явилась с кучей идей...

Ах, если бы Шумилов умел жить спокойно. Но в том-то и дело, что всякое спокойствие бесило его, выводило из себя. Ему нравилось жить и работать именно беспокойно, порой — на грани риска, и было скучно просто выполнять свои обязанности, когда для их выполнения не требуется особенных усилий и вдохновения. Окружающих, кто мало знал Шумилова, всегда удивляло, что он не пытается как-то избежать трудностей и осложнений, кое-кто считал даже, что происходит это от недостатка опыта, а возможно, и ума, в действительности же Шумилов сознательно искал трудности, ставил себя в обстоятельства чрезвычайные. Парадокс, чрезмерная самоуверенность?.. Вовсе нет. Он испытывал, попадая в трудное положение, сладостное, приятное волнение, необычайный душевный подъем, в нем пробуждалась и буквально кипела деловая активность, обострялось профессиональное чутье и вместе с тем исчезала обычная его хмурость, раздражительность. В работе он был алкоголиком, наркоманом, и только работа, работа на пределе человеческих возможностей дарила ему чувство удовлетворенности жизнью. Люди, близко знавшие его, в такие моменты говорили о Шумиллове, что он «на подъеме». Это его состояние можно, пожалуй, сравнить с ощущением человека, который спешит на поезд, будучи почти уверен, что все равно не успеет, что поезд уйдет без него, а все-таки спешит, торопится... С той только существенной разницей, что Шумилов никогда и мысли не допустил, что его поезд уйдет. Тут, кстати, уместно заметить, что Шумилов не имел привычки являться к поезду заранее и ждать, например, когда состав подадут для посадки. Он приходил в обрез, за две-три минуты до отправления, но ни разу в жизни не опоздал. Единственный раз сел не в свой, а в последний вагон.

Напряжение, в каком Шумилов пребывал постоянно на работе, дарило ему не только усталость. Оно дарило ему остроту ощущений, без чего жизнь показалась бы пресной, лишенной яркого смысла, и еще дарило уверенность, что он все может, если очень захочет. А такая

уверенность необходима, без нее и самый талантливый человек может потерять точку опоры.

Шумилов же считал себя именно талантливым, и не скрывал этого, хотя и знал, что тем самым дает калорийную пищу для злословия в свой адрес. А впрочем, такие мелочи, как всякие там разговоры, сплетни, его ничуть не тревожили и не смущали. Лучше иметь двух врагов, которых ты знаешь, следовательно знаешь и то, чего от них ждать, чем иметь одного недоброжелателя, о котором не подозреваешь. Вредят ближним именно такие недоброжелатели, а не открытые враги.

Пожалуй, в молодости Шумилову следовало заняться каким-нибудь рискованным видом спорта. Боксом, например, альпинизмом, прыжками с трамплина, чтобы на всю оставшуюся жизнь насытиться острыми ощущениями, которых столь алчно жаждала его натура, без которых он делался не только хмурым и раздражительным, но подчас злым, желчным и даже занудливым. Вдруг начинал придираться к людям по всяким незначительным поводам, что, вообще-то, было ему несвойственно, замечал каждую ничтожную оплошность, малейший беспорядок, мимо которого в другое время прошел бы мимо, не обратив внимания. Разумеется, прежде всего от этих его припадков неистовства страдали близкие, в особенности жена. Он был равнодушен к бытовым удобствам, не лез в домашние, хозяйственные дела, его несколько не волновало, если жена подавала ему второе в тарелке из-под супа, даже не обмыв ее, или если в доме не оказывалось к обеду хлеба, что случалось вовсе не редко, но зато когда на него «находило», когда работа не успокаивала бешеный его темперамент, он мог грубо накричать на жену за недосоленный суп, хотя бы суп был даже и пересоленный, за неаккуратно прибранную постель, за то, что плохо помыты окна либо не вытерта пыль. Уже назавтра, окунувшись в работу, в какое-нибудь сложное дело, которое требовало напряжения, Шумилов забывал обо всем остальном, становился энергичным, разговорчивым, и если не веселым рубахой-парнем, то терпимым вполне. Оттого-то он и не любил выходных дней и праздников.

Так вот о спорте. Никаким спортом Шумилов не занимался. Более того, не любил спорт вообще, не любил в принципе. И не было у него никаких увлечений кроме работы. Нельзя, считал он, разбрасываться, делить себя и свой талант, отдаваясь всему понемногу. Это непро-

фессионально и неэкономично. Человек — тоже своего рода машина, система. Чувствующая — да, мыслящая — да, но все-таки машина с достаточно высоким КПД. Однако этот человеческий КПД, в отличие от прочих машин, пребывает в прямой зависимости от выполняемых человеком функций. Если нецелесообразно, неэкономично пахать трактором клумбу под окном, чтобы высадить десяток флоксов, то вовсе уж дико, противоестественно, когда человек, да еще человек талантливый, с хорошо развитым интеллектом, два часа в день размышляет о проблеме происхождения Вселенной, два часа корпит над чертежами принципиально новой машины, еще два — изображает на клубной сцене Онегина, не умея при этом отличить «до» от «соль», а после мчится на заводской стадион, чтобы попрыгать за честь отдела или цеха через планку, которая установлена ниже его коленок. . .

Нельзя преуспеть во всем. Нельзя делать все одинаково хорошо. Это неизбежно приводит к тому, что человек не умеет делать вообще ничего как профессионал.

Только человек цельный, знающий себе цену, знающий, чего он хочет добиться в жизни, во имя чего живет, и уверенный в своих силах может сделать реальное, нужное людям. У настоящего человека бывает одна любовь, одна привязанность, одна, раз и навсегда избранная дорога, которая рано или поздно приведет к намеченной цели. А если станешь петлять, станешь сомневаться, выбирать дорожку поровнее, посуше, боясь промочить штiblеты, далеко не уйдешь, но будешь кружить всю жизнь вокруг телеграфного столба, а то и вовсе заблудишься в собственной прихожей. Правда, кое-кто из бывших соучеников и сослуживцев Шумилова, даже менее* талантливые и цельные, можно сказать, что и вообще бесталанные, зато умеющие выбрать для себя нужную дорогу, успели-таки уйти дальше, чем ушел он, то есть поднялись по служебной лестнице выше его, однако Шумилов не завидовал им, не копил обиды на этих людей, хотя никогда не страдал излишней скромностью и был убежден, что достоин большего.

Пожалуй, кто-то другой, окажись он, этот другой, на его месте, и смирился бы уже со своим положением, успокоился бы, признав за судьбой право вмешиваться в биографию, либо стал бы откровенным завистником, интриганом, каких, увы, немало живет рядом с нами, но только не Шумилов. Он-то знал, что пробьет его час,

надо уметь ждать, а главное — надо уметь работать, выкладываться до конца, на какой бы служебной ступеньке ты ни стоял. А временный успех, сколь бы внушительным он ни казался, остается именно временным, случайным. Люди часто путают успех с преуспеванием, а это не одно и то же, отнюдь не одно и то же, и Шумилов не хотел бы быть калифом на час. Это не его амплуа.

Он все-таки подал официальную докладную на имя главного инженера, в которой изложил свою позицию и свои идеи. В связи с этим у директора состоялось совещание, где Шумилов, в общем-то, получил принципиальную поддержку, и, по правде говоря, он думал, что главный инженер на него в обиде. Но, кажется, в этом он ошибся.

Они вместе вышли из заводууправления. Оказалось, им по пути.

— Сломаете вы когда-нибудь шею, — проговорил главный инженер, попыхивая нераскуренной трубкой. Расстаться с нею совсем он, видимо, не мог. — Больно будет, Шумилов. И все потому, что вас постоянно куда-то заносит, все вы хотите быть впереди других. . .

— Пустяки, Алексей Павлович, — сказал на это Шумилов. — У меня крепкая шея, хоть хомут надевай.

— Хомут на вас надевать не надо, вы сами в него лезете. А вот признайтесь: не бывает вам страшно? Ну, по-человечески страшно, когда вы. . . объявляете войну начальству? Знаете, ведь я в два счета, с соответствующими выкладками и вполне аргументированно мог бы доказать, что все эти ваши идеи — чистой воды прожектерство. Понимаю, понимаю, вы не остановились бы на этом, продолжали бы доказывать свою правоту, но на это ушло бы столько времени, что. . . Как это у Ходжи Насреддина? . . . За это время или ишак сдохнет, или эмир сдохнет, или я сдохну. Все давно забыли бы, с чего разгорелся сыр-бор, а вы прослыли бы. . .

— Склочником?

— Скажем так: неуживчивым человеком.

— Возможно, — согласился Шумилов. — Однако вы почему-то не сделали этого, значит. . .

— Ничего не значит, — сказал главный инженер. — Просто подумал: пусть он сам ломает шею.

— Спасибо и на этом. А насчет страха. . .

— Так что же насчет страха? — заинтересованно спросил главный инженер.

— Как говорят ученые, страх — субъективное ощущение. В природе его не существует. Вот дом, например, существует, трамвай существует, мы с вами существуем. Вон идет красивая женщина, она тоже существует, ее даже руками можно потрогать...

— А ну попробуйте! — рассмеялся главный инженер.

— Пробовать нужно вам, я-то убежден в ее реальном существовании, — сказал Шумилов. — Впрочем... — Он чуть свернул в сторону и, поравнявшись с женщиной, дотронулся до ее руки. — Простите, я, кажется, обонялся...

Она пожала плечами и пошла себе дальше.

Главный инженер громко смеялся.

— К вопросу о страхе, — продолжал Шумилов. — Вы можете показать его мне?

— Чтобы вы пощупали?

— Хотя бы. Почему вы все время сосете пустую трубку?

— Врачи запретили курить, а трубка все-таки табачком пахнет.

— Обманываем себя?

— Возможно. А в вас, Шумилов, очень много самолюбленности. Откуда это?

— Но это же совсем просто, Алексей Павлович! От любви к себе. Только от любви к себе. Себя любить проще и выгоднее, чем любить других. Такая любовь всегда взаимна и не бывает несчастной. Как видите, я первый человек в мире, который нашел исчерпывающую формулу счастья. Обратите внимание на такую деталь: моя формула обеспечивает счастье всем.

— Мне нравится ваш задорный оптимизм, — проговорил главный инженер. — С вашими-то задатками вы могли бы далеко пойти. А это правда, что вас сняли с поста директора завода?

Шумилов нахмурился.

— Не хотите, не надо отвечать. И извините за нескромный вопрос.

— Да нет, почему же, — сказал Шумилов. — Откровенность за откровенность. Я мог бы ответить вам, что никто и никогда меня не снимал, и это была бы правда. Но я не хочу лгать вам: Да, сняли, хотя обставлено это было...

— Понимаю.

— Но откуда это известно вам?

— Кто-то где-то что-то говорил,— усмехаясь, ответил главный инженер.— Когда человек начинает причинять беспокойство окружающим, окружающие начинают проявлять к нему интерес. Повышенный, я бы сказал, интерес. Вам, Антон Игнатьевич, надо быть готовым к этому.

Сколько-то они прошли молча. Главный инженер понимал, что нельзя было затрагивать эту тему, нельзя было задавать столь бестактный вопрос, и оттого было ему неловко, стыдно было. Пожалуй, догадывался и Шумилов, о чем именно думает главный инженер, и ему хотелось сейчас как-то разрядить возникшее напряжение, однако он не знал, как это сделать. В сущности, главный инженер был ему даже симпатичен, особенно теперь, после сегодняшнего разговора. На совещании он вел себя более чем достойно, честно, в своем выступлении сказал, между прочим, что он, Шумилов, в общем-то, прав, просто в своем стремлении — похвальном стремлении — к порядку иногда немножко опережает события, чуточку отрывается от реального положения вещей, стучится, образно говоря, в дверь квартиры, не войдя в дом, что, впрочем, всегда и случается, когда человеку вольно или невольно мешают работать лучше, чем он работает. . .

Неожиданно Шумилов предложил:

— Алексей Павлович, зайдите ко мне. У меня найдется и бутылочка. . .

— Да я бы с удовольствием, Антон Игнатьевич. Как говорится, рад бы в рай. . . — Главный инженер улыбнулся и развел руками.— Не пью я, мотор перебой стал давать. А мне страшно, хотя ощущение это и субъективное. Проснусь ночью, вроде и не болит ничего, а все равно страшно. Лежу и думаю: что, если заболит? . . Вам трудно понять это состояние. Состояние ожидания боли.

— Так может, вы напрасно настраиваете себя?

— Наверное, напрасно. А поделаться уже ничего не могу. Да ведь и просыпаюсь же отчего-то. . .

— Все просыпаются,— сказал Шумилов.— Я по два-три раза за ночь.

— Вы — другое. Вы сами себя загоняете, а я живу аккуратно, осторожно живу. Гуляю перед сном, сплю с открытой форточкой и тому подобное.

Шумилов вдруг расхохотался громко, привлекая внимание прохожих.

— И я сплю с открытой форточкой,— сквозь смех сказал он.— С вечера надымлю в комнате так, что хоть топор вешай, а на ночь форточку открываю.

— И жена разрешает курить вам в комнате? — удивился главный инженер.

— Я живу один,— сказал Шумилов.— Моя жена тяжело больна и находится в больнице в Ярославле. Нужно как-то перевести ее в Ленинград.— После он и сам не мог понять, что понудило его к этой откровенности, (однако он не допустил и мысли о том, что это станет известно еще кому-то.

— А, была не была! — махнув рукой, сказал главный инженер.— У вас есть телефон? Надо хоть поставить в известность супругу, она у меня сумасшедшая.

— Есть.

— Пошли.

Они засиделись допоздна, выпили бутылку водки, и Алексей Павлович закурил даже свою трубку, испортив целую пачку папирос. Шумилов звонил его жене, вел с нею трудные и долгие переговоры, выслушал много чего в свой адрес, а потом, уже в первом часу ночи, проводил главного инженера домой.

На другой день Алексей Павлович подал заявление с просьбой освободить его от работы в связи с плохим состоянием здоровья. Он же и предложил назначить Шумилова на должность главного инженера, а сам остался на заводе в скромной должности инженера по технике безопасности. . .

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Просто сказать, что Шумилов взял и решил начать все сначала, решил как бы проверить себя на прочность, на устойчивость, потому и не пошел на завод, где работал до войны.

На самом деле все было не так уж и просто.

Он не только хотел вернуться на свой завод, он даже поехал туда. То есть сначала он и не думал, что можно туда не поехать. Ему и осталось-то всего свернуть за угол направо, пройти от трамвайной остановки каких-нибудь двести шагов — все тут было измерено именно

шагами, а не метрами,— подняться на второй этаж за-
водоуправления. . .

Кто объяснит, почему Шумилов не сделал этого? Возможно, он подумал, что время раннее (было около девяти) и директор обходит цеха, так что все равно пришлось бы дожидаться его в приемной; возможно, на него, как говорится, «нахлынули воспоминания» и он решил немного успокоиться, прийти в себя, прежде чем идти на завод; возможно, он захотел просто постоять в одиночестве на берегу Невы, покурить. . .

Но скорее всего, ему нужна была отсрочка, чтобы унять волнение. Все-таки он сильно волновался.

Вода плескалась у ног. Была она жирная, густая от мазута, в радужно-фиолетовых разводьях. Шумилов присел на гранитный столбик, непонятно для какой надобности поставленный здесь. Может быть, когда-то на этом месте была пристань и тут швартовались пароходы. Подумаю о пароходах, Шумилов улыбнулся. Конечно же, это были всего-навсего баржи или большие лодки. Он даже вспомнил, что до войны именно здесь разгружали дрова. Значит, столбики установлены для дела. Странно, но это немного успокоило Шумилова, как будто он и пришел сюда только затем, чтобы выяснить назначение гранитных столбиков. . .

Он закурил. И тотчас, словно материализовавшись из воздуха, из ничего, перед ним явился мальчишка-ремесленник. Или был он где-то поблизости и раньше, просто Шумилов не заметил его, занятый своими мыслями. Мальчишке на вид было лет четырнадцать-пятнадцать, он жадно смотрел на папиросу и, когда папироса догорела до мундштука, попросил:

— Дяденька, оставь сорок. . .

Шумилов поднял голову и удивленно посмотрел на него.

— Сколько тебе?

— Сорок,— ответил мальчишка, не спуская глаз с догоравшей папиросы. В голосе его тоже было удивление.

— Лет тебе сколько? — сказал Шумилов.

— А, шестнадцать. Жалко оставить, так и сказали бы прямо, а то — сколько лет, сколько лет! . . . — Был он очень худой, щуплый, оттого, наверное, и выглядел младше своих шестнадцати.

— А справка от родителей есть? — спросил Шумилов.

— Дома позабыл.

— Ну, раз такое дело...— Шумилов достал пачку «Беломорканала» и протянул мальчишке.— Закуривай, брат.

Тот ловко выхватил папиросу.

— Спасибо, дяденька.

— Да не за что. Бери еще, не стесняйся.

— Не, хватит. А у вас наркомовские или министерские?

— Вот не знаю, родной. А какая разница?

— Еще какая! — с пониманием сказал мальчишка, чувствуя свое превосходство.— Наркомовские, те лучше будут, чем министерские.

Шумилов для интереса прочел надписи на пачке. Папиросы были наркомовские.

— Я возьму еще одну, можно? — спросил мальчишка.

— Я же сказал, бери. Ты где учишься?

— А в ремеслухе, вот на этом самом заводе.

Все верно, подумал Шумилов, и до войны при заводе было ремесленное училище.

— И на кого?

— На кузнеца.

— Ого! — сказал Шумилов.— Прекрасная специальность. Не тяжело?

— Да когда как. Бывает тяжело, а вообще не очень.

— Нравится?

— Так себе,— признался мальчишка.— Я бы лучше на слесаря пошел или на фрезеровщика, а брали только на кузнецов и на формовщиков. А вы кем были на фронте?

Погоны Шумилов снял в первый же вечер, вернувшись от Павловских, а вот форму почему-то не снял. Возможно, хотелось явиться на завод в форме, чтобы все видели, что он вернулся с войны.

— Так,— ответил он, пожав плечами.

— А звание какое?

— Подполковник.

— Это две большие звезды и с двумя просветами?

— Ага, с двумя.

— Это да-а! — восхищенно сказал мальчишка, однако в голосе его Шумилов угадал недоверие.— А мой батя был рядовой...

— Погиб?

— Еще в сорок первом, — вздохнув, ответил мальчишка. — Только мы не сразу узнали, когда уже сняли блокаду.

— Ты был здесь в блокаду? — Шумилов с уважением смотрел на мальчишку, и стало ему даже неловко как-то, стыдно, словно он перед ним в чем-то виноват.

Почему-то вдруг представилось, как он откроет дверь в приемную директора, поздоровается громко, чтобы услышала глуховатая секретарша Софья Николаевна, и как она оторвется от бумаг или от пишущей машинки, взглянет на него удивленно, не узнает сразу — это уж само собой разумеется — и спросит, что ему нужно, по какому он делу пришел. Спросит вежливо, тихим своим голосом. Она вообще на редкость вежливая, тактичная, из старой петербургской семьи...

А впрочем, Софьи Николаевны ведь может и не быть.

— А до войны вы кем были? — прервал его мысли мальчишка.

— Кем до войны был?.. Да как тебе сказать, брат. Старался быть человеком. Не всегда, правда, это удавалось. Быть человеком вообще трудное дело...

— Ладно вам воспитывать, — скривился мальчишка, обидевшись. — Все только и знают, что воспитывать.

— Я не воспитываю, — сказал Шумилов серьезно. — Извини. Ты что, хотел узнать, кем я работал? Инженером.

— Простым инженером?

— А ты, брат, как прокурор, допрашиваешь. И простым работал, и не простым. Даже директором.

— Директором завода?..

— Разве только на заводах бывают директора? — сказал Шумилов.

Ему сделалось ужасно стыдно за свое нелепое хвастовство. Распушил хвост, подумал он, точно петух. Да еще перед мальчишкой, сопляком. К тому же и директором-то я был не до войны, а во время войны. Он собрался сказать, что работал директором... бани, чтобы свести все к шутке, но мальчишка опередил его.

— Значит, вы бывший директор? — спросил он разочарованно.

Шумилов резко вскинул голову.

Именно — бывший. Бывший главный инженер, бывший директор, а теперь и бывший подполковник. Бывают еще бывшие мужья, бывшие жены, вообще бывшие люди. Пожалуй, это самое страшное, самое унижительное в жизни — подвизаться в роли бывшего. Ну, правда, сейчас как раз много людей, особенно мужчин (женщины не в счет, они — вдовы) пребывают в роли бывших, и тут уж ничего не поделаешь, война не только диктует свои порядки и свои законы, но неизбежно ломает, коверкает судьбы людей, судьбы целых поколений, и, может быть, еще и нашим внукам, думал Шумилов, придется залечивать, зализовать ее раны. . . Это — война. И все же унижительно быть бывшим, потому что бывшие вызывают — пусть невольное, пусть неосознанное — чувство жалости и сострадания. Вот приду я, а на месте Софьи Николаевны новая секретарша, которая не знает меня, и она может допустить меня к директору, но может и не допустить. Или его нет, уехал куда-то, ходит по цехам, проводит какое-нибудь важное совещание, мало ли у директора разных дел и обязанностей, не сидит же он в кабинете в ожидании, когда явится к нему, просить работы, места бывший начальник производства завода, бывший подполковник Шумилов. Разумеется, секретарша спросит, зачем, собственно, мне нужен директор, я скажу, что насчет работы, и она объяснит — и будет, в общем-то, права, — что мне следует обратиться в отдел кадров, это на первом этаже, налево по коридору, если стоять лицом к выходу. А там за барьером сидит какая-нибудь дамочка, и я должен буду втолковывать ей, что до войны работал именно здесь, на этом заводе начальником производства, и она, естественно, удивится, недоверчиво переспросит, разглядывая меня — кем, кем вы работали? . . . — и я повторю, что начальником производства, и тогда она побежит докладывать своему начальнику (интересно, кто сейчас начальник отдела кадров?), что пришел какой-то странный тип и уверяет. . .

Вздор все это. Мне не нужна никакая дамочка за барьером. Просто я скажу секретарше директора, кто бы она ни была, что я — Шумилов. Антон Игнатьевич Шумилов, скажу я, доложите директору. . .

И тут простенькая, такая элементарная мысль явилась ему в голову: ведь и директор может не знать его.

— Послушай,— обратился он к мальчишке,— ты не знаешь, кто директор завода?

— А этот, как его...— Мальчишка насупился, вспоминая.— Ну, толстый такой и низенький, его еще колобком зовут...

— Малахов? — догадался Шумилов.

— Точно, Малахов. А вы тоже знаете его?

Да, разумеется, Шумилов знал его. Настолько хорошо знал, что уж лучше, сказал он себе, я пойду работать грузчиком, ассенизатором, чертом лысым, клоуном в цирк на худой конец пойду, только не под начало Малахова. Это же самолюбивый индюк, тупица в роговых очках, кому взбрело в голову назначить его директором? .. В свое время Шумилов как раз и сменил Малахова на должности начальника производства, а Малахов тогда ушел на другой завод, вроде бы главным инженером, и все нормальные люди, между прочим, радовались, что он ушел, потому что работать с ним просто невозможно, и вот... Поистине неисповедимы пути господни, усмехнувшись, подумал Шумилов. Ничего себе была бы картинка, если бы я пришел к Малахову. Не трудно представить, какое сладостное наслаждение испытал бы этот... колобок, когда бы я заговорил насчет работы. Разумеется, разумеется, дорогой вы мой Антон Игнатьевич, сейчас мы пригласим начальника отдела кадров, вместе подумаем, что бы вам предложить, а кстати, нам очень нужны мастера...

Черта с два, такого удовольствия Малахову я не доставлю. Переживет. Он все переживет. И всех. Но без меня.

— Тебя как звать? — спросил он мальчишку.

— Гена. Геннадий.

— Ты молодец, Геннадий-Гена! — сказал Шумилов. — Ты даже не подозреваешь, какой ты молодец. — Он похлопал мальчишку по плечу. — Мать-то жива?

— Не-е,— ответил тот. — Умерла после блокады. А про справку от родителей я вам наврал. Я в общежитии живу, вот в этом. — Он показал пальцем на красный кирпичный дом, который хорошо был знаком Шумилову. Мимо этого дома он несколько лет ходил на работу. Кажется, и до войны здесь было общежитие.

— Ты что же, Гена, совсем один?

— Ничего, теперь многие как я. У нас почти вся

группа без родителей. У кого родители живы, те на кузнецца и на формовщика не идут учиться.

— Да, брат,— вздохнул Шумилов.— Война, это такое дело. Плохое это дело, война... А куришь ты напрасно.

— А вы?

— Я уже большой,— улыбнулся Шумилов и еще хлопал Гену по плечу.— Ну, давай лапу, друг. Мне пора.

Он не стал ждать трамвая, побоялся, что на этой остановке может встретить знакомых, придется что-то объяснять, отвечать на какие-то дежурные вопросы, спрашивать самому, а главное — на заводе немедленно узнают, что вернулся Шумилов. . .

II

Одиноко было ему. Не скучно, нет — этого он не понимал, то есть не понимал, как можно скучать, если занят делом,— но именно одиноко, потому что вдруг оказалось, что у него нет не только настоящих друзей, но и просто хороших знакомых, если не считать Павловских. Кто-то не вернулся с войны, кто-то не вернулся из эвакуации — в том числе и Кирпичниковы, которых он пытался разыскать,— с кем-то он не хотел встречаться сам. И дело не в том, что у него было много свободного времени, которое некуда девать, напротив, у него не было времени, однако случалась иногда острая нужда поделиться с кем-то своими сомнениями, не опасаясь быть непонятым. К тому же он сильно уставал на работе, не умея работать вполсилы, не ограничивая себя обязанностями главного инженера. Всякое дело он считал своим делом, любой непорядок принимал на свой счет, на завод приходил едва ли не раньше всех, а уходил — позднее, так что даже директор пенял ему за излишнее усердие, хотя, в общем-то, был доволен, что заполучил такого деятельного главного инженера.

И все же Шумилов чувствовал себя одиноким. От этого затянувшегося одиночества, которое было тем более тяжким, что он никогда прежде ничего подобного не испытывал, спас его Павловский. Поначалу Шумилов не очень охотно и редко бывал у них, он ощущал, бывая там, некую дистанцию между собою и Павловским, и дистанция эта была как бы границей, полосой отчужде-

ния, разделяющей два мира, но постепенно визиты его сделались чаще. И потому, что деваться было некуда, и потому, что Павловский был терпеливым, благодарным слушателем, и потому еще, что об этом просила Маша. Первое время Павловский держался настороженно, неестественно оживлялся, когда приходил Шумилов, словно ожидал каких-то неприятностей, однако раз от разу его настороженность становилась все менее заметной, он оживал с приходом Шумилова, делался разговорчивым, даже веселым, и от его обычной меланхолии не оставалось и следа.

— Ты удивительно легко находишь с ним общий язык,— говорила Маша с благодарностью.— Он буквально преображается, когда ты бываешь у нас.

— Не во мне дело.

— В тебе, Антон. В тебе,— уверяла Маша.— Уж я-то знаю. У тебя божий дар общения с людьми. Тебе, наверное, и на работе легко.

Она ошибалась. Отношения Шумилова на работе складывались совсем не просто, и нельзя сказать однозначно, кто был повинен в этом больше, а кто меньше. Возможно — и даже наверняка — многие не принимали такие черты характера Шумилова, как жесткая бескомпромиссность, неумение или нежелание — это все равно — «разводить дипломатию» там, где достаточно, как он считал, применить власть, завышенная и часто без учета реальной обстановки требовательность к подчиненным (впрочем, с себя-то он требовал гораздо больше, чем с других), и надо прямо сказать, что он понимал это, порой даже одергивал себя, однако, столкнувшись с малейшим беспорядком, тотчас и забывал о простительных человеческих слабостях, о всяких там сложностях жизни, забывал обо всем, что не имеет непосредственного отношения к делу.

Завод был в крайне тяжелом положении. План выполнялся лишь иногда, от случая к случаю, да и то за счет каких-то второстепенных заказов, за счет, как это ни странно, отсталой технологии и плохой организации производства. В банке не было денег, поэтому и зарплату выдавали нерегулярно, и если люди не разбежались с завода, то потому только, что администрация имела право не отпускать, а за самовольный уход судили, и судили строго. Во всем сказывалась разруха военных лет, но главное, по мнению Шумилова,— расхлябанность, неумение руководства, прежде всего руководства,

работать и думать. Думать отнюдь не о том, как справиться с сегодняшним планом, но о будущем, о перспективе. Кстати, об этом же говорили Шумилову, когда утверждали его в должности главного инженера, и он понял, что назначение его не было совсем уж случайным, как это могло показаться. В нем увидели специалиста, человека, который сумеет навести порядок. То есть его не просто повысили в должности, не нашли другого подходящего человека, но как бы возложили на него особые надежды и полномочия. Значит, его не потеряли из виду. И значит, он нужен.

Что скрывать, думать так о себе было приятно, это льстило самолюбию, а Шумилов, между прочим, никогда не считал себя безразличным к тому, что называют карьерой, как не считал пороком самолюбие. Человек, знающий себе цену и умеющий хорошо делать дело, которое ему поручают, должен быть самолюбивым. Не всем это нравится?.. Тем хуже для тех, кому не нравится. Ибо он-то не поступится ни своим самолюбием, ни своими принципами. Даже если его неуступчивость, его упрямство сильно кому-то досаждают.

Первым, с кем столкнулся Шумилов в новой должности, был начальник производственно-диспетчерского отдела Маркелов. Конфликт между ними случился уже на третий день после вступления Шумилова в должность главного инженера. Он шел по коридору заводоуправления и услышал за дверью ПДО, где было рабочее место Маркелова (отдельного кабинета он не имел), громкие голоса. Собственно, он не обратил бы на это никакого внимания, и у него в кабинете иногда говорят громко, что называется на повышенных тонах, но тут раздался коллективный смех. Шумилов остановился, прислушался и открыл дверь. В комнате сидели сам Маркелов, председатель завкома Тихомиров и начальник охраны. Похоже, кто-то из них только что рассказывал смешной анекдот.

— Какие важные проблемы решаем, товарищи?

— Мы уже закончили,— поднимаясь, сказал Тихомиров. Следом за ним поднялся и начальник охраны.

И они вышли.

— Владимир Петрович,— сказал Шумилов Маркелову,— я сейчас проходил мимо черной лестницы, так вот там не менее десятка человек стены подпирают своими мощными спинами. Им что, делать нечего? Тогда отправьте их к станкам.

— Очевидно, у них перекур,— ответил Маркелов.

— Ах так! Причина уважительная, тем более рабочий день начался четверть часа назад.

— Хорошо, Антон Игнатьевич, я разберусь.

— Сделайте одолжение. И вот еще что. Люди из вашего отдела бывают хоть иногда в цехах? Ну, хотя бы... между перекурами? Я что-то никого не встречал.

— Не понимаю вас, Антон Игнатьевич...— Маркелов покраснел.

— Что же тут непонятного? Развалили к чертовой матери завод и вместо дела занимаетесь болтовней.

— Я прошу на меня не кричать.

— Не только кричать буду, но!.. Запомните это. Станки простаивают, людям делать нечего, а вы тут анекдоты травите. Почему инструментальный не обеспечен заготовками? Вы сами когда там были в последний раз?..

— Извините,— сказал Маркелов,— но рожать заготовки я еще не умею. А кузница не справляется.

— Если надо, научитесь и рожать. Кузница, видите ли, не справляется! Вздор, Маркелов. Вы знаете о том, что в этой самой кузнице, которая не справляется, сразу две бригады кузнецов 'тянут из квадрата сто квадрат семьдесят? Тонны гоните, бумажный план делаете, а станочники в это время лясы 'точат, вместо того чтобы точить детали. Прошу запомнить: ни одна тонна протяжки не будет засчитана в план кузнечному цеху, а вот за срыв плана спрошу лично с вас.— Шумилов подошел к окну.— Идите-ка и вы сюда, Владимир Петрович.

Под окнами заводоуправления стояла группа женщин, они оживленно обсуждали что-то.

— Не знаете, по какому поводу этот митинг?

Маркелов потянулся к телефону.

— Впредь, Владимир Петрович, за каждого человека, будь то мастер, начальник цеха или чернорабочий, которого увижу на территории без дела, тоже буду взыскивать лично с вас. Не обижайтесь, но дисциплина и порядок прежде всего. Это же передайте от моего имени начальникам цехов.

— Но я, кажется, не сторож, Антон Игнатьевич.

— Вы начальник производства, руководитель. Организация производства, нормальная работа завода — ваша прямая обязанность. А выполнять свои обязанности я заставлю всех, можете не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь, — сказал Маркелов. — Но разговаривать со мной прошу в другом тоне. Я вам не мальчик.

— В таком случае ставлю вас в известность, что я не девочка. А здесь производство, завод, а не заведение для благородных девиц и тем более для бездельников. В том числе и для взрослых бездельников. Научитесь работать, а потом ставьте мне свои условия. Работать так, как работали раньше, мы больше не будем, хватит. — Шумилов схватил со стола газету, проткнул в ней пальцем дырку и спросил: — Это что?.. Отвечаю: это дырка, ды-ра. И не надо меня убеждать; что это отверстие. Давайте называть вещи своими именами, Владимир Петрович, так будет лучше для всех. — Шумилов повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. В коридоре толпились работники ПДО, подчиненные Маркелова, однако он молча прошел мимо.

Можно сказать — и это будет недалеко от истины, — что Шумилову повезло. Ведь мог же главный инженер не отказываться добровольно от должности, благо никто ему этого и не предлагал, и уж вовсе он мог бы не рекомендовать на свое место Шумилова. Но везет в жизни и дуракам, даже чаще, чем умным, достойным людям, только вот пользы от такого везения не получается, а скорее получается вред, потому что везучий дурак — это трижды опасный дурак. В случае с Шумиловым везение все же не было слепым, и, что бы там ни говорили о нем, как бы ни относились к нему отдельные люди и как бы он ни относился к окружающим, никто не взял бы на себя смелость сказать о Шумилове, не покрывив при этом душой, что он — выскочка, горлохват или удачливый демагог. Максималист — да. Не всегда и не во всем справедлив к людям, к своим подчиненным — тоже да. Не всегда умеет ладить с окружающими, даже когда это необходимо, — и это правда. Однако при всем при том — работяга. Его поразительная работоспособность, его целеустремленность, умение, если нужно, забывать обо всем, что не имеет отношения к делу, что мешает делу, все это внушало уважение к нему даже среди недоброжелателей, которых, в отличие от друзей-приятелей, наживал он удивительно быстро. А забывать обо всем случалось часто...

— Ты живешь, Антон, словно сам по себе, — иногда

выговаривала Анатолия Федоровна.— Словно у тебя и семьи нет. Нельзя же так, Антон...

— Я работаю, как ты не понимаешь этого.

— Но ведь работают все.

— Все?! — Тут он громко, от души смеялся.— Нет, не смей меня. Если бы все ра-бо-та-ли, мы с тобой уже жили бы при коммунизме. На службу ходят все, это верно. А работают... Ходить на службу, заметить, и работать — это две большие разницы, как говорят в славном городе Одессе.

Изредка он позволял себе шутить, даже будучи злым.

— Допустим, что ты в чем-то прав... — пыталась возражать жена.

— Не в чем-то, а в принципе. И не допустим, а именно так оно и есть. К сожалению. Ты что, сама ничего не видишь?..

— Хорошо, хорошо, Антон, — поспешно соглашалась Анатолия Федоровна, боясь разозлить его окончательно.— Мы немного ленивы, это правда. Но не собираешься же ты в одиночку строить будущее...

— Да ведь и о будущем кое-кто мечтает с надеждой, что можно будет много жрать и мало работать. А это и есть мечта бездельника. Впрочем, в одиночку ничего строить я не собираюсь, не беспокойся.— Он усмехался, говоря это.— Научим, заставим. Как говорится, кто не умеет — научим, а кто не хочет — заставим.

— Что заставите? — недоумевала жена.

— Работать, работать и снова работать! — чуточку раздражаясь, отвечал Шумилов.— Чтобы достигнуть цели, необходимо пройти определенный путь, то есть проделать определенную работу. Это же очень просто и очевидно.

Он громко, откровенно смеялся. Его и смешила и злила одновременно какая-то уж вовсе необъяснимая и даже более чем детская наивность жены, и все-таки он пытался втолковать ей элементарные, простейшие истины, сдерживал себя, хотя, если бы речь шла не о работе, но о чем-то другом, не занимавшем столько места в его жизни, Шумилов давно бы плюнул, махнул рукой, чертыхнулся, послал бы и наивность жены, и ее нежелание или неумение поставить себя реальную в реальные условия куда подальше...

— Ну,— говорил он,— если труд — это насилие, тог-

да я категорически за насилие. Бывает же, что люди сами не знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Им надо помочь разобраться. И ничего страшного, уверяю тебя, если кого-то потребуются взять за воротник и потыкать носом.

— Как ты легко распоряжаешься судьбами людей, — вздыхала Анатолия Федоровна. — Того сюда, этого сюда. . . А если тебя начнут тыкать куда-нибудь? . .

— В миску с молоком — ради бога! Впрочем, я не люблю молока, ты сама знаешь. А ты что-то путаешь. Труд не только создал человека, но и условия для его нормальной жизни, о чем ты так печешься. Ведь ты о нормальной, полнокровной и так далее жизни печешься, верно?

— Ах, Антон, с тобой трудно говорить. Ты все сводишь к одному знаменателю.

— К числителю, к числителю! — хохотал он. — Работа — это числитель, а вот все остальное как раз и есть знаменатель.

III

Поистине все это было давно. Так давно, что жену Шумилов воспринимал уже как нечто нереальное или не совсем реальное, хотя она была и он постоянно помнил об этом, помнил и думал о ней, ибо знал, что долг перед нею — не просто долг перед близким человеком, попавшим в беду, но святой долг, не исполнить который невозможно в принципе. Разумеется, он не был столь наивным, чтобы не знать о том, сколько не отдается на свете долгов, как коротка память людей и что, наконец, это далеко не всегда преступно, безнравственно, однако знал Шумилов и другое: границы добродетели и критерии нравственности каждый устанавливает сам для себя. Да, никто не осудил бы его, а возможно, и признали бы правым, если бы он отказался от жены — от неизлечимо больной жены, — но в том-то и дело, в том-то и дело, что для Шумилова всегда было гораздо важнее — осудит ли он сам себя, а не скружающие. Нет, не зря сказано, что самое страшное — суд собственной совести, и не стояло перед Шумиловым проблемы перевозить жену в Ленинград или не перевозить, брать ее из больницы домой или не брать. Был простой вопрос: когда? И как только врачи нашли Анатолию

Федоровну достаточно окрепшей, Шумилов выехал в Ярославль.

Может быть, он думая, что жена уже почти здорова, коль скоро Ирина Васильевна прислала телеграмму, чтобы он выезжал, однако это было не так, и ему не доверили одному ехать с женой. К жене прикомандировали сопровождающего, больничную медсестру. Было в этом что-то нелепое, Шумилов даже оскорбился поначалу, но, когда в поезде ночью с женой случился тяжелейший припадок, очень похожий на припадок истерии, он понял, что без медсестры просто-напросто не справился бы с женой. . .

А медсестра, Зинаида Ивановна, оказалась тоже ленинградкой. В Ярославль ее вывезли еле живую через Ладугу, а близкие ее все погибли. Была она одинокая теперь, пожилая (это по тогдашним понятиям Шумилова, на самом деле ей едва исполнилось пятьдесят), и Шумилов предложил ей остаться в Ленинграде, то есть не возвращаться в Ярославль. (Откуда ему могло прийти в голову, что именно с этим Ирина Васильевна и пристроила Зинаиду Ивановну в сопровождающие?)

— Да я бы с удовольствием, об этом только и мечтаю,— сказала она, вздохнув тяжко.— Так ведь нет у меня в Ленинграде никого, и дом разбомбили. . . Кому я нужна? . .

— У меня останетесь,— сказал Шумилов. Сказал так, словно вопрос этот давно и окончательно был решен им, хотя за пять минут до этого разговора и сам не знал, что сделает такое предложение. .

Они тотчас по приезде в Ленинград отвезли Анатолию Федоровну в больницу (она была в неменяемом состоянии после укусов), сдали ее, и Шумилов пригласил Зинаиду Ивановну к себе домой отдохнуть. До обратного поезда было еще около суток. А теперь вот, предложив ей остаться вообще у него, он понял, что Зинаида Ивановна находка для него, а без нее он просто не знает, что будет делать.

— Оставайтесь,— повторил он.— В тесноте, как говорится, не в обиде, а там, глядишь, что-нибудь придумаем. А пока можно перегородить комнату буфетом, вон он какой здоровенный, как египетская пирамида.

— Не в тесноте, конечно, дело,— согласилась Зинаида Ивановна.— Но как я у вас останусь? . . Чужой человек все-таки, Антон Игнатьевич, да и женщина я, неудобно вам будет. . .

— Вздор,— сказал он.— Вы меня очень обяжете, если согласитесь. Что я один? И дома мало бываю, вы поможете мне.

— Помочь-то что, это не дело. Я могу и с Анатолнией Федоровной побывать, когда она выйдет, если вам некогда, и прибраться, и постирать, и приготовить. . .

— Вот и договорились! — воскликнул Шумилов.— Располагайтесь и будьте как дома.

— А с пропиской как же? Опять же карточки. . .

Само собой разумеется, что о таких «мелочах» Шумилов не думал. По правде говоря, он о многом и часто не думал, принимая какое-то решение в быту. То есть сначала принимал решение, а после думал, как его исполнить. И странное, в общем-то, дело: все и всегда каким-то образом улаживалось, утрясалось, хотя далеко не всегда это было легко.

Вот и теперь вопрос, поставленный Зинаидой Ивановной, всего на какое-то мгновение показался ему действительно трудным вопросом, но тотчас он вспомнил управхоза, который когда-то провожал его на Урал, а после вскрывал комнату, и Шумилов уверенно ответил:

— Пропишем, не беспокойтесь.

Так Зинаида Ивановна и осталась жить у него, сделавшись незаменимой помощницей в жизни. Что там помощницей, она была хозяйкой, и лучшей хозяйки Шумилов не мог бы желать.

Маша Павловская однажды пошутила на этот счет неосторожно, сказав, что, дескать, он нашел-таки вдовушку, удобно устроился за спиной домработницы (тут она еще и усмеянулась нехорошо), а что домработница старовата для него, это ничего, Антон, сказала Маша, не детей же рожать. . .

Он ни полслова не ответил ей на это, он только посмотрел на нее, посмотрел и все, и Маша поняла, что ляпнула не просто даже непозволительную глупость, а сделала такое. . . такое сделала, сжимаясь от стыда и страха, подумала она, за что Шумилов никогда ее не простит. . .

А все же проговорила тихо:

— Прости, Антон. Глупая я баба. Господи, до чего же я глупая баба! . .

— Бывают и глупее,— сказал Шумилов.

— Мне от этого ничуть не легче.

— Да? . .— удивился он.— А мне всегда казалось, что каждая женщина мечтает, чтобы все остальные бы-

ли уродливее и глупее ее. Что там мечтают, уверены, что так оно и есть.

— Пожалуй, ты прав, Антон,— поднимаясь, молвила Маша.— Ты удивительно прозорлив и бываешь прав гораздо чаще, чем это может показаться. Спасибо за чай и беседу, я пойду.

— Пожалуйста за чай и беседу,— усмехнулся он,— а насчет «пойду» немного погоди. У меня есть к тебе дело.

— Ко мне?

— Ну, не совсем к тебе, но и к тебе тоже. Тут есть одна идея... Как ты смотришь, если я привлеку Павла к работе?

— О чем ты говоришь, Антон, какая работа?..

— Нормальная и даже сложная работенка. Нужна его голова.

— Но ведь он же...

— Стоп! — сказал Шумилов.— Он будет работать дома. Дома, ты поняла?

— Ты это серьезно, Антон?.. — Кажется, Маша поверила.

— Абсолютно.

— Это же... это же...

Шумилов поморщился.

— Мне нужна его голова и ничего больше,— сказал он.— Ни о каких там высоких материях я не думал и думать не собираюсь. Поэтому спрашиваю: он способен работать головой?

— Да, да и еще раз да! — выкрикнула Маша.

— И прекрасно. Я завтра зайду, и мы с ним все обсудим. А теперь можешь идти.

Он вышел проводить ее, вернее закрыть за нею дверь, и, уже уходя, Маша спросила его:

— Ты не простил меня, Антон?

— Ты как-то подготовь Павла, поговори с ним, намекни, что ли,— сказал он.— Да что вашего брата учить...

— Жестокый ты все-таки человек, Антон,— вздохнула Маша.— Ты жестокий даже тогда, когда делаешь людям добро. А это и есть самая страшная жестокость. И если бы не Павел...

— Будь здорова,— сказал Шумилов и потянул дверь за себя.

Заводу, где работал Шумилов, предложили заказ на изготовление большой партии деталей для химической промышленности. Заказ, надо сказать, был очень выгодный — представитель заказчика прямо дал понять, что скупиться они не будут, — однако деталь, которая называлась «ушко», оказалась довольно сложной, настолько сложной, что на двух заводах уже отказались от этого заказа.

— Что скажете, Антон Игнатьевич? — спросил директор. — Справимся с этим выгодным заказом?

Шумилов внимательно рассматривал чертеж, пытаясь представить себе эту заковыристую деталь в металле. Обычно это не составляло для него никакого труда, достаточно было мельком взглянуть на чертеж или эскиз...

— Вот образец, — сказал Серегин и вынул из портфеля деталь.

Две плоскости-лопатки соединялись между собой дужкой, имеющей в разрезе эллипсоидную форму. С внешней стороны в месте соединения лопаток с дужкой была покатость, а вот с внутренней стороны лопатки и дужка образовывали прямой угол. Расстояние между лопатками — двенадцать миллиметров, тогда как диаметр дужки — шестнадцать.

— М-да, — подержав в руках «ушко», проговорил директор. — Непростая штучка. И как же вы ее делали?

— Вручную, — ответил Серегин. — Наши умельцы из экспериментальной мастерской постарались. Образец из алюминия, поэтому и легкий.

— Фасонное литье, а у нас, к сожалению...

— Литье исключается, — сказал Серегин.

— Тогда штамповка с последующей фрезеровкой плоскости и доводкой вручную. Но это... — Директор с сомнением покачал головой.

— Ни в коем случае, Павел Егорович! — воскликнул Маркелов, который также был приглашен для разговора. — Фрезеровка, ручная доводка... Вы представляете, какая тут трудоемкость?

— Представляю, — усмехнулся директор. — Слышали? — обратился он к Серегину. — Как говорится, и рады бы в рай, да грехи не пускают. Вы согласны, Антон Игнатьевич?

— Надо подумать,— сказал Шумилов, разглядывая «ушко» с разных сторон.

— Да что здесь думать? — удивился Маркелов.— У нас нет армии фрезеровщиков и слесарей-инструментальщиков, да и станочный парк изношен, вы знаете это не хуже меня.

— А может, обойдемся без фрезерования и доводки? — высказался Шумилов.— Нужно посоветоваться с технологами, прикинуть, что и как. Насколько я понимаю, заказчик предлагает нам чертежи изделия и образец... для подражания,— улыбнулся он,— а технологической проработки у них нет.

— Увы,— сказал Серегин.— Мы вообще не имеем технологов.

— У вас есть конкретные предложения? — спросил директор.

— Пока нет,— ответил Шумилов.— Повторяю: надо подумать.

— Но мы, Антон Игнатьевич, не занимались ничем подобным, и я не уверен...

— Все на свете с чего-то начинается,— возразил Шумилов.— Разумеется, легче всего отказаться, предложений для этого можно найти уйму. Но мы же с вами инженеры, Павел Егорович.

— На других заводах тоже есть инженеры, Антон Игнатьевич. И тем не менее отказались.

— Значит, либо там плохие инженеры, либо просто не хотят возиться. Это, прошу прощения, не аргумент.

— Там — плохие инженеры, а мы с вами хорошие, так?

— Возможно, почему бы и нет?

Маркелов взглянул на директора и пожал плечами. Шумилов видел это, однако сделал вид, что ничего не произошло. В нем взыграла профессиональная гордость, а может быть, и амбиция.

— Давайте поставим вопрос так: раз надо, а я понимаю, что очень надо... — Он повернулся к Серегину, и тот кивнул согласно. — Значит, сделаем, — подытожил Шумилов.— Подумаем и сделаем. Не боги горшки обжигают.

Маркелов поднялся и попросил разрешения выйти.

— Идите,— сказал ему директор.— А вы, Антон Игнатьевич... Не лучше ли сначала подумать, а потом уже давать обещания? Ведь это не шутки.

— В идеале хорошо бы подумать, прежде чем появляться на свет божий, Павел Егорович. Но этого нам не дано. Все-таки мы прежде появляемся, а после всю жизнь ломаем голову, зачем? Знаете, и это замечательно! Иначе человечество вымерло бы давно. А может, его и не было бы. Я понимаю, что задача не из легких, что завод наш не самый образцовый и тэдэ и тэпэ. Но скажите, Павел Егорович, с каких это пор русский инженер стал бояться трудностей? Трудности, насколько я понимаю, для того и существуют, чтобы мы с вами их преодолевали. Не они нас, но именно мы их. И неужели для вас, директора, ничего не значит престиж завода? .. Не верю. Хоть убейте, не верю.

— Все это весьма убедительно и правильно, — проговорил директор, постукивая «ушком» по столу, — однако у меня, в отличие от вас, нет уверенности, что мы справимся с этим делом. — Он оттолкнул от себя «ушко», и оно упало, издав легкий звон. Серегин наклонился и поднял деталь. — Я подозреваю, что нас с вами не поглядят по головке, если мы возьмемся и не справимся. . .

— Следовательно, мы обязаны справиться. А кроме того, терпеть не могу, когда меня гладят по головке. Противно это, когда взрослого здорового мужика поглаживают и приговаривают, что он пай-мальчик. Какие сроки? — спросил Шумилов у Серегина.

— Самые сжатые, — ответил тот.

— Ясно. Какую помощь вы сможете нам оказать?

— Любую, какая в наших силах.

— В таком случае. . . — Шумилов посмотрел на директора.

— Вы человек не робкого десятка, я это знаю, — сказал Савченко, вздыхая. — Но и о других надо думать, Антон Игнатьевич. Ну, хотя бы иногда, время от времени. Люди, они все разные, и все хотят жить по возможности спокойно. . .

— А у меня болит голова. Очень болит голова, когда я сажусь и начинаю думать о тех людях, которые хотят жить спокойно. И вообще я предпочитаю делать дело, пусть маленькое, но дело, а не заниматься благотворительностью. Извините.

— Ничего. Возможно, вы в чем-то правы. Лично мне импонирует ваша напористость, ваша деловитость, но многих вы восстановили против себя. Теперь еще

это... — Савченко снова взял «ушко» и стал его разглядывать.

— Павел Егорович, товарищу Серегину вряд ли интересно слушать, как мы выясняем отношения, — сказал Шумилов. — Организация, которую он представляет, занимается не изготовлением игрушек. Это нужно сделать! — Он ткнул пальцем в «ушко». — А раз нужно, кто-то обязательно сделает. Так почему бы, спрашиваю я, не сделать нам?..

— Логично. Но у меня контрвопрос: почему это делать именно нам?

— Ответу. Один неглупый мальчик спрашивает у отца, почему корова дает молочко, а крокодил живет в воде?

— И что же ответил отец?

— Он ответил просто и разумно: потому что крокодил — это крокодил, земноводное, а корова — это корова. Только и всего. Не правда ли, лучше не отвечать?

— Пожалуй, — улыбнувшись, согласился Савченко.

— Давайте мы с вами, руководители завода, пойдем в поводу у маркеловых и иже с ним. Что из этого получится? Свернем к чертовой бабушке все производство и станем штамповать ножи и вилки, только ножи и только вилки. Спокойно, безопасно, выгодно и удобно. А потом на вилках будем ездить, ножами землю пахать, с вилками же и воевать пойдем, благо русский мужик с рогатиной и прежде воевал. На нас с атомными бомбами, а мы на них — с вилками, с вилками! Мы, дескать, такие, нам хоть бы хрен! Вот это и есть нежелание думать о других. О Маркелове и компании подумаем, позаботимся о том, чтобы им жилось спокойно, создадим условия для заполнения клеточек в футбольной таблице, а вот о людях... .

— Успокойтесь, Антон Игнатьевич, — проговорил Савченко. — И прошу вас, не надо громких слов. Мы о деле... .

— А почему, собственно, не надо громких слов? — возразил Шумилов. — Я не боюсь их, потому что я немножко знаю, как воевать винтовкой образца девяносто первого года против автомата. Для меня слова, которые вы назвали громкими, имеют огромный смысл. Жаль только, что их подзатаскали эти... маркеловы.

— Ладно, ладно, сдаюсь, — поднимаясь, сказал Савченко. — Давайте примем заказ, давайте думать. В кон-

це концов, семь бед_один ответ. Полагаюсь на вас, Антон Игнатьевич.— Он повернулся к Серегину.— Вопрос решен, детали уладите с главным инженером.

По правде говоря, тяжелую ношу взвалил на себя Шумилов. Тут с помощью только самолюбия и упорства, чего ему было не занимать, не справишься. Тем более и рассчитывать нужно было именно на себя, на свои знания и опыт. Ибо бесполезно рассчитывать на помощь людей, которые не хотят быть твоими единомышленниками. У этих людей тоже ведь есть и упорство, и самолюбие, они/ тоже, как и ты, считают себя правыми и готовы отстаивать свою правоту. Оттого и сложно добывать истину, что у каждого она своя. Нет, просто-напросто не существует в жизни какой-то общей для всех правды или, по крайней мере, нет такой правды, которая удовлетворила бы всех. Может быть (почему бы и нет? ..), человек рождается с уже готовой, со своей собственной правдой, а если это так, попробуй потем доказать ему, что он в чем-то не прав, попробуй обратить его в другую, в свою веру. . . Да и нужно ли это? Пусть каждый и живет с той верой, с какой родился. Не бывает людей, которые не нужны никому, которые просто плохие люди. Любой человек, каким бы плохим он ни казался мне, кому-то очень нужен, необходим, его кто-то любит, ждет, боготворит. . .

И есть лишь единственный путь отстоять свою правоту — дело. Реальное, живое дело.

II

Да, рассчитывать Шумилов мог только на себя. Правда, в лице Кудриной, которая временно исполняла обязанности начальника техбюро, он все-таки нашел единомышленника, но ждать помощи от Ирины Андреевны не приходилось. Она просто мало знала и мало могла. Хотя бы подбирала необходимую литературу, и то уже хорошо. А начал Шумилов именно с литературы, потому что с технологией кузнечного производства был едва знаком, а искать решение нужно было здесь. По крайней мере, это-то ему было ясно. Бывший главный инженер, с которым Шумилов счел необходимым посоветоваться, согласился с ним.

Однако и в литературе, посвященной горячей штамповке, он не отыскал удовлетворительного ответа. Все

верно: статьи и книги по технологии производства пишутся на основе известного, то есть на основе конкретного опыта, пишутся как бы вчера, а жизнь ставит задачи сегодня, и кто-то должен эти задачи решать. Разумеется, Шумилов несколько не сомневался, что где-то кто-то данную задачу решил, что для кого-то она не является никакой проблемой, но это мало утешало, ибо кем-то решенная похожая задача несколько не облегчала его поиск. Не было в то далекое послевоенное время нынешнего изобилия информации — не издавались всякие там информационные бюллетени, «листочки» с описанием новинок, многочисленные технические журналы и брошюры, так что наткнуться на готовое решение, на уже разработанную технологию можно было разве что случайно. А надеяться на случайность было вовсе не в характере Шумилова.

Он совершенно точно знал одно: он обязан найти экономичный и надежный способ изготовления этого «ушка». Иначе говоря, найти единственно верное, наилучшее или, как спустя годы станут говорить, оптимальное решение. Учитывать приходилось все: и жесткие требования, предъявляемые заказчиком, и возможности производства, оборудования, и опыт людей, которым это «ушко» делать, и — не в последнюю очередь — особенности материала, высоколегированной стали, которая трудно поддавалась механической обработке. Он извел гору бумаги на расчеты и эскизы всяких штампов, приспособлений, почти не спал, сам и не давал спать Зинаиде Ивановне, а когда, обессиленный, засыпал — часто прямо у стола, сидя, — ему снились... «ушки» в самых разных проекциях.

— Да разве ж можно так, Антон Игнатьевич? — выговаривала ему Зинаида Ивановна. — Хоть бы прилегли, постель я постелила. — Она вздыхала, качала головой и, случалось, думала даже о том, что уж лучше бы его жене вовсе никогда не поправляться, потому что жить с таким человеком все равно невозможно. Но и уважала она Шумилова безмерно, и уважала как раз за то, что он так любит свою работу. Бывая у Анатолии Федоровны в больнице (Шумилов навещал жену редко, от случая к случаю), она рассказывала ей, как много и упорно он работает, как не спит по ночам, нигде не бывает, а сама все думала: господи, не такой ей, сердешной, нужен муж, совсем не такой, а ему не такая жена...

Случались дни, когда Шумилов поносил себя за собственную самонадеянность, называл себя идиотом, дип-

ломированным кретином и еще бог знает как он называл себя, а решение мало-помалу обретало ясность. Оно было рядом, Шумилов чувствовал это, чувствовал по той лихорадке, которая вдруг охватывала его... Именно лихорадка, когда по-сумасшедшему скачет пульс, бьется, бьется в висках, когда кровь приливает к затылку и дрожат руки, всегда была для него предвестником близкого решения сложной проблемы или важного события.

Вот тут как раз и зашла к нему Маша, и он подумал, почему бы не привлечь Павловского. Его дотошность, его знания... К тому же и для самого Павловского было бы полезно заняться делом, а не лежать на оттоманке, уставившись в потолок и гадая, вовремя придет с работы жена или где-то с кем-то задержится.

Однако ни на следующий день, как обещал Маше, ни через день Шумилов не собрался к Павловскому. Почувствовав, что решение рядом, он забыл обо всем, в том числе и о своем обещании.

Первая операция — подкатной штамп. Делается заготовка, очень похожая на штангу. На маленькую-маленькую штангу, которую без труда поднимет и годовалый ребенок. Да еще и одной рукой. Потом — плоско-сти, лопатки то есть. С этим ясно. А дальше?.. Конечно же, глухой штамп. Тяжелая матрица и пуансон по форме полости между двумя лопатками... Так и только так. Однако не слишком ли просто? — сомневался Шумилов, набрасывая эскиз штампа. Почему же до меня никто не догадался? Ну да, никто и не вникал, отказывались, и все тут. Это же легче — отказаться, чем думать...

А облой? Что делать с облоем, который должен образоваться при штамповке?..

Круг замкнулся, и Шумилов порвал эскиз.

Неожиданно, словно бы догадываясь, что происходит с ним, позвонила Маша.

— Антон, — спросила она, — ты куда пропал? Обещал зайти, я сказала Павлу, а сам... .

— Прости, Машенька. Совсем зашился, голова скоро расколется.

— Надеюсь, не наглухо хоть зашился? — пошутила она.

— Почти.

— Ты уж, пожалуйста, расшейся на завтрашний вечер.

— Не могу, — сказал Шумилов. — Хоть убей, не могу. Извинись за меня перед Павликом, на днях я обязательно зайду и мы обо всем поговорим.

— И ради меня не можешь?

— Ты ставишь меня в положение идиота.

— Выкрутишься и из этого положения, — сказала Маша. — Тебе же не привыкать. А если серьезно, Антон, у меня завтра день рождения, и я очень, очень прошу тебя прийти. — И она повесила трубку.

Он хотел тотчас перезвонить и объяснить, что не может завтра прийти даже и на день рождения, но оказалось вдруг, что он не знает номера телефона Павловских и вообще не знает, есть ли у них телефон. Положение, подумал он, и в самом деле идиотское, придется идти. А может, это и к лучшему?.. Может, действительно Павел присоветует что-нибудь?.. А впрочем, какие там советы, будут гости, будет водка, анекдоты, пустая трепотня...

В общем, чертыхаясь и ругая Машу за то, что ее угораздило родиться в самое неподходящее время, когда он нащупал решение, когда осталось чуть-чуть, Шумилов поехал все же в гости. Поехал с цветами и шампанским. Хотел даже галстук надеть, но в последний момент передумал. Еще Павел подумает бог знает что, увидав его в галстуке.

Он явился первым, и это, вопреки всякой логике и самолюбию, его обрадовало. По крайней мере, можно поговорить с Павловским о деле.

Он набросал эскиз «ушка» и показал Павловскому.

— Ну и что? — спросил тот.

— Как его сделать, это трижды проклятое «ушко»?

— Металл?

Шумилов назвал марку стали.

— Ого! — сказал Павловский. — Ты помнишь размеры?

— Да они мне по ночам снятся! — ответил Шумилов и проставил все размеры на эскизе. — Только учти, допуски минимальные.

— Понял. А что же твои технологи?

— Технологи! — поморщился Шумилов. — Если бы они были. И вообще, все почему-то хотят спокойно спать.

— А ты нет?

— Тоже хочу, но это не повод для того, чтобы не работать, не думать.

— Мне кажется, Антон, ты чересчур строг и требователен к людям,— сказал Павловский.— Так нельзя.

— Прежде всего я строг и требователен к себе.

— Это я знаю, и только это в какой-то мере оправдывает тебя. Ладно, ты оставь, если можно, эскизник, я подумаю.

— Разумеется, оставлю. И вот еще что...

— Ну?..— насторожился Павловский.

— Я подумал, почему бы тебя не оформить к нам на работу?

— Это в каком смысле?

— В прямом.

— Не надо шутить, Антон.— Павловский нахмурился.

— Я вовсе не шучу. Ты бы мог работать дома. У тебя врожденный талант технолога, и ты это прекрасно знаешь.

— А ты идеалист, оказывается,— сказал Павловский.— Никогда бы не подумал...

— Это я-то идеалист?— Шумилов расхохотался.

— Что, странно?

— Даже очень.

— А между тем так оно и есть.

— Но ты все-таки подумай о моем предложении.

— Подумаю, подумаю,— отмахнулся Павловский.— Только не сейчас. Во, звонок! Идут гости.

А гостей-то оказалось всего двое: Шумилов и еще подруга и сослуживица Маши, Лариса. То есть Лариса Владимировна.

— Мы с Павликом решили не собирать большую компанию,— объяснила Маша.— В тесном кругу как-то приятнее, верно?

— Конечно, приятнее,— согласился Шумилов. Ему, впрочем, было безразлично это. Он был доволен, что удалось поговорить с Павловским. По крайней мере, вечер не пропал зря. Что там зря! Он просто был уверен, что Павловский подскажет что-нибудь дельное, у него светлая голова.

А посидели совсем недолго. Лариса Владимировна отчего-то заспешила домой, не помогли даже уговоры самого Павловского, которому хотелось побыть с людьми.

ми, и Шумилов отправился провожать ее. Может быть, он и не догадался бы это сделать, если бы не Маша.

Когда Лариса Владимировна вышла в прихожую, чтобы привести себя в порядок, Маша сказала:

— Будь мужиком, Антон.

— В каком смысле?

— Проводи даму.

— Вечно у этих женщин... — недовольно проворчал Павловский. — Что у нее, семеро по лавкам?

— Раз человеку надо, — сказала Маша, пожимая плечами. И подтолкнула Шумилова: — Иди, иди.

— Подчиняюсь грубой физической силе. — Он встал. — Да, вы не могли бы дать ваш номер телефона? — И огляделся.

— А у нас его нет, — ответил Павловский. — Обещают, правда, доставить, но когда это будет...

— Тогда пусть Маша позвонит мне, если у тебя прорежется идея.

По правде говоря, Шумилов как-то не обратил внимания, какая она, Лариса Владимировна: брюнетка или блондинка, высокая и стройная или так себе, среднего роста и средней комплекции, какие у нее глаза. Просто женщина, просто подруга Маши, вот и все.

Они вышли на улицу, и Шумилов спросил:

— Нам куда?

— Мне тут рядышком, — ответила она. — А вам?

— Мне тоже недалеко, но я провожу вас.

— Как мило! — чуть жеманно воскликнула она, а он удовлетворенно подумал, что хорошо хоть живет она близко, не надо тащиться к черту на кулички.

Жила Лариса Владимировна действительно совсем рядом с Павловскими, всего в нескольких кварталах.

— Вот я и дома, — сообщила она, поворачиваясь к Шумилову. — А вы чем-то озабочены, верно?

— Возможно, — сказал он, не зная, как теперь поступить, то есть интеллигентно ли будет попрощаться и уйти.

— Вы всегда такой?

— Стараюсь.

— Что стараетесь? — не поняла Лариса Владимировна.

— Быть озабоченным.

— А вы, оказывается, шутник! — Она рассмеялась и взяла его под руку. — А мне сначала показалось... Вы очень спешите?

— В общем, да,— сказал Шумилов и даже взглянул на часы.— Я хотел поблагодарить вас, что вы меня ушли из гостей.

— Жаль,— проговорила Лариса Владимировна.— Вы мне нравитесь.

Она кивнула и вошла в темную парадную.

III

Спустя два дня позвонила Маша и сказала, что Павел просил зайти. Позвонила она на работу, и Шумилов, не дожидаясь вечера, поехал к Павловскому тотчас. Он как-то совсем не подумал о том, что Маша днем на работе и просто некому будет открыть дверь. Он догадался об этом, когда минут пять постоял возле двери, непрерывно нажимая на кнопку звонка. Ах, черт, выругался Шумилов и собрался уходить. Тут вдруг открылась дверь соседней квартиры, на площадку вышел старик. Он оглядел Шумилова и спросил:

— Вы товарищ Шумилов?

— Допустим, а в чем дело?

— Видите ли,— сказал старик, внимательно приглядываясь к нему,— Мария Леонидовна просила передать вам ключ, если вы придете, но забыла поставить вас в известность. Сейчас она перезвонила нам.

— Спасибо,— сказал Шумилов.— А я уже хотел уходить. Давайте ключ.

— А как вас зовут, прстите? — поинтересовался старик.

— Антон Игнатьевич. Можно и просто Антон.

— Тогда это вы.— Старик сам открыл дверь квартиры Павловских и, не проходя в комнату, крикнул: — Павел Викторович, это я, Иван Иванович! К вам пришел товарищ Шумилов.

— Спасибо, Иван Иванович! — отозвался Павловский.— Антон, давай сюда.

После он жаловался, что Маша вечно что-нибудь забывает, ведь десять раз напоминал ей, чтобы сказала, что ключи в сороковой квартире у Ивана Ивановича, а она все равно забыла...

— Ерунда, Павел,— успокоил его Шумилов.— Я тоже хорош, помчался, не подумав. Ну, родил идею?

— Вот, посмотри сам.— Павловский протянул листки с эскизами.

Едва взглянув, Шумилов понял, что был на верном пути: Павловский пришел к тому же решению, как и он. Значит...

— Подходит?

— По-моему, просто гениально! — сказал Шумилов.

— Элементарно, Антон. Ты и сам догадался бы.

— А вот не догадался же.

— Просто нужно было отвлечься от всего, сесть и подумать.

— Вот именно: сесть и подумать. — Он встал. — Ты извини, я побегу...

— Конечно, конечно, Антон. Дверь захлопни, а ключ останется у меня. И не забудь сообщить, как получатся твои «ушки».

Как они получатся, Шумилов примерно знал. Все-таки остается проблема облой. Облой, облой... Какое-то нелепое, корявое слово, но очень точное. А выхода нет. Пока нет. Надо пробовать. По идее, думал Шумилов, облой должен быть минимальный, его можно будет снимать на фрезерном станке. Только вот сталь, черт бы ее побрал, фрезы полетят...

Две недели потребовалось, чтобы изготовить оснастку. Когда все было готово, Шумилов позвонил Серегину — тот просил об этом. Ночью, когда в цехе поменьше любопытных глаз, отковали десять «ушек». Поковки получились не просто хорошие, но даже красивые, как сказал Серегин, с идеальной, словно отполированной поверхностью, и облой действительно был микроскопический. А все же был.

— Поздравляю, Антон Игнатьевич! Это замечательно. — Глаза Серегина сияли.

— Рано, — сказал Шумилов. — Во-первых, что покажет проверка в лаборатории, а главное... — Он взял клещами еще горячее «ушко». — Облой меня тревожит, как его снимать?

— А если взять заготовку чуть меньших размеров?

— Не пойдет. Какая-то часть металла в любом случае потечет в стороны, а шейка не получится. Попробовать можно, попытка, говорят, не пытка.

Попробовали, однако, как и предполагал Шумилов, в верхней части дужки облой остался, а шейка не вышла, на нее не хватило металла.

— Придется фрезеровать.

— Раз нет другого выхода... — проговорил Серегин. Может быть, ему-то было безразлично, ему важно полу-

чить «ушко», а Шумилов понимал, знал, какую бучу поднимет Маркелов, да и не только Маркелов, и еще знал, что люди эти будут правы. В сущности, решение оказалось половинчатым, а его не покидало ощущение, что есть, есть решение, которое сняло бы все проблемы. Как найти его, это решение...

— Послушай, Николай Петрович, а как же вы работаете в своем кабэ без технологов? — неожиданно спросил Шумилов. — Любой мало-мальски грамотный технолог еще на самой ранней стадии разработки подсказал бы, что это чертово «ушко» не технологично в изготовлении. Возможно, вы, конструкторы, нашли бы иное решение...

— Так вот, — развел Серегин руками. — Теперь, говорят, организуют группу технологов.

— Хочешь, сосватаю вам прекрасного технолога? Светлая голова, талант. Между прочим, это его идея. — Шумилов взял в руку уже остывшее «ушко».

— Хитрец ты, Антон Игнатьевич, — улыбнулся Серегин. — Чего же ты отпускаешь светлую голову?

— Он нигде не работает, — сказал Шумилов. — Инвалид, ранение в позвоночник, отнялись ноги. Так что работать может только дома. Я хотел взять его к нам... — Да, он действительно говорил об этом директору, однако Савченко даже слушать не стал, отказал наотрез.

— В самом деле хороший специалист?

— Не то слово, редчайший.

— Я переговорю с начальством, — неуверенно сказал Серегин.

— Кстати, жена у него тоже по образованию технолог.

— А что, в этом что-то есть, Антон Игнатьевич. Могут работать над одной темой...

— Именно. У него идей полная голова, а она хороший исполнитель. Ты подумай, подумай.

Шумилов не зря думал, что Маркелов поднимется на дыбы, когда узнает, что «ушки» после штамповки все же надо фрезеровать. Проба на станке показала, что фрезы нужны победитовые: обычные, из быстрорежущей стали, мгновенно «садились».

— А я что говорил?! — горячился Маркелов. — Кто будет расхлебывать эту кашу?

— Вместе будем расхлебывать, — сказал Шумилов,

— Конечно, кто-то изобретает, а как отвечать — Маркелов!

— Успокойтесь, Владимир Петрович, — сказал Савченко. — Безвыходных положений не бывает, найдем и мы выход из этого положения. Заказчик богатый, с большими возможностями, обеспечат нас победитовым инструментом. Я говорил с начальством, обещали. А орешек-то, Антон Игнатьевич, поистине крепкий!..

— Крепкий, — согласился Шумилов. — Но я надеюсь его разгрызть.

— Победитовой фрезой? — усмехнулся Маркелов. — А рабочие руки?..

— Да не лезьте вы, посидите спокойно! — сказал Шумилов. — Организуйте как полагается работу, вот и найдутся рабочие руки.

— Вам легко говорить...

Ответить Шумилов не успел. Вошла секретарша, извинилась и сказала, что какая-то женщина упорно требует к телефону главного инженера, говорит, что дело очень важное...

— Переключите на мой телефон, — велел Савченко. Шумилов с досадой взял трубку.

Звонила Маша.

— Антон, прости, пожалуйста, но это очень важно и срочно...

— Что-нибудь с Павлом?

— Нет-нет, с ним все в порядке. У меня записка от него, он просит передать немедленно. Сказал, что это насчет каких-то «ушек». Я здесь, у проходной.

— Иду. — Шумилов положил трубку. — Извините, Павел Егорович, я на минутку выйду. Возможно... Я сейчас, мигом.

В записке Павловский писал, что выпустил из виду облой, который будет трудно снимать. Он предлагал штамповать «ушки» в плоскости, чтобы облой можно было обрезать в штампе, а после уже штамповать окончательно, по сути дела, всего лишь выгибать. «...Только обрезать при минимальном нагреве, — писал Павловский, — чтобы не было рванин и затяжек. Тогда все будет отлично, я продумал этот вопрос».

— Ну вот, — устало сказал Шумилов и положил записку на стол. — Кажется, проблема разгрызания ореха решена. Вы напрасно волновались, Маркелов. Можете и дальше спокойно спать.

А спустя полгода группа инженеров за разработку и внедрение в серийное производство новых образцов техники была представлена к Государственной премии. В том числе к премии были представлены Шумилов и Павловский.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Здоровье Анатолии Федоровны окрепло настолько, что ее стали отпускать на воскресенье домой. В первый раз, когда Шумилов привез ее, она долго не решалась войти в комнату, стояла у раскрытой двери, тщетно пытаясь вспомнить что-то, но в памяти был провал. Наконец она решилась, вошла, огляделась внимательно и спросила:

— Ты здесь живешь один, Антон?

— С Зинаидой Ивановной,— ответил он.

— Да, с Зинаидой Ивановной,— повторила она за ним.— Ты уже говорил, я забыла. Милая женщина. Ты не обижаешь ее?

— Почему я должен ее обижать?

— Хороших людей всегда обижают. А она где?

— Поехала к подруге. Ты садись, садись, я сейчас поставлю чайник, будем пить чай.— Он совершенно не знал, как вести себя с женой, и дело не только в ее болезни, дело, скорее, в том, что он отвык от жены. Хотя в последнее время они виделись почаще, однако встречались они в больнице, то есть это были короткие свидания, а теперь она дома, у себя дома, и он, понимая, что должен создать обстановку семейности, домашности, не знал, как это сделать. Прежде всего чай, конечно же чай, решил он и отправился на кухню.

На кухне мыла посуду соседка, Клавдия Павловна, пожилая одинокая женщина. Она жила здесь и до войны, оставалась и в блокаду.

— Привезли? — спросила она.

— Привез,— ответил Шумилов.— Чай вот хочу поставить.

— А как Анатолия Федоровна себя чувствует?

— Ничего вроде,— сказал Шумилов, пожимая плечами.

— Господи, господи,— вымолвила Клавдия Павловна, шумно вздохнув.— Как я вам сочувствую, Антон Игнатьевич...— Она сочувствовала всем, вообще была какая-то простодушная, тихая, всегда готовая уступить, признать за собой хоть бы и чужую вину, лишь бы не вызвать ссору.

Зато вторая соседка Шумилова, тоже одинокая, повсюду совала свой нос (в квартире она объявилась уже после войны, заняла освободившуюся комнату, но раньше, чем вернулся Шумилов), подолгу и очень громко разговаривала по телефону в коридоре, много курила, но не у себя в комнате, чуть ли не каждый день меняла халаты, и Шумилов подозревал, что халаты эти чужие — она шила на дому. Сошьет кому-то халат, поносит день-два сама, покрасуется, а после уже сдает заказчице. В сущности, Шумилову было наплевать, он больше слышал ее, чем видел, а телефон, кстати, у него был личный, но временами и его раздражала манера этой Ольги Викентьевны держаться полной хозяйкой в квартире. Как будто бы он и Клавдия Павловна, не говоря о Зинаиде Ивановне, которую Ольга Викентьевна вообще игнорировала, как будто бы они квартиранты здесь, к тому же вселенные против ее воли. Впрочем, к Шумилову она все же относилась с некоторым почтением, в особенности это стало заметно с тех пор, как она вызнала, что он занимает должность главного инженера. Правда, ее немножко удивляло то обстоятельство, что за ним по утрам не приезжает автомобиль.

Шумилов дождался, когда вскипит чайник, и понес в комнату.

— Как ты ужасно долго,— сказала жена.

— Газ плохой.

— Мы будем пить чай с вареньем? — спросила она.

Вот варенья у него не было. А если и было, он не знал, где его искать.

— Сейчас посмотрю,— сказал он.— Если не кончилось.

Он вернулся на кухню, но Клавдии Павловны уже не было там. Он постучался к ней. Она сидела в старинном глубоком кресле и читала французский роман. Впрочем, она могла читать и Тургенева, и Пушкина, но обязательно на французском языке.

— Клавдия Павловна, у вас случайно не найдется немножко варенья? Жена хочет чаю с вареньем, а я не знаю. . .

— Не беда, Антон Игнатьевич, у меня обязательно найдется варенье. И даже любимое Анатолии Федоровны. Помнится, она очень любила черничное.

— Вот как? — удивился Шумилов.

— Да, да, голубчик, — улыбнулась Клавдия Павловна. — Но откуда вам об этом знать, об этом знаем мы, женщины. Вы ступайте-ка к супруге, займите ее, я все принесу, что надо. Ступайте, ступайте.

— У меня все есть.

— Слушайте старших. И нельзя Анатолию Федоровну надолго оставлять одну, ей надо привыкнуть к дому. В коридоре он столкнулся с Ольгой Викентьевной.

— Ах, бога ради извините меня, — запела она своим сильным голосом, — я заглянула к вам, хотела попросить разрешения воспользоваться вашим телефоном, наш что-то сломался, а у вас гостья, мне так неловко, так неловко...

В это время зазвонил общий телефон.

— Починился, — сказал Шумилов, с трудом сдерживаясь, чтобы не добавить еще парочку слов.

— А с ним, знаете ли, вечно одна и та же история: то сломается, то починится, то сломается...

— Возьмите трубку! — крикнул Шумилов и пошел к себе.

Анатолия Федоровна по-прежнему сидела на краешке оттоманки, и вид у нее был испуганный.

— Кто-то заглядывал сюда, Антон... — прошептала она.

— Ничего страшного, это соседка.

— Но у нее такие глаза...

— Обыкновенные глаза, тебе просто показалось.

— Наверное, показалось. А у тебя нет патефона? — вдруг спросила она.

И Шумилов понял, что жена все еще не сообразила, что находится в своем доме.

— Есть, — сказал он.

— А пластинка «Утомленное солнце»?

— Кажется, есть.

Он долго рылся в буфете, покуда на нижней полке в рваном конверте нашел пластинку. Она запылелась, поэтому сильно шипела, и голод Утесова был какой-то кашляющий, точно простуженный. Анатолия Федоровна слушала молча, очень внимательно, а когда пластинка кончилась, попросила завести снова. И опять сидела тихая, сосредоточенная, может быть близкая к тому, что

бы понять все-все, но память отказывалась вернуть ее в прошлое...

Шумилов наблюдал за женой. Он наблюдал почти как за чужой, посторонней женщиной, и неожиданно поймал себя на том, что жена нравится ему. Сейчас в ней была какая-то спокойная, сдержанная домовитость, даже уютность, и нельзя предположить, думал он, что она жестоко больна. Большие серые и чуть раскосые глаза, мягкие, цвета прошлогодней соломы волосы, собранные узлом на затылке, мягкие же, плавные черты лица... Никогда прежде он не думал о жене, как о красивой женщине. Никогда. Жена и все. Почему же теперь, когда между ними пропасть, страшная и неизлечимая болезнь, почему же именно теперь он увидел, как она красива...

— Останови пластинку! — вдруг вскрикнула она. И, закрыв глаза, откинулась назад, на подушки.

Он остановил патефон.

— Антон, ведь ты был на войне, да?

— Был.

— Почему ничего не рассказываешь мне про войну? Там страшно?

Он чуть было не возразил, что уже рассказывал про войну, еще в Ярославле рассказывал, когда по пути в Ленинград заезжал к ней, но вовремя спохватился.

И тут в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул он.

— Откройте, пожалуйста, Антон Игнатьевич, — сказала из-за двери Клавдия Павловна. — Мне, простите, никак...

Она внесла поднос, на котором торжественно, празднично разместились фарфоровые чашки, розетки, ваза с вареньем. Все это она поставила на стол. Анатолия Федоровна молча и сосредоточенно наблюдала за ней.

— Ну вот, — сказала Клавдия Павловна, — теперь можно и чайку выпить. Боже ты мой! — спохватилась она и даже всплеснула руками. — Я, кажется, забыла поздороваться... — Она смотрела на Анатолию Федоровну, и Шумилов видел, что жена отчаянно силится вспомнить что-то.

— Это наша соседка, — сказал он. — Клавдия Павловна...

— Очень приятно, — сказала жена, приподнимаясь. — Я смотрю, мой муж живет в окружении одних женщин.

— Да, и мы все его любим. У вас замечательный муж, Анатолия Федоровна.

— Спасибо, мне приятно это слышать. Садитесь с нами.

— Благодарю, с удовольствием. Вы любите черничное варенье? Другого у меня, к сожалению, не нашлось...

— Черничное варенье? — переспросила Анатолия Федоровна и нахмурилась. — Черничное варенье... — повторила она. — Не знаю. Наверное, люблю. Я вообще люблю сладкое. А мы тут про войну говорили, мой муж упорно не хочет ничего рассказывать.

— В самом деле, Антон Игнатьевич, почему вы никогда не рассказываете о том, как воевали? — подхватила Клавдия Павловна.

— Нечего, — сказал Шумилов. — Я ведь в окопах не сидел, работал в ремонтных мастерских, так что фронтовик я липовый.

— Были на войне, а говорите «работал»! Разве война — это работа?

— Не задумывался об этом, — ответил Шумилов. — Пожалуй, все-таки да, работа. По крайней мере для мужчины. Тяжелая, опасная для жизни, но работа.

Анатолия Федоровна с интересом слушала и все вглядывалась, вглядывалась в лицо Клавдии Павловны.

— Вы извините, Антон Игнатьевич, но как-то странно это звучит. Получается, что убивать людей...

— Убивает убийца, преступник, — сказал Шумилов. — А солдат защищает свою Родину, свою землю, честь, женщин, детей, стариков. И потом, не мы напали, на нас напали.

— Да, пожалуй, вы правы, — согласилась Клавдия Павловна. Она увидела патефон, спросила: — Еще довоенный, верно?

Шумилов кивнул.

— Я помню.

— Скажите, где мы могли с вами встречаться? — вдруг заговорила Анатолия Федоровна. — Мне знакомо ваше лицо и еще что-то...

— Мало ли, — вздохнула Клавдия Павловна. — А может, просто я на кого-то похожа, бывает.

— Наверное... — пробормотала Анатолия Федоровна.

— Я пойду. — Клавдия Павловна встала. — Спокой-

ной вам ночи. А что, Зинаида Ивановна сегодня не вернется?

— Нет, — сказал Шумилов. — Она заночует у приятельницы.

Они допили чай вдвоем, Анатолия Федоровна оставила чашку, внимательно огляделась и проговорила:

— Шумилов; ты можешь сказать мне правду?

— Ты о чем?

— Где я и что со мной?

— Ты дома, и с тобой ровным счетом ничего. Немножко прихворнула, но это пройдет.

— Дома, дома... — Она поднялась и подошла к окну. — Все это уже было. Или мне снится? И эта женщина... Черничное варенье... — Она пожала плечами. — Я не понимаю, почему никто не хочет говорить мне правду! И ты тоже.

— Я сказал тебе правду.

— Но ты не сказал, была я здесь раньше или не была?

И опять он не знал, что ответить на это. Лгать не хотелось, тем более он понимал, что память у жены постепенно начинает пробуждаться, однако и правду сказать тоже боялся, чтобы не повредить ее слабому еще рассудку.

— Давай ложиться спать.

— Правдo, Шумилов, ты какой-то стал другой. И очень, очень жаль, что ты не любишь театр. Ты много теряешь. Хорошо, давай спать.

II

Это «правдo, Шумилов» прозвучало почему-то как укор ему, как напоминание о чем-то давнем, чего он теперь должен бы был стыдиться, но сколько бы он ни напрягался, фраза эта не связывалась ни с чем конкретным. Показалось, подумал Шумилов. Просто у меня тоже нервы натянуты, вот и кажется черт-те знает что. Надо уснуть, уснуть надо...

Он все-таки вспомнит, почему ему почудился укор в этой случайной фразе жены, но, прежде чем вспомнит, проживет порядочный кусок жизни, и кусок этот, вмещающийся всего в одну строку его собственной биографии, будет совсем не легким, будет не простым. Когда-

нибудь ему, возможно, захочется, чтобы то, давнее было выдумкой, захочется выбросить вовсе из своей жизни и даже из памяти, однако жизнь — не песня, из которой все же можно выбрасывать слова, можно менять их местами. Жизнь не прощает ничего, но кто же из нас, поступая именно так, а не иначе, задумывается о том, что поступает легкомысленно и безнравственно по отношению к близким!.. Господи, да если бы мы думали об этом, если бы постоянно держали в голове страх ошибиться, если бы всегда поступали только правильно, что было бы тогда с нами, что случилось бы с людьми, в какое бы постное действо превратилась жизнь, та самая жизнь, ради которой совершены все ошибки, когда-либо сделанные человеком. Да и кто скажет, не покривив душой, кто осмелится сказать, что есть на самом деле ошибка?.. Это ведь просто — потом, спустя время, корить себя за легкомыслие, доказывать себе и другим, оперируя прожитым опытом и знанием конечной цены поступка, что следовало поступить не так, а иначе, пойти не туда, а как раз в обратную сторону. В сказках есть указатели, предусмотрительно расставленные предтечами ГАИ, которые предупреждают путника о возможных последствиях выбора дороги, а в жизни указателей нет, зато на каждом шагу — перекресток; и каждый новый, следующий шаг — уже выбор. . .

Можно вернуться к началу и попытаться реконструировать жизнь героя, направить ее по другому руслу, поставить того же Шумилова в иные условия, чтобы посмотреть, что было бы, если бы. . . Благо условность литературы позволяет все на свете. Даже прожить герою не одну, как людям во плоти, а две жизни. Но ведь и в той, в т о р о й, жизни тоже будут ошибки, ибо ошибки неизбежны в принципе, и тогда нам захочется взглянуть, захочется узнать, как поведет себя этот в т о р о й, если повернуть его жизнь. . . Придется исследовать и третий, и пятый варианты одной все-таки жизни, а дальше-то, дальше что? . .

Прожитая жизнь — есть прожитая жизнь. Может быть, Природа не даровала людям возможность прожить ее заново именно потому, что всякий конкретный человек, наделенный суммой определенных качеств и обладающий определенным характером, независимо от своего желанья и потребности исправить прежние ошибки, и вторую, и третью, а хотя бы и седьмую жизнь

прожил бы точно так же, как прожил первую и единственную. А Природа не терпит повторений. . .

Заманчиво начать все сначала. Кто не мечтал об этом, оставаясь наедине с собой, когда не от кого и нечего скрывать, когда каждый твой промах, каждый неверный, ложный шаг — пусть это и осталось твоей личной тайной — напоминает о себе, и ты понимаешь, что многое, очень многое сделано вопреки собственной совести, оттого и болит она, оттого и мечтается начать все сызнова. Но — не дано, и хорошо, что не дано, пусть всяк несет свой груз, не имея надежды сбросить его для очищения совести.

Надо жить с тем, что имеешь. А раз надо, значит и будем, говорил себе Шумилов. Меня никто не подталкивал в спину, никто не заставлял делать то, что делал, идти той дорогой, по которой я пошел. Я выбрал сам эту дорогу, и я пройду ее до конца.

Ну что ж, мог бы сказать кто-то другой, не Шумилов, приседая, сгибаясь под непосильной тяжестью судьбы, я понесу свой крест, и эта видимость благородства, оставленная нам в наследство с далеких-далеких времен, давала бы ему право на любовь к себе. Именно к себе, ибо и крест нужен всего лишь для оправдания, для обеспечения этой любви. Не потому ли в прежние времена было так много юродивых и «святых мучеников», что человек более всех на свете любит себя? Сначала себя, а потом уже других. Вот и тащили на себе эти самые кресты, чтобы через жалость и сострадание утвердиться в своей любви к себе.

Ах, нет креста? Придумаем нечто доступное, современное, лишь бы остаться в памяти, лишь бы прослыть.

Но может, ни черта подобного и не приходило в голову Шумилову.

Просто однажды он проснулся среди ночи, проснулся вроде бы беспричинно, неизвестно отчего, и вспомнил вдруг, отчетливо так, ясно-ясно вспомнил, что был торжественный вечер, посвященный Первому мая, было, как принято, собрание, а после давали спектакль или отрывки из спектакля силами актеров, приехавших из Свердловска. Там он встретился с Еленой Сергеевной и пригласил ее к себе в гости, а потом оставил ночевать. И в эту ночь — именно в эту — на заводе случилась авария. . . .

Теперь Шумилов чувствовал в себе как бы две вины сразу: и перед Еленой Сергеевной, и перед женой.

Она лежала рядом, красивая, сумевшая каким-то непостижимым образом спустя много лет после их первой встречи, после своей тяжелой болезни, которая отняла у нее прошлое, пробудить в нем неистовую любовь, и он понимал, что ему сильно повезло, повезло несмотря ни на что, ибо много ли отыщется мужчин, которые, не покривив душой, могли бы признаться, что счастливы в браке, а память, злая память, точно картежный шулер, подсовывающий партнеру туза, когда тот ждет семерку, и семерку, когда тот ждет туза, возвращала его в прошлое, и он ничего не мог с этим поделать, это было сильнее его воли.

— Ты почему не спишь? — не открывая глаз, спросила жена.

— Не спится, — сказал он.

— Нет, ты о чем-то думаешь, я слышу. — Она приподнялась.

— И что же ты слышишь?

— Я слышу твои мысли.

— Ты не можешь слышать мои мысли, — проговорил Шумилов и погладил волосы жены. — Спи.

— Значит, не хочешь говорить, о чем ты думаешь...

— Собственно, ни о чем, так. Лезет в голову всякая ерунда.

— Когда говорят, что думают ни о чем, — сказала жена, — обычно думают о важном.

Шумилов не мог не согласиться с ней.

— Вспомнилось вдруг, как во время войны, на Урале, я был в театре...

— Ты был в театре? .. — отдельно проговорила она.

— Был. Правда, это не совсем театр, но артисты были настоящие, прекрасные артисты, и среди них... — Он забыл фамилию. — Как его? .. Заслуженный артист, очень известный...

— Кто же, кто? — нетерпеливо спросила жена.

— Сейчас. — Он напрягал память, но вспомнить так и не смог. — Постой! — воскликнул он. — У меня где-то записана его фамилия. Кажется, в моей старой записной книжке. Надо посмотреть. — Он протянул руку, чтобы зажечь свет, однако жена мягко, нежно отвела его руку от выключателя.

— Какое это имеет значение, Антон, — сказала она.

— Имеет, — возразил он. — Для меня имеет.

— Хорошо, если это для тебя так важно, найдешь завтра записную книжку. А сейчас давай спать.— Она прижалась к нему нагим телом, чтобы не отпустить в прошлое, в то прошлое, в котором не было ее, она хотела только настоящего и, может быть, надеясь на будущее, не догадываясь о том, что оба они бессильны именно перед прошлым, и еще о том, что прошлое способно обернуться как раз будущим.

Она поймет это, когда будет слишком поздно. Поймет и то, что с Шумиловым нельзя лукавить, его нельзя обманывать. Это мало кому удавалось, а если и удавалось — всего один раз. Анатолия Федоровна слукавила дважды: первый раз — спрятав его записную книжку, которая случайно попала ей на глаза и в которой она нашла и фамилию актера, и адрес — ленинградский адрес — Елены Сергеевны, а во второй раз — когда скрыла, что Елена Сергеевна приходила к Шумилову.

III

Случилось это вскоре после того, как ее выписали из больницы. Она была почти здорова, мало-помалу к ней возвращалась память, она даже будто бы вспомнила Клавдию Павловну, кое-что из довоенной жизни, своих родителей, но ничего из того, что было связано с поездкой к родителям и что произошло с ней и дочкой, вспомнить не могла. А возможно, и не хотела, боялась вспоминать, столь велик был ее страх перед болезнью. Она уже понимала, что больна, и понимала, что болезнь может вернуться. Ум ее, как это ни странно на первый взгляд, сделался рациональным, точным, даже изощренным в чем-то, и она умела заставить себя не думать о том, что могло бы повредить ее здоровью. А к своему здоровью она относилась серьезно, как, впрочем, и к здоровью Шумилова. Пожалуй, можно сказать, что к здоровью она относилась болезненно серьезно. Сохранить, уберечь здоровье сделалось для нее едва ли не целью существования. И еще — сохранить мужа, удержать его.

Так вот, он был в командировке, в Москве. Анатолия Федоровна была дома одна — Зинаида Ивановна нашла все-таки каких-то дальних родственников, жила теперь у них, хотя по-прежнему была прописана у Шумилова, и приходила три раза в неделю помочь по хозяйству.

В дверь поскреблась — она именно скреблась, а не стучалась — Ольга Викентьевна в ярком, как всегда, халате, с папирсой в руке.

— Прошу прощения за беспокойство,— пропела она, странно как то ухмыляясь,— какая-то женщина спрашивает вашего супруга. Я не знаю, впускать ли ее в квартиру...

На лестничной площадке стояла женщина с заметно усталыми глазами, в сильно поношенном пальто, в старой, еще довоенной, шляпке. Лицо у нее было осунувшееся, бледное, но все-таки в ее почти совсем потухших глазах, в ее тронутом морщинами лице угадывалась недавняя красота, угадывалось врожденное благородство, которое неподвластно времени.

— Извините,— сказала она мягким, виноватым голосом.

— Ничего,— сказала Анатолия Федоровна, угадав, что это и есть та самая женщина, Елена Сергеевна, адрес которой был в записной книжке Шумилова. Именно ее адрес, а не фамилию актера он и хотел найти. В этом Анатолия Федоровна ничуть не сомневалась, и в этом была ее большая ошибка.— Вам нужен Антон Игнатьевич?

— Да. Видите ли... Мне, право, неудобно беспокоить вас...

— Не надо объяснять, вы ведь Елена Сергеевна?

— Да, да, Елена Сергеевна.

Тут Анатолии Федоровне нужно было бы просто сказать, что Шумилова нет дома, он в отъезде, сказать, что она его жена, и Елена Сергеевна ушла бы и никогда не появилась снова, она бы поняла, что ей нечего здесь делать, а вместо этого Анатолия Федоровна пригласила ее войти.

— Неудобно, право...— повторила Елена Сергеевна.

— Входите же, какие могут быть неудобства.

— Но Антона Игнатьевича ведь нет дома?

— Нет, он в Москве.

— А когда вернется?

— Да вы пройдите в комнату,— настаивала Анатолия Федоровна,— что же мы стоим на лестнице.

— Благодарю вас, я на одну минутку. Знаете, Антон Игнатьевич так помог нам в эвакуации, я так благодарна ему за все...— Они прошли в комнату.— А на днях я перебирала вещи и нашла, представьте себе, его довоенный адрес! И подумала, почему бы не зайти? Вы как

считаете?.. — Похоже, она еще не поняла, что перед нею жена Шумилова.

— Конечно,— сказала Анатолия Федоровна.— Присаживайтесь, я поставлю чайник.

— Нет, нет, что вы! Я просто хотела узнать, как он живет. В эвакуации все ленинградцы обменивались адресами, да и не только ленинградцы, конечно. Но теперь мало кого можно найти. Война разбросала кого куда.— Она глубоко вздохнула, подняла глаза на Анатолию Федоровну и поняла все.— Простите меня, ради бога. Простите. Я пойду. Я рада, что у него все хорошо. Право, очень рада. Он достойный человек, его все любили, а он... Ведь вы его жена, верно? .

— Да,— сказала Анатолия Федоровна.

— Я рада за вас обоих. Еще раз простите меня. Иногда так хочется встретить кого-нибудь знакомых, с кем были в эвакуации, поговорить... Право, и сама не знаю, почему так хочется. Ведь прошлое все равно не вернешь. Да и не нужно.

— Поэтому Антон Игнатьевич и не любит вспоминать о том времени.— Она не заметила, что противоречит себе же: всего несколько минут назад узнала Елену Сергеевну, догадалась, что это она, а теперь утверждает, что Шумилов не любит вспоминать прошлое. Тогда откуда же она знает имя Елены Сергеевны? .

— Наверно, Антон Игнатьевич прав,— проговорила Елена Сергеевна, не показывая виду, что уловила противоречие в словах Анатолии Федоровны.— Нужно жить настоящим, иначе вообще не стоит жить. Еще раз извините меня и передайте... Нет, ничего не надо передавать.

— Но почему? — словно удивляясь этой просьбе, сказала Анатолия Федоровна.— Ему, наверно, будет приятно... .

— С какой стати, что вы. Мы ведь были едва знакомы; просто земляки. Нет, ничего не говорите ему.

— Вы зайдете еще?

Елена Сергеевна улыбнулась горько, и эта ее улыбка уверила Анатолию Федоровну, что она никогда больше не придет, не потревожит ни Шумилова, ни их покоя, она даже не даст о себе знать, но навсегда уйдет из их жизни.

А Елена Сергеевна, выйдя на улицу, прислонилась к стене и заплакала. Она ругала себя за слабость, за это

неумное, говорила она себе, вторжение в чужую жизнь, за попытку вернуть то, что возвращению не подлежит, но и рада была, искренне рада за Шумилова, что все у него наладилось; вот только забыла спросить, отыскалась ли дочка, а может, подумала она, и хорошо, что не спросила.

Она вытерла слезы, раскрыла сумочку и, пересчитав деньги, заспешила в магазин, чтобы успеть до закрытия...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

В Москву Шумилов ездил вместе с директором. Их вызвали в министерство в связи с намечавшейся реконструкцией завода, и они везли свои предложения.

Савченко радовался предстоящим переменам, ему рисовались радужные перспективы; он надеялся, что завод переведут в более высокую категорию, а это — и дополнительные фонды, и штаты, и автоматическое повышение окладов.

— Выделят средства, ломаем мы все халабуды, — вслух мечтал Савченко, — и построим на их месте... Такое построим, Антон Игнатьевич!

— Выделят, выделяют, — усмехался Шумилов. — Много бумаг выделяют на фирменных бланках с гербовыми печатями, а вот насчет бумаг с водяными знаками я сильно сомневаюсь.

— А я всегда считал вас оптимистом, — удивленно сказал Савченко.

— Так я и есть оптимист, — возразил Шумилов. — Только мой оптимизм основан на реализме. Тяжелую промышленность надо поднимать, транспорт, а до нас с вами, Павел Егорович, еще не скоро руки дойдут. Людям жить негде, жрать нечего...

Заглянула проводница, спросила, не нужно ли чаю.

— Пожалуйста, — попросил Савченко. — Четыре стакана. Вы будете, Антон Игнатьевич?

— Разумеется. Чаек на сон грядущий — это замечательно.

— А у меня пирожки с капустой, жена положила. — Савченко вынул из портфеля большой пакет.

Чай был жидковат и едва теплый, зато пирожки оказались вкусные. Вагон мягко покачивало, колеса мерно стучали на стыках рельс. Купе было уютное, двухместное.

— Прекрасные пирожки,— похвалил Шумилов. Он догадался, что Савченко ждет этой похвалы.

— У меня жена хорошая хозяйка, любит готовить. Только теперь особо не разговоришься.— Он вздохнул.— А вы знаете, что «стрела» с дореволюционных времен ходит по этому расписанию?

Шумилов не знал этого.

— Да, да, в самом деле.

— Любопытно,— сказал Шумилов.— А я думал, что раньше не меньше суток из Петербурга в Москву ехали.

— Другие поезда, возможно, и дольше ходили, а «стрела»...

Из туалетной комнаты, расположенной между двумя соседними купе, открылась дверь и вышел мужчина. Он вытирал лицо.

— Танюша, ты уже постелила?— спросил он и опустил руки с полотенцем.— Что за черт!— воскликнул он.— Я, кажется, перепутал двери?..— И он внимательно посмотрел на Шумилова.

Шумилов тоже смотрел на него. Что-то знакомое, хорошо знакомое было в этом нездоровом, одутловатом лице и в этих глазах... Определенно, думал Шумилов, мы где-то встречались, и не походя, не мимоходом. У него была отличная память на лица, но он еще умел и не запоминать тех, с кем встречался случайно. Например, в транспорте, просто на улице.

Мужчина был в рубашке-сеточке с короткими рукавами, в пижамных полосатых штанах, так что одежда ничего не могла подсказать. Лет около шестидесяти, прикинул Шумилов. Осанистый, крепкий, безусловно уверенный в себе, привыкший скорее приказывать, чем исполнять приказы других. Нет, Шумилов не был психологом, однако все это как-то сразу бросалось в глаза, было очевидным...

— Шумилов?!— сказал мужчина и ткнул в него пальцем.— Точно: Шумилов.

— Да, я Шумилов.

Где же, где и когда они встречались?

— А меня не помнишь, сукин ты сын,— рассмеялся мужчина.— Мальчишка, а память как у худой курицы. Думай, Шумилов, думай, я сейчас вернусь. Приведу се-

бя, как говорится, в потребный вид. Или лучше в потребительский? — Он опять хохотнул и, кивнув в сторону Савченко, спросил: — Это с тобой?

— Да, мы едем вместе.

— Кто такой?

— Савченко. Павел Егорович Савченко, — сказал Шумилов.

— Не помню, не знаю. Но Егорович — это хорошо. Ладно, пошевели тут мозгами, я мигом. — И он вышел.

— Что за тип? Нахал какой-то... — пробормотал Савченко.

— Минутку, Павел Егорович... — Шумилов напрягся. Голос. Именно голос. Властный, рокочущий басок. «Ты мне ерунды не говори, отвечай ясно и коротко... Твое дело слушать и выполнять, а мое — приказывать. Когда поменяемся ролями, если когда-нибудь поменяемся, ты будешь приказывать, а я почтительно внимать». Где, когда он слышал этот голос и видел этого уверенно-го, осанистого человека?.. И ещё это «мальчишка»...

Вспомнил: Ермаков. Да, это он.

Он не успел ничего объяснить Павлу Егоровичу, дверь из коридора распахнулась, и Ермаков ввалился в купе. На нем были костюм, крахмальная рубашка, галстук. В руке — бутылка коньяку и стакан.

Значит, это его провожали на вокзале, только и успел подумать Шумилов. Когда они с Савченко пришли к поезду, за несколько минут до отправления, возле их вагона была небольшая толпа провожающих.

— Не люблю, понимаешь, ходить через уборные, — сказал Ермаков и поставил коньяк на столик. — В башке все мысль вертится: а вдруг там баба?.. — И рассмеялся вовсе уж громко, неестественно. — Вспомнил?

— Здравствуйте, — сказал Шумилов и, встав, протянул руку.

— То-то же! — удовлетворенно воскликнул Ермаков и обнял Шумилова. — Рад тебя видеть в полном здравии. Молодец. — Потом он повернулся к Савченко и бросил отрывисто, как бы снисходя до этого вынужденного знакомства: — Ермаков. Наливай, Шумилов. Пьете тут всякую, понимаешь, дрянь. Ты давно ча. чай перешел, Шумилов?.. Слушай, слушай, а мы с тобой выпивали раньше или нет?

— Нет, — ответил Шумилов.

— Жаль. А то моя супруга и тебя зачислила бы в

мои собутыльники. Ей-богу, Шумилов. У нее все мои друзья-приятели — мои собутыльники. Независимо, как говорится, от занимаемой должности. Тут заехал ко мне старинный товарищ, генерал-полковник, ну, выпили по малой, а она потом спрашивает: это твой новый собутыльник? Смешно, а? . . . А у тебя в этой твоей, как ее. . . Не смей подсказывать. . . Тотьва?

— Да,— сказал Шумилов.

— В этой твоей Тотье-Тотье, сколько я помню, был отличный гидролизный спирт. И дрянь вообще-то беспардонная, но ничего, принимали. А в чем дело? — Он посмотрел с удивлением на Савченко.— Командуй, Павел Егорович, командуй, не стесняйся.

А тот сидел сжавшись весь, растерянный, если не сказать раздавленный этим неожиданным натиском Ермакова. Он ничего не понимал, но, впрочем, догадывался, что человек этот из большого начальства, если даже Шумилов, который и перед изредка наезжавшим московским начальством держался независимо, был обескуражен.

— Суду ясно и понятно,— сказал Ермаков. Он откупорил бутылку и сам разлил коньяк. При чем делал он это как-то небрежно, скорее не наливал, а плескал. Поднял свой стакан, кивнул молча и выпил. Потом брякнул стакан на столик и осуждающе проговорил: — Вы хоть бы свои посудины из подстаканников вынули, тоже мне питерская интеллигенция! Значит, жив Шумилов. Это прекрасно. А сейчас чем занимаешься?

— Работаю.

— Вот те и раз, открыл Америку! Еще бы ты не работал. Кто же тогда станет работать, если не ты? . . . Где, спрашиваю, кем?

— На заводе, главным инженером. Павел Егорович директор.

— Это что же, твой начальник? — Он скептически, вскользь оглядел Савченко, словно оценивая его.— Не знаю. Что за завод такой?

— Но меня-то знаете,— сказал Шумилов. Он пришел в себя от первого натиска Ермакова и вовсе не собирался просто подыгрывать, поддакивать.

— Начиная узнавать. Но ты прекрасно понял, о чем я спрашиваю.

— Разве вы знаете всех директоров в Ленинграде?

— Хороших — всех,— сказал на это Ермаков.— По-

ложение обязывает. Не помню, как это говорят французы или еще там кто-то, черт их разберет. . .

Постучали в дверь.

— Открыто! — крикнул Ермаков.

Дверь аккуратно приоткрылась, вошла молодая женщина.

— Прошу прощения. . . Отец, ты спать сегодня собираешься? Скоро час.

— Иди ложись, — сказал Ермаков недовольно. — Я, понимаешь, старого знакомого встретил. Иди, иди, не мозоль мужикам глаза, они все давно женатые.

— Отец! — вспыхнула она.

— Все, нам нужно поговорить. Да, как будет по-французски «положение обязывает»? . .

— Ноблес оближ. . .

— Именно: ноблес оближ, то есть иди спать. — Когда она вышла, Ермаков объяснил: — Дочка, обязательно наядбедничает матери, так что ты, Шумилов, все равно попал в список моих собутыльников. Тысячу раз зарекался возить с собой бабье! Уговорила, никогда, понимаешь, не была в Ленинграде. Придется подчиниться. Разлей-ка, Шумилов, по последней. — Он выпил коньяк, передернулся весь, громко отфыркался и отломил крошку пирожка. — Пакость. Записывай мои координаты.

Шумилов достал записную книжку (вот здесь, кстати, он вспомнил, что всего несколько дней назад видел свою старую записную книжку, она лежала на книжной полке, на самом верху) и авторучку. Ермаков продиктовал служебный и домашний телефоны.

— Позвонишь обязательно, понял? Во-первых, мы с тобой не договорили. Во-вторых, ты мне нужен. В-третьих и в-главных, я тебя все равно разыщу и тогда ты не просто придешь ко мне в гости, а явишься по вызову и долго-долго будешь торчать в приемной. Ты меня знаешь. Да, извини, забыл спросить: как жена? Помнится, у нее что-то было со здоровьем?

— По-разному, — ответил Шумилов.

— Извини, брат. С вокзала подбросить не обещаю, со мной целый кагал гавриков, а я велел подать одну машину. Если возникнут трудности с гостиницей или еще что-то, звони немедленно. Меня не будет на месте, скажешь помощнику, он в курсе.

Какое-то время после ухода Ермакова Шумилов и

Савченко сидели молча, курили. Шумилов понимал, что Савченко сгорает от любопытства, ждет объяснений. Воткнув окурок в пепельницу, он сказал:

— В начале войны был начальником главка, генерал. Приезжал на Урал разбираться, там дела были не блестящие.

— Это когда вы были директором?

— Он и назначил меня директором.

— Интересно, кто же он теперь?

— Понятия не имею. Надо же, такая встреча. Прямо чудеса в решетке, да и только. Ну и память у него.

— А я подумал, Антон Игнатьевич, что он неспроста велел ему позвонить. Такие люди просто ничего не делают. Заберет он вас куда-нибудь, попомните мои слова.

— История не повторяется, Павел Егорович,— с сомнением проговорил Шумилов.

— Не скажите, в жизни бывает всякое. Иной раз жизнь такой виток закрутит... А жаль, искренне жаль. Я-то надеялся, что мы с вами еще завернем большие дела. У вас есть крепкая хватка. Хотя... Только не обижайтесь: главный инженер вы неважный. Вы прирожденный организатор, вам нужна полная самостоятельность.

— Спасибо за откровенность, Павел Егорович. Но я как-то не задумывался на эту тему. По-моему, человек должен уметь работать везде, где необходимо.

— Э-э, нет, Антон Игнатьевич. Позвольте не согласиться с вами. Вы можете быть прекрасным начальником цеха, директором, министром, я уверен, тоже можете. А все промежуточные ступеньки не для вашего характера. Теперь давайте рассуждать. Начальником цеха вас не назначат, это факт. И министром пока не назначат. Выходит, завод. А вот какой?

— Шпалопропиточный,— пошутил Шумилов.— Давайте-ка спать, Павел Егорович,— и он легко взобрался на верхнюю полку.

А не спалось Шумилову, Явление Ермакова взбудоражило его, и не то чтобы он возмечтал о новом назначении, однако где-то в глубинах сознания всходила все-таки мысль и об этом. Что уж там, хочется перспективы, размаха, риска. И, конечно же, самостоятельности, и тут-то Савченко абсолютно прав. Хочется работать во

всю силу, на будущее работать. Не окна стеклить, а дома строить...

— Не спите, Антон Игнатьевич? — окликнул Савченко.

Шумилов промолчал.

II

Особенных каких-то дел ни в министерстве, ни в Госплане, ни в прочих столичных организациях не было. Так, общие разговоры и пожелания и столь же общие обещания оказывать заводу всяческую помощь и поддержку, но покуда необходимо напрячься, привести в действие внутренние резервы с тем, чтобы перестройка производства никоим образом не сказалась на выполнении текущих планов. Тем не менее три дня куда-то подевались, будто и не было их вовсе, трех календарных дней. На четвертый день собрались возвращаться в Ленинград. Звонить же Ермакову Шумилов не стал. Днем за бегом и разговорами в министерских кабинетах вроде и некогда было, а беспокоить Ермакова дома он просто не решился. Мало ли, что сам дал домашний телефон, возражал он Савченко, когда тот упрекал его в нерешительности. Может, дал из вежливости, да тотчас и забыл. Нужен я ему...

И вдруг телефонный звонок. Трубку взял Савченко. Выслушал кого-то и сказал:

— Вас, Антон Игнатьевич.

— Товарищ Шумилов?

— Да, я товарищ Шумилов, слушаю.

— Я звоню по поручению товарища Ермакова, моя фамилия Михайлов. Товарищ Ермаков ждет вас. Машина будет у подъезда гостиницы через пятнадцать минут, номер ноль-три-семнадцать.

Шумилов ничего не успел ответить, в трубке уже коротко гудело.

— Что? — спросил Савченко. — От него?

— От него, — сказал Шумилов. — Придется ехать, машина сейчас будет внизу. Черт его знает!

— Я же вам говорил, Антон Игнатьевич.

— Ладно. Я портфель возьму с собой, приеду, пожалуйста, прямо к поезду.

Шумилов спустился вниз. Машина стояла у подъезда.

— Михайлов,— представился молодой эlegantный мужчина. И открыл дверь.

Нельзя сказать, что размеры кабинета или его обстановка поразили Шумилова. В общем-то, он знал, какие бывают кабинеты у высокого начальства, а все же он растерялся немножко, войдя в кабинет Ермакова. Тот встал, дождался, когда Шумилов подойдет к столу, и протянул руку.

— Ну, здравствуй, гордый человек,— сказал.— Садись, рассказывай, сейчас принесут чайку. Думаешь, я не знал, что ты не позволишь? Знал, я, брат, все про тебя знаю. И даже больше. Меня не обманешь. Да ведь и ты не лыком шит, а? . . . То-то и оно.

Это был все тот же Ермаков, с которым встретились в поезде, однако теперь было в нем и нечто новое. И начальственная манера говорить, и повелительный голос, и породистость никуда, конечно, не делись. Все, как говорится, было при нем, а в то же время был он и как бы другим Ермаковым, и Шумилов не вдруг понял, в чем тут дело. Сосредоточенность, спокойная, уверенная деловитость — вот что появилось в нем. Умеет держаться, умеет изменять, варьировать свое поведение в зависимости от условий и обстановки. Это, подумал Шумилов, приходит только с опытом.

— Что же молчишь? — потревожил его Ермаков.

— А нечего, собственно, рассказывать. Все в поезде рассказал.

— В поезде, брат, был не разговор, побасенки.

Открылась дверь, и Михайлов вкатил в кабинет столик на колесах, накрытый крахмальной салфеткой.

— Ага, вот и чаек! — воскликнул Ермаков.— Или ты предпочитаешь кофе? Старые петербуржцы, кажется, большие любители кофе? . . .

— Мне безразлично.

— А чего-нибудь покрепче?

— Лучше не надо,— сказал Шумилов.

— Тогда все.— Ермаков кивнул, и помощник его выскользнул из кабинета.— Значит, рассказывать тебе нечего? . . .

Шумилов понимал, чего именно требует Ермаков, но вспоминать прошлое он не хотел и не любил. Что было, считал он, то было. Не к чему ворошить. Прошлое не сено, лучше не делается.

— Живу, работаю,— сказал он.

— Такие-то подробности твоей биографии мне известны и без тебя,— рассмеялся Ермаков.— Все еще обижаешься или прошло?

— А на кого и за что мне обижаться?

— На меня, еще на кого-нибудь. Вообще на начальство, которое ни черта не понимает в жизни, не видит дальше своего носа и дрожит от страха потерять тепленькое местечко.

— Обижаться можно только на себя,— сказал на это Шумилов.

— Хороший афоризм, вполне в твоём духе. Честно говоря, ты нагородил там, а у меня были на тебя виды, брат. Да не двигай, не двигай ты скулами, я тоже не из пугливых, не боюсь. Работой доволен?

— Работа и есть работа.

— Ты прямо отвечай, не юли.

— Нет, не доволен.

— Я так и думал. Это хорошо, что не доволен. Не люблю, понимаешь, довольных, такие люди не видят перспективы; успокоились и сидят. Да, что такое этог... Савченко?

Значит, подумал Шумилов, он собирается посадить меня на место Павла Егоровича. Но почему?

— Нормальный директор, вполне справляется.

— Еще бы, при таком-то главном! — сказал Ермаков.— Пойдешь на его место?

— Я пойду и буду работать там, куда пошлют,— ответил Шумилов.— Но какой смысл...

— Я не об этом тебя спрашиваю,— поморщился Ермаков.— Я тебя спрашиваю: пойдешь или нет?

— Если бы это зависело от меня?

— От тебя, от тебя! Упрямый ты бык, а не человек.

— Тогда — нет.

— Почему?

Шумилов пожал плечами.

— Масштаб не тот? Проявить себя негде? Говори прямо, не стесняйся.

— Примерно так,— признался Шумилов.

— А молодец, Шумилов! — воскликнул Ермаков.— Ей-богу, ты молодец. Так их, так! — Он обошел стол и сел рядом с Шумиловым.— А на свой завод вернулся бы?

— На какой свой?

— Как на какой! Где до войны работал.

— Но там же...

— А ты что, уже знаешь, кем я тебе предлагаю туда пойти? — притворно удивился Ермаков. — Это мой помощник тебе щепнул? Ну, хлыст, придется гнать.

Шумилов молчал. Он понимал, что все это игра.

— Но учти, — продолжал Ермаков, — завод в труднейшем положении. Оборудование, которое вывезли в свое время на восток — да ты и вывозил, кажется? — решено было там и оставить, так что... Сейчас завод дает продукции что-то около сорока процентов от довоенного уровня. В ближайшие годы необходимо не только достичь этого уровня, но и превзойти. Вникаешь?

— Вопрос можно?

— Все можно, кроме плохой работы, Шумилов.

— А куда Малахов?

— Куда хочешь. Можешь оставить у себя, тебе решать. Не справился он, завалил дело. Я и в Ленинград специально ездил, разобраться на месте. Как видишь, съездил не зря, а!.. — Он лукаво подмигнул. — Помощь в разумных пределах гарантирую. Финансирование на реконструкцию и новое строительство будет открыто. Но спрос самый строгий, как в войну. Полномочия самые обширные. Мелочиться не будем и мешать тоже. Работай, действуй. Мой тебе совет, Шумилов: подбери хороших помощников, вместо тебя этим вопросом заниматься никто не станет.

— Это официальное предложение? — спросил Шумилов.

— Безусловно. Вопрос в принципе решен. Приказ будет подписан немедленно. Не вижу радости. Ты чем-то недоволен?

— Доволен и постараюсь оправдать доверие, — сказал Шумилов. — А радость... — Он взглянул прямо в глаза Ермакову. — Вы разве на курорт, порезвиться меня посылаете?

— А ты не волнуйся, брат. Год-другой поработаешь, придется отправлять тебя не то что на курорт — в больницу! Ты, брат, еще не хлебал настоящей, крутой административно-хозяйственной каши, вся твоя предыдущая деятельность всего-навсего цветочки, а ягодки впереди. Можешь не зазнаваться.

— Простите, но я не давал повода...

— Ну, ну! В бутылку лезть не надо, ни к чему. Обратно вылезать тяжело. Я, брат, постарше тебя буду по всем статьям, мог бы и простить невинную шутку. — Он встал и вернулся на свое место, за письменный стол.

Тотчас появился помощник.— Машину,— сказал Ермаков.— Мы едем домой.

— Если вы разрешите, я в гостиницу. У нас на сегодня билеты, я еще застану Савченко.

— Не желаешь, стало быть, навестить старика?

— Поздно уже,— сказал Шумилов.— И вы устали.

— Хорошо, подброшу тебя в гостиницу. А вот уехать тебе сегодня не придется, брат. Потолкаешься еще два-три дня в Москве, познакомишься со своим новым непосредственным начальством. Заодно побываешь все-таки и у меня в гостях. Все, едем.

Савченко совсем не ждал Шумилова, он укладывал покупки в чемодан. Когда Шумилов вошел в номер, посмотрел на него молча, вопросительно.

Шумилов развел руками.

— Я же знал,— сказал Савченко.— Директором?

— Директором, Павел Егорович.

— Куда?

Шумилов назвал завод.

— Ого! Если возьмете, пойду к вам начальником цеха.

А что, подумал неожиданно Шумилов, он может пригодиться. По крайней мере, в нём я могу быть уверен, почти как в себе самом. Если его взять замом, это несколько не ущемит его самолюбия. Масштабы производства просто несоизмеримы.

— Возьмете, Антон Игнатьевич? — спросил Савченко.

— Подумаю, — ответил Шумилов. — Возможно, и приглашу.

После уже, проводив Савченко и оставшись один, он ощутил и волнение, и радость, и было, было у него желание прямо сейчас, среди ночи, позвонить кому-нибудь и поделиться своей радостью. Например, Павловским. Нет, Павловским нельзя, это известие обидит Павла, обидит, хотя Павел и не покажет этого. Кирпичниковым?.. Им-то было бы можно, но Шумилов не знал номера телефона. Да и телефон у них полуслужебный: вернувшись в Ленинград, Кирпичников устроился работать воспитателем в ремесленное училище, и жили они прямо в общежитии: их дом в войну разбомбили. Да и вернулись они поздновато, все равно квартиру бы заняли уже.

В результате он никому не стал звонить.

В общей сложности Шумилов пробыл в Москве неде-

лю, его принял заместитель министра, начальник главка, побывал он все-таки и дома у Ермакова. Кстати, жена его оказалась очень доброй, милой женщиной, она долго смеялась, когда сам же Ермаков и рассказал ей, как напугал Шумилова тем, что он попал в список его собутыльников.

Возвращался Шумилов в Ленинград уже директором завода, хотя, по правде говоря, ему как-то не верилось в это. Слишком неожиданно, быстро все получилось. Поверить этому действительно было трудно. . :

Он вышел из вагона, и тотчас рядом объявился молодой парень. Подошел и спросил:

— Вы Антон Игнатьевич Шумилов?

— А в чем дело? — обеспокоенно сказал он. Подумалось о жене, не случилось ли что-нибудь с нею.

— Приказано встретить вас. Я водитель, меня зовут Коля.

— И кем же приказано встретить меня?

— Начальство приказало, — ответил Коля уклончиво. — Давайте ваш портфель.

— Спасибо, я привык свой портфель носить сам. — Шумилов понял, что на завод сообщили о его назначении, сообщили и каким поездом, в каком вагоне он едет. А дальше все просто — Малахов распорядился послать машину. Пожалуй, будь на месте Малахова я, подумал Шумилов, поступил бы точно так же. Это естественно. — Раз приказали, поехали, Коля.

— Прямо на завод или сначала домой?

Этим вопросом он несколько озадачил Шумилова. По идее надо бы, конечно, ехать на завод, там наверняка ждут, собрались все в кабинете Малахова, обсуждают-рассуждают. . . Но ведь я еще не сдал дела на том заводе, я еще числюсь там главным инженером, хотя уже и директор здесь. А вообще-то, пришел он к выводу, это будет глупо, если я прямо сейчас явлюсь к Малахову. Потому глупо, что именно этого от меня ждут. Как же, Шумилов разомлел от счастья, Шумилов не терпит, Шумилов всегда был та кой. . .

— Вот что, Коля, — сказал он. — Пока я официально не твой начальник. Если можешь, подбрось на завод, только на другой.

— А к нам? — удивился водитель.

— Сначала сдадим дела в другом месте.

— Понятно! — сказал Коля и открыл дверцу новенькой бежевой «Победы».

— Кого ты возишь? — поинтересовался Шумилов.

— Вашего предшественника.

— Выходит, уже весь завод знает?

— Неделю назад все знали,— простодушно ответил Коля.

— Неделю?

— А может, и больше. Приезжало высокое начальство из Москвы...

— И что же?

— Так а что? Сразу и пошли разговоры, что хотят назначить вас.

— Я смотрю, у вас прекрасно поставлена служба информации,— сказал Шумилов.

— Иначе нам нельзя, Антон Игнатьевич. Водитель — не служба погоды, он должен всегда знать, с какой стороны подует ветер через десять дней,— и Коля рассмеялся, ему понравилась собственная шутка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Первую неделю Шумилов никакими конкретными делами, в сущности, не занимался, знакомился с «наследством». «Вступал во владение», как говорили заводские остряки. Хотя, вообще-то, он знал на заводе каждый закоулок, знал многих людей и многие помнили его. Это было приятно, это упрощало его положение «новой метлы», но в то же время и создавало некоторые сложности. Его знали, а это значит, что о нем уже имели определенное мнение, ждали от него определенных поступков, и он просто обязан оправдать доверие тех, кто относился к нему с уважением, кто искренне радовался его назначению, кто с его приходом ожидал перемен к лучшему...

Все это прекрасно понимал Шумилов и потому особенно внимательно, с пристальным интересом приглядывался к своим ближайшим помощникам. Ошибаться ему было нельзя. Ему предоставили право решать кадровые вопросы, дали возможность выбрать себе помощников, но это только сейчас, сегодня, завтра такого права у него не будет...

С Малаховым насчет его дальнейшей работы разговор состоялся в первый же день, однако он уклонился

от прямого, честного ответа на прямой же вопрос, сказал, что должен подумать, что у него неважно со здоровьем, а пока он взял отпуск и уехал в санаторий лечить то ли язву, то ли печень.

С главным инженером Трошиным, которого Шумилов знал с довоенных времен, и знал как хорошего инженера, с заместителем по общим вопросам Федоровым (это новый человек на заводе) и начальником производства (тоже новый человек) Угрюмовым, внешний вид которого и манера разговаривать вполне соответствовали его фамилии, Шумилов ходил по цехам, заглядывая в такие места, куда до него не заглядывал ни один директор, а пожалуй, не заглядывали и начальники цехов. Он не нашел больших изменений, если не считать следов, оставшихся с войны. Разрушены были два цеха, но уже восстановлены, сгорела пожарка и прямым попаданием крупнокалиберного снаряда снесло одну дымовую трубу. Как объяснили Шумилову, немцы, вероятно, полагали, что на этой трубе — она была самая высокая — расположен наш наблюдательный пункт, и систематически обстреливали ее.

— А был наблюдательный пункт? — заинтересовался Шумилов.

— Ничего там не было, — сказал Трошин. Он оставался на заводе всю блокаду.

Кстати, Шумилов спрашивал у начальника главка, почему не назначили директором именно Трошина, ведь он отлично знает завод, прекрасный инженер, на что начальник главка ответил, что так, мол, решило высшее руководство. А теперь Шумилов и сам понял, в чем тут дело: очень уж мягок по характеру Трошин, нерешителен, когда нужно приказывать и требовать исполнения. Он инженер и только инженер, а этого слишком мало, чтобы стать хорошим директором. Однако расставаться с ним ни в коем случае нельзя — лучшего помощника не найти.

В целом же впечатление о заводе у Шумилова сложилось грустное. Беспорядок, грязь, территория захламлена, но главное — во всем угадывалась неуверенность, какое-то странное равнодушие. Разговаривали люди неохотно, на вопросы отвечали односложно — «да» или «нет», чаще вовсе отмалчивались, пожимали плечами. Дескать, начальству виднее, что и как, вот у него, у начальства, и спрашивайте. А мы, дескать, люди маленькие, наше дело сторона. . .

Как-то утром в инструментальном цехе Шумилов встретил старого кадрового рабочего Рябова, который пришел на завод мальчишкой задолго до революции. Рябов тоже узнал Шумилова.

— Как живем-можем, Василий Иванович?

— Живем, хлеб жуем, а вот насчет можем... Это потруднее, чем жевать, Антон Игнатьевич. Мочь вам, молодым, надо. А мы уже старики, пора о покое думать.

— А работается-то как?

Разговор не получался, и Шумилов досадовал на себя, что взял не тот тон.

— Работается ни шатко, ни валко. Говорят, лишь бы день да ночь, сутки прочь. Суток-то у них впереди много, они и разбрасываются. А ты, стало быть, товарищ Шумилов, к родному очагу возвратился?..

— Выходит, так.

— Это хорошо,— сказал Рябов.— Старики говорили, что дома и солома едома, а что сам не прожужешь — скотине скормить можно. Ты приглядывайся, приглядывайся — должность у тебя теперь большая и спрос, стало быть, большой.— Он пристально так, с нескрываемым интересом посмотрел Шумилову в глаза, отвернулся и включил станок.

— Наш ветеран,— сообщил Федоров.— Гордость коллектива, но старик себе на уме и очень уж беспокойный.

— Это плохо?

— Простите?..

— Я говорю, это плохо, что он беспокойный? — повторил Шумилов.

— Все хорошо в пределах.

— Может быть, вы и правы.

Никому ни слова не сказал Шумилов в упрек в эти первые несколько дней. Хотя видел кое-что и такое, за что в другое время и в другой ситуации погнался бы виновных с завода в три шеи. Он велел себе не делать поспешных выводов. Вернее, не спешить с выводами.

На третий, кажется, день к нему пришел секретарь парткома Горелов. В полувоенном, модном в те годы, френче, в темно-синих галифе, заправленных в хромо-вые сапоги, постриженный «ежиком». В нем сразу угадывалась армейская выправка и подчеркнутая аккуратность. Он присел сбоку письменного стола, достал из портсигара с монограммой папиросу, постучал ею по

столешнице, вытряхивая из мундштука табачную пыль, и закурил.

— Пора бы и познакомиться нам,— проговорил он.— Раньше не зашел, потому что был болен. Сегодня вот первый день. Врач была против, но я подумал, что болеть не время. . .

— Болеть всегда не время,— сказал Шумилов.— Хорошо бы вообще никогда не болеть.

— Это верно. Но тут мы с вами бессильны.— Он затянулся и положил папиросу на край пепельницы.— Какковы ваши впечатления о заводе, о людях? — спросил он. Спросил уверенным, твердым голосом человека, который понимает свое положение не иначе, как равное с положением директора.

— Об этом пока рано говорить,— ответил Шумилов.— Надо разобраться.

— Я не о выводах, Антон Игнатьевич, выводы, разумеется, делать преждевременно. Я о ваших впечатлениях. Свежим глазом иногда можно увидеть то, что для других остается незамеченным.

— Впечатления пока тоже самые приблизительные, поверхностные,— сказал Шумилов.— Да и глаз у меня не так уж свежий.

— Мне известно, что вы работали здесь,— кивнул Горелов.— Но с тех пор немало воды утекло, многое изменилось. Мне кажется, вы не очень довольны положением дел?

— Мое довольство или недовольство ровным счетом ничего не меняет. И потом. . . Можно быть недовольным женой, например, а завод. . .— Он тоже закурил.— Я думаю, что всякое недовольство кого бы то ни было и чем бы то ни было надо забыть, поставить точку. Скажем так: был определенный этап в жизни завода, были определенные обстоятельства и вытекающие из этих обстоятельств задачи. Этап этот завершился. Плохо ли, хорошо ли, но завершился. Перед нами поставлены новые задачи, вот из этого мы и должны исходить.

— Готов с вами согласиться,— сказал Горелов, раскуривая потухшую папиросу.— Но мне бы не хотелось, и не только, как вы понимаете, мне, чтобы огромная все же работа, сделанная коллективом завода в самое тяжелое время, представилась вам. . . в черном цвете. Это далеко не так. Скажу вам больше: партийный комитет не вполне согласен с той оценкой деятельности Сергея Ивановича Малахова, которую ему дала комиссия. . .

— Василий Захарович,— перебил его Шумилов,— к работе комиссии я не имел никакого отношения и никаких оценок Сергею Ивановичу не выставлял. Думаю, что, если у парткома было или есть свое мнение и мнение это отвечает положению вещей, вам нужно обратиться туда, где эти вопросы решают.

— Я не привык, не приучен оспаривать мнение вышестоящих.

— Но почему вы с этим вопросом пришли ко мне?

— Я пришел к вам не с вопросом,— с нажимом проговорил Горелов,— но единственно затем, чтобы познакомиться, раз уж нам вместе работать, и обрисовать вам общую, так сказать, картину.

— Спасибо. Все, что вы говорили, я приму во внимание.

— Я не знаю, о чем с вами беседовали в Москве, но мне было бы крайне неприятно, если бы у вас сложилось превратное впечатление. Сергея Ивановича освободили, вас назначили, не посчитавшись с мнением партийного комитета, таким образом судить вроде бы легко...

— Простите, Василий Захарович, я не народный судья и даже не народный заседатель. У меня нет ни желания, ни права судить. Наказывать — такое право есть, а судить... — Шумилов развел руками.— И давайте не будем лезть в дебри, из которых можно ведь и не выбраться. А об остальном, то есть о делах и наших с вами задачах поговорим в другой раз, когда я буду к этому готов.

— Хорошо,— сказал Горелов, поднимаясь.— Я считаю, что не мешало бы собрать актив, посоветоваться с людьми, обсудить в коллективе те задачи, которые предстоит решать заводу в ближайшее время.

— Подумаем и об этом. Вероятно, соберем и актив, но не сейчас. Если уж говорить с людьми, советоваться, то не вообще о задачах, но конкретно, с фактами и цифрами в руках. Давайте не будем спешить, Василий Захарович.

Горелов не понравился Шумилову, почему-то он вызывал антипатию, настороженность. Вроде бы и не было для этого каких-то веских, основательных причин, а вот не понравился, и все. Стоп, сказал себе Шумилов. Нельзя поддаваться первому впечатлению, оно слишком часто бывает обманчивым. А хотя бы и нет, что из того? В конце концов, вовсе необязательно, чтобы все люди,

окружающие тебя, были тебе приятны и симпатичны. Так просто-напросто не может быть. И не нужно, чтоб было так. С приятных и симпатичных труднее спрашивать, усмехнулся Шумилов. . .

В конце недели он созвал небольшое совещание. Присутствовали его ближайшие помощники, начальники цехов и отделов, Горелов и председатель завкома.

— Для сведения тех, с кем мы еще не встречались: я назначен директором завода. Представляться, полагаю, нет нужды. . .

В это время начальник прокатного цеха Блинкин наклонился к соседу и что-то шепнул ему. Тот прыснул и зажал ладошкой рот:

— Товарищ Блинкин, — сказал Шумилов, — повторите, пожалуйста, вслух, мы все хотим посмеяться.

Блинкин встал.

— Да я так. . .

— И этого «так» достаточно, чтобы рассмешить взрослого человека? Садитесь, что вы вскочили, здесь не школа, а вы не первоклашка. А на будущее, Блинкин, запомните: либо высказываете свое мнение, в том числе и обо мне, вслух, либо молчите. Теперь, товарищи, обращаюсь ко всем. Думаю, что вы ожидаете от меня тронной речи, разносов и всего прочего, что, как считается, сопутствует появлению новой метлы. . . — Тут действительно все заулыбались. — Тронной речи не будет. Я вообще не сторонник речей, когда нужно делать дело. А мы с вами для того и живем, чтобы делать дело. Кроме того, место, на которое меня посадили, я отнюдь не считаю тронном. Скорее уж это эшафот. — И снова все заулыбались. — Да и обстановку на заводе я пока знаю только в общих чертах. Положение тяжелое, и это вам известно лучше, чем мне. Но. . . сейчас всем тяжело, и, думаю; в ближайшие годы никто нам легкой жизни обещать не может. Хочу еще предупредить: никаких поблажек не ждите. Никакие объективные причины для оправдания плохой работы принимать не стану и в пределах данной мне власти буду спрашивать с максимальной строгостью. Кое-кто из вас сидит и думает, что, дескать, знаем мы это, слышали, все так начинают, а после пооботрут, пообтреплются, повалятся в нашей грязи и позабудут обо всем. Обещаю вам: этого не будет. Так что. . . — Он обвел внимательным взглядом зал, узнавая многих из сидящих здесь. — Если кого-нибудь не устраивает перспектива работать со мной и работать так, как

необходимо, как этого требуют от нас условия задачи, прошу подать заявления. Сегодня у нас суббота?.. Начиная со среды будущей недели заявлений принимать не буду. У меня все, товарищи. Если вопросов нет, свободны.

Но тут поднялся Горелов.

— Минутку, товарищи.

И он произнес речь о новых рубежах, какие предстояло взять коллективу завода, об укреплении трудовой дисциплины, о порядке и организованности, которые в данный момент необходимы как никогда раньше. Говорил он минут двадцать, и все это время Шумилов смотрел на него с откровенным недоумением, смотрел и думал, как ловко, здорово некоторые умеют произносить красивые речи ни о чем. И ведь не прервешь, не скажешь ведь, что все это пустое, потому что слова-то правильные, нужные и важные слова. Но нельзя же, нельзя, черт побери, бросаться этими словами направо и налево, бросаться вчера, сегодня, завтра — каждый день, произносить их по делу и без дела. Не перед школьниками же выступает, досадовал Шумилов, а перед взрослыми, умудренными людьми, каждый из которых и сам может встать и сказать то же самое. . .

II

Совещание закончилось в седьмом часу вечера, и Шумилов, прежде чем ехать домой, решил заглянуть к Кирпичниковым. С кем ему хотелось поговорить, так это с Николаем Николаевичем. Да и не виделись они уже побольше чем полгода. Впрочем, они виделись всего один раз после возвращения Кирпичниковых в Ленинград.

— А, почтил все же, — сказал Николай Николаевич. — Мы, грешным делом, думали. . .

— Индюк тоже думал, — огрызнулся Шумилов.

— Индюк — это другое. Из меня порядочного супу не сварить. Ну, проходи, проходи. Как кто-то кому-то где-то говаривал, дай взгляну на тебя.

— Чего на меня глядеть? Я не жених, а у тебя невесты все равно нету.

Из-за тряпичной занавески, где, похоже, было устроено нечто вроде спальни, появилась Мария Ивановна.

— Здравствуйте, здравствуйте, Антон Игнатьевич. Давненько не заходили к нам, очень рады.

— Подумаешь, она рада! — усмехнулся Кирпичников в пышные седые усы. Прежде он усов не носил. — Ему твоя радость... Поздравила бы лучше человека.

— С чем? — притворно удивилась Мария Ивановна. Конечно же, она уже знала о его назначении.

— Опять Шумилов в гору полез. Он теперь директор, да еще какого завода! Нашего, Машенька, завода. Как тебе это нравится?

— Но это же замечательно! — воскликнула она. — Поздравляю вас, Антон Игнатьевич. От всего сердца поздравляю.

— Благодарю, Мария Ивановна, — сказал Шумилов. — Но я между прочим не лезу в гору, а иду. — Он ехидно посмотрел на Кирпичникова.

— Не вижу принципиальной разницы, — отозвался тот. — Один вроде идет, а на самом-то деле лезет, и даже не лезет, а прет. Другой, глядишь, совсем наоборот. Да не пыжься, не первый день друг друга знаем. Я ведь понимаю, что кусок хлеба достался тебе нелегкий.

— Вот и помоги.

— Это ты хватил. Какой, к дьяволу, я тебе помощник! Хошь не хошь, а стежки-дорожки наши разошлись в разные стороны.

— Они разошлись, а мы их сведем, — сказал Шумилов.

— Не получится, — вздохнул Кирпичников.

— Все в наших руках. Найдем тебе настоящее дело, есть у меня на примете... — Он в самом деле хотел предложить Кирпичникову должность главного диспетчера производственного отдела. Это очень важная должность, считал Шумилов, от диспетчерской службы многое зависит, а сейчас служба эта явно не справлялась со своим делом. На месте главного диспетчера, как он успел выяснить, сидел человек без всякого образования, какой-то дальний родственник Малахова.

— А ты спросил меня, хочу ли я к тебе на завод? Не спросил, не пришел. Зато сам уже все решил, все прикинул. Нет. — Он покачал головой и повторил: — Нет. И рад бы в рай, да грехи наши велики и неискупимы.

— Брось ты со своими грехами! Уж ты-то у нас чистенький, как ягненок.

— Знаешь, меня все больше к оттоманке тянет.

Николай Николаевич действительно выглядел неважно. Лицо осунулось, набрякло, кожа обвисла, сморщилась даже; и, если бы не лихие, почти буденнские

ские усы, казался бы вообще дряхлым стариком. А впрочем, и немудрено: натерпелся Кирпичников много и всякого. Но ничего этого Шумилов не знал. Ему как-то в голову не приходило, что с Николаем Николаевичем может что-то случиться, а сам Кирпичников ничего не рассказывал, отделяваясь общими фразами. Запретил он рассказывать и жене. А если по правде сказать, так Шумилов не очень-то и расспрашивал.

— Насчет пенсии ты подзагнул, на тебе еще пахать и пахать.

— Отпахался,— возразил Кирпичников.

— Ты помнишь Ермакова? Который приезжал...

— Помню, что дальше?

— Я был у него в Москве.

— Ах вон оно что! Интересно.

— Знаешь, что он мне сказал?

— Пока не знаю, но догадываюсь.

— Он сказал, что непростительно, преступно разбрасываться опытными, на деле проверенными кадрами, заниматься мелочами в такое суровое, напряженное время.— Говорил ли это Ермаков, Шумилов не помнил. Но что-то подобное, что-то похожее должен был говорить.

— Все правильно,— сказал Кирпичников.— Только меня это не касается.

— Это почему тебя не касается?

— Мною, раз уж ты отнес меня к категории опытных, проверенных кадров, никто не разбрасывался. Да и не бита я, чтобы мною кто попало кидался. И занимаюсь я, к твоему сведению, не мелочами, а большим и важнейшим делом — воспитанием подрастающего поколения. И многие из них сироты, потерявшие во время войны и отцов, и матерей. Прости старого дурака за громкие слова, но это будущее страны, будущее нашего с тобой народа. А ты — мелочи... — Он насупился и отвернул лицо.

— Прости, я совсем не хотел обидеть тебя. Но ты пойми, пойми, воспитателем в твоём ремесленном может работать любой человек, для этого много ума не нужно. А я нашел для тебя настоящее дело...

— Ошибаешься. Растить людей, воспитывать этих полуголодных мальчишек, лишенных детства, семьи, ничуть не менее важно и трудно, чем выполнять план. Я согласен, что на моё место нетрудно найти человека. Ты знаешь, что я никогда не претендовал на исключительность, да и не верю я, не верю ни в чью исключи-

тельность! Нет такого места, на которое не нашелся бы способный, талантливый человек.

— Тем более, раз так! — воскликнул Шумилов.

— Нет, не тем более, — остановил его Кирпичников. — Я люблю свою работу, люблю своих сорванцов и ничего менять не хочу.

— Хорошо, хорошо. А зарплата? Сколько ты здесь получаешь?

— Нам с Машей хватает. Верно, Машенька? — обратился он к жене.

— Да, Коля, нам хватает.

— Вот и все. И староват я уже, чтобы скакать туды-сюды, пора бы остановиться и оглядеться. Знаешь, вот когда ты почувствуешь такую необходимость — остановиться и оглядеться, — тогда поймешь. Сейчас ты весь уже там. . . — сказал Кирпичников и показал пальцем в потолок. — Ты уже не желаешь ничего видеть вокруг себя, а только то, что видно оттуда, сверху. . .

— Между прочим, я честным трудом заработал право быть там! — ответил Шумилов. — Я туда не лез и не просился, меня сами позвали. Упрекать меня не в чем.

— А я и не упрекаю тебя, напрасно ты расходишься. Более того, я совершенно искренне рад и за тебя, и за наш с тобой завод. Надеюсь, ты принесешь пользу. А вот к совету старого друга, если считаешь меня таким, прислушайся: почаще оглядывайся вокруг и повнимательнее прислушивайся к собственной совести. Совесть, она штука ревнивая. Если ее слушать и не слышать, она может и замолчать навсегда. А это беда, Антон. Большая беда.

— Времени для дела не останется, если я буду слишком часто оглядываться по сторонам и слушать, что там бормочет моя совесть, которой никто и никогда не видел, — усмехнулся Шумилов. — Да ведь и не слышал, а? . . .

— Не паясничай, тебе не к лицу.

— А может, в святые посоветуешь мне податься? Они мастаки по части совести и прочей чепухи.

— Нет, Антон, не посоветую, — проговорил Кирпичников и покачал головой. — Хотя бы потому не посоветую, что святая обитель развалится, если ты приблизишься к ней на пушечный выстрел. — Было трудно понять, говорит ли он всерьез или шутит. Он внимательно посмотрел на Шумилова и, вздохнув, произнес: — С того много спрашивается, кому много дано, это ты должен

помнить всегда. С нижней ступеньки падать не страшно и не больно. Страшно и больно падать с верхней.

— Буду стараться не упасть.

— Старайся, старайся. Во всю свою мочь старайся, Шумилов. А иначе жить не стоит. Разболтались мы с тобой, а надо бы по русскому обычаю выпить за твое назначение. Хорош ли, плох ли обычай, а не нами он установлен, не нам и ломать его. Ты-то как считаешь?

— Брось вилять, Николай Николаевич. Наговорил бочку арестантов — и в кусты? Ты прямо мне скажи: не хочешь со мной работать?

— Мы с тобой друзья.

— Америку открыл! Что ж, по-твоему, друзья не могут вместе работать?

— Иногда могут, а вообще не должны, — ответил Кирпичников. — Дружба мешает делу.

— Вздор ты городишь! — сказал Шумилов. Он встал, подошел к стене и долго разглядывал фотографию мужчины в форме офицера старой армии. — Кто это? — спросил он.

— Родитель мой, отец.

— Во даешь! — удивился Шумилов. — Не знал, что твой отец был белым офицером.

— А он не был белым офицером, — возразил Кирпичников. — Он служил в царской армии, а после революции командовал полком в Красной Армии. Он был красным командиром и погиб в борьбе с белыми.

— Сам черт не разберется, — пожал плечами Шумилов.

— Хватит тебе, актера из тебя все равно не получится. Ты умеешь играть только себя самого, а это быстро надоедает зрителям.

— А что, в этом ты прав. Играть других не умею и не хочу.

— И не надо. Но и других не заставляй играть чужую роль. У каждого в жизни своя роль, Антон.

— Это хорошо, — проговорил Шумилов. — Это прекрасно, черт возьми, что у каждого есть своя роль. Жаль только, что не каждый эту роль умеет сыграть. Больше все бегают, хвосты распушают, как будто куриц показывают.

— Отчего бы и не покурахтаться, — рассмеявшись, сказал Кирпичников, — когда есть такой петух, как ты! А знаешь, очень бы я хотел увидеть тебя стариком. Интересно, какой старик из тебя получится? ..

— Нудный и сварливый, как баба.

— Очень возможно. Машенька, где ты там?

— Иду, иду, Коля,— отозвалась из-за занавески Мария Ивановна, и Шумилов догадался, что там не спальня, а кухня. И сделалось ему стыдно оттого, что он не подумал захватить с собой чего-нибудь выпить.

— Если ты насчет выпить соображаешь,— поднимаясь, сказал он,— то я—пас.

— А что это с тобой случилось? — удивленно спросил Кирпичников.

— Жена не переносит запах,— сказал Шумилов.

— Как она? — Мария Ивановна вышла из-за занавески.

— По-разному. Наверно, в общем ничего.

— Трудно вам, Антон Игнатьевич...

— Всем трудно,— сказал он.— Побегу, а то она там с ума сходит.— И сам понял, как нелепо, дико даже прозвучали его слова.

— Может, показать ее какому-нибудь крупному специалисту? В институт Бехтерева устроить? Вы сможете.

— А чем отличается крупный специалист от некрупного? — усмехнулся Шумилов.— Только тем, дорогая Мария Ивановна, что один уже все забыл, чему его учили, а другой еще не узнал ничего.

— Ну что вы, Антон Игнатьевич! — укоризненно проговорила Мария Ивановна.— Есть же настоящие специалисты. Вот профессор Мосолов, профессор Домогацкий, потом... Харченко...

— Он еще жив?

— Вы его знаете?

— Он во время войны был в Ярославле, смотрел жеху,— ответил Шумилов.

— Тем более! — сказала Мария Ивановна.

— А-а! — махнул рукой Шумилов.— Впрочем, я займусь этим.

— Займитесь, обязательно займитесь.

— Так что, Антон, ты не выпьешь со мной стопочку? — спросил Кирпичников.

— Ладно, налей одну, черт с тобой.

Они выпили, и Шумилов окончательно собрался уходить.

— Погоди-ка,— остановил его Кирпичников.— Ты тут насчет врачей любопытную теорию развивал... А вот ты сам, себя ты к какой категории относишь — к

тем, которые уже все забыли, или к тем, которые еще ничему не научились?..

— Коля, перестань! — испуганно сказала Мария Ивановна.

— Отстань, Маша. Пусть ответит.

— На слове хочешь поймать? Не поймаешь, Николай Николаевич. Я отношу себя к тем, которые уже многому научились и еще ничего не забыли.

— Золотая середина?

— Нет, — резко возразил Шумилов. — Центр окружности.

— Во! Теперь все на своих местах. — И Кирпичников демонстративно отвернулся.

Мария Ивановна вышла проводить Шумилова.

— Прямо не знаю, что с ним такое, Антон Игнатьевич, — вздохнула она. — Какой-то нетерпимый стал, агрессивный... .

— Пройдет, — успокоил он. — Работа не для него, вот и бросается на всех подряд. Помогли бы уговорить его, чтобы перешел ко мне на завод.

— Вряд ли, — снова вздохнув, сказала она. — Он упрямый и очень мнительный.

— Ничего, попадет в хорошую производственную мясорубку, всю мнительность как рукой снимет.

— Возможно. Я попытаюсь поговорить с ним.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Как-то вечером, когда Шумилов разбирался с бумагами, которые не успевал просмотреть за день, в кабинет тихо вошла уборщица тетя Нюша (так ее все звали на заводе, а он помнил тетю Нюшу с довоенных времен) и стала протирать стекла в книжном шкафу. Никогда не бывало такого, чтобы она убирала кабинет при нем, и Шумилов догадался, что она хочет поговорить с ним. Спросить об этом прямо он не решился, побоялся обидеть ее, и он еще некоторое время читал бумаги, что-то подписывал, что-то откладывал в сторону, исподтишка наблюдая за тетей Нюшей. Прочитав последний документ, он откинулся на спинку кресла и сказал вслух:

— Кажется, на сегодня все.

— А ты долго просиживаешь здесь, Антон Игнатьевич, — тотчас откликнулась тетя Нюша. — Все работаешь,

работаешь, а жить-то когда собираешься, молодой ведь еще...

— Да хоть бы дело было, — сказал Шумилов, сдвигая кучу бумаг на край стола. — Пишут, пишут, а что, спрашивается, пишут? Ерунду разную, вздор.

— Грамотные все стали, вот оттого и пишут. А ты не читай, раз пустое.

— Нельзя. А вы как поживаете, тетя Нюша? Внуки-то растут? — Он не знал, есть ли у нее внуки, но подумал, что должны быть.

— Растут, что им, — проговорила она. — Один в лагере в нашем заводском пионерском, в выходной дочка ездила к нему, ужас, рассказывала, что там делается...

Понятно, сказал себе Шумилов. Именно о пионерском лагере она и хотела поговорить. Просто жаловаться не умеет, стесняется, вот и пошла на маленькую хитрость, как бы себя обманула:

— Да, погода в этом году не балует.

— Погода она и есть погода, с нее спрос какой? Если б ремонт там сделали, чтоб в щели не дуло, так и погода ничего. А то когда дождь идет, спальни ребячьи аж заливает... Господи, что это я со своими глупостями? — всплеснула тетя Нюша руками. — У тебя дела важные, устал за день-то, наверное, а я, господи прости...

— Когда-то и поговорить надо, — сказал Шумилов, поднимаясь. — Пойду я все-таки, счастливо вам.

— Отдыхай, отдыхай, Антон Игнатьевич.

В машине Шумилов поинтересовался у водителя, знает ли он, где живет председатель завкома Приходько.

— Знаю, а как же, — ответил Коля. Он очень гордился тем, что знает на заводе все и обо всех.

— Значит, таким образом. Завтра приедешь на полчаса раньше, заскочим к Приходьке, заберем его.

— И куда потом?

— Много будешь знать, — улыбнувшись, сказал Шумилов, — скоро состаришься. Да ты и так все знаешь.

Утром они подъехали к дому, где жил Приходько, и остановились чуть поодаль. Спустя минут двадцать туда же подъехал и заводской автобус, на котором возили на работу и с работы кое-кого из начальства. Шумилов подошел к автобусу, поздоровался со всеми и велел шоферу ехать дальше.

— Председатель завкома поедет со мной.

Автобус укатил, и тотчас из парадной вышел Приходько. Он не сразу увидел Шумилова и растерянно озирался по сторонам.

— Григорий Семенович,— окликнул его Шумилов,— прошу ко мне в машину.

— Доброе утро, Антон Игнатьевич.

— Доброе.

— Автобус должен быть...

— Автобус я отправил. Мы поедем в пионерский лагерь.

— В пионерский лагерь? — удивленно переспросил Приходько.

— Именно,— сказал Шумилов.— Посмотрим, как там детишки отдыхают. Давно были в пионерлагере?

— Признаться, после открытия и не был. Некогда все, руки не доходят. А тут еще конференцию надо готовить...

— Ничего, Григорий Семенович, мы быстро обернемся.

Они приехали в лагерь, когда дети еще спали. Начальник лагеря поливал огород. Вернее, несколько грядок клубники под окнами отдельного коттеджа. Кстати сказать, на территории лагеря. Ядреная, налитая солнцем крупная клубника так и просилась в рот. На листьях блестели лужицы воды, задержавшейся после поливки.

Начальник лагеря, крепкий, спортивного вида мужчина лет сорока, был в тренировочных штанах и в майке. Сильные мускулы перекатывались под смуглой кожей.

— Зачем же поливать,— сказал Шумилов,— сегодня дождь обещали.

Начальник лагеря повернулся и, узнав Шумилова и Приходько, заулыбался.

— Здравствуйте,— сказал он, не выпуская из рук шланг, из которого била сильная струя.— Ранние гости к радости, милости просим...

— Насчет радости я сомневаюсь,— хмуро проговорил Шумилов.— Со сливками даете или так, в чистом виде?

— Что? — не понял начальник лагеря.

— Клубнику детишкам даете со сливками или без?

— А, клубнику...

И тут на крыльцо вышла жена начальника. Похоже, она слышала разговор в открытое окно и все поняла.

— Это наша клубника,— заявила она.— Мы сами ее сажали.

— Это хорошо, что сами. Свое всегда вкуснее. Вы кем работаете в пионерском лагере?

— А почему я должна работать? Мы имеем право...

— Раиса Михайловна, шли бы вы,— поморщившись, сказал Приходько.— Мы тут сами разберемся.

— Я знаю, кто на нас кляузы пишет! — вскрикнула она.— Я выведу этих кляузников на чистую воду, вечно они завидуют другим. Чтоб вы знали,— обратилась она к Шумиллову,— мой отец лично знаком с директором, он пойдет к нему...

Приходько покраснел и отвернулся.

— Уйди отсюда! — выкрикнул начальник лагеря.— Уйди, дура!

— Да, Раиса Михайловна, правильно,— сказал Шумилов,— вам действительно лучше уйти.

— Кто вы такой, чтобы здесь командовать? Я вас не знаю.

— Выходит, личный знакомый вашего отца. Шумилов моя фамилия, я и есть директор завода. Кстати, кто ваш отец?..

— Это неважно.— Она повернулась и ушла в дом.

— Это в самом деле неважно,— сказал Шумилов.— В этом доме вы одни живете? — спросил он начальника лагеря.

— С семьей.

— И большая у вас семья?

— Я, жена и дочка.

— Ну что ж, прекрасно устроились, можно позавидовать. Пойдемте посмотрим — как вас? — как живут детишки...

— Лагутников,— подсказал Приходько,— Яков Борисович.

— Ведите, товарищ Лагутников.

Детишки жили плохо. Домики, где располагались спальни, давно не ремонтировались, были некрашены и производили тяжкое впечатление. На стенах зеленела плесень, потолки сырые, на полу, в проходах между кроватями, стояли тазы, ведра и прочая посуда. Выбитые стекла заменены кусками фанеры, постельное белье грязное и влажное от постоянной сырости. В столовой было почище, поуютнее, зато на завтрак детям давали чуть теплые, слипшиеся макароны и холодные котлеты, сделанные, скорее всего, накануне.

Здесь же, в столовой, к Шумилу подошла врач.
— Товарищ директор, вы не зайдете к нам в медпункт?

— Вы врач?

— Да.

— И как же вам, врачу, не стыдно? Дети живут в антисанитарных условиях, питаются черт знает чем!..

— Пожалуйста,— тихо сказала она,— не надо на меня кричать.

— Прикажете по головке вас всех тут гладить?

— По головке тоже не надо. За питание детей отвечает диетсестра, которая подчиняется непосредственно начальнику лагеря, я не знаю, почему... А вообще о ненормальных, как вы правильно выразились, антисанитарных условиях я многократно ставила в известность...

— Кого вы ставили в известность?

— И товарища Лагутникова, и товарища Приходько тоже.

— И что они?

— Товарищ Приходько обещал разбраться, навести порядок, мы все очень довольны, что он выполнил свое обещание и приехал...

Шумилов посмотрел на Приходько, тот опустил глаза.

— А что начальник лагеря?

— Ай! — взмахнула рукой врач. — Я уже подала заявление об уходе. Это невозможно — работать в таких условиях: Я бы просто взяла и ушла, но жалко бросать детей. Вы знаете, товарищ...

— Меня зовут Антон Игнатьевич. А вас как зовут?

— Надежда Константиновна.

— Так я слушаю вас, Надежда Константиновна. Говорите все, не стесняйтесь.

— Я не стесняюсь, мне нечего бояться. — Она пожала плечами. — Такое, знаете ли, впечатление, что всем на все наплевать, особенно начальнику. У него по выходным гостят родственники или знакомые, это меня не касается, но... дети же, а у них пьют, ругаются, сквернословят, ужас какой-то! — Она взялась за голову. — Завхоз вообще всегда пьяный, к нему ни за чем нельзя обратиться... И главный бухгалтер... Остальные все видят и молчат. А пионервожатые, глядя на других... Их-то можно понять, люди молодые... — Она покраснела и замолчала.

— Понятно,— сказал Шумилов.— Спасибо вам, Надежда Константиновна. Большое спасибо. Теперь показывайте медпункт.

— Показывать-то стыдно.

Медпункт находился в старом, похожем на времянку или сарай домике. Занимал две крохотные комнаты. В первой, куда вход был прямо с улицы,— кабинет врача и медсестры, а во второй — изолятор. Ни водопровода, ни даже уборной в домике не было, и больные дети ходили по нужде на горшок.

Из медпункта Шумилов вышел разъяренный. Он направился было к воротам, где стояла машина, но вдруг остановился и, обращаясь к начальнику лагеря, спросил неожиданно спокойным голосом:

— Что скажете, уважаемый товарищ Лагутников?

— Виноваты, Антон Игнатьевич. Будем наводить порядок.

— Нет, мил человек, порядок будут наводить другие, не вы! А вас... Была бы моя воля, я бы вас шлангом вдоль спины, чтоб на всю оставшуюся жизнь!.. Почему дети едят из алюминиевых мисок, а не из тарелок?

— Тарелок не напастись, бьют.

— Бьют! На то они и дети, чтобы бить и ломать. А вы тут... Приходько, что ты думаешь, это твоя епархия?

— Придется делать выводы.

— Раньше, раньше нужно было делать выводы. Коттедж начальника отдать под медпункт. А остальное... Ну, ты сам разберешься, что к чему. Да, клубнику — в столовую, ребятишкам на полдник! — Он достал папиросы, закурил, но, вспомнив, что находится на территории пионерского лагеря, тут же и потушил папиросу прямо пальцами. И даже не поморщился при этом.— Где вы работаете постоянно? — спросил у Лагутникова.

— Тренером по зимним видам спорта в детской спортивной школе.

— Разве у нас на заводе есть такая школа?

— Она от гороно,— подсказал Приходько.

— Выходит, вообще чужой человек?

— Очень трудно, Антон Игнатьевич, найти на эту должность подходящего человека...

— Вздор! — сказал Шумилов.— Нашли же вот,— и усмехнулся.— Чтобы на таком заводе не найти честного человека, который бы заботился о детях и не давал покоя завкому? Не верю. А комсомол у нас для чего?

Значит, так. Вы... — Он тяжело, исподлобья посмотрел на Лагутникова. — Чтобы вас не было здесь через полчаса. Ноги чтобы вашей здесь не было! Я скажу Горелову, чтобы сообщили в горно о поведении этого... тренера, — обратился он к Приходько. — Сегодня же начать тщательную ревизию, я думаю, что тут потребуются вмешательства прокуратуры. Ну, что вы стоите здесь? — крикнул он Лагутникову. — Катитесь отсюда к чертовой матери!.. Останься, Григорий Семенович, пока придут ревизоры, а я поехал. Я понимаю, что тебе надо к конференции готовиться...

— Моя промашка, Антон Игнатьевич. Моя.

— Наша всеобщая. Ладно, после драки нечего кулаками махать.

II

Слух о разное, учиненном Шумиловым в пионерском лагере, мгновенно распространился по заводу. При этом слух, как обычно, обрастал такими деталями и подробностями, что Шумилов, знавший обо всем, что творится на заводе, от Коли, от души смеялся. Говорили, что директор отлупил начальника лагеря резиновым шлангом и заставил собрать всю клубнику, помыть и лично разложить ребятам в тарелки, а пьяного завхоза взял за шиворот, оттащил к пожарному водоему и столкнул в воду. Все это действительно было смешно, но совсем неожиданно история с пионерлагерем получила продолжение...

Шумилова попросили прийти на общее собрание сталелитейного цеха и рассказать о предстоящей реконструкции. Проблема эта волновала на заводе всех, можно сказать, что это была большая проблема, и Шумилов пошел на собрание. Дело в том, что предстояло не просто что-то обновить, что-то модернизировать, а фактически сделать капитальный ремонт цеха с заменой старого оборудования на новое без остановки производства, по частям. Более того, план оставался прежний.

Выступил Шумилов хорошо, аргументированно — он сам чувствовал это, — и люди с пониманием отнеслись к тем огромным трудностям, какие их ожидали. Собрание уже подходило к концу, Шумилов ответил на все вопросы, как вдруг поднялся молодой паренек и попросил слова,

— И товарищ директор, и остальные выступавшие здесь говорили все правильно,— сказал он.— Мы, комсомольцы и несоюзная молодежь, приложим все силы, чтобы... В общем, чтобы выполнить поставленные задачи. Но у нас возникает такой вопрос: когда заводу что-то нужно, администрация и общественные организации обращаются к молодежи, и мы со всей душой откликаемся на любой призыв...

— Простите, молодой человек,— перебил его Шумилов,— а разве завод не ваш? Разве администрация сама по себе, а вы сами по себе?

— Ну... может, я не так выразился, извините, конечно. Я хотел только сказать, чтобы товарищ Шумилов знал, что никто не хочет беспокоиться о нашем быте. Вот и все.— Паренек засмутился и, опустив голову, пошел на свое место.

— А что конкретно вы имеете в виду? — спросил вдогонку Шумилов.

— Хотя бы наше общежитие. Да наверняка и в других не лучше.

— Хорошо, я лично проверю.

С собрания он вернулся недовольный. Его всегда злило, когда он вынужден был заниматься не своими делами, а быт рабочих, живущих в заводских общежитиях, безусловно не его дело. Есть тот же профсоюз, комсомол, есть заместитель директора по общим вопросам и есть, наконец, помощник по быту с целым штатом. Какого черта, распаялся Шумилов, все они делают, если я вынужден сам быть в каждой дырке затычкой! Он даже потянулся к телефону, чтобы вызвать своего помощника по быту, однако не позвонил. Он понял, что это выступление на собрании вовсе не было случайным. Прослышав, как он наводил порядок в пионерском лагере, ребята решили обратиться к нему. Собрание было кстати.

Но не только поэтому Шумилов не стал никому звонить. По совести говоря, хоть он и злился, а в душе все-таки был и доволен, ему льстило, что уж там, что вот даже самые простые, самые элементарные вопросы не решаются без его участия, всем нужен он, а это значит, что ему верят, на него надеются, и он должен доверие это оправдывать, хотя для этого и пришлось бы первое время подменять кого-то, заниматься мелочами. Только так. Пусть люди знают, что всегда могут обратиться ко мне и что я не отмахнусь, не спихну решение вопроса

своим помощникам, а помощники тоже пусть знают, что лучше решать самим, иначе...

В тот же вечер Шумилов и поехал в общежитие.

— В какое? — спросил Коля.

— Все равно, в любое.

Они остановились у дома, который был построен после войны, то есть это был новый дом. С колоннами, с фальшивыми балкончиками, украшенный по фризу какой-то лепниной. Нормальный и даже просто хороший, удобный дом, построенный по всем канонам архитектурного стиля, который спустя несколько лет будет резко осужден за излишества. Шумилову дом понравился, он подумал, что все это нагромождение колоннады, балкончиков и лепнины, может быть, и не украшает фасад, но придает ему какие-то индивидуальные черты, а заодно приглушает уличный шум. Пожалуй, сказал он себе, я хотел бы жить в таком доме.

Ему обещали отдельную квартиру.

Он вошел в парадную дверь. Его остановила вахтерша, сидевшая за барьером, который перегородивал лестницу.

— Куда? — строго спросила она, отрываясь от журнала «Здоровье».

— Как куда? В общежитие.

— К кому?

Он не хотел раскрывать себя раньше времени, хотел посмотреть, как на самом деле живут люди, без шума и суеты, без всяких там сопровождающих...

— К товарищу, — сказал он.

— Ишь ты, к товарищу! — ухмыльнулась вахтерша и внимательно оглядела его с головы до ног. Было очень неуютно стоять под ее взглядом. — Знаем мы этих товарищев в юбках, — сказала она. — У самого небось дома жена и дети, а туда же! Постыдился бы...

И вдруг Шумилов вспомнил фамилию выступавшего на собрании паренька — Завьялов. Именно Завьялов. Правда, он мог жить и не здесь, а в другом общежитии, но ничего другого не оставалось, и Шумилов рискнул.

— К Завьялову я, — сказал он.

— Это который в седьмой комнате проживает?

— В седьмой.

— Хороший парень, не скажу. И не пьяница, не-ет... — Вахтерша еще раз оглядела с пристрастием Шумилова и, убедившись, должно быть, что он тоже на

пьяницу не похож, разрешила пройти.— Только документ оставь мне какой.

Он положил на столик пропуск.

— И чтоб в без пятнадцати одиннадцать уходил, у нас строго... И какие дела у него могут быть с Завьяловым? — пробормотала она, провожая Шумилова глазами. А вот пропуск развернуть и посмотреть она поленилась. Решила, что родственник у Завьялова какой-нибудь объявился, не иначе.

Шумилов поднялся на второй этаж.

В коридоре было грязно, паркет больше походил на асфальт, стены выщерблены, исписаны похабщиной, электропроводка обвисла, держалась буквально на соплях, кое-где не было даже выключателей — торчали скрученные оголенные провода...

Он постучался в первую попавшуюся дверь.

— Вламывайся, кого там несет! Какого хрена барабанишь!

Он вошел.

Шесть коек стояли впрыток друг к другу. Посредине, в узком проходе, стол. А на столе — пустые банки из-под консервов, забытые окурками, засохшие куски хлеба, пустые бутылки, разбросаны костяшки домино. На двух койках спали в одежде и в ботинках. Еще двое резались в карты, в очко. На Шумилова, в общем-то, не обратили внимания. Так, взглянули без всякого интереса и продолжили игру.

— Привет, ребята,— сказал он.— Мне за компанию не дадите карточку? — И присел рядом с ними.

— Можно, если гроши есть,— сказал один из парней, который банковал.— Были ваши, станут наши, ха-ха!.. — Он поднял голову, глаза его от удивления сделались совсем круглые. Он быстро сунул колоду в карман и вскочил с койки.— Здравствуйте, товарищ директор... Мы это так, без интереса...

— Моя фамилия Шумилов. А зовут меня Антон-Игнатьевич. Сейчас я для вас никакой не директор, просто гражданин. Вы что, действительно без интереса играете? — Денег не было видно.

— Мы под щелбаны, получка же скоро.

— Ну, под щелбаны я с вами не буду,— сказал Шумилов.— У вас ручищи вон какие, а у меня лоб не медный.

Парни рассмеялись громко.

— Эй там, потише нельзя?! — На одной из коек спя-

щий зашевелился, потом сел, протер глаза и уставился на Шумилова.— А я-то думаю, чего вы ржете, а у нас, оказывается, высокие гости...— Он опустил ноги на пол.

— А в башмаках-то спать, наверно, неудобно? — сказал Шумилов.

— Зато на смену собираться быстрее. Раз — и в дамках.

— В цеху ночевать еще быстрее будет.

— Негде, а то бы ночевал. Это вам можно, у вас в кабинете и диванчик, и еще кое-что...

— Зачем же диванчик! — сказал Шумилов.— У меня рядом с кабинетом кровать из слоновой кости с балдахином, а вот насчет кое-чего я как-то не подумал, спасибо, что подсказал.

— Да я ведь пошутил... — смущенно пробормотал парень.

— И я шучу. Неужели ты вправду подумал, что у меня кровать на работе? Ладно, братцы-кролики, потрепались, и будет. Рассказывайте, как живете-можете? — Он пошарил в карманах, папирос не было, оставил в «бардачке». — Закурить не найдется?

Его угостили «Севером».

Ребята жаловались, что живется-можетя им не шибко хорошо. Белье, например, меняют иногда через две недели, а иногда и через месяц. Или выдадут чистые наволочки, а простыни оставят грязные. Или наоборот. А чтобы сразу все белье поменять, такого они не припомнят. Занавески вообще не стирают, полы мыли и натирали с год назад. Душевая не работает уже несколько месяцев, титан тоже сломан, утром чаю горячего не попить, в комнатах держать электроприборы строго запрещено, даже розетки снимали, а буфета в общежитии нет. Многие учатся в вечерней школе, некоторые в техникуме и в институте, а заниматься негде. Был красный уголок, так его заняли под кладовую. Радиоприемник, который стоял раньше в красном уголке, комендантша забрала себе, она живет здесь же. Ни шашек, ни шахмат... Постоялый двор, словом, а не общежитие...

— В колонии и то порядка больше, — подытожил парень, который спал в ботинках. И покраснел, ненароком выдав себя.

Шумилов сделал вид, что ничего не заметил, не понял.

— Ну, братцы, шахматы и шашки, если по совести,

могли бы и сами купить,— сказал он.— На карты нашли же деньги. И на водку тоже деньги находите. Но дело, конечно, не в шашках.

В комнату тем временем набилось уже порядочно ребят. Слух, что в одиннадцатой комнате сидит директор завода, каким-то образом все же разлетелся по общежитию, хотя из комнаты — Шумилов мог бы поклясться в этом — никто не выходил. О Коле, который остался в машине, он почему-то не подумал. Да, впрочем, это не имело значения.

— Настольные игры положены,— сказал кто-то в ответ на замечание Шумилова.

— Возможно. Ложась в постель, положено раздеваться, между прочим. А вот играть в общежитии в карты и делать из жилой комнаты свинарник, я думаю, не положено. Или я ошибаюсь? — Он огляделся.

Все понуро молчали.

— Давайте говорить серьезно, как взрослые люди, мужики. Претензии у вас основательные. Я имею в виду белье, душевую, буфет. Тут вы на сто один процент правы, и мы строго спросим с тех, кто виноват в этих безобразиях. Это я вам твердо обещаю.

— И полы не моют. . .

— Окна на зиму не утепляют. . .

— Крыша течет. . .

— Стоп, стоп, стоп! — Шумилов поднял руку.— Не все хором. По порядку давайте. Настольные игры, говорите. Если положены, значит будут. Но. . . Как вы думаете, мне кто-нибудь покупает шашки и шахматы? Нет, я сам покупаю. И полы у себя дома люди сами моют и натирают, и окна на зиму заклеивают тоже сами. . .

— То дома, а мы живем в общежитии.

— Пока это ваш дом. И я могу совершенно точно сказать, что многие дома живут в худших условиях, чем вы. Не думайте, что жить в одной комнате шестерым родственникам лучше и легче, чем шестерым посторонним. Уверяю вас, что скорее наоборот. Ладно, это вопрос другой, вопрос сложный, сейчас мы не об этом. Гляжу я на вас, все здоровые, молодые парни, силищи у каждого! . . . Что вам стоит взяться дружно и привести в порядок те же полы? Да никто и никогда вам не натрет полы так, как это сделали бы вы сами. Дальше. Кто стены исписал похабщиной? . . . Может быть, я или председатель завкома? Вы, вы сами. Кстати, есть тут электрики?

Электромонтеры были, даже сразу трое.

— Пожалуйста,— продолжал Шумилов.— Вы что, не в состоянии заменить электропроводку, поставить выключатели? Ждете, когда явится добрый дядя и сделает это для вас? Хорошо, я распоряджусь, чтобы к вам прислали монтеров. Чтобы вас же тронх и прислали. Но не в будний, не в рабочий день, а в выходной.

— Так им еще и лучше,— заметил кто-то со смешком,— и дома вроде будут, и сверхурочные пойдут.

— Молчал бы, трёкало базарное! — огрызнулся один из монтеров.— Сам тоже сантехник, а душ не можешь отремонтировать.

— Верно, Никола,— проговорил парень, который держал банк, когда пришел Шумилов.— Еще и в ЖКО работаешь...

— А сам? Чайку ему надо, титан почините! Ты же слесарь КИПа!..

И тут ребята заговорили все разом, укоряли друг друга, стыдили, и Шумилов, глядя на них, думал, что всего-то и надо — объяснить парням нормальным человеческим языком, что они люди, рабочий класс, черт побери, и они все поймут, потому что никто, если разобраться, не хочет, не любит быть иждивенцем, роль эта унижительная и вовсе не подходящая для мужика, для рабочего человека. Их просто приучили — мы же и приучили, думал он, — что все должны, все обязаны им, и они считают, что так и надо...

— И вот еще, товарищ Шумилов... — К нему протолкался совсем юный паренек, лет шестнадцати.— Физкультурой и спортом нам негде заниматься. А советский человек должен быть гармонично развит как в духовно-моральном, так и в идейно-физическом аспекте, об этом даже в газетах пишут... — Он вытолкнул из себя эту нелепую фразу и покраснел густо.

Шумилов нахмурился, сдерживая смех.

— И кто же этот сукин сын, который не дает вам развиваться?

— Негде.

— Что значит негде? Бегать, прыгать, скакать можно где угодно. Было бы желание.

— Это конечно, если просто так заниматься, для общего физического развития, а если я хочу всерьез? — Паренек не мигая смотрел на Шумилова.— Секции бы какиенибудь организовали, по боксу, по борьбе...

— Теперь уж Шумилов не сдержался, улыбнулся.

Мальчишка-то был хилый, мелкорослый, какой там бокс, какая там борьба.

— Организуйте секции,— сказал он.— Хоть по прыжкам на Луну. Это, ребята, дело молодое, ваше дело, комеомольское. А у меня, честное слово, есть другие заботы и обязанности. Много забот и много обязанностей.

— Мы понимаем, не думайте, товарищ Шумилов. Но вот помещения нету. Снарядов тоже нет...

— Какие еще снаряды?

— Спортивные.— Теперь улыбнулся паренек.

— Ясно. Будем думать. Наверно, эти вопросы можно решить. Для того нам и головы на плечи посажены, чтобы мы думали и решали. А за этот бардак,— он показал на стол,— за этот бардак стоило бы вам всем шею намылить.

И тут в комнату вошла, нет, ворвалась комендантша.

— Товарищ Шумилов...

— Минутку,— отмахнулся он.— Я занят, дойдет и до вас очередь. Значит, таким образом, ребята. Завтра здесь будет мой помощник по быту, представители профсоюза и комсомола, договоритесь с ними, как и что. Поможем устроить вам нормальную жизнь. Только чур иждивенцев я терпеть не могу. Все, что можно, сделаете своими руками.

— А материалы? — спросил кто-то.

— Материалы вам дадут. Ровно через месяц я снова буду у вас, посмотрим, на что вы способны.— Он встал.— Пойдемте,— позвал комендантшу.

Они поднялись еще на один этаж. Здесь тоже сидела вахтерша.

— Девчата здесь живут,— пояснила комендантша.

— Их что, охранять надо?

— Да ведь если не посадить дежурную, товарищ Шумилов, парней отсюда не выгонишь.— Она смущенно зарумянилась. Точно девочка, презрительно подумал Шумилов.

— А почему их нужно выгонять отсюда? — спросил он.— Для того они и парни, чтобы ходить к девчатам. Когда вы сами были молодые, разве вам не хотелось, чтобы к вам бегали парни?..

— Вы извините, товарищ Шумилов, но правилами внутреннего распорядка запрещено...

— Вздор все это! Если правила мешают людям нормально жить, такие правила нужно немедленно отме-

нять. А когда мужчина и женщина вместе — это вполне нормально. Ненормально, когда они врозь. А вы тут охрану сажаете, словно это тюрьма, черт вас побери.— Он вспомнил парня, который говорил, что в колонии и то лучше, и подумал, что парень этот близок, пожалуй, к истине.— Может, вы из пуританок или боитесь свально-го греха? — спросил он комендантшу.

— Что-что?..

— Ничего.

Комнаты, где жила она (две комнаты, между ними прорублена дверь), находились здесь же, на третьем этаже. И первое, что бросилось в глаза Шумилову, был радиоприемник «Минск». Огромный такой, тумбоподобный, полированный.

— Не стесняет? — спросил он.

— Мешает немного, зато в целости,— сказала комендантша.— Он же на балансе.

— Понятно. Покажите красный уголок.

— Красный уголок временно занят...

— Все равно.

Да, здесь был склад. Ведро, швабры, какие-то кресла, стулья, диваны, репродукторы, чайники, графины, коробки с шахматами...

— Да у вас тут сокровищница персидских владык! — воскликнул Шумилов.— И куда вы все это бережете?

— Так ничего же нельзя дать, сразу все поломают.

Шумилов молча взял одно кресло, перевернул и поставил на ножки. Это было совсем новое, удобное и красивое кресло. Два точно таких же стояли в комнате комендантши. Он сел, вытянул ноги.

— Красивые с виду, но очень непрочные.

— Возможно.— Он встал, огляделся.— Как вас?..

— Архипова.

— Мы с вами поступим таким образом, товарищ Архипова, — сказал Шумилов ровным, спокойным голосом, хотя было желание закричать.— Сегодня же вы освободите красный уголок и наведете здесь надлежащий порядок. Поставьте диван, вот эти кресла. И те, что у вас находятся, тоже поставьте. Что еще? Ах да, радиоприемник вернете. Ну там шахматы, шашки и прочее. Вы лучше меня знаете, что здесь должно быть.

— Хорошо,— сказала она,— завтра прямо с утра...

— Сегодня,— повторил он, чуть возвышая голос.

— У нас всего четыре уборщицы, по одной на этаж, и они уже ушли домой, так что пол все равно некому помыть.

— Вынести все это отсюда вам охотно помогут ребята, да и две здоровые бабы, которые сидят на лестнице, толстеют от безделья. В конце концов, сами помоете. Или прислать на помощь мою жену?

— Не надо,— тихо сказала комендантша,— мы сами.

— Я тоже думаю, что вы сами.

Больше он не сказал ни слова. Вышел, спустился вниз, взял у вахтерши свой пропуск — она хотела объяснить ему что-то, однако он отмахнулся,— хлопнул дверью и огляделся. Тотчас Коля подал к парадной машину.

— Домой. Сукины дети, совсем пораспустились.— Он вытащил папиросы, закурил.

— Вы про кого, Антон Игнатьевич?

— А про всех. Да, ты-то где живешь? Есть у тебя жильё?

— В этом общежитии и живу, — ответил Коля. — На первом и на втором этаже живут ребята, на третьем — девчонки, а на четвертом — семейные.

— Так ты женат?

— Женат.

— У вас что, комната здесь?

— Комната на две пары. Мы, значит, и еще пара.

— И как же вы устраиваетесь? — удивился Шумилов.

— Газетами закрываемся, Антон Игнатьевич, — рассмеялся он. — Занавесочку повесили — и все дела. Вообще, когда их нет, а когда нас. Ничего, бывает хуже.

— И никогда ничего не сказал.

— А что говорить? У вас и без меня делов выше головы. Это некоторые, которые не знают, думают, будто раз директор, так и делать ему нечего. А я-то знаю. А вообще, говорили, говорили и говорить устали. На нашем-то этаже более-менее, жены сами убираются.

Назавтра с утра Шумилов вызвал помощника по быту и начальника заводского ЖКО. Те уже были в курсе происшедшего и явились с какими-то бумагами — актами, письмами и тому подобным.

— Вооружились до зубов? — усмехнулся Шумилов. — Ни о каких причинах не хочу слышать и знать и никаких оправданий не принимаю. Месяц, нет, две неде-

ли даю, и чтобы во всех общежитиях был идеальный порядок.

— За две недели никак не успеть,— сказал начальник ЖКО.

— Вы давно работаете на заводе?

— Пять лет.

— Значит, у вас было целых пять лет, а я по своей доброте добавляю к этому сроку еще две недели. Все, вопрос решен. Да, вахтеров с этажей убрать к чертовой матери! Почему у гостей требуют в залог документы? Это что, войсковая часть, лодочная станция или все-таки жилой дом?

— Положено, Антон Игнатьевич,— сказал помощник по быту.

— Ну, ночью, я понимаю. А днем-то зачем? И что это такое: парней к девкам не пускают!

— Так ведь разрешить...

— И что будет? Детей девки нарожают? Пусть рожают, для того они и девки, чтобы рожать. И еще. Михаил Григорьевич,— обратился он к помощнику по быту,— надо бы подыскать помещение для спортзала. Обговорите с комсомолом, что им там нужно. Пусть ребята развиваются... во всех аспектах.

— Где же его взять, помещение?

— Бросовых подвалов в городе до чертовой матери. Арендуйте, отремонтируйте, не мне вас учить. И последнее, дорогие вы мои. Коменданта, я полагаю, наказывать не будем?.. А если наказывать, то всех. Или в других общежитиях порядка больше?

И помощник по быту, и начальник ЖКО молчали.

— Ясно,— сказал Шумилов.— Тебе, Боровой, выговор на первый раз. А вам...— он взглянул на начальника ЖКО,— строгий выговор, хотя следовало уволить. Обеспечьте необходимыми материалами, ребята сами сделают любой ремонт. Свободны оба.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Как-то Шумилов вернулся домой раньше обычного — был на заседании бюро в райкоме и оттуда поехал прямо домой. Все-таки он здорово уставал. В коридоре дорогу ему заступила Ольга Викентьевна.

— Добрый вечер, Антон Игнатьевич,— пропела она с таким счастливым видом, словно встретила родного ей человека.— Добрый вечер.

— Добрый,— буркнул он. Хотелось-то ему послать эту Ольгу Викентьевну к чертям собачьим.

— Вас теперь совсем не видать стало, приходите поздно, уходите рано. Да, занимать такой пост — это не легко, нет. О, ведь я еще и не поздравляю вас! Примите, Антон Игнатьевич, мои самые искренние поздравления. Я всегда знала, что вы не из простых.

— Благодарю.— Он хотел обойти Ольгу Викентьевну.

— Я все хочу спросить у вас... Тут приходила к вам женщина, мне очень знакомо ее лицо. Это ваша родственница?

Шумилов задержался.

— Какая женщина? — спросил он.

— Ну... Я плохая физиономистка, объяснить не могу, мне надо видеть, понимаете, человека. У нее на лице ярко выраженная интеллигентность, и, знаете, когда-то она была очень красивая. Уж насчет женской красоты меня не обманешь, я не мужчина.— Она хихикнула.— Правда, одета бедновато, не по моде... Сразу-то я не сообразила, а когда она ушла, подумала, что где-то ее видела... Теперь вот не дает мне покоя эта женщина, ее лицо... Ах, простите, я вас задерживаю со своими глупостями. Мало ли где мы могли встречаться, не правда ли? — и она пожала плечами.

Шумилов вошел к себе в комнату. Жена сидела за швейной машинкой, шила распашонки-пеленки для будущего ребенка. Ей все казалось, что она беременная, а Шумилов не разубеждал.

— Это ты, Антон? — не обращившись, спросила она.— Я сейчас закончу, и будем ужинать.

— Кто приходил ко мне?

— Когда?

— Это тебе лучше знать. Я спрашиваю: кто, что за женщина? И почему я должен узнавать об этом от соседей?

— Неужели ты думаешь, Антон, что я помню всех твоих визитеров? — Она бросила шить и повернулась к нему лицом.

— Но разве ко мне ходит так много народу?

— Да, конечно... — пробормотала она растерянно, и Шумилов подумал, что, пожалуй, не стоило заводить

этот разговор, уж слишком обиженный вид был у жены, а она очень болезненно переносит всякие обиды, даже самые пустяковые.— Ах, прости, Антон! — будто только сейчас вспомнив о чем-то, воскликнула она.— Я совсем-совсем забыла тебе рассказать, что в самом деле прихотилась какая-то странная женщина. Просительница, наверное, какая-нибудь, так плохо одета... По-моему, ты как раз был в командировке.

— Она просила что-нибудь передать? — спросил он.

— Нет, не просила. Извинилась и ушла. Странная какая-то, — повторила Анатолия Федоровна.

— И чем же она странная?

— Я не могу объяснить, Антон... А может, воровка? Такая, знаешь... Говорят, что ходят по квартирам женщины, высматривают, а потом обворовывают.

— Вздор, — сказал Шумилов.— Ты меньше слушай разные бабьи сплетни. И я убедительно прошу тебя, — проговорил он как можно спокойнее, мягче, — не забывать, кто приходит ко мне.

— Хорошо, Антон. Я буду записывать, ладно? — Она смотрела на него преданными глазами, смотрела так виновато, что ему по-настоящему сделалось жалко ее.

— А что, Зинаида Ивановна не бывает теперь у нас? — Он обратил внимание на беспорядок в комнате.

— Бывает, но сейчас она хворает.

— Понятно. Давай ужинать, я очень хочу есть.

Не сразу, далеко не сразу и не скоро Шумилов догадался, что приходила Елена Сергеевна. Ему и в голову не могло прийти, что жена обманывает его. Он даже подумал о том, что женщина эта действительно какая-нибудь аферистка, мало ли их нынче бродит по городу. А что спрашивала именно его, это ровным счетом ничего не значит. В парадной на первом этаже висит список всех жильцов. Увидали, что за мной приходит машина, разузнали хотя бы у дворника, кто я, и решили прощупать. Все очень логично и просто. Пожалуй, так оно и есть. Вот только жене говорить этого не надо, она умрет от страха, а нужно как-то осторожно дать понять, чтобы не открывала дверь кому попало...

А между тем Анатолия Федоровна ревновала его. Ревновала именно к Елене Сергеевне, не зная ничего об их отношениях там, на Урале. По каким-то признакам, которые нельзя объяснить, она могла, конечно, почувст-

говать что-то, когда Елена Сергеевна пришла к Шумилову, — скованность, нервозность, излишнее смущение. . . Для любящей женщины, которая к тому же боится потерять мужчину, всякая мелочь имеет значение. Но дело-то в том, что она ревновала еще до прихода Елены Сергеевны, и эта ревность, неосознанная, быть может, беспричинная, заставила ее спрятать записную книжку Шумилова. Книжка эта случайно попала на глаза, и Анатолия Федоровна без всякой задней мысли, просто из любопытства перелистала ее, и увидела адрес — ленинградский адрес — какой-то Пухначевой Елены Сергеевны, и почему-то сразу решила, что эта женщина каким-то образом связана с мужем, что ее надо остерегаться. . . И она спрятала записную книжку в надежде, что Шумилов и не вспомнит о ней. Не вспоминал же раньше.

А Шумилов, не подозревая об этом, неожиданно подлил масла в огонь. То есть он-то хотел отвлечь жену, рассеять ее обиду, насмешить, может быть, а получилось все наоборот.

Он поел, отодвинул тарелку и вдруг сказал:

— Смешная история сегодня произошла.

— Что такое, Антон?

— Проезжаем, понимаешь, мимо Московского вокзала — какая-то женщина «голосует». Взбудораженная такая, видно, что очень нервничает. Ну, я велел Коле остановиться. Спрашиваю у нее, что случилось. А на ней лица прямо нет. Умоляет подбросить. Если женщина очень просит. . . Взяли мы ее.

— И что дальше? — спросила Анатолия Федоровна. Она напряглась вся, насторожилась, словно предчувствуя, что история эта каким-то краем имеет отношение и к ней, однако Шумилов ничего не заметил.

— Везём, — продолжал он. — Ей на Васильевский нужно было. При ней чемоданчик небольшой такой, фибровый. С поезда, должно быть. Подъезжаем к какому-то огромному дому на Среднем, она вдруг вцепилась мне в плечо и вскрикнула: «Вот он, вот, я так и знала! . . .» Коля тормознул, она выскочила из машины как ошпаренная и про чемодан забыла. Ну, Коля догнал ее, сунул чемодан в руку, а она подбегает к парочке и — бац, бац по морде! Сначала мужику, потом женщине, которая была с ним. И смех и грех, честное слово. — Шумилов рассмеялся. — Цирк просто какой-то.

— И все?



— Что ты сказала? Ах, да. Уехали мы, и все. Продолжения не видели. Похоже, ревнивая жена изловила не без нашей помощи своего мужа. Как говорится, с поличным. Потому она и спешила, дура.

— Почему же дура? Это так естественно, Антон. . . — сказала Анатолия Федоровна тихо. — Значит, у нее были основания.

— Чего-чего, а основания для глупости всегда можно найти, — возразил Шумилов. — На кой черт ей это? Давай проанализируем ситуацию. . .

— Не хочу.

— Нет; это любопытно. Допустим, ты не хочешь со мной жить, надоел я тебе, опостылел. Так уходи, это твое право! . .

— Не надо, Антон, — попросила Анатолия Федоровна. — Неприятно все это, грязь какая-то. . .

— Именно! — подхватил он. — Если ты уходить не собираешься, для какого черта тогда вылавливать мужа или жену и ставить себя же в идиотское положение? Ну, поймала, накричала, закатила истерику, убедилась, что подозревала не зря. А дальше, дальше-то что? . . После этого надо либо уходить, либо унижить себя. Ведь наверняка эта дура не собирается уходить, наверняка ей кажется, что уж теперь-то муж не будет изменять. . .

— Значит, ты допускаешь. . .

— Да ничего я не допускаю, — сказал Шумилов. — Просто вспомнил и рассказал. А вообще-то, у людей должен быть здравый смысл, и сохранять здравый смысл человек обязан всегда, при любых обстоятельствах.

— Ты рассуждаешь, как мужчина.

— Но я, прости, и есть мужчина!

— Мужчины не знают, что такое настоящая любовь, Антон. Поэтому вы и рассуждаете легко, все у вас разложено по местам, а когда любит женщина, ей уже не до твоего здравого смысла.

Он встал, закурил и подошел к окну, чтобы дым вытягивался в открытую форточку. Жена в последнее время не могла переносить табачного дыма, ее тошнило.

— А на дуэлях, между прочим, убивали друг друга не женщины, а мужчины, — вдруг сказал он. — И убивали из-за женщин тоже.

— На то вы и мужчины, чтобы защищать женщин, чтобы завоевывать их любовь.

— Нелюбимое жизнью не защищают.

— Наверное, ты прав,— молвила она.— С тобой спорить невозможно, ты умеешь все повернуть так, как удобнее тебе.

— Какая же мне корысть от того, что я в результате этой глупейшей истории приехал на час позже домой? А у меня еще куча бумаг, которые надо просмотреть. Нет, ты явно сегодня не в духе. Что-нибудь не хорошо?

— Все хорошо, Антон,— ответила она.— Ты занимайся, я пойду помою посуду, а то засохнет.

Быть может, какое-то мгновение Шумилов и продолжал еще думать о том, что жена действительно не очень хорошо выглядит, что надо бы все-таки посоветоваться с врачами, можно ли и нужно ли ей рожать, но тотчас и забыл обо всем. Сдернул со стола скатерть, бросил ее на оттоманку и выложил папку с деловыми бумагами. На работе совершенно не хватало времени, чтобы успеть все.

Анатолия Федоровна сидела на кухне и смотрела в окно. Ей хотелось плакать. Сегодня ей вдруг открылось нечто страшное. Она поняла, что Шумилов не любит ее. Не любит, и в этом все дело. Он просто жалеет ее, считает ее больной и беспомощной. Конечно же, он знает, кто именно, что за женщина приходила к нему. А спрашивал для того, чтобы отвести подозрения. И эту историю он конечно же выдумал. Дал понять, чтобы я и думать не смела ревновать его. А что же будет дальше, как дальше жить?.. И голова стала болеть, ужасно стала болеть голова, и что-то все время хочется вспомнить, какая-то мысль не дает покоя, не дает уснуть... Иногда кажется, что еще чуть-чуть, еще одно усилие, и мысль эта обретет смысл, обретет конкретность, и тогда заполнится пустота в памяти, темная, страшная пустота, которую Анатолия Федоровна ощущала как нечто реальное, нечто такое, что можно даже взять в руки. С большим трудом, по крупицам она мало-помалу восстанавливала в памяти прошлое, точнее сказать — куски прошлого, и всегда это было связано обязательно с тем, что она видела вокруг сегодня, сейчас, и если бы Шумилов (по совету врачей, между прочим) не спрятал альбом с фотокарточками — он отнес его Павловским, — она наверняка вспомнила бы если и не все, то почти все, и уж безусловно вспомнила бы дочку и как потеряла ее во время бомбежки, а теперь лишь временами в голове пробуждалось что-то смутное, как будто виденное когда-то в кино или, скорее, на сцене. Да и это смутное

начало пробуждаться совсем недавно, когда она решила, что забеременела. Однако связать мнимую беременность с тем беспокойством, какое она испытывала, Анатолия Федоровна не могла. Мозг ее, истощенный болезнью, пока еще был не в состоянии мыслить логически, когда нужно было из отдельных кусков и обрывков воспоминаний построить цельную, объемную картину прошлого. А может быть, этому мешал и страх. Да, ей было страшно, особенно по ночам и когда она оставалась одна, думать о том, что было с нею до болезни. . .

II

На другой день Шумилов должен был вернуться домой поздно, на заводе была отчетно-выборная профсоюзная конференция, и Анатолия Федоровна позвонила Маше Павловской, попросила ее зайти после работы. Они как-то сошлись с Машей, подружились с нею, и Шумилов был очень рад этому. Маша умела найти с женой общий язык, умела отвлечь ее, они изредка ходили вместе в театр, к тому же были ровесницами, так что, думал Шумилов, им есть о чем поболтать. Хорошо, пожалуй, и то, что прежде, до войны, они не были знакомы.

Маша пришла, и Анатолия Федоровна рассказала ей, как попала под руки записная книжка Шумилова, как она скрыла это от него, а после скрыла и то, что к нему приходила некая Елена Сергеевна, его знакомая по Уралу, а теперь вот узнал об этом, и она снова солгала, сказав, что не знает, кто эта женщина. . .

— Затмение на меня какое-то нашло, Машенька, сама не знаю, как это получилось. . . Посоветуй, Машенька, что мне делать? Антон вроде бы забыл про книжку, больше не спрашивал, но я знаю, что он все равно вспомнит и спросит. Рано или поздно, но вспомнит. . .

Все так, думала Маша, глядя на Анатолию Федоровну. Все так. Антон действительно никогда ничего не забывает. То есть может показаться, что он забыл что-то, даже забудет что-то на время, а потом вспомнит, и в этом Анатолия Федоровна совершенно права. Маша понимает ее беспокойство. Понимает тем более, что когда-то, еще в институте, сама была немножко влюблена в Антона. Впрочем, в него были влюблены едва ли не все девчонки с их курса. Трудно объяснить, в чем тут дело, но чем-то же он привлекал к себе, хотя сам не ухажи-

вал — как тогда это называлось — ни за кем. А может, в этом и дело. Наверное, в этом.

— Да,— вздохнула Маша,— у него память прямо уникальная. Он и в институте почти не вел конспектов, а все помнил.

— Господи, Машенька, какой институт, какие конспекты! — воскликнула Анатолия Федоровна.— О чем ты говоришь, я не знаю, что мне делать теперь. И эта...— Она посмотрела на дверь и закрыла руками лицо.

— Ты о ком?

— Соседка, эта Ольга Викентьевна. Она же и рассказала Антону, что приходила та женщина, понимаешь?.. Вот взяла и рассказала, а какое ее дело? Она вечно сует свой нос. Я уверена, что и сейчас стоит у двери и подслушивает. Смотри, смотри! — Она вскочила, подбежала к двери, распахнула ее.

В прихожей никого не было.

— Кому-нибудь другому я бы посоветовала придумать что-нибудь правдоподобное,— сказала Маша.— Сама подумай, какая баба не врет иногда мужу?.. — Она махнула рукой.— Антону врать нельзя.

— Да, да, ему нельзя врать,— как бы даже с готовностью подхватила Анатолия Федоровна.— Я никогда не лгала, честное слово, а тут нашло что-то...

— Он простит что угодно,— продолжала Маша рассуждать вслух,— но только не ложь.

— Эта женщина больше не придет, я по ее глазам поняла, что не придет. Вот если...— Анатолия Федоровна закусила губу и взглянула испуганно на Машу.

— Что еще?

— Вдруг они встретятся случайно?..

— Глупости, даже не думай об этом. Этого не может быть.

— Да, конечно, не может,— согласилась Анатолия Федоровна, однако в голосе ее не было уверенности, и Маша подумала как-то невольно, что быть-то как раз может все. В конце концов, столько лет он жил один, а ведь это просто говорится так, что жил один, на самом деле кто же из мужиков живет один, у каждого есть женщина, и почему бы этой женщине, которая приходила к Антону, искала его, почему бы ей не предъявить на него свои права, и почему бы ему не встретиться с нею, и вовсе не случайно, ведь такое не редкость, не исключение, но скорее наоборот.

— Ты говоришь, что записная книжка старая?

— Старая, у него сейчас другая.

— Уничтожь тогда ее, и все дела,— посоветовала Маша.— Наверняка он забыл почти всех, чьи адреса когда-то записывал, мало ли мы записываем, а потом забываем. Раз ты уверена, что она больше не придет...

— Ты так думаешь?— оживилась Анатолия Федоровна.— Но ведь Антон... Ты сама сказала, что он ничего не забывает... Вдруг у него там важные записи?

Нет, Маша решительно не знала, что посоветовать. Разве что «вспомнить», кто именно приходил? Пожалуй, она так и поступила бы на месте Анатолии Федоровны, однако она — это она, а дать такой совет Анатолии Федоровне она не решалась, потому что кто его знает, Антона, как он поведет себя, не случилось бы чего-нибудь страшного, все-таки жена его больна, серьезно больна, и достаточно, быть может, какой-то мелочи, всего одной капли...

— По-моему,— тихо проговорила Анатолия Федоровна,— он понял, что я обманула его, и презирает меня. Молчит, а сам презирает.

— Если бы понял — сказал. Это уж точно. Знаешь что, спрячь эту книжку куда-нибудь подальше, в надежное место, а там видно будет. Начнет искать, подсунешь незаметно. Даже если он и увидит эту женщину, не станет же допрашивать, о чем вы говорили и назвалась ли она тебе или нет. Так и сделай.— Маша была почти убеждена, что это лучший выход из положения.— В крайнем случае, вырвешь листок с ее адресом.

— Спрятать, спрятать...— Анатолия Федоровна вздохнула с облегчением.

— Но спрячь так, чтобы это выглядело, будто он сам положил книжку в это место.

— Конечно, конечно. Мог же он сунуть ее куда-то и забыть, верно? Спасибо тебе, Машенька, за совет.

— Советы давать легко,— усмехнулась Маша.— Выполнять их трудно. Но ты надейся на лучшее, и все будет в порядке. А волноваться тебе нельзя.— И спросила: — Кого ждете?

— Все равно.

— А Антон кого хочет, девочку или мальчика?

— Ему и вовсе все равно. Ты знаешь, что он весь в делах.

— Это не самое страшное.— Маша обняла Анатолию Федоровну за плечи.— Это даже хорошо, когда му-

жик весь в делах. Страшно, когда он без дела остается. Не дай бог, что ты. Мой Павлик совсем другим человеком стал, как Антон пристроил его на работу. А как у вас насчет квартиры? . .

— Не знаю.— Анатолия Федоровна пожала плечами.

— Антон говорил, что обещают.

— Ай, Машенька. Мало ли что обещают. Обещанно-го три года ждут.— Она улыбнулась невесело.— А здесь невозможно, я видеть не могу эту Ольгу Викентьевну.

— Дадут,— успокоила ее Маша.— Кому же и давать, если не Антону. Я побегу? . .

Анатолия Федоровна долго ломала голову, куда бы перепрятать записную книжку так, чтобы она не попала на глаза мужу, а если уж попадется, чтобы он не заподозрил, что спрятала книжку она. Это только кажется, что маленькую вещь легко спрятать в большой комнате. Потерять легко, да, а спрятать совсем даже не легко. Вырвать же листок с адресом Елены Сергеевны она не посмела. Хотелось вырвать, чтоб раз и навсегда, но не посмела. И она придумала положить книжку в карман форменного шумиловского кителя, в котором он вернулся из армии. Китель, как и вообще военную форму, он никогда не надевал, но зачем-то хранил. Говорил, на память. А лучшего места, рассудила Анатолия Федоровна, просто не найти. Лежит себе книжка и лежит в кармане. Можно подумать, что так она и лежала там всегда, то есть с тех самых пор, как Шумилов вернулся в Ленинград.

III

А квартиру Шумилову дали, и дали гораздо скорее, чем думала жена. Правда, сама она в это время лежала в больнице, врачи посоветовали ей обследоваться в связи с беременностью, а вернее, в связи с какими-то отклонениями от нормы в крови. То ли повышенное содержание белка обнаружили, то ли пониженное. Шумилов не разбирался в этом, да и какое это имеет значение. Раз что-то не так, как должно быть, значит нужно проверить все.

Квартира была прекрасная. Трехкомнатная, просторная, с большой кухней и двумя прихожими, с балконом, в довоенном доме, похожем на дом, в котором помещалось общежитие.

Кто-то сделал ремонт (кто и почему сделал, Шумилов не подумал), поэтому в квартире пахло известкой, клеем, краской. Полы натерты до зеркального блеска, кухня, ванная и уборная выложены кафелем. В такой квартире Шумилов никогда не жил. А пожалуй, и не бывал в таких шикарных квартирах. Вот разве что у Ермакова в Москве?.. Однако квартиру Ермакова он, в сущности, не видел. То есть видел одну комнату, в которой они сидели, и ванную, где мыл руки.

— Здорово! — восхищался Коля. Он поднялся в квартиру вместе с Шумиловым. — С вас приходится, Антон Игнатьевич, как хотите.

В голосе его не было скрытой зависти, и Шумилов как-то невольно отметил это и подумал, какой замечательный парень Коля, во всех отношениях замечательный. Доброжелательный, бескорыстный, готовый всегда оказать помощь, и в то же время в нем нет даже намека на угодливость, просто он выполняет свою работу, и все. Он никогда не пытается извлечь какую-то выгоду, использовать положение директорского шофера. А ведь наверняка мог бы попользоваться этим положением, наверняка нашлись бы люди, которые с удовольствием согласились бы угождать ему за самую ничтожную информацию. И еще Шумилову нравилось то, что Коля не сказал ни полслова худого о прежнем директоре, о Малахове, хотя отлично знал, что их отношения были натянутыми еще до войны. А это большое искушение — новому начальнику говорить плохо о старом. С таким-то искушением не справляются люди и поопытнее, постарше Коли. Что там, были попытки и среди руководителей завода охаять Малахова, унизить его в глазах Шумилова, однако Шумилов сразу и резко пресек эти попытки. Тем более Малахов повел себя в высшей степени достойно, не чинился, не демонстрировал свои обиды, не искал сочувствия у бывших своих подчиненных и помощников, многим из которых пришлось совсем не легко при Шумилове. Вернувшись из санатория, он пришел к Шумилову и сказал, что хотел бы остаться работать на заводе в любой должности. По правде говоря, Шумилов не ожидал этого. Он сам на месте Малахова никогда бы не остался. Однако и не оценить поступок бывшего директора он не мог. Да, это был именно поступок, ведь не рассчитывал же Малахов на должность, к примеру, главного инженера, хотя и для этого нужно было мужество...

— Сергей Иванович, давайте откровенно. Вас не смущает такая ситуация?

— Я много думал, Антон Игнатьевич,— ответил Малахов.— Знаете, в санатории нечего делать, а я не бабник...— Он усмехнулся.— Да и внешностью, как говорится, не вышел, так что женский пол не принимает меня всерьез. Куда и зачем я пойду? В конце концов, ничего сверхъестественного не произошло. Меня в свое время назначили директором не потому, что я был самый подходящий человек. Просто не было выбора, я это понимал. А на безрыбье и рак рыба.— Он снова усмехнулся.— В общем, Антон Игнатьевич, если вы не имеете ничего против...

Черт его знает, думал Шумилов, слушая Малахова. Работник он, конечно, аховый. А может, я ошибаюсь?.. Может, мне только кажется, что он никудышный работник, потому что он мне несимпатичен?.. К тому же, прошли годы, люди многому научились, многое поняли, наверняка изменился и он, а я смотрю на него теми же глазами, смотрю как бы из прошлого, но ведь и я тоже сегодня стал другим, все мы стали другими, и надо забыть прежние симпатии и антипатии; в конце-то концов, человек стоит ровно столько, сколько он стоит сейчас, а не сколько стоил вчера или будет стоять завтра...

— Ну что ж, Сергей Иванович, я рад,— сказал Шумилов.— Искренне рад.

— Благодарю,— сказал Малахов.— Я знал, что вы меня поймете.

— Теперь давайте подумаем. У вас есть какие-то наметки?

— Тут уж вам виднее, Антон Игнатьевич.

— Хорошо, допустим, я предложу вам должность старшего мастера. Вы ведь не согласитесь?

— Старшим мастером?..— Малахов чуть-чуть побледнел, и голос у него чуть-чуть дрогнул. Однако он тотчас взял себя в руки.— Почему же не соглашусь? — сказал он.— Соглашусь.

— Вздор это, разумеется, Сергей Иванович. Выбирайте сами: освобождается должность начальника технического отдела...

— А Фишман?

— Прошел по конкурсу в институт, уходит на преподавательскую работу,— ответил Шумилов.

— Да, он собирался.

— Ну так как?

— Честно говоря, не очень. Хочется живого дела, Антон Игнатьевич. Попробовать еще раз. Но если вы...

— Нет, я не настаиваю. Начальником двадцать шестого цеха?

— Громов тоже уходит?

— Пожелал уйти. Видимо, решил, что для одного завода многовато Громова и Шумилова.— Он рассмеялся.

В действительности так оно примерно и было, только дело, конечно, не в фамилиях, а в давней и открытой неприязни их друг к другу. В свое время именно Громов претендовал на должность начальника производства, он был уверен, что назначат его, и не скрывал этой уверенности. Более того, когда Малахова — еще до войны — перевели на другой завод, Громов почти два месяца замещал его, а потом вдруг назначили Шумилова. Он еще тогда же хотел уйти с завода, самолюбие заело, но его не пустили. Теперь Шумилов не стал его удерживать.

— Жаль,— сказал Малахов,— он крепкий начальник цеха.

— Крепкий,— согласился Шумилов.— Я рекомендовал его на инструментальный завод главным инженером.

— На ваше место? — удивился Малахов.

— Да. Ну что, Сергей Иванович, согласны? Я понимаю, цех трудный, а вам тем более будет тяжело, но пока...

— Я согласен,— сказал Малахов.

Честно говоря, разок-другой Шумилов сам заводил разговор с шофером насчет Малахова, спрашивал, как работалось с ним, но Коля уклонялся, отмалчивался или пожимал плечами, и он оценил это молчание...

— Посмотрели, полюбовались, пора и ехать,— закрывая балконную дверь, сказал Шумилов.

— Замочек бы новый надо врезать,— посоветовал Коля.

— Можно и врезать.

— А то еще займет кто-нибудь вашу квартиру, потом доказывайте, что вы не верблюд.

По пути домой, на старую уже квартиру, они заехали в хозяйственный магазин и купили замок, хотя Коля уговаривал не покупать, а сделать на заводе. Магазиновые, уверял он, дерьмо, любой можно открыть гвоздем, а то и вовсе ногтем. Шумилов выбрал замок, который

показался ему надежнее других, взял из ящика на прилавке гвоздь и сказал Коле:

— Открывай.

И Коля открыл.

— Не огорчайтесь,— успокоил он Шумилова.— Мы сейчас.— И он выбрал замок сам.— Тоже не ахти, но все же получше этого.

— И все-то ты знаешь,— проговорил Шумилов.

— Кто-то должен, Антон Игнатьевич. Вот вы, наверное, даже не знаете, сколько стоит хлеб. . .

— Ей-богу, не знаю,— смутился Шумилов.

— И как только вас жена терпит? Моя так давно бы выгнала меня.

— Действительно, как она терпит?

— Бабы,— сказал Коля,— вообще народ терпеливый. Ворчат там, ноют, а все равно терпят. Вопрос: почему?

— Ну, брат, на этот вопрос еще никто не сумел дать вразумительного ответа. Загадка женщины — самая трудная загадка в мире. Скорее уж мы на Луну, на Марс слетаем, чем разгадаем эту загадку.

— Вздор, как говорит мой шеф,— сказал Коля.— Баба, она тоже считает себя человеком. . .

— Выходит, она не человек? — Шумилову вовсе уж сделалось смешно.

— Человек, но из другого теста. А ей хочется быть такой же, как и мужик, даже умнее. Вот она и выкаблучивается перед мужем, чтобы власть свою показать.

— А терпение тут при чем?

— Терпение? Очень просто, Антон Игнатьевич. Она же самка; для нее самое главное в жизни — сохранить гнездо.

— Да, брат Коля, ты прямо философ.

Остановились у дома Шумилова.

— Завтра как всегда? — спросил Коля. Назавтра было воскресенье, и он надеялся, спрашивая, что хоть завтра-то Шумилов не поедет на завод. Все-таки квартиру получил, радость такая. . .

— Загоняй-ка автомобиль под арку, во двор, и пошли ко мне,— велел Шумилов.— Обмоем квартиру.

— Что вы, я же пошутил. . .

— Давай быстро. Дуй до упора, там глухой забор. Я подожду тебя здесь.

По субботам Зинаида Ивановна не приходила, и Шумилов сам пошел на кухню, чтобы сообразить яичницу.

Милейшая Клавдия Павловна скептически посмотрела на него и молча отстранила от плиты.

— Я сделаю,— воспротивился он.

— Ступайте,— сказала она,— неприлично гостей оставлять одних.

— Это мой шофер.

— На работе шофер, а в доме гость.

Шумилов, пожав плечами, ушел в комнату. Коля напряженно сидел на оттоманке. Похоже, как сел, так и не сдвинулся с места. Руки он держал на коленях.

— Что расселся, как барин, доставай посуду из буфета.

— А как же машина, Антон Игнатьевич?

— А что машина? Заночует во дворе.

— Завгар съест меня. . .

— Разберемся, доставай стопки.

Постучавшись, вошла Клавдия Павловна. Поздоровалась с Колей, поставила на стол поднос с яичницей. А кроме яичницы, там были маринованные грибочки.

— Если еще что-нибудь понадобится, Антон Игнатьевич, стукните мне, не стесняйтесь.— Она собралась уходить.

— Э-э, нет! — сказал он.— Отметим вместе.

— Разве праздник сегодня?

— Антон Игнатьевич получил квартиру! — выпалил Коля.

— Поздравляю,— проговорила Клавдия Павловна.— От всей души, очень рада за вас и за супругу вашу.

— Садитесь.— Шумилов выдвинул стул.

— Ну, если такое дело. . .— пробормотала она смущенно и села.

Он знал, что Клавдия Павловна время от времени прикладывает, как говорят, к бутылке, но никогда не показывал виду, что знает об этом. Знал он также, что она любит хороший портвейн, однако, прежде чем поставить портвейн на стол, все же спросил:

— Мы с Колей беленьким решили побаловаться, а вы как? Может, вина? . .

— Когда-то я любила выпить рюмочку хорошего вина, массандровского. . .

— Какое-то вино у меня есть,— сказал Шумилов, делая вид, что ищет в буфете. На самом деле у него был именно белый массандровский портвейн.— Ага,— вос-

кликнул он,— вот оно! — подмигнул Коле и поставил бутылку на стол.

— А вы еще и фокусник, Антон Игнатьевич,— изумилась Клавдия Павловна. А может, тоже сделала вид, что изумилась.— Это же как раз мое любимое.

— Да? Я не понимаю в винах, не пью квас.

— И напрасно. В хорошем вине букет, запах солнца...

— А солнце не пахнет,— сказал Коля. Он немного освоился уже.

— Молодой человек,— проговорила Клавдия Павловна назидательно,— пахнет то, что имеет дурной запах. Вино, если это настоящее вино, не пахнет. Вот ваша водка... — Она поморщилась.— Да, Антон Игнатьевич, сегодня приходили смотреть вашу комнату. Муж и жена, симпатичные, интеллигентные люди.

— Выходит, надо переезжать,— проговорил Шумилов.

— Это точно,— подтвердил Коля.— Люди заждались жилплощади.

— Справедливо, молодой человек,— одобрительно кивнула Клавдия Павловна.— Я рада за вас,— продолжала она,— а все-таки и жаль, что вы уезжаете. Если позволите, я иногда, очнь редко, буду навещать вас...

— Антон Игнатьевич,— опять встрял Коля,— вы бы устроили человеку комнату поближе к вам...

— Ты что же, думаешь, что я бог?

— Я не в том смысле,— смутился Коля.— Поменяться же можно.

— Нет уж,— вздохнула Клавдия Павловна,— я доживу свой век здесь.

Шумилов оглядел комнату. Отчего-то и у него на душе было беспокойно, отчего-то и ему как будто бы жаль было расставаться с этой комнатой; хотя он и ждал квартиру с нетерпением, а вот теперь не испытывал особенной радости, и он подумал, что ему будет не хватать не только Клавдии Павловны, этой замечательно доброй женщины, но и Ольги Викентьевны тоже, и длинного темного коридора (он все годы, сколько жил здесь, собирался поставить выключатель возле входной двери, чтобы зажигать свет, входя в квартиру, но так и не собрался), и пасмурной кухни, и двора-колодца, потому что ведь он расстанется не просто со старой квартирой, не просто с соседями — неважно, кто из них плохой, а кто хороший,— но с частью собственной жизни...

— А что, Антон Игнатьевич,— потревожил его Коля,— давайте завтра перевезем вас. Утром съездим на завод, возьмете грузовик, а я приведу ребят, они помогут. В один момент все сделаем.

— Успеется, не пожар.— ответил Шумилов.

— Да не думайте вы! Чем больше думаешь, тем больше голова туманится, это уж я по себе знаю. Тут надо раз-два — и в дамках.

— Молодой человек прав,— сказала Клавдия Павловна.— И супругу из больницы возьмете в новую квартиру. Я забыла вам передать, что звонила Зинаида Ивановна. Анатолию Федоровну выписывают во вторник.

— Вот как? . . . Тогда так и сделаем, уговорили. Только ты, Коля, предупреди ребят, что я заплачу.

— Какая плата, Антон Игнатьевич! Да ребята для вас из уважения что хошь сделают.

— Все, Коля. Иначе я найму мужиков на Кузнечном.

Клавдия Павловна укоризненно взглянула на него, но промолчала. Она не терпела не то что ругани, но и самых безобидных слов, если слова эти казались ей грубыми, вульгарными.

Как-то незаметно засиделись допоздна, и Коля, спохватившись, забеспокоился, что жена будет ругаться, а то еще и вовсе не пустит в комнату.

— А философствовал,— посмеялся Шумилов.— Оставайся-ка, брат, у меня ночевать, все равно машина здесь. Позвонить жене можно?

— Через вахтера можно.

— Звони и зови к телефону жену. Как ее звать?

— Надя.

— Валяй.

Она быстро подошла к телефону — похоже, не спала. Трубку взял Шумилов.

— Ты где шляешься, шаромыжник проклятый? . . . — с ходу закричала она, не зная, что ее слушает не Коля.— Нормальные люди спят, а ты устроил тут шум. . .

Шумилову хотелось сказать, что шум устраивает она, но сказал он другое:

— Извините, Надя. С вами говорит Антон Игнатьевич. Вашего мужа задержал я. Видите ли, мы не в городе. . . — Он подмигнул Коле.— Раньше трех вряд ли доберемся, так что, если вы не против, я оставляю Колю у себя. А то пока он отгонит машину, пока. . .

— Это правда, что вы Антон Игнатьевич? — перебила его Надя.

— Завтра я заеду к вам и все повторю, договорились?

— Да нет, я вам верю. Он рядом с вами?

— Нет, он возле машины. Я звоню... В общем, сами понимаете.

— Конечно, Антон Игнатьевич, не беспокойтесь. И спасибо, что позвонили, а то я не знала, что и подумать.

— Все в порядке, Надя. Не ругайте мужа, он у вас прекрасный человек.

— Все вы прекрасные, — сказала она, — пока спите и пока вас дома нету.

Шумилов постелил Коле на оттоманке.

— Рассказать кому, не поверят, что я у директора ночевал, — говорил он.

— А ты не рассказывай, — посоветовал Шумилов.

Назавтра он переехал в новую квартиру...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

А записную книжку Шумилов нашел. Нашел случайно, когда складывал в чемодан свою военную форму. Однако он не подумал, на что надеялась Анатолия Федоровна, что книжка лежит в кармане с тех самых пор, когда он вернулся в Ленинград. Он хорошо помнил, что несколько раз заглядывал туда, отыскивая старые адреса. В том числе и адрес Кирпичниковых.

Он машинально перелистал страницы, не сознавая, что ищет какую-то запись, которая открыла бы причину, заставившую жену пойти на эту хитрость. И наткнулся на адрес Елены Сергеевны. А наткнувшись, как и следовало ожидать, тотчас сообразил, что именно она приходила к нему. И как же я сразу не догадался, удивился он, почему сразу не подумал о ней?.. Ведь больше некому было прийти, потому что и никому из женщин, кроме как Елене Сергеевне, я свой ленинградский адрес не давал. Наверняка не давал. Значит, жена приревновала меня, не захотела, чтобы мы встретились, обманула, значит, солгала...

У него не было зла на жену, все естественно и легко объяснимо. Женщины вообще ревнивы, ревнивы в принципе, и чувствуют опасность для себя даже тогда, когда никакой опасности еще не существует, а жена воспринимает все гораздо острее, болезненнее, чем другие женщины. Это не ее вина, понимал Шумилов. Это ее беда... И все же остался на душе неприятный осадок, как бывает, когда накануне выпьешь лишнего, а потом не знаешь, что делал, что и кому говорил, и было стыдно перед Еленой Сергеевной, хотя Шумилов ни в чем не мог упрекнуть себя, разве в том только, что сам вот не догадался разыскать ее, а она разыскала и встретила здесь, в его доме, не друга, к которому шла... Тут он представил, как недружелюбно и, пожалуй, откровенно враждебно встретила жена Елену Сергеевну, а ведь ей ничего не было нужно от него, она наверняка пришла просто так, повидаться и, может быть, узнать о здоровье жены...

Но и жена не сделала ничего такого, в чем ее можно было бы упрекнуть. Скорее всего, любая женщина на ее месте сделала бы то же самое. Коля прав: женщина, хозяйка дома охраняет свое гнездо. Это заложено в ней от рождения, и она не вольна поступать иначе. Ах-да, она же спрятала записную книжку и не сказала о том, что приходила Елена Сергеевна. Забыла сказать?.. Возможно. Но записная книжка, зачем она прятала ее? Она не имела права делать это, не имела права заглядывать в книжку...

В тот же вечер, едва выгрузив вещи в новой квартире и щедро расплатившись с ребятами, Шумилов оставил Зинаиду Ивановну прибираться, а сам отправился на Гончарную улицу — до войны Елена Сергеевна жила там. Он не знал, зачем идет туда, но знал, что пойти должен. Обязан пойти.

Дом был большой и какой-то ветхий, обшарпанный весь. Рядом — товарная станция. В парадной остро пахло сырой штукатуркой и кошками. Он поднялся на пятый, последний этаж и в потемках едва разглядел номер нужной квартиры. Он хотел уже позвонить, но услышал чьи-то медленные шаги. Оглянулся и увидел старушку, которая тоже поднималась на пятый этаж. Она подозрительно взглянула на Шумилова и стала шарить ключом в поисках замочной скважины, а скважина не находилась, и он понимал, что старушка нервничает, боится его — он стоял за ее спиной, не решаясь заговорить, спро-

сидеть, живет ли здесь Елена Сергеевна Пухначева, хотя никогда не страдал от излишней робости.

Наконец старушка открыла дверь, и тогда Шумилов сказал:

— Простите...

Она быстро обернулась и как бы прикрылась от него дверью.

— Что вам надо? — Голос выдавал ее страх.

— Елена Сергеевна Пухначева здесь живет? — спросил он.

— Елена?.. — с явным облегчением переспросила старушка. — Живет, что ей делается, Елене. Звоните четыре раза. — И захлопнула перед носом Шумилова дверь.

Однако, подумал он и покачал головой. И четыре раза нажал кнопку звонка. Прошло неимоверно много времени, так много, что Шумилов успел подумать и о том, что не следовало ему все-таки приходить сюда, и о том, что Елена Сергеевна постарела, наверное, а еще он успел вспомнить все, что было на Урале, и даже голос ее, тихий, отчего-то всегда неуверенный, прежде чем дверь снова открылась.

— Вы? — очень просто, буднично спросила Елена Сергеевна, точно они расстались накануне.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, Антон Игнатьевич. — Она внимательно, слишком уж внимательно и настороженно оглядела его — так ему показалось, — помешкала немного и наконец пригласила неуверенно: — Ну что ж, входите, раз пришли.

— Я не помешал вам? Может, в другой раз...

— Бросьте, право, — сказала она. — Входите.

Сначала они шли темным коридором, потом через огромную, как танцевальная зала, кухню — женщины, стоявшие над примусами и керосинками, дружно повернули головы, и Шумилов понял, что его уже ждали, потому что и старушка, которую он встретил на лестничной площадке, тоже была здесь, — потом опять коридором, и казалось, что нет у этого коридора ни начала, ни конца.

— Сюда, — Елена Сергеевна открыла дверь и пропустила его вперед.

Комната была большая, метров тридцать, но почти совсем пустая: старая никелированная кровать, три вен-

ских стула, дешевый фанерный шкаф с зеркалом, круглый стол, накрытый клеенкой, этажерка, на которой в беспорядке лежало несколько книжек. Вот и вся мебель. На окнах — их было три — висели серые марлевые занавески.

— Садитесь, Антон Игнатьевич, — сказала Елена Сергеевна, и он подумал, что она нисколько не стесняется его, то есть ее совсем не смущает убожество обстановки, а вот другая женщина на ее месте стала бы извиняться за беспорядок, стала бы оправдываться и тому подобное.

Он сел.

— Признавайтесь, о чем вы сейчас думаете?

— Так, ни о чем, — ответил он. — Смотрю на вас. Сколько же лет прошло? ..

— Много, Антон Игнатьевич, много. . . — вздохнула она. — Ну, рассказывайте, как ваши дела, как семья?

— Да вроде и нечего рассказывать, — сказал он.

— Жена поправилась? Я собиралась на днях зайти к вам еще раз, — предупредила она его вопрос, и он понял, что она обо всем догадывается, все знает и таким вот нехитрым способом выгораживает, защищает жену. — А дочка нашлась?

— Нет, — сказал Шумилов. — А зайти ко мне еще раз вы бы не смогли: я там уже не живу. Сегодня переехал на новую квартиру.

— Вот как? Поздравляю, Антон Игнатьевич. Жена, наверное, рада-радешенька. . . У вас очень симпатичная жена, право. Квартира отдельная?

— Квартира отдельная, жена у меня действительно симпатичная, — проговорил он, — а вот обманывать меня не надо.

— Бог с вами, Антон Игнатьевич! В чем же я обманываю вас?

— Вы не пришли бы больше.

— Не знаю. — Она потупилась. — Сама не знаю. Может быть, и пришла бы. . .

— Оставим, — сказал Шумилов. — Вы. . . — Он хотел спросить, с кем живет она, вернулся ли с войны муж, но что-то оставило его.

Елена Сергеевна поняла его и так.

— Я живу теперь одна. Муж погиб, а сын и свекровь умерли еще там. . . Вы разве не знали об этом?

Действительно, знал он или нет? ..

— Не помню, — признался он.

— Наверное, не знали. Но это все равно. А за вас я рада, Антон Игнатьевич. Приятно, когда хоть кому-то, кого ты знаешь, хорошо...

— А куда вы тогда подевались? — спросил Шумилов. — Я заходил, хотел проститься, мне сказали, что вы куда-то срочно уехали.

— Да, мы переехали в колхоз. Помните Назара Тимофеевича Краснова, председателя?.. Он еще приглашал меня, когда мы с вами... — Она смутилась и покраснела.

— Разумеется, помню.

— Мы подумали и решились. Назар Тимофеевич оказался просто замечательным человеком, а его жена... Слов нет, какая она хорошая. Он и после войны долго не отпускал меня, уговаривал остаться там, и я иногда думаю, что нужно было остаться. — Она вздохнула. — Потянуло домой, в Ленинград. Столько ждали, когда можно будет вернуться домой... А вы где работаете?

— На заводе, где же мне еще работать?

— В самом деле, — сказала Елена Сергеевна, улынувшись. — Я ведь где-то слышала о вас или читала. Значит, опять на своем заводе?

— На своем. А вы?

— Я по-разному. Живу, и это главное, хотя временами бывает, что сама не понимаю, для чего живу. — В голосе ее появились жесткие нотки, и Шумилов не стал ни о чем больше спрашивать. Он догадался, что она не хочет говорить о себе, а когда люди не хотят говорить о себе, подумал он, у них есть на это причины.

Они молчали, и молчание это было неловким, неестественным, как если бы им многое хотелось сказать друг другу, но что-то мешало этому, что-то стояло между ними...

— Как у вас со временем? — спросил Шумилов.

— А что?

— Знаете, я чертовски проголодался. С этим переездом даже не обедал сегодня. — Он говорил неправду, Зинаида Ивановна умудрилась все же приготовить обед и накормить не только его, но и ребят, которые помогали таскать вещи. — Жена в больнице...

— Что с ней? — с участием спросила Елена Сергеевна.

— Ничего, пустяки. Просто обследуется. Завтра ее

должны выписать.— Он пожалел, что обмолвился о жене.— Давайте поужинаем где-нибудь!

— Что вы, Антон Игнатьевич. Неудобно, право. И у меня, как назло, нечем вас угостить.— Она виновато улыбнулась.— Много ли одной женщине надо? А вы— мужчина, вам нужно как следует питаться, я понимаю...

— Вот и пойдемте попытаемся как следует! — Он тоже улыбнулся.

— Все это так неожиданно... Не знаю, право, Антон Игнатьевич...

— Давайте не будем,— сказал он.— Собирайтесь.

— Ну хорошо. Я только переоденусь, ладно? А вы отвернитесь, пожалуйста.

Он встал и отошел к окну. Он слышал, как шуршала за спиной материя и даже видел немного Елену Сергеевну в темном стекле, и было, было; черт возьми, у него желание повернуться, подойти к ней, обнять, он знал, что она не оттолкнет его, но прильнет к нему и станет шептать какие-то нежные слова...

— Я готова,— сказала Елена Сергеевна.

На ней было темное, кажется, темно-синее платье с глубоким вырезом и лакированные туфли-лодочки. А вот украшений не было никаких. Шумилов обратил на это внимание, потому что жена очень любила всякие украшения.

— Вы прекрасно выглядите,— сказал он и укорил себя за то, что не сказал этого раньше, до переодевания.

— Какое там,— смущенно проговорила она.— Вы извините, Антон Игнатьевич, у меня старое пальто, никак не собраться купить новое. Да я ведь и не хожу никуда.— Нет, она вовсе не стыдилась признаться в этом. Она просто ставила его в известность.

— Пальто — не душа,— улыбнулся Шумилов.— Сегодня старое — завтра новое. Вздор все это, пойдемте.

— Наверное, вздор. Мы слишком много внимания уделяем вещам, как будто в них счастье. А ведь была война, был весь этот ужас... Почему вы с голой головой, холодно уже.

— По привычке,— ответил он.— Помните...

— Я все помню, Антон Игнатьевич. Все-все.— Она кивнула и, сняв свое старенькое пальто с гвоздя, который вбит был прямо в стенку за шкафом, стала надевать.

Он догадался в последний момент взять пальто и подать ей.

— Спасибо,— сказала она.

Они вышли из комнаты, и снова женщины смотрели на них, и Шумилов громко, чтобы слышали все, попрощался.

А на улице шел дождь.

II

Помещение для спортзала нашлось. Просторный, сухой и не сильно заглубленный подвал неподалеку от завода. До войны здесь были какие-то склады, но теперь подвал пустовал, местная шпана устраивала там свои сборища, играли в карты, жильцы писали жалобы, поэтому жилконтора с удовольствием согласилась сдать подвал в аренду. Ребята сами сделали ремонт (завод помог материалами) и оборудовали три помещения для занятий, раздевалку, душевую и даже отдельную комнату для тренеров. Вот только тренеров не было. Завком мог оплатить одного, да и то не совсем тренера, а физкультурного организатора, а ребята нацелились на три секции — бокса, тяжелой атлетики и гимнастики.

К Шумилову явилась делегация во главе с секретарем комитета комсомола. Среди делегатов был и тот паренек, который ратовал в общежитии за «всестороннее гармоничное развитие личности».

Шумилов узнал его.

— Как живем? — спросил он.

— Лучше всех! — бодро ответил паренек.

— Молодцом. Так я внимательно слушаю вас.

— Антон Игнатьевич, нужны два тренера по боксу и тяжелой атлетике,— заговорил секретарь комитета.— По гимнастике нашли. . .

— Постойте, братцы,— перебил его Шумилов.— Вы обращаетесь не по адресу. Из меня тренер не получится. Староват уже.

— Мы не в том смысле, Антон Игнатьевич. Тренеров мы сами найдем, а вот платить нечем.

— Бесплатно не хотят тренировать молодежь?

— Хорошие не хотят, а плохих мы не хотим.

— А вам непременно нужны хорошие? — Он оглядел ребят, их было пятеро. — Не знаю, чем вам помочь,— сказал он.— В штатном расписании должности тренера нет.

— А если оформить на какие-нибудь ставки? — неуверенно проговорил секретарь комитета. Прогово-

рил-то он неуверенно, а пришел именно затем, чтобы выпросить эти ставки.

— Комсомольский бог, ты должен показывать пример сознательности, а учишь директора нарушать порядок. За это, братовья вы мои, по голове не поглядят. Сколько они хотят, эти ваши хорошие тренеры?

— По шестьсот в месяц. Занятия три раза в неделю по вечерам.

— Это что же,— быстро прикинул Шумилов,— при полном рабочем дне выйдет на брата по две четыреста? Губа у них не дура.

— Один заслуженный мастер спорта, Антон Игнатьевич. . .

— Заслуженный! Знаешь, сколько на заводе заслуженных людей? То-то. А две четыреста кто зарабатывает? . . . Ладно, подумаем. Еще вопросы есть?

Вопросов у ребят больше не было, они ушли, а Шумилов, подумав, вызвал начальника отдела труда и зарплаты Ефимцева.

— Такое дело, Олег Петрович. Да ты садись. Нужны две ставки по шестьсот или одна на тысячу двести. Комсомол, понимаешь, просит оплатить двух тренеров, надо уважить. Пусть молодежь занимается спортом, все лучше, чем водку жрать.

— Не знаю, Антон Игнатьевич. Если только в технический отдел, у Ващенко есть пара свободных ставок. . .

— Давай в технический.

— Шум Ващенко поднимет.

— Это ничего,— сказал Шумилов.— Я его породил, я с ним и договорюсь.— Он рассмеялся.— А вам, Олег Петрович, спасибо. От имени комсомола.

— Лучше бы от фининспектора из КРУ,— пошутил Ефимцев.

— И с ними можно договориться,— успокоил Шумилов.— В КРУ тоже люди работают. И наверняка у них тоже есть свои проблемы, которые они как-то решают.

Однако вызывать он Ващенко специально не стал, зная, что тот очень самолюбив, а попросил его задержаться после какого-то совещания и обрисовал ситуацию.

— Надо, Ващенко.

— Но это же безобразие, Антон Игнатьевич! Забираете ставку старшего инженера. . .

— Постой, не горячись,— сказал Шумилов.— Заку-

ри и успокойся. Я не хуже тебя знаю, как это называется. А что прикажешь делать, если тренеры по штату не положены, а молодежь жаждет заниматься спортом. Хорошо это или плохо? Отвечаю: хорошо, пусть занимаются. Так что ты, Ващенко, не сердись, войди в положение. А с нового года мы пробьем тебе еще одну единицу.

— Но ведь можно на общественных началах...

— Не жмись, не жмись. Ты Ефимцеву рассказывай, как тебе трудно, что маленькие штаты, а мне не надо, Ващенко. Не надо. У тебя в отделе женщины все равно без дела сидят, чулки-носки вяжут, начальство ругают, о модах и мужиках болтают.

— Вот все так думают,— обиделся Ващенко,— а работы много, дела запущены...

— Поэтому я и настоял на твоей кандидатуре,— сказал Шумилов, и он не лгал, так оно и было в действительности.— Наводи порядок, хватит в детский садик играть.

— Наводи, а сами третью ставку забираете.

— Какую третью ставку? Не понял, объясни.

— Редактор — или как он там называется, на радиовещании,— числится у меня? У меня. Ладно, я не спорил, когда его оформляли, сам Горелов решил. Теперь ваш референт...

— Не референт, а тренер,— поправил Шумилов.

— Это сейчас вы о тренере говорите, а ваш референт давно оформлен.

— Какой референт? Нету у меня никаких референтов, не положено, хотя и не помешал бы. Вздор ты городишь, Ващенко.— Шумилов потянулся к телефону.

— Иванов,— сказал Ващенко.

— Это что, лысый такой и ходит, как вопросительный знак?

— Ну да.

— А я-то все думаю, что он в приемной целыми днями отирается! — воскликнул Шумилов.— Тысячу раз спросить собирался, да забываю. Ишь ты, у меня, оказывается, есть референт, а я и не знал об этом. Хорошо, с этим вопросом я разберусь, а уж для тренера уступи одну ставку, верну, даю слово. Понимаешь, я обещал комсомольцам, неудобно получится...

— Что я? — пожал Ващенко плечами.— Надо так надо.

С редактором радиовещания выяснилось быстро: Го-

релов объяснил, что оформлен он с ведома райкома, поскольку пока нет штатной единицы, но с будущего года должна быть. В общем, начальство в курсе дела. А вот своего «референта» Шумилов пригласил для беседы.

— Как-то странно получается, Николай Григорьевич. Вы вроде бы мой помощник, правая, так сказать, рука, а мы даже незнакомы.

— Видите ли, Антон Игнатьевич, за годы работы я научился многому, в том числе золотому правилу не лезть на глаза, пока не позовут.

— Мудрое правило,— сказал Шумилов.— А вот еще есть, знаете? Не спешите выполнить первое приказание, ибо за ним последует второе.

Ему не нравился Иванов. Что-то щучье, подумал он, есть в нем. Лицо вытянутое, узкое, а глаза такие юркие, цепкие, всевидящие глаза. И уши прижаты к голове, точно приросли. Такой, пожалуй, действительно и в за-мочную скважину пролезет.

— Вы меня не совсем правильно поняли,— с обидой в голосе проговорил Иванов.

— Возможно. У меня к вам вопрос: как часто вам приходится показываться на глаза вашему начальству?

— Все зависит от методов работы начальства, от характера и от намечаемых в ближайшее время мероприятий. Вы, например, меня никогда не приглашаете, это ваше дело. Но знайте, что я всегда здесь, у вас под рукой.

— Это хорошо, но чем вы занимаетесь?

— Вот вы о чем! — заулыбался Иванов.— Работы хватает, Антон Игнатьевич. Правда, работа эта незаметная, но — позволю себе заметить — крайне важная. В настоящее время я готовлю справку к тезисам вашего доклада на предстоящем партийно-хозяйственном активе, а если прикажете — подготовлю и сами тезисы, у меня есть кое-какие наброски. Упор должен быть сделан на трудовую дисциплину, поскольку этот вопрос стоит в настоящий момент особенно остро. . .

— Прекрасно,— сказал Шумилов.— А еще чем вы занимаетесь?

— Отвечаю на некоторые письма, поступающие на ваше имя, веду предварительный прием рабочих и служащих, записавшихся к вам на прием. Дело в том, что многие обращаются непосредственно к вам, минуя. . .

— Минутку, Иванов! — резко остановил его Шумилов.— Кто вам дал это право? . .

— Но если вы будете прочитывать всю почту, адресованную вам, и принимать каждого, кто рвется на прием...

— Я спрашиваю вас: кто вам дал право подменять директора завода? И что значит «рвется» на прием?..

— Так было всегда, это не мною заведено.

— Черт знает что! — вскричал Шумилов и вдруг почувствовал укол где-то под левой лопаткой. Он поморщился, укол был достаточно сильный, и повернулся чуть-чуть в кресле, подумав, что неудобно сидит. — Вы кто по образованию? — Острая боль отпустила, остался только как бы след от нее, напоминание.

— У меня незаконченное высшее, — ответил Иванов с достоинством.

— А в этой должности давно?

— В общем, давно.

— Что значит «в общем»?

— До войны работал, вас хорошо помню. Я завод и людей знаю как свои пять пальцев. В войну был перерыв, а потом опять... — Он что-то прикинул в уме и сказал: — Вы четвертый директор, с кем я работаю.

— К сожалению, для вас и последний.

Опять кольнуло под лопаткой, но уже не так резко и сильно. Черт, выругался он, неужели простыл где-то? Он чувствовал ломоту в теле, именно как бывает, когда простудишься и когда начинает подниматься температура. Этого еще не хватало.

— Вы недовольны моей работой?

— По штату, уважаемый, не положено.

— По штату всегда было не положено, — усмехнулся Иванов. — Не положено много чего, однако здравый смысл заставляет...

— Со здравым смыслом я разберусь сам, — сказал Шумилов. — А вам придется сменить место службы.

— И куда мне идти?

— А вы где не заканчивали свое высшее?

— В Ленинградском университете, на юридическом.

— Узнайте у старшего юрисконсульта, — может быть, он возьмет вас к себе.

— Нет, у него три единицы и все заняты.

— Тогда ходите по цехам, да вы и так знаете завод. Рабочие везде и всегда нужны. Ничего другого я предложить вам не могу.

— Благодарю вас, Антон Игнатьевич, мне все понятно. Очередные интриги, но вы напрасно слушаете...

— Выйдите вон! — сказал Шумилов.

— Я выйду, разумеется, я выйду, однако не пришлось бы вам пожалеть о сегодняшнем разговоре...

— Вон! — повторил Шумилов. — Чтобы духу вашего на заводе не было.

Опять кольнуло сильно и трижды кряду. Он налил в стакан воды, выпил. Боль понемногу отошла, но осталось какое-то неудобство, нытье под лопаткой. Словно ребенок или чахоточная барышня, подумал Шумилов. И сказать-то кому стыдно: здоровый мужик — и простудился.

III

Может быть, стоило поставить банки или горчичники, раз уж не захотел обращаться к врачам, однако Шумилов решил ограничиться народным средством.

— Чего ради ты собрался пить водку? — удивилась Анатолия Федоровна. Такое случалось очень редко, чтобы он ни с того ни с сего, один, пил водку.

— Да ломает что-то, простыл.

Она потрогала его лоб.

— По-моему, — сказала она, — у тебя нет температуры, а если есть, то совсем маленькая.

— Сейчас сделаем большую. У нас найдется жгучий перец?

— Я спрошу у Зинаиды Ивановны. — Она вышла из комнаты и, вернувшись, принесла подсохший стручок.

Шумилов налил водку в стакан и опустил туда перец.

— Ты с ума сошел! — испуганно воскликнула она. — Целый стакан водки...

— Все, дебаты окончены. — Он помешал вилкой в стакане, обождал немного, покуда водка насытится перечным духом, вынул стручок, отряхнул и положил на блюдце. Потом шумно выдохнул воздух и одним глотком опорожнил стакан. — У-ух! — и поморщился.

— Закусывай же скорее, — обеспокоенно сказала Анатолия Федоровна, — сгорит все внутри.

— Ты бы хоть водку не учила меня пить.

— Ты что, Антон? Побойся бога.

— Нашла чем пугать. Мне хватает и живых, реально существующих пугал, чтобы я боялся еще и абстрактных,

— Выходит, я пугало?.. — Она смотрела на него широко открытыми глазами, смотрела с испугом и удивлением. Ничего подобного она не слышала от него прежде, хотя он и бывал резок и грубоват.

— Да при чем тут ты? Вечно тебе в голову лезет всякая чертовщина и все ты принимаешь на свой счет. Мнительная ты чересчур. Займись лучше своими делами.

— Но разве твои дела — это не мои дела?..

— А зачем, скажи на милость, тебе мои заботы?

— Ты делишь жизнь на свою и мою, а мне бы хотелось, Антон, чтобы у нас была одна, общая жизнь...

— Одной жизни, мамуля, на двоих маловато.

Он терпеть не мог подобных разговоров, они раздражали его, эти никому не нужные рассуждения о жизни вообще, разговоры, лишенные конкретности, ясности. Отчасти поэтому он и с Николаем Николаевичем виделся редко, потому что Кирпичников тоже склонен к рассуждениям на отвлеченные темы, которые ни в малой степени не занимают Шумилова, не интересуют его. Сложности человеческих отношений, проблемы морали, нравственности, черт-те знает что могут нагородить любители поболтать о том о сем. А толку что от этих посиделок, разговоров по поводу, а то и вовсе без повода. Словоблудие какое-то, подмена дела словами. Вот именно: каждый должен, обязан знать свое дело и добросовестно его выполнять. Все ясно и просто. Это суть, ибо ради дела человек и живет-то на свете, а все остальное... Вздор, если разобраться, все остальное. Сущий вздор. Игрушки для детей младшего и среднего школьного возраста. Пожалуйста, я могу согласиться, если вам так уж хочется, что учителю — скажем, учителю — необходимо терпение, необходим определенный склад характера, умение разговаривать с учениками и прочее, и прочее, но я-то, черт побери, не учитель средней школы, чтобы выворачиваться наизнанку перед взрослыми людьми, которых и учили для того, чтобы они хорошо работали. Я инженер, руководитель, а на производстве нет и не должно быть места сюсюканью, на производстве положено работать, выполнять план, а не играть в воспитателей и воспитуемых. Мне некогда цацкаться и думать, что, кому и как сказать. С меня спрашивают только план и ничего больше. Что я, пополам должен был переломиться перед этим прохвостом Ивановым с

незаконченным высшим!.. Может быть, нужно было извиниться, сказать «чего изволите»?.. Да пошел он...

Он сидел, прикрыв глаза, а жена продолжала говорить что-то, доказывать, не замечая, что он не слушает ее.

— Я давно хотела тебе сказать это, Антон, да вот не рещалась, а сегодня...

— Сказала, и хорошо, легче будет жить. А моя жизнь, в которую ты так упорно рвешься, не представляет для тебя никакого интереса. Это скучная для женщины жизнь. Слушай, не съездить ли тебе на Юг отдохнуть?

— Ты же знаешь, что на Юг мне нельзя,— сказала Анатолия Федоровна с обидой.— И без тебя я вообще никуда не поеду.

— Жаль,— вздохнул он.— Тебе не мешало бы отдохнуть, отвлечься.

— Может быть, и развлечься заодно?

— Может,— сказал он. И взглянул на часы.

— Ты спешишь куда-то?

— Да понимаешь...— Шумилов поскреб подбородок.— Надо бы одного юбиляра поздравить. Не хочется, а надо.— Он встал.

— Ты же плохо себя чувствуешь, Антон.

— Это чепуха. В принципе не хочется ехать. А придется.— Он резко повернулся, и тотчас острая боль то ли в спине, то ли в груди заставила его сесть.— Черт бы побрал! — Он поморщился.

— Что такое, Антон? — испуганно спросила Анатолия Федоровна.

— Поясница.

— Может, ты лучше приляжешь?

— Надо ехать.— Он снова встал, но осторожно.

— Тебе приготовить костюм?

— Не стоит, сойдет и в этом. Не велик барин этот юбиляр.

Она знала, что никакого юбиляра нет, что он едет к Павловским играть в преферанс. Маша давно выдала эту его тайну, хотя и давала Шумилову слово ничего не говорить жене. В сущности, Анатолия Федоровна не имела ничего против, она понимала, что как раз ему-то время от времени необходимо отвлечься, иначе с этой его работой можно сойти с ума, ее только обижало, что он обманывает. А впрочем, она могла бы простить ему и маленькую, невинную ложь, даже эту женщину, Елену

Сергеевну, с которой он иногда встречался (Анатолия Федоровна догадывалась об этом), она тоже готова была простить, лишь бы он принадлежал ей, лишь бы она была уверена, что нужна ему. Но это невозможно, потому что он не принадлежит никому, только себе. Он ничей. Он всегда был ничей, а теперь в особенности. . .

А как мало ей нужно, чтобы чувствовать себя вполне счастливой. Совсем крошку. Хотя бы чуточку уступчивости, пусть в мелочах, хотя бы частицу прежней нежности, ласки. . . Вот и все, на большее она уже не претендует. Она не догадывалась — пока еще не догадывалась, — что потеряла его доверие и уважение тоже, выразив недоверие ему, когда спрятала записную книжку и солгала, что не знает, кто именно к нему приходил. Она поняла, что записную книжку он отыскал, а значит, нашел и адрес Елены Сергеевны, однако не подозревала о том, что обмануть его не удалось, и, почувствовав, что он охладевает к ней, решила, что все дело именно в Елене Сергеевне, что она просто его любовница. Случалось, она думала: надо сказать Антону, что я все знаю и все понимаю, ведь сердцу действительно не прикажешь, и пусть он ничего не боится, пусть уходит к ней, раз ему там лучше, но одно дело думать об этом бессонной ночью, когда все-таки он рядом, здесь, и совсем другое решиться сказать, то есть оборвать последнюю ниточку, лишить себя последней надежды, что он вернется домой. Перебесится и вернется, с мужчинами такое бывает часто. Может быть, бывает со всеми. . .

Анатолии Федоровне со времени девичества мечталось полюбить человека сильного, мужественного, талантливое. Она была воспитана на хороших книгах но еще и на примере родителей. Отец был, в общем-то, безвольным, слабым человеком, мать помыкала им, как хотела, а он все терпел (став взрослой, Анатолия Федоровна поняла, что такое терпение требует именно мужества и сильной воли, но разобраться в этом противоречии так и не сумела), молчаливо сносил придирки матери, ее явное неуважение к себе. На людях-то она никогда не показывала этого, но дома иначе как тряпкой его не называла, хотя сама же, сама и сделала его таким. Он был мечтатель, идеалист, всю жизнь, сколько помнит его Анатолия Федоровна, составлял проекты переустройства школьного обучения и воспитания, не считаясь со временем, возился с деревенскими мальчишками, в которых обнаружил задатки одаренности, а мать

была женщиной практичной, жесткой и, пожалуй, несколько даже сумасбродной. Она была хорошей учительницей, но, видимо, плохой женой, и поняла это слишком поздно. Поняв же — после смерти отца, — часто говорила дочери, что, живя с мужчиной, нельзя забывать, что он мужчина, нельзя требовать от него больше, чем он может или хочет дать. Излишняя требовательность, говорила она, и желание руководить мужчиной дорого, очень дорого обходится прежде всего самой женщине. Муж в узде — чужой муж. Никогда не пытайся знать о нем все, учила мать, а если будешь стремиться к этому, будь готова к тому, что останешься одна. Видимо, одиночество, да еще под старость, когда оно особенно тяжело, подвигнуло мать к философскому осмыслению собственной жизни, и любую, самую простейшую мысль она облекала в афоризмы.

Она винила себя в преждевременной смерти отца и так и не простила себе этого. . .

Увидав впервые Шумилова, Анатолия Федоровна подумала, что вот мужчина, с которым она пошла бы и на край света. В нем было все, о чем могла мечтать она, что могло ей пригрезиться. В нем была статность и уже тогда была уверенность в себе. Да и красив он был. Высокий, подтянутый, широкоплечий и широкогрудый, черты лица резкие, как бы подчеркнута правильные, глаза острые, пронизательные, без всякой хитрости, открытые такие глаза — смотрите, мне нечего скрывать от людей, — пышная, неприбранная шевелюра, высокий лоб, сильные руки. Он и теперь красив, а седина даже как бы прибавила ему стати, и она с горечью, но и с тайной гордостью тоже думала иногда, что за ним любая женщина пойдет, лишь бы он поманил, и чему же тут удивляться, если эта Елена Сергеевна пришла к нему сама. Пусть, пусть, раз ему это необходимо, только бы не уходил совсем, только бы не был чужим и далеким. . .

А он удалялся, все более охладевая к ней, и она не могла не чувствовать этого. Даже ночью, в моменты их нечастой близости, когда она буквально теряла голову, он оставался сам по себе, он и был с нею, но его и не было, и она уходила потом в ванную и плакала там, а когда возвращалась, он обычно уже спал, успев выкурить папиросу.

Как-то она пожаловалась Маше, попросила совета что делать, а Маша, усмехнувшись, сказала:

— Что же тут можно посоветовать? Жизнь есть жизнь, у каждого своя. Ее ведь не поменяешь, не начнешь заново.

И Анатолия Федоровна согласилась с ней. Согласилась с тем, что всякая попытка насильственно изменить жизнь — самообман.

Она не слышала, когда Шумилов вернулся домой. Прощаив его до половины первого, легла и тотчас уснула, приняв две таблетки снотворного.

А он вернулся в начале второго, и было ему худо. Всего ломало, в ногах появилась какая-то ватность, и прострелы под лопаткой давали о себе знать все чаще и чаще. На лбу выступала испарина, а это верный признак того, что он заболевает. Он решил, что утром съездит на завод, проведет декадное совещание и уедет обратно. Надо отлежаться, сказал он себе. Хотя бы два-три дня, этого вполне достаточно. Лучше сейчас три дня, чем потом неделю или больше. Кончается квартал, нельзя выбывать из строя.

Он выпил еще полстакана водки с перцем, вернее, запил водкой аспирин, большую чашку горячего и крепкого чая, выкурил на сон грядущий папиросу и, тоже приняв таблетку снотворного, лег спать.

Утром он поднялся вроде бодрый, принял душ, хорошо позавтракал, чмокнул Анатолию Федоровну в щеку и уехал.

А в начале десятого позвонила секретарша Шумилова и, давась слезами, сообщила, что его увезли на «скорой» в больницу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

В машине Шумилов опять почувствовал себя неважно. От папиросы было горько во рту, перед глазами плыло все, он даже неясно, как бы в густых сумерках или в тумане видел Колю. Голова была тяжелая, в ушах звенело, левая рука отяжелела и плохо слушалась. И ныло, ныло под лопаткой.

Он знал, разумеется, что есть такая болезнь — инфаркт, однако и не подумал даже, что это может случиться с ним. Все знают, что у людей бывает рак, что людей

убивает insult и другие «экзотические» хвори, но каждый живет надеждой, что лично он-то застрахован от этих страшных заболеваний. Так и Шумилов. А впрочем, скорее всего он и вообще не думал об этом. Как все сильные, здоровые люди, он полагал, что больницы, поликлиники и санатории созданы не для него, что он не нуждается в медицине, разве что подхватит пошлый грипп, и считал, что большинство людей, шатающихся по врачам, просто напроосто притворяются или слишком уж внимательно прислушиваются к себе, оттого и пугаются всякой пустячной болячки. Правда, рядом с ним была жена, которую никак не обвинишь в притворстве, но ее болезнь — случай особенный. А с ним-то что может случиться?

— Плохо чувствуете себя? — спросил Коля.

— Хреново что-то, — сказал Шумилов, растирая под рубашкой грудь. — Грипп, что ли, начинается?

— А температура?

— Черт ее знает, — пожал он плечами. — Не мерял.

— Грипп надо выгонять народным средством, — посоветовал Коля.

— Выгонял, — усмехнулся Шумилов.

— Ничего, Антон Игнатьевич, пройдет.

— Надеюсь.

Когда остановились у ворот, он сказал Коле, чтобы ехал прямо к заводууправлению. Ходить сегодня по цехам не было сил.

Он непривычно тяжело выбрался из машины, несколько раз глотнул свежего воздуха и вошел в дверь. По лестнице, на второй этаж, поднимался медленно, опираясь на перила и явственно слыша, как неровно, с каким-то бульканьем, словно в маслянистой жидкости, бьется сердце.

Секретарша удивленно посмотрела на него. Такого не бывало, чтобы Шумилов прямо с утра явился в кабинет.

— Здравствуйте, — выговорил он с напряжением. — Почту мне и самые неотложные бумаги. Все остальное потом. И меня нет.

А в это время Блинкин позвонил начальнику кузнечно-прессового цеха:

— Слышал новость? Сам-то прямым ходом прошествовал в кабинет! Что я говорил? Попрыгает, попрыгает, и пешком походить захочется. Ха-ха! Так что бывай здоров и не кашляй.

Потом тот же Блинкин набрал номер начальника второго механического:

— Привет. Когда коньяк пьем? Какой, обыкновенный, но можно и марочный. Тот, который ты проиграл мне: Шумилов нигде не был, приехал и прямоком в кабинет... Нет, до получки я ждать не хочу. Может, до получки ты помрешь, или я помру, или коньяк запретят... Никаких гвоздей, сегодня на бочку.

Шумилов прошел в заднюю комнату, за кабинетом, раздвинулся, но плащ не повесил, как это делал всегда, а бросил на стул. Открыл «боржом», попил. Посидел немного и вернулся в кабинет. Открыл форточку, ему было душно.

Пришла секретарша, положила на стол газеты и папку с бумагами.

— Что у нас сегодня? — спросил Шумилов.

Она раскрыла блокнот.

— В одиннадцать декадное. В четырнадцать представители НИИ. В пятнадцать вы должны звонить министру. В пятнадцать тридцать совещание со строителями по сталелитейному. И прием по личным вопросам.

— Декадное я проведу, — подумав, сказал он. — Представителей из НИИ отправьте к главному инженеру, пусть разбираются с ним, это его вопрос. Так, сталелитейный... Давайте перенесем, сообщите, кому нужно. И извинитесь от моего имени.

— На когда?

— Потом посмотрим. Да, министр... Соедините меня на домашний, хорошо? После декадного я уеду, что-то плоховато себя чувствую.

— А прием?

— Много записалось?

— Шестнадцать человек, Антон Игнатьевич.

— К приему я постараюсь вернуться. Отдохну и вернусь. Всем, кому положено, быть на местах. — Он машинально сунул ладонь под рубаху и растер грудь. Ныло и там.

— Сердце, Антон Игнатьевич? — испуганно спросила секретарша. — Я позвоню в поликлинику...

— Не надо. Пройдет само. Это не сердце, простудился я, кажется. Еще что-нибудь?

— В приемной корреспондент из Москвы, вы обещали его принять.

— А, черт, совсем забыл! Пусть войдет. Только пре-

дупредите, что не более десяти минут. Да, и сначала вызовите на селектор начальников цехов.— Он усмехнулся.

Минут пять спустя он наклонился к селектору и нажал клавишу. Он знал, что начальники цехов слушают его.

— Блинкина вызываю,— сказал он в микрофон.

— Блинкин слушает. Доброе утро, Антон Игнатьевич.

— Знаю, что у тебя доброе,— сказал Шумилов.— Урожай богатый собрал?

— Какой урожай, Антон Игнатьевич?

— Все химчишь, Блинкин, а ума не набрался. Надо было меня в пай брать, вот тогда мы собрали бы пару ящиков коньяку. А теперь смотри, не пришлось бы возвращать. А это неприятная процедура. У меня все, до одиннадцати со всеми прощаюсь,— и он отключился.

Открылась дверь, вошел корреспондент.

— Садитесь, я вас слушаю.

— Собственно, мне бы хотелось послушать вас, Антон Игнатьевич.

— И что же вы хотели бы от меня услышать? Что такого, чего вы не знаете?

— Хотелось бы, чтобы вы рассказали о заводе, о себе, о проблемах, которые приходится решать сегодня...

— Понял, отвечаю. Обо мне — не надо. О заводе получите всю информацию. Походите по цехам, познакомьтесь с людьми, а потом специалисты ответят вам на вопросы, которые у вас возникнут. А что касается проблем... Что конкретно вас интересует?

— Вообще.

— Вообще есть одна проблема, которую мы все должны решать: от нас требуется хорошая, добросовестная работа, а мы пока работаем плохо. Ну, посредственно.

— Нашу газету интересуют проблемы управления народным хозяйством, мне хотелось бы из первых, так сказать, рук услышать ваше мнение...

— Руки мои столько же первые, сколько и последние.— Он улыбнулся.— Каждый занят, должен быть занят своим делом и знать свое дело лучше меня. Я — организатор, связующее звено, мне знать все и обо всем

нет необходимости. Да это и невозможно на профессиональном уровне. А дилетантов у нас и без меня больше, чем нужно. Так что и по этому вопросу вам лучше поговорить со специалистами. А меня текущие дела не должны интересовать. Правда, это в идеале, а пока... — Он развел руками.

— Почему не должны, вы же руководитель, единоначальник...

— Насчет единоначалия отдельный и большой разговор, сегодня у меня нет времени. Могу только сказать, что единоначалие в том виде, в каком оно существует нынче, — фикция, слова. Реальных прав у директора немногим больше, чем у вас. А насчет текущих дел... Я обязан думать о перспективе, о завтрашнем дне. — Он подошел к окну. — Мне положено по штату даже пейзаж видеть не тот, что есть сейчас, а тот, что будет в следующей пятилетке. У вас все?

— Один вопрос можно?

— Ну, если один. У меня нет времени.

— Вот вы, когда бываете в отпуске...

— Не знаю, что это такое, — усмехнулся Шумилов.

Тут снова возникла почти уже забытая боль, и он подумал, что в самом деле было бы здорово махнуть в отпуск. Не в том даже смысле, что уехать куда-то, а просто отрешиться от всего на свете, забыть о заводе, о выматывающих душу каждодневных проблемах...

— Ну вообще, — сказал корреспондент, — когда вас нет на заводе, душа у вас на месте?

— А где же ей быть? — Он понимал, разумеется, он прекрасно понимал, к чему клонит корреспондент, то есть о чем хочет спросить, однако вопросы его казались наивными, не теми вопросами, какие следовало задавать директору, и потому разговор этот не принимал всерьез. — Душа у меня, дорогой, увы, без крыльев, так что...

— Я понимаю ваш юмор, но ведь и вы меня понимаете, не правда ли?..

— Допустим.

— Спокойна ли у вас душа, уверены ли вы, что без вас завод будет работать так же, как работает, когда вы на месте?

— Если я в этом не уверен, — проговорил Шумилов чуть назидательно, — меня надо гнать с этой должности. Здесь я или нет меня, завод должен работать в заданном, в нужном ритме и темпе, как... отечественные ча...

сы. К сожалению, не могу сказать, как те машины, которые производим мы. Короче, по крайней мере квартал меня может не быть на заводе. Иначе какой я, к чертовой матери, директор! Бригадир я в таком случае, сменный мастер, толкач, а не директор.

— И все же ваш рабочий день, насколько я знаю, начинается с обхода цехов, значит...

— Ровным счетом ничего это не значит,— перебил корреспондента Шумилов.— Ровным счетом,— повторил он.— Это не более чем привычка, нечто вроде физзарядки. Вы занимаетесь по утрам зарядкой?

— Редко.

— Плохо. Надо заниматься. Только один приседает, размахивает руками, другой устраивает скандалы в городском транспорте, а кто-то...— Он взглянул на часы, давая понять, что время истекло.

Корреспондент встал.

— Это ваш стиль, да?

— Повторяю: привычка. Мне нравится бывать в цехах, дышать запахом завода, видеть работающих людей, а здесь...— Шумилов постучал по столу.— Когда я гляжу, как жена пропускает через мясорубку мясо, у меня возникает желание посмотреть, как делают эту мясорубку, чтобы понять, почему женщины мучаются с ними. Вам бывает стыдно, когда вы читаете в газете собственную статью и видите, что она ни к черту не годится?

— Да,— ответил корреспондент.

— И мне стыдно, потому что я-то, будучи директором, твердо знаю, что мы можем и должны производить и больше, и лучше. Вот поэтому я и обязан думать о завтрашнем дне, дорогой. Передайте секретарю, чтобы она связала вас с Ващенко, он знает завод, как учебник по металловедению. И всего хорошего.— Шумилов протянул руку.

Отправив корреспондента, он сел разбирать почту. Среди разных бумаг внимание его привлекла одна, с грифом «прокуратура». Какой-то старший следователь сообщил, что по факту «дезертирства с производства гр. Воробьева Г. С. возбуждено уголовное дело, в связи с чем необходимо предоставить в прокуратуру дополнительные материалы...». Шумилов, продолжая читать это письмо, нажал кнопку селектора и велел зайти к нему заместителю по общим вопросам. Тот явился через несколько минут.

— Послушай, Евгений Герасимович, что это такое? — и протянул письмо из прокуратуры.

— Это давнее уже дело, Антон Игнатьевич.

— Что за дело?

— Ну, прогулял парень несколько дней, испугался, что отдадут под суд, и сбежал вообще. Мы, как положено...

— А что он за парень, почему сбежал?

— Я же говорю, что прогулял.

— Просто так взял и прогулял? Сколько ему лет?

— Семнадцать, кажется... — неуверенно ответил Федоров. — Он пришел к нам из ремесленного, учился на кузнеца, кузнец из него, по отзывам мастеров и начальника цеха, никакой...

Шумилов вдруг вспомнил мальчишку, который когда-то попросил у него закурить, тот, кажется, тоже учился на кузнеца, прожил в Ленинграде всю блокаду, потерял родителей... Как же его звать, того мальчишку?.. Впрочем, не в нем дело. Не в нем. В чем же тогда?.. Вот и Кирпичников считает, что его работа воспитателя очень важная и нужная; наверное, он прав, Кирпичников, но какая, к черту, польза от его важной и нужной работы, если мальчишки, его воспитанники, потом попадают под суд как дезертиры... Дезертиры!..

— Что ты сказал? — спросил он Федорова.

— Все по закону, Антон Игнатьевич.

— Ты сам-то видел его?

— Нет.

— А где он сейчас?

— Официально неизвестно, но как будто бы нелегально живет в нашем общежитии, друзья-приятели скрывают его. Мне Боровой докладывал, а ему...

— Нелегально! — Шумилов поморщился. — Он что, злодей, бандит с большой дороги? Наверняка ведь работал не по специальности, а кто куда пошлет.

— Его перевели разнорабочим.

— Кто перевел?

— Начальник цеха.

— А какое он имел на это право? — вскипел Шумилов, чувствуя, как опять возвращается ноющая, противная боль. На лбу выступила испарина. — Кто вам дал право использовать человека не по специальности?.. Это же твой сын по возрасту, у него, может быть, родители погибли, а вы!.. Сам, слышишь, сам разыщи его, посмотри в его глаза и приведи ко мне. А это... — Шу-

милов схватил письмо из прокуратуры и порвал.— Что хочешь делай, а парня верни на завод. Поезжай к прокурору, к черту лысому поезжай, это меня не касается. . .

Вдруг сдавило грудь, в груди стало тесно, неудобно, и пронзительная, нестерпимо острая боль заставила Шумилова стиснуть зубы. Он попытался встать, почему-то подумав, что, если встанет, боль отпустит. Однако ноги не держали его грузное тело, и, чтобы не упасть, чтобы все-таки удержаться на ногах, он схватился за край стола. Но и руки вдруг ослабели совсем, и Шумилов медленно оседал, волоча пальцами, которые скользили по гладкой полированной столешнице, телефонный шнур. Что же это такое, это совсем не похоже на простуду, — мелькнуло в его уже затухающем сознании, неужели сердце. . . Мысль эта была страшной, потому что следом за ней должна, должна была явиться и другая — о смерти (он всегда боялся смерти, только скрывал это), но не успела: он потерял сознание. Упал на бок между столом и стенкой, ударившись головой об угол тумбы, на которой стояли телефоны. А шнур так и не выпустил, и телефонный аппарат свалился и раскололся. . .

II

Он пришел в сознание на пятые сутки.

С трудом открыл глаза. Веки были тяжелые. Где-то за глазами яблоками и в затылке болело. Шевельнул рукой, как бы проверяя реальность своего существования, и тотчас, словно эхо, движение это отозвалось в груди.

Лежать было неудобно. Он никогда не спал на спине, и теперь захотел перевернуться на бок. Но чьи-то руки — лица он не видел, перед глазами шевелился, дышал фиолетово-розовый или розово-фиолетовый туман — помешали ему повернуться, и кто-то сказал:

— Лежи спокойно, тебе нельзя шевелиться.

Голос показался знакомым. Очень даже знакомым. А может, именно показался? . . . Шумилов сколько мог, сколько давала боль в голове, скосил глаза направо, на этот голос. У кровати сидела женщина. Он смутно различал очертания фигуры, но запаха, запах духов не оставлял сомнений. Он напрягся, всматриваясь. В глазах чуть прояснилось, и он даже увидел лицо. Впрочем,

скорее это было не лицо, а просто пятно, как будто он смотрел сквозь сильно запотевшее стекло...

— И не верти головой.

— Где... я... — Наверно, он думал, что спросил громко, но получился едва слышный шепот.

— Там, где нужно.

— Где я... — уже гораздо отчетливее и с ноткой недовольства повторил он.

— В больнице, успокойся.

— По-че-му в... боль-ни-це... — Он выговаривал слова по слогам. Произнести целиком не хватало сил.

— Ну так надо, Антон. Тебе нельзя разговаривать.

— По-че-му мне... нель-зя... — Все, силы оставили его, и он закрыл глаза.

Кто-то еще подошел к нему, однако Шумилов не смог открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это. Он слышал два голоса — знакомый женский и мужской — и даже понимал, что говорят о нем.

— Очнулся? — спросил мужской голос.

— Да, доктор.

— Вот и прелестно, вот и замечательно. Теперь все будет в порядке...

— Вы думаете...

— Думают академики и начальство, а мы лечим. Он вас узнал?

— По-моему, нет. Мне кажется, что нет.

— Это ничего. Разговаривал, пытался подняться?..

— Спрашивал, где он находится.

— С таким любопытством можно жить до ста лет! — сказал мужской голос. — Пусть отдыхает. Ему необходимо много спать. — Кто-то взял Шумилова за запястье. Он хотел отнять руку, но не смог. — У него могучее здоровье, так что можете не волноваться...

Больше Шумилов ничего не слышал. От напряжения он потерял снова сознание и окончательно пришел в себя еще через сутки.

Возле кровати сидела Маша Павловская.

— Пить, — попросил он и виновато улыбнулся.

Она приложила к его иссохшим губам носик поильника, и он сделал два-три глотка и ощутил во рту приятный кисло-сладкий вкус клюквенного морса. Напившись, он почувствовал облегчение.

— Что со мной.

— У тебя инфаркт, — сказала Маша. — Но теперь уже все хорошо, лежи спокойно и молчи,

— Как... это... случилось...
— Как у всех случается.
— Когда.— Он именно говорил, а не задавал вопросы, потому что так ему легче.
— Несколько дней назад.
— Сколько... несколько...
— Какое это имеет значение, Антон?
— Я спрашиваю.
— В среду, успокойся.
— Какой сегодня день.
— Вторник,— ответила Маша.— Зануда же ты, Антон.
— В среду декадное совещание...— проговорил он и закрыл глаза.

Ему стало вспоминаться что-то. Болело. Да, очень сильно болело в груди и под лопаткой. Он не пошел по цехам, хотел даже вернуться домой после совещания... Так. Ага, Блинкин. Корреспондент. А дальше? Что же было дальше?.. Нет, больше ничего не вспоминалось. Был провал в памяти. Но отчего болит голова?..

Он открыл глаза и показал глазами на поильник, который стоял на тумбочке в изголовье. Маша дала еще попить, и он благодарно улыбнулся ей.

— Как дела.
— Все нормально.
— На заводе.
— Нормально, Антон. И дома нормально: А ты спи, больше я тебе говорить ничего не буду.— Она демонстративно отвернулась.

Он полежал спокойно, собираясь с мыслями, и вдруг четко произнес:

— Черт с тобой.

Подошел врач. Пощупал пульс, приподнял веки, взглянул в глаза.

— Я не умру,— сказал Шумилов.

Врач не понял, что он спрашивает, а не утверждает, и ответил нарочито бодрым голосом:

— А кто вам сказал, что вы умрете? Не для того мы здесь, чтобы такие здоровяки умирали. В другом месте, если уж так хочется, сколько угодно, а нам, как и вам, нужны высокие показатели.

— Мне страшно.

— Ну, голубчик вы мой! Думаете, мне не страшно? Всем страшно. Но не умирать же со страха. Это было бы смешно и глупо. Отдыхайте, отдыхайте. Вам необходимо накапливать силы для следующего рывка.

— Какого рывка.

— Жизненного, жизненного! — И врач, усмехнувшись чему-то, вышел из палаты.

— Маша, — позвал Шумилов.

— Я же тебе русским языком сказала, что не буду больше с тобой разговаривать. Тебе вредно.

— Не надо разговаривать. Дай покурить.

— А выпить тебе не дать?

— Не хочу. Хочу курить и есть.

— Есть дам, — сказала Маша. — А курить не проси, все равно не получишь.

— Я на тебя обижусь.

— Сколько угодно. — Она поднялась и тоже вышла из палаты.

Он огляделся в надежде, что стрельнет папиросу у соседей, ему действительно страшно хотелось курить, но в палате никого больше не было. Заперли, сказал он себе, в одиночку.

Первые дни, пока он был в тяжелом состоянии (состояние его было настолько тяжелым, что врачи опасались за его жизнь), возле него круглые-сутки попеременно дежурили Маша, Зинаида Ивановна, жена Кирпичникова, сам Николай Николаевич. А вот Анатолии Федоровне дежурить не разрешили, ее пропустили к нему только тогда, когда он стал подниматься, и он обратил внимание, что она очень плохо выглядит. Правда, решил, что связано это с беременностью. Она посидела совсем недолго, сказала всего несколько слов и тихо как-то ушла, а ему почему-то запомнилась ее улыбка, какая-то грустная, вымученная улыбка, и тоскливый такой, пронзительный — не то виноватый, не то осуждающий — взгляд. Впрочем, и это не показалось Шумилову странным, хотя он и подумал, что не надо было оставлять им ребенка, какой уж там ребенок в ее положении...

А вот Кирпичников приходил всегда бодрый, жизнерадостный, много говорил, в том числе рассказывал анекдоты, которых Шумилов терпеть не мог, и Николай Николаевич как-то укорил его даже за это, сказав, что человек, не понимающий здорового юмора, — больной человек.

— Вот тебя и подвел мотор.

— Юмор и пошлость — разные вещи. А мотор... До смерти заживет.

— И все-таки он дан один на всю жизнь, без права на обмен.

— И это право добудем,— сказал Шумилов, посмеиваясь.— Погоди, еще и запчасти штамповать будем. А папиросы притащил?

— Откурился ты, Антон. Ни тебе никотина, ни тебе водочки. Уже зачислили в штаты по ведомству святых...

— Дудки! Среди Антонов не было святых. Надеюсь, и не будет. Во всяком случае, я первым не буду.

— Ты вместо курева читал бы, что ли,— сказал Кирпичников.— Я тут принес одну вещичку любопытную...— Он положил на тумбочку журнал.

— Достоевский? — спросил Шумилов.

— Почему именно Достоевский? — удивился Кирпичников.

— Крепкий был мужик. И людей понимал. Насквозь видел. Мне бы такого заместителя — и можно спать спокойно.

— Ты даешь,— рассмеялся Николай Николаевич.— Может, согласишься взять начальником цеха Толстого?

— Которого из них?

— Льва Николаевича, например..

— Нет,— подумав, серьезно сказал Шумилов.— Батрин он, а мне нужны работяги, чтобы без всяких там интеллигентских и дворянских штучек. А этот еще и учить начнет, как правильно жить и в кого верить. У меня, дорогой мой комиссар, вера одна на всю жизнь: на Госплан надейся, а сам не плошай. Как говорит неизвестный тебе Блинкин — бери больше, кидай дальше.

— Сам-то он живет по другому принципу,— возразил Кирпичников.— Из двух лопат выбирает которая поменьше.

— А я к его маленькой лопате большой мотор присобачил! — рассмеялся Шумилов.— Так что шпарит, голубчик, только пар валит.

III

А «вещичка», которую принес почитать Николай Николаевич, Шумилову активно не понравилась. Это была небольшая повесть, главный герой которой Ломакин, тоже, как и Шумилов, директор завода, вызывал чувство досады, он даже раздражал временами своею мнитель-

ностью, неуверенностью... Вообще повесть показалась Шумиллову слишком изящной, что ли, ей не хватало какой-то мужественности, суровости, не хватало, подумал Шумилов, правды жизни. Так можно писать о женщинах, о любви, о каких-то там томлениях души, но только не о мужчинах, которые заняты делом.

Он так и сказал Кирпичникову, когда тот пришел в следующий раз.

— Вздор,— сказал он, поморщившись.— Как будто писала светская барышня о своей подружке.

— А по-моему,— ответил Николай Николаевич,— очень неплохо. По крайней мере, я вижу характер героя...

— Характер! — усмехнулся Шумилов презрительно.— Какой он, к черту, директор, если почти в безвыходном положении мямлит что-то о долге и совести, словно прощения просит у подчиненных за то, что заставляет их работать?! Тряпка он, этот твой Ломакин.

— Ты хочешь, чтобы все были похожими на тебя, Антон, а люди все разные. Потому они и люди.

— Я хочу, чтобы каждый был похожим сам на себя. Но я не выношу мужиков, которыми бабы со стола стирают. И вообще не надо читать мне лекций по психологии, я тоже кое-что в этом смысле. Скажи честно: подняли бы мы с тобой двадцать девятый в войну, если бы я был таким, как этот... как его?.. Да еще и фамилия какая — Ломакин! Сломакин он, а не Ломакин.— Шумилов снова усмехнулся скептически и махнул рукой.— А сейчас что? В том-то и дело. Условия игры слишком жесткие, на карту поставлено слишком многое, чтобы руководитель мог позволить себе расслабиться, чтобы он колебался и сомневался, принимая решение. Надо — вот тебе и все сомнения. А раз надо — значит, сделаем. И нечего мне сопли на проводах развешивать, не белье сушим, а работаем. А не можешь, занимайся чем-нибудь другим. Пусть сомневаются девицы, когда первый раз замуж собираются.

— Постой, постой,— перебил его Кирпичников.— Вот ты отказываешь в праве на сомнения... А ведь сомневаясь, человек думает, головой работает...

— Прямой кишкой, а не головой,— сказал Шумилов.— Сомнение — это неуверенность. Если хочешь, даже трусость, страх сделать ошибку. Но в том-то и дело, что именно трус ошибается чаще других, потому что сам себя боится. Нет, братовья. Воевать так воевать, рабо-

тать так работать. Чтобы дым коромыслом и пыль столбом.— Он покраснел от возбуждения, размахивал руками и временами переходил на крик, так что даже дежурная медсестра заглянула в палату.

— Да ты успокойся,— взволновался за него Николай Николаевич.— Ну, не понравилась тебе повесть, бог с ней, с повестью. Зачем же так горячиться! У тебя всегда крайности.

— Успокаиваться нужно тебе, а не мне,— сказал Шумилов.— Думаешь, я не понял, для чего ты притащил мне эту пачкотню?.. Ты и сам с этим шившим интеллигентиком за один стол не сядешь, просто захотелось узнать, как отреагирует Шумилов. Ты ведь тоже у нас из сомневающихся. Но тебе-то простиительно: ты — комиссар...

— Перестань, Антон. Скучно слушать.

— Погоди, не перебивай. Сам завел меня, теперь слушай. Да, у меня всегда крайности. Это хорошо, а это плохо. А всяких там серединщиков терпеть не могу, от них за версту дерьмом несет. У них одна задача: как бы угодить и нашим и вашим. А дело делать не умеют. Силенок маловато, умишком опять же господь бог обделил, зато амбиции на трех Шумиловых хватит! Вот и норовят на чужом горбу в рай вкатиться, и чтобы их там с оркестром встречали. Все у них выглядит интеллигентно, rispetабельно, ручки у них чистенькие, галстучки повязаны аккуратненько, сорочки свеженькие... А что за этим, я тебя спрашиваю? Да ни черта, пустота! Голый, как в бане, карьеризм, и потная от страха душонка. О любви и уважении к ближнему рассуждают, а у самих единственная светлая мечта: как бы ближнего этого сожрать с потрохами и как бы никто об этом не догадался. Хреновина все это, демагогия.— Он схватил журнал и швырнул его на соседнюю пустующую кровать.— Поболтали, помесили языками слюни, и будя. Будя, братовья, работать надо.

— А ты никогда и ни в чем не сомневаешься?

— Сомневался, был грех. А теперь нет.

— Счастливый ты человек,— проговорил Кирпичников.— Аж позавидовать хочется, честное слово.

Он-то лучше других понимал, что далеко не так безмятежен и спокоен Шумилов, как это кажется, как пытается показать. Да ведь потому и разошелся, потому и полез в спор, что самого гложут сомнения. Он и спорит-то сам с собой, и наверняка не так уж однозначно

его отношение к герою повести... И все же Николая, Николаевича удивляла необъяснимая, какая-то фанатичная убежденность Шумилова, его уверенность в себе, уверенность в том, что жить должно именно и только так, как живет он. А может... Может, он и не хотел бы так, но иначе теперь, пока нельзя... Иначе откуда бы в нем взялись противоречия, которые ведь тоже на виду, откуда бы эта неуравновешенность и даже агрессивность?.. Он лучше других чувствует время, угадывает его требования, то есть живет именно сегодня, сейчас, потому что так надо...

Да, не все, что есть в Шумилове, принимал Николай Николаевич. Не все поступки его оправдывал, даже при большом желании оправдать. Резок и не всегда справедлив с людьми. Самонадеян. Не умеет прощать естественные человеческие слабости, безжалостен. Об этом рассказывали Кирпичникову старые его приятели, оказавшиеся теперь под началом Шумилова. Впрочем, могли бы и не рассказывать, Николай Николаевич не хуже их знает. Вспомнил вот двадцать девятый, себе в заслугу ставит, что тогда подняли завод. А никогда не спросил, не поинтересовался, что было после него. Впору обидеться, оскорбиться, однако Николай Николаевич не может этого. Не может, и все, потому что и понимает — да, заслуга Шумилова в том, что завод подняли в столь короткое время, есть. И этого у него не отнимешь. И сейчас. Взять реконструкцию сталелитейного цеха. Это, в сущности, тоже целый завод. Шумилов, говорят, сутками не уходил домой, чуть ли не на привязи держал в цехе строителей и монтажников, прорывался к высокому начальству, хотя другие не могли попасть месяцами, добывал то, что другим и не снилось, а цех реконструировали раньше срока, и не было ни одного месяца, чтобы сорвали план. Что это? В официальных бумагах это называется «организаторские способности», но в действительности — это одержимость, это умение, раз нужно, жить одной идеей, это сознательное подчинение собственной жизни, собственных интересов делу, интересам общим. Что там, это забвение и собственной жизни, и собственных интересов...

Он везет на себе столько, что с избытком хватило бы на пятерых, а он тащит один и не жалуется, не стонет, что ему тяжело, не требует для себя каких-то льгот или почестей, совсем нет. Он просто живет и работает так, как считает нужным, необходимым. Пошли его корче-

вать тайгу, осушать болота, обводнять пустыню, добывать уголь, растить хлеб, он всюду окажется на своем месте и вокруг него забурлит жизнь, забурлит работа. Что верно, то верно: он не одинок, есть коллектив, есть люди, тоже преданные делу, а все-таки личность, если это действительно личность, остается в центре. Она аккумулирует волю и труд многих, умеет из будней сотворить праздник (бывает и наоборот), заражает людей своей активностью, хорошим азартом. Именно азартом, ибо личность непременно азартна.

Несмотря ни на что, ни на какие разногласия, Николай Николаевич любил Шумилова и готов был прощать ему очень многое. Он понимал, что сегодня нужен Шумилов, без него невозможно. Своею фанатичной убежденностью, беспощадностью прежде всего к себе он заставляет и других тащить воз, который в иных условиях не сдвинулся бы с места. А это немало, это совсем немало...

Но понимает ли он, догадывается ли, что нужен именно сегодня, то есть только сегодня, и что наступит день, когда такие, как он, окажутся... не лишними, нет, но людьми не обязательными, людьми вчерашнего дня, что на них будут смотреть как на выходцев чуть ли не с того света, что на смену им придут... Ломакины, и не просто придут, но станут презирать их, вчерашних, презирать столь же непримиримо и аргументированно, как сегодня Шумилов презирает Ломакина?..

Нет, он вовсе не счастливый, подумал Кирпичников, вдруг с поразительной ясностью осознав, что в Шумилове, в этом железном оптимисте, который якобы не знает никаких сомнений, уже живет трагедия личности, о которой он пока не подозревает.

А может, подозревает?..

— Что задумался, комиссар?

— Да так, вообще...

— А вообще я действительно счастливый,— сказал Шумилов.— Еще какой счастливый! Так что смело можешь завидовать.

— Тогда поделись со мной,— пошутил Кирпичников. Отчего-то ему было даже страшно сейчас слушать Шумилова.

— Сколько угодно, ты хоть все бери. Только...— Он как-то оценивающе, с едва заметной усмешкой посмотрел на Николая Николаевича и шумно вздохнул.— Не подойдет тебе мое счастье...

Он не предупреждал жену о выписке, но, когда спустился в вестибюль, Анатолия Федоровна была там.

— Ты зачем здесь? — недовольно спросил он, даже не поздоровавшись. — Я не ребенок, чтобы меня водить за ручку.

— Но я хотела как лучше, Антон... Я думала, тебе будет приятно... — Она была растеряна.

— Пошли, раз думала.

У подъезда ожидала машина — на завод-то Шумилов позвонил, велел прислать Колю, и теперь он понял, что Коля же и привез жену.

— Куда, Антон Игнатьевич?

— Домой.

Анатолия Федоровна вздохнула украдкой, и Шумилов усмехнулся. А возле дома он вышел, открыл дверцу, помог выйти жене, что само по себе было удивительным, и, забираясь обратно в машину, сказал:

— Иди домой, я скоро. — И велел Коле: — На завод.

Анатолия Федоровна долго стояла у подъезда, не понимая, не в силах понять, за что же Шумилов так грубо обошелся с ней, не постеснявшись даже шофера. Не поздоровался, не поцеловал, где уж там, а теперь вот взял и выгнал, именно выгнал, иначе его поступок не назовешь. Хотелось плакать от обиды, броситься прямо на мостовую и рыдать в голос, и не давала покоя мысль о том, что Шумилов поехал вовсе не на завод, а к той женщине...

А Шумилов выговаривал Коле:

— Кто тебя просил привозить жену?

— Да я ни сном ни духом, Антон Игнатьевич!.. Только когда вы вместе вышли, я и узнал, что Анатолия Федоровна здесь.

— На первый раз прощаю, а если еще когда-нибудь... Я тебя научу узнавать раньше, чем мы вместе выйдем.

— Вас понял. А вы разве снова хотите в больницу угодить?

— Хватит болтать, — сказал Шумилов. — Докладывай обстановку.

— А что там докладывать. Носятся все как заведенные, суетятся, а толку мало. — Коля знал, когда и что надо говорить, а когда лучше промолчать вообще.

— Суетятся, говоришь?

— Прямо как муравейник. Туда-сюда, туда-сюда... С папками, с портфелями.

— И когда они отучатся суетиться? — Шумилов покачал головой.

— Кто отучится, а кто и нет. Всё от человека зависит, Антон Игнатьевич. Другой не суетится, спокойненько у него все, тихо, а дело двигается. А другой минутки не посидит, все бегом, все бегом, а пользы — ноль без палочки...

Шумилов понял, что Коля неспроста заговорил об этом. Значит, что-то случилось, и случилось такое, с чем он, Коля, принципиально не согласен...

— Вот хоть бы мою жену взять, — продолжал Коля. — Будто шило у нее в одном месте торчит, а обед приготовить — проблема целая! А какая тут проблема? Поставила кастрюлю, и пусть себе суп варится. А она вокруг этой кастрюли... Или завгара нашего взять, вроде и не делает ничего человек, а все у него в полном ажуре. Хоть с ремонтом, хоть с бензином, хоть с запчастями... — Он сделал паузу, ожидая, не задаст ли вопрос Шумилов. Однако Шумилов тоже хорошо изучил своего шофера и потому молчал. — Сняли, в общем, его.

— За что же его сняли? — все-таки спросил Шумилов, догадавшись, что именно это хотел сообщить Коля.

— Откуда мне знать. Когда вашего брата, начальство, снимают, нам не докладывают. Теперь новый завгар.

— Плохой? — усмехнулся Шумилов.

— Может, он и хороший для жены и детей, но в гараже пустое место. Лампочки для подфарников не достать, не говоря о чем-то серьезном. Тут резину я собрался менять, так еле-еле достали. Это на вашу-то машину, Антон Игнатьевич! Что же о других говорить?..

— Ладно, я разберусь, — пообещал Шумилов. И подумал, что приедет он сейчас на завод, а там развал. Все, что с таким трудом удалось сделать, наладить, пошло прахом. Псу под хвост. Помощнички не ведают, что творится у них под носом, совещаются наверняка целыми сутками, грызутся между собой, каждый себя пупом земли считает, а начальники цехов, которые поопытнее и поухватистее, гнут свою линию. Кое-кто надеется, конечно, что я надолго выбыл из строя, а то и вовсе не вернусь. Как же, инфаркт!.. Нет, дорогие мои братовья, не надо меня списывать в утиль, не надо, ведь вам же самим без меня хуже будет. Да и мне без вас плохо. Вы

даже не подозреваете, как плохо мне без вас. И без тебя, хитрый Блинкин. И без твоего дружка-приятеля Ланового. И без Нутрихина, и без Борового... Все вы мне дороги, все нужны, и я нужен вам, хотя — знаю, знаю, — многие из вас действительно были бы рады, если бы я не вернулся. И в чем-то вы правы. Но вы же сами начальники и обязаны, черт вас возьми, понимать, что иначе нельзя. Нельзя иначе, братовья. Попробуй-ка распусти вас, немедленно проглотите. И не поперхнитесь. А я не хочу, чтобы меня глотали. Темноты с детства боюсь.

Шумилов улыбнулся.

— Признавайся, разнес по заводу, что я сегодня выписываюсь? — спросил он Колю.

— Да я сам только сегодня узнал. Галина Дмитриевна позвала и сказала, чтобы ехал за вами.

Это хорошо, подумал Шумилов. Не ждут, значит. А я — вот он, захотел и поднялся. Рановато мне еще в гробик ложиться. Да и не заказан для меня гробик. А хоть бы и заказан... пока его спроектируют, пока утвердят проект, пока фонды выбьют, глядишь, мы еще и проживем. Можно быть спокойным на этот счет.

А все же он был еще слаб и почувствовал это в машине. Поташнивало слегка, и кружилась голова, хотя обычно езда была ему в удовольствие. Случалось, именно в машине он находил и принимал важные решения, и здесь же, в машине, записывал пришедшую в голову хорошую мысль в блокнот, который прозвали «талмудом» (Блинкина работа). Люди и радовались, попадая в этот «талмуд», и боялись этого, потому что все знали: попав в «талмуд», никто не останется в забвении, но каждый будет либо поощрен, либо наказан. Шумилов никогда и ничего не забывал.

— Останови, — попросил он.

— Вам плохо? — беспокоился Коля, заметив бледность в лице Шумилова и капельки пота, выступившие на лбу.

— Ничего, хочю пройтись немного пешком.

На воздухе ему и правда сделалось легче. Дышалось хорошо, и не кружилась голова.

А возле проходной, но уже на территории завода, его встречала целая делегация. Начальники цехов, кто-то из работников заводоуправления. Разумеется, был здесь и Блинкин.

— Ну, здравствуй, Блинкин,— протягивая руку, сказал он.— Не ждал?

— С выздоровлением, Антон Игнатьевич. А насчет ждал не ждал... Без вас спокойнее, если честно. Но с вами лучше.— Он посмотрел в глаза Шумиллову и улыбнулся добродушно, открыто.

— Спасибо,— сказал Шумиллов.

Теперь только он понял, что его приняли, приняли окончательно, признали в нем директора, а это значит, что все будет в порядке. То есть останутся трудности, будут конфликты, и жалобы на его несправедливость и жестокость тоже будут, кого-то он накажет, обидит, но все это не имеет значения, потому что в этом и состоит жизнь.

Он прошел через приемную так быстро, что Галина Дмитриевна, секретарша, не успела даже поздороваться. В его кабинете, который занимал замещавший его главный инженер, шло совещание.

— Здравствуйте, товарищи,— широко распахнув дверь, сказал он.

Все дружно повернули головы, задвигали стульями, стали гасить папиросы и сигареты. Кто-то вскочил, чтобы открыть окно, проветрить кабинет, но Шумиллов остановил:

— Продолжайте, я вам мешать не буду. Посижу, послушаю, если вы не против. И курите себе на здоровье. По какому вопросу собрались?

— Разное,— сказал главный инженер.— В том числе обсуждаем вот, где строить инструментальный, надо выбрать площадку.

— Министр подписал? — оживился Шумиллов.

— Да, мне уже звонили из министерства.

— Слава богу, дошли наши молитвы. А с площадкой что? Будем строить на месте старого цеха.

— Не получается, Антон Игнатьевич. Мы тут прикинули... Пока снесут старый, пока раскатаются строители. На несколько лет надо рассчитывать, погибнем без инструментального. На централизованные поставки надежды гнилые. Да и кто нам фонды выделит? ..

— В этом есть резон,— согласился Шумиллов.— А Фомичев что скажет нам? — Он повернулся к начальнику цеха.

— Только на старом,— сказал Фомичев.

Тут заговорили все разом, перебивая друг друга, и каждый вполне аргументированно отстаивал свою точку

зрения и опровергал точку зрения оппонентов, и каждый был по-своему прав. За спором и закурили незаметно, как всегда бывало на совещаниях у Шумилова. Он не запрещал курить.

— Минутку,— послушав, сказал он.— Если мы будем говорить хором, толку не получится. Пусть Фомичев объяснит, почему он считает, что строить надо на прежнем месте.— Между прочим, он даже не заметил, как очутился за собственным столом.

— Я уже объяснял, а меня чуть на смех не подняли...

— Объясни еще раз.

— Площадка, где предлагают строить, от главных ворот находится в двух километрах. Точнее, две тысячи двести пятьдесят метров...

— Там рядом шестые ворота,— возразил начальник производства.

— Рядом-то рядом, только попробуйте у шестых ворот сесть в автобус. Я пытался, почти час простоял на остановке, пока кое-как втиснулся.

— А ты хочешь, чтобы твоим рабочим персональный транспорт подавали? — выкрикнул кто-то.— Другие ездят, ничего.

— Ничего хорошего,— сказал Фомичев.— А если наши будут ездить, еще хуже станет. А сейчас от главной проходной до цеха две минуты ходьбы, транспорта навалом, никаких проблем. Я точно знаю, что, если построим новый цех на этой Камчатке, люди разбегутся.

— Умно,— поддержал Шумилов.— Действительно, на кой черт рабочему топтать двадцать минут, когда все заборы обвешаны объявлениями? Рабочий человек, в отличие от нас с вами, умеет ценить время. Мы рискуем потерять наших лучших специалистов.

— Это верно,— неохотно согласился главный инженер,— но где мы используем этих специалистов, пока строится новый цех?

— Ну вот, то мы плачем, что рабочих рук не хватает, то не знаем, как их использовать! Обеспечим работой всех. А строителей я беру на себя, не дадим тянуть вола за хвост.

— Не знаю, Антон Игнатьевич,— проговорил, поднимаясь, начальник производства.— Как же без инструментального?..

— Продумайте, Борис Аркадьевич, кого можно по-

теснить на время. Я думаю, найдем выход из положения.

— А как быть с пожаркой?

— А что с пожаркой?

— Ее тоже придется сносить, если строить на прежнем месте,— пояснил главный инженер.— Новый корпус не вписывается.

— Эка делов — пожарка! — сказал Шумилов.— Значит, нужно предусмотреть и строительство новой пожарки, вот и все. И на Камчатку ее, на Камчатку. Для пожарников двадцать минут ходьбы не проблема, разомнутся хоть. А то они сутки спят, трое отдыхают. Так и решим. Но ты учти,— он посмотрел на Фомичева,— что никаких поблажек не будет. Услышу одну жалобу, пеняй на себя.

— Ясно, Антон Игнатьевич,— довольный, сказал Фомичев.

Опять все задвигались, вздохнули с облегчением, как и бывает всегда, когда скоро и просто решается вопрос, казавшийся трудноразрешимым. Кто-то был доволен потому, что пришел директор и освободил его от тяжелой обязанности думать, отстаивать свою позицию, а кто-то потому, что его мнение совпало с окончательным решением.

— С этим все,— сказал Шумилов.— А чем порадуете?

По правде говоря, он ожидал, что сейчас начнутся жалобы. Друг на друга, на снабженцев, которые вместо гвоздей завозят молотки, а вместо молотков — гвозди, на плановиков, которые планируют «с потолка», а требуют реальной продукции, на нехватку рабочих рук, на непонимание со стороны министерства, на... Тогда он немедленно включится в работу, в жизнь завода, займет привычный капитанский мостик, чтобы, взявши штурвал управления в свои руки, исправлять положение. Именно к этому он был готов и еще в больнице решил, что ни в какой санаторий не поедет, хотя путевка для него была уже приготовлена. Какой там санаторий, какой, к черту, отдых, распалая он заранее себя, если завод в трудном положении...

— В целом все нормально,— сказал главный инженер.

— Как на сегодня с программой?

— На сегодняшний день... Сейчас посмотрю сводку.

А вот Шумилову не понадобилось бы никуда заглядывать, он всегда на память знал, как работает завод, до десятой доли процента, до каждой мелочи.

Трошин стал рыться в бумагах, которые были разбросаны по столу как попало; но его опередил начальник производства, Угрюмов.

— Пятьдесят четыре процента,— сказал он.— Это данные на вчерашний вечер.

— Не отстаем? — спросил Шумиллов. Спросил просто так, по привычке, потому что, конечно же, никакого отставания не было. Пятьдесят четыре процента на восемнадцатое число даже хороший показатель. Давно ли завод чуть ли не половину месячной программы делал в последние пять-шесть дней, когда и он сам, и его ближайшие помощники, не говоря уже о начальниках цехов, разве что спали дома, а все остальное время суток были на работе.— Когда можно будет докладывать о выполнении?

— Я думаю, двадцать девятого,— ответил Трошин.— Вы как считаете, Борис Аркадьевич?

— Я тоже так думаю,— сказал Угрюмов,— если...

— Что если? — встрепенулся Шумиллов.

— Никак не можем получить латунные трубки на полдюйма.

— А фонды?

— И фонды есть, и наряды,— сказал Трошин,— а трубок нет. Через пару дней придется останавливать второй сборочный.

— Какого же дьявола вы убеждаете меня, что все в порядке! Сидим, рассуждаем, куда девать пожарников, а программа по основной номенклатуре под угрозой срыва!

— Мы доложили в министерство, обратились с официальным письмом в Госснаб...

— В Госснаб все обращаются,— отмахнулся Шумиллов.— Только у них нет трубок. Ни латунных, ни медных. Они бумаги составляют и решения принимают, которые выполняем мы с вами.

Все-таки нужен он, нужен, черт возьми. Не обошлись без него. И он достанет эти проклятые трубки, из-под земли вырвет, но достанет.

Он вызвал секретаршу и приказал соединить его с директором завода, который поставлял трубки. Соединили тотчас. Трубку взял Трошин и, передавая ее Шумиллову, сказал:

— Вахромеев.

— А как его зовут? — прикрывая трубку рукой, спросил Шумилов.

— Павел Яковлевич, — подсказал Угрюмов. — Я был у него, бесполезно.

— Привет, Павел Яковлевич, привет, дорогой, — заговорил Шумилов таким тоном, словно они с Вахромеевым были близкими друзьями. На самом же деле встречались два-три раза, да и то случайно, мимоходом. — Шумилов тебя беспокоит... Шу-милов, говорю. Теперь понял?.. Да, да, именно тот самый Шумилов. — Он рассмеялся громко. — Был больной, а вот твоими молитвами стал здоровый... Какая же болезнь, дорогой ты мой, если программа горит! Болеть мы с тобой будем тогда, когда решим все проблемы... Никогда, говоришь, не решим? Решим, если дружно навалимся... А дела у меня хреновые... Нет, со здоровьем все в порядке. Ты когда трубку дашь? Я, знаешь, не люблю должников и не люблю ссориться с друзьями... Двадцать третьего?.. Ну, родной, до двадцать третьего меня черви доедать будут, а ты в реанимацию попадешь. Не советую, ни черта приятного там нет, лежишь голенький... Не пойдет, говорю. Трубка мне нужна была вчера... Ты не искри, не искри, пламя из тебя все равно не возгорится... Жаловаться?.. Да если мы станем друг на друга жаловаться и писать иски в арбитраж, кто же за нас дело будет делать?.. Именно. Это уже разговор, сейчас я выясню. — Он снова прикрыл рукой микрофон и сказал, обращаясь к Трошину: — Сукин сын, быстрорезу просит.

— Нету, — покачал головой Трошин. — Вместо одиннадцати тонн получили всего шесть.

— Павел Яковлевич, сколько тебе надо?.. Тонну?! Ну, родной, с тобой не соскучишься. Ты что же, весь металл в стране собрался в стружку перегнуть?.. Двести килограммов получишь, и будь здоров... А ты раскинь мозгой, раскинь. Трубку ты все равно дашь, пусть двадцать третьего, но дашь. А вот быстрорез вообще не получишь, я же знаю, что у тебя фондов нет... Ладно, черт с тобой, пользуйся моим хорошим настроением: триста — и точка. Машина выйдет через полчаса. Привет семье. — Он откинулся на спинку кресла и проговорил спокойным, ровным голосом: — Триста килограммов быстрореза в машину и за трубкой немедленно.

Дальше. Кто грозился Вахромееву подать в арбитраж? — Он обвел взглядом присутствующих, все сосредоточенно молчали. — Так, — сказал он, — значит, Рекун. — И снял трубку: — Рекуна ко мне, и быстро. Как нет на месте? Разыскать. А пока нет Рекуна, нашего главного борца за справедливость, объясните мне, Иван Сергеевич, что произошло в гараже?

— Успел уже Николай, — усмехнулся Трошин. — Заврался совсем этот завгар, не гараж, а частная лавочка. Какие-то машины ремонтировали, запчастями торговали. . .

— А дело знал?

— Знал, это верно.

— Может, стоило объявить взыскание?

— Да у него и так было три выговора, один из них строгий.

— Это еще не показатель, — сказал Шумилов. — У тебя сколько?

— Парочка есть.

— У меня штук пять.

— Достал где-то списанную «Победу», по существу один кузов, отремонтировал в гараже и перепродал. . .

— Ясно. Нужно было передать дело в прокуратуру, чтобы другим было неповадно. На его место хорошего человека нашли?

— Ищем, Антон Игнатьевич, — ответил Трошин. — Взяли механика, но он не тянет.

Вошел начальник снабжения Рекун.

— Вызывали, Антон Игнатьевич? С выздоровлением вас.

— Спасибо. Ответь мне на один вопрос: кто тебя учил по всякому поводу обращаться в арбитраж? Ты что же, думаешь, им там без твоих никчемных исков делать нечего? — воскликнул Шумилов: — Будь здоров, у них и без тебя дел хватает. А ты никак собрался перессорить меня со всеми поставщиками да еще и с Советом Министров в придачу? . . . Почему на заводе нет латунной трубки? И какого черта ты пугаешь Вахромеева арбитражем?

— Но они. . .

— Слушай меня. Нашел чем пугать Вахромеева! Да он столько арбитров на своем веку повидал, что тебе и не приснится.

— Они же срывают график поставки. . .

— Вот что, Рекун. Лови такси, самолет, вертолет, хоть бабу Ягу с метлой, мчись в арбитраж и немедленно отзови все свои кляузы! Понял? Мне не нужны штрафы и прочие санкции, мне нужно, чтобы не срывались графики поставок. Как ты это сделаешь — твое дело, за это ты получаешь зарплату, иногда премии и имеешь отдельный кабинет. А с людьми меня не ссорь, не надо, Рекун. Да тот же Вахромеев не то что арбитражу, самому Генеральному Прокурору в пять минут докажет, что он физически не может обеспечить нас трубкой. У него нарядов на эту трубку вдвое больше, чем план.

— Антон Игнатьевич, но ведь это тоже не дело, — вступился за Рекуна Трошин. — Надо ставить вопрос...

— От постановки вопроса ничего не изменится, — оборвал его Шумилов. — Существует дефицит, и это не только наша беда. Дефицит решениями не заткнешь, а план выполнять мы обязаны. Кстати, Иван Сергеевич, мы из года в год, из квартала в квартал что-то недополучаем под программу, верно?.. А план выполняем. Парадокс, тайна мадридского двора?.. Нет. Это называется внутренние резервы, приведенные в действие. Там, — Шумилов показал пальцем в потолок, — не дураки сидят, как нам с вами иногда кажется. Там сидят люди поумнее нас. Если нам станут давать все, что мы просим, требуем, мы чесаться перестанем, в иждивенцев превратимся. А государство не дойная корова, у государства на сегодняшний день нет ничего лишнего. А ты почему еще здесь? — спросил он Рекуна. — Хотя постой, ответь мне: если бы я не договорился с Вахромеевым, пришлось бы останавливать второй сборочный?..

Рекун переминался с ноги на ногу, все с интересом наблюдали за ним.

— Я жду, — сказал Шумилов.

— Нет, Антон Игнатьевич, — потупившись, ответил Рекун. — Есть немножко полудюймовой трубки в запасе...

— Вот! — сказал Шумилов, широко улыбаясь. — И так у каждого снабженца. Это мы думаем, что наши заглашники нигде не учтены, что про них никто не знает ни в Госплане, ни в Госснабе. Все знают и все учитывают. Ступай, Рекун, и больше таких фокусов не устраивай.

Следом за Рекуном разошлись и остальные. Шумилов остался один. Он сидел, прислонив затылок к холод-

ной стене и закрыв глаза. Ему, кажется, нужно было кому-то позвонить, но он не мог вспомнить, кому именно. Да и сил не было.

Он даже задремал.

II

Его разбудил зуммер прямой связи с Москвой. Шумилов тотчас пришел в себя и взял трубку.

Звонил первый замминистра.

— Здравствуй, Антон Игнатьевич. Рад за тебя. Вырвался, значит, из нежных объятий белых халатов, а?

— Вырвался, ну их к теще в рай.

— За что ж ты их так?

— Надоело. Перестраховщики они.

— Ничего, зато подлатали хорошенько. Теперь поезжай отдохни в санаторий.

— Наотдыхался, спасибо.

— В больнице не отдыхают, а лечатся.

— Да я здоров...

— Это ты брось, Шумилов. Я подольше твоего живу на свете и что-то не встречал здоровых директоров. Поезжай.

— Не могу, на заводе не все благополучно.

— На заводе у тебя все в порядке. По итогам прошлого квартала второе место в отрасли.

— Второе — не первое, — сказал Шумилов.

— Не набивай себе цену, мы ее и без тебя знаем. Бери билет и дуй к морю.

— Не хочу я к морю.

— Все, Шумилов. У меня нет времени. Через пять минут начинается коллегия, мне вести. По пути заедешь в Москву, ты мне нужен.

— А в чем дело? — обеспокоенно спросил Шумилов.

— Будь здоров, послезавтра жду у себя. — И замминистра положил трубку.

И вот теперь Шумилов вспомнил, что он хотел выяснить: узнать хотел, чем закончилась история с этим подростком, которого объявили «дезертиром». Он собрался уже позвонить Федорову, но тот явился сам. Был он, как обычно, подтянут, спортивен, по-настоящему красив, и Шумилов даже позавидовал своему заместителю, подумав, что уж Федорову-то не грозит никакой инфаркт. Здоровье и уверенность прямо струились из него.

— Хорошо, что ты зашел,— сказал Шумилов.— Как с этим парнем?

— В порядке, Антон Игнатьевич. Работает штамповщиком. Пришлось, правда, доказывать прокурору...

— А родители?

— Нет у него родителей,— виновато сказал Федоров.— Круглый сирота.

— Видишь...— обронил Шумилов.

— Проморгали.— Он положил на стол знаменитую свою красную кожаную папку, которой на заводе боялись не меньше, чем шумиловского «талмуда».

— Э-э, никаких вопросов!— Шумилов замахал руками.— Все с Трошиным, меня нет. Я на больничном, в отпуске, и вообще замминистра приказал ехать в санаторий. У тебя что-нибудь срочное?..

— Ладно,— вздохнул Федоров,— потерпит до вашего возвращения. В Москву заезжать будете?

— Приказано быть.

— Тогда привет Москве.

Федоров встал, и Шумилову показалось, что он как-то странно взглянул на него, но не придавал этому значения. Вернее, подумал, что странный этот взгляд связан с его болезнью. Хотел даже сказать, что, дескать, не смотри на меня так, здоров я, однако промолчал...

Кажется, делать на заводе больше было нечего, то есть дела бы нашлись, только копни, но подменять Трошина он не стал. Пусть руководит. Всякое вмешательство только повредит делу.

Он просил заказать ему на завтра билет до Москвы и вызвал машину.

По дороге он сказал шоферу, что завгара выгнали правильно, что следовало его вообще отдать под суд, и Коля легко согласился, что завгар действительно был порядочный жулик.

— Но работал, Антон Игнатьевич,— сказал он.— Сам жил и другим, как говорится, не мешал.

— Ты эту философию брось,— строго сказал Шумилов.— Еще раз услышу...

— Да я так, вообще. Уж больно нерасторопный новый завгар.

— Он временно работает завгаром. Найдем подходящего человека. Сверника на Гончарную,— неожиданно велел Шумилов.

Он бывал иногда у Елены Сергеевны, не часто, но бывал, эти визиты как-то незаметно сделались для

него необходимыми, ему было легко с Еленой Сергеевной, он отдыхал здесь душой, однако их отношения оставались дружескими, не более того, так что Анатолия Федоровна, в общем-то, ревновала его напрасно. А может, и не напрасно... Может, они просто не могли, не смели перешагнуть какую-то черту, и не могли именно потому, что когда-то уже перешагнули. Между ними как бы стояло прошлое, возвращаться в которое обоим было страшно, и еще стояла жена Шумилова, сделать больно которой Елена Сергеевна никогда бы себе не позволила...

— Вас ждать? — спросил Коля.

— Не надо, — сказал Шумилов. — Я сам доберусь.

А Елены Сергеевны дома не было, еще не вернулась с работы. Все нормальные люди в это время на работе, только он... Нелепое положение. Его всегда раздражало, когда среди дня он видел бездельничающих мужиков, а теперь и сам оказался вроде бездельником. Он шел по улице, и ему казалось, что прохожие смотрят на него с осуждением, но ведь не станешь же объяснять людям, что у тебя больничный лист, что тебе приказано отдыхать...

Нужно было бы ехать домой, тем более жена наверняка сходит там с ума, она, разумеется, обижена на него, однако домой почему-то не хотелось. Не сейчас не хотелось, вообще. Он устал от дома, от болезненных притязаний жены, от ее мнительности и ревности, устал даже от ее лекарств, которые она принимала очень аккуратно, и он понимал, что им давно следовало объясниться, то есть давно следовало позвать домой Елену Сергеевну, познакомиться их, пусть бы жена убедилась, что между ними нет ничего, что они только друзья... Он не делал этого, и не делал, быть может, потому, что сам не был в этом уверен...

Он зашел в какую-то забегаловку, выпил холодной бурды, которая называлась «кофе», съел комок теста с рисовой кашей. Спросил у буфетчицы:

— А своего мужа вы тоже таким тестом кормите?

— Иди, не приставай, — сказала буфетчица. — Нажрутс я и ходют тут, вот вызову милицию!

Он усмехнулся, подумав, что было бы смешно, если бы она в самом деле вызвала милицию. У него даже появилось хулиганское желание спровоцировать ее на это. Он взглянул на часы — Елене Сергеевне пора было вернуться с работы.

Они встретились возле ее дома.

— Антон Игнатьевич? Господи!.. Вы меня напугали, право.

— Подумали, что покойник живым объявился?

— Разве можно так..— укоризненно сказала она.

— В самом деле, простите.

— Вы ко мне? — спросила Елена Сергеевна и вспыхнула лицом, догадавшись, что спросила глупость. К кому же еще мог прийти Шумилов, если не к ней.

— К вам, Лена.

— Пойдемте.

— Пожалуй, я не буду заходить,— вдруг сказал Шумилов.— У меня к вам предложение.

— Какое... предложение?— испуганно спросила она.

— Поедемте со мной на Юг, Лена.

Еще минуту назад мысль эта не приходила ему в голову, она была столь же неожиданной для него, как и для Елены Сергеевны. А теперь он знал, что именно за этим приехал сюда, именно за этим. И еще знал, что, если она откажется ехать с ним, он тоже никуда не поедет.

— Как это с вами на Юг?

— Очень просто. Сядем в поезд и поедем. Меня гонят в санаторий.

— А я?

— Достанем и вам путевку. Или снимем комнату. Да какое это имеет значение, Лена!

— Не знаю... Так сразу, вдруг. А что люди скажут?

— Плевать в конце концов на людей! — сказал он.— Или ты боишься за свою репутацию?..

Она пристально посмотрела на него и тихо проговорила:

— Я боюсь за твою репутацию.

— Переживу. И вообще необязательно всем знать, куда и с кем я еду. Ну?..

— Подожди, дай мне опомниться... .

Что говорить, ей хотелось поехать с Шумиловым. Ей хотелось даже большего — чтобы он всегда, всю жизнь был с нею рядом, однако она прекрасно знала, что это невозможно. По многим причинам невозможно, и она никогда не тешила себя никакими надеждами или мечтами. Ее послевоенная жизнь сложилась тяжело, и, если бы не Шумилов, кто знает, что случилось бы с ней. Случалось, она жалела, что не прислушалась к совету Краснова остаться на Урале, в деревне. Он обещал ей

златые горы, чуть ли не на колени становился, уговаривая ее остаться, а она все-таки вернулась в Ленинград, как только разрешили свободный въезд. Ничего хорошего она не нашла в Ленинграде, кроме дикого, опустошающего душу одиночества и страшной тоски. Никого близких не осталось, некому было излить свое горе, чтобы освободиться от навязчивых мыслей о собственной ненужности; все были заняты своими заботами и печалью, и Елена Сергеевна как-то незаметно стала выпивать. На какое-то время вино убивало тоску, одиночество уже не казалось таким безысходным, сердце как бы оттаивало и мир не воспринимался жестоким и несправедливым, но даже напротив — открывался во всей своей доброте и безудержной щедрости.

В такие минуты Елена Сергеевна забывала о своем большом горе, все было легко и просто, и она ложилась спать спокойная, умиротворенная, а по утрам некогда было рассуждать, предаваться воспоминаниям, по утрам едва хватало времени, чтобы одеться, выпить чашку чаю и поспеть на работу. Но постепенно привычка к вечерней выпивке наедине с собой сделалась необходимостью, и скоро Елена Сергеевна уже не могла прожить без вина и одного дня. Она с трудом отсиживала рабочие часы, с алчным нетерпением дожидаясь вечера, когда придет домой и достанет из сумки бутылку. . . Раз-другой, не дождавшись вечера, она выпила на работе, в обеденный перерыв. Никто не заметил этого, и она стала выпивать на работе регулярно.

Но, как известно, нет такой тайны, которая долго оставалась бы тайной. Открылась и тайна Елены Сергеевны: кто-то заметил, кому-то сказал, и поползли слухи, к тому же слухи преувеличенные, с непременно добавленным скабрезных подробностей, и, когда слухи эти дошли до самой Елены Сергеевны, она ушла с работы. Потом были другие учреждения и конторы, и отовсюду приходилось увольняться, и постепенно Елена Сергеевна превратилась из главного бухгалтера солидной организации в уборщицу в парикмахерской. Денег на вино стало не хватать, и она занялась мелкой спекуляцией. Попалась раз — пожурили и отпустили, попалась второй — оштрафовали и предупредили, что, если она не бросит это занятие, ее выселят из Ленинграда.

Вот тогда-то, перепугавшись, она и решилась отыскать Шумилова. Она шла к нему за советом, быть может, за помощью, хотя и не очень-то ясно представ-

ляла себе, чем он может помочь, но зная твердо, что поможет. Ее встретила Анатолия Федоровна. Нет, она не оскорбилась, не обиделась, она все поняла и приняла как должное — жена в таких случаях всегда права, и право ее бесспорно, — и дала себе слово никогда больше не искать встречи с Шумиловым.

Он разыскал ее как раз в самый критический момент, когда казалось, что уже ничто не остановит ее падения.

Елена Сергеевна рассказала ему всю правду, и он не устыдился знакомства с нею, не упрекнул ни в чем, не осудил, но помог. Для начала устроил на лечение, а после и на работу. Она понимала, что, в сущности, Шумилов спас ее; вытащил из ямы, и готова была сделать для него все что угодно, а он никогда ни о чем не просил ее, и вот теперь зовет поехать с ним на Юг...

Она знала, что не должна, не имеет права соглашаться, потому что ни к чему хорошему эта поездка не приведет, будет еще хуже, чем было прежде, обоим будет хуже, а ему в особенности, но и отказаться не могла тоже, ведь он не просто спас ее от падения, а, пожалуй, спас жизнь.

Но что же делать, что же мне делать, лихорадочно думала она, не умея найти выхода из положения и ругая себя за то, что поехать-то ей хочется, очень хочется...

— Я не знаю, — сказала она. — Ты сумасшедший, право, ты сумасшедший...

— Все мы немного сумасшедшие. Один больше, другой меньше. А может, это и есть норма?

— Что — норма?

— Быть немножко сумасшедшими, — сказал он и привлек Елену Сергеевну к себе. Они стояли в парадной и не замечали этого. — Лена...

— Не надо, Антон! — Она резко отстранилась. — Не надо. И потом, у меня же работа, как ты не понимаешь...

— Ну, это-то не вопрос. Я позвоню Петренко. — Он мог позвонить, мог договориться с начальником Елены Сергеевны, он хорошо его знал.

— Я сама. — Она опустила глаза. — У меня есть несколько отгулов, возьму за свой счет.

— Значит, так, — проговорил он уже деловым тоном, — мы едем «стрелой». В двадцать три пятнадцать жду тебя у последнего вагона. Или заехать за тобой?

— Нет-нет, здесь же совсем рядом.

— До завтра,— сказал Шумилов и пошел прочь.

— Антон. . .— позвала она.

Он даже не обернулся. Он вышел на улицу, отыскал глазами телефон-автомат, позвонил секретарю и велел взять не один, а два билета.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Жена сидела в гостиной, накинув на плечи шерстяной платок, и Шумилов сразу понял, что она чем-то сильно взволнована, близка к очередной истерике, потому что всегда перед истерикой сильно мерзла, даже если была жара.

Зинаида Ивановна копошилась на кухне. Она окончательно поселилась у них, и, чтобы не возникало никаких кривотолков и недоумений, Шумилов официально оформил ее домработницей.

— Знаешь,— войдя в комнату, сказал Шумилов,— у меня два важных сообщения.

Он научился уже выводить жену из состояния некоего оцепенения, которое непременно предшествовало резкому ухудшению ее состояния. Для этого нужно было чем-то ошарашить ее, удивить, сообщить что-то неожиданное, проще говоря, отвлечь от мыслей, которые угнетали ее.

— Во-первых, я страшно хочу есть! . . .— Это не произвело на нее никакого впечатления.— Во-вторых. . .

— Я знаю,— тихо проговорила Анатолия Федоровна и еще плотнее укуталась в платок.

— Что ты знаешь?

— Я все знаю, Антон. И я хотела бы с тобой поговорить очень серьезно.— Голос ее по-прежнему был спокойный, ровный, и Шумилов понял, что на этот раз он ошибся, что дело не в очередном приступе истерики. . .

— Я слушаю тебя,— сказал он.

— Ты бы сел, Антон.

Он взял стул, выставил его на середину комнаты и сел, широко расставив ноги.

— Итак, что же ты знаешь, если не секрет?— Он смотрел на нее тяжелым, далеко не ласковым взглядом, и уж вовсе не виноватым, и Анатолия Федоровна с отча-

янной надеждой подумала о том, что человек, недавно звонивший ей, скорее всего, оболгал мужа, оклеветал его, чтобы свести какие-то личные счеты, отомстить мужу за что-то. Мало ли, в самом деле, у Антона недругов, завистников. На его-то работе, да с его-то характером...

— Ты ведь был у этой женщины? ..— спросила она, давая ему возможность опровергнуть это. Именно: сейчас он рассмеется громко, как это умеет только он, обнимет ее своими сильными руками, как бывало раньше, совсем, кажется, недавно, скажет, что все это вздор, чепуха все это, что ни у какой женщины он не был, и недоразумение рассеется, все станет на свои места, они пойдут обедать, и Антон расскажет, что был весь день на заводе и как там дела, он ведь любил рассказывать о работе, а она любила слушать, хотя почти ничего не понимала. Но ей все равно нравилось слушать его. Правда, в последнее время, перед болезнью, он рассказывал мало и редко...

— Понятно,— сказал он.— У тебя, следовательно, завелся личный источник информации...— Возможно, он и понимал, что поступает неправильно, что с женой — по крайней мере сейчас — нужно разговаривать как-то иначе, но иначе не мог.— Платный агент или так, доброхот? ..

— Антон, Антон, но ведь это же очень серьезно, как ты можешь шутить...

Но почему, почему он не смеется, почему не говорит, что все это вздор, что просто-напросто она глупая, недалекая баба и надо бы поменьше думать о всякой ерунде...

— Ты чего от меня ждешь? — спросил он.— Чтобы я опроверг информацию, которой тебя снабжает какая-то сволочь и до которой я обязательно доберусь, или чтобы я подтвердил эту информацию?

— Я хочу покоя, Антон,— сказала она.— И еще хочу знать наконец правду. Больше я ничего не хочу.

— Увы,— усмехнулся он.— Покой и правда редко совпадают, не надо обманывать себя.

— И ты так легко говоришь об этом? — В глазах Анатолии Федоровны обозначился неподдельный испуг. Она поняла, что он ничего не станет опровергать, доказывать, и ей в самом деле было страшно, очень было страшно.

— Трудных разговоров с меня хватает на работе,— сказал он.— А дома я хочу говорить легко, и я не вижу необходимости создавать проблемы там, где их нет. Мы и без того обрастаем проблемами, как рыба чешуей. А потом расходуем силы и время, жизнь расходуем на то, чтобы эти проблемы, нами же созданные, решить! Нужно не новые проблемы выискивать, а стряхивать с себя старые, иначе окончательно запутаемся. Как та же рыба в сетях.

— Ты всегда подавлял своей логикой,— сказала Анатолия Федоровна.— С тобой невозможно нормально разговаривать...

— Этот разговор, который затеяла ты, а не я, ты называешь нормальным?

— Но есть же какие-то границы, Антон! Прямо из больницы ты поехал к этой женщине...

— Стоп! — Шумилов поднял руку.— Прямо из больницы я отвез тебя домой, а потом поехал на завод. Неужели тебе не доложили о том, что я был на заводе? В таком случае твой источник информации не заслуживает ни капли доверия.

— Все равно,— проговорила она шепотом.— Все равно ты был у нее...

И все-таки надежда, маленькая, последняя надежда теплилась у Анатолии Федоровны в душе, и она никак не хотела расстаться с нею, хотя и понимала вполне, что в этом-то действительно обманывает себя.

— Да, был,— ответил Шумилов.— И не только сегодня. Я вообще иногда бываю у нее.

— Антон! Боже мой, Антон!.. — вскрикнула она, закрывая руками лицо.— Зачем ты говоришь мне это?..

— Но ты же сама требовала правды,— жестко сказал он.— Ты получила ее. Что еще?.. Может быть, ты хочешь еще и подробностей? — Он недобро усмехнулся.— Иногда хотят. Боятся, заметь, а все равно хотят. Одного не пойму: на кой черт тебе все это нужно?.. Чтобы почувствовать себя обиженной, оскорбленной, такой жертвой тирана-мужа?..

— Не продолжай, умоляю тебя!..

Но Шумилова уже нельзя, невозможно было остановить, его, что называется, понесло. И он не считал себя виноватым ни в чем. Просто он тоже иногда, хотя бы иногда, хотел быть обыкновенным, как все, человеком, и вовсе не его вина, что, отстаивая свое право быть обыкновенным человеком, он вынужден был о чем-то умал-

чивать, что-то утаивать от жёны. Предрассудки, которые затягивают, точно болото, даже очень мудрых людей, изобрел не он. Равно как и всякие нравственные (если бы знать, что в действительности есть нравственность, а что безнравственность!) ограничения. И он не обманывал, в сущности, жену, не изменял ей, как она думает. Несмотря ни на что, Елена Сергеевна оставалась для него другом, только другом. Может быть, она и нужна-то была ему именно как друг или как человек, которому нужен он, и Шумилов искренне думал, что и совместная их поездка на Юг ничего не изменит в их отношениях, они и впредь будут друзьями и не более того. Разумеется, он знал, что Елена Сергеевна любит его. Пожалуй, и у него были какие-то чувства к ней. Во всяком случае, он отдыхал душой, бывая у нее, они прекрасно понимали друг друга без лишних слов и намеков, просто понимали и все, однако и он и она достаточно сильные люди, так думал Шумилов, чтобы владеть собой и своими чувствами, чтобы держать себя в руках. Нет, не во имя каких-то там предрассудков, на это он мог бы и наплевать, но во имя как раз той высшей правды жизни, которая не требует ни оправданий, ни объяснений, той правды, которая у каждого своя.

В конце концов, он честно нес свой крест и не изменял долгу человека, мужчины. Ибо даже и нарушение супружеского долга еще не есть измена этому долгу. Уж слишком легко люди расправляются с такими понятиями, как долг и честь. Слишком легко. А все гораздо сложнее, и долг состоит отнюдь не в том, чтобы постель делить только с женой или только с мужем. Долг — это нечто более важное...

— Прости меня, дуру, — вдруг тихо проговорила Анатолия Федоровна. — Я не права.

— Нет уж, давай расставим все точки. — Он встал, встал перед нею, и теперь она казалась вовсе какой-то скомканной, незаметной в сравнении с ним. Он буквально нависал над женой, окончательно подавляя ее. — Да, я бываю у этой женщины, — сказал он. — Кстати, ее зовут Елена Сергеевна. Ты хочешь знать, есть ли между нами... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю... Отвечаю: нет. И не моя вина, что ты не сумела обуздать в себе инстинкт базарной бабы, мелкой собственницы и запретила ей приходить к нам...

— Я не запрещаю, даю тебе честное слово. Она солгала...

— Она и словом не обмолвилась о том, что была у нас. Я сам разыскал ее, когда нашел записную книжку в кителе, куда ты ее спрятала. Зачем ты это сделала?.. Она потеряла всех близких, похоронила там, на Урале, единственного сына и не смогла справиться...

— Антон, прекрати!— выкрикнула Анатолия Федоровна. Ее глаза сделались большие, какие-то страшные, она побледнела, и Щумилов, не догадываясь о том, что вот сейчас, именно сейчас она вспомнила то, что не могла вспомнить все эти годы, что мучило ее, и ей открылась такая бездна... такая бездна открылась ей, заглянуть в которую было почти равносильно смерти. Вспомнила настолько отчетливо и ясно, как все случилось,— и отъезд из Великих Лук, и бомбежку станции, где стоял их поезд, и как взрывались, полыхая огромными дымными факелами, цистерны, крики, плач детей, и как она с дочкой выпрыгнула из вагона в этот огненный ад...— словно и не было в ее памяти многолетнего провала, этой мучительной пустоты, и ей сделалось страшнее даже, чем было тогда, потому что тогда была надежда, была цель спасти дочку, а теперь поняла, что не сумела спасти и, не сумев, имеет ли право она жить сама?..

— Что с тобой? — Шумилов тряс ее за плечи.

Она вздохнула шумно, как-то обвисла вся и сказала:

— Все хорошо, все уже хорошо. Прости меня, прости ради бога.

— Потом,— сказал он.— Может, вызвать врача?

— Нет, не надо. Все прошло. Что-то я забыла... Ах да, тебя же нужно собрать.

— Успеется.— Он не подумал о том, откуда она знает, что он уезжает. Ему и в голову это не пришло.— И вообще, никуда я не поеду.

В конце концов, на кой черт мне этот санаторий, говорил себе Шумилов. А замминистра позвоню завтра, объясню, что сейчас не могу оставить жену. Нельзя ее оставлять в таком состоянии...

— Тебе обязательно надо ехать,— сказала Анатолия Федоровна.— Ты же нездоров. А за меня не беспокойся, я же не одна, со мной Зинаида Ивановна.

Она смотрела на него преданными, влюбленными глазами, и было в этом ее взгляде нечто такое, что пробудило вдруг в нем то прежнее, почти уже забытое, что некоторое время связывало их после ее выписки из больницы. Он почувствовал неодолимое желание обни-

мать ее, ласкать податливое ее тело, и слышать, как она постанывает, обнимая его, растворяясь в нем, и он действительно схватил ее, а она, улыбаясь сквозь слезы, повторяла шепотом:

— Нельзя же, милый... Нельзя, глупый ты мой...

Он выпустил ее и отошел к окну.

— Пойдем ужинать,— сказала она.— Зинаида Ивановна, наверное, заждалась. Да, я совсем забыла: звонили, что билеты заказаны.

Он не обратил внимания на это «билеты».

— Черт с ними, с билетами,— сказал он.

— Не выдумывай, Антон. Тебе необходимо подлечиться и отдохнуть. Ты очень устал.

Анатолия Федоровна, похоже, совсем успокоилась, и это ее спокойствие обмануло Шумилова. Забыл он, забыл, что сам же только что говорил жене: покой и правда редко совпадают...

II

На следующий день он проспал дольше обычного, привык в больнице. Пока брился и завтракал, подошла машина, и он поехал на завод. Нельзя было не воспользоваться встречей с замминистра, а документов, требующих его подписи или подписи самого министра, накопилось порядочно. Если отправлять документы обычным путем, они будут путешествовать неделями по министерским стодам и кабинетам. А у Шумилова к тому же была грешная мыслишка, что, возможно, удастся попасть и к министру, чем черт не шутит...

В приемной его ждали начальники отделов. Все, разумеется, знали, что директор едет в Москву по вызову замминистра, и каждый стремился подсунуть свои бумаги, считая их самыми важными и самыми срочными. Дело, в общем-то, знакомое, привычное, всякий раз, когда Шумилов собирался к высокому начальству, портфель его оказывался набитым битком. Злые министерские языки из числа мелкого начальства, зато самолюбивого, не любившего, когда их обходят, говорили по этому поводу, что Шумилов — самый высокооплачиваемый курьер в стране. Как-то начальник главка вроде бы в шутку рассказал ему об этом, на что Шумилов сказал, что он один на всю страну, а вот высокооплачиваемых лодырей только в их главке наберется не менее десятка...

Впрочем, бумаги он тщательно отсенвал, никогда не брал то, что может потерпеть.

Рекуна он задержал, спросил, привезли ли трубку и отозвал ли тот документы из арбитража. Рекун заверил его, что все в порядке, он обо всем договорился, а формальности выполняют юристы.

— И смотри,— напомнил ему Шумилов,— чтобы больше не устраивал мне этих представлений. С поставщиками надо дружить, а не ссориться по каждому пустяку.

Отпустив Рекуна, он собрался пройтись по цехам, давно не бывал, соскучился. Но тут распахнулась дверь и в кабинет не вошел, а ворвался какой-то незнакомый всклокоченный мужчина. Следом за ним вошла секретарша с красным от гнева лицом.

— Антон Игнатьевич, я не пускала его...

— Что вам надо? — спросил Шумилов, обращаясь к мужчине. По каким-то признакам он угадал, что мужчина приезжий. Впрочем, признаки эти были, как говорится, налицо: небритый, уставший, в изрядно помятом костюме и еще портфель — толстый, потрепанный, немодный, с каким теперь редко кого встретишь в Ленинграде.

— Я из Сибири, товарищ Шумилов. У нас авария, на вашем нагнетателе полетел вал...

— Нагнетатель был наш, пока мы его изготавливали,— усмехнулся Шумилов.— Сколько накрутил?

— А! — Мужчина махнул рукой.— Пятьсот часов вверх.

— Так что же вы хотите от меня?

— Вы должны поставить нам... — Мужчина растегнул портфель, чтобы достать документы, однако Шумилов остановил его:

— Не нужны мне ваши бумажки, скажите так.

— Вы должны поставить нам запасные части к нагнетателям, в том числе три вала...

— В сбыт! — сказал Шумилов.

— Был, товарищ Шумилов. Везде был. Вчера узнал, что вы поправились, решился...

— Зря решились. Во-первых, я не начальник отдела сбыта, а директор завода. Во-вторых, я еще на больничном и сегодня, между прочим, уезжаю в санаторий. Все, у меня нет времени.

— Но у нас авария, товарищ Шумилов!

— А у меня нет валов. Мне на новые машины ставить нечего.

— А как же фонды? . .

— Фонды?— рассмеялся Шумилов.— Поезжайте в Госснаб и отоваривайте там свои фонды. Мое дело выполнять государственный план, и я его выполняю. Так что все претензии в Госснаб, в Госснаб.— Он прошел в заднюю комнату, надел плащ, а когда вышел в кабинет, мужчина сидел на стуле возле окна. Портфель его стоял на полу, у ног.

Шумилов взглянул на него мельком, усмехнулся и, открыв дверь в приемную, сказал секретарше:

— Я в цеха.— Потом повернулся к приезжему, спросил с усмешкой:— Вы со мной или здесь останетесь?

— В приемной подожду,— поднялся тот.

— У моря погоды?

— Я не могу уехать, пока не получу вашу подпись.

— Можете не сомневаться,— сказал Шумилов,— что вы ее не получите никогда!

Вернувшись через два часа к себе, мужчину он не застал. Да, по правде говоря, и забыл уже о нем. Он взял билеты, справился, в какой гостинице ему забронирован номер, вскользь как-то подумав, что не догадался позаботиться о месте в гостинице для Елены Сергеевны (ничего, в Москве что-нибудь придумаю), переговорил еще с главным инженером и поехал домой.

А возле своего дома, когда вылез из машины, увидел давешнего мужчину, который топтался у парадной. Настырный, черт, подумал Шумилов без злости, а скорее даже одобрительно.

— Ну? . .— спросил он.— Адрес трудно было узнать?

— Совсем просто,— ответил тот.— Есть же справочное бюро.

— Справочное— это хорошо. Но вы напрасно меня преследуете. Всего наилучшего.

— Я с вами поеду в Москву,— сказал мужчина.

— Послушайте, как вас? . .

— Слесаренко.

— Фамилия у вас прекрасная, рабочая фамилия. Так вот, дорогой мой Слесаренко: поезжайте со мной хоть к богу в рай, хоть к черту в ад, мне все равно. А валов у меня нет.— И, войдя в парадную, он вызвал лифт, уверенный, что Слесаренко все еще стоит у парадной. В лифте неожиданно подумал, что, пожалуй, этот

Слесаренко и в самом деле увяжется за ним в Москву, а подумав так, сказал себе, что, если это случится, он подпишет ему наряд, пусть получает свой вал, заслужил.

Вечер в суете пролетел быстро. Как всегда, то куда-то запропастилась запонка (хотя галстуков Шумилов не носил, однако рубашки любил именно с запонками), то оказалась непоглаженной чистая пижама, потом долго искали паспорт, который нашелся в пустой вазе, и Шумилов начинал уже злиться, его раздражали эти мелочи, к тому же какое-то незнакомое и непонятное чувство тревоги овладело им, чего прежде не случалось, хотя уезжать из дому приходилось часто. Правда, на месяц он не уезжал еще никогда. Так, на несколько дней.

Анатолия Федоровна напротив была совершенно спокойна, предупредительна и успокаивала его.

— Не волнуйся, Антон, не надо. Сейчас найду запонку, я ее где-то видела.

— Но запонки должны лежать не где-то, а на своем месте!

— Ничего страшного, поверь мне, Антон. Ничего страшного.

— Послушай, а может, послать к чертовой матери этот санаторий! Не хочется мне туда.

— Не говори глупостей. А вот и запонка.— Анатолия Федоровна с улыбкой подала ему запонку.— Зинаида Ивановна сейчас поутюжит пижаму...

Они еще сидели за столом, ужинали, когда снизу, из автомата, позвонил Коля, доложил, что прибыл.

Шумилов поднялся, стоя допил чай.

— А-а,— сказал,— семь бед!.. Если не понравится, через неделю буду дома.— И пошел одеваться.

Анатолия Федоровна вышла за ним в прихожую, она с тоской смотрела на него, он понял, что сегодня она хотела бы проводить его к поезду. Обычно она не показывала этого, зная, что он не любит, чтобы его провожали.

— Ни к чему,— сказал он.— Да и Коле потом мотаться ночью.

— Я ничего, Антон,— возразила Анатолия Федоровна.

Он склонился, поцеловал ее разок и ушел.

Когда сел в машину, ему показалось, что сибирский представитель маячит на углу. Но, возможно, это ему действительно только показалось.

А вот Елена Сергеевна ждала его возле табло, в конце перрона, у которого стояла уже «стрела». Он направился к ней, а Коля с чемоданом прошел дальше и остановился возле восьмого вагона.

— Антон,— сказала Елена Сергеевна,— я не могу поехать.

— То есть?..

— Меня не отпустили с работы, квартальный отчет на носу...— Она отводила глаза в сторону, и он понял, что она говорит неправду.

— Вздор,— сказал он.— Я звонил Петренке...— Он тоже говорил неправду.

— Все равно. Я не могу ехать, и ты должен меня понять. Когда вернешься...

— Значит, ты так решила...

— Так будет лучше,— сказала Елена Сергеевна.

— Ну, если лучше!.. Спасибо, что пришла проводить.— Он резко повернулся и пошел к своему вагону.

И тут он действительно увидал Слесаренко, который стоял неподалеку от Коли. Шумилов подозвал его, поманив пальцем, и Слесаренко подошел.

— Ты что же, в самом деле в Москву собрался?

— Если не подпишете здесь...

Ага, подумал Шумилов с каким-то даже злорадством, а характера-то у этого сибирского мужика не хватило, чтобы увязаться за мной в Москву, на испуг хотел взять, решил использовать последний шанс и выловить меня у поезда.

— Не подпишу,— сказал он и взглянул туда, где стояла Елена Сергеевна. Ее уже не было.

— Тогда придется ехать,— вздохнул Слесаренко.

— А билет достал?

— Достал, только на другой поезд.

— Где же ты меня в Москве найдешь? — усмехнулся Шумилов.

— Мой поезд прибывает раньше «стрелы», встречу вас в Москве.

— С оркестром?

— Насчет оркестра не знаю, а с цветами обязательно.

— Покажи билет.

Слесаренко покорно полез в карман и вынул билет. Шумилов взял его, сунул себе в карман и сказал:

— Пошли со мной, вместе поедем, раз такое дело.

— По этому билету в «стрелу» не пустят.

— Со мной пустят,— сказал Шумилов.

Коля внес в купе чемодан, попрощался и ушел. Шумилов сбросил на диван плащ и спросил Слесаренко:

— А ты чего стоишь, не раздеваешься? Давай располагайся. Свезу тебя в Москву, покажу министру как редкий экспонат. Ты агент по снабжению или приехал под видом обмена опытом?

— Я главный механик комбината.

— Да ну! Скажи-ка, сам главный механик пожаловал, а я его так сурово принял. Да садись ты, механик, в ноги правды нет. У меня два билета, не беспокойся. Садись и рассказывай.

— А может, товарищ Шумилов, вы отпустите меня? Что вам стоит. . .

— Я тебя, дорогой, не задерживаю и ехать в Москву не приглашал. Просто решил, что в «стреле» все-таки получше, чем в других поездах. Заодно и познакомимся, ты мне чем-то симпатичен.

— А вал? — спросил Слесаренко.

— Вал, родной, еще не отковали на Урале. Сначала его там откуют, если у них имеются слитки, которые им везут с Украины, потом твой вал придет малой скоростью к нам, мы его обдерем и отправим на термообработку на другой завод, где он выпитися хорошенько, дожидаясь своей очереди, после чего снова придет к нам на чистовую обработку, и вот тогда, если он вдруг окажется лишним, ты его получишь. Картина понятна?

— Вы знаете, во что обойдется простой одного нашего агрегата?

— Точно не знаю, но догадываюсь. И задаю встречный вопрос: ты знаешь, во что обходится простой одного готового нагнетателя? Во столько же, в сущности, во сколько простой вашего агрегата, потому что ваш агрегат без нашего нагнетателя — огромная игрушка и только. Так вот: у меня стоят четыре готовых нагнетателя, и я не могу их отправить — нет тарной доски. Доски, понял? . . . А потом не будет вагонов, а потом и вовсе окажется, что нагнетатели пока не нужны, скажем, в Норильске, потому что у них что-то не готово еще, а позарез нужны как раз в Тмутаракани, у них давно все готово, но фонды им выделили на будущий год, потому что Норильск — это, брат, звучит, это солидно, к Норильску все взоры, а Тмутаракань — она и есть Тмута-

ракань. Таким вот образом, механик... Пора бы усвоить элементарные истины.

В дверь купе постучались. Шумилов крикнул «войдите», и появилась официантка. На подносе у нее стоял коньяк, в тарелке, прикрытой целлофаном, лежали бутерброды.

— Здравствуйте,— сказала она, обращаясь к Шумилову.— Давно вас не было видно.

— Верно, давненько я не ездил. А ты все цветешь, Анюта? Смотри, отобьют тебя у твоего мужа. Ну что, механик, примешь на сон грядущий?

— Извините, я не употребляю. А вам разве можно?

— Мне, родной, все можно. Нельзя руководствоваться только здравым смыслом, а также собственным опытом. За нас думают инструкции.— Он рассмеялся и подмигнул официантке.— Такие дела, Анюта. Механик у нас, как видишь, непьющий, принципиальный трезвенник, а мне сегодня что-то не хочется.— Он вздохнул.— Дай-ка нам несколько бутербродов, мы лучше чайку изопьем. Скажи там проводнику, чтобы принесли стакана четыре.

За чаем Слесаренко рассказал, что агрегат простаивает вторую неделю, что директор комбината вызвал его, приказал немедленно вылететь в Ленинград и без вала не возвращаться. Вопрос этот, уточнил Слесаренко, обсуждался на уровне министров...

— Видишь, на уровне министров! — сказал Шумилов, усмехаясь.— И черта с два решился, верно?

— Я не знаю...

— А знать надо. Все надо знать, иначе никогда ничего не получишь. Ты был у Трошина?

— Это ваш главный инженер?

— Сейчас он директор.

— Был,— обреченно проговорил Слесаренко.— Отказал.

— Слушай, механик, плюнь ты на этот вал, вообще плюнь на все и переходи ко мне на завод. Мужик ты настырный, мне такие нужны. А если еще и дело свое знаешь хорошо... С обменом квартиры и все остальное уладим, не беспокойся. Ну как, принимаешь предложение?

— Спасибо, товарищ Шумилов, но...

— Вот заладил свое «товарищ Шумилов, товарищ Шумилов»! Ведь прекрасно знаешь, как меня зовут.

— Знаю,— признался Слесаренко
— Еще бы ты не знал! А что насчет моего предложения думаешь?

— Заманчиво, но я никак не могу. У меня семья большая, Антон Игнатьевич. Пятеро детей, мать совсем старая, теща больная...

— Ну, механик, ты даешь! Настрогал наследников.
— Так вышло,— виновато улыбнулся Слесаренко.— Жена у меня любит детей. А такую ораву прокормить, одеть-обуть, сами понимаете... Там-то у нас свой огород, хозяйство, а в Ленинграде все купить надо.

— Да, в Ленинграде с такой оравой будет трудно, — согласился Шумилов.— А жаль, ты мне шибко понравился. Есть в тебе что-то крепкое... Ну что ж, на нет, говорят, и суда нет. Давай спать, второй час уже.

— А как же вал?..

— Утро вечера мудренее,— сказал Шумилов.— Ложись.

А утром, когда подъезжали к Москве, он посмотрел бумаги Слесаренко — письма, ходатайства — и на письме, подписанном директором комбината и секретарем парткома, начертал: «Тов. Трошин! Надо помочь. Шумилов».

— Думаете, дадут? — усомнился Слесаренко.

— Я не думаю, я дело делаю. Получай свой вал, и привет семье.

— Ну спасибо вам, товарищ Шумилов! Вот выручили так выручили.

— А как ты повезешь вал, в портфеле?

— Я договорился в Управлении дороги,— сказал Слесаренко.— Отправят с попутным грузом.

— Проныра ты все-таки,— покачал головой Шумилов.

— Это я со страху.

— Кто же тебя напугал?

— А директор наш. Сказал, что если не достану вал, чтоб писал заявление по собственному желанию. Он у нас такой...

— Все они одинаковые,— сказал Шумилов.— Других пугают, а сами еще больше боятся.

— И вы боитесь? — с сомнением спросил Слесаренко.

— И я, родной, и я тоже.

Шумилов любил Москву.

Он обязательно вступал в спор, когда при нем кто-нибудь заводил разговор о том, что Ленинград красивее Москвы. Сам-то он так не считал, хотя и был ленинградцем и не променял бы Ленинград ни на какой другой город, если бы ему пришлось выбирать, где жить. Нельзя сравнивать несравнимое, говорил он. Это все равно, что сравнивать продукцию завода елочных украшений с продукцией Ижорского или Кировского заводов.

Было время, когда и Шумилов недолюбливал Москву с ее скопищем народа и кажущейся безалаберностью. Он, как всякий приезжий, просто не знал Москвы, не видел ее. Однажды его пригласил в гости приятель, москвич. По дороге сломалась машина, и приятель (после Шумилов догадался, что не без задней мысли) предложил пройтись пешком. Они шли по каким-то кривым переулкам, где едва можно было разойтись с трамваем, по тихим улочкам, застроенным двух- и трехэтажными домами, и эта Москва оказалась несколько не похожей на ту Москву, которую Шумилов видел прежде. Не было здесь ни людского скопища, ни сумасшедшего движения транспорта, но была неожиданная тишина, и даже прохожие, показалось Шумилову, никуда не спешили...

— А хитер ты! — сказал он приятелю. — Я ведь всегда думал, что Москва — это один огромный базар, — рассмеялся он.

— Не только ты так думаешь. Приедут на день-два, в ГУМе и ЦУМе потолкуются, вот и впечатления все. А Москва...

— Она большая, — подхватил Шумилов.

— И разная, — сказал приятель.

Тогда Шумилов и понял, что нельзя сравнивать Москву и Ленинград. Возможно даже, признался он себе, Ленинград при таком сравнении и проигрывает, потому что в нем все-таки нет как бы подлинности, зато много декораций. Это музей, заповедник, картинная галерея, это скорее город для любования, чем для повседневной жизни. Его монументальность, геометрическая выверенность линий и углов, его проспекты и улицы, разлинован-

ные словно под копирку, его показная, фасадная красивость подавляют человека, делают его беззащитным, и не случайно, наверно, так называемые «маленькие люди» из русской классики жили именно в Петербурге...

Шофер оказался знакомый, он не однажды встречал Шумилова на вокзале.

— С благополучным прибытием, — чуть панибратски, не называя Шумилова по имени-отчеству, сказал он. — В контору или сначала в гостиницу?

— А как у нас со временем? —

— Приказано доставить вас к десяти тридцати.

— Тогда давай сначала в гостиницу. Приведем себя в порядок, чтобы перед светлые очи начальства предстать по всей форме.

По всей форме — это значит даже при галстукe. Кое-кто посмеивался над ним, что, дескать, к начальству без галстука являться бонется, на что Шумилов отвечал вполне серьезно: начальство положено уважать. Не любить можно, а уважать все-таки положено.

В вестибюле гостиницы он купил свежие газеты, а когда за завтраком в буфете развернул первую же газету, увидел знакомое лицо. Это был портрет народного артиста Павла Петровича Кожевникова, которому исполнилось семьдесят лет, по случаю чего его наградили орденом Ленина. Да, именно тот Кожевников, с которым Шумилов познакомился на Урале... Жив, значит, с удовлетворением подумал он. И еще подумал, что было бы интересно теперь повидаться с ним. Но вот как это сделать и удобно ли? ..

И все же, приехав в министерство, он попросил помощника замминистра, о котором говорили, что «этот все знает и все может», узнать телефон Кожевникова. Так, на всякий случай попросил.

Замминистра принял его точно в десять тридцать. Встал и вышел навстречу Шумилову.

— Ну, как наш двигатель внутреннего сгорания?

— Работает. Доктора у нас добросовестнее авторемонтников.

— Да ведь тебя и не свалить, а? .. — улыбнулся замминистра.

— На том стоим, Николай Анисимович.

— А как пребывает град Петра? Давненько не бывал у вас, уж и скучать начал.

— В чем же дело?

— В том-то и дело, что дел много. А ты садись, са-

дись. Располагайся поудобнее, разговор длинный предстоит.— Он приобнял Шумилова за плечи и усадил в кресло, но не у письменного стола и не у совещательного, как обычно, а у журнального, который стоял в углу просторного кабинета.— Да, ты завтракал?

— Завтракал.

— Тогда кофе? Или тебе нельзя?

— Можно,— ответил Шумилов таким тоном, что замминистра рассмеялся громко.— Мне все можно.

— Да, брат, сильно, похоже, тебе надоели ревнители твоего здоровья. А ведь здоровье-то и в самом деле надо беречь. Или ты так не думаешь?..

— Вот именно. Здоровье как деньги: его нужно тратить.

— Такой афоризм золотом, да на фасаде Минздрава! — Замминистра снова рассмеялся.— Он сел напротив Шумилова и неожиданно опять спросил: — Стоит, говоришь, град Петра?

— Стоит, что ему сделается. Строители не план гнали, а город строили. На века строили.

Шумилов прекрасно понимал, что весь этот «треп» лишь преамбула к серьезному разговору, уж он-то знал, что замминистра по пустякам не вызывает, а распивать кофе с подчиненными и вовсе не станет просто так, хотя вообще-то слыл большим демократом. Может, потому, что и сам недавно работал директором завода... .

— Это ты верно заметил, что план не гнали. Но и спешить им особенно было некуда, а?.. Они красоту творили, а мы с тобой — государство. И спешим, кстати, для того еще, чтобы красоту эту сохранить. У каждого времени свои задачи, Шумилов, это понять надо. Раз и навсегда понять. Мне кажется, ты понимаешь. Это хорошо... .

Вот тут Шумилов насторожился, напрягся весь, догадавшись, что именно сейчас начнется разговор.

— На днях из редакции статейку одну прислали, для консультации. Неплохая статейка, между прочим. Соображаешь, о чем я?

— Нет,— признался Шумилов.

— Память коротковата стала? Твоя статейка, твоя. Вернее, беседа с тобой.

— Забыл, Николай Анисимович. Начисто забыл. Да и беседы никакой не было. Я этого корреспондента... .

— Не скромничай, не скромничай,— сказал замминистра, отхлебывая кофе.— Все правильно насчет

управления производством. Между прочим, я показал Федору Ивансвичу, он тоже одобрил.— Он имел в виду министра.— А ты ведь знаешь, что он не любит газетной болтовни. Ладно, отвлеклись мы с тобой. Разумею, что у тебя все в полном порядке, бумажками ты запасаешься на все случаи жизни...— Замминистра показал глазами на папку, которую Шумилов положил на край стола.

— На все не на все, а к начальству опасно являться без бумажек и на голодный желудок.

— А желудок-то при чем?

— Придешь просить бутерброд с колбасой, а тебе сунут сухую корку и...— Шумилов развел руками и потянулся к папке.

— Не тебе жаловаться. И ради бога, не надо бумажек, потом. Ты на словах. С какой икрой бутерброд хочешь?

— Нам не до жиру.

— Ну, ну. Как строительство кузнечно-прессового корпуса? Все на мертвой точке?

— Я бы сказал— в коматозном состоянии, Николай Анисимович. В будущем году должны ввести первую очередь, а там!.. В Госплане, наверное, план верстают...

— Сверстали уже, Шумилов, сверстали. В том-то и дело. Очень нужен твой кузнечно-прессовый, во как нужен!— Замминистра двумя руками взялся за горло.— Большие дела предстоят. Но с этим в ближайшее время разберутся, Федор Иванович докладывает на Совмине. Это сейчас главное. Еще что?..

— Да так, обычные проблемы,— сказал Шумилов.

— А ты не догадываешься, зачем я попросил тебя заехать?

— Пока нет,— признался Шумилов.

— Удивительно! Неужели агентура не донесла?.. Плохо у тебя поставлено это дело, из рук вон плохо. Не ожидал. Возле начальства всегда нужно держать своего человека, чтобы вприсак не попасть.

— Приму к сведению,— улыбнулся Шумилов.— Но у меня один вопрос, Николай Анисимович: доверенного человека вы зачислите в штат министерства или я должен ему командировочные платить?

— Это тебе виднее. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. А вообще поздно спохватился.— Замминистра пристально так, чуть прищурившись, посмотрел на Шумилова.— Есть мнение— тебя самого перевести в

штат министерства. Как смотришь на такую перспективу?..

— Пока никак не смотрю, слишком неожиданно.

— Ну, не слишком, не прибедняйся. Уж об этих-то наметках ты давно знаешь.

— Первый раз слышу,— сказал Шумилов.

— Официально. А слухи?

Слухи были, это верно. Кое-кто из коллег-директоров пытался даже поздравлять Шумилова, однако всякие разговоры на эту тему он решительно и жестко пресекал.

— Мое согласие обязательно, или спрашиваете для приличия?

— Как тебе сказать... Желательно. Но с ответом можешь не спешить, подумай, пока отдыхаешь и укрепляешь пошатнувшееся здоровье. А то знаю я вашего брата, петроградцев-ленинградцев! Боятся расстаться со своим любимым городом. В директорском кресле не тесновато?

— А я собираюсь заказать полутораспальное.

— Это ты ничего придумал,— одобрительно усмехнулся замминистра.— Но теперь придется заказывать двухспальное, масштабы другие.

— И никакого живого дела, одни сплошные бумаги...

— Выходит, все мы тут в спячку ударились?

— Но ведь скучаете без производства?

— Честно?.. Скучаю. Тоскую, Шумилов, аж душа болит. А когда совсем немогуту делается, уезжаю на какой-нибудь завод. И чтобы подальше от этой столичной суеты. Но ты не волнуйся, тебе не придется просиживать штаны в кабинете. По секрету скажу: готовится важнейший документ по нашей отрасли. Поотстали мы малость, задремали на лаврах, так что догонять надо. Будем реконструировать старые наши заводы, будем строить новые. Тебе этим и заниматься придется.

— И кем же вы меня прочите?— спросил Шумилов.— Если прорабом, я не строитель...

— В замы министра пошел бы?

— Вместо... кого?— удивился Шумилов.

— Ну вот, все ты хочешь знать. Не вместо, а в связи с предстоящими решениями будем производить реорганизацию аппарата. Подумай о замене. Трошин потянет?

— Нет. Он прекрасный главный инженер.

— Хорошо, подумаем вместе,— сказал замминистра, поднимаясь.— Учти, разговор у нас предварительный, меня попросил поговорить с тобой Федор Иванович, он, к сожалению, в отъезде, поэтому не может поговорить сам. Поедешь домой из санатория, примет.

Шумилов, понимая, что разговор закончен, тоже встал.

— Ну, будь здоров! И заказывай двухспальное кресло.

Шумилов вышел в приемную. Помощник замминистра вскочил и протянул ему бумажку.

— Пожалуйста, адрес товарища Кожевникова. Тут и домашний телефон, можете позвонить.

— Спасибо.— Он почему-то не захотел звонить отсюда.

— Машина у подъезда, Антон Игнатьевич. Она в полном вашем распоряжении.

Шумилов позвонил Кожевникову из автомата, попросил Павла Петровича.

— С кем имею честь? — спросил Кожевников.

— Моя фамилия Шумилов, но это вряд ли...

— Ага,— перебил его Кожевников,— это тот самый начальник чего-то или заместитель кого-то, который должен мне звонить?

— Просто много лет назад мы с вами случайно встречались,— сказал Шумилов, ему было стыдно.— Сегодня я прочитал в газете о вашем юбилее и решил поздравить вас. Вот и все.

— За поздравление благодарю, но где же и когда мы с вами встречались? Простите старика, а фамилия ваша мне действительно незнакома...

— На Урале, Павел Петрович, во время войны.

— В Свердловске?

— Нет, в городе Верхняя Тотьва,— сказал Шумилов. И вдруг подумал, что вряд ли Кожевников помнит Тотьву.

— Как же, как же! — воскликнул Кожевников.— Знаменитая Верхняя Тотьва! Прекрасно помню этот чудный городок. Шумилов, говорите?

— Мы виделись с вами всего один раз, да и то мимоходом.

— Не имеет значения. Вы знаете мой адрес?

— Знаю.

— Через полчаса жду вас у себя. Успеете?

— Удобно ли, Павел Петрович?

— Послушайте, я не знаю и не хочу знать, кто вы — обыкновенный начальник или генерал, мне безразлично. Я сказал: жду вас через полчаса у себя дома,— и Кожевников положил трубку.

А старикан-то, подумал Шумилов, крепкий. Такой не позволит откусить себе палец, скорее сам откусит кому угодно. Может, и правда заглянуть к нему?.. Делать один черт нечего, почему бы не познакомиться с любопытным человеком?.. Интересно, вспомнит он меня или нет?.. Вряд ли, конечно. Виделись-то всего несколько минут, и то мельком.

Ехать с пустыми руками к юбиляру Шумилов считал неприличным, поэтому сначала заехал в магазин. Он долго высматривал в витринах, что бы такое купить, и в конце концов купил дорогую кабинетную зажигалку, инкрустированную малахитом, и еще... боксерские перчатки. Потом забежал в продовольственный магазин и взял шампанского и дорогого коньяку.

II

Дверь открыл сам Кожевников.

Был он такой же белый, как и Шумилов, но выглядел моложе своих семидесяти лет. Подтянутый, стройный, какой-то компактный, подумал Шумилов, похожий, скорее, на тренера, чем на артиста. Лицо свежее, хорошего здорового цвета, глаза внимательные, чуть прищуренные...

Он очень пристально оглядел Шумилова.

— Это было... — заикнулся Шумилов.

— Попробую сам, не надо подсказывать,— остановил его Кожевников.— У меня хорошая память на лица Правда, сдавать стала.— Он вздохнул и улыбнулся.

Они прошли в большую полутемную комнату, обставленную темной же старинной мебелью. Однако здесь эта мебель не выглядела вычурной, как бывает в иных квартирах, где какой-нибудь ломберный столик XVIII столетия соседствует с ДСП-гарнитуром и с пластмассовой люстрой на пять рожков. Здесь все было вполне естественным, как и должно быть. И, кстати, над огромным обеденным столом висела вовсе не люстра. С высокого потолка опускался уютный такой, «мещанский» абажур.

Шумилов поставил на стол бутылки и вручил Кожевникову зажигалку и перчатки.

— Ну-ка, посмотрим, посмотрим,— пробормотал Кожевников, открывая коробку с зажигалкой.— Так, с этой штуковинной все ясно,— сказал он.— А что означает сей символ?..— Он вертел перчатки, разглядывая их.

— Пользоваться этой зажигалкой можно только в этих перчатках,— сказал Шумилов.

— Но это невозможно!

— Тем лучше, меньше курить будете.

— Ах вот оно что! — рассмеялся Кожевников.— Оригинально и остроумно, ничего не скажешь. Вы не доктор?

— Скорее, наоборот.

— Наоборот — значит, не любите докторов. Я их тоже не люблю. В театре вы не работали, это ясно...— пытаюсь натянуть перчатки, бормотал Кожевников.— Но Урал, Урал... Тотьва, говорите? Мне довелось бывать там несколько раз. А вы давно оттуда?

— В сорок втором.

— На фронт ушли?

— Да.

— А сами откуда?

— Я ленинградец,— сказал Шумилов.

— Следовательно, были там временно в эвакуации. Да, трудное было время. Но интересное тоже, вот какой парадокс! Знаете, у меня есть мечта побывать в тех краях. Как-то не пришлось после войны. Бывал много где на гастролях, а там — нет... Мы с вами встречались...— проговорил он тихо. Вдруг резко вскинул голову и буквально вцепился глазами в Шумилова.

— Вы играли «На дне»...

— А вы звали меня в гости! — воскликнул Кожевников и, отбросив перчатки, обнял Шумилова.— Вот откуда эта зажигалка!.. Родной вы мой, узнал я вас, ведь узнал! А курить бросил. Во время войны и бросил.

В дверях появилась женщина, она удивленно смотрела на них, и Шумилову сделалось неловко.

— Машенька, это товарищ Шумилов, мы с ним встречались на Урале. Простите, но я даже не знаю, как вас зовут!..

— Антон Игнатьевич.

— Это Антон Игнатьевич, Машенька. Однажды он меня угостил хорошими папиросами.— Кожевников снова рассмеялся громко.— Он был... если мне не изменяет окончательно память, вы были в этой Верхней Тотье каким-то начальником?..

— Был, Павел Петрович.

— И с вами тогда была жена...

— Это не жена,— почему-то признался Шумилов.— Просто знакомая, тоже ленинградка.

— Все равно. Надо же, через столько-то лет опять встретиться! Очень, очень приятный сюрприз. Машенька; но почему ты стоишь?.. Да, Антон Игнатьевич, это моя супруга. Мария Степановна. Не стой же, Машенька. А вы рассказывайте, рассказывайте, где вы, что вы и тому подобное.

— Живу, работаю. Как все.

— В Ленинграде живете?

— Да.

— Значит, это все-таки не вы тот большой начальник, который хотел со мной говорить по телефону. Понимаете, позвонил молодой человек, очень вежливый, и предупредил, что мною интересуется... Но как же, Антон Игнатьевич?.. Он определенно назвал вас.

— Да он в самом деле меня имел в виду,— сказал Шумилов.— Я попросил его узнать ваш телефон, а он перестарался. Молод еще...

— Бывает. Редко, но бывают и... старательные молодые люди. Шучу, конечно. Так вы переезжаете в Москву, к нам?

— Вопрос окончательно не решен. Да и я не знаю...

— Отчего же вы-то не знаете? Надо расти, Антон Игнатьевич. Человек должен постоянно расти, иначе пропадает интерес к жизни, а это уже опасно.

— Не люблю кабинетную работу,— сказал Шумилов.

— А сейчас вы кем работаете?

— Директор завода.

— Разве в качестве директора завода вы не в кабинете сидите?.. Я совершенно не знаком с вашей сферой деятельности, но почему-то убежден, что вы должны согласиться. Вы же сильный человек, это сразу видно. Нашему обществу, Антон Игнатьевич, не хватает как раз сильных людей. В конце концов, где ваше самолюбие, чувство тщеславия? Здорового тщеславия?.. Это в принципе положительное, необходимое человеку качество характера. Без него человек теряет перспективу, обрекает себя на прозябание, на жизнь, прощу прощения, «как все»... Один-ноль в мою пользу, а?..

— Это вам, артистам, писателям...

— Ой, не надо, Антон Игнатьевич! Прежде всего,

мы, артисты-писатели, как вы изволили выразиться, знаем не больше, но гораздо меньше других. И не перебивайте старших, это неприлично. Можно изучить физику, математику, химию там, а вот жизнь, дорогой мой, изучить нельзя, нет. Для того чтобы познать жизнь, нужно жить!.. А мы, увы, изучаем. Откуда же, скажите мне, возьмутся знания?

Хозяйка тем временем вкатила в комнату сервировочный столик с посудой и закусками, Кожевников взялся помогать жене.

— Напрасно вы это затеяли,— сказал Шумилов. Ему действительно было неловко.

— Что напрасно, а что не напрасно, вы будете решать, когда мы с Машенькой явимся к вам,— сказал на это Кожевников.— А мы явимся, можете не сомневаться.— Он осмотрел накрытый стол, что-то там переставил и пригласил: — Прошу, Антон Игнатьевич. Между прочим, вы удачливый человек. У меня сегодня как раз выдался свободный день и даже вечер, что случается редко. Вот если бы вы объявились завтра... Да, я же не спросил, надолго ли вы в Москву?

— Дня на два, на три,— ответил Шумилов.

— Прекрасно, Антон Игнатьевич! Завтра вашего почтенного слугу будут чествовать в театре, надеюсь видеть вас среди самых дорогих для меня гостей. А сегодня давайте напьемся как сапожники! — рассмеялся Кожевников.

Шумилов удивленно взглянул на него, подумав, что он вовсе не похож на человека, который напивается... как сапожник. Скорее, наоборот.

— Знаете, я ведь никогда не увлекался этим делом,— постучав пальцем по бутылке, сказал Кожевников,— но иногда такое найдет... Наверное, я все-таки порочная личность. А если серьезно, Антон Игнатьевич, когда я вижу вконец опустившегося пьяницу, мне его почему-то жаль. Хочется подойти и спросить, что с ним случилось, что привело его к бутылке... Не верится, что нормальный человек беспричинно, просто так спивается. Вижу, вижу, что хотите возразить, давайте оставим эту малоприятную тему. За что же мы выпьем?

— За хозяйку дома,— поднимаясь, сказал Шумилов.

— Спасибо,— вспыхнув, сказала Мария Степановна.— Но вы наш гость...

— Вот это правильно, Машенька! Вам еще долго и

далеко-далеко плыть, так что... Счастливого вам плаванья, Антон Игнатьевич! Чтобы паруса ваши всегда были наполнены попутным ветром! Вы любите театр?—неожиданно, как-то вдруг спросил Кожевников.

— Скорее нет, чем да,—признался Шумилов, понимая, что, пожалуй, этим своим признанием обижает хозяина, а возможно, и хозяйку. Однако иначе поступить не мог, не умел.

— Я так и подумал,—сказал Кожевников.—Позвольте спросить: почему?

— Трудно ответить однозначно... До войны жена водила меня иногда в театр, она бредила театром и даже работала костюмершей...

— Вот как? Любопытно. Ну и?..

— Нет, не смогу объяснить.

Разумеется, он смог бы объяснить, если бы захотел. Во всяком случае, он точно знал, что не устраивает его в театре — некая искусственность, выхолощенность жизни. В реальной жизни все гораздо сложнее и вместе с тем проще, чем на сцене. А я, мог бы сказать Шумилов, люблю именно жизнь с ее неожиданными поворотами и задачками, которые она подбрасывает нам каждодневно и на которые, в отличие от школьного задачника и пьес, в конце нет ответа, готового ответа, а если и есть, мне все равно узнать этот ответ заранее не дано. В конце жизни не заглянешь.

— Понимаю, вам не хочется обижать меня,—догадался Кожевников, кивая.—И совершенно напрасно. Я во многом согласен с вами. Конечно, театр — не жизнь, он условен изначально, это, по существу, игра для взрослых, но без этой условности театра не было бы как такового... Да, я понимаю вас, очень даже хорошо понимаю. Сегодняшняя наша жизнь так густо насыщена событиями, что... Вы хотели бы, Антон Игнатьевич — опять же условно говоря,—увидеть на сцене себя? Таких увидеть, каков вы есть в жизни...

— Я совсем не подходящая фигура для сцены,—усмехнулся Шумилов, на миг только представив себя в роли директора, но не настоящего директора, а театрального, говорящего на публику, в зал, и обязательно вещи правильные, так сказать, узаконенные.

— А почему не подходящая? — возразил Кожевников.—Очень даже подходящая. Только мы не знаем вас и поэтому не умеем играть. Подменяем суть фор-

мальными поисками, ищем не человека, не героя нашего времени, а пути к самовыражению. Вы понимаете меня? ..

— Не очень,— сказал Шумилов.

— Театр замкнулся в себе. Поиск ради поиска. Все режиссеры озабочены тем, как бы переплюнуть другого режиссера, а вы не укладываетесь в рамки формальных поисков, вам тесно там, вам нужен престор, чтобы было где расправить плечи... И что же? А ни-че-го! Скучно, говорят, никому не интересно. Господи, как будто наш или любой другой главреж в самом деле знает, что и кому интересно, а что — нет. Чепуха, Чепуха, дорогой Антон Игнатьевич! Свое неумение и незнание мы прикрываем игрой в дискуссии, а жизнь — она где-то рядом. Люди не столько спорят о жизни, сколько живут, работают, дело делают. Я, знаете, иногда смотрю в зрительный зал, и в голову лезет мысль о том, что в театр ходит в основном избранная кучка людей, для которых посещение театра всего-навсего вопрос престижа.

— Павлик, успокойся, пожалуйста, возьми себя в руки,— тихо сказала Мария Степановна.— Вы только подумайте, Антон Игнатьевич, он хотел на своем юбилее говорить об этом! ..

— Почему «хотел»? ..— Кожевников повернулся к жене и посмотрел на нее удивленно.— Я и скажу, непременно скажу! Пусть знают, что думает по этому поводу Павел Петрович Кожевников, старый русский актер, искренне болеющий за театр. Не могу, не могу равнодушно и спокойно смотреть, как театр — великий русский театр! — постепенно превращается в филиал телевидения. Каждая девчонка, возомнившая себя актрисой и попавшая на сцену, каждая — прошу прощения — сонлячка со смазливym личиком рассуждает о жизни и о высоком призвании искусства, демонстрируя свои колени перед телевизионной камерой!

— Что делать,— улыбнулся невольно Шумилов,— если людям нравятся ее колени.

— Ей это не должно нравиться, если она действительно служит искусству и, следовательно, тем самым людям, перед которыми она... Как это нынче говорят? Машенька, напомни.

— Выпендривается,— подсказал Шумилов и снова улыбнулся. Он чувствовал себя легко и просто в этом доме, ему нравилось здесь буквально все, нравилось да-

же слушать Кожевникова, хотя он и говорил о вещах, совершенно безразличных Шумилону.

— Выпендривается! До чего же точное, емкое слово. То есть вылезает, представляет себя таким пеньком на голой полянке.— Он расхохотался.— Пенек да и только! Но бог с ними. Меня больше другое занимает: что эти пеньки в париках с наклеенными ресничками знают о жизни?.. Ничего они не знают и знать не хотят, им это не нужно. Кривляться на сцене и перед телевизионной камерой они научились, этого у них не отнимешь. Я вот всякий раз перед выходом на сцену чувствую себя так, словно меня на бойню ведут, а они хоть бы что!.. Но разве долг искусства состоит только в умении кривляться?.. Дайте мне закурить.

— Не курю,— сказал Шумилов.— Тоже бросил.

— Жаль. Знаете, иногда приходят талантливые молодые актеры. В семье, как говорится, не без урода.— Он усмехнулся.— Но все они или почти все уже заражены вирусом зазнайства, самомнения. . .

— Прошу тебя, Павлик, успокойся,— с тревогой в голосе проговорила Мария Степановна.— Тебе нельзя волноваться. . .

— Подожди, Машенька. А волноваться мне положено, какой же я иначе актер. У вас есть дети, Антон Игнатьевич? Сын, например?

— Сына нет,— вздохнул Шумилов. Он мог бы добавить еще, что, скорее всего, и не будет никогда у него сына, как не будет больше детей вообще, но посчитал неуместным вдаваться в подробности своей личной жизни.

— Допустим, у вас есть сын. Вы можете гарантировать, что он тоже, как и вы, станет директором завода?

— Разумеется, нет.

— А я своего сына и свою дочь мог бы, когда бы захотел, сделать актерами. . .

— У вас двое детей? — спросил Шумилов.

— Да, двое. Сын у меня прекрасный инженер, и я рад за него. Умница, трудяга. А дочка домохозяйка. Как это говорится? Удачно выскочила замуж, муж у нее военный, в генералы метит. Я бы мог пристроить их в свое время в театральный институт, потом в приличный театр, на киностудию. . . Наверное, из них получились бы какие-никакие актеры, таких, увы, много. Но что они могли бы сказать людям? Сын еще может быть, а дочка. . . — Он мах-

нул рукой. — Пусть рождает и воспитывает детей, это ее настоящее амплуа. Я не против династий, в том числе и в искусстве, но не верю, что все актерские дети обязательно тоже талантливые актеры. Жаль, что мы с вами бросили курить. А вы в Москву за новым назначением, значит?

— За назначением вроде как по пути, — сказал Шумилов. — Вообще-то я еду в санаторий.

— Вы — и в санаторий? — удивился Кожевников. — Извините, но я терпеть не могу санаториев. Да и Юг для меня чужой. Эх, не мои бы годы, Антон Игнатьевич, махнули бы мы с вами на Урал! Вы часто вспоминаете то время и вашу Тотьву? . . .

— Да как сказать. . . не очень.

— И я не очень. Наверное, что-то уходит из нас вместе со временем. . . А ведь вы в Тотьве были совсем еще молодым?

— Тридцать три мне было, — сказал Шумилов и подумал, что, в сущности, именно там началась его жизнь, настоящая жизнь, и что, несмотря ни на что, Верхнюю Тотьву он может по праву считать своей второй родиной. Пожалуй, и в анкетах можно в скобках писать, что второй раз родился в городе Верхняя Тотьва. . .

— Чему вы усмехаетесь? — спросил Кожевников.

— А вот сижу и думаю: не плюнуть ли на этот санаторий и не махнуть ли в самом деле в Тотьву?!

Ему представился заснеженный, насквозь промерзший городок, каким он был в ту зиму, представился теплый, уютный домик на берегу речки с певучим названием Пряженка, и милая Анна Тихоновна, и Михаил Иванович (живы ли они? . . .) и Надя с ее полудетской влюбленностью, с ее наивным и восторженным восприятием суровой действительности, и Волков тоже представился вдруг, который вовсе не был столь наивен, как Надя, и потому не выдержал, ушел из жизни, и много чего еще вспомнил Шумилов, думая о Тотьве, но странное дело — в его воспоминаниях не было ничего, что вызывало бы в нем неудовольствие, обиду. . . Грустно было, это верно, но и грусть эта была приятной, и Шумилов подумал, почему бы и не махнуть в Тотьву, на кой черт ему сдался этот санаторий на Юге, которого он не любит, когда есть на свете место, где он мог бы по-настоящему отдохнуть душой, где течет, пусть незаметно для постороннего глаза, неспешно и даже как бы с ленцой:

подлинная жизнь, ничем не приукрашенная, без столичного лоска и снобизма, без южного мотовства, оттого, в сущности, и подлинная... А может, я просто выпил и раскис. Ну что я там увижу, в этой Тотьве? Повстречаюсь со своим прошлым?.. Это не для меня. А прошлое — потому оно и прошлое, что уже прошло, его больше нет...

— Вы никогда не задумывались,— спросил Кожевников, разливая коньяк,— почему заблудившийся в лесу человек ходит по кругу?

— Не задумывался,— ответил Шумилов. И прибавил ради шутки: — И не заблуждался тоже.

— Но это-то успеется, все заблуждаются. Давайте-ка мы с вами выпьем за... Тотьву. Приятный городок, у меня о нем остались самые лучшие воспоминания.— Он поднял бокал и выпил залпом коньяк, отчего Мария Степановна побледнела даже. Однако промолчала.— Хотите курьезный факт из моей биографии?.. Раз в год, в день своего рождения, я обязательно иду к родительному дому, где меня родила мама. Зачем? Сам не знаю. Глупость, очевидно. Фантазия сентиментального человека... Покупаю цветы и дарю первой молодой маме, которую встречу. Все-таки это естественно — возвращаться туда, где началась твоя жизнь.

— Вы думаете, это возможно?

— Нужно быть хоть чуточку фантазером, Антон Игнатьевич. Хоть самую малость. Иначе скучно жить на свете. Впрочем, вы еще довольно молоды, а мудрость приходит с годами. Давайте еще выпьем по капельке, что-то настроение у меня сегодня гульливое.

— А может, хватит, Павлик? — сказала Мария Степановна.

— Оставь меня в покое, Машенька. У меня юбилей. Вот когда ты доживешь до своего юбилея, я тебе разрешу все.

— С тобой доживешь.

— Со мной-то и доживешь, Машенька. Или ты собралась бросить меня на старости лет? Не отпущу, не надейся. Наливайте, наливайте, Антон Игнатьевич. Коньяк прекрасный, завтра такого не будет. Завтра нас будут поить сухим вином.

Шумилов взглянул на часы, было половина шестого. Незаметно он просидел в гостях почти пять часов, пора бы и честь знать, подумал он и стал прощаться. Мария Степановна предложила вызвать такси по телефону, но

он отказался. Вызывать такси по телефону, сказал он, усмехаясь, это снобизм, барство, а вообще-то, добавил он, внизу, у парадного подъезда, его ждет министерская машина (на самом деле машину он отпустил). Кожевников до слез хохотал, так понравилась ему эта шутка, а потом стал просить Шумилова, чтобы тот позволил завтра повторить шутку на юбилейном вечере.

— Пусть знают братья-актеры, как умеют смеяться живые люди!.. Все верно, милый Антон Игнатьевич: мы против всякого проявления барства и зазнайства, когда у парадного подъезда нас ждет служебная машина! Это очаровательно, это просто великолепно, — воодушевленно говорил он, утирая слезившиеся глаза. — Такой скетч для Райкина, ей-богу. Знаете, появляется некий барственный товарищ в ранге. . . Ну, скажем, главного режиссера. Значит, появляется барин в ранге главного режиссера, произносит монолог на тему морали и нравственности, а когда ему робко предлагают вызвать по телефону такси, он заявляет, что это снобизм, нехорошо это. И вообще, дорогие мои друзья, не нужно лишних беспокойств, на улице меня ожидает служебная машина!.. Вы молодец. Ну а сами пользуетесь? — уже серьезно спросил Кожевников.

— Пользуюсь, — сказал Шумилов.

— На дачку по выходным ездите на казенной машине, жена на рынок? . .

— Дачки у меня, к сожалению, нет, а вот на рынок жена ходит пешком. Впрочем, может быть, ездит на трамвае. Честно говоря, я не знаю, где рынок.

— Вы не подумайте, Антон Игнатьевич, что я пуританин, ханжа. Вовсе нет, уверяю вас. Пусть, кому это положено и кто заслужил, пользуются любыми благами. А то вот у нас во дворе живет такой барчук. — Он поморщился даже. — Знаете, кем работает? Шофером. Возит какого-то большого начальника, а ведет себя. . . Он не мимо вас идет, а сквозь вас проходит.

— Павлик, — укоризненно сказала Мария Степановна, — ты опять за свое!

— Все правильно, — сказал Шумилов. — Спасибо вам за откровенность.

— Давайте дружить, Антон Игнатьевич! — предложил Кожевников, протягивая руку. — Вы мне симпатичны. Еще не пойму, чем именно, но определенно симпатичны. Я непременно познакомлю вас с хорошим, настоящим драматургом, он напишет хорошую пьесу, и я сыг-

раю вас. О, я знаю, как буду играть. И эту вашу шутку мы обязательно вставим в текст. Согласны?

— А если вы ошиблись во мне?

— Нет,— уверенно сказал Кожевников.— Я не могу так ошибиться. Вы не дадите мне ошибиться, мне уже поздно разочаровываться и ошибаться. Увы, поздно...

Возле самого дома Шумилов «проголосовал», и первая же машина — то ли частная, то ли служебная — затормозила. Водитель приоткрыл дверцу, спросил:

— Куда едем?

— На Ярославский вокзал,— сказал Шумилов, подумав при этом, что нужно быть немножко романтиком. Хоть самую малость.

— Пятерка,— сказал водитель.

— Хорошо.— И Шумилов влез в машину.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

I

Почти всю дорогу от Москвы до Свердловска Шумилов проспал. Он умел и любил спать в поездах и не понимал людей, которые жаловались, что не могут спать в дороге. А скорее, не верил этому, воспринимая жалобы как еще одно оригинальничанье. Ну как же, всегда можно сказать, изображая крайнюю усталость, что, дескать, не могу спать в поезде. И то верно: еще никогда Шумилову не попадались соседи по купе, которые бы не спали.

А в Свердловске творилось черт знает что. Перед этим двое суток кряду валил снег, потом пошел дождь, и теперь привокзальная площадь превратилась в какое-то месиво. Пока Шумилов искал кассовый зал, где продавались билеты на так называемые «местные поезда», туфли промокли насквозь, в них хлюпала вода. Кассовый зал оказался грязный, здесь не было ни одной скамейки, зато народу — битком. Шумилов занял очередь, досадуя на себя за то, что не сообразил купить в Москве прямой билет до Тотьвы. Сейчас не пришлось бы торчать в очереди — закомпостировать билет можно и без очереди. Явилась было грешная мысль пойти к начальнику вокзала или — еще лучше — позвонить кому-нибудь из знакомых директоров, благо среди директоров свердлов-

ских заводов есть и будущие его подчиненные, однако он отверг эту мысль.

Он отстоял в очереди без малого два часа.

— Нет такой станции, гражданин,— недобольно сказала кассирша.

— Но как же нет, если...

— Не если, а нет, и все. Есть станция Тотьва. Берете билет?

— Разумеется, беру. В самом деле,— виновато пробормотал он,— я и забыл, что Верхняя Тотьва называется только город.

— На железной дороге нет городов,— на прощанье поучила его кассирша.

— Спасибо, я это понял.

Он отошел от кассы и остановился в раздумье, чем бы занять оставшиеся до отправления поезда целых семь часов. (Между прочим, поезд на Тотьву, как и двадцать с лишним лет назад, отправлялся поздно вечером.) Разумеется, можно все-таки позвонить кому-нибудь, и это, пожалуй, было бы самое разумное в его положении, но Шумилов решил до конца выдержать характер. Вот позвонить домой, подумал он, это дело. Обещал жене позвонить из Москвы — не позвонил, а она там, наверное, сходит с ума. Бог знает, что она там думает, не дождавшись звонка.

Он разыскал междугородные телефоны-автоматы, наменял монет, приготовившись к долгому разговору, однако никто не ответил. Пробираясь по запутанным вокзальным переходам, он наткнулся на комнату отдыха для транзитных пассажиров, но свободных мест не было, а если бы и были, объяснила ему дежурная, его все равно не пустили бы, потому что он не транзитный пассажир, раз приобрел билет здесь, в Свердловске.

— А если бы я летел в Свердловск самолетом,— просто так, ради интереса, полюбопытствовал он у дежурной,— тогда был бы транзитным?..

— Мы к Аэрофлоту не имеем отношения,— строго объяснила дежурная.— И вообще, гражданин, не мешайте работать.

Он побродил по улицам вблизи вокзала, но скоро совсем продрог. Мерзли мокрые ноги, вообще было холодно в плаще. В конце концов взял такси и попросил шофера показать город. К счастью, шофер оказался покладистым, веселым парнем и хорошо знал Свердловск.

Рассказывал при этом с каким-то упоением, словно это был не обыкновенный промышленный город, город при заводах, город-работяга, а, к примеру, Венеция или Париж. Ну, Псков или Новгород на худой конец. Подумав так, Шумилов тут же и спросил себя, почему, собственно, на худой конец Псков или Новгород? Почему не наоборот? Какое-то самоуничижение, ей-богу. Почему иные хотят за границу, мечтают побывать в Париже, как будто у себя дома все уже видели, все познали. Еще совсем недавно такого не было, людям и в голову не приходило платить шальные деньги за несколько дней пребывания в Европе. Иной представления не имеет, где находится Новгород, уверен, что это — Горький, а тоже туда же...

— Ты бывал в Европе? — спросил Шумилов водителя.

— Сколько раз, — ответил тот.

— И что там видел?

— Много чего. В Москве — Кремль, например. В мавзолее был. В Ленинграде...

Шумилов рассмеялся.

— Я насчет заграницы спрашиваю.

— Там не бывал, — сказал водитель. — В гробу я видел эти заграницы, мне и дома хорошо. Ехать, чтобы по ихним магазинам побегать? Пошли они... Что бы вам еще показать такое?

— Ладно, родной, хватит, пожалуй, — сказал Шумилов. — Спасибо тебе. Где тут у вас можно хорошо пообедать?

— Сделаем.

— Да, вот еще: промтоварный магазин нужен.

— А что купить желаете?

— Свитер какой-нибудь, — пожившись, сказал Шумилов. — Холодина у вас, а я ничего теплого с собой не захватил.

В универмаге он купил добротный шерстяной свитер и надел его прямо в машине. Потом таксист отвез его в ресторан. Шумилов пригласил шофера пообедать вместе, но тот отказался, — заканчивалась смена.

— Понравилась наша столица Урала?

— Вполне, — покривил душой Шумилов.

Честно-то говоря, город ему не понравился вовсе. А может, виной тому были мерзкая погода и паршивое настроение. Все же теперь он окончательно понял, что сделал большую глупость, пустившись в эту ненужную

поездку. Ну что, что ему какая-то Тотьва, что ему какие-то сентиментальные, совершенно бесполезные воспоминания. Чушь все это, вздор, пустые фантазии. Можно понять Кожевникова, он — актер. А все эти актеры, художники, писатели и прочая творческая интеллигенция (как будто конструктор или технолог не творцы) именно фантазеры. Им это необходимо, чтобы подкармливать свои фантазии, подогреть интерес к жизни, чтобы было что рассказывать и показывать другим, а ему-то, Шумилону, зачем?.. У него одна фантазия — как бы выполнить план...

Время от времени Шумилов читал какую-нибудь книжку о современности, смотрел какое-нибудь кино по телевизору, и довольно часто он признавался себе, что и книжки и фильмы совсем не так плохи, как о них говорят, все в этих книжках и фильмах на месте, все правда или почти правда, однако чего-то и не хватает, какой-то крошечной малости, которая превратила бы героев в обыкновенных людей с их обыкновенными заботами и... фантазиями. Он улыбнулся невольно, подумав об этом, потому что только что ругал себя за глупую фантазию поехать в Тотьву; а теперь вот ругает других за то, что они, сочиняя книжки и снимая фильмы, лишают своих героев именно таких ненужных вроде бы, пустых фантазий...

Он сидел в ресторане и оглядывал огромный пустой зал. Ему сделалось вдруг хорошо, легко сделалось на душе, и он стал думать, как вернется в Ленинград, пойдет к Кирпичниковым и расскажет об этой поездке. Тот удивится Николай Николаевич, то-то позавидует! А еще можно дать ему телеграмму из Тотьвы: «Прибыл Верхнюю Тотьву зпт осматриваю окрестности зпт подробности встрече тчк». Нет, лучше короче: «Привет из Тотьвы». Да, именно так.

Подошла официантка. Шумилов заказал обильный обед и, подумав, двести граммов водки. Все-таки он изрядно продрог и боялся, что может простудиться.

Жаль, что они немножко повздорили в последнюю их встречу. Кирпичников пришел в очередной раз навестить Шумилова в больнице, и тут они повздорили. Как всегда, из-за пустяка. У него был день рождения, и ему преподнесли от имени всего коллектива завода оригинальный подарок: полуметровой высоты гипсовую статую кузнеца, окрашенную «под бронзу», с лицом самого Шумилова. На пьедестале из нержавеющей

надпись: «А. И. Шумилов — кузнец своего счастья». Статую притащили председатель завкома и Бликин, она понравилась Шумилову, и он упросил заведующего отделением, чтобы разрешили ее оставить в палате. Вот из-за этой статуи они и повздорили с Кирпичниковым. Собственно, дело, разумеется, не в статуе как таковой, но поводом была она...

— Как, а? — показывая на статую, стоявшую на подоконнике, спросил Шумилов. — Во мастера, ведь как вылитый, верно?..

Кирпичников внимательно осмотрел статую и поморщился.

— Слушай, ты же умный человек, как ты мог допустить этот... балаган? От коллектива! Да половина этого самого коллектива тебя в упор не видит, неужели ты не понимаешь этого?.. Выкинь к чертовой матери, это же... это же...

— А мне нравится, — сказал Шумилов.

— Ты что, всерьез?

— А почему бы и нет? Смотри, какой я симпатичный!

— Никак не могу понять, хотя знаю тебя черт знает сколько лет, когда ты бываешь настоящий, а когда паясничаешь, на публику работаешь, — проговорил Кирпичников, поворачивая статую лицом на улицу.

— Да ты что, приступаешь к душевспасительной беседе? Так я умирать не собираюсь. И вообще мне не хочется исповедоваться. Впрочем, валяй, чего таланту зазря пропадать.

— На хрена мне твоя душа. Сам не спасешь ее, никто не поможет. Ни бог, ни черт... А вот живешь ты, Антон, как-то неладно. Неладно живешь... Не могу разобраться, что с тобой происходит, но что-то происходит — это факт. Каким-то самоуверенным ты стал, самовлюбленным. Даже больше, чем раньше. Все у тебя «я» да «я». Как будто ты один на свете живешь. Оглянись, посмотри вокруг. Жизнь меняется, а ты каким был, таким и остаешься.

— А только что говорил, что я стал хуже, чем раньше, — усмехнулся Шумилов.

— Жизнь стала лучше, — сказал Кирпичников. — А ты на фоне жизни...

Шумилов, слушая, снисходительно улыбался, как бы прощая этой улыбкой Кирпичникова, а заодно уж и Павловского, который тоже в последнее время взвалил на себя миссию учителя нравственности, вообще прощал

всех, кто не прочь поучить, как ему, Шумилову, надо жить и как не надо. То есть прощал, снисходя до их понимания жизни, даже не столько самих учителей нравственности, сколько наивную их убежденность в том, что они видят и понимают больше, чем он. В сущности, думал он, обвиняя меня в самоуверенности и самовлюбленности, они-то как раз и демонстрируют собственную самоуверенность, ибо ведь нужно быть очень самоуверенным и самовлюбленным человеком, чтобы присвоить себе право учить, воспитывать других, я-то уж не стану этого делать, нет, не стану, хотя и вижу в том же Кирпичникове, в том же Павловском кучу недостатков, но при всем при этом я понимаю, что эти их качества недостатками кажутся мне, а кому-то, быть может, они кажутся добродетелями, но почему, по какому праву я должен считать, что это все же именно недостатки, а не добродетели?.. Просто есть на свете люди — и с этим ничего не поделаешь, — которым нравится вообще учить, нравится проповедовать свою мораль, это их возвышает в собственных глазах, а что бы там ни говорили, всякий человек прежде всего стремится возвыситься перед собой. Такие любители поморализировать, поучить чувствуют себя только тогда при деле, когда им есть кого учить. Увы, чаще всего это слабые люди. Сильные же занимаются настоящим делом, им нет нужды привлекать к себе внимание пустыми словами; они и без этого на виду...

— Молчишь? — спросил Кирпичников. — Или думают мысли космических масштабов?

А вот этого он лучше бы не говорил...

— Космос и прочие небесно-нравственные проблемы по твоей части, — резко сказал Шумилов. — А я человек земной. Ты обвиняешь меня в самоуверенности?.. Допустим. Допустим, я действительно самоуверенный, самовлюбленный тип. Но почему ты решил, что это порок?.. — Эта мысль явилась ему только что, и он ухватился за нее. — Может, все наоборот?.. Я честно и, насколько это в моих силах, хорошо делаю свое дело. Так почему я должен быть неуверенным в себе, за что, за какие прегрешения я должен не любить себя? Вот когда я потеряю уверенность в себе и перестану любить себя, вот тогда ты приди ко мне и скажи, что я напрасно живу на белом свете. И это будет справедливо.

— Ловкач, — сказал Кирпичников и покачал головой. — Только любить-то, дорогой товарищ Шумилов,

который кузнец своего счастья, надобно не одного себя, других тоже.

— Ха!..— рассмеялся Шумилов.— А кто дал такое распоряжение, что я должен кого-то любить?.. Ты?.. Извини, но ты для меня еще не указ. Не высшая инстанция. А ни в каких официальных инструкциях и должностных обязанностях ничего о любви не говорится. В Библии вроде — да, но мы же с тобой неверующие. Так что, кого хочу, того люблю. Это мое неотъемлемое право человека.

— М-да, философия,— проговорил Кирпичников задумчиво.— И ведь возразить нечего! Ведь вроде ты и прав!

— По-твоему, я уже и правым быть не могу?

— Можешь, можешь, успокойся. Ты у нас вообще прав всегда.

— Стоп! Это ты зря. Терпеть не могу людей, которые всегда правы. Это самые скучные и противные люди. И не люди, а манекены. Человек имеет право ошибаться, должен и даже обязан, если хочешь.

— Но почему же вдруг обязан?

— Да хотя бы потому, чтобы дать работу тебе и еще кое-кому,— засмеялся Шумилов. Ему сделалось весело.— Если я не буду ошибаться, вам некого будет воспитывать. Логично?

— Сорвешься ты, Антон, когда-нибудь со своей доморощенной философией. И доставишь преогромное удовольствие кое-кому. Можешь не сомневаться, таких найдется немало. В том числе и в коллективе, от имени которого тебе преподнесли это! — Кирпичников кивнул в сторону статуи.

— Вот удивил! — воскликнул Шумилов.— Плевать я хотел! Плевать, понял?! Я не хуже тебя знаю, что у меня навалом врагов даже среди моих ближайших помощников. Так это прекрасно! Если у человека нет врагов и завистников, он должен хорошенько подумать, не пустое ли он место?..

— Получается, нет врага — найди его?

— Именно.

— Тогда плоди их, что тебе стоит.

— Да на хрена их плодить, если они сами плодятся табунами. Клобы по сравнению с ними просто импотенты!

— Прямо все человечество только о тебе и думает.

— Все человечество категория довольно абстрактная.

Если взглянуть конкретно, то окажется, что десяток-другой людей и есть все человечество,— сказал Шумилов.— Знаешь, а я сейчас бы выпил и закурил. Разозлил ты меня. Кстати, забавная история. Сидят два мужика в курилке, оба язвенники. Один курит, а другой нет. И тот, который не курит, доказывает курящему, как это вредно для его здоровья. А этот, курящий, затягивается так смачно, со вкусом и спрашивает, давно ли у того, второго, язва. Семь лет уже, отвечает некурящий. А в больнице который раз, спрашивает курящий. Третий; отвечает некурящий. И тут второй как захохочет: аж стены ходуном заходили. И сквозь смех говорит, что у него язва двадцать лет, а вот в больнице он лежит впервые. Ничего, а?..

— Забавная,— согласился Кирпичников и пристально так, с каким-то особенным вниманием посмотрел на Шумилова.

— Что это ты меня разглядываешь, точно первый раз видишь?

— Смотрю на тебя, слушаю твой невысказанный треп и думаю...

— И о чем ваша светлость изволит думать?

— Наша светлость изволит мечтать о том, как бы дожить до того дня, когда ты, Антон, поймешь, осознаешь свою трагедию...

— Это что-то из театральной области. Что-то из Шекспира?

— Ну, до шекспировских трагедий тебе, пожалуй, не дотянуть, но собственную все-таки осознаешь, обязательно осознаешь,— проговорил Кирпичников.— Жаль, что это случится не раньше, чем тебя попросят уйти...

— Обещаю тебе,— сказал Шумилов,— что этого не случится никогда. Я сам уйду, если почувствую — а нюх у меня волчий, ты знаешь,— что стал ненужным. А это не трагедия.

— Я о другой трагедии, Антон. Да ладно, хватит об этом. А эту пакость ты все же выброси к чертовой матери, не срамись.— Он подошел к статуе и стукнул ее по голове.

— Да ты что, с ума сошел! — рассмеялся Шумилов.— Больно же, соображать надо,— и взял руками за свою голову.

— Никак ты действительно ждешь не дождешься, когда тебе поставят бронзовый бюст?.. — удивленно сказал Кирпичников:

— Ну, для этого нужно быть дважды Героем, а у меня не хватит времени, чтобы получить две Звезды, и потом... Ставят кресты на могилы, а бюсты устанавливают...

Тут Кирпичников странно как-то и вместе с тем озадаченно посмотрел на Шумилова, лицо его сделалось бледным, он попятился к двери и молча вышел. Так, пятью, и вышел...

Тогда Шумилов не придавал этой ссоре особенного значения, мало ли они ссорились за двадцать-то с лишним лет близкого знакомства (статую, между прочим, он запихал на антресоли, с глаз долой), а теперь вот, в подробностях вспоминая эту последнюю их встречу с Кирпичниковым, почувствовал стыд и понял, что сильно обидел Николая Николаевича. Не просто обидел, но оскорбил, причинил боль, тем более острую, что для него самого это была скорее шутка. Сейчас же, с вокзала надо дать телеграмму, решил он: «Я был не прав, прости, если можешь». Да, именно так и только так. После можно будет извиниться лично, поговорить, выяснить отношения, а сейчас главное — дать телеграмму. Позвонить бы, да у них нет телефона. Недавно получили однокомнатную квартиру в новостройке, когда еще телефон установят, бог знает. Кстати, нужно помочь. Найдутся возможности, если захотеть. Конечно, найдутся...

После ресторана Шумилов побывал еще в кино, подремал на каком-то зарубежном боевике, и на вокзал приехал за полтора часа до отправления поезда. Он действительно послал Кирпичникову телеграмму, а потом снова позвонил домой. Но телефон по-прежнему не отвечал. Хотел было позвонить Павловским — может, они знают, где жена, но не стал — начнутся ненужные расспросы, что и как, ну их всех, подумал Шумилов. Позвоню завтра из Тотьвы. Это даже интереснее...

II

В купе вместе с Шумиловым ехал еще один мужчина. Вообще в вагоне едва ли набралось бы полтора десятка человек. Похоже, не очень-то много желающих ездить в Тотьву.

А сосед Шумилову почему-то не понравился. Было в нем нечто суетливое, что ли, и смотрел он так, словно все время хотел спросить о чем-то или, скорее, ждал,

что спросят его. Пожалуй, именно так: постоянно готовый отвечать на вопросы, а потому и напряженный, и суетливый, ибо не знает, о чем конкретно его спросят. Шумилов определил, что сосед — маленький начальник, чувствующий себя в чужой тарелке, когда выпадает из привычного окружения, где он может не только слушать, но и заставлять, чтобы слушали его...

Так и есть:

— Простите, вы до конца едете? — осведомился сосед.

— До конца, — хмуро ответил Шумилов. Ему не хотелось заводить вагонного знакомства, да и неинтересен был ему этот человек.

— А позвольте спросить: в командировку к нам в Тотьву или по личным вопросам?

— По личным, по личным.

— Родственники в Тотьве проживают? Я что-то не припоминаю вас.

Шумилов почти презрительно взглянул на соседа, хотел послать его ко всем чертям и еще дальше, но что-то остановило его, пожалуй какой-то неожиданно возникший интерес...

— А вы что, всех в Тотьве знаете?

— Всех не всех, а наиболее видных людей знаю, — прогворил сосед с достоинством. — Как-никак родился в Тотьве и всю жизнь живу там. И отец мой всю жизнь прожил в Тотьве. А город наш не очень-то велик.

— Нет, родственников в Тотьве у меня нет, — сказал Шумилов. Он уже и забыл, что не хотел заводить знакомство, вообще не хотел разговаривать. — Сам когда-то там жил.

— Не может быть! — удивленно и как бы радостно воскликнул сосед, хотя что же удивительного в том, что в поезде, который идет в Тотьву, встретился попутчик, который жил или живет в Тотьве. — Это очень даже любопытно... — проговорил он, приглядываясь внимательно к Шумилову. — Петр Мефодьевич, — представился он, привстав. — Петр Мефодьевич Михалев. Смешное отчество, верно? А вот мой отец и вовсе был Мефодий Мефодьевич, три эм, так сказать.

— Ничего смешного, — сказал Шумилов. — Нормальное русское имя.

— Дома-то нормальное, оно конечно, а куда приедешь, людям смешно.

— Дураку палец покажи, он и то засмеется.

— Это вы правильно заметили, — оживился сосед. — Вот хоть бы в кино придешь, совсем даже не смешное кино, а другие хохочут аж до коликов в животе.

Шумилов промолчал, отвернулся к окну.

— И давно вы у нас проживали? Простите, как ваше имя-отчество?

— Антон Игнатьевич, — вздохнул Шумилов, подумав, что сосед оказался настырный, разговорил-таки его. — А проживал я у вас в Тотье давненько, в начале войны...

— Тогда ясно, почему я вас не припомню, я же мальчишкой был. И с тех пор не бывали в наших краях?

— Не бывал.

— Как же это, Антон Игнатьевич! Город-то наш растет, строится. Вот скоро введут в строй действующих лесохимический комплекс, железную дорогу продлевают аж до самой Выгды, теперь-то туда можно добраться только водой или на вертолете, а там тайга нетронутая, новое управление «Выгдалес» организуют. . . А вы случайно не на строительство комплекса едете?

— Я же сказал, что еду по личным делам, — сказал Шумилов.

— Понятно, понятно, молчу! — Петр Мефодьевич даже руки поднял. — Это так, оно само собой спрашивается, а дела-то мне никакого нет. Мало ли куда и зачем люди ездят, верно? . . Ну, а посмотреть у нас есть что, особенно раз проживали раньше в Тотье. Дома, правду сказать, мы все больше деревянные строим, это экономически выгодно, раз тайга кругом, но и кирпичные возводим, а то как же! Мы, конечно, не столица, куда нам, а город все же, промышленность опять же и так далее. . . — Он говорил и говорил, нисколько не заботясь о том, слушает его Шумилов или нет. Похоже, ему нравился сам процесс рассказывания, нравилось слышать собственный голос, а еще более, подумал Шумилов, нравилось демонстрировать свой тотьевинский патриотизм.

— А не выпить ли нам, Антон Игнатьевич, за знакомство? — неожиданно предложил он. — Я прихватил с собой на всякий случай, дорога, знаете, длинная. . . Я понимаю, конечно, что вам как-то неловко распивать напитки с каждым встречным-поперечным, вы человек большой. . . — А сам потянулся уже к портфелю.

— И как же вы определили, что я большой человек? — спросил Шумилов.

— Тут объяснить трудно, глаз нужен и опыт. Но я

никогда не ошибаюсь. По секрету вам признаюсь, что я заметил вас еще на вокзале в Свердловске. Я стоял в очереди через два человека от вас. Как увидел, сразу сказал себе: вот, Петр Мефодьевич, стоит терпеливо в очереди большого полета человек, не чета тебе. А почему стоит? . . .

— Действительно, почему? — усмехнулся Шумилов. Ему было и смешно, и любопытно.

— Значит, так надо, — ответил Петр Мефодьевич. — А когда вы брали купейный, да еще спросили билет до Верхней Тотьвы, тут совсем все стало ясно. Если б вы были местный, уральский, никогда бы не спросили билет до Верхней Тотьвы. Выходит, из столицы. Ну, допустим, что вы едете в гости. Опять же не получается. Во-первых, знали бы, что у нас холодно, в плаще не поехали бы, во-вторых, кто же в гости ездит с портфелем? . . . Довольный собой, он даже подмигнул Шумилову.

— Все логично, — рассмеялся Шумилов. — Но ведь насчет холодов я бы мог узнать и не от родственников. . .

— Тогда бы здесь поняли, что вы собираетесь к нам. А вы почему-то пожелали ин-ког-ни-то! Это не мое дело, но я не мог не задать себе вопрос: кто ездит инкогнито? . . . Начальство, когда хочет узнать правду. Это дело проверенное.

— Молодец, Петр Мефодьевич, — похвалил его Шумилов. Он решил продолжить игру и, приложив палец к губам, сказал шепотом: — Чур, никому ни слова.

— Даже родной матери, даже жене! — пообещал Петр Мефодьевич, еще более рассмешив Шумилова. — А как насчет выпить, удостоите?

— Удостоил бы с удовольствием, но мне нельзя, врачи категорически запретили. Сердце пошаливает. А вы пейте, не стесняйтесь.

— Один не употребляю. Это алкоголики пьют в одиночку, а я нет, никогда. С хорошим человеком если. . . Спросить вас можно?

— Можно.

— Вы говорили, что проживали у нас в Тотьве. Значит, где-то работали. И где, если не секрет?

Сказать или не сказать, думал Шумилов. Ведь меня вполне могут помнить, хоть и прошло столько лет. Все-таки директор завода, а в провинции все помнится долго. Ему не хотелось раскрываться перед Петром Мефодьевичем, почему-то не хотелось, однако интересно

было и узнать: помнят или не помнят?.. А этот Петр Мефодьевич, похоже, действительно хорошо информирован и многое знает.

Ответил осторожно, уклончиво:

— Да был такой завод во время войны, номер двадцать девять... .

— Вот это да! — восторженно воскликнул Петр Мефодьевич. — Я же на этом заводе школу фэзэо кончал в войну и теперь там работаю начальником снабжения! Кем же вы работали, что я вас не помню?..

— Мало ли на заводе было народу, — сказал Шумилов. — К тому же я в мае сорок второго ушел на фронт.

— Ну, это другое дело. А я поступил в фэзэо осенью сорок второго, как только его открыли. Значит, мы с вами разошлись.

— Выходит, так, — сказал Шумилов, успокаиваясь.

— Сейчас-то наш завод называется автоприцепов, а директором у нас Иван Иванович Телегин, мы с ним вместе фэзэо кончали. А до него был Бокаев. Его-то вы должны помнить, он всю войну и даже раньше еще был председателем райисполкома.

Да, Бокаева Шумилов помнил, и помнил по-хорошему.

— Он что, на пенсии?

— Умер, — сказал Петр Мефодьевич. — Скоропостижно скончался от разрыва сердца. Семь лет уже тому. Хороший, душевный был человек. Он еще сразу после войны года три работал первым секретарем райкома партии.

— Постойте, но секретарем был этот, как его?.. Забыл.

— Гераськин, — подсказал Петр Мефодьевич.

— И где же он теперь?..

— А кто его знает. Говорили, будто бы сняли скоро после войны или перевели куда-то. Нам не докладывают, когда начальство меняют. А при вас, простите, кто был директором двадцать девятого?

Шумилов вздрогнул. Он не спешил с ответом. Отдернул занавеску, прижался лицом к холодному стеклу. За окном было бело, лежал снег.

— Зима, что ли, у вас? — удивился Шумилов. — Сегодня же только второе октября.

— Да вот, — вздохнул Петр Мефодьевич, — рано нынче выпал снег. Капусту убрать не успели, под снегом осталась. А ведь и в сорок первом такая же ранняя

зима была, если помните. — Он по-прежнему как-то уж очень внимательно, пытливо смотрел на Шумилова.

— В самом деле, — вспомнил Шумилов. — Мы приехали в Тотьву в октябре, а была настоящая зима. А директором завода был Волков, его я хорошо помню.

— Это который застрелился, да?

— Кажется. — Черт возьми, подумал Шумилов, зачем я вру?

— После него был такой Шумилов, еще история с ним была, это при вас или после?

— Какая история? .. — Шумилов напрягся весь и почувствовал, как бешено заколотилось сердце и кровь застучала в висках.

— Не знаете? Ну! .. — сказал Петр Мефодьевич, откровенно радуясь, что может сообщить что-то новое, интересное. — Мужик-то, говорят, он был с башкой, из Ленинграда сам. А дело такого рода получилось. На заводе чуть ли не вредительство обнаружилось, подростка одного током убило, в общем, серьезные дела. Самого-то Шумилова с работы убрали и на фронт отправили. Замазал, видно, где надо. А после, когда он на фронт ушел, следствие на всю катушку раскрутили, какие-то вроде документы поддельные раскопали, всякое, в общем, говорят, но что-то было! Без огня дыму не бывает, верно? .. Там и взятки вроде нашли, и разные злоупотребления. .. Любовницу он держал у себя, а у любовницы муж то ли полковник был, то ли генерал, во как. Должно быть, он-то и поднял дело. Сначала-то замяли. А когда копнули поглубже, оказалось, что дружок этого Шумилова, который парторгом был на заводе, знал все и покрывал, защищал его. Они и жили даже в одной квартире. Друзья-приятели, чего там. Неужели не слышали? .. — вдруг усомнился Петр Мефодьевич.

— Продолжайте, — сказал Шумилов.

— Дальше известное дело. Раз человек на фронте, что с него возьмешь? .. Ну и навалились, конечно, на парторга. Фамилию вот позабыл. ..

— Кирпичников? — подсказал теперь Шумилов.

— Во! Кирпичников, точно.

— Так что с ним? — уже боясь услышать правду, спросил Шумилов, догадываясь, что правда окажется жестокой.

— Вроде хотели под суд отдать, — сказал Петр Мефодьевич. — Но пожалели, исключили из партии, и он потом работал у нас в фэзэо мастером. А после войны в Ле-

нинград уехал. Вот все рассказываю, а даже не знаю кому. Вы ведь из Москвы, верно?..

— Из Москвы,— сказал Шумилов.

— И едете на лесохимический комплекс?

— Нет, Петр Мефодьевич, я действительно еду по личным делам. Моя фамилия Шумилов.

Возможно, даже почти наверняка он ждал, что Петр Мефодьевич от неожиданности хотя бы выронит стакан с чаем, который держал в руке, однако тот нашел в себе силы допить чай и поставить стакан на столтик.

— Я же не зря, не зря думаю, что имя-отчество знакомое,— сказал он.— Уж не так и часто бывают люди с таким именем-отчеством. . .

— Ничего, Петр Мефодьевич, чего не бывает в жизни.

— Распустил язык! Сидел бы себе тихонько и помалкивал в тряпочку. Ишь, захотелось познакомиться с большим человеком, инкогни́то придумал, дурак!

— Не волнуйтесь,— успокоил его Шумилов.— Ничего страшного не случилось. Я даже благодарен вам, что вы мне рассказали обо всем. Я ведь толком ничего не знал. . .

Какая же я все-таки дрянь, какая сволочь, думал он, если за столько лет не поинтересовался судьбой Кирпичникова, не спросил никогда, не было ли ему плохо из-за меня. А он молчал. Гордый, поистине большой человек. И жена его молчала. Да и Елена Сергеевна тоже. Но почему, почему?.. Почему не нашлось человека, который бы пришел ко мне и рассказал бы правду?.. Я ведь не знаю даже, восстановлен ли Кирпичников в партии, а скорее всего и нет, поэтому он и работает воспитателем в ремесленном, где же ему еще работать с таким-то пятном в анкете. А пятно-то оставил я, я, и мне бы смыть его, но как это сделаешь теперь, если не сделал этого раньше. Ах, Николай Николаевич, комиссар ты мой дорогой, чем же, какими подвигами я искуплю свою вину перед тобой? Разумеется, я пойду в обком, если будет нужно — в ЦК, я сделаю для тебя все, что в моих силах, и еще больше сделаю, но как же буду жить дальше, кто скажет, как мне жить дальше, как посмотрю в твои чистые глаза? И еще эта глупая телеграмма! А он ведь наверняка уже получил ее, дернул меня черт послать срочную. Да какая разница — срочная или обыкновенная! Все вздор по сравнению с тем, что ты, Шумилов, узнал сейчас. . .

За окном рождалось утро. Тайга за окном стояла насуспенная, отяжелевшая от раннего снега, и над тайгой низко-низко стлались темные тучи. Поезд стал при- тормаживать.

— Азарка,— взглянув в окно, проговорил Петр Мефодьевич.— Теперь всего тридцать километров осталось.

А Шумилов вдруг подумал: в Азарке вокзал с левой или с правой стороны? Его так заняла эта мысль, что он не слышал, о чем его спрашивает Петр Мефодьевич, который интересовался, будут ли Шумилова встречать.

Он решил, что вокзал в Азарке с левой стороны. И ошибся.

III

Прямо с вокзала Шумилов пошел на почту. Все же его беспокоило, почему вчера весь день не отвечал телефон. Не случилось ли чего-нибудь с женой? Ей всякое могло взбрести в голову, тем более после их разговора перед его отъездом.

Ответила Зинаида Ивановна.

— Кто это?— кричала она в трубку.

— Я это, Антон Игнатьевич,— сказал Шумилов.— Здравствуйте, и позовите Анатолию Федоровну.

— А ее нет. Она искала, искала вас. И в Москву звонила, и в санаторий, совсем потеряли вас...

— Где Анатолия Федоровна?

— Так они все у Марии Ивановны, все там.

— У какой Марии Ивановны?

— У этой... Ой, да вы же ничего не знаете! Умер Николай Николаевич, завтра хоронить будут, вот вас искали. Вы приедете, Антон Игнатьевич?..

Шумилов ничего не сказал, он повесил трубку и вышел из кабины. Выйдя, постоял, плохо соображая, где он, и направился к выходу на улицу. И только теперь почувствовал, как страшно устал. И хотелось спать. Дико хотелось спать, а до отхода поезда впереди был целый долгий день, и Шумилов подумал, что это нелепо, когда поезда ходят только ночью...

Кутузов Е.

К 95 Поздняя дорога: Роман. — Л.: Сов. писатель, 1984.—512 с.

Роман-исследование характерного для нашего времени социального типа, крупного хозяйственного руководителя — так можно определить жанр новой книги известного ленинградского прозаика Евгения Кутузова.

Автор ставит своего героя в различные моральные, общественные, производственные ситуации, подчас экстремальные. После временного поражения Шумилов, однако, находит в себе силы, чтобы начать жизнь сначала, и вновь становится директором крупного завода.

К $\frac{4702010200-338}{083(02)-84}$ 75—84

ББК 84.Р7

Евгений Васильевич Кутузов

ПОЗДНЯЯ ДОРОГА

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1984, 512 с.
План выпуска 1984 г. № 75.

Редактор Е. Н. Габис
Худож. редактор М. Е. Новиков
Техн. редакторы Г. В. Белькова и Л. П. Полякова
Корректоры Ф. Н. Аврунина и И. Г. Клейнер

ИБ № 4149

Сдано в набор 06.01.84. Подписано к печати 19.10.84. М 13925
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 28,83. Тираж 100 000 экз. Заказ
№ 45. Цена в пер. № 5 1 р. 90 к., в пер. № 7 2 р. 10 к. Ордена Друж-
бы народов издательство «Советский писатель», Ленинградское отде-
ление. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р 90к.